

Ануар
Алижанов



СТЕПНОЕ
ЭХО



Ануар
Алиджанов

СТЕПНОЕ
ЭХО

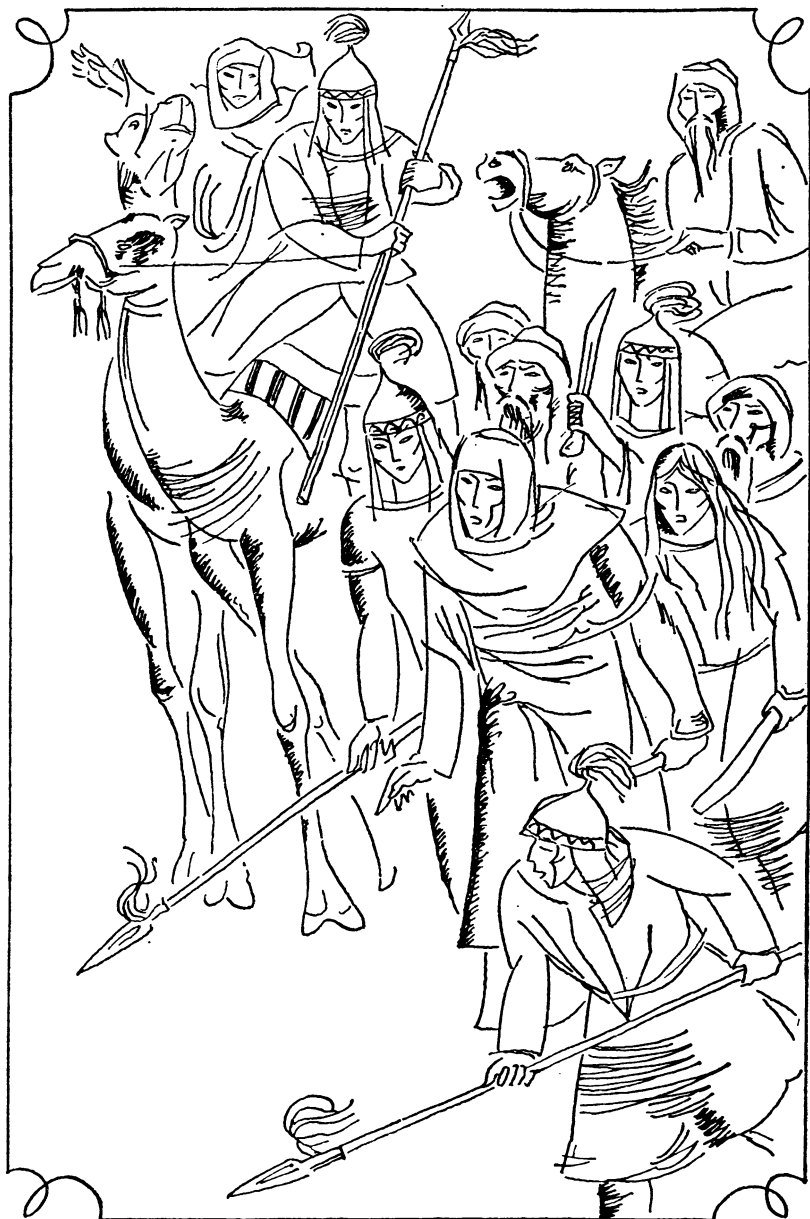
РОМАНЫ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1980

Ануар Алимжанов — известный советский писатель, лауреат Международной премии имени Дж. Неру и Государственной премии Казахской ССР. Его романы, повести, рассказы и очерки разнообразны по тематике и переведены на многие языки советских республик и зарубежных стран. Автор обращается в своем творчестве и к прошлому, и к нашим дням. В эту книгу вошли три его исторических романа: о философе древнего Востока Абу Насре Мухаммеде аль-Фараби, о поэте-бунтаре Махамбете и о национально-освободительной борьбе казахского народа против иноземных захватчиков за свою свободу и независимость.

Возвращение учителя,
или
повесть о скитаниях
Абу Насра Мухаммеда
ибн Мухаммеда
ибн Тархана
ибн Узлаг
аль-Фараби
ат-Турки





ГЛАВА ПЕРВАЯ

Художественное изображение истории более научно и более верно, чем точное историческое описание. Поэтическое искусство проникает в самую суть дела, в то время как точный отчет дает только перечень подробностей.

Аристотель

Сад всегда был безлюден. Днем здесь умолкали даже птицы. И только утром да в вечернюю прохладу, когда с дальних гор на зеленую равнину Гхутаха наплывал прохладный ветерок, они снова начинали свой веселый, беззаботный говор. Но самым упоительным мгновеньем для садовника, неделю назад пришедшего сюда издалека, были ранние утренние часы перед восходом, когда нежные горлинки заводили свой таинственный разговор о любви. В такие минуты садовник раскрывал глаза, с наслаждением омывался холодной водой из ручья и, прежде чем сесть за работу, брал в руки кипчаги. Перебирал струны, вслушивался в говор горлинок и, вдыхая утреннюю свежесть, погружался в раздумье...

Пение птиц часто возвращало его мысли к давней мечте — написать книгу о музыке. Вслушиваясь в тона и тембры птичьих голосов, он старался дать четкое определение каждому звуку, записывал свои мысли о музыке, занимался разработкой ее истории и теории. Но, чтобы связать обрывки мыслей в стройную книгу, нужно было много времени, нужно было изучить многие труды древних греков и индусов, где есть крупицы основ науки о музыке и музыкальных инструментах.

Еще в юности, в мирном тогда Отраре, часто проводя время в его богатых книгохранилищах, он мечтал стать музыкантом. И он стал им. Его игрой восхищались и рабы, и владыки. Он создал свой музыкальный инструмент и назвал его кипчаги. Юношам Отрара нравился гортанный говор двухструнного инструмента, который в руках музыканта-виртуоза мог воссоздать песни кипчакских степей и топот копыт диких коней. Дружинники отца тоже любили его музыку и уважали его как меткого стрелка, храброго воина...

Он никогда не расставался со своим кипчаги. Струны хранили тревожные голоса далекой родины, невольно рождали воспоминания о минувшем, о юности, о песнях степных красавиц у костра и о безумном танце воинов родного племени в летние лунные ночи. Он боялся, что, если закончит работу над китабом о музыке, может оборваться вечно томящее и вечно сладостное чувство, пробуждающее в нем память о родине. И потому каждый раз откладывал работу над этой книгой.

Слушая голоса горлинок, садовник вспоминал, что видел и слышал таких же птиц в детстве и юности в родном Отраре, видел их в садах Дженда и Сыгнака, в рощах Тараза...

Воспоминания о родине часто рождали в нем грусть и тоску. Последние годы они как тень сопровождали его повсюду. Не проходило дня без воспоминаний о родине. Конечно, это было естественным для человека, прошедшего долгие годы своей жизни в скитаниях по чужим краям. А скитался он в поисках знаний.

Пройдены тысячи и тысячи верст, исхожены многие тропы и обойдены все города, лежавшие на великом шелковом пути от Джендского¹ до Аравийского моря. Перечитано множество книг и рукописей мудрых философов, историков, географов и путешественников, поэтов и ученых — арабских, персидских, индийских, греческих...

Изучение языков было для него увлекательным занятием еще с детства. Удивляя отца, он ловко изъяснялся не только с арабскими и персидскими купцами, но и с невесть как оказавшимися в Отраре виноделами-греками.

А теперь щедрая память выхватывала из калейдоскопа минувший событий одно видение за другим, связывала их тонкой, но неразрывной нитью. Он старался скорее отогнать от себя назойливые грустные воспоминания. Торопливо принимался за свои труды или вновь брался за чтение бесед и диалогов Сократа, описанных Платоном.

И, как бы рано ни вставал он, времени для размышлений и работы над рукописью всегда не хватало. Несколько часов пробегали как один миг, когда он увлеченно решал математические задачи и облачал свои решения в теоретическую формулу или же, внимательно следя за ходом мыслей Ари-

стотеля в его «Поэтике» или «Метафизике», невольно начал переводить их с древнегреческого на арабский.

Он прятал свои рукописи в котомку лишь тогда, когда дневная жара начинала полновластно хозяйничать по всей зеленой равнине, когда умолкали голоса птиц, скрывавшиеся в тени листьев, начиналась трудовая пора для пчел. В это время хозяин хижины — сторож и мираб — возвращался к себе после полива плантаций роз и виноградника. Сторож приносил с собой ветку розы и полную плетенку сочных слив.

Поприветствовав мираба и вместе с ним отведав чая, садовник уходил в сад, чтобы не мешать его отдыху. Шел к кустам роз. С этого момента он становился единственным владельцем сада.

Это был молодой сад, и нужно было внимательно следить за каждым ростком, особенно за кустами роз. Ведь такие розы не росли даже в садах Саманидов¹. Со временем они станут похожи на те деревья с огромными красными цветами, что растут на юге Индии или здесь, в Сирии. Каждый стебелек розы превратится в толстый крепкий ствол, который породит бесчисленное множество бутонов.

Розовое масло, добываемое из цветов, давно славится на рынках Востока. Могучие кусты с огромными цветами дадут прохладу и тень, наполнят воздух ароматом. Но сейчас они были не столь велики.

Как всегда, он решил до полуденного зноя осмотреть все кусты роз. Нет ли больной ветки, не завелись ли вредные насекомые, не пора ли звать рабов и слуг владельца сада для сбора цветов.

Порой осторожно, чтобы не поранить пальцы о шипы, он раскрывал тот или иной куст, наслаждался свежим запахом.

Здесь, как и во всех долинах реки Барады, было множество сортов роз. И каждый из них имел только свой, особый аромат, хотя кусты были посажены в одно и то же время, на одной и той же почве. Это наталкивало садовника на мысль об изначальности видов растений, о тайнах семян, о структуре их ткани. Но то были мысли, еще не приведенные в систему, нужно было долгое наблюдение, нужны были опыты, чтобы сказать что-либо о природе растений. Наблюдения пригодятся для будущих трудов. А пока краткое время обеда он целиком посвящал работе над трактатом «О разделении наук по категориям». Он пытался дать четкое разграничение всех известных ему наук.

Лишь когда солнце, удаляясь от зенита, устремлялось к западу, садовник направлялся к виноградникам.

Срезая усохшие лозы, погруженный в свои мысли, он медленно шел по тенистой стороне густо-зеленой стены виноградника, когда у дальних ворот спешились два запыленных всадника. Один из них остался стеречь коней, другой напра-

¹ Династия правителей в Средней Азии (X—XI вв.).

вился в глубину сада. На нем была длинная темная аба¹, на голове светлая чалма, завязанная точь-в-точь, как это умеют делать молодые воины Дамаска. Лицо ниже глаз было прикрыто нежной белой тканью.

Заметив садовника, человек на мгновение остановился, словно раздумывая о чем-то, внимательно, то ли с тревогой, то ли с волнением вглядываясь в странную, чуть склонившуюся фигуру, а затем решительно зашагал к нему.

Неожиданное появление незнакомца не отвлекло внимания садовника. Он спокойно продолжал свою работу.

Между рядами виноградников росли сливовые деревья. В тени одного из них он аккуратно складывал срезанные ветки. Там же лежала плотная вязанка хвороста — плоды его вчерашней работы.

Обычно через день садовник относил этот хворост на дровяной базар, который находился в небольшом селении близ городских стен, и отдавал за медные дирхемы, которых хватало на покупку соли и лепешек. Но в прошлый раз мираб, в чей глинобитной хижине он нашел покой и время для трудов, забрал весь хворост и сам пошел продавать.

— Это дело простое, наше, — сказал он садовнику. — Раз уж вы оказали мне честь и делите все поровну, то и труд должен быть равным.

Вернулся мираб ночью. Он ходил в Дамаск, на большой рынок. Достал сверток плотной бумаги. Принес письмо от халдейца, что живет в большом каменном доме за квартал от малых ворот города. Халдеец-книголюб сообщал, что прибыл караван из Баальбека и что знакомый купец доставил ему ценный сверток — две старые книги греков. Он спрашивал: не заинтересуют ли эти книги наделенного глубокими знаниями, почитаемого всеми учеными мужами Багдада, Дамаска, Аммана и Иерусалима высокочтимого Абу Насра?

Как и через кого халдеец узнал, что Абу Наср находится здесь, оставалось загадкой. Ведь еще месяц назад он ушел из города. Ушел, не сказав об этом никому. Он скрывался от соглядатаев халифа и наместника. Но главное — он не хотел, чтобы злая молва нанесла вред его любимой. Кто мог здесь знать о его бегстве от халифа, о его путешествии в Бухару и обратно в Дамаск? У него почти не осталось друзей. Последние месяцы он чувствовал себя среди людей как в пустыне.

А когда-то при дворе халифа у него было много друзей. Они находились рядом, покуда он слагал панегирики халифу Багдада, султану Дамаска и, почитая аллаха, поучал других, призывая их к покорности исламу.

Но все это было в прошлом — и халиф, и эмиры. Царство

¹ Накидка типа плаща, сотканная из белой верблюжьей шерсти, расшитая серебром или золотом.

знаний увлекло его. Все вокруг опустело, когда он дерзнул усомниться в назиданиях пророка...

Но что же тогда держит его здесь, в Дамаске? Он боялся сознаться самому себе...

Мираб, передавший записку, сказал, что его поймали на базаре и силой повели в дом старого халдейца. Не спрашивая ни о чем, передали письмо.

Послание халдейца насторожило Абу Насра. И в то же время он не мог заглушить в себе желания полистать старые книги, о которых тот писал. И вот уже четвертый день он подумывает — а не пойти ли в город? Все равно ведь нигде не скроешься от глаз соглядатаев. И желание хотя бы раз еще повидать свою любовь было так велико!..

Быть может, старый халдеец узнал о его местопребывании от владельца сада? Но откуда тому было знать, что его садовник — тот самый скиталец из Отрара, который выступал перед учеными как мудрец из Фараба? Нет, владелец сада далек от мира знаний. Он раб своих богатств и вожделений. А что касается мираба, то он не знает даже его настоящего имени, он ни разу не проявлял интереса к его прошлому, к его делам. Мираб немногословен и всегда занят одной лишь мыслью — вовремя напоить влагой каждый кустик, каждое деревце, каждый цветок молодого сада. И посторонних здесь почти не бывает. Деревья еще не высоки, тени дают мало. Так что он, этот сад, еще не привлекал внимания ни своего хозяина, ни скупщиков плодов и цветов. Владелец сада не возводил здесь пока никаких строений. В летнюю жару он выезжал в другой сад, старый, тенистый, раскинувшийся верстах в двадцати отсюда, на берегу основного русла реки Барады в предгорьях Хемрона. Там свежее и прохладнее воздух, там его летний дворец, бассейны, дома его слуг и свиты. Сюда же он почти не посылал ни своих придворных чиновников, ни слуг.

Но приближалось время первого большого сбора урожая. Через денька три должны явиться рабы, чтобы собирать плоды... Об этом сообщил мираб. Не послан ли этот человек самим хозяином или главным хранителем его садов, пшеничных полей, хлопковых плантаций и финиковых рощ, подумал Абу Наср, заметив незнакомца.

Как бы там ни было, а незнакомец был первым человеком, заглянувшим сюда после того, как он получил письмо от старого халдейца.

Догадка беспокоила садовника. С приходом сборщиков плодов и надсмотрщиков у него не будет времени и возможности для уединения, для спокойных размышлений, для работы над трактатами о распределении наук по категориям, над которыми Абу Наср, хотя и с перерывами, трудится не первый год.

Он задумал написать книгу из пяти разделов. Собственно, работа близка к завершению. Но нужно спокойно обдумать

каждое из определений, добиться ясности изложения, точно-сти доказательств, еще и еще раз проверить свои доводы и выводы о логике, подробнее и шире написать третий раздел о математических науках, о звездах, раздел науки о тяжелых...

Срезая сухие, отмершие ветви и освобождая свежие зеленые стволы от лишнего груза, садовник снова и снова возвращался мысленно к своим записям, находил в них строки и слова, отяжеляющие восприятие или затуманивающие смысл. Надо поскорее убрать их, убрать осторожно, чтобы мысль могла развиваться легко и свободно, так же, как эти ростки, очищенные от омертвевших веток. Котомка с записями была рядом с кипчаги, который всегда нужно держать в тени, чтобы он не рассыхался. В котомке есть и тростниковый калам, и сосуд с чернилами.

Абу Наср отбросил срезанную ветку на кучу хвороста, собрал и сложил, прикрыл листьями котомку и, выпрямившись, взглянул в сторону незнакомца.

Лицо пришельца прикрыто белой тканью. Так обычно поступают путники, воины или караванщики в этих знойных краях. Светятся лишь глаза. Легкая поступь. Не мужская, однако... На плечах накидка из дорогой багдадской ткани. В руках узелок и кувшин. Чем ближе, тем быстрее шаги. Вот пришелец легко скользнул через арык...

Нет, ошибки быть не могло! Глаза! Это ее глаза! Ее походку он узнает среди тысячи других!..

Она сорвала покрывало с лица.

— Я нашла тебя!

Да, это был ее голос.

Это она! Да, она, Бану! Он готов был сорваться, бежать навстречу, как юноша. Но остался на месте. По его лицу невозможно было заметить, рад он или огорчился этой неожиданной встрече. Остался таким же, каким был всегда. И хотя взгляд ее был полон счастья, восторга, радости, хотя ее желание броситься в объятия любимого было неудержимо, он не шелохнулся.

Словно предупреждая ее и опережая, он еле заметно поклонился, сдержанно поприветствовал и с невозмутимостью пригласил в тень. А сам, расстегнув пояс и отбросив нож, стал мыть руки в арычной воде.

— Что потревожило тебя, с чем ты пришла, ханум? Все ли спокойно в городе? — Голос его прозвучал глухо, несчастливо.

— Любовь оказалась сильнее меня, я вновь нашла тебя...

Она взглядывалась в его сухощавое лицо. Плотные сжатые губы. Короткие черные усы. Густая борода.

Нет, он не изменился внешне. Все тот же длинный чекмень, те же сапоги из мягкой телячьей кожи, твердые, чуть изогнутые в носках. На голове — белая чалма, сложенная вдвое. Когда он выпрямился, она заметила еле уловимую су-

тулость, а быть может, раньше не обращала внимания? Наверное, от долгой работы над бумагами, от усталости.

Он вытер руки, подобрал пояс, все тот же старый пояс с маленьким чехлом для походного ножа. Чистая белая рубашка, свободно сидящая на нем, и шаровары из плотной ткани...

От внимательного женского взгляда не ускользнуло и то, что на его усах и бороде начали прибавляться седины, что руки его стали более шершавы и жилисты. Ей вдруг захотелось прижаться к его щетинистой щеке, притронуться губами к его жилистым рукам.

— Прошлое — источник для воспоминаний. И если он чист, то всегда дает силу воображению, помогает сохранять красоту чувств, — сказал он, расстилая для нее свой маленький коврик.

— Но разве наша любовь не была таким источником? — В ее голосе он почувствовал нотку отчаяния. — Откуда у тебя этот холод? Разве мать не наделяла тебя лаской, а отец не внушал доброты?.. О, сколько лунных ночей прошло с тех пор, как мы не виделись с тобой...

— Кого не воспитал отец, того воспитает время... — загадочно ответил он.

Она взглянула внимательно, словно намереваясь спросить о чем-то. Но передумала. Развязала узелок, поставила перед ним белые мягкие лепешки, сушеные финики и кувшин вина.

— Можешь поверить мне. Все это я сама приготовила, а не рабыни. Отведай из моих рук.

— Не пристало дочери главного визиря наместника, вдове знатного вельможи потеть у очага, уподобляясь служанке, и подвергать себя риску быть осмеянной.

— Но я внучка кочевника-тюрка, иначе ты не называл бы меня Бану, ведь у арабов нет таких имен. Моя мать из того же края, что и ты. И я хочу быть похожей на вольных женщин степей. Я хочу сама готовить для тебя. Хочу служить тебе одному. Ты же сам говорил, что нет чувства выше любви, нет тайн священнее таинств любви, мой Абу.

— Ты права, но в любви порой таится безумство, а безумство — враг разума. А что касается твоего имени, то Бану — это прекрасное слово у персов. Ты знаешь, что Бану — это моя госпожа.

— Но без любви для человека нет зерна наслаждений, радости и страданий. Она начало всех начал. Она плоть жизни. Не так ли говорил ты сам. Я люблю тебя и готова на все муки ада во имя ее. Даже сам великий пророк не противился ей, когда его полюбила Хадиджа — дочь песчаных долин Аравии.

— Начало жизни — разум, моя прекрасная Бану. И любовь должна быть подвластна ему. Океан знаний велик, и его может одолеть лишь тот, кто сумеет обуздать безумство страсти, подчинить волю разуму и умножить свои знания, черпая силу у великих. Знание — вот высшее блаженство для

души и сердца, оно осветит твою дорогу и дорогу других в океане жизни. Только знание и разум верны человеку. А любовь может предать его. Знание невозможно отнять, заковать в цепи, наказать и уничтожить.

Разве ты не знаешь об этом? Любовь могут осмеять, где бы она ни родилась — в степи или в горах. Ее могут оплевать в наслаждение тем, кто сам великий грешник. Даже честные умы могут смеяться над ней — кто из-за естественной обыденности своей, кто из презрения, а кто просто из-за того, что и он может сказать свое суждение о том, кого судят. Даже славный муж становится палачом, когда видит рану соперника. Так бывает в волчьей стае: увидев рану соплеменника, они загрызут его. Ты знаешь об этом.

Любовь можно заковать в цепи, ее можно предать. А знание всегда верный спутник твоего разума, оно не изменчиво, лишь новые познания еще более утверждают или отвергают его. Обогащаясь, оно само возвышает тебя, оно всегда с тобой, пока ты жив, — он говорил тихо, пытаясь заглушить свою боль. Он не столько наставлял ее, сколько убеждал себя. Он понимал, что нет для него иного выхода, потому что он любит ее, любит на всю жизнь. Любит еще с той поры, когда был молод, когда она впервые приехала в Багдад, потом он встречался с ней в Дамаске.

Но после была Бухара, были Саманиды.

И вот он вновь вернулся в Дамаск. Привела любовь. Но холодный разум подсказывал: если покориться любви, в нем погаснет другая страсть — к поискам и познанию. Ибо огонь любви может оказаться сильнее. Нет, безвестность и смерть не страшны для него. Страшно другое — не довести до конца свои труды, не успеть досказать слова совета. Но кому они нужны, его советы, его знания? Не слишком ли дорога жертва, причем жертва вдвойне. Ведь она права, его Бану. Она пойдет за ним всюду, отказавшись от сладостей жизни, дарованных ей богатством и красотой...

Как она прекрасна, его Бану! О создатель, дай силы... Где же грани между человеческими желаниями и долгом перед разумом?!

Он принял из ее рук сосуд с вином, но, лишь пригубив, поставил на скатерть.

Абу Наср немало лет прожил на свете, но был еще полон сил. Он мог бы вернуться в Багдад вместе с Бану и попросить защиты у самого халифа, мог вновь стать его придворным ученым. Но тогда он станет покорным рабом своих желаний...

Где же истина? В чем она?

Он вспомнил слова Калликла, сказанные Сократу.

«Ты уверен, Сократ, — говорил Калликл, — что ищешь истину, — так вот истина: роскошь, своеволие, свобода — в них добродетель и счастье... Разумеется, если обстоятельства благоприятствуют. А все прочее, все ваши звонкие слова и про-

тивные природе условности,— вздор ничтожный и никчемный...»

Да, Калликл, кажется, был прав. Разве ему, Абу Насру, обстоятельства не благоприятствовали? Он пользовался благожелательностью самого халифа багдадского аль-Муктадира¹, который и сейчас не отказался бы от попечительства и наверняка будет рад его появлению в своем дворце. Он может увезти свою Бану в Багдад или уйти с нею в родные края, может найти спокойное пристанище. Ради нее он может заставить себя забыть о своих трактатах. Она достойна того.

Он мог бы стать музыкантом или писать хвалебные оды для владык и жить в роскоши, наслаждаясь любовью, ожидая караваны, умом и знаниями покоряя великих визирей и ничтожных мужей, схоластов и эпигонов ислама. Она могла бы стать его помощницей, учеником, другом? И тогда, о создатель, какое это было бы благо!..

Бану понимала его без слов. Лицо Абу Насра стало сосредоточенным, бледным. Она знала, что он, как всегда, борется с самим собой, со своими мыслями.

«Но что же, что же ответил Сократ Калликлу, тогда, в тот раз?» — мучительно думал Абу Наср. Он вспомнил слова Сократа.

— Ты сказал, что вечно только знание,— заговорила Бану.— Но ведь и оно умирает вместе с теми, кто обладает им. Мудрые говорят, что любовь тоже вечна, потому что она — залог продолжения жизни и потомства. Страсть не чужда человеку, без страсти и желания не обретишь и знаний...

— Ты, как всегда, неотступна, Бану,— перебил ее Абу Наср.— В словах твоих властвует жажда познания, и начало тому — тот же жаждущий знаний разум. Ты могла бы стать достойным учеником, хорошим философом. Но мы говорим о разных вещах. Хотя и кажется нам, что мы ведем речь об одном и том же. Мы говорим на разных языках. Ты говоришь о чувствах любви, страсти и желаниях, вложенных в нас высшим создателем, как и в каждое живое творение. Я же веду речь о бесконечности и вечности любви к прекрасному, а прекрасное — это бесконечность открытий, обогащающих разум и знание. Знание бессмертно, ибо благодаря ему человек стал человеком. Оно обогащает ум не только первооткрывателей. Его таинства противоположны таинствам любви, о которой говоришь ты, моя прекрасная Бану.

— Ты назвал меня «своей», «прекрасной»?! О благодарение всемогущему аллаху! Нет мудрых, которые бы не познали сладость любви. Пусть моя любовь будет такой, какой ты ее видишь. Не отталкивай ее. Ведь мы вместе познали ее. Да, любовь бывает разная. Но у меня она одна, единственная. Я не боюсь никаких мучений ради нее...

¹ Аббасид. Годы правления — 908—932.

— Остановись, моя Бану! Ты слаба. Ты еще не знаешь, как искусен человек на пытки, как он жесток... — перебил он ее, но она продолжала:

— Ты не знаешь, на что способна женщина во имя любви, мой мудрый Абу.

— Но я знаю, как разнолика, порой коварна, порой мудра, порой дерзка и жестока любовь. Мудрый Шива знал высшее мерило любви — любви эротической, духовной, любви физической, платонической, любви нравственной, где гармонию составляют единство интересов и интеллекта, привычек, взаимной доверительной дружбы, рождающей искреннюю привязанность человека к человеку... Я не знаю всех ее мерил. Быть может, Гарун аль-Рашид постиг все тайны любви, или же халиф Муттавакиль¹, имевший четыре тысячи наложниц... Но, вернее всего, эти тайны знал царь Соломон, — Абу Наср усмехнулся.

— О желанный мой, мудрец и тиран! Не надо смеяться надо мной. Будь моим покровителем и скажи: какой любви хотел бы ты? — не выдержала она.

— Океан знаний огромен, властвовать над ним может только тот, кто смирит свою естественную страсть. Поиски знаний — страдание. Оно властвует над человеком порою сильнее, чем любовь. Ибо любовь тоже страдание. Но страдания любви могут одолеть человека и затуманить разум. Я боюсь ее, моя несравненная Бану, — он глядел вдаль, мимо нее, мимо зеленых деревьев. Взгляд его был затуманен. Мысли блуждали где-то далеко-далеко. Он еще не притронулся к сосуду с вином. Он не мог смотреть на нее прямо...

Она знала: он боялся самого себя, боялся своих чувств. Он любил ее. Любил так сильно, что не хотел сознаваться в этом, и от этого ей стало больнее, чем прежде.

— У любви немало добрых богов, мой Абу, — тихо заговорила Бану. — Моя любовь — желание защищать тебя. Стать твоей тенью неотлучной, когда трудно и горько; поддержать, когда ты слаб. Любовь — это мягкость, заглушающая грубость, любовь — это нежность, смягчающая дикость. Она рождает желание жить. Не прав твой Шива, любовь — это жажда дать полную свободу тому, кого любишь; это невольная, бессловесная податливость, заглушающая свой эгоизм, когда меньше всего хочется заставить любить себя...

Он молча и залпом выпил вино.

— И все же ты жесток, мой учитель, — продолжала она. — Ты палач своих желаний. Ты одинок. И у тебя немало врагов, сильных и коварных. Мне страшно за тебя. Я хочу быть другом, рабыней твоей. И пусть это рабство просветлит мой путь — путь женщины! Я все сказала, мой повелитель.

Его лицо стало сосредоточенным, он быстро взглянул на

¹ Минарет Большой мечети халифа Муттавакиля и поныне возвышается над Самаррой.

Бану, и в остром взгляде его таились гнев и растерянность. Он выпил еще.

— Ты права, женщина. Много добрых богов и богинь у любви, но и злых немало. И древнейшая из них — Кама. Кама — это страсть, как говорят индусы. Больная страсть. И она сейчас властвует над тобой. Но это лишь миг желаний, не подвластный ни минувшему, ни будущему. Потому слова твои не отягощены разумом. Индийцы создали Камасутру и думали, что познали все тайны любви. Ведь мудрость заключена в познании непознаваемого. Но я еще раз спрашиваю тебя: кто познал любовь до конца? Навуходоносор? Соломон или сластолюбивые халифы? Гарун аль-Рашид или казенные им Бармекиды?!

Кто?! В ней лишь одно начало — плоть. А лик ее настолько прекрасен, насколько и изменчив... Ты помнишь, Бану, наши слова в ту далекую ночь? Когда я прибыл в Дамаск из Багдада и выступал на меджлисе поэтов и ученых. Ты помнишь нашу первую ночь в степях Месопотамии во время охоты? Я читал тебе свои стихи о звездах и вселенной. Ты помнишь мои слова? Они были безумны, но то была правда. Истина на одно мгновение, рожденная страстью. Но вспомни и свои чувства после, когда мы таились в ночном саду, в глухом углу дворца за семью дверями под охраной твоих рабынь и евнухов, когда чужая тень скользнула меж деревьев, когда над нами нависла смерть... То был страх газели, учувшей шаги охотника. Ты боялась раскрытия нашей тайны. В глазах твоих поселился ужас... Тогда я увидел пропасть между нами. Я понял: скиталец-тюрок не может жениться на столь знатной особе Дамаска. Ты знаешь об этом... Куда бы мы ни пошли, за нами по пятам пойдут гонцы-палачи. Даже во дворце халифа будет так. Но понял поздно. Иначе моя дорога из Бухары и Басры была бы другой. Я был оглушен жестокостью Саманидов и вернулся назад. А твой образ увлек меня в Дамаск.

Ты говоришь, что любовь дает свободу, но дает ли она нам равенство? Желая дать свободу, она может сковать цепью; желая защитить, она может бросить в огонь ада, она может опьянить разум; ее сладкое рабство может оказаться горькой жалостью утонченного сластолюбца.

Жалость убивает человека. Мое одиночество — мой удел. Оно не терпит ни жалости, ни похвал. Одиночества не жаждут, его не ищут. Его обретают. Кто неосознанно поступками своими, кто от ума своего. Мое одиночество — мой выбор! Мой челнок слаб и шаток в этом царстве лжи и коварства, в царстве зла. Но он свободен! — Абу Наср встал, зашагал к виноградным гроздьям, подошел к молодому деревцу сливы, сорвал несколько спелых плодов, вернулся и бросил на скатерть.

— Ты подобен тому греку, о котором говорил, что он сочиняет поучительные сказки.— Большие черные глаза Бану

были полны слез. Откинув волосы и поправляя скатерть, она старалась успокоить себя.

— Ты говоришь об Эзопе? Эзоп, конечно, не Сократ и не мог стать им, как я не могу стать твоим защитником... — вдруг не к месту рассмеялся Абу Наср.

— Да любил ли ты когда-нибудь? Помнишь ли ты имя той, которая впервые очаровала тебя? — Голос Бану стал резок и требователен.

Абу Наср умолк. Он внимательно взглянул на нее. Их взгляды встретились. И странное дело, он не смог выдержать этого взгляда. Отвел глаза. Он почувствовал в ней огромную силу. Понял, что все сказанное ею — исповедь. Да, она любила его. Любила еще сильнее, чем прежде. И сейчас, в этот миг, находилась во власти своих чувств и потому так смело, без тени обычно присущего ей смущения спорила с ним. В этом споре она была искренна. И если речь Бану была спокойной и сдержанной, то только потому, что она старалась сохранить свое достоинство перед ним.

А взгляд! О, этот взгляд был откровением. Он выдавал все ее слабости. Сколько мольбы, желания, страсти и упрека в нем?! В этот час она готова подчиниться любой его воле. Готова следовать за ним в самые затаенные уголки сада и забиться на миг, чтобы потом обрести спокойствие, стать другой.

Да, трудно в женщине зажечь искорку любви, но еще труднее погасить в ней пламя нахлынувшей страсти, когда она готова подчинить тебя своей воле или отвергнуть; когда ее оскорбленное самолюбие требует возмездия.

— Ты прекрасна, моя Бану. Ты права. Тревоги жизни заставляют ежа прятаться в свои колючки, а черепаху — в панцирь. Зачем вспоминать нам о тайнах, принадлежащих каждому из нас?

Тайна первой любви — это сокровище нашего духа. Святая тайна. Люди не раскрывают ее для других. Ты знаешь об этом, Бану. Не стремись вернуться к ней, к первой любви своей, если она жива. Не жди ее. Пусть она останется прекрасным мгновением, осветившим твою юность мягким светом. Пусть навсегда останется в сердце щемящей болью, томящей тоской, теплой радостью и нежной грустью. Не разрушай ее. Ибо, вновь найдя свою первую любовь, человек может навсегда потерять прежние прекрасные чувства, рожденные ею когда-то. Ныне она — причина первой любви человека — может оказаться не той, какой ты представляла ее в юности, какой восприняло ее твое юное сердце... Я берегу тайну своей первой любви потому, что она свет, озаряющий мою жизнь из глубины прошлого. Не спрашивай меня о ней, моя Бану, — тут он вздохнул. — Я люблю тебя. Но я не властен над собой, как и ты. Ты знаешь об этом. Подавляй свои желания. Будь благородна. Ведь твой отец считает себя великим арабом. Дочерям арабов, таким, как

ты, нужна сила. Особенно сейчас, в эти тяжкие времена. Сила нужна для борьбы. Ты помнишь, как погибла мудрая сестра Гаруна аль-Рашида, прекрасная Аббаса? Не было женщины мудрее, смелее и красивее ее. Она была сестрой самого халифа и другом великого визиря Джафара аль-Бармеки.

Они любили друг друга. Любил ее и брат — всемогущий Гарун аль-Рашид, который называл своим отцом отца Джафара. Но священные каноны ислама оказались сильнее их всех. Коран не допускает любви, кроме любви к аллаху, — Абу Наср еле заметно усмехнулся. — И — погибла любовь, погибли Аббаса и Джафар...

Бану притихла. Стала задумчивой.

— Ты не прав, мой Абу. Люди говорят о них другое. Они славят Аббасу. Она была любимой дочерью арабов и в то же время их мудрой повелительницей.

— Да, ты права, к славе халифата тех времен были причастны и Джафар, и Аббаса. Женщины часто правят людьми и становятся виновниками их удач или неудач, счастья или гибели. Ты же знаешь, что богатая вдова Хадиджа помогла пророку Мухаммеду.

— Остановись, мой Абу! — Бану пугливо оглянулась. — Твои слова слишком дерзновенны. В них заложен огонь, который может сжечь тебя самого. Ты знаешь об этом! Разве не подобные твои слова умножили число врагов и завистников твоих? О, прости, аллах. Слава пророку Мухаммеду, посланнику аллаха на земле!

— Успокойся, любовь моя. У нас один бог — истина, которую боятся все люди. А мы с тобой не лучше их. Люди ныне складывают красивые притчи о Гаруне аль-Рашиде и сестре его Аббасе. Ты слышала их, эти притчи и сказки, сейчас все арабы живут ими. На рынках Багдада и Дамаска, в караван-сараях Мысра толпы людей долгими часами внимают им, веря в благородство халифа Гаруна аль-Рашида, но забыв об истине — о трусости и жестокости халифа, о мучительной жизни его наложниц, слуг и рабов, всех его подданных. А то, что хитер был Гарун аль-Рашид, — это тоже истина. Да, он ласкал и одаривал ученых и поэтов. Собирал их и слушал. Ибо знал, что останутся слова ученых о его мудрости и стихи поэтов об его благородстве. Слова и стихи, купленные за показную ласку коварным палачом. Это тоже истина.

— Где же главная истина, мой учитель? Приятнее верить сказкам, чем найти главную истину в твоих словах. Я перестаю понимать тебя, мой Абу. — Бану вновь наполнила чашу вином.

— Мудр тот, кто дойдет до истины и раскроет ее людям.

— Но люди ценят мудрость той девушки, дочери главного визиря, которая остановила руку палача-падишаха, не верившего в верность женщин и казнившего всех девушек после

первой ночи. Дочь визиря создала сказку, длившуюся тысячу и одну ночь. Она спасла тысячу жизней. Вселила спокойствие в сердца матерей и отцов, успокоила падишаха и мудростью своей покорила его сердце. Разве это не главная истина? Разве истина — это не доброта? И разве не эта дружеская доверительность, перешедшая в искреннюю привязанность к человеку, а значит, и в ту высокую любовь, о которой говоришь и которую желаешь ты? — Бану уже не была похожа на ту женщину, какой казалась в начале беседы. Она уже не спрашивала его, она не вымаливала ласки. А стала соперницей в споре. Она наступала. Голова ее поднята, лицо раскрыто. И взгляд ее уже был не тот, что присущ женщинам, жаждущим объятий, а другой. В нем смелость и решительность, в нем достоинство и непокорность.

— Не об истинах доброты и жестокости, не об истине любви веду я речь, женщина! — сказал Абу Наср, словно перед ним сидела не его любимая Бану, а некий философ, осмелившийся поравняться с ним силой. — А об истине справедливости и о качествах главы горда, народа!

И вдруг умолк, задумался. В саду снова стало тихо. Лишь где-то за кустами дрались воробьи, а где-то начал было свою песню соловей, но замолчал. Легкий ветерок прошел по листьям — закивали пышные и яркие головки роз.

— Что с тобой, о чем ты вспомнил, мой Абу? Что встревожило тебя? — Голос Бану стал мягок и ласков, как прежде. Она заметила — изменилось и стало мрачным лицо Абу Насра. Он словно забыл обо всем, ушел в себя.

— Да, ты права, моя Бану, — вздохнул он и потянулся к своему кипчаги, принялся настраивать. — Ты права. Людям нужны добрые сказки, им нужна мечта. Мечта — это движение, а сказка облегчает им тяжесть жизни. Сказки о мудрых правителях и добродетельных городах нужны народу — все это та же вера и, быть может, главная истина из всех истин. И я напишу об этом! — Голос его окреп. — Я напишу о правителях и городах. О владыках и народе! Но это уже не будет сказкой. Это будет правдой! Истиной, которую боятся все и к которой не прикоснется никто!

Он ударил по струнам. Стремительные звуки, глухой, далекий, но быстро приближающийся топот копыт... Загудела земля... Из кустов роз, из-под листьев винограда испуганно вспорхнули птицы. Удивленной радостью озарилось лицо Бану.

— Да, да! Ты права, ты права, Бану! Никому не нужна моя истина. Так я раскрою ее! Вопреки канонам Корана. Я доскажу то, что не досказано «Братьями чистоты...»¹.

¹ «Братья чистоты и друзья справедливости» — тайная религиозно-философская организация, основанная в Иране в IX веке, а затем получившая распространение по всему Арабскому халифату. Идеи «Братьев...» противоречили духу приверженцев ортодоксального ислама — суннитов. Они ставили своей целью популяризовать естественные науки

— О, упаси аллах, не слышал бы кто!.. Умоляю тебя! Во имя аллаха прошу! Мне страшно... Не говори о «Братьях чистоты...», их казнили...

— Их много, всех не убьешь! Мысль не остановишь!

— Но казнили и учителей «Братьев...», которые состояли в тайных обществах Дамаска...

Оборвалась музыка, оборвалась на полутоне. Лицо Абу Насра побледнело, он отбросил кипчаги, опрокинув сосуд с вином. Встал. Встала и она. Он схватил ее за плечи, взглядеся в глаза. Она плакала и, чтоб скрыть слезы, припала к его груди. Он молча прижал ее.

— Я искала тебя, мой Абу! Посылала служанку к старому халдейцу, кто живет возле рынка. Я слышала, что ты знал «Братьев чистоты...», что ты был на их тайных беседах, что «Братья чистоты...» — это кафиры, неверием своим осквернившие священный Коран. Теперь соглядатаи халифа могут схватить тебя и заковать в цепи, как они сделали с «Братьями чистоты...».

— Ты сама видела их казнь? — тихо спросил он, глядя ее волосы и прижимаясь к ее щеке.

— Нет, нет... Нет, но мне передали. Это правда.

— Кто передал тебе?

— Служанка. Ее зовут Тана. Она верна мне.

— А кто же сказал ей? — нетерпеливо спросил Абу Наср.

— Она слышала речь глашатая, который читал послание халифа своему наместнику и всем вельможам Дамаска. — Абу Наср посмотрел в лицо Бану. Чуть раскрыты губы, слезы в глазах. — Ты ведь знаешь: слова владыки эхом отдаются по всему городу и никому из «Братьев чистоты...» не уйти от его гнева. Я знаю, ты знаком с ними, они знают тебя, почитают твою мудрость и знания. Но люди злы, и даже среди «Братьев...» найдется завистник и предатель.

— Разум не продают, — сказал Абу Наср. — Не я их учитель. Они — наследники благородного и мудрого аль-Кинди и сами благоразумны не менее великих мудрецов. Они приняли утверждение пророка о создании мира аллахом. Они взяли свой идеал у Аристотеля, Платона и Гераклита, живших еще до пророка. Аль-Кинди пришел к этой мысли своей дорогой, он утверждал, что мир безначален... Но что же халиф? Он должен был сжечь трактаты аль-Кинди, но он решил казнить «Братьев чистоты...»! Он мудр, ибо книги ему не подвластны. Не подвластен разум! Ха-ха-ха! Терзайтесь, правители Багдада и Дамаска, эмиры Саманидов, трепещи, халиф! Вам не казнить аль-Кинди, первого философа арабов! Мухаммед принес вам Коран и войны, аль-Кинди — свой разум без войска. Но кто из них победит? Чей огонь будет сильнее?

Бану с удивлением и страхом глядела на Абу Насра.

Он выпрямился, стоял гордый, раскрыв объятия, и смеялся, смеялся так, будто он один, и никто другой, является властелином мира.

— Я, я напишу о безначальности мира, об интеллекте и разуме, о силе духа, о добродетельных городах и благородных правителях, «Братья чистоты...» не умрут бесследно. Разум не умирает!.. Ты права, моя Бану. Мы покинем этот город. Ибо человек должен покинуть те города и государства, где преследуют науки.

— Ты сказал «мы»?!

— Да, да, Бану. Мы вновь найдем дорогу в Багдад. Я вернусь к халифу аль-Муктадиру и скажу ему: «Слава дарующему благо и ограждающему от ошибок! Я выполнил твою волю, великий халиф! Я побывал у Саманидов, видел твоего верного слугу и владыку Саманидов шаха Нуха и, дабы укрепить его веру в тебя, создал свод учений, переведенных с греческого, персидского и сирийского на звучный арабский язык! Но он не понял и не принял его. Его жестокость и тщеславие опасны для халифата!..»

— Ты взволнован, Абу. Успокойся, халиф ждет тебя. Я знаю. Старый халдеец говорил, что твое присутствие во дворце ублажит честолюбие халифа... А сейчас успокойся. Ты не спасешь «Братьев чистоты...». На то воля аллаха...

— Ты не права, женщина! «Братья чистоты и друзья справедливости» не подвластны ни имамам, ни эмиру, ни самому халифу! Они есть и будут не только в Дамаске. Их разум не всеобъемлющ, но широк. Дела их желанны народу. Но не о них речь...— Абу Наср притих, задумался, снова взяв в руки кипчаги.

— Наконец-то... Закончим спор, мой Абу,— тихо, устало проговорила Бану.— Этот сад создан для спокойных раздумий. Найдем уютный уголок. Одари меня твоей тихой песней. Ты же говорил, что музыка — друг тех, кто страдает и борется, друг всех влюбленных, счастливых и несчастных... Я устала искать тебя. Побудь немного со мной. Я уйду от тебя, когда солнце коснется земли...

Он удивленно, словно мучительно вспоминая о чем-то забытом, смотрел на нее. Как она сказала? «Ты не спасешь. На то воля аллаха». Да как она могла в эту минуту произнести такое? Он должен был возненавидеть ее, эту женщину, стоящую перед ним! Но он не смог.

Не смог и ответить ей, потому что в ее словах звучала та самая истина, которая обескураживает человека. И она, эта вечная истина, оказалась простой, ощутимой и столь доступной для понимания каждого, что не надо было утруждаться раздумьями, чтобы постичь ее.

Да, верно, он не в силах спасти «Братьев чистоты...», если вдруг их найдут, схватят. Но он может поиграть на тщеславии халифа, стать его надимом — самым главным визирем,

потешаться над невеждами двора, распутывать интриги завистников и... И продолжать дело аль-Кинди, дело «Братьев чистоты...». Нацелив свое внимание на раскрытие сути реальных вещей, простых истин, он будет искать пути достижения счастья для людей не в потустороннем мире, как это обещано святыми книгами, а в земной жизни!..

Бану, внимательно следившая за выражением его лица, вдруг заметила, как он повеселел. Она увидела его таким, каким знала раньше, в минуты его радости и вдохновения. Когда он мог быть то по-детски веселым, то мрачным и озабоченным.

Но в следующую минуту Абу Наср снова помрачнел. Теперь в сердце его прокралась тревога; ему подумалось, что трудно бороться, попав в паутину халифского дворца, что его борьба будет никчемной, как усилия бабочки, попавшей в сети паука. Но он тут же отогнал эти сомнения, усмехнулся и вновь повеселел.

— Ты права, права, моя Бану. Ты устала искать, а я устал ждать, хотя сам себе не сознавался в этом. Пусть время, оставшееся до захода солнца, будет нашим временем. О, как мало досталось нам!.. — Он смотрел в ее широко раскрытые глаза, на темные брови, на чистый лоб, на ее приоткрытые, чуть влажные губы.

Как он был глуп! Сидеть столько времени вместе и ни разу не всмотреться в нее, в ее красоту. В нем пробудилось желание вдохнуть запах ее волос, ощутить ее дыхание... Но он сдержал себя.

— Ты говорила о песне. Пойдем туда, — он указал на зеленую поляну, окаймленную листвой и прикрытую от постороннего взгляда зарослями белых роз. — Там лучше слышны вечерние песни птиц.

* * *

Зеленые листья и цветы укрыли их от глаз, а их тихая беседа слилась с предвечерним говором птиц. И лишь когда сад укрылся сплошной тенью, когда солнце, прощаясь с землей, вздохнув в последний раз, обдало небо своим пламенем, Абу Наср сказал:

— Не будем гневить творца. Воздадим ему славу за нашу встречу. Время позднее. Усыпим этот спор... Торопись, любовь моя. Могут хватиться, могут искать тебя... — Он встал, оглянулся вокруг и подал ей руку. Она легко вскочила с места. Он вновь залюбовался ею. — Как ты прекрасна, моя Бану! Прекрасен лик, естественны желанья. Но ты горда, как пальма, избалованная солнцем, ищущая ласковых объятий ветра. Но пальма не знает, что у ветра нет постоянства. Ты знаешь об этом.

Я же стареющее дерево баньян, растущее вдоль дорог Индии. — Он улыбнулся. — Баньяны огромны, как ливанские

кедры. Я, как старый баньян, стремлюсь к спокойствию, стремлюсь подольше удержаться на земле, цепляясь за нее всеми корнями и мечтая дать больше тени и спокойствия людям, чтобы спасти их от коварных лучей любвеобильного солнца.

Будда сказал: не бери того, что тебе не принадлежит, ибо оно погибнет... Пальмы не растут в тени баньянов, они там гибнут... Ты говорила о любви Хадиджи к пророку, но пророк наш Мухаммед видел в женщинах лишь слуг своих. Богатство Хадиджи помогло ему покорить мекканцев. Он видел в женщинах рабынь наслаждения и мужской прихоти. Я не приемлю пророка. На то воля творца! Не богов, а самого творца. Богов много, пророков тоже, а творец — один. Он — первопричина всех существ...

Они тихо шли мимо плантаций роз и сливовых зарослей. Он поднял забытый в траве свой легкий кетмень, привычным движением вскинул на плечи и продолжал:

— А я — существо, подвластное всем грехам. И я не властен над тобой и над собой. Но пусть сегодня я буду палачом — убью свою любовь, убью во имя дела «Братьев чистоты...». Ты останься другом, живым прохладным цветком в моей памяти. Останься другом свободы. У меня не будет упреков, ты свободная женщина!.. — Он пристально взгляделся в лицо Бану, потом неожиданно поцеловал и, больше не оглядываясь в ее сторону, зашагал прочь.

Ей хотелось броситься ему вслед. Но она осталась на месте. И услышала донесшийся из-за деревьев взволнованный голос:

— Я сделаю, как ты сказала. Завтра ночью я буду в доме старого халдейца.

Последние отблески солнца медленно таяли на снежных вершинах горы Хемрон. Бану смотрела туда, откуда только что донесся его голос. Из глубины ее сердца неожиданно вырвался громкий, тяжелый вздох. Она испуганно оглянулась. Не услышал ли кто? Закрыла лицо до самых глаз.

Все так же спокойно переговаривались птицы перед сном. Она сорвала белую розу и направилась к выходу из сада, к старым дувалам.

«Ты все-таки глуп, мой повелитель... — Ее лицо озарилось улыбкой. — Ты хочешь убежать от самого себя, от своих чувств. Ты хотел сказать, что любовь твоя чиста. Я знаю это. Я тоже чиста, чиста перед тобой своими помыслами. И все же я оказалась сильнее тебя... Нет, нет! Это ты, ты сказал мне об этом. А еще ты сказал, что там, где есть солнце, есть и тень. Ты не уйдешь от нее. Тень спасает от ярости огня. Я спасу тебя от тебя самого...» Поглощенная своими мыслями, она не заметила, как оказалась возле своего коня. Но слуга, кажется, не услышал ее шагов. Он дремал. Он не услышал ее размышлений вслух. Иначе что бы он подумал?

Она тихо окликнула его. Слуга встрепенулся. Вскочил и привычно набросил на плечи своей госпожи тонкую мужскую абу.

Осмелился спросить:

— Он здесь?

Бану мельком взглянула на него. Слуга помог ей сесть на коня.

— Он здесь, — сказала она уже в седле и направляя коня к городу. — После полуночи проведешь его в дом старого халдейца. И чтоб ни один соглядатай не знал об этом...

— Слава аллаху! — вырвалось у слуги.

— Ты понял меня, Хасан? — раздался резкий окрик Бану.

— Я понял вас, госпожа! Ни одна собака на улицах Дамаска не учует его запаха и не увидит его следов.

Бану усмехнулась, но никто не увидел ее улыбки. Она тронула каблуками бока коня, и скакун легко понес ее вперед. Слуга-раб еле успевал за ней.

Городская стража у ворот не смела остановить воина с прикрытым лицом в столь дорогом одеянии в сопровождении молодого и ловкого на вид раба-телохранителя. Кто знает: остановишь, а потом сам же окажешься виноват. Смутное время. Быть может, это Барид — гонец от самого халифа багдадского?

* * *

...Два дня он пробыл в доме старого халдейца. Только самые верные слуги да рабы хозяина знали о госте. Под покровом ночи приходила к нему сюда на свидание Бану. Приходила, когда после очередной и долгой беседы и трапезы со старым халдейцем Абу Наср уединялся в маленькой келье, находившейся в глубине двора. Здесь при тусклом огне светильника он нетерпеливо вникал в тайны строк. Книги отличались от всех знакомых ему прежде списков тем, что были сделаны рукою талантливого каллиграфа. Но, к сожалению, в первой книге — «Альмагесте» Птолемея — было много ошибок и пропусков. Перелистав дважды, он заметил, что в рукописи были и новые, не ведомые ему ранее главы...

Он был поглощен чтением, когда услышал тихий кашель. Оглянувшись, увидел, что у порога, в почтении склонив голову, стоит верный слуга халдейца — Иосиф. С таинственным видом слуга пригласил почтеннейшего гостя в достойную для его положения комнату, где его ждет знатная особа города. Абу Наср знал слугу по имени.

— Кто же эта особа, Иосиф? — спросил он.

— Я не смею произнести ее имени, мой господин, — ответил Иосиф и предупредительно начал собирать вещи Абу Насра — котомку, кипчаги, рукописи, давая понять, что сейчас Абу Насру не следует утруждать себя сборами бумаг, а нужно спешить. Абу Наср оделся.

Иосиф молча провел его мимо цветника и по глухому лабиринту тайного хода ввел в большую светлую комнату и тут же исчез, словно провалился сквозь землю.

Абу Наср догадался, что его ждет Бану. Чувство тревоги охватило его. Тревоги за нее. Как часто подвергает она себя риску. Войдя в комнату, он увидел в дальнем углу человека, одетого во все черное. Лицо было прикрыто чадрой. Абу Наср не ошибся. Это была Бану. Увидев его, она шагнула навстречу. Не открыв лица, торопливо заговорила:

— Тебя ищут! Ты должен явиться с поклоном к наместнику-султану или искать защиты у халифа правоверных. Иначе случайный удар кинжала из-за угла или намыленная петля могут настичь тебя! Я не хочу этого! Ты слышишь, мой Абу? Я уйду. Меня могут найти — и тогда... О аллах всемогущий, спаси нас! Тогда они могут напасть на тебя. Я уйду. Иначе я могу навлечь на тебя беду. Но не тревожься... — Она была слишком взволнована, речь ее стала сбивчива. — Не смотри на меня так пристально. На мне платье моей служанки. Я уйду, — повторила она. — Через день из Дамаска в Багдад выйдет караван. Хозяин этого дома поможет тебе. Я готова разделить с тобой все трудности, все опасности дороги. Я готова. Скажи только слово — и я твоя рабыня.

— Судьба «Братьев чистоты...» волнует меня, — сказал вместо ответа Абу Наср.

— О святой пророк! Что тебе до «Братьев...»?! Ты сам говорил, что их много. Всех не казнят. Но пусть об этом тебе скажет Хасан.

Она быстро прошла к потайной двери и распахнула ее. Свет упал на лицо старого Иосифа, стоявшего в глубине узкого прохода. Он учтиво посторонился, и перед Абу Насром, преклонив колени, предстал стройный, но плечистый юноша.

— Он — сын халдейца, его мать — дочь курда. Он будет тебе верным рабом, — сказала Бану. — Он будет предан тебе, как и мне, до самой смерти.

При словах «верный раб» Абу Наср прямо взглянул в лицо Бану.

— О аллах, какой же ты упрямый! Он твой верный друг, друг, а не раб. Он предан, потому что я еще в детстве спасла его от смерти, а затем от казни. Он будет твоей тенью, мой повелитель. Он любит и почитает тебя как мудрого учителя.

— Время уходит, словно вода сквозь пальцы, моя госпожа. Скоро сменится стража у ворот дворца, — подал голос старый Иосиф.

Бану слегка кивнула. Хасан с поклоном покинул комнату, закрылись двери потайного хода. Они вновь остались одни.

— Я ждалась ответа, мой повелитель, — Бану спокойно стояла перед ним, устремив взгляд в небольшую нишу в сте-

не, где находились песочные часы. Из-под черной джуббы¹ она вытащила белую розу.

— Эта роза из твоего сада. Она чище снега. Я должна получить ответ, пока не увянут эти лепестки. Ты слышал? До смены стражи осталось немного времени. Тебя ждет гнев отца, Абу!

— Мой путь жесток.

— Ты говорил об этом. Одно твое слово — и я решушь на все.

Абу Наср медлил с ответом. Он, как и тогда, в саду, боролся с самим собой, своими мыслями. Он не мог решительно сказать ей: «Нет!» Но и не мог сказать: «Да». И она поняла его.

— Я приду, жди! — Она на миг прильнула к нему и, тотчас освободившись из его объятий, скрылась за дверью.

* * *

Абу Наср устало опустился на мягкую кожаную подушку. Голова его отяжелела от дум. Бану не знает, что лепестки роз во сто крат слабее обыкновенной травинки. Маленькая стужа умертвит их, а жажда иссушит в один миг. Белые розы не растут там, где безводье или холод. Он редко встречал такие розы в родном Отраре, но, быть может, тогда, в юности, он мало обращал внимание на цветы? Цветы больше ценит старость... Зато он помнит, как прохладен и лучист первый снег в кипчакских степях, как он бодрит юношескую кровь, как манит вдаль, на охоту, на схватку с дикими зверями.

Ох, как упоительна охота на золотистых лис по первому снегу, когда кони с азартом рвутся вперед! Следы зверей по первому снегу четки, как строки арабской вязи на белых листах бумаги, изготовленной искусными руками мастеров из Самарканда... А охота на диких куланов! Зимой они бродят табунами в пустынях и степях близ Джендского моря, где мало снега и много корма. Защищая своих маток, кулан-жеребцы могут вступить в единоборство с охотником. Встав на дыбы, благородные животные принимают на себя удары пик, в их грудь вонзаются стрелы. Бывает, что охотники пытаются взять жеребца живым, и тогда тугая петля аркана начинает сжимать ему горло. Как бы он ни рвался, свободолюбивый кулан, как бы ни неистовствовал, человек одолевает его. Но все-таки кулан остается куланом и никогда не смирится, не покорится, не станет ходить под седлом. Свобода — его стихия...

Абу Наср закрыл глаза, воспоминания унесли его в родные степи, и он, казалось, ясно услышал воинственное ржанье вожака куланов. Он удивился столь четкому виде-

¹ Плащ, сотканый из черной шерсти.

нию. Затем взглянул на тихое, задумчивое пламя светильника, подошел к нему и развернул заложенные страницы «Альмагеста». Чтение не давалось. Тогда он раскрыл другую книгу. То был один из ранних списков песен древнегреческого поэта Анакреонта. И песни эти говорили об изящной любви, легкой и желанной, сопровождавшей самого поэта до глубокой старости. Сначала звучность и красота древнегреческого стиха увлекли Абу Насра, он прочитал несколько песен. Но слова поэта о любви вновь напоминали ему о Бану...

Книга так и осталась раскрытой.

Воспоминания уводили его из тихой, пахнущей кожей и воском комнаты в далекие годы юности. Вспомнился густой запах пота на рынках Отрара. Потом он пытался представить себе тот зиндан и цитадели Шама¹, где сейчас томятся те из «Братьев чистоты...», которые схвачены сыщиками и палачами владыки города.

Абу Наср знал расположение всех сторожевых башен крепости, ворот и тайных проходов. Среди строителей он слыл мастером — знатоком тайн древних строений Вавилона. К тому же именно по его проекту был создан таинственный фонтан-водопад в саду багдадского халифа аль-Муктадира — четвертого халифа Аббасидов и четырнадцатого халифа после Гаруна аль-Рашида. Тайнство и красота фонтана заключались в том, что, когда бы халиф и его великие визири ни приходили в сад, они всегда видели, как из высокого, облицованного мрамором дувала тонкой пеленой льется вода в запрятанные у фундамента желоба, а так как в прорези стен была вставлена слюда, то пелена воды отсвечивала и становилась то светло-голубой, то искрилась, переливалась радугой. Никто не имел понятия, откуда эта вода и как она могла подняться на эти толстые стены и литься сверху.

В саду было много прудов и мраморных бассейнов, и никто не знал, что чаша самого дальнего, самого глубокого бассейна расположена почти на уровне верхней кромки стены, где находятся ажурные ворота и откуда обычно начинается прогулка халифа по всему саду. Со дна этого бассейна к воротам вели глубоко зарытые в землю глиняные трубы. А так как напор воды в бассейне всегда держится на одном уровне, то и тонкий слой водопада на стенах никогда не иссыкает.

Халиф аль-Муктадир правит долго, уже пошел двадцать четвертый год со дня его восшествия на престол. Впрочем, ничто не вечно в этом мире. Вечно лишь знание, подумал Абу Наср.

Бывая в дворцовом саду наместника багдадского халифа

в Дамаске, Абу Наср не раз приглядывался к его стенам, дувалам и бассейнам.

Рвы и каналы окружали крепостную стену, где разместились дворцы и сады владыки. А внутри, так же как и в Багдаде, были разбиты сады, где находились бассейны с прохладной родниковой водой. Дворец наместника, которого горожане величали султаном, высился в центре, за второй стеной крепости. Вокруг дворца на почтительном расстоянии, за кирпичными оградами, стоят обвитые зеленью и утопающие в зелени и цветах дома, похожие на малые дворцы, в них обитали визири и казначеи, самые богатые вельможи города. Но даже они не смели переходить незримую черту и подойти к крутым стенам, за которыми находились гаремы, тронный зал и сокровищница султана. Гулямы, рабы и евнухи неусыпно охраняли покои главной цитадели.

Дом, в котором жила Бану, находился между внешними и внутренними стенами крепости. Узкая, не приметная для постороннего глаза, заросшая тропинка из ее сада вела к потайному ходу, проложенному под старыми стенами и выходящему к крутому обрыву в самом глухом, заваленном камнями и заросшем дикими деревьями месте.

Абу Наср знал этот ход. Однажды даже он воспользовался им. Тайну открыла Бану, когда нужно было незаметно вывести Абу Насра из крепости. Этот ход был известен только верным людям Бану...

Но что толку, что есть такой ход? Даже по нему невозможно проникнуть в ту часть крепости, где расположены зинданы и тюрьмы для тех, кого султан считал своими опасными соперниками и врагами. Где должны быть запрятаны схваченные «Братья чистоты...»? Кто же подает им руку помощи? Да и кто они, эти невольники? Как их имя?

Неизвестно, как помочь, да к тому же неизвестно, кому помогать? Даже тайные ходы искать бесполезно. Надо знать, каков корень, чтобы пересадить деревцо. Надо знать, кто именно из «Братев чистоты...» попал в руки наместника, прежде чем думать о его спасении.

Итак, круг замкнулся. Более того: Абу Наср знал, что нынешний султан не столько коварен и хитер, сколь труслив и жесток, мнителен. В каждом он видит бунтаря и злодея.

* * *

Страх, и именно за свою жизнь, за свой трон, еще более ожесточил наместника. С одной стороны, он боялся бунта черни, с другой — он страшился халифа и слал ему караван за караваном щедрые дары.

А дары он собирал со своих владений. Чем больше поборы, тем злее народ. И чтобы держать его в повиновении, наместник должен отдавать больше власти своим визириям,

начальникам тайной охраны, главе гулямов, городской полиции, сирийским и иудейским ростовщикам, богачам персам и курдским военачальникам, чтобы избежать их обид, чтобы они предотвращали бунт народа.

Каждый донос, каждый шепот об ослушании или намека на заговор вгоняет султана в страх. Он, не раздумывая, повелевает карать каждого, кто сеет смуту или только взят под подозрение. А тут еще прослышал он о некоем тайном сборище: они называют себя «Братьями чистоты...». И распространяют ересь среди правоверных. Вельможи Дамаска следят за каждым шагом, они требуют, чтобы отныне он не посылал даров самому халифу аль-Муктадиру. Хотят, чтобы Дамаск стал столицей, самостоятельным государством. Говорят, что дни багдадского халифа сочтены. И всему виной восстание карматов¹, которые обосновались в Бахрейне и повсюду вносят смуту, от берегов Джейхуна до Тигра и Евфрата — самое страшное! — даже совершают набеги на Мекку! Если раньше Дамаск считался воротами Мекки, если все паломники в Мекку шли через город, обогащая казну наместника, то ныне паломников стало меньше. Они не идут дальше Багдада, ибо боятся карматов. А те требуют имущественного равенства. И чтобы все рабы были государственными, и еще — чтобы все религии были равны...

Абу Наср улыбнулся, представив себе, как султан, боясь за свою жизнь, с каждым днем усиливает охрану дворца.

Впрочем, все это не ново. Так было и будет. Не только религиозно-кастовые распри, не только бунт рабов или дворцовые интриги влияли на судьбу владык. Всегда немалую роль играли в истории также конфликты меж людьми, говорящими на разных языках; так было в Вавилонии, так было между тюрками и персами в царстве Согдианы и Саманидов.

Такое происходит меж людьми и сейчас здесь: между предводителями арабов и персов, тюрков и сирийцев, армян, иудеев.

Все это Абу Насру знакомо. Знакомо с детства, с юношеских лет; так было и в его родном Отраре, за которым, с легкой руки арабских купцов, так и закрепилось название Фараба. Они там вели торговлю с купцами Хорезма, Китая и Саманидского государства.

Он был в те времена могуч, его город. Там встречались все караваны, идущие с юга, с запада и востока. Одним словом, «Фараб» — щедрый, зеленый, красивый, обильный. Сколько смысла заложено в этом древнем арабском слове. И сам Абу Наср в своих трактовках величал Отрар Фарабом.

Много, очень много лет прошло с тех пор, как он впервые покинул родной город, но он помнит тот день — день гибели отца, с которого начались все его заботы и скитания.

¹ Учасники восстания за равенство религий и за раздел имущества богатых.

Тот день, за которым осталась его беззаботная юность. Еще совсем свежи воспоминания и о недавних скитаниях по улицам Бухары и Отрара. Он не забыл о казни карматов в Бухаре...

* * *

Он помнит все — и недавние события, и далекое прошлое, помнит последние слова отца. И каждый раз перед его глазами возникает искаженное болью, залитое кровью лицо отца, его тускнеющий взгляд и пучок дармины в его мертвых руках...

* * *

Абу Наср тяжело вздохнул. Отодвинул в сторону раскрытые книги. Медленно встал с места и загасил светильник. В темноте нащупал кожаную подушку, подтянул ближе к себе и лег на ковер.

— О аллах! — снова вырвался вздох. — Как это было давно. А видения ясны, словно все это произошло вчера. И первый снег, и пучок дармины, зажатый в руках отца, и до боли родной, наполненный нежностью и мольбой взгляд Аниды...

* * *

Всю ночь он не мог сомкнуть глаз. Переворачивался с боку на бок. Вставал, прислушиваясь к тишине, вновь ложился. Воспоминания о прошлом, мысли о завтрашнем дне, о Бану, о «Братьях чистоты...» не давали ему покоя.

Да, Бану права: соперничество, зависть, предательство, коварство, ложь и правда — все совмещено в человеке. Бану права: даже среди «Братьев чистоты...» найдутся предатели, и нет силы, которая наделила бы человека одним лишь чувством добра. Человек двуедин, в нем всегда два начала — он палач и он спаситель; он тиран-сокрушитель и он творец-созидатель. Так было всегда. В людях нет единства. Судьба тех же тюрок из разных племен, что тогда, в юности, вместе с ним покинули родные края, лишь подтверждение тому.

В Отраре они соперничали, готовые перегрызть друг другу горло. На пути в Багдад они пугливо жались друг к другу. Такими они были и тогда, когда попали на службу к халифу... Они были едины, когда чувствовали в себе рабов-чужестранцев, когда их сковывал страх. Но во время войн и битв, во время подавления народного бунта каждый из них желал отличиться перед халифом, перед приближенными халифа.

Но как только одного из них назначали соглядатаем над другими, как только они почувствовали сладость побед, вкусили плоды предательства, как только у одного кусок оказался жирнее, чем у другого, — все началось сначала, и снова каждый готов был перегрызть горло другому.

Они, его соплеменники, были бесстрашными воинами в битвах и лицемерили друг перед другом в обычные дни. Такими их хотели видеть в халифате, этих тюрок-рабов, тюрок-воинов, защитников чужого добра. Такими их сделали. Такими они нужны были халифу, чтобы их руками испаривать горло соперников и держать в страхе непокорных...

Бедные и богатые, нищие и ростовщики сопутствуют друг другу в этом мире. Вечна борьба добра и зла...

Абу Наср встал. Уже светало. Он не мог больше лежать, заныли бока, онемела рука, подложенная под голову. Он подошел к маленькому окошечку, через которое в комнату прибывалась предутренняя свежесть.

Да, все в этом мире двуедино: день и ночь, солнце и луна, воздух и вода, дающие жизнь всем существам...

Мысли перескакивали с одного на другое. Он вспомнил, что все его соплеменники — кипчаки и коньратовцы — часто называли себя не по имени, а просто кассаками. «Кас сак» — два слова, слитые воедино. И каждое из них понятно любому тюркоязычному человеку. Кас — это враждующий, сак — это настороженный, бдительный. Его соплеменники подчеркивали, что человек всегда враждебен к другому человеку и потому он должен всегда остерегаться удара другого человека. «Кассак», «сак» — это слово впервые употребит Геродот, и потому историки древности, следуя Геродоту, называли соплеменников Абу Насра кочующими по необъятным степям от Едила¹ до Черной реки² «Геродотовыми саками».

Потому, наверное, и все воины, которые в юности вместе с Абу пришли на службу к халифу аль-Муктадиру, называли себя саками, вернее — кассаками, чтобы подчеркнуть свое отличие от других тюркоязычных народов. Но арабы все равно называли их гулямами — рабами, слугами...

За стеной слышался чей-то голос. Мысль прервалась. Абу Наср открыл двери, ведущие во двор. Уже было совсем светло. Птицы покидали деревья, на которых провели ночь. В глубине двора, за оградой, где находились конюшни, мелькнула голова Иосифа — старого слуги. Видимо, он отдавал распоряжение рабам. Под ветвистым платаном, возле небольшого фонтана, бьющего из круглой мраморной чаши, лениво прихорашивался павлин. До восхода солнца оставался еще целый час. Наступила пора утреннего намаза.

Абу Наср подошел к фонтану, ополоснул руки, омыл лицо и не заметил, как возле него оказался Хасан с полотенцем в руках.

— С грядущим днем, мой господин, — юноша почтительно склонил голову.

— А, это ты, брат мой? Благодарение аллаху, прошла еще

¹ Волга.
² Иртыш.

одна ночь,— спокойно ответил Абу Наср, утирая лицо. Он тут же у фонтана собрался совершать намаз.

Хасан быстро принес ему походный коврик, отошел в сторону и, расстелив на земле черный платок, последовал примеру своего господина.

— Есть ли новости, Хасан? — спросил после намаза Абу Наср. Спросил, вслушиваясь в голоса горлинок и тонкое пощелкивание павлина, который, завидев своих курочек, весь преобразился, засверкал перьями и веером раскинул хвост. Спросил просто так, чтобы отогнать свои тяжкие думы, отвелчесья.

— За домом госпожи установлена двойная охрана. Ей запрещено покидать свои покои.

— Откуда такие вести?

— Раньше, чем утренняя заря высветилась на небосклоне, здесь побывала Тана, мой господин. Она пришла в сопровождении черного раба-евнуха...

— Тана — это любимая служанка Бану, ее подруга. Она моя соплеменница, Хасан,— перебил его Абу Наср.

— Истина в ваших словах, мой господин. Тана роднее родной сестры для нашей госпожи. Она прибежала в слезах. Торопилась. Страх овладел ею. Страх за свою госпожу, которой велено не переступать порог и не выходить из дома до тех пор, пока на то не будет воли ее отца, главного визиря грозного повелителя нашего города.

— Говори яснее!

— Вчера вечером великий визирь послал человека к своей дочери, чтобы пригласить ее на междлис гостей, прибывших из Халеба. Но госпожа не вышла к нему. Она не могла выйти, мой господин...— Хасан посмотрел на Абу Насра.— Ее не было дома. Она пришла домой позднее, пробралась через тайный ход. И когда великий визирь вторично послал за ней человека, она вышла к нему, поблагодарила отца за приглашение и сказала, что в столь позднее время не может явиться к гостям, что у нее болит голова. Великий визирь послал лекаря и, узнав от него, что дочь просто устала, решил наказать ее за ослушание, удвоил охрану и приказал впредь не покидать крепости без его разрешения.

— Значит, великий визирь не знал о том, где была Бану?

— Нет, мой господин, Тана говорит, что никто не знает об этом. Тана передала послание госпожи для вас,— Хасан поднес Абу Насру маленький мешочек, украшенный узорами серебряных ниток, там лежало письмо и несколько золотых дирхемов.

Абу Наср молча смотрел на дары. Смешанное чувство стыда и тревоги пробудилось в нем. Бану, хотела она того или нет, напомнила ему о бедности, о том, что он собрался в дорогу, не имея за пазухой ни единой монетки. Но как она смела! И пищу, и кров он всегда добывал сам; за свои

труды он мог устроиться караванщиком, наняться писцом или счетчиком к купцу либо толмачом, наконец!..

Конечно, он понимал, понимал сердцем, что Бану не хотела, даже не думала причинять ему боль. Она любит его и хочет облегчить дорогу в Багдад. Ради этого она может пожертвовать не только дирхемами. Ведь она собиралась ехать вместе с ним, она требовала его ответа, его согласия...

Постепенно им овладела тревога. Тревога за Бану. Он понял, что ни Тана, ни Хасан не могли знать всей правды. Быть может, вчера ночью соглядатаи обнаружили отсутствие Бану в крепости? Быть может, они попытались дознаться, где и с кем была Бану, и ей теперь грозит суровое наказание? Конечно, отец любит ее, но у визиря тоже много врагов, и он боится их насмешек; ради своей чести он не пощадит даже дочь, свою единственную дочь, которую, не в пример другим, старался воспитывать решительной и свободной, дав ей знание, приучив к избранному обществу двора, исполняя все ее капризы. Великий визирь был рад, когда она вышла замуж за одного из высших сановников Дамаска, богатого перса-военачальника. Но она рано овдовела. Ее мужа убили взбунтовавшиеся рабы на негрских холмах, где чернокожие невольники осушали солончаки, где земля бела не только от соли, но и от костей погибших рабов из Африки. Бунтовщики были жестоко наказаны. А Бану, оставшись одна с огромным наследством, ведение всего хозяйства доверила, по совету отца, молчаливому сирийцу — беспрекословному исполнителю воли великого визиря. Что же будет с Бану, если этот сириец или кто-нибудь из других соглядатаев дознался о ее связи с бродячим философом, с тюрком Абу Насром?

Как жесток этот мир! Он отнимает у него Бану, единственного друга, вновь пробудившего в нем любовь! Пусть он, Абу Наср Мухаммед аль-Фараби, до этого тысячу раз отказывался от ее любви! Пусть он, Абу Наср Мухаммед аль-Фараби, считал и считает, что муж, посвятивший себя лишь науке и ведущий жизнь отшельника, должен остерегаться любви, остерегаться любящей, ибо любовь часто бывает слепа и жестока. Пусть! Но он понимает, что без чьей-либо привязанности и преданности, без истинной любви, даже слепой и жестокий человек не может жить, не может творить. Он должен знать, что его кто-то любит, что любовь его жива.

Абу Наср посмотрел на Хасана и, словно увидев его впервые, удивился тому, что тот стоит рядом. Он машинально отдал Хасану мешочек с деньгами.

— Возьми, оставь себе...

— Я понял, мой господин. Все будет готово в дорогу. Любая стража за один дирхем не заметит нас... — быстро проговорил Хасан, пряча мешочек.

— Готовься в путь... — прервал его Абу Наср и унес письмо Бану в комнату, чтобы прочесть наедине.

«Слова мои обращены к тебе, мой повелитель, владыка сердца моего! — писала Бану. — Пусть простит нас аллах. Он один спаситель тех, кто взывает о помощи. Одному всемогущему и всезнающему аллаху известно, как вечно пламя моей любви к тебе. Он, создатель всего сущего, вселил этот огонь. Ведь все, что случается, случается по воле аллаха. Я в клетке. Тебя ждет дорога. Завтра гулямы владыки снова выйдут на сбор хараджа¹, и одному аллаху ведомо, сколько крови прольется, сколько непокорных заполнят темницы. Спеши, пока дороги Дамаска карматам, иудеям и огнепоклонникам... Торопись, повелитесь мой, аллах милостив. И когда он раскроет передо мною двери, если на то будет его воля, я найду тебя, мой Абу».

Мелкой, торопливой, но четкой вязью на белом листе бумаги было написано ее письмо. Бану не называла своего имени. Но Абу Наср знал ее почерк. И сейчас, видя перед собой эти строчки письма Бану, он ясно представил, как Бану, его Бану, в тревожной тишине ночи писала это письмо. Она волновалась, боялась, что могут схватить Тану, что ее письмо не дойдет до его рук, и потому скрыла свое имя...

Он ясно представил, вернее, зримо ощутил побледневшее от усталости и напряжения, от тревог и волнений лицо Бану. Родной, единственной. И сердце Абу Насра сжалось, забилось сильнее, как когда-то в молодости.

И, чтоб как-то взять себя в руки, сохранить спокойствие, он попытался думать о другом, о том, как он покинет этот город, город, который стал родным благодаря Бану. Живя в этом городе или в его предместьях, он знал, что где-то близко за стенами крепости живет Бану, и одна эта мысль всегда успокаивала его. Только сейчас, в эти минуты, когда ему предстояло вновь покинуть Дамаск, он осознал всю полноту той любви к Бану, которая жила в нем. Жила, несмотря на то что он тысячи раз пытался освободиться от нее. Убеждал себя, говорил ей, что любовь не может быть спутником человека, посвятившего себя поискам знаний, поискам истины.

Прав, прав был Платон! Или же Сократ? А может быть, Калликл? Но это не суть важно, кто именно, а важно то, что кто-то из великих говорил: поиски любви — это поиски единства двух начал, совместность желаний, ибо любовь в своем проявлении лишь тогда любовь, когда два «я» сливаются в единое «я».

Каково-то сейчас бедной Бану, что тревожит ее? Или она наконец-то забьется крепким сном, или проливает слезы... Не успокоится она, пока он не покинет Дамаск. Но и тогда

¹ Налог за имущество, а также налог с верующих.

будет ли ей спокойнее? Бесконечные смуты, дворцовые перевороты, грызня между религиозными фанатиками, бунт рабов, волнения среди гулямов...

В письме сказано о новом сборе хараджа. Всякий раз он сопровождается побоями строптивых горожан и деревенских бедняков — гончаров и скорняков, пахарей и мирабов. Для пополнения казны халифа, а также запасов наместника, кадия и государственных вельмож и для содержания войска у людей отбирают скот и птицу, хлеб и финики, последние дирхемы и последнюю пряжу. Да, права Бану, нужно торопиться, чтобы не видеть новых побоев на площадях города, не видеть стонущих матерей и отцов, чьих детей будут увозить в рабство за неуплату хараджа.

Но лучше ли жизнь в Багдаде? Может, направиться в Иерусалим, Амман, Мыср или Александрию?.. Всюду одно и то же...

Ночные воспоминания, письмо Бану, неясность того, что творится вокруг, — все это запутало мысли Абу Насра. Он впервые почувствовал себя заброшенным, одиноким, словно ладья без весел в пучине океана.

Нет, нельзя предаваться размышлениям. Надо собрать в котомку все трактаты, отложить на время работу над ними и выйти на площади города послушать людей, увидеть все своими глазами и уже тогда выбирать дорогу на Багдад. Да, вновь в Багдад, в Багдад, потому хотя бы, что там еще остались в живых поэты, что там с упоением слушают сказки, сказки «Тысячи ночей», завезенные сюда персами и индийцами еще во времена первых халифов и переложенные на арабский язык, переделанные и переименованные в угоду мечте народа о хороших халифах и в угоду самим халифам, а может быть, в назидание им говорящих о сказочно добрых делах царей и шахов?.. Багдадцы как дети, они слушают эти сказки и верят им. Они называют свой город «городом мира», хотя история не помнит, чтобы там когда-либо царило умиротворение и спокойствие. Но не это главное, главное — в том, что он может найти и встретить там духовных отцов «Братьев чистоты и друзей справедливости»...

Абу Наср улыбнулся этой внезапной мысли и радостно потер руки. И когда в комнату вошел хозяин дома — старый халдеец, — он тут же озадачил его таким вопросом:

— Друг мой, в твоих руках много нитей... Ты знаешься с купцами и учеными, тебе известны многие тайны не только дамасского наместника, но и самого повелителя правоверных. Так скажи мне: смогу ли я увидеть в Багдаде в живых Абу Сулеймана, Абу аль-Хасана, Абу Ахмеда и, самое главное, светлый и мудрый лик Зеид бну-Рифаа?..

— На все воля творца нашего, кем бы он, этот творец, ни был... — медленно ответил хозяин. — Багдад не Дамаск, и халиф не наместник. Он повелитель всех правоверных и хранитель всех мудрых и глупых, даже мы — да что мы, —

даже дети Заратуштры и многие поклонники Будды ныне зависят от него, мой мудрый гость...

— Окажи мне помощь, мой друг и брат. Научи меня праведностью обрести благую мысль. Так говорил Заратуштра. Я повторяю его слова. Я покидаю Дамаск, я иду в Багдад, мой щедрый хозяин, — произнес Абу Наср.

— Сказал Заратуштра: «В какую землю мне бежать, куда я направляюсь?» Мне не след знать о ваших намерениях, мой мудрый гость. Я поклонник знаний. Смогу ли я помочь человеку, обладавшему великим сокровищем разума? Если да, то я готов услужить вам. Но путь в Багдад сейчас будет труден и далек. Вновь воспряли карматы. Они всюду. Всюду увидишь их знамена со словами из девятой суры священного Корана: «Бог купил у верующих жизнь и их имущество, платя им за них раем...»

— Но эти слова были и на знаменах аль-Баркауи, и на знаменах восставших зинджей¹, создавших свое государство, требовавших отмены рабства, но не давших свободу рабам и от того погибших... — возразил Абу Наср.

— Карматы требуют общности имущества и религии, отмены хараджа...

— Пусть сбудутся их желания, — сказал Абу Наср.

— Я не слышал ваших слов, мой мудрый гость. Рабам не может принадлежать то, что есть мое. Карматы правы лишь в одном: у каждого свой бог, своя религия и каждый волен поклоняться своему богу.

— Но добродетель должна быть одинакова для всех, плоды дерева должны быть доступны всем. В этом карматы тоже правы. Таково учение и «Братьев чистоты и друзей справедливости», — сказал Абу Наср.

— Я еще раз не услышал ваших слов, мой гость! — воскликнул старый халдеец. — И не знаю «Братьев...», и далек от карматов, и склоняю голову перед милостью наместника повелителя правоверных, который наделяет меня своим вниманием. Я счастлив, что он, как и кади всего Дамаска, принимает мои дары. Их враг — мой враг. Я готов уступить вам две старые книги, с которыми вы коротали ночь, если труды свои оставите у меня на хранение. Я их отдам переписчикам и продам лишь копии. Вам же они не нужны в дороге. Я сказал, что ваш путь будет труден.

— Но он, этот путь, не труднее, чем дорога к повелителю Саманидов Нуху и обратно, — возразил Абу Наср.

— Вы тогда исполняли волю повелителя правоверных халифа аль-Муктадира, — сказал хозяин. — На обратном пути вы обошли Багдад.

— На то была причина.

— Прекрасная Бану... — Старый халдеец хитро улыбнулся. — Но она дочь великого визиря и нынче сидит в клетке.

¹ Чернокожие рабы, выходцы из Африки.

Абу Наср прямо и сурово взглянул на хозяина. Их взгляды встретились.

— Спокойствие украшает мудрость, — сказал халдеец. — Отец не знает тайны дочери. Мои стены глухи и немые.

— Я вновь предстану перед тронем халифа аль-Муктадира и попрошу свободы для нее, — проговорил Абу Наср, направляясь к своему кипчаги, лежавшему рядом с котомкой.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Познавай причины вещей.

Гераклит

— Воистину, как говорили древние, простодушью мудреца позавидует малыш, — проворчал Хасан, подгоняя своего усталого коня, чтобы не отстать от других.

Уйти из дворца халифа, где столько богатств и наслаждений, собственноручно лишить самого себя всех почестей и благ и так вот скитаться по пыльным и знойным дорогам в поисках тени, прячась в караван-сараях, каждый день рискуя подвергнуться нападению разбойников или беглых рабов... Нет, не поймет он своего господина. О, прости, аллах, за дерзостные мысли! Но все же куда мы едем? В Багдад или не в Багдад?

— Эй ты, сын халдейца, чьей матерью была курдская красавица! — окликнул Хасана рослый, широколицый тюрк Санжар, голос которого всегда вызывал у Хасана чувство страха. — Какие заклинания ты повторяешь или молитву на ходу читаешь?

Санжар был весьма суров на вид, а его щетинистая борода не могла скрыть глубокого шрама на правой щеке, резкой чертой тянувшегося от уха к подбородку. И еще, быть может, оттого появлялось это чувство страха у Хасана, что Санжар когда-то был гулямом у самого халифа, за что-то был наказан и бежал из Самарры... Но как бы там ни было, Санжар почитал Абу Насра так же, как и он, Хасан.

— Куда мы едем? — спросил слуга у Санжара, взяв себя в руки.

— До рая далеко, а ад повсюду вокруг нас, — неопределенно ответил Санжар. — Не правда ли, Зухейр?

Юный сириец придержал своего коня.

— Правда твоя, почтенный брат мой, — ответил Зухейр. — Но не будем нарушать спокойствие Учителя, — кивнул он в сторону Абу Насра, который не слышал их разговора или же не обратил внимания.

Конь ровной иноходью уносил его, погруженного в свои мысли, вперед. Все трое сопровождавших ехали на почтительном расстоянии. Хасан не решался опережать Санжара и Зухейра, однако, как только на дороге появлялись люди — бродяги, гонцы, погонщики караванов, пастухи или работор-

говцы, под усиленной охраной ведущие бедных зинджей на рынки Дамаска, Аммана или Иерусалима, — Хасан прищипывал коня и ни на шаг не отставал от Учителя. Весь подобрившись, как пантера, готов был в любую минуту защитить своего господина от любых оскорблений, от любого нападения.

Прошло больше недели с тех пор, как Хасан по приказу своей госпожи, прекрасной Бану, которую он почитал как свою спасительницу, стал слугой и рабом Абу Насра. «Во имя аллаха, во имя любви моей повелеваю тебе, — наказывала она, — будь щитом для Учителя, если на него враг направит свой удар; стань поводырем, если он, не приведи аллах, ослепнет; стань рабом, если он прикажет! Будь опорой и защитником для него, стань его слухом, его зрением. Оберегай его».

И хотя прошло немного времени с тех пор, как Хасан впервые увидел Абу Насра, но кажется, что он, Хасан, — сын погибших от холеры раба-халдейца и рабыни-курдянки, спасенный от голодной смерти милостью Бану, обученный грамоте и воинскому делу, — знал Учителя всю свою жизнь.

Кажется, не дни, а целые месяцы он провел с этим странным, добрым и, как думалось ему, наивным, как ребенок, человеком.

Собственно, Хасан не чувствовал себя ни рабом, ни слугой. Учитель ни разу не оскорбил, не унизил его. Абу Наср не был для него ни хозяином, ни господином. Даже грозный на вид и грубоватый Санжар поступал с ним, как равный с равным.

Хасан оберегал Учителя как родного отца, а быть может, и больше, чем родного отца. Кто знает, каким был бы его отец, если бы остался жив?..

Хасан не слышал от Абу Насра резкого слова или окрика. Учитель почти всегда был задумчив. Во время коротких привалов он мало отдыхал. Разделив вместе со всеми трапезу, послушав болтовню Санжара, он уединялся. А Санжар, наполнив свой желудок, запросто укладывался где-нибудь в тени деревьев и, подложив под голову седло, тут же засыпал мертвецким сном. Зухейр в такие минуты старался быть ближе к Учителю. В первые дни встречи он лишь слушал Абу Насра. А потом стал его собеседником, порой даже спорил с ним. Но когда Учитель спрашивал его о чем-либо, он смущенно умолкал или же горячился и говорил невпопад. Часто во время беседы — это тоже Хасан отметил про себя — повторял слова своих бывших учителей, называя их имена во всей полноте и с почтением.

— Как говорил старый Абу Сулейман Мухаммед бну-Харун аз-Занджани: аллах не сотворил ничего, кроме сотворенного. А это в свою очередь было доказано великим Абу Ахмед ан-Махраднури в его трактатах к трудам величайшего аль-Кинди...

Зухейр часто называл имена Аль-Ауфи и Зеид бну-Рифаа, ссылаясь на их трактаты и послания, называя их «повелителями духа и разума». С восторгом рассказывал он о своих днях, проведенных в «Сокровищнице мудрости» — в библиотеке Багдада, некогда основанной халифом Гаруном аль-Рашидом. Увлеченно цитировал стихи Абу Наваса и Хасана Сабита...

Учитель всегда слушал собеседника не перебивая, но однажды — то ли на второй, то ли на третий день после выезда из Дамаска — он все же прервал Зухейра, когда тот уж слишком увлекся воспоминаниями:

— Ты помнишь, брат мой, слова Сократа? Когда один красивый юноша вошел в круг его собеседников и долго молчал, Сократ сказал: «Теперь, чтобы я мог тебя увидеть, скажи что-нибудь...» Помнишь ли ты, что ответил тогда юноша Сократу?

Зухейр смущенно умолк.

— Я увидел тебя с первых же твоих слов, мой брат, — продолжал Абу Наср. — Путь разума жесток, он труден даже для сильных, но порой и слабый обретает силу на этом пути. Я шлю благодарение создателю за то, что встретил тебя, мой друг. И «Братьям чистоты и друзьям справедливости», и их ученикам признание мое...

Зухейр подошел к Учителю и, раскрыв ладони обеих своих рук, положил на них тяжелую руку Абу Насра и прикоснулся к ней губами.

— Я весь в вашей власти, мой Учитель, я счастлив быть вашей тенью.

Зухейр еще о чем-то говорил Учителю, говорил до тех пор, пока Абу Наср осторожно не перевел беседу в другое русло. Хасану, конечно, хотелось до конца послушать их, но нужно было напоить коней и проверить сбрую, кожаные сосуды и наполнить их свежей водой. А тут еще Санжар, как всегда, раздобыл откуда-то кувшин вина и полную чашу сирийского арака. Так что в тот раз Хасан не дослушал разговор Учителя с Зухейром до конца.

Но как бы там ни было, Зухейр понравился Хасану. Он не был похож на тех ленивых отпрысков знати, которых Хасан немало перевидел на своем веку. Скромность, простота, неприхотливость и удивительное дружелюбие отличали Зухейра. Он всегда был предупредителен в общении не только со старшими — Абу Насром и Санжаром, но и с Хасаном. И тот был благодарен создателю не только за то, что стал слугою Учителя, но и за то, что обрел при этом таких друзей, как Санжар и Зухейр.

Многое услышал и многое увидел Хасан за эти дни. Если раньше вся его жизнь проходила среди слуг и рабов, если от него требовалось лишь молчаливо сопровождать и зорко охранять свою госпожу во время ее кратких выездов из Дамаска, то теперь он стал равным сотрапезником и собесед-

ником этих ранее не известных ему и не похожих друг на друга, впервые познакомившихся, — если не считать того, что Санжар и Учитель, по их собственным словам, когда-то вместе служили при дворе повелителя правоверных, — друг с другом людей.

А встретились они еще до выезда из Дамаска — вначале с Зухейром, а потом, перед тем как выбраться из города, с Санжаром. И вот как все это происходило.

Прежде чем покинуть город, Учителю хотелось во что бы то ни стало обрести полный текст трактата Абу Бакра Мухаммеда Рази «Опровержение религии». Обвязав голову простой чалмой, подобно бедуинам и сирийским крестьянам, он перекинул через плечо свою котомку, обвязался кушаком, крепко пристегнул к седлу свой курджун, плотно завернутый в тряпку, кипчаги, сел на коня и, к удивлению Хасана, спокойно выехал со двора, где они провели ночь. Он направился прямо к центру города, туда, где сливались все семь улиц Дамаска, где расположились заезжие дворы, караван-сарай. А дальше — знаменитый дамаский базар.

Хасан неотступно следовал за ним. Ему с детства были знакомы темные лабиринты этого древнего крытого базара. Он не раз приходил сюда в свите своей госпожи или же выполнял ее поручения и никогда не мог насытить своего любопытства, ибо здесь сходились пути всех купцов, всех караванных троп, идущих с востока и запада, с юга и севера, из Кордовского халифата, из царства Саманидов, из Китая и Индии... Сколько пряностей, сколько диковинных товаров и каких только людей не встретишь здесь! Заискивающие носильщики и свирепые гвардейцы городской охраны, менялы и сводники, перекупщики товаров и нищие, рабы и бездомные бродяги, калеки и молчаливые бедуины — всех можно было встретить на этих узких, заваленных товарами улицах. Своим острым, пронзительным взглядом стражники ощупывали каждого чужестранца и каждого сирийца, словно взвешивая его состояние и проникая в его душу. Порой они хватали кого-нибудь, выволакивали из толпы и, не обращая внимания на вопли и слезные мольбы, уводили несчастного, подталкивая остриями пик. Порой бросались избивать толпу, услужливо помогая телохранителям какого-нибудь знатного господина расчищать дорогу перед свитой своего хозяина.

Медлительные верблюды, слоны, арабские скакуны пробивались сквозь массу людей. Одни — привычным шагом, другие — подчиняясь воле седока, наезжая на зазевавшихся ротозеев и сбивая их грудью. Пыль, чад, всевозможнейшие запахи, рев верблюдов, скрип телег, барабанная трескотня бродячих музыкантов... И монотонное, бесконечное «алла, алла, ал-ла-ла...» несчастного паломника, обобранного неизвестно где и неизвестно кем, — все это смешалось воедино, создавая то самое людское море, которое зовется дамаским базаром.

Хасан не решался ехать впереди Абу Насра, но ему не следовало и отставать от него, держаться же рядом ему было трудно, то и дело он вынужден был сторониться встречного потока людей. Собственно, тут каждый продвигался вперед как мог. Огромные тюки на верблюдах, идущих навстречу, могли легко столкнуть встречного всадника с седла. Но все же Хасан умудрялся не отставать от своего господина, от Абу Насра.

Он боялся, что городские стражники или еще кто-либо узнают Учителя, что кто-то может заподозрить их. А в чем? Об этом Хасан и сам не знал толком. По рассказам своей бывшей госпожи он знал, что Учителю грозит такая же опасность, как и тем, кого называют «Братьями чистоты и друзьями справедливости». А тут еще его дурманили эти пряные запахи, дым жаровен, обилие всяких яств на углях да оглушал этот гвалт.

Хасан немного успокоился лишь тогда, когда выбрались из основного потока и попали в лабиринты крытых улиц.

Оглушенные звоном молотков о металл и глотая горький дым кузнечных мехов, они проехали по оружейному ряду, где изготавливали знаменитые сабли из дамасской стали, копья и щиты. Когда дорогу преградила толпа носильщиков с огромными тюками обработанных бараньих шкур на головах, Учитель остановился и загляделся на двух кузнецов-оружейников. Потом, когда проход был освобожден, молча поехал дальше. Он не обращал внимания на выкрики торговцев, которые, цепляясь за стремя, старались показать ему свой товар.

Но вот уже остались позади ряды чеканщиков, ткачей, портных, брадобреев, лудильщиков, скорняков, мясников. Всадники протиснулись сквозь белую толпу паломников, направляющихся в Мекку, и, минуя ряды, где шла торговля золотом, серебром и жемчугами из Басры и Йемена, оставя позади шумный базар, выбрались наконец в узкий переулок.

Сразу стих шум, над головой снова палило солнце. У высоких стен дремали воины городской стражи. Они были совсем не похожи на тех своих собратьев, которые хозяйничали на многолюдных улицах и в лабиринтах базара. Лениво и скорее из простого любопытства, нежели из-за подозрения, лишь мельком, словно отдавая необходимую дань, посматривали в сторону Абу Насра и Хасана.

Под навесом, в айване, потягивая хуку¹ и перебирая четки, сидело несколько стариков. Толстяк в засаленной чалме, с засученными рукавами рассказывал им какую-то историю, а мальчонка-раб подливал в его пиалу горячего чая. «Видать, хозяин, — подумал Хасан. — У него за монетку можно тянуть хуку до одури».

Улочка еще больше сузилась и свернула влево. Вдали замаячили вершины горы Касьон. С дувалов, сжимавших улочку с обеих сторон, свисали виноградные лозы, а за дувалами виднелась густая зелень садов и возвышались кроны финиковых пальм.

Учитель остановил коня у неприметных ворот. Не покидая коня, постучал плеткой. Никто не откликнулся. Он снова постучал, крикнув:

— Есть ли кто-нибудь в этом дворе?

Из небольшой двери, вделанной в дувал справа от ворот, неожиданно появился рослый и широкоплечий юноша-сириец в длинной, почти до пят, рубахе и в круглой шапочке из тонкой белой кошмы, надвинутой на копну черных волос. Любопытство и настороженность были в его взгляде.

— Вам кого, почтенный?..— Юноша не мог закончить фразу, ибо не знал, кто стоит перед ним — простолюдин или богатый купец, городской вельможа или странник.

— Разве здесь не знают, что мусульманину не приличествует допрашивать гостя перед своим порогом? — улыбнулся Учитель. — Скажи, брат мой, здесь ли живет мастер Махмуд?

— Здесь... — ответил юноша, немного замешкавшись, и тут же исчез, плотно закрыв за собой дверь.

«Не богач и, по всему виду, не сын богача, — подумал Хасан. — А волосы не стрижены, чудно все-таки. Ведь его накажут за это. Простолюдину не положено носить волосы».

Для Хасана странным было и поведение Абу Насра, который говорил, что ищет книгу, а сам даже не заглянул в книжный закоулок базара, приехал сюда и стоит теперь перед незнакомыми воротами и ждет какого-то Махмуда. Удивляла и излишняя его беспечность — не обращает внимания на городскую охрану и делает вид, будто не знает о соглядатаях, которые могут оказаться везде, и даже в этом доме. Ведь сейчас по всему городу ищут еретиков карматов и таких вот странных книжников, как новый хозяин Хасана. Эх, госпожа Бану, и зачем только отдала ты своего слугу этому непонятному человеку, который не послушался тебя, пренебрег твоей любовью да еще оставил в трудный час? Если бы твой верный слуга остался с тобой, он защитил бы тебя от всех бед, сам пошел бы в петлю, под нож, чтобы спасти свою госпожу! Кто же теперь остался с тобой, кто верен тебе? Одна лишь Тана? Но она женщина. Что же может она? Хитрость у нее да красота, запрятанная под темным платком. Слов нет — она честна и верна. Хасан часто ощущал биение своего сердца, когда стояла рядом Тана; ему всегда хотелось быть смелым и сильным перед ней. А теперь? Что теперь сможет Хасан? Ничего! Он не сможет сказать ей о причудах своего сердца... и не сможет постоять за свою госпожу, за Лал Бану.

А время в Дамаске трудное, страшное. Султан объявил войну всем бунтовщикам и еретикам, он блюдет чистоту

веры, честь правоверных мусульман. (О аллах, убереги своего раба Хасана от страшной кары!) Хоть бы отпустил, освободил бы его этот Учитель! Хасан был бы вечно благодарен ему и помчался бы к своей госпоже, лег бы у ее порога.

Но госпожа велела никогда не покидать этого непонятного человека, защищать его и оберегать, не щадя своей жизни...

Скрип ворот прервал мысли Хасана.

Все тот же черноволосый юноша впустил их. В тенистом дворе было тихо и прохладно.

Учитель слез с коня и передал поводья Хасану. Черноволосый указал на тропку, ведущую под навес к коновязи, затем оглядел улицу и, убедившись, что никто не наблюдает за ними, накрепко закрыл ворота изнутри. Хасан хотел было следовать за Учителем, но тот приказал отвести коней под навес. Юноша пригласил учителя в глубь сада.

У беседки, куда из-за густоты зеленых листьев не пробивались солнечные лучи, его встретил белобородый старик.

— Чем я заслужил ваше внимание, мой досточтимый гость? — спросил он, усаживая прибывшего на мягкие баряные шкуры, расстеленные на тахте в беседке.

— Для меня нет выше чести, чем увидеть знаменитого каллиграфа Дамаска мастера Махмуда, чьи руки сделали достоянием всех читающих мужей ростки разума, заложенные в бесценных книгах мудрых, — ответил Абу Наср.

— Он перед вами, досточтимый гость. Слова твои словно бальзам для моей души. — И старый Махмуд придвинул и Абу Насру кожаную подушку.

— Слава аллаху, на свете еще немало людей, для которых таинство слов ценнее золота, — сказал Абу Наср, обеими руками пожимая руку мастера.

— Мир тебе, незнакомец. Пусть удача сопутствует тебе всюду. Но я не видел тебя раньше. Что же привело ко мне столь знатного мусульманина? — сказал тот и, степенно взглянув из беседки, крикнул: — Эй, кто там? Саид! Принеси чаю и лепешек!

— Я искатель знаний. Тропа привела меня сюда, к хранителю бесценных даров разума. Чтобы освоить дорогу тех, кто идет по свету в поисках добродетели и стремится воздать добро людям.

— Дороги людей загадочны, мой брат. У каждого свое сердце, свой разум, свой путь. А мера наших знаний — это мера наших трудов и страданий. Наша жизнь в руках аллаха всемогущего и всезнающего. Все мы его дети, его ученики и рабы. Он всемогущий судья наш, только он может указать нам истоки познания. И он един! Я раб аллаха, как и ты. Судьба наша в его руках. Добро людям лишь от него одного...

— Но ведь и он тоже плод мыслей и желаний человека, — возразил Абу Наср.

Старый мастер отшатнулся:

— Твои слова дерзостны, мой брат. Пусть аллах простит меня. Я не услышал твоих крамольных слов. Но если ты послан ко мне верными слугами повелителя правоверных и посланца аллаха на земле, чтобы испытать меня; если ты, почтенный, один из тех, кто, не щадя живота своего, оберегает спокойствие халифата от всякой ереси, и если ты — глаза и уши великого султана Дамаска, то я безмерно рад, мой брат, мой высокочтимый гость. Я верный слуга халифата и султана. Я собиратель священных писаний о пророках и могу раскрыть перед тобой книгу пророка нашего Мухаммеда, переписанную моей рукой. Да благословит нас аллах и придаст нам силы! Да казнит он в аду всех неверных, карматских еретиков!

Старец говорил теперь спокойно и твердо, чуть полузакрыв глаза. Казалось, что он не оправдывался перед незнакомцем, появление которого насторожило и обеспокоило его, а исповедовался сам перед собой. От внимательного взгляда Абу Насра не ускользнуло то, что черноволосый Саид вовсе не слуга, а сын хозяина. Подав чаю, лепешек, сушеного винограда и фиников, тот бесшумно исчез. Учитель краем глаза отметил, что хозяин осторожно переставил с одного места на другое опахало из павлиньих перьев, прислоненное к стенке беседки.

Саид направился в глубь сада.

Абу Наср заметил, что там, в глубине сада, куда ушел Саид, за листьями сливовых деревьев мелькнули две тени. И почувал, что там не воры и не соглядатаи, а люди, нашедшие приют и убежище в доме старого мастера Махмуда. Быть может, это молодые толкователи священных писаний, философских трактатов и одаренные каллиграфы — ученики Махмуда. И наверное, старый Махмуд боится не за себя, а за них, за своих учеников, ибо какой он мастер, если у него не было бы учеников, продолжателей его дела?

От этой мимолетной мысли об учениках Абу Насру стало вдруг тоскливо до боли; он почти физически ощутил свое одиночество, ощутил пустоту вокруг себя. И вспомнил о Бану — о своей прекрасной Бану, живущей где-то рядом и оказавшейся сейчас такой далекой и такой беззащитной в этом мире недоверия, подозрительности и страха. Где она сейчас, что с ней? Он медленно перевел свой взгляд на Махмуда, прямо взгляделся в его глаза. Мастер непоколебимо ждал, что скажет гость.

— Мне не нужна книга пророка, — спокойно, весомо и прямо ответил Абу Наср. — Мне не нужен Коран. Я не соглядатай и не палач. Мне нужен полный текст трактата Абу Бакра Мухаммеда Рази «Опровержение религии». И еще. Я не богат и не беден, не ростовщик и не купец, я могу уплатить лишь два золотых дирхема за этот трактат. А тайна его купли и продажи уйдет из Дамаска вместе со мной.

Я скиталец, верь моему слову, мудрый и великодушный мастер.

— Кто ты, чужестранец, осмелившийся усомниться в словах непревзойденного каллиграфа и писца, который пользуется благосклонностью и покровительством самого великого султана — мудрого наместника халифа в Дамаске? — твердо проговорил Махмуд, не сводя глаз с лица Абу Насра. — Меч возмездия ждет тебя! Нынче ересь казнят, нынче льется кровь карматов и «Братьев чистоты...», которые запутались в сетях Азраила. Не гневи аллаха и его тень на земле — повелителя правоверных! Я слышу речь безумца, ставящего трактат Абу Бакра превыше святого Корана... Знаешь ли ты, мой досточтимый гость, что Абу Бакр казнен в Рее по приказу самого халифа?!

— Я был в Рее после его казни, — спокойно ответил Абу Наср. — Его мысли не подвластны халифу.

Старик промолчал.

— Твои сомнения напрасны, мастер Махмуд, — устало и, казалось, равнодушно сказал Абу Наср. — Да, действительно настали тяжкие времена, если соловьи уподобляются сорокам, если страх рождает неверие даже в сильных, если сокровища мудрости держат под замком от жаждущих знаний. Да и чему удивляться? — И он встал, намереваясь уйти.

— Гостю не подобает уходить из дома, оставив хозяина в неведении, — уже мягче, словно заглушая свой гнев и обиду, сказал Махмуд. — Ты не назвал своего имени, не назвал своего племени.

— Я искатель знаний.

— Я знаю всех ученых, живущих на берегах Барады, Тигра и Евфрата...

— Я не араб, не иудей, не сириец и не перс. Я тюрк из племени кипчаков. Мое имя Абу Наср Мухаммед ибн Мухаммед из города Фараба.

Седой Махмуд степенно поднялся с места, выпрямился и снова всмотрелся в лицо незваного гостя. Снова встретились их взгляды. Тонкие, жилистые пальцы правой руки старца быстро и бесшумно перебирали четки.

— Чем подтвердишь ты имя свое? Или это вызов, дерзость?! Если ты назвал это имя, будучи недостойным его, то будь ты трижды оруженосцем халифа, палачом или согладатаем, то и тогда, видит аллах, мастер Махмуд не убоится прогнать тебя со двора.

Абу Наср улыбнулся.

— Великий мастер, я не так уж мудр и не так смел, чтобы согладатаи и палачи Дамаска знали мое имя. Я простолюдин, бывший воин и гулям и подтвердить могу свое имя лишь любой строчкой аль-Кинди, изречениями Сократа в описаниях Платона или стихами Абу Наваса и словами Гераклита об огне и космосе... Аристотель же мой учитель... По твоему выбору, славный мастер. Но знай, мое время сейчас течет

как песок в стеклянном сосуде. Последняя песчинка может превратиться в скалу Джабраила и преградить мне дорогу из Дамаска. А если палачи султана придут сюда, то знай, мастер, мы оба окажемся в цепях.

— Аллах всемогущ! Спокойствие и терпение, Учитель! Султан пока милостив к своему слуге Махмуду, — сказал Махмуд, торжественно подчеркивая последнее слово. Маска отрешенности и спокойствия слетела с его лица. Опустив четки, хозяин дважды хлопнул в ладоши и позвал: — Саид!

— Я здесь, отец!

— Смотри внимательней, чтобы по улицам не бродили ослы и с дувалов не торчали уши. Накорми слугу гостя, напои коней и дай им овса. Прошу вас, Учитель. Благодарение создателю, что он сегодня не обделил меня радостью, пригласив такого гостя, как вы. И хотя время летит быстротечно, а ваш путь еще далек, я не могу так скоро расстаться с вами. Будем терпеливы. Суета — удел других. Мои друзья помогут вам выйти из лабиринтов Дамаска, я же хочу раскрыть перед вами все свои сокровища — все свои книги...

Они вошли во внутренний дворик, прошли в глубь сада по узкой крытой аллее, над которой свисали гроздь винограда, цветы и сливы, миновали запрятанную в зелени беседку с маленьким фонтаном, где сидели трое молодых людей, склонившихся над раскрытыми книгами, уложенными на низкие деревянные подставки, — в руках у них были тростниковые каламы, рядом на гладких досках лежали золотисто-белые листы египетской бумаги.

— У них острый глаз, они чувствуют красоту слов и изящество букв. Великий султан доволен их работой и заказал еще три экземпляра священной книги, — сказал Махмуд, приглашая гостя в прохладную комнату и указывая на почетное место.

На низком круглом столике стояла плоская медная чаша, наполненная сушеным миндалем, фисташками, орехами, финиками, изюмом и другими плодами. Слуга-зиндж по знаку Махмуда принес чаши с теплой водой для омовения рук, поддал полотенце.

Не успел Абу Наср помыть руки и усесться поудобнее, как перед ним уже стояла чаша с пловом, чайник с мятым чаем, а на скатерти лежали тонкие мягкие лепешки. Хозяин сам принял из рук слуги кувшин с вином.

— Пусть войдет Саид! — наказал слуге Махмуд и наполнил вином чашу из тонкой меди, сплошь покрытую чеканными узорами, по которым можно было догадаться, что изготовлена она мастерами из Рея.

Вошел Саид.

— Сын мой, скажи Зухейру, чтобы он принес нам то, что уложено под пергаментами, а также трактат Абу Бакра, что привезен из Басры...

Пока Махмуд говорил с сыном, Абу Наср огляделся.

Пол комнаты был устлан изысканным персидским ковром. На стенах висели ковры из Мекки и Медины. На одном из них был выткан рисунок: символ суннитов — Черный камень из Мекки, на другом: ладонь пророка Али — символ шиитов. «Да к кому же принадлежит сам хозяин — к суннитам или к шиитам? ¹» — подумал Абу Наср, но не стал об этом спрашивать Махмуда.

А слуга уже внес в маленьких чашах свежий ароматный бульон, куски горячей баранины, приправы и закуску из ранних овощей, поставил еще один низкий широкий стол и заполнил его яствами. Абу Наср отпил глоток вина и, оторвав от грозди маленькую виноградинку, очень долго разглядывал ее.

— Земля Дамаска плодородна, она происходит от вулканических лав, и в этой виноградине бродит сок, достойный вдохновения самых больших поэтов, — сказал Махмуд, перехватив взгляд гостя. — Вы назвали имена поэтов Абу Наваса и Хасана ибн Сабита. Они любили вино и женщин, не верили в потустороннюю жизнь, как и карматы.

— Всякое сравнение возможно, досточтимый Махмуд. Но сравнение полезно, если оно вызвано с целью внести ясность в предмет спора. Я назвал их имена не для того, чтобы сравнить их с карматами, а чтоб завоевать ваше доверие. Современником Хасана ибн Сабита был и поэт из Мекки Кааба ибн Зубейра. Они оба были сподвижниками пророка Мухаммеда. Кааба ибн Зубейра вначале высмеивал ислам и самого пророка как несостоявшегося поэта, а после перешел на сторону Мухаммеда, за что пророк наградил его своим плащом. И это стало традицией в исламском мире — награждать поэтов халатами и плащами за услужливость. Хасан ибн Сабит стал еще более услужлив, чем Кааба ибн Зубейра, он так ревностно воспевал учение Мухаммеда, что сам пророк повелел, чтобы поэту всегда выделялась часть военной добычи, хотя тот никогда не участвовал в походах и битвах. А разве дела карматов схожи с деяниями тех двух поэтов? Разве карматы не требуют свободы для всех сект и каст в исламе, свободы религии и равенства имущества? Разве они не дают своих толкований Корану? А те поэты слепо верили пророку или, быть может, просто поддались славе пророка и стали его тенью... А что касается вина и женщин, то самым неизменным их поклонником был сам пророк Али. И потому, как известно, Мухаммед, гневаясь на Али, сказал, что правоверному мусульманину не следует пить вино и украшать свои стены в спальнях непристойными картинками...

— О всемогущий, прости нас за столь обнаженную суть наших речей! — торопливо проговорил хозяин. — Я преклоняюсь перед логикой вашего разума, мой мудрый гость. Оставим в покое и поэтов и карматов. Я говорил лишь о поэте

Абу Навасе, любимце Гаруна аль-Рашида. Но сей разговор не для слуха юных поклонников знаний, — добавил он, заметив, что в комнату вошел высокий юноша с тонким лицом и вперил в гостя удивленно-восторженный взгляд. Затем почтительно склонил голову; на его руках лежал шелковый сверток, а поверх свертка — книга. Махмуд подошел к нему, взял книгу и почтительно передал ее Абу Насру.

— Это то, что вы искали, — трактат Абу Бакра о религии. Примите ее как мой дар. Я счастлив предложить ее вам...

Абу Наср с благоговением принял рукопись, раскрыл ее и тут же увлекся чтением. Он не заметил, как Махмуд бережно взял из рук юноши оставшийся сверток и, развернув его, вытащил еще одну книгу, раскрыл ее, положил на кожаную подставку, стоящую в углу. Кивком головы Махмуд предложил сесть юноше и сам, заняв место напротив Абу Насра, молчал, разламывая теплые мягкие лепешки.

Абу Наср наконец оторвался от чтения, взглянул на Махмуда и, словно спохватившись, неторопливо проговорил:

— Ювелиры и чеканщики, кузнецы и гончары оставляют творения своих рук поколениям как память веков, безмолвную память. Они достойны великих похвал. Но какова же должна быть хвала и цена труда тех, кто кропотливо и любовно, бережно и нежно переписывает книги! Они раскрывают и расчищают дорогу для знаний сквозь невзгоды и жестокость тысячелетий, чтобы разум предков передать потомкам, и тем самым заставляют вести беседу, спорить, опровергать или продолжать дела великих мужей прошлого. Наверное, родится когда-нибудь поэт, который восславит труд переписчика-каллиграфа, без которого давно бы оборвались нить истории, развитие науки, забылись бы слова Сократа, стихи Гомера и трактаты Аристотеля, мысли аль-Кинди и стихи Абу Наваса... Твой труд благороден, Махмуд, прекрасна цель твоя, твой калам тклет узоры вечности, в которых заложены дыхание, разум, смятение и счастье, любовь и жестокость, поиск, страдание и радость людей. Позволь, мастер, отныне называть тебя шейхом не за старость и не только за мудрость, а за благословенные дела твои. И пусть отныне твои ученики зовут тебя «мудрым мастером», учителем-шейхом. И пусть поддержит меня в этом наш юный друг, — Абу Наср обратился к юноше.

Юноша смущенно встал с места и поклонился в знак согласия.

— Его зовут Зухейр. Он не только переписчик книг, у него интерес к наукам и открытиям, — сказал Махмуд. — Благодарение аллаху за столь великую радость! Благодарение вам, Учитель, за ваши слова. Видит создатель, вы во сто крат превысили меру даров, которые я смог бы получить за свои труды даже у самого богатого и щедрого заказчика. Ваши слова вдохнули в меня силу, окрылили меня. Но если труд каллиграфа подобен труду человека, воздвигающего мосты

времени, то ныне, в это время смут, уже родилась поговорка, которая гласит, что чернила ученого должны цениться наравне с кровью мученика. Переписывая книги, мы наслаждаемся красотой слога ее создателя, восхищаемся глубиной его мысли, его разум источник для нашей собственной жизни. Он утоляет жажду ищущего, подобно живительной влаге Зем-зема. И мы как водоносы, которые наполняют свои бурдюки из источника Зем-зема и по чаше раздают воду паломникам, чтобы они продолжили свой путь по пустыне. А источник для нас, для дел наших — это ваш разум и разум тех, кто подобен вам... Но что же это я? Зухейр! Налей нам вина, гостя потчуют не только словами... А теперь позволь мне, Учитель, спросить: как вы нашли мой дом, кто привел вас?

— Мне указал ваш дом старый халдеец, страстный любитель книг и древних пергаментов, знаток всех тайн Дамаска и хранитель всех богатей Дамаска, — ответил Абу Наср.

— А, эта хитрая лиса, заказчик и перекупщик книг, — успокоился Махмуд. — Он же ростовщик. А книги — его слабость.

— Я был у него. И еще вчера собирался покинуть Дамаск, но, когда настал час отъезда, халдеец сказал мне, будто халиф объявил, что теперь начнется самая жестокая расправа над исмаилитами, ибо карматство исходит от них и от всех книжников, от ученых и поэтов.

— Остановись, Учитель! Откуда знать ростовщику о тайнах халифского двора?

— Ваши суждения могут быть логичны лишь в том случае, если великий султан действительно еще не знает о новом приказе халифа... — ответил Абу Наср.

— Я потрясен вашими словами и вашим спокойствием, Учитель! Вы говорите о повелителе правоверных словно о простолюдине. Но вы знаете могущественного аль-Муктадира, знаете не только об его жестокости и коварстве, но и о его почтении к наукам и поэзии. Аль-Муктадир завидует славе Гаруна аль-Рашида и походам трех халифов Омейядов, прославивших Дамаск, — Муавия, Абд аль-Малика и Хишама. Так может ли он отдать приказ казнить всех ученых и поэтов?!

— Мой бог один — истина. Та истина, ради которой, презрев все страхи, ты продолжаешь свою работу, переписывая и тем самым увеличивая число книг, запрещенных повелителями правоверных; та истина, которая ведет нас по окровавленным дорогам, рождая презрение к палачам, кем бы они, эти палачи, ни были — молчаливыми гулямами или владыками, воспетыми в панегириках поэтов.

Сколько книг написано о них?! Писали индийцы и персы. Сколько дастанов, сколько сказаний есть у персов: и «Худайнамэ», есть «Большая шах-намэ» и «Тарихи Систан», — и все эти книги о владыках. И во всех этих книгах персы говорят

о величии духа персов, а книги арабов говорят о величии арабских владык. И вы, мастер, продлеваете жизнь этих книг. Во имя чего, спрашивается?!

Чтобы люди узнавали истину сквозь строки. Чтобы помнили имена палачей и их жертв. Я тоже хочу написать книгу. Книгу о правителях, но о правителях благородных, таких, какими они должны быть. Вот почему мне интереснее читать Абу Бакра, нежели заниматься воспоминаниями о благодеяниях халифов...

Долгие годы ушли, безвозвратные годы, — продолжал Абу Наср, отпив глоток вина. — Я попал в Багдад в пору своей юности и, видимо, был тогда подобен ему, — Абу Наср кивнул на Зухейра. — Прекрасная пора надежд и разочарований, пора мечты о подвигах и открытиях. — Абу Наср на миг закрыл глаза, отдавшись во власть далеких воспоминаний. Исчезла его подтянутость. Он стал похож на глубокого старца, мучительно думающего о чем-то своем. Махмуд не тревожил его. — Годы как цепи на ногах и свинец в груди. Хочется покоя. Но время торопит, — задумчиво произнес Абу Наср.

— Учитель, вы говорили о халифах и о своей юности. Мы слух и внимание. Ваш рассказ даст радость открытия этим молодым людям — искателям знаний, ученикам «Братьев чистоты...». Я уверен, что время, отданное им, в будущем не вызовет сожалений у вас, — сказал Махмуд.

Тут только Абу Наср с удивлением заметил, что в комнате собралось уже несколько молодых людей с пытливыми глазами, подобных Зухейру.

— Хоть меджлис начинай. Но предмет беседы должен быть иным... — оживился Абу Наср.

— Воистину вы правы, Учитель. — Махмуд встал. — Сам создатель помог нашей встрече с вами: здесь собрались те, кто первыми в Дамаске раскрыли страницы сей бесценной книги, и с того часа, с того дня на устах и в мыслях наших лишь она одна.

Зухейр и еще один юноша взяли с подставки книгу, которой еще не видел гость, и передали Махмуду, а тот — Абу Насру, который с почтением принял книгу, взгляделся в страницы, поднял голову.

Стояла тишина. Абу Наср вновь склонился над книгой, торопливо перевернул еще несколько страниц. Он был потрясен.

Это был его, Абу Насра, труд! Это была его книга. Да еще какая! Именно та, которую он считал навсегда потерянной, сожженной Саманидами или разорванной. То была его «Талим ас-сани...» («Второе обучение...»). Книга, за которую он чуть было не поплатился жизнью.

Но откуда она здесь? Где, когда и кем она переписана?.. Ведь он был уверен, что ее, книги этой, больше нет. Ведь он не смог тогда, в те тяжкие дни, вывезти, вернее, унести с собой из Бухары единственный экземпляр, который был

написан им собственноручно. По приказу нового шаха Саманидов Нуха книга была тогда отнята у него...

Абу Наср встал с места и с книгой в руке подошел к Махмуду.

— Вы сегодня принесли мне радость, мастер. Вы словно великий волшебник вернули мне то, что я считал навсегда потерянным, вернули мне силу и веру в бессмертие добрых дел. Я не знаю, как отблагодарить вас! Но как это удалось, каков путь этой книги, кому я обязан тем, что она найдена, сохранена, переписана и доставлена сюда, в Дамаск?

— Ты ошибаешься, Учитель, книга перестала быть твоей в тот миг, когда ты поставил в ней последнюю точку. Разум и знание, вложенные в строки на бумаге, перестают быть достоянием одного человека. Даже того, кто вложил в нее всего себя, свои знания и разум. Не вы, а мы должны воздать хвалу аллаху всемогущему, давшему вам здоровье и силу для таких трудов. Это бесценный дар разума людям. Я теперь знаю, почему вас заинтересовал трактат Абу Бакра о религии. Но коль вы спросили, какова мера оплаты за эту встречу с вашей книгой, то у нас у всех лишь одно желание — сегодняшний день вы отдадите нам, мне и моим ученикам. Мы хотим услышать ваши беседы о Бухаре и Багдаде, о том, как родилась эта книга. И еще: вы должны собственно подтвердить, что переписчик не искажил слов и мыслей, — сказал Махмуд.

Абу Наср заметил, что у дверей стоит Хасан. У него выждающий взгляд.

— Мой спутник чем-то встревожен. Говори, Хасан, каковы твои вести? — обратился он к слуге.

— Не обессудь, господин, за беспокойство. Но по улице ведут карматов, на них цепи. Во всех кварталах ищут бунтарей и книжников, отбирают их имущество. Я слышал слова тех, кто вел карматов в зиндан. Один из них сказал, что у всех ворот усилена стража и хватают каждого, кто вызывает у них подозрение. Говорят, будто такова воля халифа... А к вечеру все ворота города закроют совсем...

Саид подтвердил слова Хасана.

— Спокойствие и терпение, — сказал Махмуд, вглядываясь в лицо гостя. — Придется переждать.

— Я не верю ни в чудеса, ни в рок! Но как же понять это совпадение? — проговорил Абу Наср, обращаясь к Махмуду. — Точно такие же слова сказал мне слуга в Бухаре, когда я, завершив сей труд, поставив последнюю точку и находясь во власти приятной усталости, испытал ту великую радость, которая присуща пахарю, собравшему добрый урожай. Тогда ко мне ворвались посланцы Нуха и повели во дворец к новоявленному владыке Саманидов. Скажи, мастер, может ли повториться все точь-в-точь, как было? Нет! Ибо тогда случайность могла бы стать закономерностью по отношению к одному и тому же существу во время жестоких

столкновений зла и добра в утробе одного и того же государства.

— Все в руках создателя, досточтимый Учитель, — сказал Махмуд. — Мы не в силах изменить ход событий. Терпение — вот суть всех решений и всей веры человечества. Я главный переписчик и каллиграф султана и наделен его защитой. Мой очаг неприкосновенен. Не будем торопиться...

— Ты прав, мастер, — Абу Наср устало опустил на свое место. — Сегодня закрыты дороги перед нами, а завтра эти дороги будут наши — в этом тоже суть, суть противоречий. Нам сегодня не до городских сует и не до забот владык. Предадимся беседе.

— Вы уже начали свой рассказ, Учитель. Мы с нетерпением внимаем вам, — торопливо вставил юный Зухейр, смущенно покраснев. Абу Наср внимательно взгляделся в его лицо.

О разум великий, о первый сущий, что за лицо? Откуда оно знакомо? Где он видел раньше такого же юношу?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Знание — это око человека
в прошлое и будущее...

Воспоминания, воспоминания...

Они часто уводили Абу Насра в мир пройденных дорог, заставляли заново пережить радости и горести, встречавшиеся на долгом жизненном пути, и порождали бесконечные раздумья. Память Абу Насра была удивительно щедра. Она могла восстановить любое событие минувшего до мельчайших деталей, но в то же время, подчиняясь течению и логике его мыслей, она выделяла из тысяч лиц и из многих событий то, что было связано с увиденным и пережитым в данное время, что было схоже с событиями дня...

Вот и сейчас, взяв в руки «Талим ас-сани...», он вспомнил все события, связанные с ее написанием. А увидев Зухейра, который передал ему книгу, подумал, что он, этот юноша, удивительно похож на того юного саманида, которого он видел на площади в Бухаре.

Как все схоже и не схоже в этом мире! Юный саманид в тот далекий день, не страшась палачей, на глазах у всех бухарцев, подошел к ослепленному поэту и, положив его руку на свое плечо, молча увел из Бухары. И никто — ни палач, ни стража — не посмели помешать ему, этому тонколицему, безусому, смелому юноше. А он, Абу Наср, стоял тогда в толпе иноземных послов и вельмож, плотно окруженных воинами Нуха, и не знал, не ведал, чем закончится тот день — казнью на площади, или ослеплением, или вновь поведут в темницу, или же просто отхлестают плетью и прогонят вон...

Но знает аллах, в те минуты, стоя на площади в Бухаре, он не думал обо всем этом. Он смотрел вслед ослепленному поэту, который, положив руку на плечо юноше, почувствовал опору, гордо подняв голову к небу и осторожно ступая, уходил из Бухары. Поэт был обвинен в карматской ереси — так гласил приговор. Но истина была еще и в другом. Поэт любил. Он полюбил рабыню Нуха. Казнили не только за бунт, но и за любовь.

Абу Наср знал поэта Абу Абдулхасана Джаффар ибн Мухаммеда ибн Хаким ибн Абдаррахман Рудаки.

Абу Абдулхасан был единственным человеком в жизни Абу Насра, с которым он при первой же встрече почувствовал родство духа.

Абу Наср увидел его в первый раз в тронном зале владыки Саманидов Наср ибн Ахмеда, куда он попал вместе с иноземными послами и купцами в свите посла багдадского халифа. В тот день Нух, сын Насра ибн Ахмеда, по приказу которого ослепили поэта, тоже сидел на троне, установленном рядом с троном отца.

...Абу Наср задумчиво наблюдал за искусством волшебника из Небесной империи, любовался пластичностью танцев красавиц Хиндустана и нежностью юных хорезмиек, слушал персиянок...

Под могучими сводами тронного зала перед владыкой Саманидов, перед знатью священной Бухары и перед послами иноземных царей звучали песни и музыка многих народов. Но особенно взволновали его танцы таразских красавиц и музыка старца из Отрара.

То были первые дни его пребывания в Бухаре, первые дни в родном краю после долгой, долгой разлуки. Здесь совсем рядом, на границе Саманидского государства с Великой степью, на берегу Сейхуна, а по-кипчакски — на Сырдарье, стоял его родной город, родной Отрар, откуда он еще в юности, после гибели отца, направился в далекий Багдад.

* * *

Это случилось в год снежного барса, в месяц быстроногой лани. Однажды ранним утром Абу Наср был поднят с постели гонцом отца, который еще накануне выехал в степь с сотней дружинников из своего племени и теперь приглашал сына принять участие в охоте на куланов, лисиц и волков.

Абу Наср не мог послушаться. Отец редко вспоминал о нем при жизни матери. А теперь всячески старался держать сына около себя, чтобы преподавать уроки военного искусства, хотя к тому времени Абу Насру уже минуло восемнадцать лет и он уже слыл метким стрелком, отличным копьеметателем, ловким борцом и хорошо владел саблей.

Отец знал обо всем этом, и конечно, родительское тщеславие было бы удовлетворено, если бы не увлечения сына.

Знать грамоту, знать языки арабов, персов и греков, знать дари и хинди или язык иудеев — куда ни шло. Дружиннику, гуляму, а тем более полководцу — отец мечтал его увидеть таковым — такого могучего города, как Отрар, стоящего на перекрестках всех дорог, нужно знать, о чем пишут или о чем говорят враги. Языки нужно знать еще и для того, чтобы вести переговоры с послами или даже самому стать послом, если на то будет воля владыки города.

Со временем сын мог стать не только великим воином кипчаков. Но для всех этих дел хватит знания языков. А читать?!

Мусульманин должен знать лишь одну святую, небесную книгу — Коран. А уважать он должен лишь силу меча, ибо только сила может дать власть и заставить людей уважать тебя. Только перед святыми строками Корана должно поклоняться!

Но его сын читает какую-то ересь! Так говорят люди.

Сын якшается с бродячими греками, индусами, китайцами, иудеями, проводит время не где-нибудь среди рабынь-красоток, не в кругу отцовских дружинников, а в хранилище древних рукописей. Сидит там целыми днями, выполняя приказания облезлого, полунищего старика со слезливыми глазами, которому владыка поручил хранить эти никому не понятные огромные книги.

Отца тревожило то, что его Абу — упаси аллах! — превратится в какого-нибудь безвольного писца или презренного сочинителя хвалебных песен, за которые платят дирхемами. Подобные сочинители часто угождают лишь тем, в чьих руках плеть, они податливы, бессильны и похожи на псов, которые скулят и виляют хвостом, когда хозяин в гневе бьет их, и с остервенелым лаем бросаются на каждого, когда хозяин, подбросив жирную кость, перстом прикажет обляять друга или врага.

Отец опасался, что его Абу не испытает сладости побед на поле брани и азарта дележа военной добычи, не познает победного, упоительного ликования у костра, не ощутит тех услад, которыми одаривают своих победителей пленные невольницы, рабыни.

Конечно, в отце порой пробуждалась гордость, когда ученые мужи Отрара говорили о щедром даре постигать науки, ниспосланном его сыну самим алахом. Но все же ученье ученьем, а сила силой, ибо ученье тоже служит силе. Это знает он, вождь кипчакских племен, которых побаивается сам великий владыка города. Сила владеет миром, меч помогает управлять людьми. Только сила, вселяющая страх в людей, держит в повиновении и тех, кто живет в городах за толстыми стенами крепостей, и тех, кто кочует в степи. Даже в Ко-

ране сказано, что слабый должен покоряться сильному. На то воля аллаха.

Так рассуждал отец, великий воин Мухаммед ибн Тархан ибн Узлаг ат-Турки.

Отец был разгневан. Узнав о том, что Абу не счел нужным сопровождать его на первую осеннюю охоту, он отправил за ним своего личного гонца.

Вот почему гонец ворвался в покои юного Абу Насра.

Отпив свежего кобыльего молока, закусив куском куланьего мяса и просяной лепешкой, Абу вскочил на скакуна и в сопровождении таких же, как и он сам, молодых воинов выехал за главные ворота Отрара. Стража проводила их удивленными взглядами — куда же в такую рань направилась молодые дружинники?

Первые лучи солнца только что коснулись лазурного купола недавно отстроенной главной мечети, возвышающейся в центре цитадели города, когда Абу уже мчался в нескольких верстах от города, миновал поселения пахарей, тесным полукругом прижимавшихся к Отрару с севера.

Гонец, сменивший коня, пытался было опередить Абу, чтобы указывать дорогу к стоянке отца, но сын вождя кипчаков был похож на отца, он не любил, когда чужой конь опережал его. Да к тому же Абу сам неплохо знал места охоты отца.

Отрарский оазис был не только благодатным краем для земледелия, там находились огромные заросли турангового леса и камыша, где в изобилии водилась дичь.

Миновав сады и хлопковые поля, свернув в сторону от троп и дорог, Абу направил скакуна на обширную равнину, густо заросшую шиповником, слоновой травой, облепихой, барбарисом и турангой. Равнина кое-где была изрезана оврагами, а порой вздыблена мохнатыми холмами. На холмах росла таволга, сопутствуемая пахучими кустами дармины...

То были девственные места обширного Отрарского оазиса, где можно было неожиданно встретить стадо обитающих в зарослях тугая кабанов, а там, где начиналась ковыльная часть степи, встретить табун диких куланов; можно было при случае сойтись с глазу на глаз и с тигром. Что же касается золотистых фазанов, ожиревших куропаток и других птиц, то их в этих краях водилось великое множество. Но охотились на них редко: вожди презирали такую охоту.

Абу торопился. Под яркими лучами солнца быстро оттаивала тонкая пелена снега, укрывшая землю два дня назад. Воздух был свеж, сухой ветер бил в лицо.

Близился полдень, когда наконец достигли места охоты. Гонец первым увидел четкие следы коней дружинников Тархана.

...Долину, которая с востока на запад пересекала древняя, ныне уже заросшая и потому едва заметная дорога, ведущая из Тараза в Дженд, покрыла слегка подтаявшая пелена первого снега. Четко выделялись следы копыт.

Судя по следам, отец сделал здесь остановку и разделил своих дружинников. Одну группу загонщиков он послал в обход слева, другую — справа. А сам с остальными медленно поехал прямо в ожидании сигнала к охоте, когда появятся вспугнутые загонщиками куланы.

Вглядываясь в следы коней и в едва заметные очертания древней дороги, Абу поймал себя на том, что он вовсе не думает об охоте, что ему хочется свернуть в сторону и скакать по этому древнему пути к Джендскому морю.

Куда она приведет? Прямо к морю, или к устью Дарьи, или же к холмам погибшего города? Ведь старые люди говорят, что от Дженда — от этого великого города древности — не осталось и следа, что Сейхун, меняя русло и разливаясь, поглотил этот город, сровнял его с землей. Говорят, что после первого затопления города Сейхун на какое-то время оттянул от Дженда свои воды, и люди попытались вновь обжить Дженд, но увидели, что город стал царством змей, и покинули его навсегда. А потом Сейхун вновь потопил его.

Когда это было? Великий город, давший свое имя безбрежному морю в степи, не мог исчезнуть бесследно...

Погруженный в свои мысли, Абу не заметил, как проскакали расстояние еще с полфарсаха. Но вот он увидел, что опередивший его гонец вдруг слетел с седла и, как дворовый пес, забегал на четвереньках. Оказалось, он разглядывает комья глины и снега, взрыхленные копытами множества коней, следы большого количества всадников, проехавших здесь после дружинников отца.

— Аруах, ханабах! — Крик гонца скорее был похож на визг побитой собаки. Поднявшись во весь рост, он вскинул руки к небу. — Тархан окружен войском врага! Спаси нас небо! Спаси аллах!

Абу Наср хлестнул коня плетью. Скакун грудью снес с дороги гонца. Уставший, взмыленный белый конь на последнем дыхании рванулся вперед. Абу свернул в пересохшее в давние времена русло Сейхуна и повел своих друзей по его дну.

Когда промчались расстояние в один фарсах, острый слух Абу уловил пронзительные крики схватившихся насмерть воинов. Он круто повернул коня и выскочил на белую от снега равнину. Снег и солнце слепили глаза. Он видел лишь дружинников Тархана, яростно отбивавшихся от наседавших врагов.

— Я здесь, отец! — вскричал Абу.

Его конь встал на дыбы. Передние копыта на мгновение повисли в воздухе. Выкатив покрасневшие глаза, скакун,

казалось, примерялся, в каком месте вклиниться в яростную сечу.

Напавшие на отца заговорщики, считавшие, что ни одна живая душа не знает о их коварном замысле, были потрясены увиденным: сам сын Тархана примчался на помощь отцу на белом скакуне во главе отряда молодых бойцов — сыновей городской знати, жаждущих подвига на поле брани. Но самое страшное было то, что за сыновьями могли подойти отцы со своими телохранителями и наемными воинами. Значит, и отрарская гвардия Тархана уже в седле и мчитесь сюда.

Ужас обуял их. Часть бросилась прочь, не слушая окриков и угроз своих предводителей, стремясь скорее укрыться в камышах и оврагах.

Тонкая стрела со свистом пронеслась мимо Абу, едва не впившись в его незащищенную грудь. Но уже в следующее мгновение он сорвал с седла щит и, защищаясь им от удара копья, выхватил из ножен свою острую кривую саблю, подаренную отцом.

Отбиваясь от ударов, он все искал отца. И наконец увидел его коня, окровавленного, с разорванными поводьями и перевернутым седлом. Ошалев от страха, животное вырвалось из гуши битвы.

— Отец! Где, где ты? — вскричал Абу не помня себя.

И Абу увидел: в стороне от других, волоча ногу, без шлема, отец отбивался щитом и мечом от наседавших на него двух знатных воинов. С искаженными злобой и звериным восторгом лицами они победно кружили над пешим, израненным Тарханом, как огромные орлы над загнанным волком. То были предводители коньратовцев, служивших в отрарском войске под началом отца.

Отец все же не был похож на волка, он отбивался молча, иступленно, с достоинством, как старый лев.

С устрашающим криком Абу обрушился на тех, кто так жестоко издевался над отцом. Друзья подоспели ему на помощь, и вскоре оба коньрата лежали на свежем снегу зарубленные.

Абу слетел с коня, успел поддержать падающего отца и только теперь увидел, что вражеское копьё разорвало ему бедро, сабельный удар разрубил плечо, лицо в крови. Кинжалом распоров кожаные штаны отца, Абу попытался остановить кровотечение жженым куском кошмы и жгутом. Ему удалось перевязать ногу, но кровь, хлеставшую из отцовского плеча, остановить не удалось. Отец умирал.

Собрав последние силы и не отрывая взгляда от лица сына, отец потребовал:

— Пить!

Глотнув воды, поднесенной сыном в ладонях, и зажав сведенными пальцами здоровой руки пучок пахучей дарми-

ны, отец уронил голову. Абу вновь приподнял его, подержал.

Бледные губы умирающего едва разжались:

— Кровь... Мечь. До конца...

Абу скорее понял эти слова по слабому движению губ, чем услышал.

* * *

Пучок дармины так и остался в руках Тархана, когда дружинники привезли его тело к воротам города.

...Неожиданная гибель главного военачальника не внесла какого-либо изменения в отрарское войско. Мятеж, убийства, межплеменные распри были привычным делом в среде тюрков. Кипчаки отомстили коныратам, устроив такую же засаду, и через месяц снова взяли верх, а их новый предводитель был удостоен звания тархана.

Тогда, после гибели отца, Абу вскоре почувствовал, как резко изменилось к нему отношение прежних друзей. Пожалуй, этому способствовало и то, что он не умел беречь свои доставшиеся в наследство богатства, они быстро разошлись по рукам. Не прошло и года, как родной город стал для него чужим.

Оставив свой дом и упрятав в складках одежды золотые дирхемы, Абу перешел в келью для молодых исламистов, расположенную во дворе главной мечети, чтобы отжаться любимому делу. Днем бил поклоны в пятикратном намазе и участвовал в споре толкователей Корана, а ночами упивался чтением древних трактатов по философии.

Однажды, услышав на рынке, как сладостно звучат мелодии индийских и персидских музыкантов, он еще больше, чем прежде, увлекся музыкой и тайком начал мастерить свой музыкальный инструмент. Пробовал создавать струны из конского волоса, из сухожилий и, наконец, испробовал, после долгой обработки, козьи кишки. Он впервые сыграл на новом своем инструменте печальную мелодию, которая родилась в его душе в день смерти отца и с той поры всюду неотступно преследовала его. Правда, звуки инструмента были грубоваты, но со временем Абу усовершенствовал его и смог воссоздать такие тонкие и нежные, а если надо, и такое торжественное звучание, как это получалось у индийских и персидских музыкантов. Инструменту он дал название кипчаги.

Как-то под аккомпанемент кипчаги он спел боевую песню о походах отца своим прежним друзьям — теперь сотникам отрарской охраны. Голос и игра Абу вызвали восторг воинов. Люди вновь заговорили о нем. А это навлекло на него гнев имама, видевшего в юноше лишь безропотного толкователя Корана, которому за его звучный голос была уготована участь муллы-чтеца в соборной мечети города.

И пришлось тайком бежать из Отрара, распрощавшись со своим верным и нежным другом — дочерью бедного скорняка Анидой, тайно навещавшей его по ночам и подолгу, часами слушавшей его тихие песни и рассказы о далеких загадочных странах.

Абу любил Аниду. Любил нежно, как слабое, незащищенное существо. Он плакал вместе с ней, когда решил покинуть родной Отрар. И ради нее, Аниды, он вновь вернулся год спустя в родные края, истратив последние медные дирхемы на книги, купленные у торговцев Бухары. Но он не нашел своей прежней Аниды. Бедный скорняк продал родную дочь быкоподобному мяснику.

Тогда Абу стал каллиграфом — переписчиком книг, чтобы собрать деньги и выкупить Аниду у мясника. Но не хватило терпения. И он решил похитить ее, но был пойман, побит и отдан под стражу.

Юношу ожидала казнь, если бы вожди кипчакских сотен, еще помнившие его отца, не вступились и не упростили владыку города помиловать сына бывшего тархана. Владыка был милостив, он отменил казнь и отправил Абу в Багдад во главе сотни молодых и рослых тюрков, отобранных из племен кипчаков, канглы, коньратов, уйсуней и джалаирав для пополнения рядов гулямов и телохранителей великого халифа аль-Мутаида.

По дороге будущим гулямам надлежало охранять караван с богатыми дарами — данью для халифского двора...

Так началась тогда длинная дорога Абу Насра, так он навсегда расстался с Анидой, так покинул родные края...

* * *

И вот спустя три десятилетия он снова попал в Бухару по воле багдадского халифа аль-Муктадира и по приглашению шаха Саманидов Насра ибн Ахмеда. И в тронном зале шаха слушал игру старика из Отрара на кипчаги. О, как сладостна была эта игра и как желанна эта встреча с родной после долгих скитаний, после долгой службы у халифов, то и дело сменявших друг друга...

Но теперь разлука с родиной осталась позади. Отрар был совсем где-то рядом. И перед истосковавшимся скитальцем сидел его соплеменник и играл на его кипчаги. Игра старца вновь и вновь напоминала Абу Насру песни детства и юности, рассказывала о пыльных улицах, о знойной степи, иногда синих, иногда мутных водах Сырдарьи, о диких скакунах, о дымных кострах и плясках воинов... А танец таразской танцовщицы еще более обострил его чувство — чувство неожиданного и неотвратимого желания скорее увидеть родной город.

детства, он перестал обращать внимание на то, что происходило в зале.

Восседая на кожаных подушках, уложенных на дорогих коврах, погруженный в свои мысли, не слыша и не видя ничего, но не теряя своей осанки и бросая взгляд куда-то вдаль, мимо танцовщиц, сменяющих друг друга, Абу Наср изредка подносил к губам чашу вина...

По сей день он помнил, что тогда, в тронном зале, он очнулся от своих воспоминаний из-за наступившей тишины.

Оборвалась музыка, глашатай объявил, что самый великий поэт славный Абу Абдулхасан Джаффар ибн Мухаммед ибн Хаким ибн Абдаррахман Рудаки прочтет свои стихи.

Зал притих, лишь восторженный шепот волной прокатился по рядам слушающих...

И зазвучали под аккомпанемент чанга негромкие, но ясные слова поэта:

На мир взгляни разумным оком,
Не так, как прежде ты глядел,—

Мир — это море. Плыть желаешь?
Построй корабль из добрых дел!..

Поэт словно обращался к нему, Абу Насру... Поэт стоял перед тронном — прямая осанка, седая прядь волос выбивается из-под чалмы.

Перебирая струны чанга, он внимательно оглядывал зал. Взгляд его то скользит по лицу владыки, то внимательно проходит по толпе вельмож, купцов, полководцев, шейхов и послов.

...Как долго ни живи, но, право слово,
Помимо смерти нет конца иного.

Кончается петлей веревка жизни,
Увы, таков удел всего земного.

Живи спокойно, в роскоши, в богатстве,
Иль в тяготах твой век пройдет сурово,

Владей землей от Рея до Тараза
Иль малой долей уголка глухого,—

Все бытие твое — лишь сон мгновенный,
А сон пройдет, не повторится снова...

Владыка Саманидов, старый шах Наср ибн Ахмед сидел недвижимо на троне, гордо запрокинув бесстрастное лицо, полускрыв глаза. Казалось, он не слушал поэта, не обращал внимания на его слова. Ни один мускул не двигался на его лице, и потому не было понятно, нравятся ему стихи поэта или нет.

Абу Наср взгляделся в лицо старого шаха, который — это он слышал от друзей, от бродячих певцов — еще издавна лю-

бил поэта Абу Абдаллаха. А еще говорят, что Насра ибн Ахмеда до сих пор считают «лучшей жемчужиной в ожерелье рода Саманидов». Что это он установил долгий мир в стране, пополнил сокровищами казну и что продолжительное время войны его было сильным, рабы послушными и во время его царствования был обильный урожай. Еще до того, как в Бухаре начались смуты, шах проводил лето в Самарканде, зиму — в Бухаре и всегда возил с собой поэта Абу Абдаллаха Рудаки.

Рассказывали, что однажды Наср ибн Ахмед провел сезон весны в Багдисе, на самом лучшем пастбище среди пастбищ Хорасана и Ирака. А когда его боевые кони на обильных лугах набрались сил, когда на берегах многоводных рек, в щедрых садах и прохладном воздухе воины укрепили здоровье, он направился в Герат и обосновал свой лагерь в местечке Марг и Сапид. Это была райская земля, где все росло в изобилии, где царствовала прохлада и мягкий климат услаждал человека ароматом цветов круглый год. Инжир и виноград, гранаты и мята — избыток фруктов и изобилие хлеба...

Осенью, когда созревало молодое вино, цвели королевская базилика и ромашка, на шахский пир собирались все красавицы Герата.

Каждое время года имело там свою прелесть, да и шах не мог насладиться жизнью, он не возвращался в Бухару.

Заскучавшее от наслаждений войско все сильнее желало битв или же возвращения домой, в Бухару. Но шах не слушал воинов. И тогда начальники войска и вельможи пришли к поэту — любимцу шаха.

Вслушав их, Абу Абдаллах отправился к шаху и нашел его в тени шатра на берегу речки.

— Чем ты обеспокоен, мой славный друг? — спросил шах поэта.

Тогда поэт взял в руки свой чанг и спел касыду о Бухаре, а касыда эта была такова, что шах не выдержал, потребовал немедленно подать коня и, даже не переодевшись, поскакал в Бухару. Рядом с ним скакал поэт Абу Абдаллах, которому благодарное войско подарило пять тысяч дирхемов.

Все это было давно. С той поры шах постарел, стал подозрителен. И военачальники не ладили меж собой. Да, наследник трона Нух строптив. А влиятельные вельможи своими наговорами и сплетнями стараются держать подальше от шаха его старых и верных друзей...

О чем же думает старый шах сейчас, слушая песни поэта-любимца?

Молча слушал зал. Все вельможи, все купцы и послы — все, кто был в зале, старались уловить жест шаха, прежде чем возвеличить или осудить поэта. А наследник престола

Нух впился взглядом в лицо читавшего, нервно перебирая в руках четки из слоновой кости. И в этот миг кто-то в зале произнес:

— Непревзойденным поэтом был Абу Навас среди арабов! Но стихи, что слышим мы из уст почтенного поэта, сильнее, в них клокочет кровь жизни!..— Слова были сказаны по-персидски. Они невольно вырвались из уст Абу Насра.

Гневно поднял голову наследник трона Нух. По залу прокатились голоса, подтверждающие истину слов Абу Насра. Нух взглянул в сторону Абу Насра. Поэт умолк на мгновение.

— Продолжай, Абу Абдаллах! — раздался голос шаха, и вновь наступила тишина.

А поэт спокойно посмотрел на гневного Нуха и продолжал:

Не для насилия и убийств мечи в руках блестят:
Господь не забывает зла и воздаст стократ.

Не для насилия и убийства куется правый меч,
Не ради укуса лежит в давяльне виноград...

Рабы на золотых подносах разносили яства. Стройные, обнаженные по пояс рабыни разливали вино из серебряных сосудов. Певицы и танцовщицы прошли мимо поэта в глубь зала, поближе к музыкантам. Две юные красавицы ласкались у ног наследника трона Нуха. Шах слушал поэта, все так же полужакрыв глаза.

Самум разлуки налетел — и нет тебя со мной!
С корнями вырвал жизнь мою он из земли родной.
Твой локон — смертоносный лук, твои ресницы — стрелы.
Моя любовь! Как без тебя свершу я путь земной!..

Абу Наср привстал:

— Ужель поэт так слаб и нет у него гордыни? Или он просит защитить любовь свою?..

— Он недоволен участью придворного поэта, подай ему цветы из шахского сада!..— процедил сквозь зубы Нух и оттолкнул ногой юную рабыню.— А еще он хочет, чтобы милость проявили к черни, к жукам навозным, к бунтарям...

— Одарите же поэта Саманидов! Где танцовщицы, где музыка?! — Шах заглушил злобные слова своего сына.

Одобрительный гул прокатился вокруг. Не обращая внимания на восторженные крики, на казначая, бросившего ему под ноги мешочек с монетами, поэт задумчиво покинул зал.

Вернувшись в Бухару, Абу Наср надолго уединился в хранилище святых писаний, чтобы завершить свою давно начатую книгу «Талим ас-сани...». Увлечся трудами греческих, персидских, индийских, арабских и китайских философов. С утра до вечера, то зачитываясь ими, то просиживая целые

дни над свитками, он не находил времени, чтобы побродить по городу. Да и желания не было.

Он не только приводил в стройную систему те переводы, которые были сделаны до него с греческого и сирийского. Вчитываясь в писание о Заратуштре и Будде, об Иисусе и Мухаммеде, вспоминая все, что сохранили память из книг о богах шумеров, мидян, индийцев, Ассирии и Вавилона, и желая сопоставить все прочитанное с увиденным и осознанным, он стремился найти всеобщую основу истины, найти ее в сказаниях о всех богах и свести ее, эту истину, в единую книгу, которую он назвал «Талим ас-сани...» — «Вторым обучением...», о жизни богов и пророков, об естественности появления различных религий у разных народов.

В учениях о божественном, размышляя он, проявляется надежда и вера человека. Сколько бы ни было богов — создатель один. Первый сущий, или первооснова, первопричина жизни... Но что же такое создатель? Первый сущий? Быть может, пока определить все это одним словом — первопричина? Но, возможно, первопричина тоже состоит из трех основ — душа, форма, материя?.. Как же объясняли ее Аристотель и Конфуций?.. И он снова рылся в книгах.

Его не интересовала людская суета. Одной прогулки по древней Бухаре ему было достаточно, чтобы два дня после просидеть в молчаливом уединении.

Нищета и уродство темных кварталов, болезнь людей, казни на площадях, жестокость тюрок — его сородичей, которые стали ныне опорой не только багдадского халифа, но и Саманидов. Самоистязание дервишей и безмерная роскошь богачей. Обжорство и развращенность вельмож здесь, так же как и в Багдаде, оттолкнули его. Он всячески избегал общества купцов и ростовщиков, палачей и фанатиков духовенства. Он торопился скорее закончить свою книгу. Прибывшие с ним посланцы халифа были рады такому его уединению и сами вели свои тайные переговоры во дворце шаха.

Абу Наср чувствовал, что в Бухаре назревает пора новых смут, которые обычно кончаются резней и казнями. Каждое восстание, каждая смута здесь омывается реками крови. Такой была и осталась фанатичная Бухара. Да и только ли Бухара?..

О том, что происходит за пределами его комнаты, он узнавал от Абу Фазла Балами и Мухаммеда Джейхани — истинных ученых Бухары, которым иногда удавалось навесить его. Абу Наср коротал с ними время в приятной беседе и спорах о науках, о благотворности познания для людских общин. Бывали у него и Абу Иакуб Исхак и Абу Абдаллах Мухаммед, оказавшиеся в это время в Бухаре. Однажды вместе с учеными к нему заглянул поэт Абу Абдулхасан.

Абу Наср вышел навстречу, оказав почтение годам и славе поэта.

— Поклон вам, великий поэт. Слава ваша раскинула крылья от Рея до Джейхуна.

— Слава изменчива, мой друг. Она коварна, она порой туманит глаза и дурманит сознание, и она недостойна беседы мудрых. Я пришел послушать твой рассказ о Багдаде. Я мечтал вдохнуть прохладу Тигра и Евфрата. Но стар я ныне, меня давно зовет мой родник Рудак, моя каменная хижина в горах...

— Я слышал о вас, пробираясь по дорогам Персии, я слушал вас здесь, в тронном зале шаха. Я видел ваши глаза, и тайны ваших слов раскрылись для меня. Печаль невозможно скрыть, а причину печали вашей вы не открыли. Но у вас много друзей. Со славой вашей и с силою ваших слов не может не считаться даже сам владыка...

— Откуда ты знаешь мои страдания, кто рассказал тебе про мою любовь?..— холодно спросил поэт.

— Вы сами. Я слушал вас в тронном зале и был уверен, что шах боится вас и страх старается заглушить рассудком и любовью к вашему дару...

— Ты хочешь сделать этот мир спокойным, мудрый философ, а мир желает лишь круговращения. Ты сказал, что у меня много друзей. Но врагов не меньше в этом мире, и палачи найдутся. Ты сказал о любви шаха. О, как коварна и жестока эта любовь! Мы как синие попугайчики в лапах kota. Порой нами играют, положив на пушистые лапки, а в лапках запряваны острые когти...— лицо старого поэта стало бледным, глаза заблестели.

— Успокойся, Абу Абдулло! — сказал Абу Фазл, дотронувшись до руки поэта.— Тут и стены слышат. И нить хозяина длинна. Паутины крепки.

Абу Наср понял, что друзья называют поэта на свой лад — Абу Абдулло! Или просто по имени его родного кишлака — Рудак.

— Твой хозяин мерзок — берегись его хваленой еды! — вспыхнул поэт.

В рот крупичицы не бери от пищи несоленой.
Не трогай ты его кебаб, он пропитался ядом.
Ты губы не мочи в воде, отравой напоенной,
Уйди с пылающей душой и пересохшим горлом,
Особенно теперь, когда опасен сад зеленый!

— Остановись, Рудак! Вспомни слова свои: «Кто развязал язык, тот связан цепью будет!» Ты нашему другу хочешь надеть эту цепь?

Рудаки медленно повернулся к Абу Фазлу. Вгляделся в него и устало произнес:

— Ты прав, как всегда.— Затем он повернулся к Абу Насру: — И в старости поэт остается безумцем. Я завидую вам, мудрый философ. Мне говорили, что вы подобны Сократу. Что спокойствие ваше беспредельно. А логика беспощадна.

— Спокойствие внешности не означает спокойствия духа. Сократ не был спокоен, он был казнен за то, что осмелел богов Олимпа...

— Мои друзья называют вас Учителем, превзошедшим всех мудрецов Востока. Я им верю. Я знаю ваши труды. Глубина ваших мыслей, ваши рассуждения о логике и трактаты о числах не имеют себе равных, а ваша музыка подобна буйству Сейхуна и выдает ваше родство с жестокостью гулямов...

— Я кипчак, — спокойно ответил Абу Наср. — И палач, и поэт рождаются в одной хижине...

— Я восхищен вашими знаниями языков. Завидую вам. Говорят, что сам шах Наср ибн Ахмед пригласил вас в Бухару, чтобы вы создали свод учений об исламе и других верованиях. Но довольно об этом. — И Рудаки улыбнулся. — Мы словно женщины, которые хвалят одна другую.

— Вы правы. Тем более мы в кругу друзей.

...Беседа стала спокойнее. Принесли вина. И вскоре друзья предались философским спорам. А после Рудаки задумчиво читал свои стихи, наполненные грустью о прожитых годах. Немного захмелевший Абу Наср вспоминал о Бану, о далеких годах юности, об Отраре, об Аниде, дочери бедного скорняка, которая первая открыла ему тайнства любви где-то в темной глиняной келье, за стенами главной мечети Отрара, куда в те времена доносились всплески волн Сырдарьи.

Через несколько дней с помощью новых друзей ему удалось, оставив на время работу над книгой, пристроиться к небольшому каравану, направлявшемуся из Бухары в Отрар. Помог и фирман с халифской печатью, где говорилось, что придворному философу повелителя правоверных должны оказывать содействие во время его странствий...

Перед отъездом Абу Наср передал незаконченную рукопись в надежные руки, чтобы потом, вернувшись, еще раз посмотреть написанное, завершить работу над ней и уже после показать друзьям.

* * *

За годы, прошедшие с тех пор, как Абу Наср покинул Отрар, в жизни города не произошло особых изменений. Правда, он стал могущественнее, уже имел свои, отдаленные дневным переходом, небольшие крепости на крутых берегах Сырдарьи, которые назывались Чар-Дара и которые зорко следили за прохождением плотов и торговых судов, направляющихся к морю и обратно.

Отрар, не испытавший ни нашествий, ни войн, исправно поставлял воинов-гулямов Бухаре и Самарканду, Багдаду и

Дамаску — всем, кто нуждался в плетках и пиках степняков-усмирителей. Да, так было. Владыки и завоеватели усмиряли свой народ плетью жестоких наемников. И чем грубее, чем бесчеловечней были защитники трона, тем больше они нагоняли страха на беззащитных пахарей и скотоводов, рудокопов, строителей — одним словом, на всех тех, кто кормил и содержал своим трудом государевых вельмож и обогащал их; тем больше привилегий воздавалось палачам.

Отрар был нужен и повелителю правоверных, и шаху Саманидов, и наместникам Персии, и владыкам Хорезма.

Надменный, дерзкий Отрар жил своей обособленной жизнью.

Отрар признавал лишь силу. Его ворота были открыты для смелых степных охотников и следопытов, укротителей диких коней; для неприхотливых и выносливых юношей из кипчакских племен, коньратов, аргуней, тюрков-огузов и тюрков-карлуков и десятков других племен, бежавших из владений Караханидов или обитавших в обширных степях к западу, к северу и востоку от великого степного моря, в которое вливают свои воды Джейхун и Сейхун.

Вожди племен сами приводили в Отрар рослых, красивых и ловких юношей и девушек в обмен на оружие, на разные товары, и потому владыки Отрара всегда взимали пошлину и строго устанавливали свои цены на товары проезжих купцов. Горе постигало тех, кто не считался с его неписанными законами.

Науки здесь не чтились. Сабельные поединки и конные состязания, пиры на открытых просторах и охота на тигров, куланов и джейранов и особенно на лис и волков, мехом которых украшались одежды воинов, — вот что было главным занятием отрарцев.

Впрочем, так было и во времена детства Абу Насра. И так же, как в те далекие годы, здесь шла тайная междоусобная война за власть над лихими и бездумными сотнями отрарской гвардии.

Отрар разрастался, застраивался, его цитаделям, его дворцам и караван-сараям, мечетям и медресе могли позавидовать многие знаменитые города Востока.

Правители и полководцы соседних государств приходили сюда, чтобы пополнить свое войско или заручиться силой для подавления бунтов и мятежей.

Отсюда, из Отрара, многие начинали свои захватнические походы. А сыны великой степи, покинув Отрар, став наемниками у владык разных стран, убивали друг друга на чужих полях, защищая чужие интересы.

Таким был Отрар, таким остался, и таким, наверное, он будет всегда, пока не найдется сила, которая одолеет его. «И если кто-то осмелится напасть на Отрар, то искать защиту Отрару будет не у кого и неоткуда», — так думал Абу Наср, проезжая по улицам родного города..»

Он мало пробыл там, но успел заглянуть и в старые, и в новые кварталы. И нигде не встретил знакомых, ничего не узнал об Аниде. А если бы и встретил Аниду, то не узнал бы. Время жестоко. Оно меняет не только облик города...

Никто не помнил даже имени дочери скорняка.

Абу Наср долго бродил по рынку, вслушиваясь в разноязыкий говор торговцев, без всякого интереса рассматривал товары. В торговых рядах и на бойнях он не нашел того мясника, из рук которого хотел вырвать Аниду.

Анида, Анида... Да была ли она когда-нибудь?! Быть может, все прошлое сон?..

Сколько воды утекло, сколько дорог пройдено, сколько перевидано и пережито за эти годы?

Быть может, еще тогда, когда молодого Абу отправили в Багдад, разгневанный мясник, узнав об измене Аниды, убил ее или продал в рабство. И он, Абу Наср, стал причиной ее унижений, ее смерти...

«Зачем я вернулся сюда? Чтобы убедиться в жестокости времени, в безвозвратности прошлого? — думал Абу Наср. — Даже если бы Анида была жива, то что бы я смог сделать для нее? Получается, что я хотел лишь удовлетворить свое любопытство — взглянуть на нее, и, наверное, увидел бы, если бы нашел ее, высохшую от времени, от горя и унижений. Что же потом... Все те же муки? Все та же грусть о пройденном, о юности...»

Самум разлуки налетел — и нет тебя со мной!

С корнями вырвал жизнь мою он из земли родной, —

вспомнил Абу Наср слова поэта и горько улыбнулся своим мыслям.

Зачем он так жаждал увидеть этот город, вернуться сюда? Он стал теперь таким же чужестранцем для отарцев, как и все проезжающие. Размышляя, он выехал к центральной площади и там застрял в тесной толпе зевак. Площадь была оцеплена конными стражниками. Здесь избивали смутьянов, осмелившихся не уплатить харадж. Здесь и казнили взбунтовавшихся рабов. Возможно, и бунта-то не было, а казнили просто так, для потехи томившихся от безделья воинов и для острастки бедных горожан.

Пробиваясь сквозь толпу, Абу Наср искал выхода. Он не хотел слушать жалобы, стоны и предсмертные крики несчастных, воинственные кличи палачей, которые, пустив коня вскачь, показывали свою удаль — носились взад и вперед, на скаку снося саблями головы обреченных.

Абу Наср не в силах был больше видеть эту остервенелую от вида крови толпу, этих людей с остекленевшими от ужаса глазами. Одежда его была разорвана, и холодный пот струился со лба, когда удалось наконец выбраться из этого ада. Обессиленный и задыхаясь, он прислонился к дувалу и посмотрел в небо. Стало душно, не хватало воздуха. Волосы

выбились из-под чалмы. Он вспомнил свою недописанную книгу о богах. Губы были сжаты, лицо окаменело. Вдруг он закричал, потеряв терпение и разум:

— Эй вы, боги Верхнего и Нижнего Нила, боги Вавилона и Ассирии, шумеров и греков, Иисус и Аллах!.. Да есть ли вы на небе, создатели!.. Кто из вас создал этот ад на земле?!

«...Что же со мной происходит,— подумал он, немного придя в себя.— Неужто я схожу с ума? Нет, я просто устал».

Он впервые в жизни по-настоящему почувствовал старческую усталость. Его вдруг охватило странное безразличие ко всему, что происходило вокруг.

На следующий день он снова пошел в знакомые с детства кварталы города. Но на этот раз он никого не искал. По грязным лабиринтам узких улиц он с трудом пробрался к мечети, которая была знакома ему по юношеским годам, и, пройдя через двор, вышел к книгохранилищу. Оно было закрыто. Стража сообщила, что владыка Отрара повелел избивать всех книжников, ибо чтение любой книги, кроме священной книги аллаха,— ересь.

Абу Наср не стал искать друзей отца, друзей детства. Он заторопился обратно в Бухару — скорее, скорее за работу над рукописью! Чтобы за делами заглушить эту тяжелейшую из печалей — печаль о навсегда потерянной родине.

В Бухару он вернулся на склоне дня. У ворот города шло настоящее побоище. Городская стража избивала задержавшихся в поле дехкан и обирала их. Охрана не обратила внимания на Абу Насра и его спутников.

Казнь рабов, увиденная в Отраре, избивание пахарей сборщиками податей, увиденное по дороге из Отрара, и эти иссушенные людские головы — головы преступников или безвинных людей, вывешенные на воротах и стенах Бухары, и, наконец, эти издевательства над мирными крестьянами — все одно к одному — вконец обессилили Абу Насра.

Конечно, все это было не ново для него. Он видел то же самое, когда служил в войске халифа, и после, когда находился в свите халифа, но такого чувства угнетения, как в эти дни, он никогда раньше не испытывал.

Он всю жизнь мечтал о родном крае. Детские и юношеские впечатления всегда смягчают виденное, а родина всегда казалась лучше, красивей, чем чужбина...

Сотни мыслей спутались в голове, было тяжело, невыносимо тяжело. И он порой машинально нащупывал пучок пахучей дармины, который сорвал по дороге, в степи, вспомнив о гибели отца, вспомнив, как отец зажал в руках пучок дармины перед смертью...

Ему хотелось скорее встретиться с друзьями-учеными, с поэтом Абу Абдулло, чтобы в беседах облегчить душу.

Но как их найдешь в этот поздний час в Бухаре, где коварство утонченнее, чем в Отраре, а жестокость — изощреннее?

Он добрался до своей комнаты и, смертельно усталый, забылся в глубоком сне.

Утреннюю зарю он встретил, листая свои рукописи...

К удивлению слуги, не совершая намаза ни утром, ни в обед, умылся холодной водой и, наскоро закусив, бледный, с воспаленными глазами, возбужденный и нервный, вновь уселся за работу.

Так он просидел два дня, заново просмотрел всю рукопись и не заметил, не обратил внимания на то, что за это время к нему ни разу не заглянули друзья.

Ночью, когда он сидел, закрыв последнюю страницу своей книги, молча уставившись перед собой, когда догорал светильник, когда на полу в беспорядке лежали все книги и свитки, принесенные друзьями, еще до его отъезда в Отрар, когда вокруг стояла тишина и приятная усталость охватила тело и не хотелось думать, не хотелось говорить и лишь тайное волнение — как друзья примут его новый труд? — наполняло сердце, дверь вдруг распахнулась и в комнату вбежал перепуганный слуга:

— Мой господин, отныне мы все во власти Нуха! Он сел на трон отца! Да будет вечная слава ему! Да будет благосклонен алах!..

Спокойным жестом Абу Наср остановил его.

— Все мы во власти создателя, а время — лучший судья, — сказал Абу Наср и, не обращая внимания на слугу, начал собирать книги.

Слуга молча постоял немного и, пораженный спокойствием философа, пятясь, вышел из комнаты. Подозвав стражника, слуга показал ему знак шахского соглядатая и приказал не выпускать философа. А сам с таинственной ухмылкой покинул двор.

...Еще на востоке не появилось зарево, предвещающее о восходе солнца, и в небе сверкала одинокая, яркая, но холодная звезда, и Абу Наср спал глубоким сном, когда к нему ворвались разъяренные гулямы, сорвали с постели, скрутили и связали руки, на шею надели деревянную колоду.

— Он не совершает намаза! Он книжник! Он не воздал хвалу великому из величайших — Нуху! — злобно бросал в его лицо слуга. — Он настоящий кармат! И все еретики бывали у него! Он прибыл сюда по приглашению Наср ибн

Ахмеда и хочет в своих писаниях оправдать карматов, сравнивая святой Коран с писаниями христиан и иудеев...

— Замолчи! — сурово оборвал его Абу Наср и мысленно проклял себя: как он мог забыть, что здесь, как и во дворце халифа, как и во дворцах всех прочих владык, слуги приставлены для того, чтобы доносить, подслушивать, предавать!.. Где же опыт жизни, на который он сам ссылается в своих трудах?

Тем временем здоровенный стражник поднял с подставки книгу, на обложке которой он ночью заново вывел заглавие «Талим ас-сани...».

— Не трогай! Не трогай, оставь книгу! В ней говорится о священных сурах Корана! В ней свод знаний о богах и святых! — Он не кричал, а говорил спокойно, твердо. Прямо смотря в глаза палачам. Абу Наср был в длинной, просторной белой рубашке. Говорил на кипчакском, да так грубо, словно сотник-гулям. — Отдайте эту книгу великому шаху!

— Кто ты? — спросил старший стражник. — И откуда?

— Я кипчак из Отрара. Я прибыл сюда из Багдада...

— Не слушайте его, он тайный лазутчик! Подослан, чтобы отравить нашего владыку Нуха, только что восшедшего на престол! Вы слышали, он говорит о богах, а бог у нас един — аллах! Этот человек — книжник, несущий с собой яд карматской ереси!.. — завопил предатель-слуга.

Старший стражник смотрел то на Абу Насра, то на слугу и вдруг ударом кулака прервал вопли последнего.

— Ах ты, лизоблюд! Ах ты, старый кастрат! Я знаю тебя. Это из-за тебя однажды мне урезали жалованье! Эй вы, чего рты разинули? Снимите ошейник с него! — вожак указал на Абу Насра.

Не успели гулямы выполнить приказ, как в помещение ворвались воины дворцовой гвардии.

— Ни одного чужеземца не выпускать из дворца, из города! — крикнул их предводитель. — Всех в темницу — и держать там до тех пор, пока сам великий Нух не решит их судьбу!

Руки Абу Насра все еще были связаны.

— Что вы возитесь с ним?! Пусть уведут другие! Кроме бумага и тряпья, тут нет никакой добычи... — проговорил старший стражник, вышел из комнаты, уводя своих.

А слуга с окровавленным лицом крикнул проклятие ему вслед и, обращаясь к воинам из дворцовой гвардии, снова начал свои наговоры на Абу Насра, прижатого к стене и с тоской смотревшего, как из угла в угол летят его книги и свитки, как льются чернила на подставку, а под ногами шелестит самаркандская толстая бумага. Абу Наср не чувствовал наносимых ему ударов, тонкая волосная веревка все ту же и ту же врзалась в запястье.

Когда его вывели во двор, он увидел факелы. Много факелов. Слышно было ржанье коней и лязг оружия. Он спот-

кнулся обо что-то и упал — его ударили, подняли и куда-то поволокли. «Это хаос... Спасти бы книгу... Наверное, в зиндан тащат», — мысли стали непослушными.

...Очнулся Абу Наср в темнице. Пахло глиной и мышиным пометом. Он не знал, сколько времени прошло с тех пор, как его схватили. Откуда-то сверху падали на пол узкие полоски бледного света. Слышался чей-то стон, чей-то храп. Абу Наср попытался встать, но не смог: резкая боль в пояснице приковала его к земле. Ныла спина, отекали ноги. Но руки оказались уже развязанными. Он с трудом поднялся и сел, опираясь спиной о стену.

Когда глаза привыкли к темноте, он увидел, что в дальнем углу лежит огромный камень, обвитый цепями, как паутиной. Чуть поблескивали кольца. Эти натертые до блеска цепи тянулись в разных направлениях. Абу Наср понял, что каждая цепь ведет к узнику. И содрогнулся, увидев копошащиеся в полумраке лохматые чудища и услышав их голоса, похожие скорее на стон животного, чем на человеческую речь.

Он знал многое из тайн халифского двора, знал и даже видел, что творилось в зинданах, в темницах и в специальных помещениях для пыток в Самарре и Багдаде. Но темницы Саманидов видел впервые. «Человек не зверь — он изощреннее зверя, — подумалось ему. — Сколько дней или сколько лет эти бедняги томятся здесь и какие преступления совершили они?»

Быть может, они такие же преступники, как и он, Абу Наср, сын некогда прославленного полководца из Отрара, а ныне... Кто же он ныне — искатель истины, искатель знаний или уставший человек, скитающийся в поисках тихого, мирного уголка на земле, искатель своей родины?..

«...И что же я нашел? Прибыл сюда в свите посла халифа по приглашению одного шаха, а стал узником другого шаха?»

Но где же посланник повелителя правоверных? Неужто он не вступится за придворного ученого своего владыки? Эта мысль рассмешила Абу Насра. Зачем он нужен послу?.. Лишь ученые Багдада, Александрии и Дамаска принимали одинаково и понимали его, хотя и среди них у него было немало врагов.

А понимали ли его когда-нибудь халифы, шах, или цари, или эти гулямы, стражники...

Собственно, и он сам был гулямом, воином долгие годы. Здоровье и силы отданы службе халифам. Рука его была крепкой, глаз зорким. Он был юным сотником дворцовой охраны халифа аль-Муктадира в Самарре, и халиф оказал ему величайшую благосклонность, не наказав его, когда он, Абу Наср, увлекшись науками и решив стать врачом-ветеринаром, перебрался в Багдад и там, на берегу Тигра, в финиковой роще, в небольшой хижине, ночами тайно учился распознавать человеческие недуги, ставя опыты и расчленяя тела,

изучая расположение кровеносных сосудов ягнят, листая старинные свитки китайцев по медицине. И если тогда не убили его, не заточили в темницу, то, наверное, потому, что в Багдаде тогда поощряли науки, и еще потому, что никто не знал об его опытах.

В «хранилище мудрости» — библиотеке Багдада — он изучал математику и создавал основы музыкальной письменности, а это уже привлекло к нему внимание халифа аль-Муктафи¹, который любил музыку, песни и собирал в своем дворце лучших певцов Мосула и Басры. Абу Наср совершил поездку по всему халифату, обошел все прибрежные леса Тигра и Евфрата.

В те времена у Абу Насра был хороший голос. Он пел свои песни и играл на своем кипчаги у слияния Тигра и Евфрата, когда халиф отдыхал в тени адамова дерева; он удивлял телохранителей халифа своей меткостью в стрельбе из лука, силой своего голоса, своими знаниями.

Он стал знатным вельможей. Мог часто уединяться во время охоты и стоять в долгой задумчивости, пораженный величием стен Вавилона, стремясь разгадать тайну вавилонского льва и тайны крылатых быков Немруда и Ниневии, тайну статуи эль-Хатры. Благо, что все эти столицы древних цивилизаций были расположены в ста пятидесяти верстах к северу и к югу от Самарры, на берегах Тигра и Евфрата, где в изобилии водилась дичь.

Его поражало богатство глиняных табличек в Вавилоне и каменных книг Немруда и Ниневии, удивляло то, что эти древние книги так и остались лежать у разрушенных стен; что никого не интересовали тайны древних цивилизаций.

Более того, арабов пугали таинственные клинописные знаки на камнях, на кирпичках. А еще более их ужасали колоссы — огромные каменные быки с крыльями и человеческими головами и крылатые львы.

И это было естественно, потому что аллах и его пророк Мухаммед называли эти гигантские статуи, созданные резцами великих мастеров, идолами греха, появившимися до всемирного потопа. А камни и кирпичи с надписями, как говорится в Коране, были обожжены в аду, их исписали демоны.

Потому эти каменные и глиняные книги и эти идолы являются вестниками зла! Правоверный мусульманин должен уничтожать их. Так говорят имамы!

Даже женские статуи в арабских одеяниях, что стоят возле могучих руин эль-Хатры — этого древнего арабского города, изваяны джиннами... А там, где водятся демоны и джинны, заложены источники человеческих несчастий. Так гласит священный Коран. И потому еще халифы Омаяды посылали

¹ Аббасидский халиф. Годы правления — 902—908.

целые войска в Тудмор, чтобы снести там все мраморные статуи...

Арабы почитали как святыню лишь величественную арку Сасанидов — арку Хисроу, которая была одним из самых крупных глиняных сооружений в мире. Но еще более их изумляла Вавилонская башня, о которой слагались легенды.

Халифа Муттавакиля¹ когда-то заинтересовали не древние законы царей Ашшурбанипала и Хаммурапи, а одна из башен Вавилона и темницы эль-Хатры, и он приказал построить такую же башню и такую же темницу в Самарре.

Для строительства башни-минарета на плотках по Тигру привозили кирпичи с развалин Вавилона. Рядом соорудили огромный двор, напоминающий целый городок, в котором жили четыре тысячи наложниц Муттавакиля, а чуть подалеже воздвигли мечеть с золотыми куполами и дворец.

Впрочем, каждого владыку в первую очередь интересовало строительство дворцов, темниц и тюрем. Ибо их желание увидеть свой дворец более величественным и красивым, а крепости более могучими, тюрьмы более страшными, чем у предшественников, было неодолимым.

В этом тоже есть извечный смысл — красота искусств передавалась через дворцы; жестокость, тирания познавались через темницы и зинданы. Добро и зло, разум и невежество всегда шли рядом, и так будет всегда. Так создан мир. Во всем — двуединство. «И поэтому стоит ли тяготиться тем, что ты сегодня попал в темницу? — размышлял Абу Наср. — Ведь ты вдоволь пожил на своем веку. А боль? А смерть?.. Все в руках создателя».

— Спокойствие и терпение, — прошептал Абу Наср. — Ты еще не успел «построить свой корабль из добрых дел», — вспомнил он стихи Абу Абдулло. Но где же сейчас поэт? Где Абу Талиб и Абу Фазл, Мухаммед Джейхани и Абу Исхак? Где сейчас ученые и поэты Саманидов? Ведь во времена хаосов, во время смут, мятежей и переворотов в государствах Востока всегда самыми беззащитными оказывались ученые, поэты...

Звон цепи прервал ход его мысли. Тот узник, что лежал поближе к философу, на четвереньках пополз к нему. Но цепь натянулась и не пустила его. Несчастный замычал и протянул руку Абу Насру. Весь обросший, в лохмотьях, узник был похож на зверя. Его острые глаза сверлили Абу Насра. Он о чем-то мычал, что-то просил.

Зазвенели цепи на других; все узники, словно псы, натянув свои цепи, подползли к Абу Насру и тянули свои руки. Они просили пищи. Абу Наср плотнее прижался к стене. Только теперь он понял, что у всех у них оторваны языки. Ужас охватил Абу Насра от этого мычания, стонов, от звона цепей...

Вдруг в далеком углу раздался чей-то голос:

— Это я! Я владыка всех войск Джейхуна! Я великий шах! А это мои рабы!

Крикнул огромный детина, стуча кольцами своих цепей о камень. Потом залился смехом. Вначале тихим, затем громче и громче, оглушая подземелье. Остальные, словно испугавшись раздавшегося голоса, вернулись на свои места.

И наступила тишина. Где-то копошились крысы — эти страшные хозяева подземелий. Стало не по себе от мысли, что он, Абу Наср, отныне разделит участь этих бедных узников. Он снова ощутил боль в ногах и в спине, отяжелела голова. Охватила невыразимая тоска, жажда и голод запутали мысли.

— Спокойствие и терпение,— прошептал он, закрывая глаза, стараясь забыть и не думать ни о чем.

Он потерял счет времени. Не знал, сколько суток находится в темнице, не знал — день или ночь сейчас на дворе. Но он ясно слышал шум, шум где-то за стеной. Затем со скрипом открылась ржавая решетка, вошли человек двадцать с факелами. Тот, кто был впереди, низко наклонив дымящийся и капающий горячей смолой факел, осмотрел лица узников. Остановился возле Абу Насра.

— Чужеземец,— объяснил кто-то из сопровождающих.— Из свиты посланника халифа.

— Посол повелителя правоверных давно в пути. Он мчится к великому халифу с радостной вестью! А этот, раз он отстал от своей свиты, пусть побудет здесь. Остальных расковать и выгнать вон! — приказал предводитель.

Абу Наср молчал. Ни о чем не спрашивал, не требовал объяснений. Очень хотелось пить, но он молчал. Взяв себя в руки, с трудом поднялся и остался стоять у стены. Остальные заплакали и закричали, еще не поняв смысла сказанного, но удары бича заставили их умолкнуть. Заскрежетали гвозди на деревянных ошейниках. Каждый освобожденный, кланяясь, целуя ноги пришельцам, сопровождаемый ударом бича, убегал на четвереньках к выходу. Тех, кто не мог двигаться, уволокли за руки. И вскоре в темнице остались лишь несколько прикрепленных к стене факелов да прикованные к камню цепи. Двери вновь закрылись. За решетками дверей, в освещенном огнями лабиринте Абу Наср видел силуэты стражников...

Усталый, голодный философ вновь погрузился в свои мысли. Он вспомнил, как на берегу Тигра в Багдаде бедные рыбаки готовят рыбу и как запах жареной рыбы с приправой из различных трав манит прохожего. Багдадцы говорят, что великий поэт Абу Навас, убитый палачами халифа в лето восемьсот десятого года, выступал не только как певец любви и вина, но был язвительен, как Эзоп, любил бродить по набережной, что рыбаки готовили для него самые лучшие

блюда из рыб, отдавали ему свое последнее вино, чтобы послушать его стихи. Стихи Абу Наваса похожи и не похожи на стихи Абу Абдулло. Интересно знать, слышал ли великий поэт всех персов и таджиков о великом поэте арабов Абу Навасе?

Кровь любую запретно пить по закону,
Кроме крови лозы одной виноградной...
Кто людям доверит тайну свою,
Достоин тот знака позора на лбу... —

вспомнил он стихи Абу Наваса.

Абу Наср старался не думать о еде. Он вспомнил, что стихи Абу Наваса любила Бану, она знала их наизусть. О создатель! О сила памяти — в этой темнице вспомнить прекрасную Бану, вспомнить о любви своей, как и тогда, когда он был в Отраре, не нашел Аниду и увидел казнь рабов...

Сколько же лет прошло с тех пор, как он, Абу Наср, впервые увидел Бану? Кажется, лет десять или одиннадцать...

Тогда она была еще совсем юной. Она прибыла в Багдад, а оттуда в Самарру вслед за своим мужем, которого халиф аль-Муктадир пригласил на охоту на львов и газелей.

Абу Наср тоже был в свите халифа. Но владыка приказал ему встретить знатную госпожу, чтобы ее отдых был приятен. Под его наблюдением и опекуном должна была состояться совместная прогулка сестры халифа и знатной госпожи. Он также отвечал за их охрану, должен был выбирать места для привалов и прогулок знатных особ.

Триста евнухов и воинов-зинджей охраняли их, ни один мужчина, кроме Абу Насра, не смел подходить к шатрам сестры халифа.

Да, он, Абу Наср, мог явиться туда только для того, чтобы услышать повеления сестры халифа...

...Снова заскрипела решетка, опять ярко осветили вход и ввели в темницу множество иноземцев, разодетых, но молчаливых и подавленных, пугливо озирающихся по сторонам. Абу Наср узнал в них тех купцов, которые были с ним на шахском пиру.

— Здесь вы будете ждать повеления великого Нуха. Пусть навечно воссияет его звезда! Слава аллаху! Великий шах покончил с карматской ересью! — торжественно заявил военачальник дворцовой охраны, сопровождавший иностранных послов и купцов.

— Слава аллаху! Да пусть воссияет навечно звезда великого шахиншаха Нуха! — закричали стражники вслед за ним.

Когда гвардейцы охраны покинули помещение, раздались возмущенные выкрики, причитания купцов, оплакивающих свои товары.

Абу Наср попытался узнать, что же в конце концов происходит в Бухаре, но тщетно. Лишь когда все убедились в

безнадежности своего положения и, обуреваемые страхом перед будущим, уселись подальше от цепей, змеившихся на полу, один из купцов поведал Абу Насру о событиях в шахском дворце.

Судя по рассказу, духовные отцы суннитов и вожди тюркской гвардии организовали заговор против самого владыки Мавреннахра, подозревая в нем сторонника карматов. Они решили свергнуть с престола династию Саманидов и перебить всех карматов. Но кто-то предал заговорщиков. Шах Наср ибн Ахмед и его сын — наследник трона Нух ибн Наср спрятали во дворце своих верных телохранителей и заманили туда ничего не подозревавших руководителей заговора, среди которых были не только имамы и визири, но и сипехсалар — главный военачальник государства. Шах любезно пригласил их к дастархану, наполненному яствами и вином. И в тот момент, когда гости уселись, сам поднялся с трона, якобы собираясь вместе разделить трапезу. Но это был сигнал: все гости были тут же обезглавлены. Шах приказал оруженосцу завернуть и спрятать голову сипехсалара в вышитую сумку и захватить с собой. Затем оба — отец и сын — в сопровождении телохранителей направились из своей резиденции в цитадель, где в это время в самом большом зале собрались заговорщики.

Когда шах и наследник трона прошли через ворота и появились в зале, от неожиданности все встали и приветствовали их. Никто не понимал, что же произошло. Ждали сипехсалара, полководцев и визирей, а вместо них появился сам шах с сыном, и вельможи-заговорщики решили, что Наср ибн Ахмед просто вознамерился посетить их и разделить с ними трапезу.

Шах прошел по залу и сел на свое место. Нух встал по правую руку отца. Сзади них полукругом выстроились оруженосцы и телохранители.

— Присаживайтесь и продолжайте свою трапезу! — повелел шах и, когда вельможи вновь принялись за еду, заявил им: — Мне стало известно о том, что вы замыслили против меня. Вы хотели меня убить! Ваши сердца прониклись недобрим чувством ко мне, и мое сердце ожесточилось против вас!

Вельможи сидели не шелохнувшись, скованные ужасом. Многие не успели донести пригоршню плова до рта. По рукам тек жир. Не нашлось ни одного смельчака, который смог бы призвать всех заговорщиков к оружию. А шах продолжал:

— Ваши сердца ожесточились потому, что я сошел с пути сунны и ступил на путь плохой веры... Но есть ли изъян в Нухе, моем сыне?!

— Нет! — ответили вельможи.

— Я назначаю его своим преемником, — сказал Наср ибн Ахмед, — теперь будет вашим шахом он. Прав ли я был или согрешил, но отныне я буду замаливать свои грехи. А тот, кто подговаривал вас к заговору, получил по заслугам!..

И он приказал своему оруженосцу сбросить голову сипехсалара на пол. Сам же сошел с престола на молитвенный коврик, а сын его Нух занял трон.

Изумленные тысячники тюрков-гулямов и все, кто был в зале, один за другим упали на колени перед Нухом.

— Прости нас! — вскричали они, сваливая теперь всю вину на мертвеца. — Нас подговаривал сипехсалар. Мы твои рабы и исполнители твоей воли. Приказывай!

— Я во всех смыслах Нух, а не Наср! — вскричал тогда молодой шах. — То, что случилось, случилось. Я исполню ваше желание... Подать сюда оковы!

Оруженосцы подали оковы.

— Заковать его! — приказал Нух заговорщикам и указал на отца.

Приказ был выполнен немедленно.

— Отведите его и бросьте в зиндан!

Бывшего шаха тотчас уволокли, избивая плетьюми.

— А теперь вставайте! Мы устроим пир в тронном зале!

...Когда за пиршественным столом было испито по три чаши вина, молодой шах сказал:

— Вы условились выпить по три чаши вина, затем убить Насра и разобрать всю шахскую золотую и пиршественную утварь и разделить между собой. Я верно говорю?!

— Правда твоя, о великий Нух!

— Так забирайте! Чтобы всем хватило! Берите по три утвари!

Изумленные вельможи исполнили и этот приказ.

А Нух продолжал:

— Сипехсалар задумал против нас зло и получил по заслугам. Отец мой сошел с пути сунны и также получил свое. Вы условились после пиршества двинуться в поход против шиитов, исмаилитов, фатимидов, огнепоклонников, идолопоклонников и прочих неверных. Так займемся же священной войной. Начнем ее сейчас же, отсюда. Всех, кто в Бухаре, в Хорасане, во всем Мавреннахре обратился в ересь, всех их убивайте! И забирайте себе их вещи! Я отдаю вам все, что есть в нашей казне. Не щадите, казните всех неверных! Всех, кто не почитает сунну! Всех карматов! Мы перебьем всех кафиrow! А сейчас немедленно найдите и приведите сюда визиря Мухаммеда Нахшаби, приведите всех визирей отца! Свяжите всех своих военачальников! Мы им всем отрубим головы здесь, в этом зале! Будем убивать каждого из наших подданных, каждого из наших воинов, кто поддастся ереси. Пусть в течение семи дней рекой льется кровь неверных карматов во имя аллаха!..

Нух приказал также одному из отрядов перейти Джейхун, войти в Мерверуг, схватить сына наместника Саваде и убить его¹.

...В мрачном застенке копошились крысы. Чадили факелы. Рассказчик говорил на арабском. Его понимали все. Но Абу Наср уже не слушал его, он вглядывался в этих притихших вельмож...

Скольких людей ограбили они, обездолили! Какие тайные интриги плелись ими, виновником скольких убийств стал каждый из них! А сейчас сидят в застенке и внимают страшному рассказу... Нет, они не осуждают Нуха. И вряд ли они осудили бы гулямов-тюрков или даже карматов-шиитов, если бы победили те.

А рассказ, пожалуй, даже успокоил их. Они убеждены, что новому правителю нет смысла подвергать казни послов и купцов-чужестранцев. Они нужны новому владыке, ибо всюду разнесут весть о его силе и могуществе. Лишь он, Абу Наср, так же как и ученые мужи Саманидов, вряд ли понадобится Нуху, которому ни к чему ни знания, ни книги. В этом несправедливом мире властвует лишь сила. И никто отныне Нуху не судья. Лишь Сократ и Цицерон сумели бы произнести речь, взывающую к разуму, не страшась владыки. Правда, Сократа забросали камнями. Ни за что! Забросала толпа. Извечна эта борьба добра и зла, силы и разума.

Так стоит ли взывать к людям, чтобы они постигли истину? Разве сама борьба добра и зла не есть единственная истина, познаваемая человеком с первых шагов его жизни? Об этом он и писал в своей книге «Талим ас-сани...». Вероятно, ее уже нет, его книги. Да и можно ли думать о ней, когда льется столько крови?! А может быть, все-таки нужно?

* * *

Иноземных гостей освободили через неделю. Нух пригласил их на торжественное пиршество. Он праздновал победу над карматами.

На пиру новый визирь говорил о величии и великодушии молодого шаха. Купцы и послы, которым вернули их добро, преподносили Нуху богатые дары. Пуще прежнего старались музыканты и танцовщицы. Поэты — те, что прежде сгорали от зависти к Рудаки, теперь соревновались в славословии новому владыке. По сути, жизнь двора шла по тому же кругу, но теперь были другие исполнители, и нигде не было видно поэта.

Не увидел Абу Наср и своих друзей — ученых Бухары. Где они, что с ними? Спросить было не у кого.

¹ Описанные факты взяты из книги историка средневекового Востока Низам ал-Мулка «Сиясат-намэ».

Никто не знал, куда исчезли его новый труд, его книги и старинные свитки, которые он собрал за время, проведенное в пути от Багдада до Бухары и в самой Бухаре.

Абу Наср стал замкнут. Он искал возможности скорее выбраться за пределы толстых дворцовых стен — за пределы Бухары. Приближалось время паломничества в Мекку. Теперь, когда сунниты взяли верх над остальными сектами, когда кровью был залит весь Мавреннахр, паломничество в святую Аравию должно быть еще более пышным, чем в былые времена.

Абу Наср решил, не теряя времени, вернуться назад, в Междуречье, вместе с караванами паломников. Он теперь аккуратно совершал пятикратный намаз и готовился в дорогу.

Паломников в Мекку Бухара всегда провожала не то с грустью, не то с почтением. Страх перед карой аллаха и страх за кормильца, уходившего в дальнюю дорогу, тайная надежда, что аллах увидит покорность и услышит молитву верности и ниспошлет мир в их дома, — все это делало чернь Бухары молчаливой и задумчивой.

На этот раз накануне отправки первого каравана паломников на базарной площади казнили сорок карматов, но перед казнью те возносили молитву аллаху. Это вселило в народ больше страха, нежели надежд. После казни мимо стоящих с окровавленными топорами палачей, высоко подняв поседевшую голову, словно вглядываясь в небо, прошел поэт, поэт Абу Абдулло Рудаки, ослепленный три дня назад теми же палачами, ослепленный не за то, что он был карматом, а за то, что встал на защиту казненных дехкан. И еще за любовь к рабыне шаха был ослеплен Рудаки.

В тот страшный день и увидел Абу Наср, как некий смелый юноша, вышедший из толпы, взял руку поэта, положил ее на свое плечо и повел его к воротам города. Толпа молча расступалась перед ними, расступился караван паломников, стражники не посмели остановить слепого и его поводыря.

И уже после, когда слепой поэт Абу Абдулло Рудаки скрылся за воротами, под звон бубенцов, плач детей и женщин, гомон дервишей и выкрики городской стражи, огромный караван паломников в белом одеянии покидал пределы Бухары, направляя путь в Мекку. Ехали на верблюдах, на ишаках, на конях, шли пешком.

Среди всадников был Абу Наср. Он молчал. Он думал о судьбе поэта. О времени, об истине, об истоках зла. Он ехал, проклиная в душе всех владык мира сего и порожденное ими величайшее лицемерие времени...

Выйдя из города, караван растянулся по пыльной дороге, идущей вдоль Зеравшана, пересекая поля и сады селений, не избежавших недавней резни, разграбленных и разоренных, хотя в них навряд ли жили карматы-еретики, христиане или огнепоклонники. Но не пощадили и их.

Всюду видны были пепелища, всюду следы грабежа и убийства, словно страшный самум прошелся по этой земле. По реке плыли трупы, заброшенные озверевшими гулямами в воду в Бухаре. Одиравшие собаки и шакалы терзают тела, оставшиеся непогребенными на берегах.

Молча идет караван, и никто не смеет подобрать трупы, выброшенные на берег, и укрыть землей, дабы не прослыть иноверцем, еретиком и не испытать гнева безумной толпы, с именем аллаха на устах вышедшей на дорогу в Мекку.

Надо бы собрать тела да предать их земле или огню. Иначе будет зараза, болезни могут унести еще больше жизней. Джейхун не святой Ганг, а Сейхун не святая Джамна; трупы будут разлагаться в воде, волны выбросят их на берега, а жара и мухи разнесут заразу, думал Абу Наср. Но кто сейчас осмелится предать их земле или огню?

Меч страха навис над несчастной землей...

Там, где Зеравшан впадает в Джейхун, караван свернул на юг, чтобы, пройдя немного вверх по течению свирепо мутной реки, дойти до переправы, переночевать на берегу и поутру покинуть пределы Мавреннахра, где властвует потомок Саманидов, грозный и коварный Нух. Затем каравану предстояло пересечь Черные пески — страшную пустыню...

* * *

Дорога была привычной. Начиная с той поры, когда Омейяды расширили прежние владения мусульман и довели их восточные границы до Сырдарьи и Инда, шли паломники в святую Мекку. Они называли ее «священной дорогой». А купцы Китая и Хиндустана, Персии и Аравии, Византии и Андалусии называли ее «шелковой», ибо самым дорогим товаром в те времена был шелк, тайну производства которого китайцы оберегали как зеницу ока.

Но любая тайна со временем перестает быть тайной. Лазутчики и провидцы, послы и бродяги, среди которых было немало авантюристов и искателей наживы, стремились скорее заполучить секреты богдыханского двора и приспособить их к своим делам.

Случилось так, что первым, как гласит молва (она, вероятно, и составляет истину), коконы из Китая вывез посол из Самарканда, запрятав их в искусных переплетениях волос своей преданной супруги и тем самым обойдя все таможенные досмотры.

Одним словом, дорога эта была не только свидетелем великих битв, рождения и гибели многих государств и народов. Она видела великих воинов и царей, видела гибель несметных полчищ, знала, как владыки превращаются в плебеев, а рабы — в палачей; она одинаково служила всем — и тайным лазутчикам, и мудрым скитальцам, торговцам и бунтарям. Она содрогалась под копытами конницы Аттилы и Дария;

в нее были втоптаны следы победоносных фаланг Александра Македонского...

Она, эта дорога, разветвляясь на тысячи троп, прорезая пески, пустыни и горы и где-то вновь слившись, stalkивала одних людей с другими.

Дороги — как жилы в теле человека, как реки и ручейки в теле земли. Без них нет жизни. И ничто не может остановить движения. Могут умереть города и государства, но не умирает жизнь на дорогах, ибо ничто не властно над вечностью жизни. Смерть не обрывает, а лишь обновляет жизнь...

Так размышлял Абу Наср, задумчиво продолжая свой путь вместе с караваном. Прошло немало дней с тех пор, как он покинул Бухару.

Он все не мог себе простить, что не сумел сохранить при себе или передать в надежные руки свой труд — «Талим ас-сани...», свои трактаты, над которыми работал так увлеченно и самозабвенно, словно это была последняя в его жизни книга. Угнетало и то, что прежние его мечты о родном крае были так жестоко развеяны. Он не нашел и не обрел благодатной родины, от прежнего представления о ней осталось лишь горькое чувство пустоты. И в огромном караване фанатичных паломников Абу Наср чувствовал себя одиноким скитальцем, случайно попавшим в общий людской поток и плывущим как щепка по воле волн.

Если в начале пути он был рад тому, что вырвался из фанатично жестокой Бухары и решил вновь попасть в Багдад, а оттуда в Самарру, во дворец халифа, то теперь эта мысль тускнела с каждым днем. У него не было больше никакого желания служить кому бы то ни было и где бы то ни было. Теперь он хорошо знал, что во дворце халифа, в сущности, не лучше, чем во владениях саманидского шаха.

Владыки совершают злодеяния с именем аллаха на устах, а рабы и пахари принимают несчетные удары судьбы, безропотно уповая на того же аллаха. И палачи, и их жертвы молятся одному богу. Но в конце концов многие, озлобляясь от побоев, поборов и унижения, будучи не в силах больше безропотно поклоняться богам и владыкам, уходят вон из городов и сел и, собравшись в стаи где-то в пустыне, в горах или в лесах, выходят на дорогу мстить и грабить.

Начинается месть раба хозяину, угнетенного угнетателю, месть жертвы палачу. Таков, видимо, круговорот жизни. «Не в этом ли суть великой истины?» — размышлял Абу Наср. Но тут же ловил себя на мысли о том, что все же он не прав, что боги здесь ни при чем, ибо не религии разделили людей на владык и рабов. Религии рождались, вернее, их создавали, чтобы помочь владыкам узаконить свою власть... Ведь так поступал и сам священный пророк Мухаммед.

Сотни лет в Мекке находились статуи-идолы, которым поклонялись разные племена и народы. Их было триста шестьдесят пять, этих идолов. Ровно столько, сколько дней

в году. И во времена паломничества в Мекке происходило столпотворение, подобное вавилонскому. Каждый приносил жертву и возносил своего бога-идола и старался найти изъясн у других богов.

Недалеко от Мекки были богатые залежи золотых песков. Его брали прямо с поверхности земли, чтобы украсить им своих идолов. Люди называли те места «Золотыми копиями царя Соломона», ибо Соломон увез оттуда все золото через Красное море в царство иудеев.

Идолы каменные, идолы из гранита и мрамора с украшениями из золота продолжали существовать в Мекке до тех пор, пока не появился поэт, купец и неистовый оратор Мухаммед, который на очередном состязании паломников, когда каждый возносил своего идола, обратил внимание всех на камень, упавший с неба, и призвал всех поклоняться единому богу аллаху, ибо Черный камень — это знак власти аллаха над всеми земными существами.

И с тех пор в Мекке нет идолов. Их разбили. Есть кубический храм, священная Кааба,— святыня, созданная фантазией Мухаммеда.

Эти сомнения и раздумья повергали Абу Насра в уныние, даже ужасали, потому что жизнь без религии, без веры для него была невымыслима.

Нет, без поиска истины, без первого сущего нет и не может быть жизни... Когда же, кем и как создан этот мир со всеми его парадоксами и противоречиями?.. О, это жестокое солнце, эта пыль, жара, это уныние и молчаливая сосредоточенность паломников!..

* * *

Позади уже Балх, Герат, Мешхед и Джей, и всюду он видел отрешенных от мира, истязавших самих себя дервишей, нищих и калек рабов и их хозяев. Всюду сунниты шли войной на шиитов, называя последних еретиками, но и те и другие называли еретиками поклонявшихся другому богу или огню. А те, кто верил в Будду или в силу огня, в Христа или в солнце, называли еретиками рабов аллаха. Один вгрызлся в горло другому. И даже те беглецы и бунтари, что восстали против своих владык, находили себе святых и богов, своих владык, и остервенело бросались на тех, кто не служил их владыкам. Так любая вера, любая религия, суть которой — проповедь любви и помощи ближнему, превращается в зло и насилие, ибо ее путь всегда обильно заливается кровью. Ее насаждают силой оружия...

Таков круговорот жизни, такова сама жизнь людей. Никогда раньше Абу Наср не думал об этом, а может, думал? Но она не волновала, такая мысль, не затрагивала его сердце, как сейчас, в эти долгие дни дороги...

...В Рее он отстал от каравана, чтобы разыскать Абу Ба-кра — философа и врачевателя, труды которого были известны ученым Багдада и Бухары, Самарканда и Самарры. Абу Бакр был лекарем правителя Рее — Исхака, одного из братьев жестокого Нуха.

Абу Наср познакомился со знаменитым врачевателем, когда тот по приглашению халифа аль-Муктадира побывал в Багдаде и Дамаске. Он хорошо помнил свои беседы с ним. А друзья в Бухаре рассказывали, что временами Абу Бакр в строжайшей тайне, пользуясь услугами самых преданных учеников, проводит опыты, вернее, не опыты, а изучает работу кровеносных сосудов. Сперва для этого он часто посещал бойни, но такое занятие на виду у всех было чревато большой опасностью — его могли казнить как еретика, посягнувшего на святая святых, ибо тайны жизни и смерти ведомы одному лишь аллаху. И Абу Бакру пришлось заниматься своими опытами тайком, в тесных лабиринтах подземелий.

От раба-евнуха, бывшего слуги лекаря, Абу Наср узнал, что Абу Бакр казнен. Старый раб, видимо все еще сохранявший любовь к своему господину, предупредил, что не следует говорить кому-либо о своем знакомстве, а тем более — упаси аллах! — о своем уважении к Абу Бакру: это может навлечь беду.

В Рее Абу Наср бродил по улицам в поисках книготорговцев, надеялся найти тайное пристанище «Братьев чистоты...». Он знал, что здесь, кроме Абу Бахра, жили и трудились многие выдающиеся ученые того времени. Невозможно было казнить всех ученых. Нельзя остановить мысль. Но где найти человека, который знал бы дорогу к этим людям, посвятившим себя науке? Поиски были тщетны. Здесь, как и в Бухаре, шла охота на еретиков, сжигались все книги, кроме священной книги аллаха, и он посчитал для себя чудом, когда после долгих бесцельных скитаний по узким лабиринтам базара случайно купил у слепца на базаре помятые, растрепанные страницы трактата Абу Бахра «Опровержение религии». Они были переписаны чьей-то неграмотной рукой.

Это были страницы трактата, который стоил его автору жизни.

Найдя себе келью в маленьком караван-сараяе на окраине города, укрываясь от людских глаз, Абу Наср залпом прочел добытые страницы. Он был потрясен простотой и ясностью мыслей ученого. Абу Бакр бунтовал против всех религий. «...Творец создал всех своих рабов равными и не отдал ни одному предпочтения перед другими...» — писал он.

Выписывая подобные строки, Абу Наср увлекся изложением своих собственных мыслей и вновь начал было работу над своими философскими трактатами. Но не прошло и недели, как владелец караван-сарая попросил его покинуть келью и найти себе другое пристанище: он не желал, он боялся постояльца, знавшего грамоту, не читавшего Коран и не совершавшего пятикратного намаза.

Абу Наср чувствовал себя одиноким среди людей. Не знал, к чему приложить свои силы, свое умение, свое знание. По дороге от Бухары до Рея он часто помогал тем, кого болезнь заставляла в пути, иногда выступал как писарь или толмач в караван-сараях, и все это как-то занимало его, заставляя на время отвлечься от своих тяжелых раздумий. И возможно, поэтому он вновь решил пристроиться к очередному каравану паломников.

Большинство дорог в Мекку в те времена, впрочем, как и сейчас, проходят через Месопотамию, через Багдад и Дамаск. Но новый караван паломников, к которому пристроился Абу Наср, направлялся в Басру, а уже оттуда — через пустыню — в Мекку...

* * *

Воспоминания о прошлом, виденном и пережитом, — пища для человеческого ума. Свое прошлое не вернешь, не изменишь, не поправишь, оно ложится в памяти как отпечаток времени. И как бы ты сейчас ни относился ко всему, что было совершено тобой в юности и в годы возмужания, как бы ни осуждал себя за содеянное — оно, это прошлое, не отстанет от тебя, а лишь отяжелит твой разум в минуты глубоких размышлений...

Весь свой путь от Бухары до Басры Абу Наср мог бы назвать «дорогой раздумий об истинах жизни». В пути он облегчал боль страждущих паломников как лекарь и успокаивал их мудрой беседой во время ночлега. Он слушал унылые песни скитальцев, рассказы дервишей и купцов. Пытливо и вдумчиво вглядывался в жизнь пахарей и кочевников и вспоминал о том, как проезжал по этим же дорогам в первый раз, в дни далекой юности. Старался понять и познать, что изменилось на этих дорогах за минувшие десятилетия.

Но не смог найти эти отличия. Пожалуй, это происходило потому, что тогда, в те давние дни, его не очень-то интересовала жизнь горожан, пахарей или кочевников, рабов или воинов. Молодой и сильный, обладатель прекрасного голоса, ощущавший свое превосходство над сверстниками в знаниях и в воинском деле, он мечтал тогда лишь о том, чтобы отличиться в бою или раскрыть свои познания перед сильнейшими или мудрейшими мира сего. Чего греха таить, юность всегда тщеславна. В те далекие дни, покидая Отрар, где

остались могилы отца и матери, где осталась Анида, он и не помышлял о возвращении на родину. Он спешил в Багдад и готов был пойти на все, лишь бы попасть во дворец халифа, стать придворным ученым или знатным воином.

Его юношеские мечты исполнились.

События тех лет благоприятствовали его честолюбивым стремлениям. В ту пору в Ираке восстали рабы, восстала беднота. Восстание возглавил Али ибн Мухаммед аль-Баркауи, по прозвищу «Закрытый завесой», ибо он никогда не раскрывал своего лица, изуродованного палачами.

Шииты и сунниты, индуисты и огнепоклонники, буддисты и христиане — рабы и нищие бродяги, зинджи, персы, палестинцы, арабы и курды, сирийцы и друзья собрались под его знамя, на котором был вышит стих из десятой суры Корана:

Бог купил у верующих жизнь,
их имущество, платя им за них раем.

Аль-Баркауи требовал отмены рабства. Он обещал бедноте свободу и хлеб, сулил им равенство при разделе земель. Армия его разрослась. Города ему порой сдавались без боя; восстав, они открывали ворота перед аль-Баркауи. Северный Ирак и Хузистан — огромную территорию захватили повстанцы и создали на ней свое государство. Аль-Баркауи провозгласил себя халифом.

Друзья и сподвижники новоявленного халифа к этому времени накопили богатство, поделили добычу и начали грызню между собой. Поэтому багдадскому халифу не стоило особого труда подкупить одних, переманить других, а затем смести новое государство с лица земли и казнить аль-Баркауи.

Молодой Абу Наср участвовал в том походе. Более того — отличился своей храбростью и знанием военного искусства. Халиф тогда щедро одарил его и назначил одним из своих военачальников, а затем — главою меджлиса ученых при дворе.

Так исполнились честолюбивые мечты его юности, которые приносили ему, однако, не удовлетворение и радость, а горечь и досаду на себя за бесплодно потраченное время.

И вот ныне восстали карматы.

Значит, все повторяется в этом мире с древнейших времен. Был Спартак, поднявший меч на Римскую империю. Был Маздак, суливший свободу рабам. Но никому еще не удавалось только силою уравнять богатых и бедных, хозяев и рабов и установить мир среди людей... Бесплодна неразумная сила. А что может один лишь бессильный разум?.. Значит, сила должна управляться разумом...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Познание — это воспоминание, а
размышление — это стремление к
знанию.

Платон

Четверо всадников, несколько дней назад выехавших из северных ворот Дамаска вместе с караванами, направляющимися в Баальбек, незаметно свернули с основной дороги и проселками добрались до небольшого города Дум.

Хасан был уверен, что они едут в Багдад, и потому ожидал, что из Дума выберутся на самую многочисленную в этих местах дорогу. Но вместо этого Учитель направил своего коня в Адру, затем они объехали Кутеир и вдоль восточных склонов Хемрона направились прямо на север, к Хомсу.

— Не доезжая Хомса, мы свернем в пустыню и доберемся до Тудмора, от Тудмора есть дорога на аль-Фурат, а дальше проедем вниз по течению и выйдем к главному пути на Багдад, — задумчиво ответил Абу Наср на недоуменные вопросы Хасана и Зухейра.

— Годы, годы... Как они изменили тебя, Учитель... Они сделали тебя осторожным, словно обессилевшего льва, — сказал хрипловатым басом рослый, широколицый Санжар. — Мы удлиняем свою дорогу в три раза.

— Зато она будет спокойной, — возразил Абу Наср.

— Да мне все едино — сколько и где скитаться. Лишь бы в лапы тигра не попасть... — И Санжар улыбнулся своей непонятной улыбкой.

Хасан понял, что Учитель до сих пор не уверен в своих решениях, что они могут и не попасть в Багдад... Неопределенность угнетала молодого слугу; чем дальше уходили они от Дамаска, тем чаще он оглядывался назад, на далекие горы Хемрона, за отрогами которых остался Дамаск, где осталась его госпожа.

Остановив коня, Хасан вновь оглянулся на белую шапку Хемрона и заметил, что над вершиной нависли черные тучи. Он хотел было сказать об этом Учителю, но тот был занят своими мыслями — не стоило его отвлекать. Да к тому же небо над равниной было чистым, до сезона дождей оставалось еще немало времени.

«В этих сухих степях, в этой пустыне дождь такая же редкость, как и радость для раба», — подумал Хасан.

Но к полудню тучи опустились ниже, затянули пыльную синеву небес над пустынными плоскогорьями, Хасан забеспокоился.

— Учитель, а не поискать ли нам укрытия?

Абу Наср огляделся вокруг, всмотрелся в небо и спокойно сказал:

— Негде укрыться. Тут нет развесистых фисташковых

лесов, оливковых рощ. Дождь смое с нас сонливость. Разве в пустыне бояться дождя?!

Но все же он быстрее погнал коня.

Не успели, однако, проскакать и двух верст, как внезапно, без грома и молнии, без ветра, хлынул ливень. А еще через полчаса вода обрушилась, как из прорвавшейся плотины, заливая дороги, срывая кусты, унося с собой плотные комья сгнившего и спрессованного перекасти-поля. Копыта коней увязали в красно-буром суглинке. Одежда промокла.

Абу Наср поехал меж низкорослых кустарников, похожих на заросли терскена. Здесь земля была тверже, более каменистой. Кони пошли увереннее.

Дождь прекратился так же неожиданно, как и начался. Прошел сильный ветер, небо очистилось от туч, и солнце стало палить еще яростнее, чем прежде. Надо было сделать остановку, разжечь костер, высушить одежду, покормить коней и подкрепиться самим, тем более что в курджуне Санжара лежит мясо джейрана.

Вчера, пока Хасан готовил обед, Абу Наср колдовал над кореньями трав, собранными по дороге, а Зухейр записывал под его диктовку названия этих корней и их целебные свойства, Санжар направился к берегу небольшой речки и исчез там в зарослях. Вскоре он приволок джейрана, которого выследил и подстрелил у водопоя. Вчерашний ужин поэтому был сытным. Да и сегодняшний завтрак не хуже — холодное мясо с луком и вареными бобами. Санжар шумно восторгался кулинарными способностями Хасана.

— Дождь промыл мою утробу, Хасан! — говорил он своим гортанным басом, явно стараясь, чтобы его услышал Учитель.

Но подходящего места для привала не находилось. Они отделились от родников и речек, от диких рощ. На этом пустынном, высохшем плоскогорье не росло ничего, кроме колючих кустарников.

Дождевая вода, размыв тропы и надолго обнажив корни кустарников, умчалась куда-то на равнину. Кое-где еще сверкали лужицы. Солнце еще не успело допить их.

— Перевалим через гряду, — сказал Абу Наср, — там должна быть лужайка. Укромное место для таких, как мы.

Они свернули вправо и поехали через густые, по грудь коня, колючие заросли. А выехав на гряду, неожиданно стали свидетелями схватки. Прямо перед ними в небольшой скрытой ложбине несколько верхоконных с наглухо закрытыми лицами гоняли стадо овец вниз по ложбине. Отставший всадник с обнаженной саблей кружил возле пешего пастуха-бедуина, высокого и худощавого, пытаясь нанести ему смертельный удар. В стороне гулял конь без седока.

Грабители не заметили появления Абу Насра и его друзей. Один из них уже гонялся за конем бедуина, чтобы угнать его вместе со стадом. Бедуин отбивался изо всех сил. Он был изворотлив. Ему удалось поразить врага своим копьём.

Тот взвыл от боли, а пастух, не выпуская копые из рук, с устрашающим криком бросился вдогонку за угонявшими стадо.

Первым опомнился Учитель.

— Надо помочь!

Санжар, с криком обнажив саблю, пустил коня во весь мах. В Учителе тоже заговорила кипчакская кровь, он отпустил удила, на скаку отстегивая от седла свой маленький щит и вытаскивая нож из чехла. Хасан с Зухейром старались опередить его.

Санжар уже настиг грабителей и ударил саблей одного из них. Но тот не упал, обхватив шею коня, ускакал прочь. Остальные рассыпались в разные стороны и, вытащив луки, натянули тетивы.

— Назад! — крикнул Учитель Зухейру, у которого не было щита.

Санжар оглянулся на голос, и в тот же миг две стрелы впились в его спину. Конь под Санжаром закружился на месте. Абу Наср бросился к раненому, чтобы не дать ему упасть. Хасан прикрывал Учителя от стрел. В это время один из грабителей набросил петлю на Зухейра. Тот не смог удержаться в седле, враг с торжествующим криком поволок его... Но Зухейру удалось уцепиться за куст. Веревка натянулась, бедуин в это мгновение изо всех сил метнул копые во всадника и выбил его из седла. Подоспевший Хасан добил упавшего и освободил Зухейра от петли. Грабители, среди которых уже было двое раненых, убралась восвояси, оставив овец и тело своего погибшего сообщника.

* * *

О продолжении пути не могло быть и речи. Раны истекавшего кровью Санжара оказались тяжелыми. Одна стрела повредила позвоночник, другая глубоко вонзилась меж ребер. У Зухейра была сломана нога и вывихнута рука, колючие кусты исполосовали до крови лицо и тело.

Абу Наср осторожно вытащил стрелы и перевязал раны на спине Санжара. Старый воин громко проклинал себя за то, что не сумел наказать обидчиков и что так глупо подставил себя под их стрелы. Но внезапно умолк и заскрежетал зубами от боли. Кровь не останавливалась. Одна из ран, нанесенная меж ребер, была слишком глубока.

Громко стонал Зухейр.

— Да помощи же ему, — процедил сквозь зубы Санжар.

С помощью Хасана Абу Наср вправил сустав руки Зухейра, затем осторожно занялся его сломанной ногой. Юноша от боли потерял сознание.

Бедуин тем временем поймал свою лошадь, вытащил из притороченной к седлу сумки узелок, в котором оказались

куски жженой кошмы и какая-то мазь, передал их Абу Насру. Тот осмотрел мазь, нанес ее на кусок жженой кошмы, приложил к ранам Санжара и перевязал их.

Солнце уже сошло с зенита, но до вечера было еще далеко. Жара не отступала. Раненые просили пить. Им дали остатки воды из кожаных фляг.

Хасан и бедуин с помощью ножа и сабли быстро вырыли неглубокую могилу и спустили туда тело убитого. Прежде чем засыпать его землей, бедуин произнес молитву, снял с мертвеца щит, саблю, лук и колчан со стрелами. Затем жестом пригласил их следовать за собой. Осторожно усадили раненых на коней и молча двинулись. Овцы, откликаясь на окрик хозяина, пошли сзади. Хасан ехал, придерживая Зу-хейра, Абу Наср — Санжара. Бедуин, обвешанный оружием, вел за собой трофейного коня. Перевалив через низкий косогор и пройдя полверсты, они прибыли на стоянку бедуина.

Здесь находился заброшенный колодец, рядом торчало несколько пней от финиковых пальм. Среди кустарников, едва возвышавшая над ними, словно огромная, распластавшая черные крылья ворона, была натянута палатка из домотканой шерстяной мешковины. Все овцы бедуина были черными, потому и палатка и одежда его тоже были черными.

Меж трех камней чадил огонь, рядом лежала плоская железная чаша и громоздилась посуда, изготовленная из тыквы и кокосового ореха. Два верблюда — молодая самка и старый самец — паслись недалеко от жилья.

Край палатки приподнялся, выглянула женщина. Бедуин что-то крикнул ей. Это были его первые слова с тех пор, как неожиданный случай свел его с Абу Насром и его друзьями. Голос бедуина был звонкий, требовательный. Женщина торопливо подняла полог, расширяя вход. Откуда-то выскочил мальчик лет десяти и, схватив кожаное ведро, бросился к колодцу.

Пол палатки был застелен опять же черным паласом. Видимо, во время дождя его и палатку скатали. Все было сухим. Раненых уложили на бараньи шкуры.

Мултан — так звали бедуина — оказался гостеприимным хозяином и всячески старался отблагодарить своих спасителей. Зарезав двух овец покрупнее, он предложил быстрее завернуть раненых в еще теплые шкуры. Это был древний метод лечения от ран и болезней, которым пользовались все кочевники-скотоводы. Но Санжар отбросил шкуру, его то знобило, то бросало в жар.

— Словно кашки перемололо, — говорил Санжар, еле переводя дыхание.

90
Всю ночь он не сомкнул глаз, порой забывался, начинал бредить и говорить по-кипчакски. Никто, кроме Абу Насра,

не понимал его слов. Раненый то угрожал кому-то, то богохульствовал, то произносил обрывки молитв, звал на помощь отца и мать... К утру он совсем ослаб. Не мог ни есть, ни пить.

В дальнем углу палатки мальчик толоч черные зерна, засыпанные на дно каменной чаши. Потом черное толокно долго кипятили в маленьком чугунном котле, кипятили до тех пор, пока не испарилась вся вода. Абу Наср знал, что эти зерна привозят из долины Каф в Эфиопии, что на рынках Багдада и Халеба купцы меняют их бедуинам на шерсть, на шкуры, на живых овец, а горожанам продают за деньги.

Бедуины считали, что густой черный напиток из зерен Каф ослабляет жажду, придает бодрость и укрепляет здоровье. Это был настоящий кофеин. Он был настолько густ и горек, что с непривычки сильнее самого крепкого перца обжигал губы и полость рта.

Жена Мултана пыталась угостить им Санжара, но тот снова бредил, лицо его стало бледным, глаза горели. Зухейр тоже не смог выпить густого напитка, лишь обжег губы.

Абу Наср не отходил от больных. Хасан все время держался рядом, чтобы при необходимости предупредить все желания своего господина.

Оставив раненых на попечение Хасана, Учитель вышел из палатки вместе с Мултаном. Хасан не слышал, о чем они говорили. По капле вливая воду в иссохший рот Санжара, он вспоминал о том, как радовался его господин, когда в том доме, у мастера Махмуда, увидел свою книгу «Талим ас-сани...». Оказалось, книгу эту доставил туда грубоватый и страшный на вид Санжар, бывший тогда одним из телохранителей посла халифа. Когда посол покидал Бухару, чтобы вернуться в Багдад, Санжар узнал, что Учитель схвачен в Бухаре и брошен в темницу, что посол увез его рукопись, заявив, будто она сродни карматской ереси и должна быть доставлена халифу как улика против его придворного ученого.

Санжар, знавший Учителя с юношеских лет и почитавший его как мудрейшего из соплеменников, решил отвести от него гнев халифа. За день до въезда посла в Багдад телохранителю удалось завладеть рукописью и бежать в Дамаск, чтобы тайно передать ее кому-нибудь из ученых. За Санжаром была послана погоня. Прячась в закоулках базара Дамаска, беглый гулям выследил мастера Махмуда, явился прямо к нему, выложил рукопись и пригрозил: если Махмуд передаст эту книгу заместнику Дамаска, то он, Санжар, прирежет Махмуда. Кроме того, он потребовал сделать копию книги и дать ему. За это обещал переписчику все свои сбережения.

Ознакомившись с рукописью, Махмуд понял, что это новая книга великого философа, никому еще не известная. Заверяя всяческими клятвами, он попросил Санжара рассказать ему о судьбе Абу Насра и судьбе рукописи.

Узнав историю поездки Учителя в Бухару и о судьбе рукописи, Махмуд предложил гуляму на время укрыться в его доме, и на рассвете того дня, когда Учитель вместе с Хасаном покидал дом мастера, Махмуд устроил ему встречу с Санжаром. Они обнялись как старые друзья. Учитель вспомнил, как еще в далекие годы молодости они вместе прибыли в Багдад, расспросил Санжара о подробностях возвращения посла халифа из Бухары.

— Всем я служил исправно, был телохранителем халифа и его посла, а теперь, как сурок, прячусь от них. С меня хватит. Аллах не осудит. Теперь я не отстану от тебя, я буду твоим войском, — с угрюмой улыбкой, хрипловатым басом проговорил тогда Санжар. — Располагай мной. Все-таки несколько бродяг в одной компании лучше, чем скитаться одному.

Оказалось, что мастер Махмуд дал убежище и Зухейру как одному из юных последователей «Братьев чистоты...», и Зухейр тоже хотел выбраться из Дамаска вместе с Учителем, хотел стать его учеником, служить ему...

Вот так они и оказались все вместе.

Хасан вспомнил, как еще тогда, в доме мастера Махмуда, Учитель рассказывал Зухейру и другим о Басре, куда он попал после Рея. О Басре, где когда-то впервые восстали рабы-зинджи, работавшие на осушке болот, и на тростниковых плантациях, и на изготовлении кирпича длястроек халифа. В течение тридцати лет, захватив южные области, и в том числе Басру, восставшие не давали покоя халифу.

Учитель рассказывал о Басре, где каждый раб, каждый бедняк или лодочник, если остаться с ним наедине, поведает историю того восстания, вспомнит о великом предводителе, который не знал поражения, но ушел оскорбленный предательством своих воинов. Не преминет упомянуть и о том, что вместе с предводителем сражался его отец или дядя.

Предводитель зинджей был бесстрашен, как Бабек¹, как Бабек, неподкупен...

Последнюю свою победу восставшие одержали при халифе Муктафи, который, однако, оказался хитрее своих предшественников. Медленно продвигаясь со своей армией на речных судах по Тигру и Евфрату, этот халиф, в отличие от предыдущих, не убивал пленных, не сжигал их селения. Он запретил своим воинам мучить безоружных, милостиво обращался с пленными. Он одаривал перебежчиков из стана восставших. Все это ослабляло силы армии рабов.

Великий предводитель начал создавать оборонительные укрепления и оттуда совершал неожиданные вылазки. Но халиф закрыл все выходы, началась трехлетняя осада Басры.

¹ Один из самых выдающихся руководителей народного восстания против халифа. Казнен в 837 году.

У великого предводителя остался лишь гарнизон, его силы иссякли, голод и болезни косили рабов, участились измены...

Наконец халиф предложил предводителю сдаться в плен, дав клятву сохранить имущество и жизнь, но вождь повстанцев отверг это унижительное предложение. С горсткой смельчаков он покинул крепость и вышел на открытый бой... Крепость пала.

Голова предводителя была брошена к ногам халифа Муктафи, который теперь лишь выпустил когти. Победенных зинджей подвергали жесточайшим пыткам и уничтожали — бросали в огонь и в воду, закапывали живыми, вешали и сажали на кол, топтали конями, зверски убивали их жен и детей. Невольничьи рынки Багдада и Дамаска были заполнены живым товаром. Юную девушку можно было купить всего за два-три дирхема.

Халиф хотел, чтобы крестьяне и рабы навсегда забыли о своем предводителе. Но тщетно! И по сей день никто из рабов Месопотамии не верит в смерть предводителя. По сей день бедные крестьяне и рабы в Басре и в других городах совершают по пятницам тайные молитвы в его честь, называя его «скрытым имамом» и проклинают абассидских халифов.

Его ждут всюду — в хижинах бедуинов, на солончаковых холмах, на тростниковых плантациях. Ждут, чтобы вновь поднять восстание за свободу. Говорят, что он ушел невредимым с поля боя, что его видели последний раз под священным деревом Адама, что растет у слияния Тигра и Евфрата. Другая молва гласит, будто его видели на маленьком зеленом острове Синдбада, что лежит в Аравийском море. Все ждут, что он снова появится и освободит людей от рабства. Никто из басрийцев не назовет его настоящего имени. Это святая тайна. «Скрытый имам» появится сам и сам назовет свое имя. Он жив и ждет своего часа. А голова, брошенная к ногам халифа Муктафи, — это была не голова предводителя, а голова одного из предателей. Палачи обманули халифа.

Верит в это и Санжар. Бедный Санжар, который лежит сейчас, пересиливая боль, в палатке молчаливого бедуина.

Санжар мечтал о том дне, когда он встретится с предводителем и станет его верным воином. Или о том дне, когда карматы вновь обретут силу и он сможет вместе с ними пойти в поход на войско халифа.

— А лучше всего, — говорил он, — уйти в Бахрейн, где есть государство карматов.

Бедный Санжар, сможет ли он теперь осуществить свою мечту, думал Хасан.

Он раскрыл глаза. Хасан тотчас наклонился к нему. Санжар попытался улыбнуться.

— А, это ты... — еле слышно проговорил он. — Видишь, умираю... Вынесите меня отсюда, я хочу видеть небо... Эх,

Учитель, Учитель, старый бродяга. Говорил я ему, что лучше ехать в Багдад прямо, по большой караванной дороге. На большой дороге и умирать легче.

* * *

Обдав пустыню, горы последним жарким дыханием, солнце уходило на покой. Тишина нависла над песками. Мальчик подбросил в огонь несколько хворостин. Овцы сбились в кучу и притихли. Молодая верблюдица беспокойно кружилась возле старого самца, лежавшего у колодца и задумчиво жевавшего свою жвачку.

— Все как у нас, в степи за Отраром...— тихо произнес Санжар.

— Тебе нужно беречь силы,— ответил Абу Наср.

— Силы? — Санжар с трудом повернулся лицом к Учителю.— Где они?.. Я понимаю. Мужчины умирают молча. Но мне хочется говорить. Абу, ты помнишь запахи... Есть такая трава — дармина. Вечерами она пахнет... там, у нас, в степях... Я помню детство... Но не помню отца... и мать... Она мне кажется доброй старухой... Отчего это? Ты не знаешь?..

Абу Наср не ответил. Порывшись в курджуне, он нашел маленький сверток. Развязал его. Там были сухие стебельки травы. Он растер их на ладони и поднес к носу Санжара.

— Что это? У-у-хх,— вздохнул Санжар.— Наша дармина... Здесь нет такой травы... Вот теперь я вспоминаю свой аул... свою первую стоянку, как тот старый верблюд, которого беспокоит самка... Как ты думаешь: он сберег силы для нее? — Санжар пытался улыбнуться.

Раненый попросил перенести его с мягких бараньих шкур на конские потники. Седло велел подложить под голову.

Хасан с Мултаном осторожно одели его. Застегнули кожаный пояс с железными пластинами, надели толстый кожаный нагрудник, к поясу прикрепили колчан и саблю. Он хотел встретить смерть как воин. Мултан сказал, что нужно побрить бороду, но Санжар отказался.

Он лежал, широко открыв глаза.

— ...Запах, запах дармины...— говорил он отрывисто.— Это хорошо. Он не похож на запах здешней полыни...

Вечерело. Кони паслись далеко. Изредка доносилось их фырканье. За палаткой, сбившись в кучу, лежали овцы. Слышен был треск костра да глубокие вздохи старого верблюда, жующего жвачку.

— Все такое же, как там, у нас,— повторил Санжар, глядя в небо на первые замелькавшие звезды.— Но все здесь чужое...

Хасан помог Зухейру выйти из палатки и поудобнее сесть на кошму.

Абу Наср понимал, что часы Санжара сочтены, теперь никто не в силах остановить смерть. Не в силах утешить друга, не в силах ослабить его боль, он задумчиво смотрит на верблюдицу. Молодая самка мордой ударяла в шею лежащего самца, словно просила его встать и пойти с ней. Началось время гона.

— ...Это пройдет,— сказал Мултан, уловив взгляд Абу Насра.

Мултан стоял у костра во весь рост, как черное изваяние, опершись на свое длинное копьё. Его жена взбалтывала густой бараний айран, чтобы разлить по чашам для гостей. На засаленном тряпье, расстеленном возле Санжара, громоздилась куча сушеных фиников, маслин, куски холодного мяса, горсть фисташек.

— Проходит время вечернего намаза,— вдруг неожиданно для всех сказала женщина, прерывая тягостное молчание.

— Помяните в молитвах меня...— произнес Санжар, глядя в лицо Абу Насра.

Тот не ответил. Расстелив коврик, он начал молитву. Все, кроме Санжара и Зухейра, последовали его примеру.

— Скажи мне, ты же ученый, есть ли жизнь на той стороне?..— скривив губы, спросил Санжар у Абу Насра, когда окончился вечерний намаз.— Ты веришь в нее?..

— Все в руках создателя...— уклончиво ответил Абу Наср.

— Ты ни разу не играл на кипчаги с тех пор, как мы встретились... Последний раз...— Санжар не смог договорить. Лицо его стало желтоватым, шея ослабла. Он тяжело дышал.

Абу Наср не выдержал.

— Хасан, неси кипчаги! — вскричал он.

От столь громкого крика встрепенулся и встал с места старый верблюд.

Впервые услышав окрик хозяина, Хасан заторопился.

Лицо Абу Насра потемнело. Он взял кипчаги, настроил их, не глядя на умирающего, тихо, под замедленный говор струн начал древнюю кипчакскую песню.

Никто, кроме Санжара, не понимал его слов. Но каждый знал, что эта печальная песня о родине, что Абу Наср успокаивает друга. Быть может, он прощается с ним...

Старый самец ушел за молодой верблюдицей. Догорал костер. Мальчик, заслушавшись, забыл о хворосте. Звезд в вечернем небе становилось все больше. Прохладный ветер обдавал лицо. Исчезли слабые блики солнца на западе.

Голос Абу Насра становился крепче, протяжней. Заросшее густой бородой бледно-желтое лицо Санжара дышало покоем. Он лежал с раскрытыми глазами, уставившись в глубину неба, и прислушивался к словам песни...

Хасан заметил, как жена Мултана села на пальмовый пенёк недалеко от мужа. Она с удивлением смотрела на певца, которого с почтением называли Учителем и которого она считала предводителем этих незваных гостей. Хасан отметил

про себя, что она намного моложе мужа и кожа у нее светлее, в отличие от Мултана. У Мултана лицо и руки давно задубели от ветра и солнца. Правда, руки женщины были такими же, но лицо светлее. Наверное, потому, что она всегда прикрывала свое лицо платком, а сейчас забыла об этом.

Мальчик обычно держался обособленно, настороженно. Но сейчас любопытство взяло верх, и он, снова забыв о том, что надо поддерживать огонь костра, устроился рядом с Абу Насром и следил за его рукой, — его интересовал незнакомый инструмент.

А песня неслась над безлюдной пустыней. Голос Абу Насра все же был слаб. Но он вкладывал в песню все свое смятение, свою печаль. Он словно рассказывал о своем горе, о своем одиночестве, о страданиях и муках человека, скитающегося по чужим краям, а быть может, он пел о Бану, о любви своей...

Песня и игра Учителя стали неожиданным открытием для Зухейра. Если бы не перелом ноги, если бы правая рука не была перевязана... Он попытался бы записать слова песни. Но он не мог. Как замороженный глядя на Учителя, он машинально шевелил губами, стараясь повторить его слова.

* * *

В эту безлунную ночь никто не сомкнул глаз. Когда Плеяда — горстка звезд, во все времена служившая ориентиром для пастухов-кочевников, повисла в северо-западной части неба, Санжар перестал дышать и совершил таслим¹.

В полночь мужчины совершили саят аль-ль-мейит².

— Пусть аллах укажет ему дорогу в Сират³, доброму храброму рабу своему... Аминь... — Это была самая длинная речь Мултана за все время встречи.

Но не успел он закончить ее, как в тишине ночи раздался топот копыт. Мальчик, поддерживавший пламя костра, вглядывался в темноту, обступившую со всех сторон.

— Коней, коней угнали! Сняли с них путы и угнали! — вырвалось у него.

Никто не проронил ни слова. Абу Наср прикрыл лицо Санжара. Зухейр молча плакал...

— Больше не вернутся, — вздохнул Мултан. — И это пройдет. Все проходят по этому свету... и кони, и люди...

* * *

Наступило тягостное утро. Когда солнце поднялось выше человеческого роста, мужчины собрались на вершине ближайшего холма. Они долго копали могилу. Земля была твердой, каменистой.

¹ Предал себя богу (арабск.).

² Специальная молитва за покойника (арабск.).

³ Мост в рай (арабск.).

Мальчик следил за тем, чтобы овцы не уходили далеко. Жена Мултана возилась у очага. А сам он зарезал еще одну овцу — жертва покойнику.

Зухейр сидел возле тела Санжара и здоровой рукой отгонял мух, роem кружившихся над покойником.

Еще задолго до того, как поднялось солнце, вернулся старый верблюд и с глубоким стоном улегся на свое прежнее место у пней пальмы возле колодца. Он тоскливо огляделся вокруг. Из большого выцветшего глаза вытекла одинокая слеза. Мултан заметил самца и, как всегда, проговорил:

— Все пройдет... На то воля создателя.— Затем, обратившись к Абу Насру и попытавсь как-то облегчить его печаль, добавил: — Колодец вырыл мой дед. Он вырастил три пальмы. У него было три сына. Третьим был мой отец. Пальмы погибли при отце. Все прошло. Я остался один с братом. Он должен скоро вернуться сюда со своим стадом...— Мултан не сказал.

К стоянке возвращалась молодая верблюдица. Она подошла близко к палатке, обошла ее и, словно не найдя места для себя, с беспокойством огляделась вокруг. Она не видела и не замечала ничего, все ее внимание было устремлено вдаль. Подняв длинную шею, она глубоко вбирала воздух, приносившаяся.

Хасан и бедуин все еще рыли могилу, очищали ее от камней, когда снова закричал мальчик. Он бежал за верблюдицей, а та, подняв морду к небу и издавая утробные звуки, торопливо уходила на север, продираясь через кустарники.

— Ее не остановить! — крикнул старый бедуин.

Мальчик отстал. Мултан вновь принялся за работу.

— ...И это пройдет,— пробубнил он.

* * *

На следующий день, когда странники сидели в глубокой задумчивости, Зухейр неожиданно попросил Учителя оставить его в палатке Мултана.

Абу Наср молчал. Он не хотел оставлять Зухейра, но и идти дальше с ним не было сил. Нога еще не зажила. Правда, бедуин предложил своего старого верблюда и уже готовил его в дорогу. Но можно ли забирать у бедуина его последнюю надежду? Как же он будет перевозить свой скраб по безлюдной пустыне? Бедуин и без коня не бедуин, а без верблюда — тем более.

Абу Наср видел, что Зухейр ждет ответа. Ждали ответа жена и сын Мултана. Они предчувствовали свою обреченность. Старый верблюд был их последней надеждой на то, что они могут покинуть эту страшную стоянку. Зов жизни увлек молодую верблюдицу в чужие стада. Она ищет достойного самца. Вернется ли она? Ее могут поймать...

Абу Наср не дал ответа, он пошел к видневшейся на холме свежей могиле Санжара. Хасан сидел возле колодца, чувствуя, что бессилён чем-либо помочь своему господину.

Приготовив верблюда в дорогу, Мултан вдруг громко окликнул Абу Насра:

— Все готово! Забирай! До Тудмора доберетесь сегодня.

Абу Наср оглянулся. Бедуин впервые улыбнулся за все эти дни, указав Абу Насру на север. Там, на краю равнины, пробираясь по острым камням, сквозь колючие кустарники, возвращалась молодая верблюдица.

— Она родилась здесь. Теперь она здесь же родит. Она ночью тайно встретила с самцом из чужого стада. Слава аллаху! Собирайтесь в дорогу! — надежда и радость вселились в бедуина.

Жена и сын Мултана бросились навстречу верблюдице.

Бедуин помог Зухейру взобраться на верблюда.

— И это пройдет... — снова повторил он, когда Абу Наср, Хасан и Зухейр покидали его жилище.

Абу Насру его слова показались истиной о безвозвратности прошлого. Он с грустью покидал одинокую палатку кочевника.

Ни сам Учитель, ни его слуга Хасан, ни ученик Зухейр не знали, что ждет их впереди. И все же молодость есть молодость — Хасан и Зухейр не особенно задумывались о минувшем и будущем. Зухейр, правда, чувствовал неловкость от того, что не мог идти пешком рядом с Учителем, а Хасан, держа верблюда на поводу и шагая вслед за своим господином, был спокоен — разбойники больше не нападут на них: кому нужен старый верблюд, отвергнутый даже своей самкой? Если глядеть со стороны, то бредут себе трое — двое пеших бродяг, старик и слуга, а третий на старом, облезлом верблюде. Даже осла доброго нет...

Абу Наср шел впереди с посохом в руке. Он еще ни разу не оглянулся с тех пор, как они покинули палатку. Он вел своих юных друзей к большому караванному пути, идущему в Тудмор, и думал, как и в дни прежних скитаний, о перипетиях человеческих судеб.

Кто знает, возможно, Санжар и остался бы жив, если бы Абу Наср послушался совета старого, испытанного друга и, не прячась от людей, повернул бы своего коня из Дума прямо в Багдад. Не стал ли он, Абу Наср, виновником гибели Санжара?

Не судьба, и не рок, и не предназначения аллаха причина его смерти, а случай, стечение обстоятельств, причиной которых явился он, Абу Наср. Но как же тогда понять слова священных книг о том, что все «предначертано богом»?..

Быть может, эти слова лишь плод догадок, плод воображения? Воображение — это не ложь. Это поиски, попытка приблизиться к истине. Ложь призвана ввести в заблуждение того, для кого она предназначена, и увести его с пути правды и истины, а воображение всегда ищет прямые пути к истине...

Значит, слова священных книг верны? Значит, Санжару суждено было умереть именно там, у палатки бедуина? Однако он же мог остаться в живых, если бы Абу Насру не вздумалось плутать по пустыне!.. Нет, никаких предначертаний тут не было. Гибель Санжара — чистая случайность.

Шагая по бездорожью, он мысленно спорил сам с собой, и собственные выводы его казались порой кощунственными, ибо их логика была такова, что святой Коран — это плод воображения, призванный увести людей с пути истины. Но тогда получается, что все сказанное в нем — ложь?..

Он разволновался, вспотел, старался отогнать эту кощунственную мысль и был рад, когда неожиданный возглас Зухейра прервал нить его мыслей.

— Смотрите, дорога уже близка! Я вижу большой караван, идущий по ней. Это, наверное, дорога на Тудмор!

Абу Наср остановился, вытер пот со лба и оглянулся. Всюду лежала пустыня. Палатки бедуина не было и в помине.

— Да, мой юный друг, эта дорога ведет в древний и странный город Тудмор, — ответил Абу Наср, хотя ни он, ни Хасан еще не видели дороги. Зухейру, сидящему в седле на верблюде, было виднее. — Мы идем в Тудмор, который был очевиден многим событиям в истории, — добавил он, стараясь отмахнуть от себя тревожные мысли.

— Вы сказали «странный город», мой Учитель?

— Да, мой друг. Ибо странно и то, что мы добираемся до этого города столь окольным путем, — он все еще не мог освоиться от своих раздумий...

* * *

Не только на Хасана, но и на Зухейра, которому, несмотря на молодость, пришлось побывать во многих древних городах Месопотамии и Сирии, слушать очевидцев и читать описания древних городов Персии и Индии, Греции и Рума, Тудмор произвел такое впечатление, которое невозможно было передать словами.

Ошеломляющим, сказочным были для них первые мгновения встречи с городом, и они запомнили их, хотя с тех пор прошло много дней.

...Они действительно выбрались на большую дорогу и пошли вслед каравану, пылившему впереди на расстоянии с полверсты. Вдали, среди редких колючек кустарников, мелькнуло маленькое стадо газелей и исчезло. Птицы — боль-

шая редкость в этих местах — прятались в тени зарослей вдоль дороги и промоин, образовавшихся во время муссонов и дождей. Кругом не было видно ни гор, ни холмов, ни деревьев, ни даже кустов фисташек. Земля как бы медленно вздымалась, чувствовалась некрутой, непрерывный подъем.

Зухейру было неловко сидеть на верблюде и смотреть на Учителя, идущего пешком. Они шли теперь прямо на восток. Солнце, пройдя зенит, повисло над правым плечом и отбрасывало куцую тень под ноги идущих.

Ни ветерка, ни звука, только шарканье подошв о песчаную почву да тяжелое дыхание старого верблюда. Изредка доносятся окрики погонщиков каравана, перезвон колокольчиков.

Караван шел не спеша, и Зухейр был уверен, что они догонят его. Но Учитель не торопился. Когда прошли еще верст пять, Зухейр, у которого начала ныть нога и вдобавок разболелась голова, не заметил, как исчез куда-то караван. Будто сквозь землю провалился. Дорога стала еще круче. И вот — это случилось совсем неожиданно, словно земля впереди резко опустилась, — Зухейр увидел внизу перед собой сказочный город...

Зухейр не замечал каравана, который входил в ворота города, он видел город, сияющий в лучах солнца своей чистотой, своими волшебными очертаниями, красивыми домами, амфитеатрами, стенами лимонной желтизны, обрамляющими величественные дворцы и храмы; город, щедро украшенный садами, парками, зелеными лужайками. С востока и юго-востока к нему подступали темно-зеленые рощи пальм, за которыми лежали ровные светло-зеленые шелка лугов и синела безбрежная гладь воды.

На путников повеяло прохладой. Они стояли, очарованные открывшейся глазам красотой. Зухейр не обратил внимания, что его усталый верблюд, согнув колени, опустился на землю.

Абу Наср прислонился к седлу.

Пораженные величием этой неземной красоты, все трое молчали. Казалось, они не решаются шагнуть вперед, боятся вспугнуть столь чудное видение.

— Хасан, достань кожаный сосуд и дай напиток Зухейру, угости и меня, — Абу Наср первым нарушил тишину.

Но слуга не слышал его. Всем существом своим хотел он понять — сон это или явь? Неужели под теми кровлями, опирающимися на бессчетные беломраморные колонны, лежат жилые улицы и переулки? Такого не может быть даже в раю. Что же это за город и кто в нем живет? Почему Учитель ничего не рассказывал о нем?!

Абу Наср с улыбочкой посмотрел на Хасана и сам развязал кожаный сосуд. Он вспомнил, что когда-то так же стоял, как Хасан, перед сфинксом, а затем — перед пирамидой Хеопса. Он тогда тоже не слышал голоса проводника, для него в те

моменты не существовало ничего вокруг, кроме великих творений человеческого разума, рук человеческих...

— Это и есть Тудмор. Древняя столица арамейцев. Никто не помнит, когда он построен. Тудмор — это по-арамейски пальма, тудмор — прохлада. А греки называли этот город Пальмирой, — сказал Учитель, когда Зухейр и Хасан немного пришли в себя от первых впечатлений.

— Но ведь вокруг повсюду пустыня, пески. Великая пустыня. Откуда же здесь вода? — вырвалось у Зухейра.

— В том-то и тайна Тудмора, мой юный друг, в этом его странности и загадки. Никто не знает, сколько тысяч лет Тудмору...

— Смотрите, караван вошел в улицу, как в сказочный дворец, его видно сквозь мраморные колонны, как сквозь узоры! — восхищался Хасан.

— Пора, пожалуй, и нам найти пристанище в этом раю, — улыбнулся Абу Наср.

Спускаясь, они прошли меж двух сторожевых башен у западных городских ворот. Стража не обратила на них никакого внимания.

Пустыня, подступавшая к городу с запада и северо-запада, останавливала здесь свой бег. Словно удивленная красотой, она нависала над городом острыми каменными скалами, на которых высились стены из каменных блоков и мощные оборонительные башни. А на самой высокой скале виднелся замок, к которому вела дорога, прорубленная как продолжение главной улицы города.

Зухейр заметил, что крепостные стены расступались там, где была естественная, довольно широкая долина, уходящая на две-три версты в глубь пустыни, параллельно той дороге, по которой они прибыли. Долина как бы входила в город и упиралась в стены огромного амфитеатра, построенного из розового туфа. С обеих ее сторон возвышалось множество высоких каменных зданий и башен. Это были усыпальницы и склепы, мавзолеи знатных горожан, украшенных скульптурами и изваяниями разных эпох; людей здесь хоронили в течение тысячелетий, и долина называлась «долиной усопших».

Хасан, держа на поводу верблюда, на котором восседал Зухейр, еле успевал за Учителем, с любопытством всматриваясь во все, что встречалось на пути. Чудеса начались для него с первого шага. Не успев пройти крепостные ворота, путники оказались у бассейна. Вода вливалась в него шумным потоком из-под высокого каменного здания. Стены водоема были облицованы толстыми мраморными плитами. И сколько бы ни лил водопад, вода на дне этого узкого, не очень глубокого бассейна оставалась на одном уровне. Она бурлила там словно кипяток. Они обошли вокруг бассейна, но так и не увидели, куда же уходит вода.

Впереди была площадь для игр, а дальше — красивые арки

и дома. Куда все-таки девается вода? Неужели она уходит в глубь земли? Хасан спросил об этом Учителя.

— Здесь целебный источник. Он по трубам уходит в общественные здания и бани, — объяснил Абу Наср.

Но Хасан не понял его, вернее, не услышал. Они уже входили под своды высоких мраморных колонн, выстроившихся в четыре ряда шеренгой.

Впереди шла колесница, сзади догоняла группа разодетых веселых всадников. Солнце не проникало сюда. За колоннами виднелись аллеи, выложенные гладкими, отполированными камнями, по которым не спеша проходили разодетые горожане.

Через каждые сто — двести шагов стояли арки, украшенные статуями воинов и женщин, но головы статуй были снежены... Так положено по исламу, подумал Хасан. От аллеи и центральной улицы вправо и влево уходили мощные улочки и тропы к домам, к торговым рядам, к крытым рынкам, бассейнам, к театру... Рабы, усадив своих господ в богатые кресла, несли их не то в сад, не то в храм, а возможно, в мечеть на молебен...

* * *

В древности Тудмор называли «жемчужиной Сирийской пустыни», «рубином на северном челе Аравии» и многими другими именами, подчеркивая его красоту и значимость для своей эпохи.

Начало истории Тудмора связано с государством Набатей, когда-то существовавшим в этих местах.

Набатей населяли арамейцы. На арамейском алфавите — предшественнике многих письменных знаков, родившихся в Месопотамии и на берегах Средиземного моря, — были написаны первые законы Тудмора. Да и сам Тудмор имел кровные нити родства с арамейцами, как одной из народностей, составивших основу арабской нации...

Первые императоры Римской империи, египетский царь Птолемей, владыка Вавилона Навуходоносор пытались покорить Тудмор и переименовать его на свой лад.

Они не раз были близки к цели. Но шло время, а Тудмор, который с легкой руки греческих путешественников вошел в историю под названием Пальмира, продолжал оставаться главным городом для торговли Запада с Востоком и Востока с Западом.

О законах Тудмора, о его общественном устройстве, о избыточности его порядков писали летописцы Месопотамии и Египта, бедуины и берберы Аравийских пустынь и пустынь Сахары слагали о Тудморе сказки и легенды...

Но все это, как я уже говорил, читатель, произошло за много лет до того, как нога бродячего философа и музыканта, лекаря и мираба, воина и певца Абу Насра Мухаммеда

ибн Мухаммеда ибн Тархан ибн Узлаг аль-Фараби ат-Турки ступила на землю древнего Тудмора.

История этого города в свое время так увлекла воображение и мысли великого философа, что он тогда даже забыл свои трактаты о музыке, начатые еще в саду под Дамаском, забыл о Багдаде, в который так стремился попасть. Он знал, что в Багдаде после убийства аль-Муктадира шла борьба за престол, один халиф сменял другого... Но он не знал, что спустя столетия народ сложит об этом периоде сказку и назовет ее «Халиф на час».

Тудмор и сейчас привлекал Учителя богатством исторических событий, своей еще не совсем увядшей красотой, здесь он мог собрать материалы и поразмышлять над книгой о жизни и правилах Добродетельного города и об обязанностях его граждан...

* * *

Увлечись изучением истории Тудмора, Абу Наср все чаще и чаще ловил себя на мысли, что невольно сопоставляет Тудмор с Отраром, стремится найти их сходство и различие. «Но разве только на примере Отрара и Тудмора можно говорить о принципах создания Добродетельного города?» — вслух размышлял он, не в силах освободиться от непрошенных сравнений.

Быть может, вся суть в том, что поиски наибольшего приближения к истине основываются на опыте, на увиденном, пережитом и познанном? В этом, видимо, и кроется причина ассоциативности человеческого мышления. И не случайно Тудмор рождает мысли об Отраре. Города эти вовсе не схожи друг с другом, но оба они держат в своих руках разные концы одной нити, называемой «шелковым путем»... Но, конечно, все это еще не дает желаемых философских выводов и заключений о воображаемом облике Добродетельного города и его граждан.

«Торговых и караванных узлов на свете много. И Карфаген, и Вавилон, и Латакия в древности, Багдад и Басра, Самарканд, Рей и Дамаск сейчас, в эпоху халифата, являются не только городами, в которых сходятся пути торговых караванов, но и переплетаются и находят развитие разные религии, разные культуры, наука и искусство», — размышляла философ.

«Ничем иным нельзя объяснить то, что мифы и легенды, описанные в Ведах, а именно в Ригведе, самой древней части этой святыни индийцев, пересказываются на разные лады и в книге о Заратуштре, и в книгах о богах вавилонян, о богах шумеров, в сказаниях о Будде, об Адонисе, о пророке Иисусе и пророке Мухаммеде. Одним словом, фактами непрестанного общения людей можно объяснить причину того, что деяния всех богов схожи — схожи на чудеса, они останавливают

Солнце, озаряют слепых, исцеляют хромых, а сами являются первородными сыновьями святых духов, умирают и вновь воскресают. Собственно, все они так или иначе повторяют свои действиями все, что было некогда пережито богами Египта. Они схожи даже по образу и подобию.

Были трехликие боги у египтян. Все индуистские божества считаются подчиненными Тримурты, или троице: Брахма — творец, Вишну — хранитель мира, Шива — разрушитель. Да и сам Шива тоже трехлик. От этого, видать, стал трехликим и Христос, родилась святая троица в христианстве...

Нет, нет, — Абу Наср мысленно спорил сам с собой, — святая троица христиан взята у вавилонян, чьи боги: бог луны — Син, бог солнца — Шамаш и богиня земли — Иштар, были унаследованы ими у шумеров. А вот мусульмане тоже, как и христиане, взяв у всех всего понемногу, забыли о троице, хотя, конечно, троица была основой основ, если брать за истоки всех этих мифов древние культы египтян. Осирис — бог-отец, Исида — богиня-мать, Гор — их сын; или древнегреческую богиню Гекату, которую всегда изображают в виде трех сросшихся фигур...»

Задумавшись о происхождении богов, Абу Наср вдруг почувствовал свое бессилие; он блуждал по лабиринтам мифов и легенд, известных ему, и никак не мог найти связующей нити в утверждениях священных писаний — Библии и Корана — и был потрясен тем, что не нашел в них того, что должно быть основой любого учения — естественной логики, присущей всякому учению. Это ошеломило его и напугало...

«О прости меня, создатель!» — успокаивал он себя, хотя не мог избавиться от мысли, что наука о логике должна быть основой всех учений. Так он предполагал в своем давно уже написанном трактате.

Ругая себя за то, что никогда не мог утвердить в себе постоянство и последовательность в каком-либо деле, он вновь занялся изучением Тудмора.

* * *

В сопровождении Хасана Абу Наср целыми днями бродил по Тудмору, собирая старые книги, слушая рассказы горожан, всматриваясь в памятники разных эпох и надписи на камнях, любясь привезенными издалека товарами. Зухейр пока не мог совершать прогулки вместе с ними — нога заживала медленно.

...Однажды, проходя по рынку и наблюдая, как бедуины раскладывают свой товар — кожу и шерсть — перед покупателями, как показывают своих предназначенных для продажи или обмена овец и верблюдов, Абу Наср, до крайности удивив Хасана, воскликнул:

— Как же я глуп! Как же я глуп!

И, разговаривая сам с собой, направился домой.

— Они, эти города, порождены необходимостью, — вдруг обратился он к Хасану.

Хасан ничего не понял. Но задавать вопросы не стал. Он привык к чудачествам своего господина.

— Люди нуждаются в таких городах. Они выстроены как очаги общения не только одних государств с другими, но и городов со степью. Степи и пустыни дают городам и странам воинов и рабов, когда те, отяжелев от роскоши, богатства, усложняя свою жизнь интригами, начинают задыхаться от болезней собственного чрева, начинают распадаться, как сгнивший плод...

Пустыни Аравии, как и великие степи за Отраром, всегда служили истоками новых племен, новых народов с первозданным восприятием жизни. Кочевники приносили с собой ветры степей и пустынь, заставляли жителей старых городов защищаться или приспособливаться к ним.

И это было естественно. Во всех случаях старое вынуждено было обновляться, действовать. Спокойствие могущественных держав очень часто зависело от спокойствия степей и пустынь. И поэтому им нужна была точка общения — опора, стан, город, где можно было бы на равных говорить со степью и пустыней, пытаться предупредить или удовлетворить естественное желание кочевников и бедуинов к постоянному общению — к обмену товарами, рабами и новостями. Так, только так и по этой причине возникли и Тудмор, и Отрар!.. — размышлял вслух Абу Наср. — Да к тому же и Аравия, и Великая степь никогда не оставались не затронутыми культурой, они еще в далекой глубине веков не раз были свидетелями государственных образований, оставлявших после себя исторические памятники, относящиеся к разным эпохам... Подтверждение тому культура парфян и Кушанской империи и гробничная культура арамейцев, их письмена...

Абу Наср мысленно находил сотни фактов и подтверждений своим умозаключениям и уже искал объяснения давно минувшим событиям истории, которые выносились на свет его щедрой памяти.

Почему Александр Македонский, завоевавший огромную часть мира, покоривший множество великих городов, оставил нетронутыми лишь Тудмор и Отрар? Оба города, расположенные в разных частях света, так и остались непокоренными великим завоевателем.

Когда Македонский попытался пройти через Великую степь — владения Отрара, его остановил степняк Спитамен.

Войско Александра Македонского, привыкшее сражаться с регулярными армиями, было бессильно перед мелкими молниеносными отрядами степняков и людей пустыни, которые появлялись неожиданно, как волчьи стаи, наносили ощутимые

раны тяжелым фалангам и коннице великого полководца то с тыла, то с флангов и тут же бесследно таяли на бескрайних просторах. Они изматывали, рвали на куски, а сами оставались неуязвимыми.

Но эти же спитамены не трогали ни Отрар, ни Тудмор, а наоборот, жили с ними в мире... ибо это были их города...

Но, возможно, Александр — ученик Аристотеля — понимал значение этих городов для общения землевладельцев с кочевниками и потому не трогал их?

Но тогда мудрость Александра была бы под стать его воинскому таланту и родила бы в нем противоречия. Тогда он должен был бы стать философом, а не завоевателем. Мудрость не может быть жестокой.

Новые догадки уводили Абу Насра в сторону от главного замысла — от написания трактата о Добродетельном городе. Мысленно сопоставляя законы Отрара и Тудмора, он пришел к выводу, что в них нет ничего такого, что можно было бы принять как идеал, как мечту. Собственно, и законы Рима, названного Вечным городом, фактически не вечны и потому не приемлемы. Только изучив законы Хаммурапи, правила жизни общин Вавилона, Рима и Афин, Карфагена и Ниневии, ряда городов-государств, сможет он по крупице уловить те добрые начала, на основе которых придет к умозаключению об обязанностях правителей и граждан Добродетельного города. Ибо, как говорил Платон: «Познание — это воспоминание, а размышление — это стремление к знанию».

Только знание истории городов, знание их законов и многих других вещей могут создать философские формулы для трактата.

В Тудморе торговля, переписка и общение шло на арамейском, сирийском, арабском и греческом языках.

Город, как и прежде, был терпим ко всем религиям. Порой казалось, что страсти, бушевавшие по всему халифату, не касаются его. Правда, большинство жителей города еще во времена халифов Омейядов приняли ислам.

Большинство горожан считали себя правоверными мусульманами, совершали пятикратный намаз в мечетях, но в то же время, по привычке или по древней традиции, продолжали посещать доисламские храмы, вот уже тысячи лет привлекавшие к себе людское внимание. Самым грандиозным, величественным и самым красивым среди них был храм Солнца, стоявший на холме в восточной части города, окруженной великолепными сооружениями. Он не уступал по своей красоте греческому Парфенону, хотя и отличался от него своей архитектурой. С парапета, обрамленного могучими коринфскими колоннами, можно было не только наблюдать восход и закат, но и обозреть весь город. Отсюда были видны все другие храмы и дворцы Тудмора, акведуки и колоннады, площади и рынки и все те великолепные сады, в которых росли плоды разных земель и континентов.

Против северо-западного угла храма находились входные ворота, похожие на триумфальную арку Константина в Риме. От арки через весь город тянулась дорога, сопровождаемая четырьмя рядами крытых колонн работы искуснейших мастеров и скульпторов. Дорога, которая не знает и не знала себе подобных.

Абу Наср часто в свободное время — он стал лекарем, чтобы заработать дирхемы на бумагу и оплату жилья, — поднимался по ней к храму и в тиши, под высокими сводами с упсением листал старинные фолианты.

Знание греческого и арамейского, древнесирийского и арабского, древнееврейского и санскрита помогали Учителю легко находить в Тудморе нужные книги.

Неизвестный историк писал, что Тудмор существовал всегда и что первое разрушение ему нанес царь Вавилона Навуходоносор. Но город был быстро отстроен.

Историки и путешественники писали о Тудморе — Пальмире как о бессмертной столице государства Пальмиреноя, как о владыке пустынь, лежавших вокруг, и всех сарацинов¹, проживающих в этих пустынях.

Пальмира управлялась своим владыкой и народным собранием. Она была караванным узлом, соединявшим Месопотамию и Персидский залив, а через него — Индию и другие страны Востока со Средиземным морем. В трехстах пятидесяти верстах на Восток от нее лежало среднее течение аль-Фурата (Евфрата), и ровно на таком же расстоянии на западе лежали берега Средиземного моря.

Пальмира во все времена была единственным поставщиком вначале вьючных ослов, а после, когда приручила верблюдов, верблюжьих караванов для купцов Запада и Востока через пустыню, а ее подлинных хозяева, дети пустыни, обеспечивали безопасность и сохранность товаров.

На протяжении тысячелетия законы Тудмора — Пальмиры о ввозе и вывозе товаров были незыблемы, — пошлины с одного верблюжьего груза составляли два динария, а груза с одного осла — один динарий. Особые пошлины платили те торговцы, которые постоянно пользовались ее услугами. Пререкания и злоупотребления, связанные с применением тарифа, были строго наказуемы и рассматривались особым судом. Обман, воровство, прелюбодеяние карались смертной казнью.

...Абу Наср внимательно рассматривал списки товаров, проходящих через Пальмиру.

Папирус, сушеная рыба, сушеные фрукты из Малой Азии и Египта; шерсть, окрашенная в пурпур, и оливковые масла из Финикии и Вавилона; чернокожие рабы из Африки, звериные шкуры, кожа и сало из пустыни; ткани и дорогие

¹ Слово «сарацин» впервые начало употребляться арамейцами Тудмора. Так называли всех бедуинов и берберов пустыни.

украшения из Индии; пряности и благовония из Аравии; бронза, бронзовые и мраморные статуи из Греции и Кипра...

Пальмира уважала все культы племен и народов: здесь оплакивали Адониса, справляли праздники Марны, поклонялись Ваалу небесному...

Здесь любая первобытная религия провозглашала, что человек может избежать гнева божьего, принося в жертву самое дорогое для себя, а значит, и самое приятное богу, божеству. Сохраняя равенство всех религий, жрецы Пальмиры все же выше всех ставили культ солнца — Гелиоса. Культ Гелиоса был неоспорим. Он мог допускать все верования и оставаться над всеми.

Быть может, в этом сказывалось не только то, что жители пустыни, лежавшей вокруг, до ислама поклонялись разным идолам, но и близость Палестины и Библа, Вавилона и Шумерии, Баальбека и Египта. Если учесть, что финикийцы обожествляли реку Адонис, вытекающую из гор Ливана и меняющую свою окраску под воздействием почвы, и утверждали, что она меняет свой цвет по повелению бога Адониса; если учесть, что в Библе впервые зародилась как традиция жертва девством для иностранцев и святая проституция, а также учесть, что финикийцы приносили в жертву детей, то можно понять, каково было окружение Пальмиры.

Терпимость к чужим верованиям, строгость в соблюдении своих законов сыграли существенную роль в мирозерцании пальмиренойцев.

...У Пальмиры, как и у всякого города, имеющего тысячелетнюю историю, было немало различных владык. Абу Наср старался изучить их дела и поступки, чтобы составить представление об их знании и мудрости, об их жестокости и коварстве, чтобы уяснить для себя: какие же черты характера были бы необходимы для правителя Добродетельного города, если когда-либо такой город появится на земле?..

Чуть прихрамывая, Зухейр помогал Абу Насру находить и выписывать нужные тексты из старых хроник.

Хасан, поняв, что Учитель не очень-то нуждается в его присутствии, когда не лечит больных, уходил к торговым рядам, чтобы послушать рассказы приезжих купцов или странников.

Но проезжие караваны стали редкостью для Пальмиры. Город давно потерял свое былое величие.

Город так и не смог стать прежним Тудмором — Пальмирой, после того, как около двухсот лет назад, до прибытия сюда Абу Насра, в семьсот сорок четвертом году, халифы Омейядов пытались утвердить здесь единую веру — ислам. Устроили резню и изуродовали многие статуи.

Халифы Омейядов, а затем халифы Аббасиды и наместники Дамаска противопоставили Пальмире, как торговому

узлу, другой древний город — Халеб, расположенный в трехстах верстах на севере от Пальмиры, на берегу небольшой, но полноводной реки.

Просматривая старые свитки, Абу Наср натолкнулся на рассказы о походах из жизни царицы Зейнаб. Во многих книгах упоминалось ее имя и утверждалось, что именно во времена ее правления Пальмира достигла своего наивысшего расцвета.

В разных источниках ее именовали по-разному. Греки величали ее Августой, потому что она сама приняла этот титул и основала город своего имени на восточной границе своих владений на берегу Евфрата. В римских источниках ее называли Септимия или Зейнобия. Но сами пальмирцы всегда говорили о ней как о «мудрой Зейнаб», «прекрасной Зейнаб».

Кто знает, возможно, Абу Насра заинтересовала история ее жизни еще и потому, что рассказы о царице напоминали о Бану.

Впрочем, он никогда не забывал о своей Бану — и во время скитания по пустыне, и в палатке бедуина, и здесь, в Пальмире, он всегда старался заглушить тоску по ней, всецело отдаваясь работе.

Днем Абу Наср изучал хронику Пальмиры; вечерами, если к нему не обращались больные, уединялся и при свете лампад перечитывал Аристотеля и Платона, аль-Кинди и Абу Бакра или углублялся в тайны древних математических формул.

Чем больше он узнавал о Зейнаб, тем больше его начинала беспокоить мысль о Бану. Но в конце концов спокойствие и разум брали верх. Он увлекся подробностями жизни царицы.

Муж Зейнаб — правитель Тудмора Оденат Второй — в период войны римлян с персами при императоре Валериане, в двести шестидесятом году, попал в плен к персам, объявил себя «царем всех царей» и сам решил покорить Персию.

Победоносно он вошел в Ктесифон на Тигре и там, во время торжественного пира, был предательски убит своим племянником — полководцем Меоном.

Зейнаб, сопровождавшая мужа во всех походах, одержала победу в междоусобной схватке, казнила Меона и, вернувшись в Тудмор, заняла трон мужа. Народ восторженно принял ее возвращение. Вся восточная часть Римской империи теперь принадлежала Пальмиреное. Тудмор стал не только торговым городом, но и столицей огромного государства.

Зейнаб собрала вокруг себя лучших ученых своего времени. Красота и ум, целеустремленность и решительность, нежность и чисто женское обаяние давали ей неограниченную власть над людьми.

Лучшие зодчие и скульпторы доставлялись в Тудмор со всех концов света. Полчищами пригоняли через пустыню рабов-строителей из Африки, из Карфагена и Киликии. Из Палестины, Ливана и Кипра везли мрамор и гранит. Город обновился и стал еще величественней, его теперь называли «лучшей столицей мира».

Рим не мог стерпеть такого соперничества.

Император Галиен послал свои полчища на усмирение «восточной царицы». Зейнаб одержала блестящую победу над римлянами, и это еще более возвысило ее в глазах правителей соседних держав.

Зейнаб, воспользовавшись тем, что преемник Галиена, император Клавдий был занят войной с готами, направила свои войска по морю и по суше на запад, в Египет, и захватила его.

Не прошло и десяти лет со дня восшествия на престол «прекрасной Зейнаб», как изумленный мир стал очевидцем рождения новой великой державы, чьи границы простирались от Тигра и Евфрата до Верхнего и Нижнего Нила, державы, которая намеревалась завоевать Рим.

Император Аврелиан, занявший римский престол в двести семидесятом году и прозванный «восстановителем империи», решил опередить нашествие Зейнаб.

Три года он собирал и готовил войска для решающего сражения.

В лето 273 года римские легионы неожиданно высадились на берегах Средиземного моря и двинулись на Тудмор — Пальмиру, которая в это время, уверовав в свою силу, создавала новые сказочные дворцы и колоннады, воздвигала памятники своим любимцам и не спеша готовилась к походу на Рим.

Легионы Рима, легко захватив несколько прибрежных городов Пальмиреной, быстро двинулись в глубь страны.

Зейнаб вышла навстречу. Без остановки одолев пустыню, без отдыха, не дожидаясь основных отрядов конницы, спешивших на подкрепление, армия Зейнаб вступила в сражение.

Полководцы и воины Тудмора бились насмерть. То была одна из самых жестоких битв в истории.

Римляне взяли верх.

Зейнаб отступила, теряя остатки своей израненной армии в пустыне.

Царица укрылась за стенами Пальмиры и укрепила гарнизон. Город был окружен со всех сторон. Перерезаны все пути.

Переговоры ни к чему не привели.

Римляне отвергали условия пальмирцев, пальмирцы — условия римлян. Осада длилась полгода. Запасы города истощились. Помощи ждать было неоткуда.

С горсткой телохранителей Зейнаб удалось прорвать бло-

каду и на верблюде бежать к Евфрату, чтобы привести на помощь столицу войска Персии.

Она перешла пустыню, но в тот момент, когда, добравшись до берегов Евфрата, она садилась на судно, ее настигла конница Аврелиана. Зейнаб схватили и торжественно возвратили назад, в Пальмиру.

Пальмира капитулировала.

Зейнаб вместе со своей свитой и сокровищами была торжественно доставлена в Рим. Она украсила победу Рима.

Император Аврелиан оказал Зейнаб такие же почести, какие оказывал когда-то Кай Юлий Цезарь царице Египта Клеопатре.

«Прекрасная царица Востока» поселилась в тихом дворце, среди садов и лугов на Тибре, близ Рима.

Она прожила недолго. Последним ударом для нее была весть о том, что восстание пальмирцев против Рима было жестоко подавлено и город разрушен.

Зейнаб не знала, что Тудмор воспрянет во всем своем блеске и вновь будет разрушен арабами — приверженцами новой религии.

Сама царица была язычницей и умерла язычницей. Она считалась образованнейшей женщиной своего времени. Говорила и писала на арамейском, на латыни, на греческом, персидском, сирийском и египетском языках. Была музыкантом и художником и знала основы многих наук...

Зейнаб безусловно обладала многими качествами, необходимыми для разумного правителя. Многими, но не всеми, так думал Абу Наср, размышляя о ее делах и жизни.

Он осуждал ее походы, ее тщеславие, которые привели к гибели.

Возможно, Аврелиан и не пошел бы войной на Тудмор, если бы она не нарушила своих прежних законов о мире, думал Абу Наср, ловя себя на мысли о том, что он, стараясь понять поступки царицы, думает о Бану.

Как ни пытался, но он не мог отделить Зейнаб от своей любимой. Мысленно царица представлялась ему похожей на Бану... Порой он забывал о Зейнаб и жил воспоминаниями о Бану.

Каково ей сейчас там, в Дамаске, и чем закончился гнев ее отца?

Надо сказать Хасану: пусть сообщит, если будут караваны из Дамаска. Надо получить от нее какую-нибудь весть или послать письмо.

* * *

«...Правитель Добродетельного города... должен иметь любовь к обучению и познанию, — писал Абу Наср, обобщая свои мысли, — должен любить правду и ее поборников, ненавидеть ложь и тех, кто прибегает к ней;

обладать гордой душой и дорожить честью;
его душа от природы должна быть выше всех низких дел
и от природы же стремиться к деяниям возвышенным;
презирать дирхемы, динары и прочие атрибуты мирской
жизни;

любить от природы справедливость и ее поборников, ненави-
дывать несправедливость и тиранию и тех, от кого они
исходят;

...быть смелым, отважным, не знать страха и малодушия
во имя справедливости...

Совмещение всего этого в одном человеке — вещь труд-
ная, и вот почему люди, одаренные подобной натурой, встре-
чаются очень редко...» — продолжал Абу Наср, делая первые
наброски к своему новому трактату.

Мысленно сопоставляя все познанное из истории городов
мира, начиная от Рима и Афин до Тудмора и Отрара, он
диктовал Зухейру свои заметки о типах городов: честолю-
бивых, жестоких, невежественных, властолюбивых, тор-
говых...

Он излагал Зухейру свою мечту о городе, где все люди
были бы равны и где блага принадлежали бы народу.

«Он странный человек, он чудак, мой Учитель», — думал
Зухейр, с упоением слушая Абу Насра.

«Мой господин мудр, он добрый сказочник. Только во
сне, и то не всегда, можно увидеть такие города, о которых
говорит он. Быть может, он пророк, святой пророк, и все
то, о чем он говорит, сбудется», — думал Хасан, с еще боль-
шим почтением вслушиваясь в слова Абу Насра...

* * *

Жизнь в Тудморе становилась все труднее и труднее.
Каждую весть об убийстве того или иного визиря или даже
самого халифа, завозимую сюда приезжими купцами или же
гонцами, посланными из Дамаска или Халеба, горожане вос-
принимали по-разному. Правоверные мусульмане считали,
что это дело рук неверных карматов, еретиков или же
жестоких христиан или коварных иудеев. А христиане и
иудеи злорадствовали по поводу грызни в стане повелителя
правоверных... Поклонники других религий смелее, чем
прежде, возносили хвалу своим богам. Уже не страшась воз-
мездия, каждая секта начала, как и прежде, справлять свои
религиозные праздники. Происходили столкновения новояв-
ленных жрецов и миссионеров. Каждый говорил о воскрешении
своего бога, а в зрелищных местах, в театре под от-
крытым небом, поклонники древних культов давали пред-
ставления о воскрешении бога Адониса, якобы жившего за
тысячу двести лет до рождества Христова.

лялись на сцене амфитеатра и извещали о том, что река Адонис в Ливане вновь окрасилась в красный цвет и на его берегах начали произрастать «сады Адониса», подтверждая восхождение великого божества...

Кто-то пустил слух, что в Египте проснулся сфинкс, а в Мекке ослепли воины карматов, которые вновь посягнули на священный Черный камень, и что оба эти факта говорят о том, что воскрес пророк Мухаммед и скоро его месть достигнет всех неверных, всех, кто творит скверну по отношению к исламу.

Начались поиски и преследования книжников, колдунов и знахарей.

Кто-то из горожан, которых Абу Наср вылечил от недуга, сказал, что Абу Наср не кто иной, как колдун, что он один из тех опасных огнепоклонников, которые, изучая дьявольские писания, лежащие в тайниках храмов, составляют заклинания и снадобья, кои могут сбить правочерных мусульман с пути истины, предписанной аллахом.

Говорили, что Абу Наср не один, что он связан с мятежниками, и в доказательство ссылались на вести из Багдада о новом восстании карматов и об убийстве еретиками великого халифа.

Сам Абу Наср понимал: когда правители грызутся — лихорадит все государство, всюду начинаются поиски жертв.

Люди сторонятся друг друга.

Хозяин дома, где жили Абу Наср и его друзья, потребовал освободить комнату.

Началась слежка. Кто-то сжег книги — сокровища храма. Говорили, что это дело рук таких людей, как Абу Наср.

Были и защитники, утверждавшие, что лекарь не мог ни счесть, ни украсть книги. Они увезены неизвестными людьми, пробравшимися в храмы. Возможно, это еретики из Александрии.

Другие уверяли, что это дело рук гулямов новоявленного султана-правителя Халеба; третьи полагали, что никто не уносил книг, а все они сожжены посланниками повелителя правочерных из Багдада или наместника Дамаска.

Хасан и Зухейр не смыкали глаз; они неотступно ходили за Абу Насром. Они боялись за жизнь Учителя. А Абу Наср боялся за своих юных друзей.

Надо было немедленно покинуть Тудмор. Но куда идти? О возвращении в Дамаск или в Багдад не могло быть и речи...

— Тудмор нас задушит, мой Учитель, — осмелился высказать свою тревогу Зухейр.

— Спокойствие, мой юный друг, — ответил Абу Наср и,

вспомнив слова молчаливого бедуина, с улыбкой, стремясь подавить в себе смутное беспокойство, добавил: — И это пройдет. Ничто не вечно в этом мире...

* * *

...Чтение утомило. Закрыв последнюю страницу кожаной книги, Абу Наср поднял голову. Задумчиво взгляделся в тени от колонн. Солнце уже уходило на запад. Сквозь колонны он увидел густые пальмовые рощи, подступившие к юго-восточной окраине города, а дальше — сверкающую от лучей солнца синеву озера, сливающуюся с бледной голубизной неба.

Стояла тишина. Еле ощутимая прохлада наплывала со стороны пальмовых рощ и голубого озера. Абу Наср не мог оторвать своего взгляда от столь чистых и ярких картин природы. «Поток солнечного света, падающий с юго-запада, словно преобразил город. Если бы вместо храма солнца на этом месте была обсерватория и если бы отсюда можно было постоянно наблюдать за звездами, за небесными телами, то, наверное, открылось бы немало тайн, — размышлял он, уже забыв о только что прочитанных книгах и мысленно проверяя свои познания в астрономии и астрологии. — Интересно, какова была обсерватория Аббаса Жаухари, которую он некогда пытался воздвигать в Таразе, а затем в Отраре?» Опять цепь воспоминания начинала сковывать его...

Терпение Хасана иссякло, ему надоело стоять, прислонившись к прохладной колонне. Он громко кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание Учителя.

— Как, ты все еще здесь? — удивленно оглянулся тот. — Ты стоишь здесь с тех пор, как сообщил мне весть о том, что Мултан с братом находятся в городе и собираются купить коня?

— Да, мой господин.

— Но я же просил тебя скорее вернуть Мултану его верблюда.

— Я сразу же вернул верблюда Мултану. Знал, что вы так прикажете, мой господин. Но это не все. Вы меня не долушали...

— Где Зухейр?

— Он сказал, что занят перепиской ваших комментариев к «Поэтике». Говорит, что как только кончит это дело, так сразу примется за переписку труда «Возражения Гелену по поводу его разногласий с Аристотелем относительно органов человеческого тела».

Абу Наср взгляделся в лицо Хасана и слегка улыбнулся.

— Ого, ты тоже заговорил об Аристотеле. Ты можешь стать хорошим учеником, Хасан. Ну, что же ты стоишь там? Лучше возьми эти книги и снеси хранителю.

Хасан догнал Учителя, когда тот уже покинул пределы храма.

— Так что же ты хотел сказать мне, юный друг? — спросил Учитель.

— Я встретил купца Шамсуддина. Он сам узнал меня и подозвал к себе.

— Кто этот Шамсуддин и откуда он знает тебя? Ты же говорил о Мултане. Расскажи-ка подробнее.

— Я встретился с купцом, когда шел к вам, чтобы сообщить о Мултане, — начал Хасан. — Шамсуддин поставщик ароматов в гаремы досточтимых вельмож Дамаска. Он один из самых богатых купцов, чьи суда и караваны доставляют сандал и корицу, алоэ и мускатный орех, серую амбру и мускус, ароматический тростник и меккский бальзам из дальних стран. Он находит для них покупателей и заказчиков. И сам часто ездит в Багдад и Басру, в города Египта. Моя госпожа не раз посылала меня к нему за ароматами, и он сам привозил ей бальзамы, и плоды, и травы с самыми чудодейственными запахами. Он также поставщик драгоценных камней и хороших тканей для любимых жен наместника. Моя госпожа заказывала ему черные жемчуга из Йемена.

— Ты говоришь о Бану? — нетерпеливо спросил Абу Наср.

— Да, мой господин! Шамсуддин совсем недавно видел ее. Он удивлен, что я здесь и служу вам. Он слышал о вас.

— Так чего же он хочет от тебя, Хасан?

— Купец намерен встретиться с вами...

Абу Наср не ответил, шагая по тенистому тротуару.

Хасан молча следовал за ним. Он не знал, куда направился его господин — в баню, на рынок или в театр, где идет представление о каких-то богах и богинях не то Вавилона, не то финикиян, а может быть, и о богах его предков-халдейцев.

Хасан давно привык к причудам господина. Абу Наср всегда поглощен своими мыслями. А о чем он думает — об этом никто не может знать, кроме аллаха.

Подчиняясь внезапно возникшей мысли или идее, Учитель может вдруг шагнуть в сторону или спешно повернуть назад. Он, наверное, уже забыл о Шамсуддине. Может быть, нелишне напомнить ему еще раз? Но нет. Он не может забыть об этом. Учитель умеет скрывать свои мысли и чувства. Он сейчас вспомнил о Бану, о госпоже. Учитель любит ее и предан ей не менее, чем он, слуга Хасан.

Хасан немного успокоился. Следуя за своим господином, он уже не обращал внимания на встречаемых людей в хитонах и в плащах, в чалмах, в иудейских шапочках, на нищих

и дервишей, торговцев и бродяг, на паланкины и верблюжьи караваны, заполнившие улицы города.

Он думал о тяготах скитальческой жизни. Вспомнил слова Учителя о том, что он может стать хорошим учеником. Но он не обрадовался им. Что пользы от того, что он станет учеником? Снова вечные скитания, копанье в бумагах и страх прослыть неверным, еретиком...

И вообще ему уже надоела жизнь бродяги. Он вспомнил свое детство, Дамаск, свою госпожу и проделки красивой, но очень хитрой и веселой ее служанки.

Увлечшись воспоминаниями, Хасан не сразу заметил, что Абу Наср свернул и направился в сторону амфитеатра. Оттуда толпами валил народ. Раздавались крики. Хасан увидел, как двое схватили друг друга за горло, остальные окружили их, и уже в следующее мгновение плотная масса дерущихся людей начала заполнять улицу. Над головами замелькали палки, летели камни, засверкали ножи. Мусульмане, христиане, иудеи — люди разных верований — дрались между собой. Громче всех прочих доносились крики: «Аллах, аллах!..» Люди выплескивались из амфитеатра волна за волной и остервенело бросались друг на друга. Кого-то ранили ножом. Вид крови еще более накалил страсти. Каждый, не щадя жизни, дрался, защищая святость своего бога, ибо смерть во имя бога всегда была священной.

Увлечшись зрелищем, Хасан не сразу заметил, что Учитель оказался в самом пекле. Подняв обе руки к небу и взывая к толпе, он стремился примирить людей, разнять их:

— Стойте, люди! Остановитесь во имя создателя! Спокойствие и благоразумие! Вы же люди, вы все братья!..

Но никто не слышал его. Кто-то набросился с кулаками на самого Учителя, но Хасан одним прыжком одолел расстояние, отбросил в сторону напавшего и, защищая от ударов, потащил Учителя в сторону...

— Скорее к Шамсуддину, мой господин! Теперь только он может заступиться за нас! — Хасан боялся преследователей...

— Слава новому халифу! Он истинный потомок пророка! — доносились крики сзади. — Слава повелителю правоверных!

По всему было видно, что мусульмане взяли в драке верх и что это они сорвали театральное представление, в котором превозносились боги неверных. Под визг и хохот дервишей победители обратили в бегство приверженцев других религий.

— С нами всемогущий аллах! — донеслось до ушей Хасана уже издалека.

«Опять новый халиф. Что же произошло с прежним?..» — подумал Хасан, уводя уставшего Учителя в лабиринты города...

ГЛАВА ПЯТАЯ, ИЛИ СОН В ХАЛЕБЕ

Один день ученого ценнее,
чем вся жизнь невежды.

Арабская пословица

Это был удивительный сон, хотя бы потому, что запомнился Абу Насру во всех деталях. Каждое слово, услышанное им в ту ночь, было наполнено глубоким смыслом. Он, этот сон, словно вобрал в себя всю его жизнь, проник в глубину существа его мыслей и потому стал для него вещим.

С той памятной ночи прошло немало времени, но он и сейчас помнил все подробности не только сна, но и тех дней.

То были первые месяцы его жизни в Халебе, куда он прибыл из Пальмиры вместе с караваном купца Шамсуддина.

С тем же караваном Абу Наср отправил Хасана в Дамаск с одной лишь просьбой — вернуться к своей бывшей госпоже и привезти либо прислать весточку о ней. На другой день после отъезда слуги он почувствовал необычайную усталость, лег очень рано. Та ночь была длинной, длинным и таинственным был его сон.

Да и сон ли это?

Чем больше дней, месяцев отделяют от него, тем яснее проявляется он в его памяти, хотя в памяти со временем тускнеют не только сны, но и то, что некогда случилось видеть наяву.

Чем объяснить навязчивость этих видений?

Усталостью, одиночеством, болезнью, старостью?

Чем?

Расскажи он об этом сне подробно, вслух в кругу молодых толкователей ислама или седых муттакалимов, его прозвали бы святым, пророком или же, как это случилось в Туд-море — Пальмире, колдуном, волшебником...

Но, как бы там ни было, он — ныне величаемый всеми, и друзьями, и врагами, Учителем и суфием и, наконец, обретший спокойствие в садах и дворцах султана Саиф ат-Даула, прозванного «карающим мечом государства» за свою жестокость, незаурядный ум и дальновидность (какое сочетание понятий?), он, Абу Наср, в своем трактате о «Добродетельных городах и мудрых правителях» доказывавший, что жестокость несовместима с мудростью, еще никому не рассказывал о своем сне — о сне, который уже много раз заставлял его, Абу Насра, подвергать сомнению все свои деяния в прошлом и настоящем.

Восстанавливая в памяти пережитое в ту ночь, он еще и еще раз спорил сам с собой о вечности истины и смысле жизни.

Он помнил все.

..Была холодная звездная ночь. Где-то за его спиной, слов-

но перемигиваясь с небом и луной, поблескивал Нил. Абу Наср не знал, как очутился на том плоскогорье, как переплыл реку.

Он мог перешагнуть ее или пройти по волнам, как Христос.

В ту ночь он мог совершить чудо. Мог, плавно взмахнув рукой, мягко перешагнуть с одного бархана на другой, с берега на берег. Мог летать...

Но его остановил могучий и спокойный голос в ночи:

— Зачем ты явился сюда?! Разве ты не видишь, где стоишь?! Преклони колени!

— Кто ты? — откликнулся Абу Наср. — Скажи свое имя или покажи лицо. Я хочу знать, кто говорит со мной! — ответил Абу Наср. Он был в белом одеянии. В складках тонкой ткани играл ночной ветерок.

— Я Голос пустыни и неба. И я повторяю тебе: преклони колени! Ибо нет на земле большей святыни, чем этот уголок. Все, кто когда-либо приходил сюда, осторожно ступали на эти песчинки. И царь, и мудрец, и поэт, и палач замирали здесь в изумлении!

— Но где же я?

— На плоскогорье Гизы! Здесь находятся те, кто вершит молчаливый суд над временем... Ты слышишь меня? Здесь началась история. Здесь, на берегу Нила, покоятся города и живут те, которых ты ищешь! Ты, дитя диких степей, не знающих почтения к святыням... — торжественно и величаво звучал Голос пустыни. — Еще раз повелеваю тебе: встань на колени! Мой гнев безмерен!..

Абу Наср почувствовал небывалую тяжесть на плечах. Ощутил колючий холод. И тотчас, пряча озябшие руки в складках своего белого одеяния, медленно опустился на колени. Голова, словно залитая свинцом, упала на грудь. Он сделал последнее усилие и вновь поднял ее.

— Я хочу видеть тебя, владыка! — Абу Наср сам не слышал своего голоса.

— Ты никогда не увидишь меня, человек! Но знай: я тот, кто создал эти пустыни, эти горы и реки. Я тот, кому поклоняются люди.

— Люди поклоняются разуму! — возразил Абу Наср, снова не услышав своего голоса.

— Нет! Люди поклоняются богам! — одернул его могучий Голос, который на этот раз прозвучал откуда-то сверху. Ярче заискрились звезды. Луна вздохнула и засветила сильнее. Разорвалась темная пелена, окутавшая пески Саккары.

— Я знаю людей, которые разумом своим раскрывают тайну бытия, и значит, и тайны богов, — не сдавался Абу Наср.

— Они жили и живут здесь! — Теперь Голос зазвучал спокойнее. — Под этими песками укрыты все тайны бытия и вселенной.

— Разум не подвластен смерти! Разум не скоронишь в песках!

— О ком ты говоришь, слабый человек? — прогремел Голос.— И где же живут боги, если не здесь?!

— Они жили на другом берегу великого моря. Один из них дал имя всем, кто находится на этом плоскогорье, другой назвал вечность — Космосом, а солнце — Гелиосом. Но величие разума доказали не только они...

— Кто еще? — спросил Голос.

— Аристотель!..

— Кто он?

— Грек. Ученик Платона, который когда-то раскрывал тайны бытия перед своими учениками. Но сам Платон был учеником Сократа...

— Замолчи! Ты слаб и жалок.— Глубокий вздох качнул землю под ногами, колыхнулись звезды.— Ты разбудил Его!

В слабом всплеске зари, вырвавшемся откуда-то из-под края земли, Абу Наср увидел лицо Сфинкса. Оно было спокойным и задумчивым.

— Он увидел Солнце раньше, чем греки возвели храмы своим богам,— продолжал Голос.— Молчи и слушай. Не гневи Его!

Теперь Абу Наср молчал. Тяжесть упала с его плеч. Он встал и ощутил себя хрупкой тростинкой перед могучим Сфинксом, огромное тело которого, освобождаясь от темного покрывала ночи, поднялось перед взором. Кругом все еще была ночь, все так же холодно мерцали звезды.

Глаза Сфинкса были полузакрыты. Казалось, что он еще не до конца пробудился. И вот — о создатель! — Абу Наср вновь услышал его слова, слова Сфинкса. Этот Голос был нетороплив и мягок, он успокаивал и словно призывал к молчаливому раздумью.

— С каждым новым рассветом я вижу бога — Солнце поднимающимся на дальнем берегу Нила. Первый его луч — для моего лица, обращенного к нему. За пять тысяч лет я видел все солнца, которые могут помнить люди. Я видел историю Египта в ее первоначальном блеске, так же как завтра вновь увижу новую зарю. Я — преданный и чуткий страж у ног своего господина. Он дал мне свой лик. Я — спутник фараона, и я есть он сам, фараон. На протяжении веков я получил много имен от людей, что приближались ко мне в восхищении. Ты упомянул об одном из них. Так кто же он?

Абу Наср понял, что вопрос обращен к нему.

— Геродот,— ответил Абу Наср так тихо, как отвечает провинившийся ученик своему учителю.

— Я не знаю его,— задумчиво промолвил Сфинкс и продолжал: — Там, у ног моих, на этом обширном плоскогорье, когда все человечество еще пребывало в детстве, там ходили и работали каменотесы, геометры и астрономы, которым были знакомы все звезды неба. Они уже строили, в то время

как остальной мир охотился на диких зверей и укрывался в пещерах. Так где же были тогда и что делали те, чьи имена ты здесь произносил?

Абу Наср промолчал. Молчал теперь и Сфинкс. И, как бы приходя на помощь философу, вновь раздался странный, загадочный Голос:

— О благородный Нил, приветствую тебя! Величественно льются твои воды, оросившие эти священные долины. Ты помнишь, как однажды пески пустыни захватили поля. Высохли всходы на берегах твоих. Чтобы спасти поля, человек придумал дамбы и каналы. Люди любили землю и возжелали ее как свою могилу. И с тех пор здесь, на плоскогорье Гизы, построены вечные жилища мертвых. Но их души бессмертны — бессмертны души великих...

— А я, верный спутник времени, — раздался голос Сфинкса, — видел рождение и падение династии, видел седых жрецов и слышал легкие шаги благородных дам... — Лицо Сфинкса озарилось загадочной улыбкой. Он снова умолк, будто прогрузившись в воспоминания.

— Ты помнишь рассказ о соколе, что украл сандалию, пока женщина купалась в Ниле? — обратился Голос к Сфинксу. — Он обронил ее в саду фараона... Так прекрасна была сандалия и такая маленькая, что фараон пожелал увидеть хозяйку. И он женился на ней.

— То легенда, мой вечный спутник, — сказал Сфинкс.

— А ты помнишь, как один из знати при дворе Хеопса завлек любовника своей жены в глубокое озеро, использовав восковую фигурку, и там обратил его в крокодила с помощью мага? Желая удивить Хеопса своей магической властью, он охотно, но безрассудно повторил перед Хеопсом содеянное, ибо фараон наказал и виновного, и хвастуна. По его приказу царедворца бросили к крокодилу, который пожрал его, а неверная жена была подвергнута наказанию.

— Это тоже легенда. Но она урок для него... — Глаза Сфинкса раскрылись, и он взглянул на Абу Насра.

— Ты помнишь молодого фараона Аменхотепа Второго? Плечи его были широки, талия тонкой, он мог сдерживать в повиновении дичайшую лошадь. Его имя выгравировано на камне, лежащем перед тобой!

— Это история моей жизни!.. — Сфинкс закрыл глаза. — Продолжай, мой вечный спутник!

— А затем люди забыли о тебе. И ты решил навсегда скрыться от них. Укрыться песком и землей. Задержанный войной в Месопотамии, Аменхотеп Второй был далеко от своей земли. А принц однажды, после возвращения с охоты на льва, остановился отдохнуть в твоей тени. Ты ниспослал ему сон и заговорил с ним.

— О, я помню тот день! — вновь заговорил Сфинкс, открывая глаза и озаряя светом. — Принц был моим любимцем. Я сказал ему тогда: «Обрати взор свой на меня, сын

мой. Внемли мне, и тогда белая и красная короны, короны Верхнего и Нижнего Египта, будут твоими. Твоей будет вся эта земля в длину ее и в ширину. Ты видишь, как я заброшен, как неприглядно мое тело? Я — хозяин плоскогорья Гизы. Извлеки меня из песков, и ты станешь царем!»

— Воистину все было так, — подтвердил Голос. — Пронувшись, молодой человек очистил тебя от песка и был коронован как царь Тутмос Четвертый и выгравировал меж твоими ногами сон, который ты внушил ему. А ты, человек, искатель истины и поклонник разума, ты хотел бы увидеть, как это было?

— Я весь внимание, — ответил Абу Наср.

— Так смотри же! Церемония коронации началась. Видишь, толпы народа собрались на берегу?

Тут яркий свет озарил все вокруг, и Абу Наср увидел людей, заполнивших берега Нила. Увидел царскую барку, плывущую вверх по реке, подгоняемую двумя сотнями весельщиков... Вот барка причаливает, с нее сходит фараон, сходит и направляется к огороженной канатами площадке, чтобы заняться стрельбой из лука. Толпы народа следуют за ним.

Он отважен, этот юный фараон; увидев игру полуприрученной лошади, тут же велит впрячь ее в свою колесницу. Он крепко держит вожжи, подчиняет лошадь своей воле, колесница мчится по кругу раз, другой, третий... Толпа приветствует его, а фараон уже выбрал себе лук. Он перепробовал более полусотни, прежде чем отобрать вот этот.

Он снова направляет колесницу к мишени. Натянул тетиву лука. Пускает стрелу. Попадает прямо в центр, и снова натягивается тетива, и снова стрела попадает в цель.

Вот его последняя стрела поражает мишень и пролетает насквозь!

Это его триумф. Гордо возвышаясь над колесницей, фараон направляется ко двору, где его ожидает трон.

Двор, жрецы, народ приветствуют его хвалами и пожеланиями. Он получает двойную корону и всходит на триумфальную колесницу, едет в храмы Хармакиса, Хеопса и Хефрена.

— Да здравствует фараон! — несется со всех сторон. Но голоса уже становятся все тише и тише. И умолкают...

Исчезает видение. Снова ночь. Изумленный Абу Наср с удивлением оглядывается вокруг. Смотрит на звезды. Ощущает холод и одиночество. И вновь раздается Голос:

— Правление монарха кончено... Фараон мертв, и сейчас из долины доносятся печальные звуки похорон. Ты слышишь их, скиталец?

— Да, владыка, я слышу, — отвечает Абу Наср. Из-под земли доносится плач.

— Вглядись во мрак ночи, скиталец. Ты видишь: фараон покоится в деревянном саркофаге, инкрустированном золо-

том и драгоценными камнями. Церемония в нижнем храме закончена, и, подымаясь по дамбе, похоронная процессия приближается к гробнице, к пирамиде.

Абу Наср увидел пирамиду и ее погребальные покои. Все приготовлено к пересечению озера, что ведет к вратам в иной мир.

Последняя глыба камня будет водружена на место так искусно, что никто никогда не узнает, какая часть стены — дверь.

Верховный жрец совершит последнее прощание...

Видение исчезло. В предутреннем мраке появляется высокий, начисто выбритый жрец в белом хитоне. Он стоит на возвышенности рядом с пирамидой.

— Теперь, царь, ты покидаешь нас не мертвым, ты отходишь живой! Если ты уходишь, ты вновь вернешься скоро, — торжественно произносит жрец, подняв руки к небу. — Если ты спишь, ты проснешься. Если ты умер, ты воскреснешь вновь. Ты, кто поднялся к неумирающим звездам, ты никогда не исчезнешь!

Абу Наср слышит голоса плакальщиц, доносящиеся сквозь монолиты пирамиды Хефрена, возвышающейся перед жрецом.

Увы! Увы!

Пусть плачем мы, плачем без отдыха.

О, славный путешественник в вечность, ты есть сейчас, —

четко доносятся их слова. Луна и звезды разгораются ярче. Чувствуя приближение утра, Абу Наср уже видит другие храмы и пирамиды Гизы...

— Так, тысячелетиями, династия следовала за династией, — продолжал Голос. — Но из монархов Древнего Египта ни один не привлекателен так, как тот молодой фараон, поэт и мистик... Запомни об этом, скиталец! — обращается Голос к Абу Насру. — Он покинул Фивы, чтобы основать свой собственный город. Он отверг бога Амона и его жреца, чтобы поклоняться выбранному им самим богу Атону. Он сложил с себя имя Аменхотеп и принял другое — Эхнатон. Атон Единственный... Он умер в тридцать лет от роду. Три тысячи лет назад он написал и произносил свою молитву: «Твой восход, о дивный Атон, отнимает у меня дыхание, ты владеешь моим сердцем. Ты создатель и дарователь всего сущего, люди живут твоей милостью, Атон, «вечно живущий и вечно дарующий жизнь».

— Остановись! — раздался голос Сфинкса. — Я видел, как завоеватели, мечтавшие о славе, блистали передо мной и склоняли свои головы. Я видел многих с горящими глазами, они завидовали моей славе и бессмертию.

Века проносились над моим челом. Я знал годы отчаяния, когда люди страшились моей улыбки, дети считали меня безобразным и — никто не слушал меня. Ключи от Древнего

Египта утеряны. Все наше знание, сама душа наша, свернутая в тысячах папирусов, спит, неизвестная и ненужная, во мраке и безмолвии гробниц. И ты, жалкий человек, считающий себя поклонником разума и искателем истины, никогда не познаешь их!..

— Прости, несравненный и могучий владыка! — возразил Абу Наср. — Но людские мечты и планы никогда не сбываются полностью, ибо знание и мудрость бесконечны.

— Повелитель вечности! — вскричал Голос, обращаясь к Сфинксу. — Как же этот жалкий скиталец, который подобен тле, сидящей на песчинке, осмелился перечить тебе?

— Ты лишен самого великого блага для всех живых и мертвых — спокойствия! — ответил ему Сфинкс. — Я устал молчать. Дай же мне насладиться беседой. — Затем он вновь обратился к Абу Насру: — Ты говорил о Геродоте...

— Его называют отцом истории, — ответил Абу Наср.

— Он, кажется, назвал меня «сфинксом», как будто я с его земли. Откуда ему знать мою историю? Он такое же наивное дитя времени, как и ты.

— Цивилизации подобны островам в океане варварства, — ответил Абу Наср. — Ты не только встречаешь восход бога — Солнца, но уже тысячелетиями зришь на эту реку, по которой проплывали самые разные люди от фараона до раба. Ты каждый день видишь эти холмы и пирамиды, у подножия которых все становится мимолетным, незначительным, а человек кажется насекомым. Но все же их построили люди! И слава пирамид, и твоя слава — это слава людей, их разума. Ты знаешь об этом, владыка пустынь и Нила!

— Остановись, человек! — вскричал Сфинкс. — Люди ничтожны! Они покоряются лишь силе! Силе, способной превратить их в муравьев и заставить строить пирамиды вечности.

Лицо Сфинкса озарилось, глаза его были раскрыты, и их странный, глубокий блеск сковал Абу Насра.

— Но сила людей в разуме! — не отступал философ.

— Нет! Сила — во власти, управляющей народом. Ты всего лишь ничтожная пылинка земли, скиталец, и ты смеешь искать тайны бытия, секреты истины?! Ты мечтаешь о Добродетельных городах, удивляешься вещам давно забытым и вновь открытым! Так знай: велик и могуществен был город Мемфис — столица, стоявшая в этой долине. Но где он, Мемфис? Где Вавилон, где Карфаген и Пальмира? Где твой Отгар? Все они погибли, утрав свою силу и волю, погрязнув в роскоши и распутстве. Нет былых городов здесь, нет Мемфиса, нет дворцов, в прах превратились цари и халифы. Остались фараоны.

Велики и могущественны были фараоны, но не все. Здесь правили, правят и будут править лишь три фараона: Хеопс, Хефрен и Микерин!

Люди — муравьи, подобные тебе, — опустошили их саркофаги и гробницы. Но фараоны живы!

Время сменяет одно поколение за другим. Но они, эти трое, останутся жить, пока жива Земля! Они правили и будут править, царствовали и будут царствовать, нося двойную корону Верхнего и Нижнего Нила. Они правят своим двором, своими приближенными, похороненными здесь. Они правят маленькими пирамидами, где покоятся их царицы, правят могилами своих жрецов, шутов, ученых, астрологов, певцов, поэтов и куртизанок. Вот они — три великих фараона! Смотри!

И Абу Наср увидел, как Сфинкс качнулся и поднял правую лапу. Земля вздрогнула, грянул гром, и всплеск молнии осветил на миг три великих пирамиды.

— О несчастный, ты погибнешь! — раздался Голос пустыни. — Ты вызвал Его гнев!

— Успокойся! — отозвался Сфинкс. — Я пощажу скитальца. Я лишь говорю ему об истине, как он — своим ученикам. Я лишь свидетельствую волю Хеопса — моего отца. Я, видевший, как тщеславная мечта завоевателей и безумство мудрецов рассыпались, будто мертвые листья, сказал: «Мир боится времени, а время — пирамид!» Запомни это, человек. Твой грек Геродот назвал пирамиды одним из семи чудес. Но где же остальные шесть?! Где сады Семирамиды и Александрийский маяк?.. Ничто не сравнится с этими пирамидами! Великий мудрец Имхотеп, создавший чертежи пирамид, здесь, в Саккаре, на плоскогорье Гизы, был отцом всех историков, астрономов, математиков, архитекторов и философов. Его ум и знания, покорившись силе и воле фараона, создали эти памятники вечности, которым не страшны потопаы, ураганы и все невзгоды, которые небо когда-либо обрушивало на Землю. Они выстояли и тогда, когда страшный гнев небес обрушился на Египет!¹ О, ты стал задумчив, скиталец! Говори же! Скажи мне, о чем твои мысли?

— Ты прав, владыка, — начал Абу Наср. — Те, кто работал здесь, кто создал эти памятники вечности, достойны глубочайшего уважения и восхищения. Они знали, что должны делать, куда идти. Они верили, а вера превыше всего. Вера в людей, в их силу и разум...

— Не люди, а фараон знал все это, верил в свою силу и подчинял всех своей силе и воле, — упрямо перебил его Сфинкс.

— Но ты говорил и об Имхотепе — ученом!

— Да, он обрел силу и бессмертие, подчиняясь воле фараона. И написал: «Не отвечай на добро злом, а зло побеждай добром...»

¹ В 27 году до нашей эры страшное землетрясение прошло по всему Египту и уничтожило величайшие храмы в Карнаке, в Долине богов, по всему Египту.

— Владыка, но где же справедливость? Разве она не выше всего?

Сфинкс не обратил внимания на вопрос Абу Насра и продолжал:

— Ты слышал здесь голоса минувших тысячелетий. Таково было мое желание. И если эти голоса показались тебе знакомыми, то потому лишь, что их первое эхо дошло до тебя через Персию и Индию, через Грецию и Рим, через христианство и ислам. А теперь ступай своей дорогой. Знай, что не греки воспели разум. Разум — дитя богов... Больше не тревожь меня. Я должен достойно встретить бога всех богов, моего самого могущественного владыку, который может уничтожить или возродить все земное! Иди! Я встречаю бога — Солнце!..

Лицо Сфинкса стало багровым, затем просветлело.

Из-за дальних холмов пробились и рассыпались по земле солнечные лучи.

Видение исчезло...

* * *

...Абу Наср проснулся, весь облитый потом. Сквозь листья деревьев светило утреннее солнце. Пели птицы. Но ни в то утро, ни на другой день Абу Наср не обращал внимания на голоса певчих птиц, на красоту сада султана Саиф ат-Даула, в котором он мог проводить свое свободное время, беседовать с учениками или учеными, — на то была воля самого владыки.

В те дни он не мог, как обычно, по утрам углубляться в свои трактаты и даже избегал споров, не посещал междисциплинарных ученых. Его мысль была целиком поглощена тем, что он увидел во сне.

Днем он бродил по Халебу, словно забыв о всех земных делах, а ночью лежал с раскрытыми глазами, не в силах уснуть.

Он искал причины столь загадочного сновидения. Ему не хотелось раскрывать кому-либо тайны своего неожиданного молчаливого уединения.

Раньше, когда Хасан или Зухейр были рядом, он мог поразмышлять вслух, поведать им как сказку о том, что будоражило его мысль. Но сейчас не было ни Хасана, ни Зухейра. Султан Саиф ат-Даула Хамдани отнял у него Зухейра.

* * *

После прибытия в Халеб вместе с караваном купца Шамсуддина Абу Наср и его спутники провели неделю в караван-сараях. Там же, в караван-сараях, в тесной келье, при свете лучины, он написал свое письмо Бану.

Проводив караван, с которым Хасан уходил в Дамаск, Абу Наср с Зухейром направились в главную мечеть.

Окончив намаз, горожане не спеша покидали огромный зал мечети. Подобрал у входа свою обувь, Абу Наср в сопровождении Зухейра спускался по ступеням, когда увидел вышедшего вслед за ними человека и узнал в нем Абу Исхака — участника всех меджлисов ученых при дворе покойного халифа аль-Муктадира. Тогда оба они были намного моложе.

Всегда спокойный и немногословный, Абу Исхак уже в те годы привлекал внимание своей любознательностью. Сказать, что он особенно выделялся среди других своими познаниями или талантом, было нельзя. Но всегда старался сам, своим собственным разумением определить меру правоты или меру ошибочности тех или иных взглядов на вещи. Врожденная скромность, а быть может, и нерешительность мешали ему проявить глубину своих собственных суждений. Но главное, Абу Наср ни разу не замечал в нем черт корыстолюбия, тщеславия и злой зависти, не замечал льстивости, раболепия и заискивания перед более сильными. Правда, в те годы — и тогда, когда они встречались на меджлисах, и тогда, когда выезжали в свите повелителя на прогулку или охоту, в библиотеке, в поездках в Салманпак¹, расположенный вблизи Багдада, где высится могущественная арка Хисроу, Абу Наср не проявлял особого интереса к этому молчаливому человеку. Хотя именно там, в Салманпаке, Абу Исхак пригласил его в свое небольшое, но богатое поместье с редким по красоте садом. Здесь рядом с арчой и кипарисом росли пальмы и карагач, нежные арабские сосны, апельсины, бананы, лимоны. Цвели розы и канны. Одним словом, здесь были собраны породы чуть ли не всех деревьев и цветов мира. Абу Исхак был искуснейшим садоводом и знал многие тайны природы. Уважение вызывало еще и то, что Абу Исхак умел неназойливо облагодетельствовать и молодых, и старых бедных искателей знаний. Он был меценатом.

И вот этот Абу Исхак оказался в Халебе. Как и прежде, одет не богато, но опрятно. Однако нет прежней осанки. Годы взяли свое, превратив его в благообразного седобородого старца. В сопровождении нескольких, таких же, как и он сам, ученых мужей Абу Исхак степенно спустился со ступенек и остановился на краю площади перед мечетью, продолжая беседу.

Абу Наср прошел было мимо, не решив, надо ли проявлять любопытство и мешать беседе Абу Исхака. Ведь прошло слишком много времени. Он может и не узнать его.

Но в загорелом, обветренном человеке Абу Исхак узнал Абу Насра.

— О помощи мне, аллах! Не обманулись ли мои глаза?! Подождите, почтенный! Я не мог ошибиться...— Абу Исхак, оставив в недоумении своих собеседников, бросился к Абу Насру.— Слава аллаху! Вы ли это, Учитель?! Я — Абу Исхак из Багдада. Вы помните меня? О, сколько воды утекло с тех пор!

Если учесть характер Абу Исхака, такой восторг был для него необычен, но в искренности его не оставалось сомнений. Да и Абу Наср не смог скрыть своих чувств, он был взволнован этой встречей не меньше.

Вечер они провели вместе у Абу Исхака в воспоминаниях о былых днях, о друзьях и недругах. Оказалось, что Абу Исхак уже более десяти лет живет в Халебе, что он продал свой изумительный сад под Багдадом и убрался оттуда после гибели халифа аль-Муктадира, когда начались бесконечные заговоры и смуты, бунты рабов, гонения на карматов, слежка и убийства ученых и поэтов...

Абу Наср услышал и о том, что здешний султан Саиф ат-Даула стал покровителем ученых и поэтов. Что он, и только он, великий султан, отныне — крепкая опора ислама. И что только в Халебе не было за эти годы таких смут и волнений, как в Багдаде, Мосуле, Дамаске, в Бухаре и других городах.

— Саиф ат-Даула дальновиден как политик, жесток и суров как правитель, мудр и терпим как философ,— говорил Абу Исхак.— Он ныне истинный и грозный защитник нашей веры. Он покровитель всех, кто верен аллаху...

— Но ведь верность алаху — это покорность судьбе, покорность произволу владык,— решил возразить Абу Наср.— Покорность не только внешняя. Но и покорность и податливость в мыслях, мой друг. А безропотность мысли — это духовное рабство, отказ от поисков, от борьбы за истину...

Эти слова, казалось, нисколько не смутили Абу Исхака, он принял их спокойно, как должное, не оспаривая и не поддерживая.

— Наверное, ты прав, Учитель. Твои слова, как всегда, точны, а мысль не знает покоя,— сказал он.

Абу Наср, однако, молчал.

— Но в то же время многим чужды понятия борьбы и насилия,— Абу Исхак явно стремился прервать это неожиданное и тягостное молчание.— Для многих людей естествен дух спокойствия и примирения с судьбой. Ведь именно повиновение судьбе, предписанной аллахом, предопределяет долговечность традиции и обычаев. А вера в аллаха дает желанное спокойствие и удовлетворенность тем, что есть. Все в руках аллаха, мы все его рабы.

Абу Исхак не спорил, он просто пытался перевести беседу в спокойное русло. Он рассказывал о богатстве библиотеки султана. Оказалось, что в Халебе действительно собраны все лучшие переводы трудов многих почитаемых ученых и философов древности, что султан не жалел ни средств,

ни силы, чтобы собрать их в свою сокровищницу мудрости. Книги он привозил как трофеи после очередных сражений или очередного нашествия, скупал на рынках у каллиграфов и купцов, даже посылал за ними своих гонцов в дальние страны.

— Если два прошлых века для арабской философии и науки были, по словам аль-Кинди, периодом раскрытия всех знаний в арабских переводах, то все эти книги, в коих излагаются учения китайцев, индусов, персов и греков, будут собраны здесь! — Эти слова, сказанные однажды султаном, Абу Исхак с гордостью повторил Абу Насру. И он же первым ввел Абу Насра в меджлис ученых, собравшихся в Халебе за последнее десятилетие.

Это было в четверг, в день, предназначенный самим султаном для встреч и бесед с книжниками. Сам султан, по словам Абу Исхака, редко бывал на таких меджлисах. Он любил проводить свое время в походах либо на охоте. Или же наблюдал за работами в каменоломне, так как заново отстраивал все внутренние помещения старинной крепости, возвышавшейся в центре Халеба на высоком холме. Но в тот день, когда Абу Исхак привел Абу Насра во дворец, Саиф ат-Даула решил посетить меджлис, и потому охрана, предварительно обыскав Учителя, доложила султану о госте.

— Ты привел нам неизвестного странника, — сказал султан, как только они перешагнули порог зала, не дав вымолвить слова и без того растерявшемуся Абу Исхаку и бросив мимолетный взгляд на Абу Насра. — Значит, он достоин этой чести. Я верю тебе. Пусть он займет в нашем кругу место, которое сам сочтет достойным для себя.

И Саиф ат-Даула еще пристальнее взгляделся в философа, смерив его взглядом с головы до ног.

Султан восседал в зале на почетном месте, застланном львиными шкурами. Перед ним на коврах сидели полукругом человек тридцать безбородых и чернобородых мужей. Одни держали в руках чаши с вином, другие задумчиво перебирали четки. На скатерти и на подносах громоздились яства. Слова своего султана эти люди встретили возгласами одобрения, вознося хвалу его мудрости.

Абу Наср лишь слегка поклонился султану, что сразу же вызвало ропот, ибо пришелец должен быть более благодарным и учтивым. Но ропот вырос в открытое негодование, когда Абу Наср, немало удивив Абу Исхака, направился прямо к султану и сел рядом, справа от кресла повелителя.

Султан молчал. Зал притих.

Главный телохранитель, стоявший за спиной султана, двинулся было к незваному гостю, но Саиф ат-Даула остановил его жестом.

Растерянный Зухейр, сопровождавший своего Учителя, на секунду замешкался было у порога, но затем направился к

Абу Насру, чтобы сесть рядом с ним. Правитель резко поднял руку и остановил юношу.

— Наш гость сам выбрал место для себя. Мы еще не спросили его, достоин ли он этой чести. Но слуга или ученик нашего гостя должен оставить этот меджлис старших. Ответьте его туда, где сидят молодые книжники и каллиграфы — летописцы наших подвигов и государственных дел.

Зухейр посмотрел на Абу Насра. Тот легким кивком головы выразил свое согласие. Зухейра увели. И снова воцарилось молчание.

Абу Исхак поднялся с места, вероятно, для того, чтобы еще раз попытаться представить Абу Насра султану и всем участникам меджлиса. Но правитель вновь перебил его:

— Мы спрашиваем тебя, пришелец! Знаешь ли ты, что место, которое ты выбрал для себя, может занять лишь тот, кому мы окажем свою высокую милость? Здесь, в зале, сидят те, чьи знания достойны нашего внимания. Чем же ты докажешь, что ты достойнее их? Отвечай!

— Спокойствие, султан Саиф ат-Даула! — начал свой ответ Абу Наср.

Тот был ошеломлен таким обращением, рука его потянулась к сабле, лежавшей рядом в ножнах, украшенных золотом и алмазами.

— Спокойствие! — непринужденно повторил Абу Наср, повергая всех в изумление. — Досточтимый султан, наверное, слышал и знает, как и почтенные участники этого меджлиса, о том, как однажды великий философ арабов аль-Кинди вошел к халифу Мамуну и занял место выше имамов ислама. Вы помните, что тогда предводитель меджлиса спросил у аль-Кинди: «Ты почему садишься выше всех имамов ислама?» И вы знаете ответ аль-Кинди, он сказал: «Потому что все, что знаешь ты, знаю и я, но не все из того, что знаю я, знаешь ты!»

— Но я не вижу здесь аль-Кинди, бродяга! — ухмыльнулся Саиф ат-Даула. — Твоя речь похожа на речь обреченного безумца.

Раздался смех.

— Но нет здесь и халифа Мамуна, который был покровителем искусств и науки! — громко парировал Абу Наср, заглашая смех.

Все умолкли. Черные усы султана передернулись, глаза гневно засверкали. Он вырвал саблю из ножен.

Вскрикнул и пал ниц Абу Исхак. Но султан, сдержав себя, опустил саблю плашмя на плечи Абу Насра. Абу Наср не шелохнулся.

— Во время той встречи один из имамов повелителя правоверных задавал вопросы аль-Кинди, чтобы узнать, кто он таков, — уже спокойнее сказал султан и обратился к тому, кто сидел ближе всех: — Твое слово, несравненный из поэтов!

Грузный, круглобородый вельможа в толстой чалме поспешно поднялся с места. Постоял молча, словно стремясь предугадать мысли и желания повелителя, приосанился и начал нараспев:

В этом мире вечна только твердь,
Так уж заведено от века,
Днем и ночью лиходейка смерть
Жадно караулит человека.

И тебе от смерти не уйти,
И тебе не обрести спасенья,
Даже если выкуп принести
За твои былые преступления...

В зале стояла все та же тишина. Голос человека, которого султан назвал «несравненным из поэтов», звучал в этой тишине подобно голосу муэдзина, призывающего мусульман к молитве.

— Не утруждай себя, почтенный, столь длинной и долгой цитатой. Ты говоришь словами Абу Закара — человека с добрым сердцем, современника Гаруна аль-Рашида, слепого поэта, чьи старания спасти достойного из Бармекидов — визиря Джафара — не привели ни к чему, — спокойно перебил его Абу Наср, ощущая на плечах тяжесть холодной стали. — Великий грех перед аллахом выдавать чужие стихи за свои.

— Это мои стихи! — вскричал чтец, теряя самообладание. — Я готов поклясться на Коране!

Все зашумели, кто-то крикнул, что и он читал эти стихи, что Абу Наср прав.

— Отрубите ему голову, мой владыка! — уже не говорил, а кричал в истерике тот, кого султан назвал «несравненным из поэтов». — Этот бродяга лжет!

— Не оскверняй святую книгу ложью! — спокойно сказал Абу Наср.

Султан снял свою саблю с плеча Абу Насра, бросил на атласные подушки и расхохотался.

Все вновь притихли, а затем начали смеяться вслед за султаном.

Абу Наср молчал.

— Довольно! — крикнул Саиф ат-Даула и мрачно оглядел зал. — Довольно! Как жалки вы, носители мудрости, поклонники искусства! Достоинство пришельца вам урок. И если он сказал правду, то ты обманул всех нас! — он указал на чтеца. — Не он, а ты тогда достоин казни. Но если этот пришелец, даже сказав правду, не по достоинству занял это место, то и он заслужил наше наказание!.. Кто же поручится за него и скажет, что он достоин нашего уважения?

— Позволь, владыка, слуге твоему сказать слово... — Абу Исхак с поклоном приблизился к султану.

— Говори!

— Почтенные, кто из вас слышал имя аль-Фараби? — обратился Абу Исхак к сидящим.

— А кто же не знает имени Учителя,— воскликнули в ответ ученые мужи,— открывшего для нас тайны мудрости Аристотеля и Галена, Платона и Евклида, имени великого математика и музыканта, астролога и философа, превзошедшего самого аль-Кинди?!

— Почему ты спрашиваешь об этом? При чем тут аль-Фараби? — спросил Саиф ат-Даула.

— Это он! — указал Абу Исхак на Абу Насра.— Это он, мой великий султан! Да пусть будут милость и слава упомянуты в веках!..

— Что самое прекрасное в человеке? — обратился султан к Абу Насру, когда возбужденный зал утих.

— Доброта, высокочтимый султан.

— Но что же тогда ценно в человеке?

— Его ум.

— А что всего нужнее людям?

— Справедливость, мой повелитель,— ответил Абу Наср, стараясь понять, куда же клонит султан.

Сидящие в зале внимательно слушали их диалог.

— Я читал ваши трактаты и слышал, что вы написали книгу о Добродетельных городах, досточтимый Учитель.— Теперь голос султана звучал дружелюбно.— Ваша мудрость восхищает многих. Но возможно ли построить город, где все могли бы жить мирно? Ведь слышали мы, что еще древние греки писали о невозможности такого города и государства...

— Платон говорил, что, каково бы ни было государство, в нем всегда есть два государства,— спокойно возразил Абу Наср.— Два государства, враждебные друг другу: одно — бедных, другое — богатых...

— Значит, такое было и будет всегда,— Саиф ат-Даула пристально смотрел на Учителя.

— Главным признаком идеального государства Платон считал справедливость. Справедливость ко всем людям — к рабам и пахарям... Справедливость, позволяющая каждому заниматься своим трудом...

В зале стояла все та же тишина.

— За что же вы уважаете своего друга Абу Исхака? — переменял неожиданно тему беседы султан

— За знание, доброту и искренность, мой повелитель.

— Как вы считаете, Учитель, что я ценю в этих людях? — повелитель указал на слуг и на двух музыкантов-кифаристов, сидевших у входа в зал и ожидавших приказаний.

— Слуг — за их дар угождать, а музыкантов — еще и за их дар, который приносит нам наслаждение, ласкает наш слух, мой повелитель.

— Ты ошибаешься, Учитель. Я ценю их за преданность.

— Угождать и быть преданным — не одно и то же, мой повелитель,— заметил Абу Наср. Было очевидно, что его ответы начали раздражать не только султана, но и стоявшего рядом великого визиря.

— И то, и другое можно добыть богатством и силой, — вступил визирь в беседу. — Даже вол не пойдет под ярмо раньше, чем аркан не схватит его за рога. Дикий конь не подставит спину под седло, если его шею не стянет петля. А звон монеты ласково прозвучит и для слуги, и для красотики... — улыбнулся он.

— Прав великий визирь, — доносились восторженные возгласы. — Его остроумию нет предела.

— Не всякая истина всеобъемлюща, досточтимый визирь, — ответил Абу Наср, выждав тишину. — Не всякая женщина продаст свою честь за монету...

— Но если люди не будут угождать владыкам, перестанут покоряться силе, захотят свободной любви, будут покушаться на богатство и власть избранных аллаха, то кто же тогда построит город, о котором мечтаете вы и, между прочим, пишут в своих посланиях «Братья чистоты...»? — Глаза визиря гневно сузились.

Нежная, спокойная музыка заполнила зал.

— Знание и разум человека, обладающие силой и движимые справедливостью, могут созидать блага для людей, великий визирь, — не отступал Абу Наср.

— Довольно споров и бесед! Начнем веселье!.. — Слова султана прозвучали приказом для всех.

* * *

Так состоялось знакомство Абу Насра Мухаммеда ибн Мухаммеда ибн Тархана ибн Узлаг аль-Фараби ат-Турки с грозным султаном, повелителем всей Северной Сирии, «карающим мечом государства» Саиф ат-Даула Хамдани.

...Ему не пришлось больше увидеть Зухейра. Султан забрал его в свиту таких же молодых одаренных ученых и поэтов, которые повсюду сопровождали своего повелителя.

Абу Наср не знал, что после меджлиса султан вызвал Абу Исхака и велел рассказать ему о жизни Абу Насра и додать все трактаты Учителя.

Попав на меджлис ученых после долгих скитаний, Абу Наср не испытал ни радости общения, ни успокоения, потому что не нашел достойных собеседников, хотя и завоевал почет и уважение самого султана.

Он вновь ощутил одиночество и тревогу. Его до глубины сердца оскорбили слова султана, обращенные к тем, кто собрался тогда в зале: «Как жалки вы, носители мудрости, поклонники искусства!»

И еще он тосковал по Хасану и Зухейру, к которым привык, и каждый раз ловил себя на том, что он думает о Бану и не может не думать о ней. Но жизнь брала свое. Его опять увлекла работа. Теперь у него было все — и книги, и крыша,

и пища, и одежда, и бумага. Он находился под защитой одного из самых могущественных правителей своего времени. Однако все чаще начинал он чувствовать усталость. Порой неожиданная тоскливость овладевала им. И в один из таких тягостных моментов и приснился ему тот удивительный сон...

* * *

...Как и в прежние годы, он старался забыть от тревожных раздумий в работе над своими трактатами, не разделяя границ дня и ночи. Но порою не мог одолеть за день и страницы. Сидел в тишине, погруженный в свои раздумья, или бродил вдали от людских глаз, помогая садовникам, наблюдая за работой пахаря. Не раз он вспоминал строки, написанные им для Бану и врученные Хасану.

«...Я благодарен создателю за те дни и ночи, которые он даровал нам, чтобы мы провели их вместе. Видит всемогущий аллах, я вечно живу под твоей звездой, не в силах забыть те благословенные мгновения, тепло твоих рук, твой голос, — писал он. — И хотя далеко сейчас твой очаг — на то воля создателя, — видит бог, я греюсь у твоего огня...

Но как далека ты сейчас и как ты близка, моя Бану, ибо каждый миг, чувствуя твою отдаленность, я в то же время говорю с тобой, ощущаю тебя.

Я ищу тебя в садах и на полях. Твое дыхание живет в каждой сединке моих волос.

Одиночество — мой выбор.

Я говорил тебе об этом. Но если создатель наделил бы меня властью и силой, способной уберечь любовь от жестокости бытия, то я бы не смог и дня прожить без тебя.

Ты знаешь об этом.

Но и теперь слава аллаху за те дни ласки, которыми я, скиталец-тюрок, был одарен тобой, моя Бану.

О как бы я хотел вновь увидеть твою улыбку, твой мимолетный гнев и вечную радость в твоих глазах!

Пусть аллах сбережет тебя от сглаза, от гнева близких и сильных мира сего.

Пусть создатель твою печаль и твои муки переложит на мои плечи...»

Это было длинное письмо.

Он писал его втайне от Зухейра и Хасана.

Но сохранилась ли она, эта тайна? Смог ли Хасан благополучно свидеться со своей госпожой и передать письмо?

А если оно попало в чужие руки?

О создатель, какие только думы не рождаются в голове, когда человек стареет в одиночестве?!

И самое страшное в том, что ты не можешь, не в силах поделиться с кем-либо своими тревогами, своей печалью, своей тайной.

Даже о вещем сне рассказать некому, хотя общение с людьми, как утверждал Конфуций, великое благо и в минуты горести, и в минуты радости человека.

Конфуций основал школу этики, как Платон свою академию, в которой стремились к причинному пониманию явлений, изучали правила беседы, и, так же как и в «Памятнике мемфисской теологии»¹, в этой школе утверждалось, что «язык повторяет то, что подсказано сердцем».

Но как тяжело, как невероятно тяжело бывает тогда, когда язык не может вслух выразить то, что просится наружу, чего от него требует сердце?!

Абу Наср не мог, да и желания у него не было поделиться своими тайнами с Абу Исхаком. Он привык к уединенному самоуглублению, к мучительному самопознанию. К тому же врожденная гордость не позволяла ему обнажать свои сокровенные мысли другим.

Он понимал, что, предав огласке свой сон, он волей-неволей вызовет десятки кривотолков, даст пищу астрологам, которых ныне развелось немало, вызовет комментарии звездочетов, богословов и знахарей, в которых не было недостатка и в Халебе.

Но в то же время он искренне верил, что этот сон был вызван его мучительными поисками, его размышлениями о тайнах бытия, о жизненном опыте.

Опыт жизни, опыт истории. Неужели, закончив свои «Логические трактаты», он начисто забыл об этих отправных точках для любого сравнения, для философских выводов?

Опыт жизни! Да ведь именно этот опыт жизни он имел в виду, когда писал своей прекрасной Бану: «...если бы создатель наделил меня властью и силой, способной уберечь любовь».

Власть и сила зла заставили бежать его из Отрара и Бухары, Багдада и Дамаска, бежать из Тудмора; эту же власть и силу ощущал он и в словах Саиф ат-Даула, когда тот казнил чтеца, пожелавшего стихи слепого поэта Абу Закара выдать за свои...

О создатель, как все сложно и в то же время просто на этом свете?!

Приснившийся сфинкс говорил ему о силе? Но ведь он мог иметь в виду силу, способную защитить и добро, и разум. Он говорил о силе и воле, которые должны сопутствовать добру и разуму. Ибо ни добро, ни разум сами по себе не смогут защитить себя от зла. Не бывает абстрактного разума, абстрактного добра, абстрактной любви. У них должны быть крепкие щиты и острые копья. Иначе они будут обречены на вечное поражение. Добро и разум должны уметь защищать себя!

Тысячелетия прошли с тех пор, как великий зодчий, ученый и философ Имхотеп, использовав власть и волю фараона, направил силу народа на превращение в реальность своей идеи о бессмертии, воздвигнув пирамиды.

Наверное, великий мыслитель хотел сказать потомкам: «Смотрите же, как могущественна сила народа! Умейте же управлять ею — не во имя мертвых, а во имя живых! Во имя добра и торжества разума!»

Какой парадокс! Построить на костях рабов столь великое сооружение во имя одной цели — утвердить бессмертие разума! Только сила, подвластная разуму, а вовсе не тщеславие, не богатство, не жестокость и коварство способны дать человеку возможность свободно творить и свободно любить!

А он, Абу Наср, писал о Добродетельном городе, о мудрых правителях, забыв о том, что город, создающий свои блага трудом рабов, не может быть Добродетельным; что люди, надевшие цепи на других людей, не могут считаться мудрыми правителями.

Но каков же тогда должен быть мир?! И как он может измениться, если никогда еще не было равенства между людьми?

О великий создатель, помоги найти ответ, найти истину...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Мы до сих пор не располагаем данными о сознании или способности мыслить.

Аристотель

В ту пору события в Арабском халифате сложились так, что древний, никогда особо не проявлявший себя город Халеб оказался вдруг на самом оживленном перекрестке. Караваны купцов все реже направлялись к Тудмору и Антиохии. Безопаснее да и выгоднее для торговли стал путь через Халеб, откуда можно было попасть в Дамаск, Иерусалим и другие крупные города. Многолюдными стали теперь дороги, ведущие из Халеба на север — в Византию, в Персию, в Индию. Халеб был близок и к Евфрату, по которому торговые суда могли выйти в море и направиться к берегам Индии и Африки.

С приходом к власти султана эмира Саиф ат-Даула Хамдани Халеб стал северной столицей Сирии, вступив в соперничество не только с Дамаском, но бросая вызов и Багдаду.

Купцам и лазутчикам, наводнившим города халифата в это смутное время, стало ясно, что династия Аббасидов, потеряв свое былое величие, все больше и больше вынуждена опасаться грозных наместников — султанов. На смену Аббасидам поднималась новая династия — Хаданиды. По свидетельствам хронистов тех времен, взлет новой династии начался с того момента, когда багдадский халиф аль-Муктадир назначил сво-

им наместником в Мосуле (на севере Ирака) одного из самых близких своих советников и военачальника Хасана ат-Даула Хамдани, прозванного историками Наср ат-Даула. Он выехал в Мосул вместе со своим младшим братом — поклонником искусств, поэзии и науки, отважным Саиф ат-Даула.

Он проявил себя как неустрашимый предводитель, верно служа своему старшему брату и халифу. Но это было вначале, когда халиф аль-Муктадир еще способен был держать в своих руках все тайные и явные нити в управлении великой разноязычной державой. Но постепенно, боясь потерять трон, халиф все больше окружал себя бездарными льстецами, отдаляя от дворца мудрых визирей и слишком самостоятельных, на его взгляд, военачальников.

Опасаясь за свои сокровища и за собственную персону, он собрал вокруг себя одиннадцать тысяч евнухов и огромную армию гулямов-телохранителей, которые обирали народ, безнаказанно грабили и убивали, не считаясь уже и с волею самого халифа, явно потерявшего свою былую власть над ними.

Все больше и больше утопая в роскоши и разврате, безудержно увеличивая свои гаремы, аль-Муктадир не подозревал, что дни его уже сочтены.

Восстание рабов, движение карматов, потеря Египта, независимость персидских наместников — все это приближало гибель халифата.

И тогда Хаданиды бросили халифу открытый вызов: без его помощи всецело взяли на себя защиту северных границ от христианской Византии.

Саиф ат-Даула, оставив старшего брата в Мосуле, самостоятельно захватил северную Сирию и обосновался в Халебе, где намеревался создать большую армию, объединив иракских и сирийских арабов под священным знаменем ислама, и начать войну против Византии. Новый вождь представлялся своим подчиненным образцом истинного араба-сарацина, способного положить конец смутам и укрепить государство. В неудержимом властолюбии и проявлениях дикой жестокости Саиф ат-Даула они усматривали волю самого аллаха...

* * *

В триста двадцатом году Хиджры был умерщвлен в своей резиденции халиф аль-Муктадир. Сменивший его аль-Кахир был убит менее чем через два года. Такая же участь постигла и аль-Ради, немногим дольше продержался на троне халиф аль-Муттаки...

Ученые, поэты, полководцы, издавна бывшие славой и украшением Багдада, бежали один за другим и находили спокойный приют в Халебе.

К этому времени в Мысе появился новый халиф — повелитель правоверных, который не признавал власти ни баг-

дадского халифа, ни халифа в Кордове. Он объявил себя про-роком.

Перепуганные Аббасиды, вспомнив времена, когда персидская знать в лице Бармекидов помогла им укрепить власть в самом начале их правления, бросились в объятия новоявленной персидской династии — династии Буидов, чьи приверженцы, захватив Фарсисан и Хузистан, оказались в опасной близости от Багдада. Но Буиды, считавшие себя потомками Сасанидов и Бармекидов, напомнили багдадскому халифу о том, как Гарун аль-Рашид безвинно казнил великого Бармекида, визиря Джафара, и открыто предъявили свои права на власть в халифате...

* * *

Абу Наср отдавал должное султану за то, что тот терпимо относился ко всем книжникам — будь то араб, тюрк, иудей или перс. Меджлисы ученых становились все интересней. Учитель нередко вступал теперь в принципиальную полемику с муттакалимами — сторонниками мусульманского догматического богословия. Он, беспощадно раскрывая противоречия в их учении, призывал следовать действенной логике, основанной на опыте истории и на фактах жизни.

После долгих лет скитаний и одиночества Абу Наср нашел здесь наконец немало друзей и последователей, с помощью которых собрал и систематизировал все свои работы по логике и математике, астрономии и медицине, философские трактаты, свои обширные комментарии к трудам Аристотеля и Птолемея, Платона, Евклида. Он завершил здесь свои книги о теории музыки, о поэзии и поэтике, о словах, о разуме и науке.

Перечитывая свои социально-этические трактаты и внося в них поправки древних мыслителей, вновь углубляясь в труды, учитель временами вспоминал, как тот памятный сон породил в нем бурю сомнений и противоречий. Вступая нередко в спор со своими учителями, он перефразировал известные слова: «Аристотель мой учитель, но истина превыше его».

* * *

«...Вся земля станет добродетельной, если народы будут помогать друг другу для достижения счастья,— писал Абу Наср.— Самым специфичным из благ для человека является разум, ибо человек стал человеком именно благодаря разуму...» Он был убежден, что этика жизни и смерти — все должно быть подчинено разуму. Люди и без того смертны, так к чему же убивать их насильственно, подвергать их казням и пыткам; к чему разрушать города и заковывать людей в цепи? К чему топить в крови целые народы только за то, что они тоже верят, но только в другого бога?!

Только разум, просвещенный и действенный, облеченный властью и могуществом, может остановить руку палачей!

Но откуда же появляются сами палачи? Ведь то двуединство, которое заложено в каждом человеке, в природе и жизни, которое требует вечного обновления в борьбе, — оно и есть, наверное, причина всех зол? Один тянется к власти, другой — к богатству, и каждый стремится навязать свою волю другому. А богатство и власть, честолюбие и сладострастие рождают коварство и жестокость.

И сходство между людьми необычайно велико не только в хороших, но и в дурных качествах. И так как между почетом и славой существует сходство, то те, кому оказан почет, кажутся нам счастливыми, а те, кто бесславен, — несчастными. Тяготы, радости, страсти, страхи овладевают умами всех людей одинаково. И если верования бывают у людей разные, то это не означает, что те, кто поклоняется собаке и кошке как божествам, более суеверны, нежели другие.

А какой народ не ценит приветливости, доброжелательности, сердечной доброты и способности помнить оказанные благодеяния? Какой народ не презирает, не ненавидит надменных, злокозненных, жестоких и неблагодарных людей? И когда мы поймем, что эти чувства объединяют весь человеческий род, когда мы поймем, что этим объединением людей должны управлять законы, способные укреплять дружбу и основанные на разуме, человеческая жизнь станет лучше...

Все великие умы человечества занимались вопросами этики социального общения, основами государственных законов. И на Востоке, и на Западе рождались и умирали сократы и платоны, конфуции и аристотели, и каждый из них был в чем-то прав по-своему. Об этом Абу Наср знал и прежде, еще до написания трактатов о Добродетельном городе, о поведении его граждан, о государственных деятелях. Но что проку? Слова и мысли великих так и остались в свитках папирусов, на листках пергамента, на страницах книг. Они становятся достоянием лишь таких, как он, философ-скиталец Абу Наср. Или же — и даже чаще всего — достоянием схоластов и богатых вельмож, которые употребляют мудрые слова и мысли, нисколько не вникая в их суть. Так для кого же трудится он, Абу Наср, покинувший родину, отвергший любовь, потерявший столько друзей и учеников, избегающий мирской суеты, отказавшийся от радостей? Кому нужны его алгебраические формулы и геометрические теоремы, его взгляды на астрономию, для кого он так тщательно анализирует труды Аристотеля и Птолемея?

«Пророчества» богов и строки «святых писаний», где не соблюдены даже элементарные нормы логики, важнее для людей, чем мысли Аристотеля. Проходят тысячелетия, а мир все тот же. Все те же рабы, те же владыки. Да и сам он, Абу Наср, сегодня рассуждает обо всем этом, сидя под защитой

одного из тех же владык — Саиф ат-Даула. Ведь не мудрость и знания, а коварство и жестокость помогли султану стать властителем. И он, Абу Наср, работает сегодня над своими трактатами под защитой этого палача и сластолюбца...

...Усталость от прерывной, долгой работы утомляла и раздражала Абу Насра. Мысли путались. Надо было хоть на время отвлечься, поразмышлять с друзьями вслух. И потому он искренне обрадовался, когда к нему заглянул Абу Исхак.

Небольшой глиняный домик, в котором жил Учитель, был расположен в глубине финиковой рощи, раскинувшейся на берегу маленькой, но полноводной и быстрой реки, берущей начало где-то на склонах северных гор Сирии, проходившей через Халеб на пригородные поля и плантации и бесследно исчезающей, раздав земле своей воды, так и не дойдя до Евфрата.

От самого истока река текла, мучительно извиваясь, словно стремилась избежать пустынь и сохраниться; она круто сворачивала то влево, то вправо. Но сирийские пахари и бедуины настигали ее, строили дамбы на ее пути, а бесчисленные нории — водочерпальные колеса больших и малых размеров — без отдыха работали под напором течения, зачерпывая воду и выливая ее в желоба, а затем в арыки и узкие каналы, чтобы утолить ненасытную жажду полей и садов. Недалеко от хижины Абу Насра трудилось одно из таких колес, чтобы напоить влагой сад и цветники.

— Ни у сирийцев, ни у арабов, ни где-либо еще на Востоке не прижились водозаборные винты Архимеда, — сказал Абу, когда гость его загляделся на работу нории, — колесо поднимает воду на трехметровую высоту и выливает в каменный желоб — распределитель влаги по арыкам и грядкам.

— Эти колеса, очевидно, трудились здесь и в Египте во времена фараонов, — ответил Абу Исхак, — а то и еще раньше, за тысячелетия до рождения Архимеда.

— Водозаборный винт Архимеда, — продолжал Абу Наср, — не прижился нигде потому, что он требовал источника энергии. Его приводили в движение мулы или ослы, которые должны были днем и ночью шагать по бесконечности круга. А норию приводит в движение сама вода. И отдает ему не только свою силу, но и частицу самой себя. Так что никогда не надо идти вопреки природе, мой друг. Не надо разрушать ее законы, а надо использовать их таковыми, каковы они есть. Природа не любит насилий, как и человек. Ее законы извечны, и нарушение их ведет к гибели, а использование ее силы таковыми, какие они есть, — благо для людей...

— А это, досточтимый Учитель, вы, надо полагать, переняли у того же Архимеда, — и гость указал на большой квадрат чистого песка, насыпанного под старой пальмой ровным слоем и обрамленный камешками.

— Нет, — ответил Абу Наср, — на нем я проверяю свои формулы и решаю задачи. На нем я сверял астрономические формулы Птолемея, когда составлял свои «Комментарии» к его «Альмагесту», — говорил он. — Этот песок незаменим для размышлений в свободное время. На нем я пытаюсь проверить точность определений длины земного меридиана, сделанных моим мудрым соотечественником, создателем науки о числах, геометром и создателем алгебры Мухаммедом аль-Хорезми.

— Да, то были времена великих математиков и астрономов, — сказал Абу Исхак, — Мухаммеда ибн Касир аль-Фергани, Ахмеда ибн Абдаллах аль-Марвази, Аббаса ибн Саид аль-Жаухари, математиков из Индии и Персии. Это была золотая плеяда, украсившая «Дворец мудрости» халифа Мамуна.

— Сильным мира сего мало славы завоевателя, они всегда хотят быть благодетелями науки и защитниками поэтов, чтобы не так уж кровавыми и мрачными выглядели страницы их жизни, — задумчиво сказал Абу Наср.

Абу Исхак почувствовал, что Учитель сегодня не в духе, что его угнетает какая-то невысказанная мысль.

— Но, видать, всему своя логика, — продолжал Абу Наср, — видно, были правы и аль-Хорезми, и аль-Жаухари, использовавшие богатство и силу халифов для раскрытия и утверждения своих мудрых идей. Они знали, что служат не халифу, а времени и людям. Греки не зря придумали Прометея и обожествляли его. Прометей нужен всегда, во все эпохи! — Лицо Абу Насра просветлело. Он говорил не Абу Исхаку, а самому себе, отвечал на свои же вопросы, на свои сомнения, которые возникли, когда он сидел один над своими трактатами об этике. — Особенно нужны они в самые трудные и мрачные времена в обществе насилия и жестокости, эти рыцари разума. Ибо в них, и только в них, светится вера людей в разум и справедливость!

Абу Наср умолк. Он уже мысленно ругал себя за невольное проявленную слабость, порожденную усталостью и одиночеством, которые совсем недавно приводили его в смятение.

— Но что же нам сегодня расскажет Халеб, новая столица Сирии, мой досточтимый друг? — уже весело спросил он у гостя.

— Город полон слухов о том, что Дамаск покорился нашему великому эмиру, который будет жить там, — ответил Абу Исхак.

Не было ничего особенного в том, что безвольный и трусливый наместник Дамаска так скоро признал над собою власть грозного Саиф ат-Даула. Но дело было даже не в этом. Абу Насра волновало другое.

— А что с наместником халифа? — машинально спросил он.

— Казнен, как казнены и все приближенные наместника, — спокойно ответил Абу Исхак.

— Казнены?

Абу Наср был ошеломлен этой новостью, хотя уже не раз убеждался, что соперничающие тираны никогда не прощают друг друга. Но он думал об отце Бану. Быть может, гнев грозного эмира все же не коснулся вельможи? Что же с самой Бану, где она теперь? Где же Хасан? Как долго нет вестей от него! Найти бы Зухейра, разузнать у него все. Ведь Зухейр теперь в свите эмира...

Одна мысль опережала другую. Абу Наср только сейчас понял, как долго он был поглощен своими трудами и не обращал внимания на все, что творилось вокруг. Вероятно, он не придал бы такого значения и вестям Абу Исхака, если бы не вспомнил о Бану.

Надо незамедлительно пойти в город, расспросить у купцов, у воинов, у беженцев из Дамаска. Они должны быть: сейчас все бегут под крыло грозного эмира, все готовы служить ему. «А где же ныне сам Саиф ат-Даула?» — подумал Абу Наср, но не стал спрашивать об этом у друга.

* * *

Халеб лежал, широко раскинувшись в зеленой долине. И потому, в какой бы части города ни находился человек, он мог бы отовсюду увидеть могучую крепость — резиденцию эмира, стоящую в центре на высоком холме. Холм этот был окольцован снизу глубоким рвом, заполненным водой, а на вершине за толстыми стенами крепости располагались дворцы, гаремы, казна эмира. Особенно хорошо видна была крепость с дороги в саду, по которой Абу Наср и Абу Исхак направлялись в Дом бесед, расположенный недалеко от южных ворот города.

Солнце здесь было спокойнее и мягче, чем в Багдаде или в Бухаре. Люди меньше ощущали жару, а на аллеях и дорожках сада всегда сохранялась прохлада.

Не потерявший былой остроты взгляд Абу Насра заметил, как из ворот крепости вниз, на площадь, где обычно встречаются идущие от северных и южных ворот караваны, спускаются люди с поклажей. «Рабы и евнухи нагружают повозки и вьючат верблюдов, стоящих внизу, на площади», — подумал Абу Наср.

— Великий эмир приказал казначею, сипехсалару и хранителю своего гарема перебираться в Дамаск, — пояснил Абу Исхак. — Вся дворцовая гвардия и армия эмира идут туда же, и многие ученые мужи покидают Халеб. Наместником Халеба остается великий визирь...

— Все мы вечные скитальцы и гости на этой земле — и владыка, и раб, — задумчиво произнес Учитель, не отрывая взгляда от крепости.

В Доме бесед Абу Наср недосчитался многих ученых мужей, с которыми ему хотелось пообщаться. Он увидел лишь завсегдатаев — толкователей Корана, переписчиков книг, знатоков священных писаний.

Седовласый темнолицый марокканец Мухаммед аль-Тани, слышавший знатоком истории Палестины, Эфиопии и Йемена, читал какой-то старинный текст:

— «...Утверждают, что царь химьяритов Лахина Иануф Зу-Шанатир занимался тем, чем занимались люди Лота, — он читал медленно, чуть ли не по слогам. Голос марокканца был бархатист и громок. — После каждого победоносного сражения он, захватив пленных, среди которых бывали и сыновья какого-нибудь побежденного им царя, устраивал пиршество.

После пира Зу-Шанатир приходил в отдельную комнату, куда обычно через своего гонца вызывал одного из царских сыновей, где унижал его достоинство...»

Все слушали внимательно, бесшумно перебирая четки, подложив под локоть мягкие кожаные подушки. Никто не заметил, как Абу Наср и Абу Исхак уединились в дальнем углу за колоннами.

— «...Зур-а Зу-Нувас был маленьким мальчиком, когда было причинено зло брату его, — продолжал чтец. — Затем он вырос, стал красивым и умным юношей. Иануф Зу-Шанатир послал к нему своего гонца, чтобы сделать с ним то, что сделал с его старшим братом. Зу-Нувас взял нож, положил его между сандалией и ступней и отправился с гонцом к Зу-Шанатиру...»

Слушая чтеца, Абу Наср невольно стремился разгадать имя автора текста. Сам текст ему казался знакомым, но вот где и когда он его читал и кому принадлежат эти строки из истории Йемена, об этом никак не мог вспомнить.

— «...Когда Зу-Нувас встретился с Зу-Шанатиром у последнего в покоях, — продолжал марокканец, — Зу-Шанатир преградил ему путь и бросился на него, но Зу-Нувас опередил его и, ударив ножом, убил его. Затем отрубил ему голову и бросил в зал для пиршества. Зубочистку он засунул ему в рот, вышел к охране, к войскам, которые сказали ему: «Стань нашим царем!» И вокруг Зу-Нуваса объединились химьяриты и племена Йемена...»

Абу Наср вспомнил, что отрывки из истории Йемена, которые читает марокканец, принадлежат известному автору и что текст этот иудеи используют по-своему, доказывая, что Зу-Нувас был иудеем; христиане говорят, что он христианин, а мусульмане — что он был главой первых мусульман в Йемене... Абу Наср слегка улыбнулся. Его забавляли такие споры, особенно тогда, когда они обретали серьезность и в них включались почтенные люди. Но тут внутренний голос,

словно осуждая Абу Насра за смех и за легкость восприятия слов чтеца, сказал ему, что именно такие споры ведут к ссорам, вражде и к войнам, губят тысячи тысяч людей, начинают священные походы за веру...

Разве не из-за таких споров начались смуты карматов и разве владыка твой, Саиф ат-Даула, не выступает защитником правоверных и не готов стереть с лица земли всех, кто не верует в аллаха? Абу Наср вновь погрузился в свои мысли, не слыша слов чтеца. Он очнулся лишь тогда, когда в зал неожиданно ворвался гонец эмира:

— Внимание и повиновение! Есть ли здесь досточтимый Учитель Абу Наср Мухаммед из города Фараба?

— Я слушаю тебя, храбрый воин,— Абу Наср медленно вышел из-за колонны.

— Здесь ли Абу Исхак Ибрахим ибн Абдаллах аль-Багдади?

— Я весь внимание! — взволнованно ответил Абу Исхак.

— Щит правоверных, защитник всех арабов, карающий меч государства, непобедимый и славный султан всех султанов, эмир всех эмиров великий Саиф ат-Даула повелевает вам быть у его шатра завтра к восходу солнца!..

* * *

Спокойное солнце северной Сирии только что начинало свой дневной обход, когда Абу Наср и Абу Исхак, сопровождаемые гонцом эмира, прибыли к берегам озера, раскинувшегося в тридцати верстах к юго-востоку от Халеба.

Огромная синяя чаша озера золотилась под утренними лучами. Густая трава на берегах была влажной и прохладной. В ранней тишине особенно четко слышались голоса птиц, доносившиеся из густых тростниковых зарослей. На огромной зеленой равнине сливающимися островками теснились дикие финиковые рощи. Далее простирались степи, вздыбленные небольшими холмами, заросшими кустарниками.

На этих землях, на всем пространстве от озера до священного Евфрата, разграничивающего Ирак и Сирию, было много дичи. А озеро славилось своей рыбой.

В былые времена здесь, в тростниковых зарослях близ воды, укрывались беглые рабы. Но со временем их не стало, одних разорвали звери, другие ушли к югу, в необъятные болота возле Басры, и там, на плавучих островах, основали свои поселения, откуда на утлых лодчонках, на которых совершали ночные вылазки, проскользнув в темноте мимо адова дерева, мимо острова Синдбада, выходили в Аравийский залив, чтобы напасть на небольшие деревянные парусники торговцев и ловцов жемчуга...

Абу Наср и Абу Исхак впервые видели эти края. Они ехали вдоль берега, любясь полетом вспугнутых птиц, наблюдая за серебристыми всплесками рыб.

Затем дорога немного отдалилась от озера, уходя в высокие заросли слоновой травы.

Неожиданно путь им преградили невесть откуда появившиеся воины.

Сопровождающие Учителя и Абу Исхака гонец и два всадника из дворцовой стражи вышли вперед. Именем эмира гонец приказал воинам расступиться. Те повиновались.

Проехав по зарослям еще немного, путники оказались у края широкой, окаймленной рошицами прибрежной долины. Здесь повсюду стояли шатры и повсюду была охрана. Поодаль от шатров близ роши дымили костры и сновали повара. Это был походный лагерь эмира. Видимо, где-то в рощах скрывалась его отборная конница.

Саиф ат-Даула отдыхал после похода на Дамаск. Говорили, что именно отсюда он часто выезжает охотиться на газелей и львов.

Друзья сошли с коней у крайнего шатра. Гонец приказал им оставаться здесь, пока он доложит о их прибытии великому эмиру. Солнце уже довольно высоко поднялось над землей, но в стане незаметно было особых приготовлений к походу или к охоте. Вглядываясь в лица проходивших мимо стражников, Абу Наср заметил, что большинство из них тюрки либо выходцы с Кавказа. Были тут также и индийские гуркхи и местные курды. Саиф ат-Даула следовал примеру халифов, у которых телохранители, дворцовая охрана и главная ударная конница всегда составлялась из наемников — так легче было держать в повиновении своих подданных.

По всему было видно, что в лагере существует свой, четкий отработанный порядок. Не было излишней суеты, каждый знал свое место и свои обязанности. Одни смазывали колеса легких повозок, другие поили и седлали коней. Щиты, пики и сабли у всех были начищены до блеска. Одежда воинов не отличалась роскошью, но зато была хорошо подогнана — легкие кольчуги, крепкие шлемы, колчаны для стрел и лука не мешали ни при ходьбе, ни во время верховой езды.

— Смотрите, Учитель, там, кажется, стоит слон. Слон со всем снаряжением, видите? — сказал Абу Исхак. — Наверное, великий эмир и вправду охотится на львов, сидя на слоне.

Справа, на краю равнины, у диких пальм Абу Наср увидел огромного слона. В это время из-за соседнего шатра выскочил всадник и, приблизившись, выпрыгнул из седла.

— Вы здесь, мой Учитель?! Слава всевышнему, хвала аллаху! Я снова вижу вас!

Это был Зухейр. Абу Наср узнал его, хотя одежда воина, ветер и солнце изменили его облик. Он возмужал и уже был мало похож на прежнего юношу.

Абу Наср бросился навстречу и обнял своего ученика, не дав Зухейру преклонить колени.

— Внимание и повиновение! Великий эмир ждет вас в своем шатре! — вернулся гонец.

Оставив коней на попечение слуг, они пешком направились вслед за гонцом. Зухейр следовал за своим Учителем. Только очень пристальный взгляд мог бы уловить, что молодой воин слегка прихрамывает на одну ногу. Не заметил этого и Абу Наср. Он думал лишь о том, что талантливый юноша, мечтавший стать ученым, бежавший из Багдада именно потому, что не хотел служить в коннице халифа, теперь все же по воле случая стал воином.

— Судьбы не избежишь, мы все прошли через это, — говорил он Зухейру. — Настанет время, и ты вновь войдешь в Дом мудрости.

— В Дамаске я видел Хасана, мой Учитель, — торопливо и тихо заговорил вдруг Зухейр. — Отец его госпожи находится в темнице. Хасан велел мне передать вам... — Он быстро вытащил из-за пазухи маленький черный сверток и протянул Абу Насру: — Хасан сказал, что это письмо для вас. Будьте осторожны, Учитель. Эмира здесь нет. Он выехал час назад, а мы последуем за ним. Он отдал приказ: на всех рынках, во всех караванах, во всех домах искать послания «Братьев чистоты...» и предавать их огню...

Учитель ничем не выдал своего волнения. И не стал задавать вопросов. Не разворачивая, спрятал обернутое черным шелком письмо поближе к сердцу.

По знаку вставшего на их пути стражника Зухейр отстал, отстал и гонец, сопровождавший их из Халеба. Абу Наср и Абу Исхак направились к особняком возвышавшемуся в центре поляны шатру.

Возле шатра стояла длинная беседка, обтянутая узорчатыми персидскими коврами. На почтительном расстоянии от беседки и от шатра застыли воины из охраны. Входы в шатер и в беседку были обращены к озеру. Тропинка, по которой шли Учитель и Абу Исхак, круто сворачивала к берегу озера и уже оттуда вела к дверям шатра.

— Владыки как дети, с ними нужно говорить сообразно их желаниям, — тихо сказал Абу Исхак. — Кто знает, что нас ждет сегодня и какова будет воля аллаха и великого эмира?..

Абу Исхак явно волновался. Ему определенно не нравились тишина и относительное безлюдье в лагере.

Абу Наср молчал. Он думал о письме Хасана. Что в нем — печаль или радость? И почему так встревожен Зухейр, куда девался эмир?

— Смотрите, Учитель! Там движутся парусники!

На голубой глади озера тем временем появились три парусника. Один плыл впереди, два эскортировали его.

Залюбовавшись парусниками, оба ученых мужа пропустили тот момент, когда стоявший у входа в шатер раб-телохранитель исчез на миг, затем появился вновь и, широко раскрыв полог, крикнул:

— Великий визирь хранителя государства и защитника

веры, непобедимого и досточтимого султана султанов и эмира эмиров ждет вас!

Гости спохватились и шагнули через порог. Пол был застлан толстыми мягкими коврами. В дальнем углу просторного помещения на почетном месте восседал великий визирь. Вошедшие приветствовали его.

— Я ждал вас, достойные, чтобы исполнить волю эмира, — сказал визирь, ответив на приветствие гостей. — Я ждал вас, чтобы исполнить волю моего владыки, спасителя и защитника веры, великого Саиф ат-Даула, который покинул эти берега сегодня на заре, чтобы самому лицезреть новое убранство своего дворца в Дамаске, а также чтобы распорядиться об открытии Дома мудрости, чья слава превосходила бы Дом мудрости в Багдаде, созданный когда-то халифом аль-Мамун.

— Если знание и разум будут в почете, то люди обретут больше благородства, — с достоинством произнес Абу Наср.

— Как всегда, справедливость на устах твоих, мудрый Учитель. — Визирь с улыбкой встал с места. — Но нет ничего такого, о чем бы не подумал наш владыка во имя могущества и славы своего государства... — Визирь выпрямился. — Он повелевает вам и всем ученым мужам, собравшимся в Халебе, прибыть в Дамаск. И стать там хозяевами и украшением Дома мудрости. Покровительство великого султана и эмира безгранично, он дарует фирман за своей подписью, где сказано, что повсюду, куда простирается его власть, все рабы и воины, купцы и горожане, пахари и караванщики должны оказывать должное почтение и посильные услуги благородному и мудрому Абу Насру Мухаммеду ибн Мухаммеду ибн Тархану ибн Узлаг аль-Фараби ат-Турки!

Слуга-каллиграф подал визирю маленький отпечатанный свиток, тот вручил его Абу Насру и, обратившись к стоявшему у входа воину, приказал:

— Пусть войдут!

Две юные красавицы вошли в шатер и, укрыв двумя шелковыми халатами плечи Абу Насра и Абу Исхака, пятясь, с поклоном вышли из шатра. Абу Наср заметил, что это были не сирийские девушки, а румийки¹.

— Таких цветов будет немало в садах Дамаска. Они украсят меджлисы веселья во дворце владыки, и первый такой меджлис будет скоро. Наш караван торопится вслед за султаном. Вы можете взглянуть на него, — сказал визирь, перехватив взгляд Абу Насра, и сам первым вышел из шатра, приглашая гостей следовать за собой.

Парусники уже стояли у причала. По узкому трапу на берег вереницей сходили пугливые девушки в белых платьях, похожих на туники.

На берегу все они плотнее прижимались друг к другу, настороженно и с любопытством озираясь вокруг. На трех судах их оказалось не меньше двух сотен — румиек, арабов, персиянок, турчанок, индианок. Разным был цвет их кожи, и говорили они, очевидно, на разных языках, но все были юны и прекрасны, как весенние розы. И даже лица негритянок, словно высеченных из темного мрамора, притягивали взгляд своей безупречной красотой, свежей молодостью. Одни из девушек стыдливо прятали свои лица, другие, забыв обо всем, с детским любопытством глядели по сторонам.

«Они все еще дети, дети, отнятые у отцов и матерей. Их будут готовить на роли служанок, танцовщиц и наложниц, они заполнят гаремы», — думал Абу Наср.

Визирь не обращал больше внимания на ученых, отдавал распоряжения, торопил слуг и воинов. Погонщики уже выводили из рожи караван верблюдов с паланкинами. На них усадят девушек, плотно укроют занавески на паланкинах и под неусыпной охраной повезут в Дамаск.

Слуги уже сворачивали шатры. Вывели на поляну и слона. Воины свиты и охрана визиря гарцевали на горячих скакунах, ударами хлыстов подгоняя зазевавшихся рабов и слуг. Вооруженные евнухи брали из толпы по две-три девушки и уводили к верблюдам, рассаживали по паланкинам.

«Отныне и надолго вашими стражами и вашими палачами будут эти евнухи», — думал Абу Наср, еще не осознав, что он невольно загляделся на красавицу, стоявшую с краю, ближе к нему. Она была несколько старше других. Лоб, затылок, скулы и эти волнистые черные волосы, лукаво-ветренный взгляд больших глаз и слегка улыбающиеся губы. Все отодвинулось в сторону. Осталась она одна, он видел только ее. Стареещее сердце напряжилось, застучало сильнее. Он слово признал ее — признал в ней Бану в молодости. О создатель, возможно ли такое сходство?! По светлому лбу и глазам, по переливчатой прохладе волос, по белизне у корней волос на затылке он признал ее. Весь ее облик был родным и близким. Ее улыбка отдавалась в нем пронзительной тоской и болью по минувшему.

Он видел и ощущал, ощущал физически, свою Бану. Хотелось протянуть руки, прижать ее к себе и вдохнуть пьянящий запах ее волос — запах, смешанный с ароматами горьковатых трав и соленых волн.

Она ощутила его взгляд и удивленно раскрыла глаза, нахмурилась, но тут же снова улыбнулась, теперь уже вызывающе и дерзко.

Впервые за долгое время Абу Наср почувствовал, как краска смущения и стыда заливают его лицо...

Не заметил ли Абу Исхак? Он оглянулся... Нет, Абу Исхак наблюдал за тем, как на слона с дорогим паланкином подсаживают девушку, завернутую в шелка с ног до головы.

Видно, она и есть та жемчужина, которой хотят одарить эмира. Но откуда она, неужели ее тоже привезли на этих парусниках? Но нет, ее вывели из крытой беседки, что стояла возле шатра владыки, а рядом со слонем гарцевал теперь на коне сам великий визирь.

Успокоившись, Абу Наср вновь взглянул на берег, где стояли невольницы. Евнухи уводили последних. Девушка, пробудившая в нем столь неожиданные ассоциации, оглянулась и задорно показала язык.

Учитель рассмеялся. Он смеялся громко, беззаботно, от души. Таким его никогда и никто еще не видел. Растерянно смотрел на него Абу Исхак. С любопытством подъехал сам великий визирь.

— Что могло вызвать ваш смех, мудрый наставник тех, кто тяготеет к знаниям?

— О, это тайна, великий визирь! Это тайна годов, тайна старости, о которой мне сегодня впервые напомнила одна игривая газель.

— Не огорчайтесь, смех одинаково украшает и юность, и старость. Знать, зочка была беспечна, строптива. Воистину правду сказал поэт: «Гордой красавицы взор может смутить и богов». Не будьте же так сдержанны, Учитель!.. Ваша воля: наказать ее или миловать. Вы охотник — подстрелите же свою добычу!

— О нет, нет, великий визирь, каждый должен выбирать себе груз по плечу...

— Воля ваша, мой почтенный друг, — все еще улыбаясь, сказал визирь. — Да, я чуть было не забыл об одном повелении моего великодушного и щедрого господина! Он приказал мне передать эти золотые дирхемы вам! За ваши трактаты о музыке и о категориях наук, которые украсили его книжное сокровище! — И, придерживая беспокойного коня, визирь бросил к ногам Учителя кожаный мешочек.

Караван уже двинулся в путь. Уже не было шатров на поляне. Свита визиря стояла в стороне, в четком строю, с трудом сдерживая своих коней.

— Что это? — спросил Абу с изменившимся лицом.

— Это дирхемы, досточтимый Учитель, — удивленно повторил визирь.

— Вы покупаете мои знания и мой разум или мою волю и душу?

Абу Исхак поспешно приблизился, чтобы вмешаться, смягчить разговор.

— Но позволь, мой друг! — Голос визиря теперь зазвучал холодно и жестко. — Великий пророк наш Мухаммед одарил своим халатом поэта. С тех пор идет традиция, которую чтут и стар и млад, и бедный и богатый!

— За лесть и услуги одарил пророк поэта! И купил за это его душу! Но кто смог купить сердце «Братьев чистоты и друзей справедливости»?!

— И оттого они сгнили в зинданах! Не забывайте этого, друг мой! Но мне недосуг. Мы спешим за повелителем. И вас он ждет. Пока ждет добром, запомните! Встретимся в Доме мудрости в Дамаске! — и визирь прищпорил коня.

Тревожным был взгляд Зухейра, нехотя пустившегося вскачь за великим визирем — новым наместником Халеба.

* * *

Возвращались по другой дороге. Разговор не клеился, ехали молча. Абу Наср казнил себя за вспыльчивость, еще простительную в молодости, но тяжело ложащуюся на сердце в пожилые годы. Он вспоминал смерть Санжара и слова кочевника-бедуина: «Все проходит, и это пройдет». Вспомнился и сон, когда он говорил со сфинксом.

Озеро осталось позади, поредели рощи, кругом раскинулись пустынные, высохшие от жажды поля. Сиротливо торчат в этой степи конусообразные, с закругленными вершинами узкие глиняные дома сирийских крестьян, дома без окон, похожие на могильники, часто встречавшиеся в далекой родной степи...

Абу Исхак не смел нарушить ход мыслей Учителя. Как обычно, его одолело чувство робости перед ним.

Наконец вдали завиднелся город, и, чтобы нарушить тягостное молчание, Абу Исхак решился заговорить. Он начал читать стихи:

Сколько тягот дневных мою душу терзают,
Сколько дел и забот отнимают покой...

Абу Наср прервал его:

— Не о том стихи, мой добрый друг! Лучше вспомним другие строки поэта:

Если в пасти у льва твои слава и власть,
Не страшись их добыть, разорви ему пасть.
Обретешь ты иль почести, богу служа,
Или смерть, как оно подобает мужам...

Ответь, мой друг, успокой мою душу: что самое трудное для человека?

— Бездвестность, тоска по родине, одиночество...

— Нет, мой добрый сподвижник. Ты и прав, и неправ. Самое трудное в жизни человека — борьба без надежды на успех.

— Это вы о себе?

— И о вас, а если хотите, то и о владыке нашем... Завоевателю, каким бы он ни был, никогда не доступно то священное чувство, которое доступно ученым. Ведь ничто не сравнимо с тем чувством, которое овладевает человеком, сделавшим открытие, узнавшим о том, что было неизвестно никому. Это благородное чувство, возвышающее ученого над власте-

линами мира. В обретении нового трудом своего разума — вот в этом, наверное, и есть счастье ученого...

— И все же те, кто у власти, жаждают, чтобы с ними говорили сообразно их желаниям, — вздохнул Абу Исхак.

— Но воркованье горлинки лишь приближает ее смерть от когтей сокола, — отозвался Учитель. — И все же ты прав, мой друг. Прав и визирь. У кого не сдержан язык, у того на ногах оковы, так говорил поэт, не покоровшийся шаху... Быть преданным и покорным легче, но угождать — противно. Мышь, рожденная на мельнице, не должна бояться грома. То, что совершенно, — то совершенно, а что сказано — то не повторится. Выпущенная стрела не вернется обратно... Как ты думаешь, мой друг: погибли «Братья чистоты...» или нет?

— Вы сами учили, что человек не свободен от бытия, — ответил Абу Исхак. — А если так, то нам одна дорога — в Дамаск.

Абу Наср не возразил.

* * *

У городских ворот они столкнулись с длинным караваном и, быть может, не обратили бы на него внимания, проехали мимо, если бы караван не состоял из бакстрийских¹ верблюдов.

— Пусть удачливым будет дорога! Откуда путь держите? — не выдержал Абу Наср.

— Из Хорезма, из Ферганы!

— Из Мерва! Из Бухары!

— Из Тараза!

— Из Отрара! — отвечали караванщики, перебивая друг друга. Знать, они объединились, чтобы единой была охрана, чтобы безопасной была дорога.

— Что, не слышали о таких городах, уважаемый эфенди²? Так вспомните Мусу аль-Хорезми, Аббаса ибн Саида аль-Жаухари! Знаете ли вы имя почитаемого всеми учеными мужами халифата мудрого Учителя Абу Насра Мухаммеда аль-Фараби?!

— Мы из его родных земель! — крикнул, проезжая мимо, всадник, судя по одежде, глава всего каравана.

Абу Наср стоял, вглядываясь в запыленные лица людей, в усталые, слезящиеся глаза могучих животных, гордо вознесших свои головы и с приглушенным стоном несших свою поклажу.

На него вдруг повеяло горьким, полынным, тревожащим сердце запахом далекой родины — запахом дармины.

Он стоял, сжимая удила, не в силах сдвинуться с места, стоял так же, как в годы далекого детства, когда на улицах

¹ Бакстрийскими арабы называли двугорбых верблюдов, вывезенных с территории Средней Азии и Казахстана.

² Почтительное обращение (тюрк.).

Отрара зачарованно смотрел на караваны из иных земель, из иных государств.

Он стоял, ощутив свое одиночество и беспомощность, не в силах остановить караван, не в силах спросить о чем-либо этих усталых людей из его далекой родины. Ему казалось, что вместе с этим случайно встретившимся в пути длинным караваном перед ним проходит вся его долгая, трудная жизнь.

Он уже уходит, этот караван, вон из ворот вышел последний верблюд.

Надо что-то узнать, о чем-то спросить.

Но о чем? Твердый, непрошенный комок в горле...

— Какой дорогой вы шли, досточтимый? — осилив себя, он спросил у последнего погонщика.

— По северной ветви «шелковой тропы», через Мосул, мой господин, — устало ответил погонщик и добавил: — Думали об отдыхе и хорошей торговле в Халебе, но говорят, грозный Саиф ат-Даула приказал доставить все товары прямо в Дамаск. Владыке видней. Что ему до нас? До усталости наших погонщиков? Свалимся в дороге — не беда, мой господин. Подберут — и люди, и звери всегда идут за большим караваном...

* * *

Лишь поздно вечером Учитель вернулся в свою хижину, зажег светильник и, вспомнив о письме, торопливо развернул его и, отодвинув в сторону рукописи, взгляделся в строки.

Рука Бану писала эти торопливые строки:

«...как долго ждала я, чтобы передать тебе весточку. И как мало времени дано, чтобы написать письмо. Но — слава создателю, хвала аллаху! — я знаю, что ты жив. Хасан привез мне твое послание. О безумное желание — как мне хочется увидеть тебя, услышать твой голос, разделить твоё одиночество, мой упрямый скиталец. Как много хотелось сказать тебе, но истекает время, Хасан торопит. Сколько раз я слушала его рассказы о тебе... Я живу воспоминаниями... Я прошу милости, прошу аллаха об одном, чтобы он помог мне свидеться с тобой прежде, чем седина украсит мои волосы и время наложит свои письмена на мое лицо...»

На этом письмо обрывалось. Внизу стояла подпись: «Умм Абу Алим».

Абу Наср вновь взгляделся в строки. Да, это был почерк его Бану, это было ее письмо. Он узнает ее почерк среди тысячи других. Это были ее слова, он слышал ее голос. Но подпись? Он медленно поднял голову и вдруг догадался.

«Прости, создатель! Ведь слово «Умм» — это «Мать» по-арабски. «Мать Абу Алима» — так написала Бану, его Бану! Значит, у нее есть сын! Значит, она не одинока!...»

Слишком длинным и тяжелым был этот день. И в конце это письмо, принесшее и великую радость, и еще большую тревогу за нее и за сына.

Он перечитывал дорогие строки вновь и вновь. Мысли путались то ли от волнения, то ли от усталости.

— Спокойствие и разум, жалкий скиталец! — сурово произнес он вслух, пытаясь взять себя в руки. — Не великий визирь и не грозный правитель, а сама жизнь зовет тебя в Дамаск, тебя зовут муки «Братьев чистоты...». И любовь матери.

Нет, ты не прав, великий визирь: не сгнили в зинданах «Братья чистоты...»! Даже грозному Саиф ат-Даула не покорить всех. Они безымянны, их много. Они обращаются к своим братьям, зажигая перед ними светильники знаний, огонь разума.

Только глупец может считать, что одним ударом ножа, намыленной веревкой или коварной стрелой можно превратить полет мысли. Нет! Мысль — не стрела, она не подвластна ни луку, ни лучнику. Она никогда не прекращала своего полета, своих поисков. И нет силы, которая смогла бы остановить ее.

Мысль не подвластна никому — ни фараонам, ни самому времени, ибо будущее — это продолжение прошлого и настоящего, и оно — бесконечно. Во имя этого будущего пишут свои пламенные послания «Братья чистоты...».

Они зовут тебя, они ждут тебя. Твоя любовь зовет и ждет тебя. Жизнь продолжается!

Ты бежал от владык и вновь попал в их сети. Ты бежал от своей любви, но не нашел ничего прекраснее. Все верно и — снова замыкается круг. Но каждый раз у него новое начало.

Человек никогда не убежит от себя самого, а главное — от людских забот, людского общества. Так было и так будет всегда. Человек подчиняется закону своего времени, но взгляд его всегда обращен в будущее.

ВОЗВРАЩЕНИЕ УЧИТЕЛЯ, ИЛИ ПОСЛЕСЛОВИЕ О ТОМ, О ЧЕМ СКАЗАНО И НЕ СКАЗАНО В ЭТОЙ КНИГЕ, И О ТОМ, КАК СОЗДАВАЛАСЬ ОНА, О ВРЕМЕНИ, В КОТОРОМ ЖИЛ АБУ НАСР МУХАММЕД АЛЬ-ФАРАБИ, И О ЕГО ВСТРЕЧЕ С ПОТОМКАМИ ЧЕРЕЗ ТЫСЯЧУ ЛЕТ

Я шел по его следу спустя тысячелетия. В морозный декабрьский день стоял у скалы Бисутин, где на огромной высоте выбит клинописный текст и высечены рельефы в честь побед ахеманидского царя Дария I Гистапа (522—468 гг. до н. э.).

Колючий ветер обжигал лицо. Иной мир лежал вокруг. Но быть может, в те далекие времена, когда здесь проходил Абу Наср Мухаммед аль-Фараби, ветры были так же холод-

ны, как и теперь? Он, великий странник, не мог не пройти здесь, не мог не побыть в Хамадане — ведь Бисутин стоит между Хамаданом и Джемем.

В Хамадане, где почти сто лет спустя после его путешествий найдет пристанище и проведет последние дни своей жизни его ученик, величайший врачеватель Авиценна, я взял горсть земли с могилы Авиценны, привез в Алма-Ату и отдал поэту — потомку великого скитальца...

...Ныне пишут, что скала Бисутин находится между Хамаданом и Тегераном. Но в те времена, когда путешествовал Абу Наср Мухаммед аль-Фараби, на его пути стоял древнейший город Джей, который ныне называют Исфаганом.

Джей был прекрасен, он возник здесь задолго до владычества Ахеменидов, и каждое поколение архитекторов Востока вносило в его облик свои поправки. Царская площадь Исфагана, например, послужила французам примером для планировки Елисейских полей.

Джей был одним из торговых узлов на «великом шелковом пути», и потому, направляясь в резиденцию багдадского халифа, в город Самарру, Абу Наср Мухаммед аль-Фараби не мог не полюбоваться искусством чеканщиков и ковровщиц Джея.

Но быть может, свое путешествие из Отрара он продолжил через Самарканд и Бухару, Мерв и Балх, Тус и Нишапур и таким образом попал не в Джей, а в Рей и оттуда пошел в Хамадан?

Как бы там ни было, он не мог миновать скалу Бисутин и не побывать в Хамадане, ибо, какие бы зигзаги ни совершал «шелковый путь», он всегда — во времена господства Ассирии и во времена Вавилона и Ниневии — из Хамадана шел прямо в Месопотамию, к Евфрату и Тигру, затем вновь ветвился, направляясь к древнейшим городам Ближнего Востока. А в эпоху арабского халифата дорога шла прямо из Хамадана в Багдад...

То была эпоха, когда «великий шелковый путь» — дорога, по которой шли караваны из Китая и Индии в Отрар и Бухару, в Самарканд, прославленный своей любовью к красоте, и богатый Хорезм, и прорезав степи, пустыни, с юга обойдя Хазарское море, по земле Ирана шли в страны Двуречья, шли в Багдад, а оттуда к Нилу, в Каир, в Мекку и далекую Андалусию, — был самым оживленным и самым многолюдным, многоязыким.

Гонцы и гвардейцы халифа мчались по этой земле с поручениями, депешами и новостями.

А в Багдад по ней текли дары халифу.

Тайные послы и лазутчики пробирались по ней из дворца одного владыки к другому. А поэты и ученые, музыканты и философы шли по ней в поисках знаний, в поисках друзей.

То была эпоха, когда пала империя Тан в Китае и про-

буждалась языческая Русь. Когда народы, жившие в странах от Аравийской пустыни до берегов Джейхуна, находились под властью Аббасидского халифата.

То была эпоха, когда обращенные в ислам волжские булгары с помощью иудейских правителей Хазарии открыли торговый путь в центр халифата. А народы Индии отчаянно пытались остановить движение ислама в глубь своего субконтинента.

То была эпоха, когда народы Запада, забыв походы Карла Великого, изумленно смотрели, как арабы вторгаются к ним.

В Андалусии, на территории нынешней Испании, в Кордове, расцветало царство Абд ар-Рахман ан-Насира, который сверг эмира Абдаллаха и объявил себя халифом, не зависимым от Аббасидов.

Арабский язык расширял сферу своего влияния, он властвовал в Испании уже двести лет, и христианский епископ Кордовы, с глубокой печалью уединившись в своем дворце, тайно вел свои записи. «Многие из моих единоверцев, — писал он, — читают стихи и сказки арабов, изучают сочинения мусульманских философов и богословов не для того, чтобы их опровергать, а чтобы научиться как следует выражаться на арабском языке с большой правильностью и изяществом. Где теперь найдется хоть один, кто бы умел читать латинские комментарии на священное писание? Увы! Все христианские юноши, которые выделяются своими способностями, знают только язык и литературу арабов, читают и ревностно изучают арабские книги... даже забыли свой язык, и едва найдется один на тысячу, который сумел бы написать приятелю сносное письмо по-латыни. Наоборот, бесчисленные те, которые умеют выражаться по-арабски в высшей степени солидно и сочиняют стихи на этом языке с большей красотой и искусством, чем сами арабы». Арабский язык в ту эпоху — в то мгновение истории — стал языком науки, поэзии, торговли. И, видимо, потому мы по сей день говорим об «арабских» энциклопедистах, хотя то были ученые разных наций, но общались и создавали свои труды на арабском. Но к тому времени, о котором пишет епископ Кордовы, на другом конце «шелкового пути» кочевые племена Великой степи начали все меньше уделять внимания событиям в «мире ислама».

Участились дворцовые перевороты, восстания рабов...

И как часто бывало на переломе эпох в странах великого Двуречья, где некогда расцветали Ассирия, Шумеры, Вавилония и Ниневия, государства халдейцев и финикийян, где находились истоки не только многих цивилизаций человечества, но и многих пороков, — на родине ислама создавались сказки о недалеком минувшем.

Вернее, сказки эти были стары, они когда-то принадлежали персам и индийцам. Арабы же рассказывали их по-но-

вому, заменяя имена героев именами великих халифов и их визирей.

Имя жестокого деспота, утонченного палача, которого при жизни ненавидели не только плебеи, но и собственные слуги и визири, попало в уста сказочника через полтора года.

Сказочник не знал, что он, его герой, никогда не жил в собственной столице — в Багдаде. Он, вероятно, не знал и о том, что халиф Гарун аль-Рашид боялся жить в Багдаде, боялся горожан, ремесленников и рабов. Он жил вдали от Багдада, в крепости Анбар, окруженной редкими бедными поселениями, рвами, наполненными водой, толстыми стенами и надежной охраной; жил в кругу своих рабынь и наложниц, жил, наслаждаясь агонией тех, кого казнил сам, собственноручно, а казнил он даже собственную сестру и своего любимого визиря — перса Бармекида, чей ум и дела помогли укрепить государство.

Халиф редко появлялся в Багдаде. Но каждый его въезд не сулил ничего хорошего горожанам. Не раз замученные поборами и пытками багдадцы набрасывались на свиту халифа и на самого халифа.

Боясь за престол, владыка убирал с дороги каждого, в ком видел соперника. Каждого, чье влияние на окружающих казалось опасным. Но казнь перса Бармекида дорого обошлась ему.

Чтобы успокоить знать и вновь обрести доверие Персии, он назначил своего отпрыска, сына от рабыни-персиянки, «вечным» наместником всех восточных провинций.

Человека, чьей матерью была рабыня-персиянка, а отцом великий халиф, звали аль-Мамун. Аль-Мамун стал наследником престола и меценатом. Спустя четыре года он стал халифом. И надолго. А Гарун аль-Рашид был убит через год — в 193 году Хиджры и в 809 году по нашему календарю.

Через сто пятьдесят лет после смерти Гаруна аль-Рашида сказки «Тысячи и одной ночи» стали известны в каждом доме араба, во всем халифате.

Красивые сказки.

Вы знаете эти сказки. Вспомните, как они начинаются, вслушайтесь в слова юной Шехеразады, которые зародили любовь в сердце владыки и тем самым спасли от гибели девушек страны.

...Каждую ночь, насладив свою плоть, падишах убивал сверстниц Шехеразады.

В траур оделась страна, в страхе жил город. Отцы не знали, куда, в какие края отвезти и спрятать своих дочерей. И тут юная Шехеразада — дочь великого визиря — вопреки воле отца решила пожертвовать собой, пойти во дворец и победить падишаха или умереть.

Она победила. Победили ее ласки, ее мудрость и красота. Победила любовь, которую она вселила в сердце палача.

Так что знай, слушатель: не так уж весела эта сказка о прошлом Востока и не мудрецом в ней выглядит Гарун аль-Рашид.

Говорят, что эти сказки очень любил слушать аль-Муктадир — четырнадцатый халиф после Гаруна аль-Рашида. Аль Муктадир любил не только сказки. После сбора очередного хараджа или после казни рабов, подавления очередного восстания зинджей или карматов он собирал во дворце знаменитых ученых и поэтов, одаривал их и подолгу участвовал в меджлисах, где богословы рассказывали о жизни пророка Мухаммеда и читали Коран. Он называл своим другом великого философа, тюрка по происхождению, Абу Насра Мухаммеда аль-Фараби. А когда над империей нависла опасность, когда саманиды на дальних берегах Джейхуна и Сейхуна могли выйти из-под власти, он послал туда Абу Насра как философа. Он послал ученого к владыке саманидов, чтобы Абу Наср сделал свод всех священных писаний о пророке и укрепил веру в силу халифа.

Но ни аль-Муктадир, ни сменившие его халифы не знали, что великий ученый стал очевидцем резни карматов и казни поэтов в Бухаре, что потрясенный Абу Наср восстал против насилия, что он вернулся с берегов Джейхуна и обошел стороной Багдад. Что он бродил среди настороженных купцов в караван-сараях, бывал в бедных хижинах и в богатых дворцах Халеба, слушал рассказы купцов и путешественников на базарах Хомса и Дамаска; что он неделями бродил по развалинам Баальбека, совершил путешествие в Пальмиру...

Во дворце халифа о нем услышали вновь лишь тогда, когда он начал появляться на меджлисах ученых в Халебе, во дворце дерзкого султана Саиф ат-Даула...

Халифы не знали, что порой во время скитаний у Абу Насра недоставало дирхема, чтобы купить на базаре горсть фиников или кусок ячменной лепешки, и в такие дни, как гласит легенда, по утрам он шел на бойню, выпивал пригоршню свежей крови и целый день сидел где-нибудь в уединении, в тени пальмы или оливы, возле арыка, предавшись размышлениям и заноса на бумагу свои мысли, догадки и наблюдения, свою мечту...

Иногда он пел под аккомпанемент своей двухструнной кипчаги, которую спустя века назовут казахской домброй, и вокруг него собиралась толпа.

Порой он вместе с друзьями исчезал надолго из городской сутолоки. Кто-то видел его в тайных меджлисах ученых или среди воинов, а бывало, он часами просиживал возле бродяги или паломника, слушая непонятную речь и изъясняясь с ним на непонятном для окружающих языке.

Он часто выступал на защиту раба, мог отдать последний дирхем, последнюю лепешку нищему. Иногда замечали его сидящим, глядя в небо, вслушиваясь в говор птиц, в течение реки.

Его слова о равенстве людей были непонятны для современников, вселяли тревогу в сердца. Одни сторонились его, другие страшились, третьи называли чудаком...

Он уже знал, как рождались сказки. Он хотел знать, как зародилась жизнь на земле, и размышлял о взлетах и падениях Вавилона, о счастье и трагедии шумеров, арамейцев, мидян, о халдеях, об истории Палестины, о событиях полуторатысячелетней давности.

Он хотел познать тайну огня и силу ветра, историю народов и причины войн...

Читатели знают, что в пору его юности в Ираке восстали рабы во главе с Али ибн Мухаммед аль-Баркауи, по прозвищу «Закрытый завесой», потому что Али ибн Мухаммед никогда не раскрывал своего лица.

Восставшие требовали отмены рабства.

Восставшие рабы создали государство. Часть Ирака и часть Хузистана принадлежала им. Али ибн Мухаммед провозгласил себя халифом, а его деятельные сподвижники поделили завоеванное богатство и пленных.

Мечта рабов задохнулась в крови. Рабы не познали свободы. Войско повелителя правоверных — багдадского халифа — разгромило новое государство, а самозванный халиф был казнен.

События повторяются: старость Абу Насра Мухаммеда ибн Мухаммеда ибн Тархан ибн Узлаг аль-Фараби ат-Турки, вернувшегося из Халеба в Дамаск, совпала с эпохой смуты карматов, под чьими знаменами вновь объединились мусульманские секты шиитов, поклонники других религий.

Объединились ремесленники и мелкие лавочки. Они создавали тайные организации. Провозглашали равноправие всех религий, всех сект и каст. Карматская ересь распространилась по всему халифату. Карматы вновь восстали в Сирии, Ираке, Ливане, Бахрейне, затем в Палестине, Средней Азии.

Шатким стал трон багдадского халифа... Все большую силу обретал султан Саиф ат-Даула...

Все повторялось. Неизменной оставалась лишь любовь. Но и она, как всегда, была в оковах. Он не смог дать ей свободу, завоевать свободу для своей Бану...

Он жил мечтой о Добродетельном городе и мудрых правителях. Он бродил по улицам, слушая рассказы паломников, стремившихся попасть в Мекку. Он слушал песни ночных красавиц, речи бродячих философов, болтовню прачек, споры торговцев, жалобы рабов, плач детей, легенды караванщиков о былом и думал о своем — о прожитой жизни, о своей нескладной любви, о силе меча и тайне слов, о волшебстве музыки и невзгодах бытия, о вечности движения...

Он стал бродягой-странником, хотя был для своего времени великим Учителем, заново открывшим для людей внутренний смысл учений Аристотеля и Сократа, Платона и Птолемея, Гераклита и Гиппократы...

Ныне древние караванные тропы позабыты, заброшены. Я вынужден был прервать свое первое путешествие по следам великого мыслителя, затеянное спустя тысячу лет после его смерти, в Хамадане, и вновь продолжать его с другого конца — с Каира и Александрии.

Побывал на раскопках Карфагена, оттуда перебрался в Дамаск, Хомс, Халеб, который европейцы называют Алеппой. Прощел по Латакии, бродил по Пальмире, скитался по развалинам Баальбека.

Из Бейрута перебрался в Иерусалим, Амман, затем в Багдад, Басру и Мосул. В молчании взирал на арку Хисроу, на храмы, статуи и развалины эль-Хатры, Вавилона, Ниневии, Немруда, стоял в тени адамова дерева у слияния Тигра и Евфрата, совершил прогулку по острову Синдбада, скитался по долинам и горам Великой Северной реки и уж затем — когда были пройдены все дороги и города, где, по моим интуитивным предположениям, не мог не побывать этот величайший философ и мыслитель древности в годы своей зрелости и старости, — вновь вернулся к берегам Тигра в древнюю, но по сей день прекрасную, прохладную Самарру, где в те далекие времена находилась резиденция халифа аль-Муктадира, в чей дворец вместе с караваном даров и вместе с рабами-тюрьками в пору своей юности прибыл Абу Наср Мухаммед аль-Фараби...

Ведь ничто не вечно в этом мире, кроме любви, кроме поисков истины...

Что же заставило меня идти по его следам и что вообще заставляет нас, жителей конца двадцатого века, названного «космической эрой», совершать путешествие в прошлое? Разве только для того, чтобы удовлетворить свое любопытство, свою жажду к поискам истины?

Почему расшифровка буквенных знаков на обломке Розетского камня потрясла умы самых выдающихся мыслителей XIX и XX веков и стала ключом для раскрытия величайших загадок мировой цивилизации?

Быть может, в этом, да, действительно в этом, на первый взгляд, парадоксальном явлении и заключена та великая сила, которая заставляет нас снова и снова оглядываться назад, в прошлое, и искать истоки сегодняшних побед и бед, истоки прогресса и пороков. Ведь мудрость всех мифов и сказок прошлого — это борьба добра и зла, и эта борьба всегда служила не только причиной рождения новых цивилизаций, но и новых пороков.

Познавая мир, изучая древние науки, Абу Наср Мухаммед аль-Фараби, так же как и Аристотель, пытался на опыте прошлого, мысленно, в философских трудах своих содейство-

вать созданию такого общества и сообщества людей, в среде которых не было бы пороков.

Он прославился среди ученых своего времени как великий мыслитель, математик и философ, астроном и врачеватель, музыкант и историк, и потому его называли Вторым Учителем. Вторым после Аристотеля.

* * *

...Шагая по его следам через тысячу лет, я не мог освободиться от одной неотвязной мысли. Мысли о том, что он не смог бы стать величайшим философом-мечтателем, не увидев истоков всех древних цивилизаций — Ниневии и Вавилона, города Ассирии и Шумеров, если бы его не повергли в смятение, не звали к раздумьям таинственный взгляд сфинкса из глубин истории и тайны пирамид; если бы он не изучил все перипетии войн и нашествий народов до него и не приходил бы в уныние от человеческих жестокостей, от вечного неравенства людей!

В такие минуты мне казалось, что он, этот великий скиталец — искатель истины, жив и по сей день, что он как свой великий дар предлагает каждому из нас — кто интересуется им — венец своей мечты, свой трактат «О Добродетельном городе и благородных гражданах его».

Но, как бы там ни было, Восток не забывает о нем. И в воображении своем люди Востока рисуют образ мудрого чудака.

Так и сказал мне один старик сингалец, ученый из страны Шри Ланка, когда мы сидели с ним в жаркий полдень на окраине Коломбо в тени старинного кафе под названием «Аль-Фараби».

— В честь кого названо это кафе? — спросил я.

— В честь древнего мудрого чудака, — ответил он.

Именем Абу Насра Мухаммеда аль-Фараби назван старейший университет Каира. Студент-бенгалец из Калькутты однажды передал мне свой трактат под названием «Мухаммед аль-Фараби — материалист», а поэт из Пакистана читал свои стихи о Фараби как о великом сказочнике...

Кстати, и в Халебе, и в Дамаске я не раз отправлялся на поиски его могилы. Но тщетно.

Халебцы утверждают, что великий философ из Дамаска вновь вернулся в Халеб и последние дни жизни провел здесь, и потому, безусловно, Мухаммед аль-Фараби похоронен в этом городе, где-то возле старой крепости.

Вместе с халебцами я обошел все кладбища вокруг крепости и в самой крепости, но никто точно не знал, где искать его могилу.

Ученые и писатели Дамаска считают: он похоронен на одном из древних кладбищ, что находятся у Малых ворот города. Я был на этих кладбищах. Видел старца в белом,

в белой палатке, воздвигнутой прямо на могилах. Старец читал священную книгу и ждал часа своей смерти. Он не отвечал на вопросы живых. Перед ним стоял кумган с водой и лепешка высохшая лепешка...

Друзья из Дамаска, показавшие мне несколько могил, расположенных в разных местах, называя их могилами Фараби, в конце концов смущенно сказали:

— Напиши, что ты нашел могилу своего земляка, и мы подтвердим, что это так. Ведь в те далекие времена арабы все же ставили себя выше других народов, а к тюркам относились не всегда почтительно. Вряд ли они пожелали увековечить память Фараби и запомнить его могилу. Если ты хочешь взять горсть земли с его могилы, то возьми ее на берегу речки Барады — нашей кормилицы и отнеси ее на родину Учителя. Ты не ошибешься.

— Творения великих мыслителей одинаково служат всем народам, — ответил я. — Именно поэтому мы взяли на себя смелость впервые в истории провести у себя в Казахской республике День Фараби.

Это было 9 сентября 1973 года, в Алма-Ате, во время конференции писателей стран Азии и Африки. В Дне Фараби участвовали писатели и ученые почти всех континентов земли.

Накануне Дня поздно вечером я пришел в местный госпиталь навестить Саджада Захира — писателя, критика, одного из организаторов компартии Индии, Ассоциации прогрессивных писателей Индии, организатора и первого Генерального секретаря компартии Пакистана, выдающегося деятеля культуры на Индостанском полуострове.

Несмотря на свою болезнь, он прибыл в Алма-Ату, чтобы принять участие в Дне Фараби. Он, как и выдающийся пакистанский поэт Фаиз Ахмад Фаиз, как и писатель-коммунист Алекс Ла Гума из Южной Африки, помогал нам проводить вечера Фараби в Индии, помогал готовить День Фараби в Казахстане. Но, прибыв в Алма-Ату, он заболел.

Вместе со мной у его койки стояли два переводчика — один с урду, другой с английского языка.

Несмотря на разницу в годах, Саджад Захир был одним из самых мудрых и лучших друзей.

— Саджад-ага, завтра День Фараби... Вы мечтали об этом...

Глаза его медленно раскрылись. Он пытался улыбнуться. Обвел взглядом всех, вновь посмотрел на меня и тихо, очень тихо и медленно начал говорить...

Стояла мертвая тишина. Переводчик еле улавливал слова...

«Я мечтал сказать свое слово о Фараби, сказать как коммунист. Я много думал о нем. Но обстоятельства сложились так, что я не смог исполнить свое желание, свою мечту... Но все же, пока есть силы, скажу несколько слов, которые ты передай с трибуны всем, кто прибыл почтить его память...

...Фараби — это человек, посвятивший свою жизнь борьбе за братство людей.

Это человек, который тысячу лет назад жил для людей.

Это человек-фанатик, для которого не существовало ничего, кроме разума, кроме знаний, кроме жажды познания.

Нищий, бродяга, которого тогда не знал никто, кроме самого узкого круга ученых...

...Я счастлив, что теперь он нашел свой родной край, землю, на которой родился. Я счастлив, — говорил Саджад Захир, теряя последние силы, — что я родился на том же континенте, где родился он.

Он мечтал о равенстве и мире... И все мы, коммунисты, мечтаем об этом... И пусть те, кто соберутся на День Фараби, поймут его, оправдают ваши старания и поймут, и примут меня как его частицу...

Я счастлив, что умираю на его родине...» — это были последние слова Саджада Захира.

* * *

«...Нищий, бродяга, которого при жизни не знал никто, кроме узкого круга ученых...»

Даже сказочники — создатели «Тысячи и одной ночи» — не знали об Абу Насре Мухаммеде аль-Фараби, иначе они ввели бы его в свою сказку.

Ведь он, впитав все лучшее в культуре и истории своего края, своей родины, освоив труды древних греков, иудеев, вобрав в себя философские учения персов, индийцев и арабов, прикоснувшись к творениям древнего Китая, смог создать труды, где были обобщены не только знания древних мудрецов, но и заложены основы для будущих открытий в сфере всех наук, известных в те времена...

...В наше время мало верят сказкам. Мы уже забываем о Шехеразаде. Слушаем рассказы историков, роемся в трудах ученых давно минувших веков, чтобы найти строки о великом старце, создавшем твои труды в эпоху рождения «Тысячи и одной ночи».

Мы воспринимаем эти строки как бессмертную притчу о силе разума. Ибо старец этот был рабом жизни и властелином духа, родоначальником многих наук, непревзойденным музыкантом и страстным поборником справедливости, математиком и мирабом, астрономом, мыслителем-провидцем.

И конечно, писать о нем дело не из легких, тем более что ни он сам, ни его современники почти не оставили каких-либо записей о его жизни. Вплоть до 60-х годов нашего века о нем мало знали и у нас. Но, однажды услышав его имя, увидев его строки, мы уже не смогли расстаться с ним.

Быть может, случилось это потому, что в истории народов и наций бывают такие мгновения великих прозрений, когда, пережив мрачные столетия и годы торжества побед, познав

силу братского единения с другими народами, ощутив свет знаний и став равноправным в самом совершенном обществе века, люди хотят с новых вершин взглянуть на свое прошлое, во имя еще большего укрепления своей дружбы с братьями и чтобы положить на общий алтарь культуры все лучшее, когда-либо созданное в его собственной истории.

В последней четверти XX столетия, когда мир настолько велик, сложен и тревожен, когда он буквально перенасыщен информацией обо всем и обо всех, когда идет ежеминутная битва зла и разума, не хотим ли мы все и каждый из нас, граждан самого великого и прогрессивного общества на земле, быть причастными к истокам разума?

И не от этого ли желания мы пристально вглядываемся в историю народов и в историю цивилизации?

А найдя среди таких редких творений одно, которое имеет отношение и к нашей общей культуре, можем ли мы молчать об этом?

Или, найдя среди редких имен величайших мыслителей человека, который когда-то прошел по той же земле, где ныне живем мы, который родился и жил у тех же рек, у которых родились и мы, видел те же барханы и горы, ту же великую и манящую даль степи, как и мы, — не исполняются ли гордостью и трепетным волнением наши сердца?

В такие минуты мы ощущаем свое высшее человеческое Я, свое родство с древним мыслителем, родство своего народа с другими народами, с древностью культуры, с истоками многих и многих материальных и духовных богатств всех наших братьев, всего человечества.

Не по этой ли простой причине мы с волнением разбираем пепелища Отрара и с восхищением смотрим вслед космическим кораблям, стартующим с нашей, советской земли?!

Человек всегда ищет полноты восприятия и глубины познания своей собственной истории, а через нее — и истории человечества.

Народы всегда искали и ищут то, что объединяет их с другими народами, а не то, что разделяло бы их и вело к розни...

Одним словом, нет конца стремлениям человека и народа ко все более возвышенному идеалу. Без такого стремления нет настоящей литературы.

Если бы мы жили без таких идеалов, то и не было бы высоких целей, подобно тому, как если бы человек не изобрел лук и не пустил бы стрелу вдогонку орлу, то он бы сегодня не гулял по космосу.

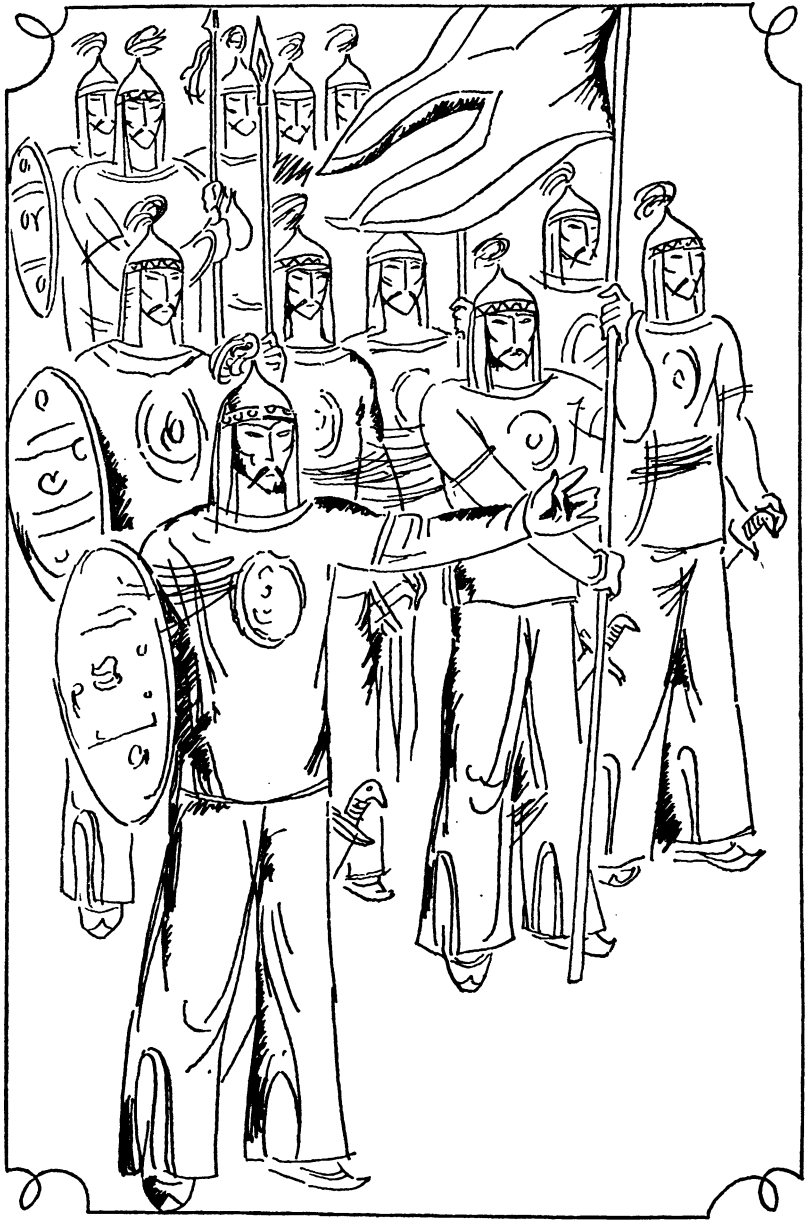
Но как бы там ни было — древний мудрец вернулся к нам.

Он вернулся к нам через тысячелетие.

Гении не умирают. Они живут вечно. Их разум сопровождает нас всегда и повсюду.

ГОМЕЦ





ПРОЛОГ

Прохладные ночи. Росистый рассвет. Полуденная жара. Каждое утро встает прожорливое солнце и проглатывает скудную росу. Каждый день под его палящим взглядом мелеют реки и степные озера. Болью в глазах отдается сухая белизна солончака. Запылились арыки, растрескались опустевшие хаузы. В высохших каналах, раскрыв клювы, бродят сытые вороны и грифы, чистят клювы, не обращая внимания на змей в редких кустах терскена.

Стада куланов и сайгаков, чудом уцелевших в минувшую небывало суровую зиму, презрев опасность, носятся по степи в поисках воды. Одичали псы. Волки, оставляя на кустах ключья прошлогодней шерсти, высунув языки, бродят в поисках воды, не боясь людей...

Настороженный зной навалился на землю. Солнце, как палящее око разъяренного аллаха, смотрит из необъятной глубины неба. И нет такой силы, которая заставила бы его смягчить свой гнев, вселить спокойствие в этот земной мир — мир трав, мир животных и птиц, мир человека. Ни тучки на небе, ни ветерка над землей.

Жара выжимает последние капли пота, одежда пропитана солью, лица исполосованы ожогами. Но люди идут.

Идут днем и ночью, боясь остановиться и отдохнуть, боясь ночевки и сна, боясь отстать друг от друга...

Не жара страшит их. Их гонит враг. Жестокий, как волк, бесчисленный, как саранча.

Аулы Великого жуза бегут на запад, на северо-запад и на юг Казахии с Алтая, с берегов Тентека и Аксу, Ит-ишпеса и Алтынколя, Зайсана, Аккуйгаша и Чарына к границам Хивы, в Туркестан, где стоит священный пантеон великих ханов, батыров и биев, где покоится поэт Ахмед Яссави; бегут к берегам Арала, к братьям из Младшего жуза, бегут на вольные

пастбища Сарыарки — казахских саванн, которые географами тех времен названы Туранской низменностью, а после получают наименование Казахской складчатой страны.

Стонут верблюды. Уже много дней с них не снимали тяжелых выюков. До крови натерты спины. Во время коротких стоянок, когда люди перевязывают раны, кормят детей или хоронят погибших в дороге, несчастные животные медленно падают на бок — они не могут коснуться горбом горячей земли, повалиться в пыли, пылью присыпать раны. Выюки упираются в кусты, животные на какое-то мгновение вытягивают ноги. Им дышится легче. Но пройдет мгновение, и кто-то из жигитов, сопровождающих беженцев, замахнется пикой или палицей, и верблюды с криком и стоном вновь поднимутся на ноги.

Старейшина аула или рода вновь взберется на коня и молча продолжит свой путь, а за ним вновь потянется весь караван уставших, голодных, больных, раненных в битве людей, людей, потерявших свой кров, своих близких.

Они покидают родной край, не зная, что их ждет впереди, не зная, смогут ли они когда-нибудь вернуться назад...

Иногда старейшина остановит коня, чтоб подождать отставших, протрет платком затуманившиеся глаза и долго смотрит назад, стремясь увидеть родные горы, холмы и поля. Но ничто не радует взора, когда аулы окутаны дымом пожарами, когда горят сады и поля, когда на твоей земле властвует враг.

Беспорядочный поток беженцев, идущих по бездорожью, по оврагам и низинам, охраняют уцелевшие в битвах жигиты. Они не снимают кольчуг, колчаны их набиты стрелами, ни на миг они не опускают щиты и копья, только часто меняют коней. Они молчаливы так же, как и старик, едущий впереди. Мрачные, как тучи, черные от ожогов, их лица окаменели от гнева, глаза красны от бессонницы...

Когда передовые отряды вражеских лазутчиков появляются вблизи, жигиты отстают, чтобы защитить свой аул. Подбираются бесшумно, как тигры Алтынколя, и бросаются внезапно. Лязг мечей, удары пик, стон поверженного врага — все это звучит для них песней мести за плач детей, стоны раненых друзей, причитания женщин.

Смерть в бою им желанна — она избавляет от мук. Они больше не в силах видеть страдания своих соплеменников.

Чем больше льется крови, тем яростнее взгляд солнца. Чем больше смерти, тем безумней жара.

Старики умирают безмолвно. Роняют свой посох, медленно опускаются на дорожную пыль и лежат с раскрытыми глазами, пока кто-нибудь не прикоснется к их векам ладонью и не закроет их навсегда.

...Скрипят арбы, тихо стонут верблюды. Где-то скулит собака. Пыль не оседает. Она ложится на потные лица, на влажные ресницы, она, постепенно превращаясь в плотное облако, ползет вместе с караваном. Пыль эта видна издалека,

за много верст замечают ее враги — предательская пыль. Нет ветра, чтоб развеять ее. Утомительно медленно оседает она на окостеневшие от жары и высохшие от безводья травы, но не может плотно закрыть белизну костей, лежащих у дорог.

Всюду следы смерти. Из-под кустов прошлогоднего чия пустыми глазами смотрят в гладкую дымчатую синеву неба черепа животных.

Иногда, словно клещи железного паука-великана, над чахлым кустом торчат облепленные муравьями ребра верблюда или скакуна. Встречаются на пути и целые кладбища из гниющих трупов животных, и тогда воздух наполняется таким смрадом, что уставшие люди задыхаются и, схватившись за животы, корчась, stanовятся на колени от тошноты.

Слишком часто видны в степи свежие могилы, не успевшие осесть и зарости. Никто не знает — чьи они? Своих или чужих? Проезжая мимо них, старики беззвучно повторяют молитвы. Умолкают дети...

Бывает, что глава каравана, едущий на старом могучем коне в окружении бывалых воинов и молодых жигитов, неожиданно повернет в сторону и остановится. Воины сойдут с седел и бросят на землю тяжелые щиты и копья. Холодным ветерком пройдет шепот.

Еще один мертвец лежит под Оком Солнца.

Хоронят молча. Не зная ни имени, ни рода мертвеца. Не по вспухшему и почерневшему лицу — только по шлему, по кольчуге, по стрелам, впившимся в грудь или спину, узнают в усопшем врага или своего: ойрота, бурята, калмыка, казаха, монгола, китайца, башкира или киргиза.

Но кем бы он ни был, о нем никто не скажет ни слова. Об усопшем не говорят плохо. Мстят только живым. Мертвых почитают — среди них уже нет врагов. Мертвые все равны. Добрые или подлые дела человека остаются лишь в памяти людской и становятся пищей для молвы...

Все шире поток беженцев. Осиротевшие дети, прибившиеся к каравану в поисках защиты. Семьи, потерявшие кормильца. Одинокие скитальцы, лишенные крова, родных. Люди, в чьих аулах весь скот угнан врагом или погиб во время джута. Все они прибиваются к этому шествию, во главе которого все так же молча на старом боевом коне едет Манай-бий.

Степь звенит от палящего зноя, она выгорает. В ушах голодных детей, в ушах умирающих от жажды птиц и куланов, в ушах одиноких бродяг, в смертельном страхе избегающих человеческого общества и, подобно кротам, роющих землю в поисках съедобных кореньев или плетущихся от одной высыхающей роши к другой в поисках грибов, ягод и жадно вгрызающихся в стволы берез, чтобы напиться земного соку, и в ушах безмянных гонцов, мчащихся, не щадя ни себя, ни коня, в стороне от больших троп и дорог, стоит бесконечно тонкий, пронизывающий душу звон. Сухой свист

кузнечиков и мошкары, звон раскаленного воздуха и окостеневших трав.

Ни людям, ни животным не скрыться, не убежать от этого томящего звона и зноя, от палящего Ока Солнца.

Никуда не скрыться от свирепого врага, который может появиться возле тебя в любой миг, в любое время дня и ночи. Негде укрыться от солнца. Никто не знает — где свои, где чужие тумены.

Только безымянным гонцам известно, где притаился уцелевший аул, где спрятаны спасенные от угона за Джунгарские горы табуны султанов Великого жуза или где, в скольких переходах от Алтынколя, находятся ополченцы найманов и сколько сотен осталось от нукеров Болат-хана.

Люди из каравана Манай-бия видели, как гонец с запасным конем, перевязавший лицо белым платком, оставив открытыми лишь глаза, вплавь переправлялся через реку Каратал, видели гонца на белом скакуне, когда тот неожиданно пересек им дорогу.

Белые платки на голове да голубые лоскутки на острие пик, легкие, но прочные кольчуги, да быстрые кони и еще воспаленные от бессонницы глаза и молчаливость, настороженность выдают гонцов. Кривая сабля на боку, серебряная пайцца, которую они мгновенно вытаскивают при встрече из тайников в складках своей одежды, заставляют людей молча выполнять их волю. Ни старый, ни малый не задает им вопросов. Им отдают лучшего коня и сливают в их охотничий торсук¹ остатки кумыса.

Узун кулак² доносит, что гонцы мчатся из Талкына — маленькой крепости, стоящей где-то на крутом перевале Джунгарских гор. Идет молва, что конница джунгар разгромила эту крепость, но не смогла уничтожить жигитов, защищавших ее. Жигиты скрылись в горах. А сейчас они где-то в ущельях Алтынэмеля готовятся к битве. Узун кулак доносит, что главой их стал табунщик Малайсары из рода бесентин. Говорят, что он отличился при защите крепости своим бесстрашием и хитростью, и жигиты назвали его батыром...

Больше ничего не сообщает знающий все узун кулак.

Люди научились молчать. Научились хранить тайну от неизвестных скитальцев. Только гонцам было известно — куда пробралась и где скрывалась армия джунгар и куда нанесет свой удар батыр Малайсары.

От одного каравана беженцев к другому шла молва о батырах, где-то в степях Сарыарки собиравших ополчение. Говорили, что во главе их стоит другой удачливый батыр, который хочет примирить ханов всех трех жузов, что он напомнил им мудрые слова Тауке-хана и потребовал от всех султанов выполнения клятвы, когда-то данной на Старой горе

¹ Мешок из козиной шкуры для кумыса.

² Дословно: длинное ухо; вести, слухи.

перед Тауке-ханом. С тех пор та гора называется Улытау — Великой горой.

Никто из друзей Манай-бия не знал, кто этот батыр. Никто не слышал о нем раньше. Откуда он? Из какого племени? Знатного ли происхождения? Султан или хан?

В аулах Маная о нем слышали в первые дни мамыра, и сейчас, в поисках защиты направляясь в чужие края, люди Маная с надеждой вслушивались в каждое слово, когда кто-либо говорил об удачливом батыре из Среднего жуза или о Малайсары. Им уже не было дела, откуда они — из какого рода, султаны или ханы.

Людям нужна была опора, надежда. Народ искал вождя, способного объединить грызущиеся друг с другом племена казахов. Потому каждое новое имя вселяло огонек надежды. Каждый батыр, неожиданно проявивший себя в схватке с джунгарами, притягивал к себе взор не только жигитов — участников битв, но и всех беженцев, чьи караваны ползли по нескончаемым степным тропам Казахии под палящими лучами солнца.

Собственно, за эти два года аулы Манай-бия второй раз покидали свои земли в тенистых ущельях Джунгарии. И если когда-то Манай считался справедливым старейшиной десяти аулов, то теперь под его властью осталось лишь два-три десятка стариков и старух да полсотни сирот и вдов. Манай-бий знал, что больше уже нет возврата назад, что он не сможет спасти тех, кто еще остался в живых и верит в него. Но умереть — он умрет вместе с ними.

Было у него единственное желание — он хотел умереть, как умирают вожаки израненной стаи волков. Защищаясь и защищая своих. Он молча взывал к душам предков, к аллаху, чтобы они сохранили ему силу и спокойствие. И, зная безнадёжность своей просьбы, он все-таки просил аллаха помочь ему найти маленький, тихий уголок на этой огромной, облитой огнем, разорванной в клочья раздорами ханов и султанов земле. Клочок земли, где бы журчал родник и было бы пастбище для скота, где бы дети и старики, еще верящие в него, в силу и разум Маная, могли бы провести остаток своих дней. Ему лишь бы устроить, успокоить их. А потом он готов на все. Он готов достойно принять любую смерть. Он страшно устал от всего. От этих джунгар. От нищеты своего аула. Он готов умереть хоть сейчас. Умереть от стрел врага, упасть с коня, лечь на эти окостеневшие травы без стога, без мольбы и молитв, глядя в разъяренное Око взбесившегося Солнца. Он готов бежать от этой идущей следом за ним несчастной толпы.

Но бежать невозможно, все взгляды устремлены на него. В нем живет чувство вожака. Это чувство держит его в седле, сохраняет ему спокойствие. Он должен думать о спасении

этих забытых богом людей до самой своей смерти. Так было каждый день во все эти долгие месяцы войны. Войны, начатой пятнадцать месяцев назад, в год свиньи...

В самом начале месяца науруза¹, когда люди радуются первому теплу, первым цветам; когда их слух ласкают раскаты весеннего грома и веселый смех ребят; когда исхудавшие за долгие месяцы зимы овцы и кони с наслаждением хрустят свежей травой и придирчиво опекают своих ягнят и жеребят; когда не только земля, животные, растения, но и люди только-только начинают обретать новую силу, живут разрозненно, рассыпавшись по степи, чтобы их овцы и кони свободно паслись по лугам и быстрее набирали силу на весенних пастбищах; когда люди беспечны, и нет у них других забот, кроме забот о детях... В эту пору все жеребцы — двухлетки и трехлетки — не только не оправались еще от последствий страшного джута², но были слабы и оттого, что их недавно выхолостили. Кони не могли стойко держаться под седлом, не были готовы к битве — и вот в это самое время полчища джунгар нежданно ворвались на казахскую землю.

Ворвались, как это бывало всегда, как десять, сто, как двести лет назад, — вероломно, воровски.

Первый удар принял на себя жигиты Великого жуза. Но у них не хватило времени объединить всех ополченцев в единую армию. И главное, не нашлось вождя, который смог бы стать во главе сопротивления...

Каждое племя, каждый аул сражались в одиночку. По сто, по тысяче жигитов выходило навстречу коннице джунгар. Жигиты стояли насмерть, прикрывая отход своих аулов в глубь степей.

Враг был остановлен на перевалах Шыбынды и отброшен назад. Но новые полчища джунгар переступили границы казахской земли за пятьсот верст от Шыбынды, у берегов Хоргоса и Нарынколя. Шли бои на берегах Тентека. Все новые и новые тумены джунгар врвались на земли Жетысу.

Гонцы, посланные к хану Среднего жуза Самеке и к хану Младшего жуза Абулхаиру, возвращались в ставку правителя Великого жуза безвольного Болат-хана и молча склоняли головы перед его троном. Помощи не было. Самеке выжидал. Абулхаира беспокоила грызня адаевцев с туркменами и волжских калмыков с ногайцами. А ханы казахов, сидевшие на тронах Ташкента и Хивы, выпроваживали гонцов без ответа, у них были свои тяжбы с правителями Коканда, Самарканда и Бухары. Правитель Хивы жил в страхе, ожидая нашествия новоявленного владыки персов евнуха Надира, который называл себя рабом шаха Тахмаспа.

В железные тиски конницы джунгар попали аулы Вели-

¹ Месяц март.

² Гололед, массовый падеж скота в суровую зиму; из-за гололеда скот не может добывать себе еду.

кого жуза от Зайсана до Таласа. Жигиты садыров, канглы, уйсуней, дулатов, албан-суана, жалаира бились разрозненно. Тысячники джунгар легко расправлялись с ними и проникали все дальше, в глубь степи. Они уже жгли посевы и пастбища найманов, кереев и коныратов. Лишь многочисленное племя аргынов еще не испытало удара джунгар. Их аулы спокойно жили в урочищах Бетпакдалы и в необъятной Сарыарке.

Шел пятый месяц войны, когда от сарбаза к сарбазу, от сотни ополченцев к другой сотне пошла весть о храбром и прямом батыре Жанатае, который в присутствии седых визирей и алчных султанов всенародно обозвал хана Болату плаксивой бабой и трусливым кабаном, недостойным считаться сыном великого Тауке-хана, и потребовал, чтобы он — если считает себя владыкой Великого жуза, если хочет сохранить титул старшего хана всех трех казахских жузов, — призвал народ к единству перед лицом врага, бросил клич всем батырам: «Забудем распри, объединим аулы, защитим матерей и сестер, родные реки и горы!»

Жанатай произнес эти слова, не слезая с коня. Он был окровавлен, кольчуга его была разорвана. Он сидел в седле с обнаженной головой. Ранен был и его конь. Кровь запеклась на его крупе.

С ним было трое жигитов. Трое таких же, как он, — почерневших от пыли, от ран. Все они вырвались из ада. Четверо из двухсот безумцев, напавших на пятьсот отборных всадников Шона-Доба, которые раскинули свои шатры где-то у берегов Аксу. Четверо — прорубивших дорогу сквозь конницу врага в лунной ночи и мчавшихся двое суток, чтобы найти ставку Болат-хана.

У Жанатая было немало жигитов. В прошлое лето они не давали покоя туменам Шона-Доба. Как призраки появлялись они то с одного, то с другого фланга армии джунгар. Были дни, когда ошеломленный дерзостью Жанатая Галдан Церен остановил движение своих войск. Послал в тыл Жанатая своих лазутчиков — ойротов, уйгур и казахов-кереев, что перешли на службу к нему. Он хотел знать: нет ли у казахов более грозной силы? Почему так неистов и дерзок Жанатай?

Нет, не было такой силы. Пока хан Болат умолял султанов Великого жуза забыть прежние ссоры, объединить своих сарбазов, пока между именитыми вожаками племен шла грызня, сам коварный повелитель джунгар Цевен Рабдан посылал на помощь своим полководцам все новые и новые тумены.

Почти десять лет он готовился к этой войне, из них семь лет он отливал пушки с помощью шведа Рената, захваченного в плен зимой 1715 года. Десять лет Цевен Рабдан мечтал о мести непокорным казахам за прежние поражения при Таукехане. Ни разу джунгарам не удавалось в сражении одолеть

сарбазов Тауке. Больше того, Тауке-хан расколол джунгар надвое. Торгауты были вынуждены навсегда уйти на запад к берегам великого Едилья. Смерть Тауке разъединила казахов, и когда Цевен Рабдан сказал об этом богдыхану Небесной империи, у того сузились и алчно заблестели глаза.

— Запомни! Чингисхан, покорив эти степи, открыл себе дорогу к богатствам Мараканы и России. Тебя ждет его слава, — спокойно сказал богдыхан Цевену Рабдану.

Великому джунгарскому хунтайджи Цевену Рабдану еще ни разу не удавалось вкусить сладость победы. Но теперь победа была близка. Гонцы приносили радостные вести. Шелковые шатры Галдана Церена и Шона-Доба стояли в казахской степи... Заветная цель — покорить всю обширную землю казахов — казалась близкой.

Не дожидаясь, пока договорятся ханы и султаны, Жанатай вновь и вновь вставал на пути джунгар, прорывавшихся, подобно волнам взбесившегося моря, из-за гор. Под знамя батыра собрались все жигиты Жетысу. Их было не меньше трех тысяч, и они трижды останавливали отборные тумены врага. Отчаянно, подобно тиграм, что водятся в камышах Алтынколя, подобно барсам Хан-Тенгри, защищающим свое логово, дрались жигиты, дрались, не отступая ни на шаг. Но силы их иссякли.

Бросив дома, они уходили с семьями в чрево гор и в глубь степи, в города-крепости — Аулие-ата, Сайрам, Туркестан, Ташкент.

Манай в ту пору увел свои аулы в глубокие ущелья Джунгарии. Он верил тогда, что джунгар прогонят. Надо было только переждать.

Но передовые отряды Шона-Доба уже свободно рыскали по аулам Среднего жуза. Все больше людей попадало к ним в плен. Сотники джунгар везли свою добычу к тысячникам. Тысячники — к шатру своего повелителя. Несметные стада, тысячи рабов и рабынь гнали победители к своему верховному вождю Цевену Рабдану, а тот одаривал ими маньчжурских князей и китайских полководцев. Девушек, отобранных лично, Цевен Рабдан отсылал великому богдыхану. Стройные и крепкие степные красавицы дорого ценились на невольничьих рынках Шанхая и Бепина, а казахские жигиты с древних времен славились своей ловкостью, силой и выносливостью.

Но ни богатства, захваченные в аулах и городах казахов, ни первые победы не принесли спокойствия в ставку Шона-Доба. Ни одного дня он не мог почувствовать себя спокойным на завоеванной земле. Повсюду, днем и ночью, то тут, то там неожиданно появлялись мстители. Они были беспощадны. В одиночку, десятками, сотнями они врываются в станы джунгар и своим безумством, неистовостью сеяли страх в сердцах пришельцев.

Они наносили глубокие раны по флангам растянувшейся конницы, появлялись внезапно, словно привидения, и не было от них защиты, не было покоя. Точно так же когда-то в древности их предок Спитамен рвал в клочья конные отряды Искандера Двурогого¹ и заставил его повернуть вспять.

Много раз отряды Галдана Церена и Шона-Доба окружали сарбазов Жанатая, но самого батыра им так и не удалось убить или взять в плен. С сотней отчаянных жигитов Жанатая, как нож в масло, легко вклинивался в лагерь джунгар, перерезал, закалывал многих и, осыпав стрелами, каким-то чудом вырывался из самого плотного кольца...

Настал конец лета. Близилась холодная осень. Шона-Доба созвал на совет всех своих военачальников. Настал момент последнего решающего удара.

Шона-Доба решил, собрав в единый кулак всю конницу, нанести удары по городам казахов, сровнять с землей Сайрам, Туркестан, Чимкент и захватить Ташкент и укрепиться там на зиму, окружив город рвом и выставив свои пушки.

Но отяжеленные добычей, уставшие от бесконечных тревог вожди туменов молчали. Им хотелось скорее убраться из этой проклятой страны, скорее доставить домой награбленное, угнать своих рабов и рабынь. Хитрый Цевен Рабдан, поняв бессмысленность затеи своих сыновей, прислал гонца. Он звал их домой, чтоб достойно отпраздновать первую победу.

Отяжеленный трофеями Шона-Доба повернул коня назад. Он покорился мудрости отца. Нужно сохранить силы для будущего лета, чтобы вновь ворваться в эту степь и навсегда покорить ее города и аулы, навсегда овладеть несметными табунами коней.

Когда полчища джунгар, оставив позади дымящиеся степи и разоренные аулы Великого жуза, угоняя пленных, уходили в пределы своих земель, в долине Тентека случилось непредвиденное: в безлунную ночь невесть откуда вновь появились сотни Жанатая. Они перебили тысячу наемников, освободили пленных и угнали лучших коней. Это был жестокий удар. Шона-Доба не смог повернуть назад свое огромное, спешащее домой войско.

Не переставая лил дождь.

Потом пошел снег, а потом сразу же наступили непривычные для здешних мест ранние морозы, завывали вьюги...

Аулы, не успевшие опомниться от нашествия джунгар, не успевшие добраться до зимних стоянок, не успевшие оплакать погибших в битвах и угнанных в плен сынов и дочерей, так и остались на дорогах.

¹ Александр Македонский.

Не было корма для уцелевшего скота, недоставало дров для костра, не хватало сил для того, чтобы перебраться в места потеплее. Это была жестокая, еще ни разу ни одним из стариков не испытанная зима. Словно раскрылось холодное чрево небес, и мороз все снега обрушил на землю казахов.

Вьюга, вьюга без конца — жуткий вой стлался над степью. Будто все голодные волки собрались на казахской земле и слили свои голоса со стоном и плачем людей.

Но волки были сыты. Умирали люди — в шалашах, в юртах и на дорогах. Погибал скот.

Наверное, никто и никогда на земле не знал такого страшного джута! Джут помог джунгарам осилить Казахстан! Стон неся по всей казахской земле от Алтая до Едидя. Умирала великая Казахстан. Умирал народ, проклиная всех богов, выдуманных людьми, проклиная небо и землю.

Долго, мучительно долго длилась эта зима. Даже тогда, когда пригрело солнце, когда растаял снег, земля не изменила своего цвета. Она осталась такой же белой, как прежде. Но теперь она белела от костей. По дорогам, меся весеннюю грязь, плелись обросшие, костлявые калеки в лохмотьях. Калеки с отмороженными ногами. Уроды без рук, без ушей, без носа. Люди словно выходили со дна ада.

Это был конец окутанного трауром, самого тяжелого во всей истории казахов года. Года, о котором народ потом сложит сотни печальных песен и назовет его «Актабан шубырынды» — «Годом Великих бедствий». Он, этот год, длился от науруза до науруза.

Никто не знает, никто не считал, сколько погибло тогда казахов.

— Если было десять в семье, то в живых осталось двое, если было семь, то остался один, — беспристрастно уточнил узун кулак.

— В аулах казахов не осталось ни детей, ни скота, — пели седые акыны степи. — Аллах невзлюбил казахов, опустела степь. Сколько лет еще надо прожить, чтобы вновь заселить ее как прежде, — вздыхали старики.

А над степью, умножая тоску, тихо и скорбно неслись песни, одна печальнее другой...

Что за время? Время тоски... Время тяжелых испытаний...

Что за время? Время смут и унижений... Время безвластия и раздоров... Будьте прокляты, ханы!

Что за время? Народ, как стадо, бежит от врага, и пылью окутана степь, словно январской метелью.

Что за время? Время безвластия и страха...

Родина, родные остались позади. Лишь слезы, лишь слезы застилают глаза...

Вернется ли счастье народу, вернется ли прошлое единство? Скажите нам, батыры...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

— Если суждено погибнуть всему нашему роду, о аллах всемогущий, срази меня сегодня, до заката этого жестокого солнца, — неволью вырвалось из уст Маная, когда он от встречного гонца услышал весть о том, что полчища джунгар прошли через Каратау и, уничтожив все аулы, которые ютились там, вошли в Туркестан и Ташкент. — Будь ты проклят, аллах! — застонал Манай. Он крепко сжал камчу и оглянулся, еще не поняв сам — сказал ли он эти слова вслух или только подумал.

Он уже давно ехал молча. Не слыша никого, не видя ничего, погруженный в свои мысли. Давно исчез гонец, передавший ему тяжкую весть.

Куда он помчался? И куда теперь нужно вести свой аул ему, Манаю? Дорога к Аулие-ата перерезана. Джунгары впереди, джунгары сзади. Может, и не надо никуда идти? Вернуться назад. Быть может, батыр Малайсары остановил джунгар и можно вернуться назад, в родные края?..

Да разве мало в горах ущелий, скал, долин и неприступных высот, где можно спрятаться со своим аулом? Нужны ли джунгарам горы? Они обойдут их стороной. Им нужны табуны баев и султанов, богатства ханов. Не пойдут же они через опасные перевалы, чтобы захватить маленький бедный аул... Только нужно подальше держаться от своих богачей и владык... Но как бы там ни было, Манай не может уйти в неведомые края, не узнав исхода битвы жигитов Малайсары...

Он не заметил, как остановил коня, как подъехал к нему сын. Самый младший из пятерых. Единственный оставшийся в живых. Трое пали прошлым летом в битвах с джунгарами. Четвертый погиб зимой во время джута: пошел на охоту, забрался слишком высоко в горы и случайно набрел на вспуг-

нутого медведя. Не успев вытащить нож, попал в объятия зверя.

Погибли оба — и зверь, и человек...

— Что случилось? Что с тобой, отец? — тихо спросил Кенже. Манай всмотрелся в него и впервые увидел, что черный пушок, словно тонкое крылышко маленькой птицы, лег над верхней губой сына.

«Усы», — подумал Манай. Сколько же ему лет? Он родился в ту весну, когда Манаю исполнилось пятьдесят. Значит, ныне двадцать ему. И пятнадцать из них он провел без матери. Старшие братья любили его, баловали. Любил его и сам Манай...

Лицо сына покраснелось от жары. Шлем на голове был немного приподнят, на лбу виднелись капельки пота, под тонким чекменем, сотканным из верблюжьей шерсти, сверкали кольца кольчуги. Он был широк в плечах и ладно сидел на коне. Кинжал — подарок старшего брата — висел на боку. Колчан набит стрелами.

Старик вспомнил, что сын вчера с первого выстрела сбил коршуна, кружившего над падалью. У сына твердая рука и острый глаз, подумал он, и на мгновение им овладело чувство успокоенности, чувство нежности к сыну.

— Что случилось, отец? — повторил сын.

— Жара, — ответил он. — Нам нужно скорее добраться до воды. Найти место для ночного привала.

— Река уже близко. Так говорят жигиты, — ответил Кенже.

— Мы свернем с дороги. Не пойдем к реке, — голос Маная стал тверже. — Пусть подойдут остальные. Мы подождем их. Укроемся в ложбине за косогором. Там оставим арбы и волокуши. Спарим коней. Погрузим на них носилки с ранеными. Больных и детей посадим на верблюдов. Все лишнее оставим.

— Но люди не могут идти дальше. Они устали, голодны. Жара их доконала, — сказал сын. Старик не ответил.

— Эй, Сеит, где ты?! — крикнул Манай, насупив брови.

— Я здесь, аксакал. — Запыленный, усталый воин с перевязанной головой, с длинными полуседеыми волосами выехал из толпы и подъехал к старику, придерживая булаву, притороченную к седлу. За спиной у него торчало длинное са-модельное ружье.

— Возьми с собой кого-нибудь из жигитов и скачи назад! Поднимись на вершину. Оглянись кругом. Протри глаза! Никто не должен знать, куда мы свернули с дороги. Стой там столько времени, сколько понадобится, чтобы сварить полказана бычьего мяса. А потом идите! Ищите Малайсары, найдите его сарбазов. Победит Малайсары или погибнет — все одно, скачите назад и ищите нас в песках Отрара, там есть колодец, там корни саксаула уходят глубоко в землю. Принесите весть от Малайсары, и тогда решим, как нам быть дальше — вернуться в родные горы или ждать!..

— Я понял тебя, Манай, — ответил Сеит.

— Я с тобой, Сеит-ага! — Кенже прищипорил коня.

Сеит взглянул на старика. Старик растерянно смотрел на сына. До сих пор Кенже не участвовал в сражениях. Он ждал благословения отца. Но отец молчал. Он молчал потому, что считал его слишком молодым. А еще потому, что он был единственным из пятерых, единственным оставшимся в живых. Кроме него, у старика не было никого — ни жены, ни снох, ни внуков.

Сын смотрел прямо. Старик на минуту закрыл глаза. По лицу пробежала тень, чуть побледнели скулы. Когда он вновь открыл глаза, Сеит заметил в них боль. Но голос прозвучал спокойно и твердо.

— Благословляю тебя, сын. Будь достойным воином... — Манай провел ладонью по бороде. — Сеит, подставь плечо, если у него надломятся крылья...

Сеит молча наклонил голову...

— Ступайте! — властно сказал старик.

Женщина, стоявшая ближе других и слышавшая слова Маная, молча подала Сеиту торсук. Лицо ее было суровым, голова крепко обтянута черным платком. Сеит прикрепил торсук к седлу и повернул коня к одинокой сопке, оставшейся верстах в трех-четырех за караваном.

Кенже придержал своего скакуна, чтобы пропустить Сеита вперед, взглядом обвел истерзанный караван.

Юный воин, сидевший на усталом вороном коне и державший за повод навьюченного верблюда, не спускал глаз с Кенже. Караван вновь двинулся вслед за Манаем. Юный воин все еще не трогался с места.

— Ты чего стоишь? Трогай! — раздался чей-то голос.

— Сейчас! — Воин сорвал с головы шлем, и черные волосы упали на плечи. Это была девушка. — Сейчас, я поправлю седло. — Она соскочила с коня. Начала перетягивать подпругу, не спуская глаз с Кенже. Наконец их взгляды встретились.

Поправляя колчан со стрелами, Кенже еле заметно кивнул ей и, прищипорив коня, помчался за Сеитом.

Девушка долго смотрела вслед. Потом прижалась головой к седлу. Плечи вздрогнули. Накалившееся стремя обожгло щеку. Она подняла голову к небу. На глазах были слезы.

— Проклятая жара! — вырвалось у нее. Когда она вновь взглянула на людей, в глазах у нее уже не было слез.

Рядом застонала женщина. Девушка оглянулась. Женщина, только что передавшая торсук с водой Сеиту, сорвала с головы черный платок и упала, забилась в истерике. Возле нее, на развернутых лохмотьях, лежало красное, сожженное беспощадной жарой тело малыша. Малыш был мертв. Женщина только что взяла его из люльки, притороченной к седлу коня, и распеленала, чтобы накормить своей иссохшей грудью.

— Это я! Это я! — хрипела женщина, ударяясь головой о землю. — Я, я грешна! Я грешна! Аллах наказывает меня!

Девушка подняла ее с земли и прижала к себе. Караван остановился. Женщина вырвалась из объятий девушки и снова упала в пыль.

— Оставь меня, Саня, — еле слышно произнесла она. — Воды...

Девушка подобрала повод верблюда. Железное кольцо, вдетое в нос атана, натянулось. Атан со стоном согнул передние ноги и тяжело опустился на землю. Хромой табунщик Оракбай, отец девушки, быстро отвязал кожаный мешок с водой.

Деревянную чашу, наполненную влагой, Саня поднесла к губам женщины. Люди растерянно смотрели то на тело ребенка, то на женщину, то на вожака своего — Маная.

— Несите их! — приказал вожак. И, не оглядываясь, направил коня к узкому, заросшему колючкой оврагу.

Люди потянулись за ним. Двое мужчин положили женщину на носилки. Саня завернула тело малыша в лохмотья и вместе с ними пошла вслед за караваном. Конь шагал за ней...

Вскоре дорога опустела. Лишь вдали на востоке, поднимаемая облачко пыли, удалялись два всадника. Да в раскаленном небе кружили сытые коршуны...

Пройдя версты две от дороги, Манай остановил свой караван.

— Здесь похороним малыша. Выберите ослабевшего коня. Принесите жертву аллаху и накормите людей. Ночь будет темной. Все, что можно сжечь, сложите в кучу. Разберите арбы и волокуши. Пусть костер будет хорошим. Разожгите его вон там, под тем каменным навесом. Дайте отдых коням и верблюдам. Завтра двинемся через пески к Алтынколю. Найдем колодец и будем ждать наших гонцов, — сказал Манай. Это была его самая длинная речь за всю дорогу. — Дождь остудит жару, — закончил он.

Люди молча вглядывались в небо. Туч не было. Солнце, раскаленное солнце висело низко над землей. Но никто не усомнился в правоте его слов. Манай всегда знал, что говорил.

Хромой табунщик Оракбай подошел к старику.

— Ну что, аксакал, кости ломит?

— Это желанная боль. Чем сильнее боль в моих суставах, тем скорее будет дождь и освежит землю, — ответил Манай и, став на колени, начал молитву над могилой мальчика.

Еще один могильный холмик отметил путь каравана. Обхватив руками могилу сына, лежала мать. Солнце уходило за горизонт. Мягко коснувшись опаленных лиц людей, вдруг пробежал ветерок. А когда мать, уставшая от слез, от тихих проклятий аллаху, который отнял у нее сына, и от раскаяний в собственных грехах, наконец притихла, когда в казане заклокотало и запах мяса защекотал в носу, дразня голодных

людей, крупные капли дождя ударили о землю, словно освобождая все живое из удушливых объятий зноя и смерти.

Сания сняла шлем и, освободив свои черные косы, подняла лицо к небу. Глаза ее снова были полны слез. Но благодатный дождь помог скрыть их от людского взора.

— О аллах, спаси его от стрел смерти... Спаси моего Кенжежана, моего единственного, мою любовь, — шептала она.

— О великий аллах! Что за напасть на нашу голову?! То джут, то джунгары, то жара, а теперь словно небо раскололось на части и все тучи навалились на нас... Откуда такое проклятье? Чем мы заслужили его? — донесся до Кенже голос Сеита, когда огненный бич молнии на миг осветил крошечную тьму. Он не смог дослушать Сеита до конца. Слова утонули в грохоте грома.

Кони пугливо прижались друг к другу. Сеит и Кенже скакали рядом, стремя в стремя, но не различали своих лиц.

Дождь лил не переставая. Водой и ветром обдавало лицо. Забылась дневная жара, духота, словно и не было их.

Устали кони. Они уже не могли идти как прежде. Потоки воды, грязь под ногами отяжеляли дорогу. Собственно, дороги не было. Сеит вел Кенже по известным только ему одному тропам. А может, и тропинок-то не было. Кенже казалось, что небо опрокинулось на них, закрыв все пути. Он потерял направление и не знал, куда они идут — на запад или на восток, к горам или в степь. Освободив и бросив на луку седла поводья, он ехал, целиком положившись на волю аллаха и бывалого Сеита. Порой он ощущал, как конь под ним то, скользя, карабкался куда-то вверх, то снова, упираясь всеми четырьмя копытами, шел вниз. И хотя под ним был лучший скакун аула — лучший из тех, что выжили во время джута — крепкий гнедой жеребец с большой белой отметиной на лбу, за что жигиты называли его «Акбас», Кенже чувствовал, как обессилел конь, как дрожат ноги Акбаса. Да и сам Кенже уже давно не прочь был остановиться, немного передохнуть, где угодно — под дождем или под скальным навесом. Лишь бы выпрямить ноги и что-нибудь поесть, достав из курджуна сухой курт или творог, прямо из торсука сделать добрый глоток воды.

Вконец осточертел этот поток ливня. Выбраться бы из него поскорей, почувствовать близость огня. Его так и тянуло спросить Сеита — когда кончится этот кромешный ад?

Но он молчал, чтобы не выдать свою слабость. А еще он боялся, что в этой адской темноте под ливнем они, как слепые котята, могут попасть в руки джунгар. Тревога и страх порой наплывали на него, и он, словно ища защиты, бил кобылками в бока Акбаса, еще теснее прижал его к коню Сеита.

— Как бы нам не попасть прямо в лапы к этим нечестивым джунгарам, — громко сказал вдруг Сеит, словно угадав

мысли Кенже. — Нужно взять левее, к Жартасу. Если кто-то из наших есть в этих краях, то на Жартасе обязательно будут посты. А джунгары туда не пойдут, пока есть на свете жигиты Малайсары...

Снова молния осветила землю. Кенже не то чтобы ясно увидел, а скорее почувствовал, что они спускаются в глубокое ущелье.

Здесь дождь хлестал не так, как прежде, он, кажется, не много стих. Но от этого тьма не поредела.

Тропинка стала теснее. Всадники уже не могли ехать рядом. Акбас, настороженно храпя, скользя и спотыкаясь, пошел вслед за конем Сеита. Кенже, поудобней усевшись в седле, подобрал поводья, проверил колчан со стрелами. Все намочло, отяжелела одежда. Даже тонкая войлочная шапка под шлемом и та была мокра от пота и дождя. Холодные кольца кольчуги ощущались через мокрую рубашку. Вода стекала по железной обивке щита.

Проверив копые, притороченное к луке седла острием вверх, он на всякий случай проверил и саблю — не заклинило ли? Нет. Она легко выскользнула из ножен. Он вновь вложил ее. Подстегнул коня. Но вместо того чтобы ускорить шаги, Акбас ткнулся головой во что-то твердое и стал. Кенже вздрогнул от неожиданности, рука машинально схватилась за копые.

— Т-с-с... — почти у самого уха слышал он голос Сеита. — Теперь мы должны двигаться бесшумно, как лисы. Слезай с коня и иди вслед за мной. Держи Акбаса за морду, чтобы не заржал. Если что случится, не молчи, говори громче, кричи! Так надо. Если свои, то поймут, что мы казахи; если джунгары, то все равно прикончат. Ни лук, ни сабля сейчас не помогут...

Напряженно вслушиваясь в равномерный шум дождя, рукой сжав поводья у самого кольца удила, а правой ладонью прижав морду Акбаса, Кенже осторожно шагал вслед за Сеитом. То ли тьма начала таять, то ли взгляд от напряжения стал острее, но он уже мог различать во мраке коня Сеита, шагавшего впереди...

Не успели они пройти и двадцати шагов, как вдруг Акбас вырвался из рук и отпрянул в сторону. В ту же секунду что-то мокрое, тяжелое навалилось на Кенже. Ему скрутили руки. Где-то впереди во всю мочь заорал Сеит и торопливо начал выражаться самыми непристойными словами.

— Тише ты, старый вол! А не то разможжу твой череп! — прогремел чей-то голос.

— А, наконец-то и ты заговорил, плешивый мерин. Ты что, по-казахски не понимаешь?! Своих не признаешь? Прячешься тут, как зайцы, и на нас силу меряете, а джунгар боишься?! — кричал Сеит.

— Да перестань ты скрипеть, как немазаная арба!

— Не тащи, не тащи меня, дубина! Я сам пойду, — не уни-

мался Сеит. — Сынок, сынок, Кенже, где ты? Пусть только эти ночные громилы попробуют искалечить тебя, я им покажу!

Кенже молчал. Руки его были связаны. Оружие отнято. Шлем слетел с головы.

— Ведите их к огню. Посмотрим, что это за гости! — крикнул кто-то из темноты.

Их потащили наверх. Кенже споткнулся о камень, ушиб колено. Идти по камням в такой дождь, да еще в такой темноте со связанными руками, было трудно. Сеит то и дело спотыкался. Наконец они попали в узкую расщелину. Свет костра больно ударил по глазам.

Они оказались под огромной скалой. Было сухо и тепло. Часть скалы нависала сверху, как гигантский козырек, защищая от ветра и дождя. Сама природа создала каменную палату, в которой свободно могла разместиться сотня жигитов.

В дальнем углу, подложив под головы седла, не снимая одежд, спали сарбазы. Колчаны со стрелами, щиты, луки, пики и несколько самодельных ружей прислонены к стене.

В центре — очаг. На толстой железной треноге громоздился огромный казан, наполненный мясом. Горели сухие корневища, разбрасывая раскаленные угольки. Возле входа лежала шкура коня, в которую были завернуты остатки мяса. Справа от огня на двух плоских валунах и возле них, подстелив под себя кто кошму, кто коврик, сидели и полулежали люди.

На самом почетном месте, облокотившись о кожаный щит, обитый железными пластинками, устроился худощавый мужчина лет пятидесяти. Лицо у него было такое же, как и у других, — обветренное, обожженное солнцем. Тонкий подбородок покрыт плотным слоем черной щетины. Глаза острые, взгляд спокоен и внимателен. Одежда хорошо подогнана. Из-под старого тонкого чекменя виднелась новая кольчуга.

Небрежно откинув саблю в дорогих ножнах, отнятую у сотника или тысячника джунгар, он устремил свой взгляд на вошедших.

Верзила, сопровождавший пленных, оттолкнул Кенже и вышел вперед.

— Вот, батыр, поймали. Шли под дождем, укрывшись темнотой, как волки овечьей шкурой, — сказал он хриплым басом, стряхивая воду со своего малахая.

— Сам ты волк! — буркнул Сеит.

— Что ты сказал?! — грозно обернулся верзила.

— Чем недоволен ночной гость? — перебил его чернородый. — Развяжите им руки!

— И куда же вы в такую погоду? С какой вестью идете? — подал голос тот, что сидел справа от чернородого. Взгляд его был холоден. Он в упор смотрел на Сеита.

Сеит медлил. Оглядев всех, он ответил:

— Мы посланцы нашего старейшины Маная. А вы кто будете? Предложили бы сесть. Обычай забыли.

— Кто он, твой Манай? Какого рода, из какого племени и с чем он послал вас, к кому?! — повысил голос чернобородый.

— А ты не знаешь Маная? Тогда кто ты сам?! Дай глоток сорпы¹, а потом делай со мной что хочешь! Только жигита моего не трогай! Он последний из пятерых сыновей Маная...

— Я тебя спрашиваю: кто твой Манай? Султан или бий? Впрочем, вы все одна свора — свора волков, продавших свое племя, свой народ. Может, вы посланы к джунгарам посредниками? Когда легка добыча, то рвут друг у друга куски, а когда враг посильнее — готовы отдать в жертву не только друг друга, но и своих детей! С чем послан сын Маная к джунгарам? Говори, если не хочешь остаться навсегда под камнями этих гор!

— Правда твоя, незнакомец. Султанам нет дела до нас. Они спасают свой стада. Мы казахи из Тентекских гор, из рода болатшы. Нас было десять аулов. Не осталось ни одного. Джут и джунгары доконали нас. Мы чтим Маная не за богатства — он беден, не за спесь — он друг каждому из нас, а за мудрость и за справедливость. Мы чтим его как отца. Он наш судья, он вожак наш. Сейчас он уходит все дальше от этих гор, чтобы спасти тех, кто остался в живых и кто еще верит ему. Он как пастух уводит остатки своего стада от стаи волков. Стоны раненых, плач детей несутся над нашими песками и степью. Враг впереди, враг сзади. Защиты нет. В пятикратном намазе Манай просит пощады у аллаха. Не себе, а людям своим. Он просит здоровья батырам казахов. И если ты тоже мнишь себя батыром, то скажи — где Малайсары? Манай послал нас к нему, как только узнал, что он хочет преградить дорогу джунгарам. Старый Манай хочет вернуть своих сирот в родные края, чтобы больше не покидать синих гор. Чтобы умереть или выжить в родных краях. Ибо — сам создатель наш, аллах, свидетель — хоть и велика земля, но неправду говорят, что «у казахов родина там, где копыто коня оставило свой след». У каждого племени, у каждого рода есть свой уголок. Если он покидает его, то уподобляется бродячему псу. Не мешайте нам, если вы, как и мы, ищете убежища, чтобы спасти собственные шкуры. У нас нет ничего, кроме коней, которых вы уже забрали... Отпустите нас, мы ищем батыра Малайсары...

— Чем ты докажешь правдивость своих слов? — спросил чернобородый.

— О аллах, как же я дожил до этого дня! Где это видно, чтоб я, Сеит, говорил неправду? Да пусть меч создателя покарает меня на этом месте, если я сказал хотя бы одно слово лжи, — возмутился Сеит. — Да видать, что ты не батыр, а трус, если боишься меня. Неужели среди твоих... — Сеит замешкался, не зная, как назвать этих обросших, страшных на

вид людей. — Да неужели среди твоих разбойников не найдется ни одного человека, который не знал бы Маная? Не с неба же вы упали, свесив ноги, а вылезли из утробы матерей, что жили и живут в этих горах и знали и знают славных, справедливых людей этих гор. Или же вам все равно кого грабить и убивать? Нашествие джунгар развязало вам руки... — разошелся Сеит.

— Замолчи! Я заткну тебе глотку, седины тебя не спасут! — Молодой жигит, темный от гнева, выскочил из-за спины чернобородого и, схватив шестигранную камчу, бросился к Сеиту. Кенже прикрыл Сеита и вцепился в руку жигита, не дав нанести удара.

В мгновение ока поднялись еще трое, и двум пленникам не миновать бы беды, если бы не раздался грозный окрик:

— Назад! Назад, жигиты! Не с ними бой!

Верзила, сопровождавший пленных, отбросил Кенже и жигита, вцепившегося в него, в разные стороны и стал посередине. От шума проснулись и те, кто до сих пор спал.

— Спокойствие! — кричал чернобородый. — Он говорит правду, — указал он на Сеита. — Мы действительно достойны гнева всех старейшин наших, всего народа. Когда враг сидит на шее, не след обнажать мечи на друзей.

— Малайсары, и ты уйми свой гнев, — спокойно и властно прозвучал голос пожилого сарбаза, единственного человека, сохранившего спокойствие в эту минуту. Он был скуласт и морщинист. Над левой бровью виднелся короткий косой шрам. На нем был простой чекмень охотника-горца, и у него не было оружия, кроме кривого ножа в кожаном чехле на поясе. Он сидел, подобрав ноги, обутые в старые сапоги. В руках он держал деревянную чашу с кумысом.

— Успокойся. И пусть этот незваный пришелец уймет свою спесь. А то получается по пословице: враг за горло душил, а друг за подол тянет. Спесив каждый из нас. Спесь всегда брала верх над разумом и подавляла чувство уважения друг к другу, чувство единства. Так, наверное, всегда будет. Но сегодня ни у кого из нас нет желания внимать оскорблениям этого ночного пришельца.

— Правда твоя, Мерген-ага, — сдерживая себя, ответил Малайсары.

Сеит растерянно смотрел на него. Услышав имя Малайсары, притих и Кенже. Он забыл об обиде.

— А ты, отагасы¹, успокойся. Умерь свой пыл, — сказал Малайсары Сеиту. — Мы сейчас не в силах защищать не только твои аулы, но даже своих детей и жен. Мы остались здесь, чтоб взять у врага плату за себя, да подороже. Джунгары сильны. Но если наша смерть на миг заставит казахов — султана и пастуха, богача и бедняка — забыть раздоры и подумать о единстве, то наша жертва станет священной. Мы не

¹ Дословно: хозяин очага. Вежливое обращение к мужчине.

хотим, чтоб джунгары видели наши спины. Не хотим, чтоб и вы видели наше поражение и гибель... Ступайте назад к своему мудрецу. Нам нечего сказать ему. Нечем успокоить вас. Справедливых много на нашей земле, но их мудрость и справедливость редко перешагивала за пределы своих родов, своих племен. Только воля великого Хакназара и мудрого Тауке-хана могла держать единой Казахию. Но их уже нет. Нет теперь и единства на нашей земле. Ступайте к своему Маная. Нам не нужны свидетели. Пусть молва и вольные птицы расскажут людям о нас...

Взгляд Малайсары был устремлен в огонь. Стало тихо. Лишь треск костра да клочкотание кипящего котла отдавалось в ушах. В глазах батыра блуждал отсвет пламени. Лицо его казалось воспаленным.

...Кенже так и остался лежать в углу, не смея шелохнуться. Не удар верзилы, а речь Малайсары сразила его. Он впервые слышал слова, с такой болью отдавшиеся в его сердце. Он глядел на Малайсары, как замороженный. И в эту минуту он был готов исполнить любую волю батыра. Он как будто очнулся от сна, только сейчас вырвался из окутавшей его темноты. Он готов был сейчас идти за Малайсары хоть в пекло ада. Только бы не возвращаться назад. Не покидать этих людей.

Сеит преклонил колени перед Малайсары.

— Прости, батыр, старика. Не признал. Не понял. Мы шли к тебе. Не гони нас. Вели остаться. Твоя правда. Лучше умереть в бою, чем вить у дороги...

— Если верны твои слова, то пусть последний сын Маная разделит чашу кумыса со своим сверстником. Ты согласен, Кетик? — обратился Малайсары к жигиту, который только что сцепился с Кенже.

— Согласен, батыр!

— Я готов разделить чашу! — встал с места Кенже.

— Жигит перед боем не должен хранить обиду на друга, — сказал Малайсары.

Мерген подал свой торсук Сеиту. Наполнив чашу, Сеит протянул ее Кетику. Отпив глоток, Кетик подошел к Кенже.

— Утоли свою жажду, брат. Видать, устал с дороги.

— Спасибо, брат! — Кенже выпил до дна.

Сеит вновь наполнил чашу и подал Малайсары, но тот не принял чашу.

— Выпей сам, ты гость. Не храни зла, не осуждай за столь суровый прием... Безвременье сейчас на нашей земле, и потому не всегда соблюдаем обычай.

Откинув кошму, прикрывавшую вход, и разомкнув копья, стража пропустила человека в темной накидке.

— Тучи давно рассеялись. Засветилась Шолпан, — сказал пришедший, отбрасывая в сторону мокрую накидку, но, увидев Сеита и Кенже, умолк на минуту. — О, гости у нас. А у меня вести. — Он посмотрел на Малайсары. Кенже загляделся

на него. Высок. Чернобров. Острый взгляд, орлиный нос. Красавец жигит. Лет тридцать ему, наверное.

Кенже заметил, что Малайсары смотрит на вошедшего с непривычной для него нежностью.

— Говори, Кенес.

— Камни слепы, но имеют уши, — ответил Кенес и недружелюбно взглянул на Кенже.

— Говори, он наш брат, — спокойно сказал Малайсары.

— Ухо цело, и глаза остры, — ответил Кенес. — Слава аллаху, до нас доносится каждый шепот Галдана Церена. Сына Цевена. Сына Цевена Рабдана, не раз пытавшегося дойти до Сайрама, но изгнанного из наших земель батырами найманов и аргынов под водительством славного Тауке-хана. Рабы у Галдана Церена цини, уруты и кубуты, среди них есть и казахи — керей и дулаты. Сердца троих из них объята гневом, они клянутся в верности тебе...

— А где их тысячник? — перебил его Малайсары.

— Его шатер всегда впереди шатра Галдана Церена. Иногда, если предстоит битва, тысячник с конницей уходит далеко вперед и после боя посылает Галдану Церену красивых пленниц.

— А что говорят те трое?

— Вместе с ними еще тридцать. Готовы биться в шатре Галдана Церена и тысячника. А если их пошлют против нас во время битвы, то готовы мстить и умереть вместе с нами.

— Нет! — отрезал Малайсары. — Пусть лбами бьют землю у ног Галдана Церена. Не нам, а другим, что выйдут после нас навстречу джунгарам, нужны их уши и глаза. Пусть потерпят и пусть, если надо, бьют нас, как и все джунгары. Но наши стрелы пройдут мимо них, наши сабли не нанесут им ран. Пусть их взгляд не замутнится и острым останется слух.

— Не донесет ли ветер наш запах до джунгар? — вдруг спросил Малайсары.

— Ветер тих. Их сон спокоен. Дождь подмочил их порох. Керей обвиняют в этом урутов, что стояли на страже у пушек. Завтра в полдень джунгары будут здесь. Галдан Церен торопит войско. Спешит в Сайрам на той победителей. Говорят, что лобные тысячники джунгар, что прошли здесь месяца назад, уже перевалили Каратау, проникли в долину Таласа, осадили Сайрам.

Кенес замолк и принял чашу кумыса из рук Мергена.

— Отведите гостей в юрты. Накормите. Верните коней и оружие, устройте на отдых, — приказал Малайсары верзиле. Тот молча кивнул Сеиту и Кенже, указывая на выход.

— Меня зовут Атай, — пробурчал великан. — Осторожно, аксакал, здесь острые камни, можно легко сломать себе шею, — говорил он, обращаясь к Сеиту.

Петляя между выступами скал, они пробрались вверх на большое плато, где стояло несколько юрт. Дождь прекратил-

ся. Тучи, разорванные в мелкие клочья, очищая просветленное небо, уходили на запад. Неожиданно из-под уплывающей тучки замигала утренняя звезда Шолпан. Близилось утро. Слышалось фырканье коней.

— Ваши кони еще на привязи. Были слишком устали и потны. Отдыхают. Скоро их пустят пасти в табун. Охрана есть, — сказал Атай, махнув рукой на юрты.

— Надо сперва самим обсушить одежду и отдохнуть, а о скакунах потом поговорим. Может, мы их не возьмем в обратную дорогу, а заменим на других, чтобы быстрее весть о победе донести до аула.

— Прежде чем кудахтать, надо вначале яичко снести, — пробубнил Атай.

— Не читай заранее жаназу¹, — обидчиво сказал Сеит и умолк. От ближней юрты отделился человек и пошел им навстречу.

— Кого ведешь, Атай? — раздался голос.

— Принимаю гостей! Малайсары послал.

— Пусть входят...

...В юрте было тесно. Лежа вплотную друг к другу, дремали жигиты. Стены были увешаны саблями и луками. У порога в куче лежали секиры и булавы с железными ободками и стальными гвоздями. Щиты, седла, кольчуги были сложены друг на друга. В центре над погасшим огнем на треноге громоздился казан.

— Проснитесь, жигиты. Дайте место гостям...

Мясо и горячая сорпа утолили голод и согрели Кенже. Он почувствовал усталость, тело размякло, отяжелели веки, глаза закрывались сами собой. Не хотелось ни говорить, ни слушать. До восхода солнца оставалось не много времени. Нужно было хоть на миг забыться, чтобы вновь почувствовать силу.

— Ты спи, поспи немного. Я тоже на миг сомкну веки, — шепнул старый Сеит под равномерный скрежет напильника. Это Атай, сидя у порога, оттачивал шестигранные дальноточные стрелы. Возле него лежало несколько связок. В каждой из них, крепко стянутой ремнем, было по сотне стрел. Атай развязывал их, проверял остроту наконечников и засовывал в колчан.

Скрежет напильника сливался с храпом спящих жигитов. Тот, кто просыпался, молча вставал и, забрав свою кольчугу, саблю и меч или ружье, прихватив щит, уходил из юрты.

«Надо не проспать, быть готовым к началу боя», — подумал Кенже, уже засыпая.

Сон навалился на него сразу и унес очень далеко.

Голубое небо. Яркое солнце. Лучи, ударяясь о ветви ди-

¹ Мусульманский обряд похорон, погребальная молитва.

ких яблонь, о листья и плоды, рассыпаются на сотни тонких золотых стрел. Освещенные солнцем путники дрожат от прикосновения ярко-красных и светло-желтых осенних листьев. Под ногами на густой траве яблоки, опавшие с веток.

Он стоит на крутом склоне. Вокруг тишина. Дикие яблони подступают со всех сторон. Запах солнца, росы, спелых яблок и тающих от спелости ягод. Воздух наполнен ароматом осени. Никого вокруг. Тишина.

— Наконец-то мы одни, — слышит он чей-то голос. — Здесь немножко ровнее. Пусть эта поляна будет нашей гостевой юртой...

Рядом стоит Сания. Он видит ее спокойное лицо, ее глаза, слышит ее дыхание и невольно, не в силах удержать себя, берет ее за руки. У нее усталый вид. Но вот в глазах сверкнула искорка. Это луч солнца. Они бездонны, эти глаза, в них застыла неведомая грусть.

— Ты слышишь меня? — спрашивает она.

— Слышу, слышу. Да, да, это наша зеленая юрта. И под этим голубым небом нет никого, кроме тебя. Ты единственная...

— Нет, нас двое! — Она беззвучно смеется. В глазах уже нет тоски, нет грусти.

«Нет. Ты единственная. Единственная, кого я люблю», — ему хочется крикнуть, но слова застревают в горле. Отбиваясь от веток, они уходят в чащу, и неожиданно перед ними открывается новая поляна, усеянная опавшими яблоками. Они скользят по яблокам и падают на мягкую траву, толстой кошмой укрывшую склон.

— Это тоже наша юрта, — смеется Сания. — Юрта только на двоих. Никто никогда не должен заглядывать сюда. Это наша священная юрта для уединения.

Ее черные волосы рассыпаны по траве. Она смотрит в голубое небо, и лучи солнца, прорвавшиеся сквозь ветви, освещают ее спокойное лицо.

Закрылось все. Ветви яблонь укрыли их от навязчивых взглядов солнца. Они остались наедине с любовью...

Но что это? Куда девалось солнце? Где его лучи? Что-то темное нависло над Кенже.

— Что с тобой, что ты бормочешь? Вставай! Вставай скорее!

Кенже с трудом открыл глаза и увидел над собой черное, изрезанное морщинами лицо Сеита.

Кенже вскочил. Яркий свет ударил ему в глаза. Юрты уже не было. Ее убрали. Там, где ночью спали жигиты, осталась помятая низкорослая, как шерсть обстриженной овцы, альпийская трава. Все было убрано — и седла, и оружие, даже казан. Горячий пепел от костра залит водой.

Протерев глаза и осмотревшись, Кенже увидел зеленое плоскогорье. Оно походило на огромное поле для скачек и было окружено со всех сторон частоколом острых скалистых

вершин. словно бы сама природа создала крепость, над которой сейчас поднималось раннее солнце.

Сеит держал в поводу уже оседланных коней. И гнедой донен¹ Сеита и кунан² Акбас выглядели отдохнувшими и, наострив уши, беспокойно топтались на месте, то и дело поглядывая туда, где скопились всадники.

Сеит уже натянул на себя все доспехи, и в придачу к своему ружью он раздобыл где-то крепкую пику со сверкающим, отточенным острием.

— Ай, какой грех! И все из-за тебя, — ворчал Сеит.

Он отбросил пику, коней поставил рядом, привязав поводья одного к седлу другого так, чтобы скакуны не могли разойтись.

— Стойте, окаянные! — прикрикнул он на коней. — Там лежит торсук, в нем — кумыс, возле торсука — лепешка, — обратился к Кенже. — Скорее управляйся и не мешай мне. Из-за тебя я пропустил — о, упаси аллах, — проспал первый утренний намаз, а сейчас вот уже второй. Видишь, солнце как поднялось?! Не мешай мне, осквернитель Корана! — С этими словами Сеит опустил на колени, торопливо вырвал пучок травы, обтер руки, провел ладонями по лицу. Сорвал еще пучок травы, протер носки сапог и, уверенный, что полностью совершил символический обряд омовения, зашептал молитву.

Кенже увидел, как на восточной окраине зеленого поля, у самых скал, люди Малайсары тоже творили молитву. Он понял, что старый Сеит, не так уж часто вспоминавший о приношении просьб всевышнему, на этот раз последовал их примеру.

Старые молились, молодые готовились к битве. Кони стояли под седлами, колчаны были наполнены стрелами. На выступе скалы собрались вожаки, батыры. Их внимание было приковано к чему-то, невидимому для Кенже. Они смотрели вниз, в долину.

Кенже, который все еще находился во власти ночных видений, в ушах которого до сих пор звучал голос Сании, только теперь пришел в себя. Он торопливо поднял с земли свою тяжелую саблю, натянул тонкую кольчугу, лежавшую рядом со щитом, и побежал к ручейку. Ополоснул лицо и, глотнув кумыса, проглотив кусок лепешки, приторочил торсук и торбу к седлу Сеита.

— О аллах, я до гроба твой! Дай силы нашим жигитам, отними волю у джунгар, ведь они и твои враги, они — неверные. Спаси ветреную голову единственного сына раба твоего, справедливого друга Маная...

Это голос Сеита доносился до Кенже. Сеит не знал установленных слов молитвы, но он был уверен, что его искрен-

¹ Пятилетний конь.

² Конь-трехлетка.

ние заклинания, его мольбы дойдут до ушей аллаха. Наконец Сеит соединил ладони, готовясь завершить намаз. Он косо взглянул в сторону Кенже. Из почтения к старику Кенже тоже преклонил колени и раскрыл ладони.

— Аллах акбар!¹ — Сеит провел ладонями по лицу.

— Аллах акбар, — повторил Кенже.

— Теперь пора!

Старый Сеит преобразился. Он легко вскочил на коня. Взгляд его стал суровым.

— Не суждено нам избежать битвы. Видишь? Все жаждут боя. Пусть простит меня мудрый Манай. Сегодня я буду рядом с Малайсары. А ты береги себя. Твоя жизнь еще понадобится. Если увидишь, что в бою чаша весов склоняется в пользу джунгар, то не дожидайся конца. Скачи, сообщи Маная. Дорогу ты найдешь. Ты понял меня, сынок? — спросил он на скаку.

Кенже не ответил. Перерезая зеленое поле, они мчались к выступу скалы, где стоял Малайсары. Вправо и влево от него, разбившись на мелкие отряды, приготовились всадники. Лишь несколько старых воинов, ведя в поводу навьюченных коней, уходили прочь.

— Батыр, скажи нам — к кому из них пристать? Видит аллах, мы будем биться не хуже твоих сарбазов! — Хриплый голос Сеита заставил Малайсары оглянуться.

— А, это вы, ночные гости... Идите, смотрите! — Рядом с Малайсары стояли Мерген, Кетик и еще несколько жигитов. Они не обратили внимания на Кенже и Сеита. Лица их были озабочены.

Холодная дрожь передернула Кенже, когда он подошел к выступу скалы и замер над бездонной пропастью. Сделай лишь один неверный шаг — и полетишь вниз, туда, где гроздятся острые обломки камней. Они лежат почти у самой дороги, которая, извиваясь по долине, втиснутой меж гор, входила в узкое ущелье как раз в том месте, где стоят сарбазы Малайсары. Маленькая речка, несущая свои воды по долине, бежит рядом с дорогой в этом ущелье.

Долина в эти минуты была пустой и безлюдной. Кое-где чернели следы высохших луж. А пройдет час-другой, и скалы вновь накалятся от дневного солнца, и вновь, как вчера, как десять — двадцать дней назад, здесь будет властвовать зной.

Но сейчас люди забыли о том, что было вчера, и не старались угадать, что будет завтра. Взгляды устремлялись в ту сторону, где начинается долина. Оттуда должны появиться те, кого они ждут.

В щемящей тишине даже кони замерли, и не было слышно ни храпа, ни ржания.

— Готовы ли костры? — коротко спросил Малайсары.

— Загорятся вовремя, — ответил Мерген. — Первым — ко-

¹ Аллах велик!

стер Кенеса. Он там, на той горе, — Мерген показал на самую высокую вершину, вздымавшуюся на востоке. — Его жигиты дадут нам знать, когда последняя сотня войдет в долину. Но к этому времени головные сотни могут уже выйти из ущелья на равнину.

— Нет, — возразил Малайсары. — Из ущелья успеет выйти только сотня передовой охраны, а все остальные как раз окажутся здесь. В этой долине. Видишь, длина ее не менее пяти верст, а ширина — еще больше. Есть где разгуляться. Когда-то за тем изгибом речки стояла крепость Бешбалык. Видите развалины? Ну, у кого глаза острее?

Кенже увидел в дальнем конце долины у изгиба речки оплывшие остатки глиняных стен.

— Там была столица Джагатая, был город, который погиб после его смерти. Триста воинов Джагатая могли помериться силой с тысячной конницей врага. А нас — не менее шестисот. Мы готовы не только пожертвовать собой, но и взять дорогую плату за каждого из нас! — Малайсары взглянул на Кетика и приказал: — Ступай, готовь своих найманов!

— Батыр, и нам пора расстаться. Я должен доехать к своим, — обратился Мерген к Малайсары. — Наш костер будет третьим. Встретимся на поле битвы.

— До встречи, брат, — Малайсары и Мерген обнялись. Жигиты подвели коней Кетика и Мергену. Кетик направился к сарбазам, выстроившимся недалеко от утеса.

А тем временем отряд становился все больше и больше, и если бы не ночной ливень, то пыль, поднятая копытами коней, прикрыла бы задние колонны всадников.

— Отойдем в тень. У них должны быть стекла, в которые они видят далеко... А нам лучше остаться незамеченными. — Малайсары увел друзей в укрытие.

Головной отряд, пройдя долину, уже входил в ущелье, когда на восточной окраине долины показались основные силы джунгар.

Лавина за лавиной конница врага заполняла равнину.

Дорога для нее была тесна. В каждой сотне находилось по несколько вьючных верблюдов, по две-три тяжело груженных телеги. Наконец в центре конных порядков показались шатры на колесах. Несколько пар коней были впряжены в каждый из них.

— Шатры тысячника. В них его сокровища и наложницы, — сказал кто-то из жигитов.

— Слава аллаху! Вся тысяча входит в долину. Как говорится, падать — так падать с высокого верблюда, а не с ишака. Битва — так битва со всей тысячей, а не с сотней, — проговорил Малайсары.

— Смотрите, вот он, сам мынбаши! Вот его знамя и его

¹ Тысячник, предводитель войска, состоящего из тысячи воинов.

телохранители! — Голос Малайсары стал тверд, лицо — холодным, взгляд — жестоким.

Кенже, всцепившись в скалу, вгляделся в темное скопище джунгар и увидел, как, гарцуя на чистокровном белом арабском скакуне в плотном окружении рослых всадников, лица которых были прикрыты надвинутыми на лоб шлемами, вперед пробивался грузный всадник. Его одежда сверкала на солнце. С обеих сторон над лесом пик возвышались тяжелые черно-голубые знамена, обвешанные конскими хвостами.

— Коня! — нетерпеливо крикнул Малайсары.

Кенже показалось, что голос батыра эхом отдался в горах. Он вновь посмотрел в сторону джунгар — как бы не услышали, не обнаружили раньше времени?

Нет. Это просто показалось, что крик батыра могут услышать там, внизу. Джунгары двигались по-прежнему спокойно. Их поток был похож на огромного дракона, выползающего из теснин восточных гор в долину.

На вершине солнце больно обжигало лицо — в горах его лучи сильнее. Но все же такой жары, как в долине, здесь не могло быть. Горный ветерок освежал воздух.

Когда Кенже взялся за повод Акбаса, Малайсары уже сидел на коне. Вороной жеребец рыл землю копытами. Он был гораздо выше приземистых коней, привычных к горным тропам, цепких и быстрых. Такие жеребцы на горных пастбищах становятся хозяевами в косяках. И зимой и летом верно и бесшумно охраняют они своих кобылиц. Такой тулпар — хорошая подмога в бою. «Малайсары может на полном скаку сбить любого джунгара, его конь выносливей арабского скакуна», — подумал Кенже. Сеит уже сидел на своем гнедом и коротким шомполом вталкивал дробь в ствол ружья.

Проверив, не заклинило ли саблю в ножнах, легко ли вынимаются стрелы из колчана, и, надев щит, Кенже придерживал нетерпеливого Акбаса, еще не зная, за кем ему следовать. За батыром или же влиться в чью-либо сотню?

Сотня Кетика уже стояла посередине зеленого поля. Неожиданно выскочив откуда-то из прикрытия, появилась другая сотня всадников во главе с верзилой Атаем. Каждый жигит Атая был вооружен стрелами для дальнего боя, саблей и палицей для рукопашной схватки. По знаку Малайсары сотня Атая стала рядом с сотней Кетика.

Батыр в сопровождении двух сарбазов подъехал к жигитам.

Кенже взглянул на Сеита.

— Ну что ты смотришь на меня, сынок? Решай сам.

— Будем в сотне брата Кетика! — решительно сказал Кенже.

— Иншалла¹, — ответил Сеит. Они освободили повода, пришпорили коней.

¹ Слава аллаху! Если угодно аллаху!

— Мы с тобой, брат, — сказал, подъехав, Кенже.
— Отныне нас разлучит только смерть, — ответил Кетик.
— Час настал, жигиты! — раздался голос Малайсары. — Там, на востоке, в тылу у джунгар, наготове стоят две сотни сарбазов Кенеса. Мерген поведет своих охотников-стрелков в обход, к северу... Всего нас — шестьсот жигитов, связанных единой клятвой мести. Шесть сотен, не считая тех, кто готовит каменные обвалы! Священная месть за кровь наших детей и отцов объединила сегодня жигитов албан-суана, найманов, калаиров, канглы, уйсуней, дулатов, болатшы и бесентина — все казахские племена и киргизов, живущих в этих горах. Сегодня мы едины, и пусть помогут нам родные горы. Победим или умрем! Иного выхода нет! Дороги в степь объезы ужасом... Для нас нет и пути к аулам, укравшимся в горах, ибо по нашим следам туда могут пройти и джунгары. Пусть наша смерть или победа будет песнью во имя единства казахских племен — так говорил мудрый Тауке-хан. Готовы ли вы выполнить его завет?!

— Смерть наша дорого обойдется джунгарам. Мы не пощадим ни себя, ни врага! Веди нас, батыр! — гремели сарбазы.

— Костер! Костер Кенеса! — закричал дозорный.

Все повернули лица на восток. Там над самой вершиной потянулся ввысь густой столб дыма.

— Дайте огня! — крикнул Малайсары.

Дозорный поднял копьё с белой повязкой на острие, и в то же мгновение недалеко от того уступа скалы, у которого недавно стоял Кенже, тоже поднялся вверх густой сизый дым. Загорелся огонь и на вершинах северных и южных гор.

— Кетик, от твоих жигитов не должен уйти ни один из головной сотни, что миновала ущелье и теперь уже выходит в степь! Ты понял? Ни одна стрела джунгар не должна метить нам в спину. Торопись! Пусть слава предков поможет нам! А ты, Атай, веди свою сотню за мной. Мы распорем брюхо отборным палачам джунгар, поднимем на копьё голову мынбаши. Готовьте стрелы! Мы осыпем их стрелами и обнажим мечи! — Он пришпорил коня. Вороной встал на дыбы и рванулся с места.

Грохот копыт прокатился по зеленому полю. Сотня лавиной устремила за Кетиком. Кенже старался перегнать других сарбазов и скакать рядом с Кетиком. Сеит не отставал от него. На краю поля, там, где начинался крутой спуск в ущелье, всадники налетели друг на друга, не успев придержать начавших горячиться коней. Но это длилось лишь мгновение. Конь Кетика ступил на узкую тропинку и упруго заскользил вниз. Стремена звенели, ударяясь о выступы скал, кони храпели, сясья удержаться на ногах. Спуск был крут. Сарбазы один за другим устремились вниз под прикрытием скал, зарослей дикой арчи, боярышника и яблонь. Ветки то и дело норовили ударить по лицу.

Кенже не ощущал ударов веток. Пристроив Акбаса вслед за конем Кетика, затаив дыхание, весь напружиненный, он ждал встречи с джунгарами. Его взгляд был устремлен вперед. С нетерпением он ждал, что вот — за этим, или нет, за тем выступом скалы, что громоздится еще ниже, он вплотную столкнется с всадниками из головной охраны джунгар.

Когда они проезжали возле старых яблонь с зелеными плодами на ветках, где на тропе не было камней и земля была покрыта травой, Кенже вспомнил свой сон, вспомнил Санию. Сердце застучало еще сильнее. В этот миг ему нестерпимо захотелось, чтобы Саня была рядом, чтобы она увидела, как он стремится навстречу ненавистным джунгарам, увидела бы его первый бой... Где она сейчас? Что с ней?

— Где? — крикнул Кетик.

Кенже вздрогнул от неожиданности, увидев на гребне скалы рослого, потемневшего от загара, от горного ветра человека в малахае, с длинной дубиной в руках. Лицо его было искалечено шрамом на правой щеке.

— Они уходят из ущелья в степь! Верните их! Мы готовы! — человек неистово расхохотался. Эхо понеслось от скалы к скале.

Сотня скатилась в ущелье.

— Ишь как примостились. Словно орлы! — Сеит смотрел вверх.

Подняв голову, Кенже увидел, что над отвесными скалами, поднявшись во весь рост, стоят люди. Все они, как и человек со шрамом, сжимали в руках крепкие длинные палки.

— Мы пригласим их сюда! — Кетик сделал знак рукой тем, кто стоял на вершинах. Люди исчезли. Пришпорив коня, на ходу вынимая стрелы из колчана, Кетик во весь опор помчался вперед. Кенже не отставал, он старался быть впереди других жигитов. Конь Сеита немного отстал.

Выйдя из ущелья, дорога круто свернула вправо. Земля успела просохнуть, и комья глины, вылетая из-под копыт, рассыпались в пыль. Промчавшись версты полторы, жигиты Кетика чуть не врезались в ряды джунгар, которые, повернув коней назад, удивленно смотрели на них. Джунгары были ошеломлены, они не могли понять, кто скачет за ними — гонцы мынбаши? Подкрепление? Но зачем? Разве здесь есть враги, разве кто-нибудь смеет напасть на них среди бела дня?

Подскакав почти вплотную, казахи осадили коней. Тонко засвистели стрелы. Несколько джунгар с криком схватились за лица, за животы. Двое вылетели из седел. Еще раз просвистели стрелы, и жигиты с гиканьем помчались назад. Отстал лишь Сеит. Он возился со своим ружьем, бил отточенным куском железа о камень, высекая искры. Наконец фитиль загорелся. И когда опомнившиеся джунгары кинулись к нему, грохнул выстрел и снес, как показалось Сеиту, самого главного из них. На какое-то мгновение все джунгары за-

мешкались возле своего главаря, а старик помчался за жигитами.

Кенже и еще несколько всадников придержали коней, дождались Сеита и под свист стрел, грохот копыт, крики опомнившегося врага ворвались в ущелье.

Ущелье извивалось, облегчая отступление, жигиты Кетика мчались к восточному выходу, ведя за собой джунгар, и только тогда, когда услышали предупреждающие крики людей, засевших за скалами, круто повернули коней вверх — вправо и влево — и, укрывшись от стрел, исчезли за гребнями скал. Джунгары, уверенные в том, что гонят дерзких безумцев прямо в руки своих владык, осадил коней, не зная, что делать дальше, за кем гнаться. Их ошеломили эти странные лохматые люди на скалах.

Джунгары, все двести, уже были в ущелье. Скучившись, оглядываясь по сторонам на грозно нависшие скалы, они наконец поняли, что попали в ловушку. Их главарь был уже мертв. Укрытый халатом, его труп висел поперек седла одного из всадников. Кто-то тревожно закричал, и все рванулись к восточному выходу, чтобы предупредить своих об опасности. Но не успели передние проскакать и ста сажений, как раздался грохот, сразу заглушивший топот копыт и крики.

Словно качнулась земля. Огромные камни, разрушая все, что попадалось на пути, полетели вниз, наглухо закрывая выход из ущелья, ломая ноги и хребты коням, снося одуревших от страха всадников с седел. Джунгары в ужасе повернули назад и снова оказались под градом камней. Кони вставали на дыбы, их предсмертное ржание оглашало ущелье.

Все смешалось. Среди джунгар не оказалось человека, который мог бы одним окриком собрать всех воедино и разумно направить их силу. Каждый старался в одиночку вырваться из этого ада, но попадал под удары палиц, на пики мстителей. А тех, кому все же удавалось, оставив коней, отбросив щит, вскарабкаться на скалы или укрыться на извилистых горных тропях, достигал брошенный камень или стрела, пущенная из лука меткой рукой.

Не успел замереть поток камней, как жигиты Кетика вместе с теми, кто заготовил завалы, скатились вниз кто на коне, кто пешком и, не давая врагу опомниться, пошли врукопашную.

Кенже, который с самого начала боя подчинился общей воле, накалу и стремительному азарту, слышал только голос Кетика. Неожиданно он оказался рядом с человеком в малахае и с огромной дубиной. Мелькнула и исчезла мысль о том, что он, этот человек, стоял на вершине скалы и кричал им, когда они гнались за джунгарами, чтобы заманить их в ущелье.

— Берегись, сынок! Не зевай! — Человек отбил острие вражеской пики, направленной на Кенже, и вторым ударом

свалил с коня того, кто мгновение назад мог пронзить грудь Кенже.

В этом каменном хаосе пешим легче было сражаться, чем конным. Акбас не слушался поводыев. Не в силах найти ровной опоры под ногами, он рванулся в сторону и грудью ударился о круп чужого скакуна. Кенже увидел спину джунгара. Короткая шея, широкие плечи. Согнув голову, весь напряжившись, джунгар в упор целился из лука в кого-то из жигитов. С неистовым криком, скорее от страха, чем от воинственности, Кенже изо всех сил ударил джунгара саблей наискось по спине и шее и, не удержавшись, слетел с седла. Отбросив щит, он, как зверь, прыгнул на только что сбитого джунгара и вцепился ему в горло. Сквозь пальцы засочилась кровь. Кенже вскочил как ужаленный. Опомившись, он стоял над мертвым врагом, удивленно смотрел, как его друзья оттесняли к каменной стене оставшихся. Он не знал, что делать дальше. Ему хотелось кричать и плакать, звать на помощь отца. Он не знал, как избавиться от этой крови на руках, чувствовал запах пота убитого им врага. Он не мог больше смотреть на него. С трудом вырвался из навалов камней и побрел, сам не зная куда.

— Вот он, твой Акбас. Держи! — Кенже поднял голову и увидел Сеита. — Ой, ой, ой, проклятье! Убили моего гнедого, — стонал Сеит. — Сколько сена, сколько дров он перевез за свою жизнь! Сколько раз выручал! А я не смог уберечь его. Ну да ладно. Мне тоже скоро на тот свет. Вот доработаю свое... — Сеит, бросив поводыя Акбаса, начал высекать искры из кремня, чтоб поджечь фитиль своего ружья. — Сейчас, сейчас... Видишь, вон неверный, будто паук, карабкается в гору? Я сниму его...

Грохнул выстрел, Акбас поднялся на дыбы, натянул поводыя. Кенже еле удержался на ногах. Он зло крикнул на коня, вытер руки о потник и, ведя Акбаса за собой, осторожно пошел меж камней, обходя мертвые тела джунгар. Подобрал свой щит и саблю, поправил седло, сбитое набок, покрепче натянул подпругу и сел на коня.

Ему хотелось скорее найти воду, вымыть руки и лицо, немного попить. Но он не успел добраться до ручья, протекавшего по дну ущелья.

— С первой победой, братья! — Охрипший голос Кетика подхлестнул его.

Он повернул Акбаса вправо, туда, откуда раздался голос Кетика. Но, заметив, как один из его друзей соскочил с коня и припал к ручью, не выдержал и сам бросился к воде. Сделав несколько глотков, он начал мыть руки. Рядом с шумом всасывал воду его конь, а выше по течению ополаскивали лицо и торопливо утоляли жажду другие жигиты. И тут же взбирались на своих скакунов, а те, у кого их не было, — те, кто готовил каменные завалы, ловили вражеских коней, оставшихся без хозяев.

Кенже не знал, сколько длился бой — час, полчаса? Но он почувствовал, что солнце уже высоко. Взбираясь на Акбаса, он в третий раз увидел человека со шрамом на правой щеке, — тот по-хозяйски осматривал захваченного коня. У него уже не было дубины. За могучими плечами висел колчан. В руках он держал лук и щит, на поясе болталась сабля, а рядом в землю была воткнута пика — все это оружие только что принадлежало кому-то из джунгар. Под ногами у него лежали шлем и кольчуга. Видимо, он бросил их потому, что они были малы для него.

— Сколько наших полегло, Сатай-ага? — Рядом с ним гарцевал на своем скакуне Кетик.

— Наверное, не меньше сорока, а то и все пятьдесят будет, — буркнул Сатай. — Пусть земля им будет пухом и аллах встретит их приветливо, ведь они бились за веру и правду и за каждого из них по три-четыре неверных в жертву принесено...

— Оставайтесь со своими людьми. Предайте земле тела братьев, раненых отвезите подальше в горы, в свои пещеры, — сказал Кетик.

Сатай недовольно проворчал что-то, затем сказал басом:

— Иншалла.

— На коней, жигиты. Скорее на помощь батыру! — Кетик направил своего коня в обход завала. Кенже бросился за ним, не слыша голоса Сеита, предлагавшего ему кусок лепешки.

Когда кони торопливо вскарабкались наверх из глухого тенистого ущелья, солнце внезапно ударило в лицо жигитам. Кенже, отводя глаза, оглянулся и увидел, что отряд Кетика еще многочислен, что места тех, кто пал в бою, заняты другими, которые готовили завалы из камней. Одежда и кольчуги многих были изодраны, у одних — ссадины на лицах, у других — раны на руках.

— Выше, выше берите! Мы должны напасть на них сверху, чтобы нас еще издали увидели проклятые джунгары! — вдруг закричал Сеит.

Кони, храпя, понесли своих седоков на самую вершину.

Там Кетик поднял пику, прищпорил своего скакуна, приподнялся на стременах и, когда перед ним открылась долина, с криком: «Впере-ед!» — устремился вниз. За ним покатилась сотня. Кенже всем телом отпрянул назад и правой рукой вцепился в хвост Акбаса, ноги сами, как клещи, обхватили туловище коня. Все это он делал, как и другие, словно помимо своей воли, подчиняясь давней привычке. А взгляд его был устремлен в долину, где шла битва жигитов Малайсары с тысячной армией джунгар.

В клубах пыли и дыма сверкали на солнце сабли и наконецники пик. В трех-четырёх местах, словно в огромном раскревоженном муравейнике, в яростной крутоверти бились джунгары и сарбазы. Кенже заметил — в полуверсте от центра битвы, в небольшом логу, алел шатер на колесах, окру-

женный плотной стеной конных и пеших. К шатру и от шатра к центру боя сломя голову неслись всадники. Других шатров на колесах уже не было. Их опрокинули, смяли.

Кетик, выбирая дорогу прямее и короче, вел свою сотню к логу, к последнему шатру. Но вот их заметили, и с неистовым криком, вырвавшись из пекла сражения, отбиваясь от настигавших сарбазов, наперерез сотне Кетика бросились джунгары.

Впереди всех скакал коренастый, плотный воин на сильном коне, грудь которого была укрыта железными пластинками. Воин скакал, заслоняясь щитом. В его левой руке застыла длинная пика, на голове сверкал шлем с золотой стрелкой, тонкое стальное кружево, спадая из-под шлема, укрывало плечи и шею. С пояса свисала чуть приподнятая от быстроты скачки сабля с переливающейся инкрустацией на ножнах. Лицо было плоским, безусым, трудно определить — молод он или стар. Наверное, китаец, подумал Кенже.

Кенже сильно пришпорил Акбаса, чтобы настичь Кетика и рядом с ним встретить удар зловещего джунгара. Но Кетик внезапно повернул коня в сторону, избегая лобовой встречи.

— Берегитесь стрел! Готовьте дальнобойные стрелы! — Он увел своих жигитов круто в сторону, и стрелы лучников, охранявших шатер, пролетели мимо.

Жигиты направили свои стрелы прямо в скопище врага и, не сдерживая коней, обошли шатер с тыла, налетели на охрану мынбаши.

Все смешалось. Трудно было отличить своих от чужих. Кенже вместе со всеми катился к этой долине, окровавленной, ошетилившейся пиками, разрезаемой саблями, тесной, пропахшей кровью, потом и пылью, осатаневшей от свиста стрел, от предсмертных криков и стонов людей и коней...

Он видел лишь искаженные то ли от страха, то ли от ярости лица своих и чужих и искал хотя бы мгновенной передышки, а слух его улавливал лязг железа, тонкое, пронзительное ржание взбешенных и наседавших друг на друга коней, рев, плач и проклятия людей, оставшихся под копытами.

Кровь, кровь была всюду. На одеждах. На щитах. Она внезапной струйкой пробивалась из шеи друга или врага. Кенже видел глаза, то залитые кровью, то остекленевшие — все, весь этот ад навалился на него. Он кричал, кричал от радости и страха, когда видел, как под его ударами слетает с седла один, другой, третий... Но даже сам не слышал собственного голоса. Щит спасал его от ударов в лицо, в живот, от удара слева, а тяжелая сабля помогала отбиваться от наседавших справа.

Вот сотня Кетика оказалась в самой гуще джунгар. На жигитов наседали со всех сторон, и уже казалось, вот-вот сомнут их, растопчут враги. Но нет. О аллах, Кенже увидел батыра!

Малайсары пробивался навстречу. Скопище джунгар редело на глазах. Опрокинув с коня одного, другого, Кенже уже готов был кричать о победе, но в это мгновение он услышал, услышал четко и ясно голос Сеита! Он оглянулся и увидел старика, поднятого на трех пиках. Длинные седые волосы прилипли к лицу. Видение исчезло в следующую же секунду, послышался тонкий, пронзительный свист, забил барабан. Джунгары отпрянули назад, оставив на месте еще не понявших, что произошло, но радостно устремившихся друг к другу сарбазов.

И когда жигиты уже единым потоком, подчиняясь воле батыра, с победным кличем бросились за джунгарами, раздался громовой удар. Там, где стоял шатер, полыхнули языки пламени. Несколько всадников слетело на землю, два скакуна с перебитыми ногами забились в предсмертных судорогах. Кони от страха закружились, не слушаясь поводьев. Ужас охватил многих сарбазов: джунгары нарочно отошли назад, чтобы заговорили пушки.

— Огнестрелы! Мы погибли! — десятки жигитов повернули назад. И неизвестно, что бы произошло, если бы в эту секунду они не увидели Мергена и не услышали его голоса:

— Надо заткнуть им пасть!

С горсткой самых бесстрашных жигитов он мчался прямо туда, откуда только что из трех черных жерл с грохотом вырвалось пламя и полетели ядра. Не дав повторить залп, они надели на джунгар у пушек и, опрокинув их, заарканили чугунные стволы, стащили с лафетов, поволокли за собой, разбивая о камни.

Последний шатер был опрокинут. Мынбаши покинул его. Он уже восседал на белом коне. Сверкал его шлем, на плечах развевалась легкая, отороченная золотом шуба, она прикрывала его старую кольчугу и падала на круп скакуна.

Окруженный плотным строем телохранителей, он выехал на небольшую возвышенность. Оттуда была видна вся долина, все поле битвы. Взмахом сабли показал на скопление казахских ополченцев, направляя главный удар. Но атака не удалась, жигиты Малайсары, Мергена и Кетика, увернувшись от удара, рассыпались на три части и вновь вклинились в ряды джунгар с разных сторон. А с тыла на них уже наседали сотни бесстрашного Кенеса.

Мынбаши джунгар не мог управлять своей конницей. Вместе с телохранителями он искал выхода из этого кольца. Ряды его всадников редели на глазах. Многие пытались ускользнуть назад, искали спасения...

Надежда мынбаши, что к нему на помощь подойдут сотни, ускользавшие вперед, не оправдалась. Он не знал, что две головные сотни уничтожены в глухом ущелье.

Джунгар все еще было много. Но, привыкшие лишь к лобовой атаке и не ожидавшие столь яростного сопротивления, не знавшие, сколько мстителей укрывается за скалами, в

ущельях этих грозных, таинственных гор, они были охвачены паникой. Да и сам мынбаши уже понял, что битва проиграна, что надо скорее поворачивать остатки своей конницы назад и преградить сарбазам дорогу к шатру Галдана Церена.

Мынбаши повел своих прямо на жигитов Кенеса, чтобы вырваться из кольца, в тот миг, когда Кенже услышал крики:

— Мерген! Мерген! О аллах! Не стало Мергена!

Малайсары остановил своего коня и оглянулся на крик. Он увидел, как Кетик, соскочив с коня, бросился к лежавшему на земле Мергену. Когда подбежал к нему батыр, Мерген с трудом открыл глаза и с тихой тоской взгляделся в небо, где кружились стаи воронов, потом перевел взгляд на Малайсары.

— Сохрани оставшихся сарбазов... Сохрани. Для главной битвы, долгой битвы, брат. Это моя последняя просьба... К единству зовите народ, расскажите о нас. Джунгары сильны...

Мерген умолк.

Прошла минута, а казалось, прошла вечность, прежде чем он вновь заговорил:

— Прощай, батыр... Аллах вам поможет,— губы Мергена чуть скривились от боли, а может, он хотел встретить смерть с улыбкой.

Атай снова оказался рядом с Кенже. Он осторожно платком вытер кровь с лица Мергена и начал читать молитву. Бле заметная дрожь прошла по телу старика. Малайсары сорвал со своего плеча тонкую абу и закрыл ею Мергена.

— Готовьте носилки. Мы похороним его на вершине горы...

...Над всей долиной легла тень. Солнце, ударившись о вершины западных скал, кровавым пятном расплылось по горизонту. И хотя с того мгновения, как Малайсары подехал к Мергену, прошло всего лишь несколько минут, бой уже отдалился. Джунгары прорвали кольцо.

Малайсары надел шлем и вновь вскочил на своего взмыленного скакуна. Теперь, без накидки, батыр выглядел более рослым. Сейчас от его единого слова зависело — умереть всем здесь, догнав и добив остатки джунгар, или остаться, чтобы собирать новое ополчение. Малайсары окинул взглядом поле боя. Жигитов оставалось немного — тридцать — сорок всадников из каждой сотни. Устали кони, устали люди. Но они не думали об усталости. Они ждали, что скажет Малайсары.

Батыр медлил. Он молча слушал Кенеса.

Еще в самом начале сражения Галдан Церену, ехавшему в окружении трехсот телохранителей, удалось повернуть назад. По всему видно — утром здесь будет новая тысяча. Два жигита из ставки Галдана сумели уйти от своего хозяина и влиться в казахскую сотню.

Малайсары смотрел, как в двух-трех верстах от него мынбаши джунгар, собрав остатки своей разгромленной тысячи,

медленно уходил назад. В надвигающемся вечернем сумраке казалось, что их вновь стало много. Они не решаются повернуть коней и не идут в последнюю атаку лишь потому, что боятся, как бы из горных ущелий не нагрянули новые, свежие силы казахов. Чужие горы — загадка для врага.

— Настало время вечернего намаза, в этот час прекращаются битвы,— спокойно сказал Малайсары, наблюдая, как настороженно удаляются джунгары.— Там...— Малайсары указал влево.— Там есть узкий овраг. В нем мы похороним наших братьев, отметим их могилу камнями. Пусть половина жигитов займется павшими, а остальные стоят наготове, следят за джунгарами.

...Ведя в поводу изможденного Акбаса, Кенже опирался на свою тяжелую саблю, шел от одного распластанного тела к другому. Он был молчалив, хмур. Сейчас если бы кто-нибудь пригляделся к нему, то он не признал бы в нем того юного жигита, которого в прошлую дождливую ночь силач Атай привел в ставку Малайсары.

Тяжело ступая по земле, он шел, усталый, но готовый к любым испытаниям. Он искал тело своего друга, наставника, он искал старого Сеита, которому отец поручил его как самому надежному, мудрому брату.

Кенже шел, не зная, что он предпримет дальше,— пойдет с Малайсары или вернется к отцу, в свой скитающийся в песках, обездоленный и обескровленный аул. Собственно, в эту минуту он не помнил ни об отце, ни об ауле. Лишь резкой болью прошла по сердцу тревога, когда из глубины памяти вырвалось одно имя, и он повторил это имя, сам не слыша себя: «Если бы ты видела и знала, Саня...»

Сейчас у него была лишь одна цель — найти тело Сеита и предать его земле. Пробираясь к долине на запах смерти, где-то в ущельях, тонко скулили шакалы, им подвывали волки. Над трупами, не боясь никого, несмотря на поздний час громоздились вороны и грифы.

Вглядевшись в землю, Кенже нашел ружье Сеита, а неподалеку — и его хозяина, который никогда больше не возьмет в руки свое оружие.

Саблей он отрезал кусок ткани от растоптанного конями шатра мынбаши и завернул в него тело Сеита. Сел возле и устало закрыл глаза. Но голос Малайсары, доносившийся откуда-то сверху, вывел его из забытья.

— Помогите Кенжебатыру...

Услышав слово «батыр», прибавленное к собственному имени, Кенже поднял голову и увидел, что рядом стоит Малайсары.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Манай не дождался возвращения сына. Не вернулся и Сеит. Пятнадцать дней после столь неожиданного и обильного дождя караван Маная скрывался в зарослях тугая у небольшого ручья.

Люди понемногу приходили в себя, зарубцевались раны. Мужчины порой выходили на охоту к сайгачьим тропам, удавалось иногда добыть и диких куланов. Женщины умудрялись приготовить достаточно кымрана¹ и кумыса из молока трех оставшихся в караване верблюдиц и нескольких кобылиц. Мяса теперь было вдоволь, хватало и молока. Не было только хлеба. Просо и пшеницу, поджаренные на масле или сваренные в молоке, ели раз в день.

После дождя на короткое время в песках зацвели эфемеры. Так что караван беженцев на целых две недели обрел спокойное пристанище. Люди отдохнули, вернули силы, и по вечерам у небольших костров, как в былые времена, были слышны шутки и смех.

Но когда наступала ночь, людей вновь одолевал страх, томил ожидание. Чуток был сон аула. Хруст веток, крик ночной птицы или крадущиеся шаги зверя — все настораживало их. Днем и ночью, сменяя друг друга, в нескольких верстах от стоянки каравана не смыкали глаз караульные, наблюдавшие за степными тропами и за небольшой дорогой, ведущей к Аккуйгашу.

До глубокой ночи в юрте Маная сидели старики, коротая время за долгой тихой беседой.

— Уйдем от воды — погибнем в песках от жажды или попадем в лапы джунгар, — вздыхали старики.

¹ Кумыс из верблюжьего молока.

Никто не спрашивал, где сейчас враги и как закончилась битва Малайсары. Никто не спрашивал Маная о сыне, не упоминал имени Сеита. Старикам хотелось бы отвлечь Маная от тяжких раздумий, занять мирными разговорами. Но у каждого было свое горе.

— Наши ханы и султаны забыли о семи заповедях предков, забыл о них и сам народ, вот почему на нас разгневан аллах,— вздыхал табунщик Оракбай.

— Богатство народа — в единстве и мире,— говорили предки. Но разве у нас осталось единство между родами одного племени? Между аулами, принадлежащими к одному роду? Нет! — после угрюмого молчания произнес Манай. — Единство всех племен перед врагом — меч победы,— говорили предки. Разве есть оно у нас? Нет! Мы, как стадо перепуганных овец, бежим по степи от волчьей стаи джунгар. Волки становятся во сто крат кровожаднее, когда видят перед собой бегущее стадо. Издревле утверждали, что наследником скакуна становится жеребенок. Бог не дал славному Таукехану достойного сына. У льва родился котенок. Ни мудрости, ни смелости в нем. Священное дело незабвенного Тауке превратилось в прах. Ханы и султаны забыли клятву о братстве, скрепленную кровью на Улытау. Наследник Тауке Болат-хан предал дело своего отца, не смог сохранить все то, что было создано Тауке. Человеку лишь две вещи помогают править людьми — или мудрость и сила, или жестокость и хитрость. Другому не покорялись в степи.

Манай умолк.

Вновь воцарилась тишина.

— Ты очень устал, Манай. Твои ли это слова? — осторожно промолвил старик, первым начавший беседу. — Все идет по воле аллаха. Мы лишь рабы его.

— Мой разум еще чист,— твердо и раздельно ответил Манай. — И я не забыл великую заповедь степи: не бояться говорить правду, перед кем бы ни стоял — перед другом или врагом, перед ханом, палачом или рабом. Поэтому поэты степи и те, которых сам народ возводит в сан биев и батыров, никогда не отступали от правды. А ханы никогда не смели оборвать поэта, бия, батыра, если он говорит правду при народе. Еще предок Тауке-хана воин Хакназар говорил: можно отрубить голову, но нельзя отрезать язык. Так что же тебя смутило в моих словах? — Манай поднял густые брови и взгляделся в собеседника.

В юрту вошел молодой воин. Держа в руках огромную чашу с кумысом, он наклонился, приветствуя старцев, и поставил чашу перед Манаем. Женщина внесла тостаганы¹, резной ковш и вышла.

Сания присела на корточки, начала взбалтывать и переливать кумыс, чтобы хорошо растворить осадок перед тем, как

подать напиток. Когда кумыс запенился, она наполнила тостоганы и поставила перед стариками. Под тонкой накидкой из черных железных колечек, свисавших со шлема и прикрывавших плечи и спину, были заметны туго уложенные волосы. Она ни разу не подняла глаз.

Манай ласково сказал:

— Спасибо, дочка. Отдохни. Быть может, завтра снова двинемся в путь.

Она взглянула на Маная. Это был тревожный взгляд. В больших черных глазах отразился испуг. Девушка готова была спросить о чем-то.

— Успокойся и отдохни, дочка. Мы ждем наших гонцов. Они должны вернуться.— Голос Маная был тих и слаб. Не договорив, он поднял чашу, чтоб отведать кумыса, глубокий вздох вырвался из груди. Он не смог сдержать его. Он терял самообладание. Когда он увидел грустные глаза Сании, его вновь охватила тревога о сыне, о своем Кенже.

Он залпом осушил чашу.

Сания встала и, еще раз отдав поклон старикам, покинула юрту. А ее отец Оракбай снова вступил в беседу:

— Извелась она у меня. Каждый день вместе с дозорными уезжает в караул. Увидев пешехода или всадника, бродящего по степи, мчится навстречу, не слушая предостережений и невольно увлекая за собой жигитов. Всех бедных беглецов и бродяг приводит сюда. Уже человек двадцать прибавилось. Двадцать лишних ртов. Она все еще ждет своего Кенже...

Манай не ответил. Он еще ниже опустил голову. Сомкнулись веки. Оракбай умолк, почувствовав, что невольно причинил боль Манаяу.

За все пятнадцать дней Манай ни разу не упомянул имя сына. Но каждый знал, что он думает только о нем, о своем последнем. Люди знали, что здесь долго оставаться нельзя. Что больше ждать нет времени — могут нагрянуть джунгары и перебить всех. Но они понимали своего вожака. Вместе с ним ждали вестей от Кенже и Сеита...

Старики молчали и нехотя мелкими глотками пили кумыс. Посередине юрты стояла небольшая железная чаша на треноге. На одном ее краю был отлит маленький железный конь с понуро опущенной головой, на другом, поджав под себя ноги, сидел маленький железный человечек. Чаша была наполнена маслом, между конем и человечком горел фитиль. Узким, длинным было пламя светильника. Оно колебалось от малейшего дуновения, и тогда по лицу сидящих пробегала еле заметная тень. Старики молча глядели на пламя, на грустного железного человечка и усталого коня, устроившихся у огня. За стенами, время от времени глубоко вздыхая, верблюды жевали свою жвачку, порой во сне скулила собака, а из глубины песков доносился вой шакала.

— Ты вспомнил о славном Хакназаре, Манай,— чтобы как-то рассеять эту гнетущую обстановку и направить беседу

в другое русло, проговорил старик, который в этот вечер первым начал речь.— Ты вспомнил и об отце Хакназара — хане Касыме. Но ведь и Касыму и Хакназару в их делах помогла мудрость благословенного Аз-Жанибека, отца Касыма и деда Хакназара. Касыму он помогал советами, Хакназару помогло его имя, его слава в народе. А сам же благословенный Аз-Жанибек был бедным скитальцем, но его мудрость и справедливость придавали народу силы, помогали избегать ненужных междоусобиц, укрепляли братство племен. Так что же теперь? Оскудела наша земля? И некому объединить наших владык, одолеть их своей мудростью? Некому призвать народ к единству? Или уже мы сами, сам народ стал настолько глуп, что не слышит призыва своих заступников? Если страх одолел Болат-хана, то где же Толе-бий? Его мудрость и прозорливость почитается всеми племенами Великого жуза. Ведь ни Болат-хан, ни султаны, ни батыры наши не посмеют послушаться его! Где же славный и велеречивый Казыбек-бий, любимец Среднего жуза? А знаменитый мудрец Младшего жуза — алшынец Айтеке-бий? Неужели страх одолел и их, и они не могут сообща призвать народ и ханов к спокойствию, к объединению перед лицом жестокого врага? Неужели уж так бессильна и непонятлива Казахия, что не внемлет их голосам? Ведь издревле сам народ, не щадя жизни своей, шел на верную смерть, исполняя волю тех, чьей мудрости, чьей справедливости он доверял сполна! Где же жырау наши? Почему в степи не слышно их голосов, почему они не напомним народу о былой силе, о победах, не призовут наших батыров на священную битву? Или им горло залили свинцом, или от страха ослепли их глаза? Что же ты молчишь, Манай? Или горе постигло только тебя одного? Или мы не потеряли своих сыновей?.. Эти люди, что сегодня, как бездомные собаки, лежат вокруг твоей юрты на холодной земле под кустами саксаула и туранги, ждут твоего решения. Теперь их судьба зависит от тебя! Ты, потерявший всех своих сыновей, стал для них ныне единственным отцом. Мы не в силах вести их... Прости, Манай. Твое горе — наше горе. Беда народа — твоя беда. Ты сам напомнил нам истину. А истина, как верная любовь мужчины, не признает ни горя, ни радостей, не щадит седин, не считается с годами. Нам нельзя предаваться своей печали под вой шакалов...

Светильник горел тускло. Оракбай подлил масла, поправил фитиль. Синее пламя обрело силу, в юрте стало светлее.

Манай поднял голову, поправил халат, накинутый на плечи, густые его брови медленно поднялись. Слегка проведя ладонью по свисающим усам и бороде, он устремил свой задумчивый взгляд на маленького железного человечка, прикованного к светильнику.

— Ты, как всегда, жесток и правдив, Алпай. По годам мы сверстники, и я никогда не мог властвовать над тобой, но всегда я находил в тебе опору. Я сед, как видишь, а тебя седи-

на не берет... Что ответить тебе? Вопросами на твои вопросы?.. Разве ты не слышал сегодня утром слова неизвестного пришельца, который стремителен, как молодой скакун, и чей взгляд — смел. Он назвал себя добровольным глашатаем, сказал нам, что на тучных пастбищах великой степи Сарыарка появились батыры Тайлак и Санырак и что они собирают свою конницу, что они призывают всех казахских жигитов объединиться с ними, собрать силы в единый кулак и ринуться на врага. Но пока что люди мало знают об этих батырах. Соответствует ли их сила их мудрости?.. Но правда и то, что каждая война рождает своих героев, как и каждое состязание на тое — своих победителей. Быть может, это начало будущих побед, начало конца нашим распрямам... Но что же мы ответили глашатаю? Что у нас нет столько сарбазов, чтобы их можно было бы послать с ним к батырам. Он и сам увидел, что это так. Он остался с нами, чтобы защищать нас, разделить нашу участь. Вместе с ним к нам прибыл и этот человек с посохом — нищее дитя аллаха. Как святой старец Кыдыр, он бродит в поисках счастья по свету. Говорят, что он видел джунгар, что он родом из Хиндустана. Идет по дорогам третьей год. Но языка нашего не знает. Глашатаю он встретился в пустыне и пришел вместе с ним к нам... Я ждал вестей от Малайсары. Но уже прошло пятнадцать дней. Мы чувствуем, что костры джунгар приближаются к нам, окружая наши пески. Сарыарка далеко... Путь туда лежит через Алтынколь. А враг близок. Так что же ты скажешь, друг мой Алпай? Пусть сегодня твое слово будет последним, и мы примем его!

Аксакалы понуро опустили головы. В сердце прокралась тревога. Заерзал на месте табунщик Оракбай, то и дело без нужды поправляя фитиль светильника. Алпай не ожидал такого поворота беседы. Его продолговатое скуластое лицо стало сосредоточенным, тонкие губы плотно сжались. И то, что он ногтем царапал редкие волосинки своих усов, выдавало его волнение. Так он поступал всегда, когда не находил ответа.

Неужто обиделся Манай, неужто так ослаб? Или непосильное горе надломило его? Эта мысль тревожила всех, кто сидел в юрте.

Как и все собравшиеся здесь старейшины, Алпай готов был сказать: двинемся через тугаи к Алтынколю, обойдем его или перейдем через узкий перешеек, что лежит на северо-востоке, отделяя пресные воды озера от соленых. После Алтынколя можно через день-два, одолев пески, достичь границы золотой, обильной травами Сарыарки...

Но ведь обо всем этом знает и сам Манай. Так почему же он, не посчитавшись с волей своего рода, не сказав об этом тем, кто привык ему верить и идет за ним, передал право решать Алпаю?

— Ты действительно устал, Манай. Устали мы все. Мы

сейчас как стадо джейранов, на время укрывшихся от погони. Но, слава аллаху, еще не видно погони. Есть еще время все обдумать, — начал Алпай, опережая других. — Если ты не против, то подождем три дня. Иншалла, за это время мы сможем получить вести от твоего Кенже и от Сеита. Они живы. Иначе быть не может. Вот увидишь, Манай, запомни, когда приедет твой сын или услышишь о нем добрую весть, то я первый возьму с тебя суюнши. Сниму с твоих плеч халат. На исходе третьего дня ты сам решишь, куда нам идти. И все мы, весь твой аул, пойдем за тобой. Слово последнего — тяжкий груз... Не сваливай на меня такую ношу. Я был с тобою всегда, как и все сидящие здесь. Горе каждого из нас — общее горе. Но не пристало тебе раньше времени опускать плечи. Не кличь беду. Ее и так полно на казахской земле. Иншалла. Кенже твой жив и невредим.

— Истина в словах Алпая, Манеке... Мы готовы ждать твоего решения, твоя воля священна для всех, кто находится здесь... — перебивая друг друга, стараясь подбодрить Маная, заговорили аксакалы.

— Спасибо тебе на добром слове. Сердце мое не хочет верить в гибель батыра Малайсары, в его поражение. Подождем три дня. Аллах милостив,ждемся гонца и на исходе третьего дня двинемся в путь. К Алтынколю...

* * *

Глубокой ночью, когда дозорные на барханах пристально вглядывались в далекие огоньки костров, зажженных стражами джунгар или бродячими беженцами, к аулу Маная, из камышовых джунглей Алтынколя, прокрался тигр. Он растерзал кобылицу и уволок жеребенка.

Ржание перепуганных коней и рев верблюдиц, напролом устремившихся под защиту юрт и шалашей, лай собак, крики перепуганных женщин и плач детей — все смешалось во тьме. Мужчины бросились к щитам и пикам. Никто не мог разобрать толком, что случилось.

— Ой-бай! Убивают! Джунгары! Спасайтесь! — кричали женщины.

В свалке один налетел на другого, принимая его за врага. И неизвестно, чем бы кончилось это, если бы старый Манай не догадался намотать на шест свое длинное полотенце, облить маслом и поджечь его от костра в юрте и выйти с высоко поднятым факелом к перепуганным людям. Раздался его грозный, как в былые годы, окрик:

— Спокойствие и разум! Люди, сюда!

Он стоял, накинув чапан поверх длинной белой рубахи. На ногах были легкие походные ичиги из замши, выделанной из жеребьячей кожи, мягкие ичиги без кебиса.

Седой, почерневший от гнева, он стоял во весь рост, как разгневанный дух. С факела падали огненные капли.

— Что случилось?! Если пришел враг, то умрем достойно!

— Нет никакого врага! Зверь напал на наших коней, аксакал! — перед Манаем появился жигит-глашатай.

— Разожгите костры. Сквозь заросли враг не увидит их, а звери боятся огня, — распорядился Манай. — А ты, сынок, подожди поближе. Ты третий день гостишь у нас, но я не знаю ни твоего имени, ни твоего рода.

— Мое имя Каражал, я из рода садыров. В верховьях реки Боралдай, близ Каратау, есть урочище Уша-ши. Два месяца назад джунгары окружили там мой род и перерезали весь. С тех пор то проклятое урочище называют «Садыр-мурде» — Могила Садыра. Я — самозванный глашатай, зовущий всех казахов к единству и мести, я одинокий мститель, аксакал...

— Какого старца ты привел с собой сюда и откуда он родом, как его имя?

— Это бедный скиталец. Не обидит даже мухи. У него не наша вера. И родина его далеко. Он бродит по свету и рассказывает свои сказки, он знает языки других народов, аксакал. Но нашему еще не научился. Он встретился мне в дороге и пошел за мной. Его зовут Табан. Я понимаю его, когда он говорит на языке персов.

— Ты смел и честен, сын мой, и сам волен выбирать свой путь. Останешься — будешь сыном нашего рода и нашим защитником. Покинешь нас — пусть аллах сбережет тебя от злого друга и жестокого врага...

— Благодарю, аксакал! — Каражал опустился на одно колено и склонил голову перед Манаем. Манаю хотелось обнять его. Ему показалось, что Каражал похож на Кенже.

Факелов стало больше, и при ярком свете Манай увидел: и кольчуга и шлем ладно сидели на Каражале, и сабля его была нездешнейковки. Такие сабли с узорчатými ножнами умели ковать только кузнецы из рода борте, чьи оружейники не уступали по мастерству оружейникам из рода болатшы. Они добывали руду на Алтае и Каратау, ибо род борте, так же как и болатшы и бадыры, принадлежал к многочисленному племени найманов, чьи земли простирались от Алтая до Каратау и составляли основу Великого жуза.

— Правду говорят, что на упавшего все удары сыплются... — К Манаю подошел Алпай. — Тигр загряз кобылицу и унес жеребенка. Это стало причиной переполоха. Но это не все. Как говорят, трус умирает трижды. Вот и сейчас самая главная беда произошла не от набега тигра, а от нашей трусости перед джунгарами. Двое ранены. Друг друга приняли за врага. Один вскочил на коня, огрел другого дубиной, а тот в ответ вонзил ему пику в бок. Убит один из тех, кто примкнул к нам, ища защиты... Многие разбежались по тугаям...

Каражал не дослушал его. Он направился к костру, где стояла Саня.

— Скоро начнет светать. Надо, чтобы теперь люди были наготове. Днем покойника предадим земле. Дадим отлежаться раненым. Пусть все будет готово в дорогу... — говорил Манай, глядя туда, где стояли Каражал и Сания. — И запомни, Алтай: в такие времена людей не приходится укорять за то, что им страшно... Да, Алтай, — уже собираясь вернуться в свою юрту, добавил он. — Сегодня тигр ушел безнаказанно. Значит, он придет и завтра. Днем надо прочесать окрестность, а ночью — не тушить огней. А теперь пора готовиться к утреннему намазу.

Солнце вновь поднялось над аулом-скитальцем. Вновь началась жара. Но люди уже не обращали внимания на нее... Они хоронили того, кто погиб в ночной суматохе. Старики осматривали окрестности, чтобы подальше отпугнуть тигра. Каражал вместе с табунщиком Оракбаем и его дочерью направился в караул — проверить, не рыскают ли вблизи вражеские разведы.

Они отехали верст пять и, оставив коней с теневой стороны, сами взобрались на гребень бархана, залегли. Прождали часа два. Солнце поднялось к зениту. От жары накалилась одежда. С Оракбая пот лил градом, старика совсем разморило. Уже пора было возвращаться назад. Дорога — пустынна и безлюдна, словно в этом краю нигде не было ни людей, ни животных.

Все трое сошли с бархана, подправили седла, подтянули подпруги и решили в последний раз, не слезая с коней, подняться на вершину и окинуть равнину взглядом. Кони, торопливо выдергивая ноги из сыпучего песка, храпя, взобрались на гребень. И тут все трое неожиданно увидели двух всадников, усталой рысью направлявшихся в сторону Аккуй-гаша.

— Назад! Они увидят нас! — крикнул Оракбай.

— Уже увидели, аксакал, — ответил Каражал. — Вы оставайтесь здесь, а я поскачу к ним. Если враги, то постараюсь не упустить их, если друзья — узнаю, с какой вестью идут! — Каражал хлестнул своего коня плетью и с места пустил его вскачь.

Сания рванулась за ним, но Оракбай ухватил ее коня за повод:

— Не рвись в огонь, дочка. Это не женское дело. Там нет ни Кенже, не Сеита. Сама видишь...

Двое путников, завидев скачущего навстречу им одинокого всадника, остановили своих коней. Вытащили из колчана стрелы, приготовили луки.

Каражал осадил своего скакуна на расстоянии, где стрелы не могли достать его.

— Кто вы? И куда направили своих коней? — спросил он, дотрагиваясь до своего оружия.

— Кто ты сам? И что там за стойбище? — вместо ответа

крикнул тот, что был постарше. — Разве не видишь, кто мы такие?

— Я вижу, что вы готовы направить в меня свои стрелы!

Незнакомцы переглянулись и нехотя уложили стрелы обратно.

— Ну вот, теперь я могу подъехать к вам... Далеко ли лежит ваш путь, благополучен ли ваш аул?... — по древнему обычаю приветствовал их Каражал.

Перед ним были два усталых человека, с осунувшимися и заросшими щетиной лицами. Впалые глаза, пересохшие губы. На одеждах — черные, запекшиеся от солнца следы крови.

— А разве в этих краях еще есть уцелевшие аулы и ты знаешь к ним дорогу? — стремясь сохранить достоинство, с усмешкой спросил молодой.

— Прости, брат. Мы обо всем расскажем потом. А сейчас мы твои добровольные пленники. Веди нас к своим и дай глоток воды. Мы вырвались из ада, — перебил его старший.

— Видно, твоя сабля еще не прикасалась к мечам джунгар. Вот и гарцуешь перед нами, словно батыр какой, — не унимался младший.

Но Каражал не стал с ним препираться.

— Будьте гостями у нас. Я сам такой же скиталец, как и вы. Джунгары водятся не только в этих краях... — Он повернул коня и повел двоих за собой туда, где их ждали Оракбай и Саня.

Не оглядываясь назад, он вдруг затянул тоскливую песню:

С вершин Каратау кочевья идут..
За каждым кочевьем одинокий верблюд..
Потерять родных, родную землю — нет горя тяжелее.
Не сдержишь слез — они текут, текут..

Двое скитальцев, доверившихся ему, слушали молча. Это была новая песня, которую они раньше не слышали. Но песня эта была о них. Только переменить «Каратау» на «Джунгартау» — и все...

— Эта песня о нас, наших разоренных, сожженных аулах, погибших отцах и угнанных сестрах. Эта песня о моем перерезанном джунгарами роде! — внезапно повернувшись, крикнул Каражал. Он обратился к молодому воину. — И я пришел в эти края не в поисках рая!.. Вы слышали о Малайсары? — вдруг спросил он.

— Мы его сарбазы, — ответил старший.

— Он одержал победу?

— И да и нет.

— Он жив?

— Все мы в руках аллаха...

— Значит, вы покинули его.

— Нет, жигит. Мы не покинули его. Вместе с ним и смерть казалась бы победой. Мы выполняем его волю...

Незнакомцы первыми приветствовали Оракбая и Санию. Взгляд младшего задержался на походном торсуке, притороченном к седлу Сании.

— Нет ли у тебя хоть глотка воды, жигит?

Сания быстро отвязала торсук и протянула его незнакомцу.

— Там немного осталось.

— Ничего, поделимся.

Сделав несколько глотков, утерев губы, старший передал торсук молодому. Тот, запрокинув голову, жадно выпил остатки кымрана.

— Спасибо тебе, брат, сколько дней, а то и месяцев я не испытывал такого наслаждения. Какой отменный кымран!

— Да, сынок, недаром казахи говорят, что в голодные дни даже вареная баранья кожа имеет вкус халвы, — сказал Оракбай. — Вот так и прокисший кымран кажется ханским напитком. Видать, далек и труден был ваш путь?

— Дорога не так уж далека, но ее удлинители джунгары. Мы петляли, как мыши петляют зимой под снегом, чтобы уйти от лап прожорливой лисицы.

— И много ли вы их видели? — спрашивал Оракбай по пути к тугаям, где укрывался аул Маная.

— Немало их полегло под камнями ущелий, немало отстрел и сабель сарбазов Малайсары. Но еще больше их сейчас разъезжает по дорогам и горам. Не истребить их, как невозможно истребить саранчу.

Оракбай молча кивал головой. Но Сания, услышав имя Малайсары, встрепенулась и, опережая отца, спросила:

— Агай! Не слышали ли вы о жигите по имени Кенже из рода болатшы?

— Не видали ли старого сарбаза Сеита — опекуна Кенже? — добавил Оракбай.

— Нет... О, это была великая битва. Жигиты стояли насмерть, и никто не спрашивал, кто из какого племени или рода. Мы одолели джунгар днем, они окружили нас в горном ущелье. Их свежая конница, посланная вслед нам, под покровом ночи взыла нас в кольцо. Малайсары велел нам вынести тело своего друга, нашего любимца батыра Мергена, павшего в битве. Мы сумели прорваться, но в живых остались только двое... Вот он, Томан, — он показал на молодого. — И я. Меня зовут Накжан. Мы вдвоем предали земле тело Мергена. Но прорваться к своим уже не смогли... Отбиваясь от наседавших врагов, Малайсары уходил все дальше и дальше к неприступным вершинам Актау, что стоят над бездонными ущельями Текели... — рассказывал усталый Накжан, пробираясь сквозь густые туранговые заросли и кустарники.

Сания придержала коня.

Томана и Накжана сопровождали Оракбай и Каражал. Они больше не задавали вопросов. Ехали молча. Путники еще не знали, куда их ведут, что за люди встретят их. И лишь

когда в густых зарослях тугая показались юрты и шалаши беженцев, Накжан, словно предостерегая, проговорил:

— Ночью с высоты горы Матай мы видели костры джунгар. От них не скрыться, они могут появиться и здесь. Идут к Алтынколю. Спешат в Сайрам и Туркестан, где уже хозяйничают их мынбаши, прорвавшиеся через Текес и Киргизские горы...

Сания уже не слышала его. Свернув в сторону, она скрылась в зарослях. Ей хотелось побыть одной.

— Нет. Нет. Неправду говорят эти люди... Ты жив... Ты жив, мой Кенже, и я найду тебя,— мысленно уверяла она себя, защищая от пружинистых веток затуманенные слезами глаза.

Густые высокие заросли камыша и старой колючей облепихи то и дело преграждали дорогу. Конь, привычно петляя, шел по узкой звериной тропе к маленькой речке, которая начинала свой путь где-то на холмах или в горах и, чудом преодолев знойные пески, бесшумно змеилась в тени густых зарослей. Подступы к речке здесь были наглухо закрыты. Лишь там, где хозяевами берега встали тополя, где берега были засыпаны мелкой галькой, можно было подойти к воде, утолить жажду. Речка сохраняла прохладу, словно напоминая, что родилась она в сердце горных ледников и несет память о них.

Поглощенная своей тревогой, воспоминаниями, печалью, Сания не заметила, как конь пробрался к песчаным тополям, к тому месту, где она уже дважды побывала за эти дни,— на крохотную полянку, окруженную плотным частоколом камыша.

Больно и тоскливо было на сердце. Эта боль возникала у нее не раз после того, как Кенже уехал с Сеитом. И если раньше, как казалось ей самой, она могла легко переносить любые потери, побеждать свое горе и радоваться тому, что многие жигиты к ней равнодушны, снисходительно поглядывать на других девушек аула, если раньше она никогда не знала одиночества, то сейчас все эти ранее неведомые чувства навалились на нее.

Еще до джута и нашествия джунгар в своем родном ауле она не раз слышала признания в любви от жигитов. Правда, об этом мало кто знал, кроме нее самой. Горы — не степь. И не все здесь на виду, как в степном ауле. Горы умеют хранить тайны.

Она была единственной дочерью Оракбая. Отец ни разу в жизни не сказал ей резкого слова. И мать и отец никогда ни в чем не отказывали ей. Она росла смелой и своенравной, была любимицей не только своих родителей, но и всего аула. Однако джут и нашествие многое изменили. От аула осталась нищий караван. Канули в вечность беззаботные дни, неожиданно вспыхивающие и быстро гаснущие девичьи увлечения. Все быстро прошло, как проходит весеннее цветение трав.

И теперь, помимо ее воли и желания, все мысли, все думы были о Кенже. О своем сверстнике.

Конечно, Кенже не таков, как все другие жигиты, которые искали ее благосклонности. Он более мягок и робок, чем иные, чем этот Каражал, например, который попал к ним всего несколько дней назад и уже с нетерпением поглядывает в ее сторону, ждет удобного случая, встречи наедине.

Но все же почему она так тревожится за судьбу Кенже? Почему так грустно, почему так болит сердце?

Два года назад, незадолго до смерти, мать, заметив, как она смеялась над Кенже, который тогда при встречах молчал, говорила: «Дочка, не смейся над ним. Над любовью не смеются. Любовь никогда не приходит одна. С нею приходят и печаль, и тоска, и горе. Мы всю жизнь дружно живем с твоим отцом, я всегда была ему покорна. Пусть он не умнее других, но он добрый, и я всю жизнь не теряла нежности к нему. И аллах свидетель — разве это нельзя назвать любовью? Но я от тебя не утаю своего греха. Всю жизнь я не могу забыть одного человека. Такого же пастуха, как твой отец. Мы никогда не разговаривали с ним. Но я часто видела его. А потом он умер. Уже год прошел. И вот теперь, о, прости старую дуру, великодушный, милостивый аллах, мне кажется, что я всю жизнь жила только им. Мне теперь страшно и стыдно перед твоим отцом — добрым моим Оракбаем... Вот, дочка, как бывает... Не смейся над Кенже. Я по глазам его вижу...»

— А как звали того пастуха, который молчал и молча умер? — беспечно рассмеялась тогда Саня.

— Что ты, что ты, дочка... Не умножай греха! — Мать замалала обеими руками.

Саня улыбнулась, вспомнив, какой растерянный вид был у матери.

Конь уже стоял на знакомой поляне, которую прорезала речка и стеной огораживали заросли. Саня соскочила с седла и, оставив коня, прошла к воде. Бросила на землю свою короткую саблю, колчан, лук, щит. Сняла шлем, кольчугу, стянула сапоги и толстые мужские штаны, опустила измятый подол платья, умылась и, расчесав волосы твердым гребешком, сделанным из коровьего рога, села на песок и окунула ноги в воду. Освободившись от тяжелой мужской одежды, Саня почувствовала легкость, от которой давно отвыкла. Ей уже ни о чем не хотелось думать — ни об этих проклятых джунгарах, ни о горе своего аула, ни о нависшей над людьми опасности, ни о Кенже. Она стала, как прежде, собой. Шорох камыша, тихое ворчание воды да ленивый щебет укрывшихся в чаще птиц действовали успокаивающе, заботы и тревоги дня отделились от нее. Конь стоял рядом, хвостом отмахиваясь от мух и мотая головой. Порой, вздрогнув от укуса комара, он ударял копытами и на миг замирал, устремив свой взгляд на Санию, словно удивляясь ее нагоде,

густоте ее черных волос, белизне ее кожи. Потом вновь начал мотать головой: вверх — вниз, вверх — вниз, будто утверждая верность и любовь к своей хозяйке. Было жарко, как и все дни, но здесь, среди высоких зарослей у воды, эта жара была не так назойлива и тяжела, как в барханах или на месте стоянки аула.

Сания вошла в воду. Не глубоко. Чуть выше колен. Медленное течение. Она с наслаждением окунулась. Уперлась руками в дно и свободно вытянула ноги. Перевернулась на спину. От удовольствия закрыла глаза. Вода перекачивалась по груди. Чтобы убрать волосы с лица, она освободила руки и села на дно. И тут, раскрыв глаза, она увидела, как тонкая, длинная черная змея выползает на берег из воды. Сания вскрикнула от неожиданности и бросилась к своей одежде. Конь отпрянул назад и оборвал поводья. Змея уползала в камыши. Сания быстро оделась. Выжала и свернула в тугой узел волосы. Надела шлем. Колчан и щит приторочила к седлу и, взяв коня под уздцы, пошла по узенькой тропке к стоянке аула.

Ее расстроило то, что обыкновенный уж или гадюка так напугали ее. Каждый шорох в камышах настораживал. Она решила пешком добраться до аула, чтобы испытать себя. Ведь если она сейчас испугалась змеи, боится каждого шороха, — то какой из нее воин? Вспомнила ночной переполох. Стало еще страшнее. А вдруг устроился где-то в засаде тот самый тигр, что ночью навестил аул? Ей хотелось вскочить на коня и бежать из этой чащи. Впервые у нее мелькнула мысль — зачем она здесь? Можно уехать в глубь степи и найти приют в любом ауле. Она верила в то, что всегда найдется жигит, который возьмет ее под свою защиту.

Нет Кенже. Ну и что из этого? На все воля аллаха, так говорят старики. Жигиты еще не перевелись... Она содрогнулась от своих мыслей и, пожалуй, впервые в жизни подумала о самой себе со стороны, как о постороннем человеке. Чего в ней больше? Красоты или коварства, сострадания к людям или тщеславия? Ведь когда она ехала к ручью и думала о Кенже, где-то подспудно в ней звучало и другое, кто-то словно шептал ей: оглянись на Каражала, он готов сейчас уйти вместе с тобой в глубь тугаев, его объятья крепки, он создан для любви, страсти... Как это должно быть жестоко: узнав о смерти того, кого, быть может, любила, в тот же час думать о другом. Ох, женщины, неужто неумность плоти, минутная страсть ваша всегда заглушает все другие чувства?!

Вновь послышался шорох в камышах. Конь встрепенулся, наострил уши. Сания готова была вскочить в седло, но тут до ее слуха донесся чей-то голос. Она зажала морду коня, чтобы тот не подал звука, и остановилась. Справа за плотными стенами саксаула, облепили и песчаной арчи переговаривались двое — не настолько громко, чтобы можно было отчетливо разобрать слова. Один жестоко и угрожающе что-то

твердил другому. Тот отвечал изредка, спокойно, коротко. Санию показалось, что говорят они не по-казахски, что голос первого похож на голос Каражала. Затем голоса стали еще тише, отдалились, и, по тому как взлетели испуганные птицы, Сания поняла, что эти двое удалились в глубь тугаев.

Она связала разорванный повод, взобралась в седло и, защищаясь от колючих веток, поспешила к стоянке аула.

Наверное, ошиблась я, думала девушка, на каком же другом языке может говорить Каражал, кроме казахского. Да и Каражал ли это? Может, почудилось?

Въехав в аул, который прежде был разбросан на большой площадке, а теперь, после ночного происшествия, сгущился на одном пятачке, огороженном со всех сторон частоколом колючей облепихи и саксаула, нарубленных за день стариками и женщинами, она сразу же, не обращая внимания на других, начала искать взглядом Каражала. Его нигде не было видно. Возле коновязи, устало понурился головы и лениво отбиваясь от мух, стояли кони тех двух жигитов, что привезли с собой печальную весть о Малайсары, да короткохвостый мерин ее отца — Оракбая.

— Куда же ты девалась, Санияжан, тебя отец ищет. Да и этот новенький жигит наш, Каражал, что ли, зовут его, тоже куда-то запропастился, — сказала женщина. И во взгляде и в словах ее Сания почувствовалось не то осуждение, не то сочувствие. Испытующе смотрели на нее и другие.

— Дочка, где ты? Видит аллах, как ты напугала меня! Разве можно так?! Тут звери кругом, да и люди стали не лучше зверей. Ну, аллах с тобой. Пойдем по шалашам, собери остатки кумыса и айрана и принеси в юрту Маная. Там гости. Ну, те, что встретились нам... — говорил отец. — Немного отдохнули и послали они и сами запросились к Манаяю. Затянулась их беседа. Там же и Алпай. Видать, разговор у них долгий и тяжелый. Дай им кумыса, дочка.

Выцедив, взболтав и налив кумыс в чистую чашу, Сания внесла его в юрту Маная. Старейшина сурово взглянул в сторону вошедшего, но, увидев, что это Сания, со спокойной грустью сказал:

— Входи, дитя. Кумыс будет кстати.

И сам Манай, и Алпай, и гости были чем-то озабочены, хмуры. Беседа прервалась. Сания почувствовала неловкость и, оставив чашу, собралась было выйти, но Манай проговорил:

— Разлей по пиалам. — И, уже не обращая внимания на нее, продолжил прерванную беседу — «Горе одного не тяжелее печали народа», — говорили древние. Если сын останется жив, то вернется, если погибнет, то я верю, что он умрет, не опозорив чести ни своего рода, ни своего отца... Но не о том речь, братья. Горе каждого из нас переросло в муки народа. Кто же может противостоять джунгарам, если у них есть пушки, которые пятнадцать лет отливал рыжеволосый, голу-

Боглазый северный человек неизвестной веры, неизвестного рода и племени, если этот человек научил их владеть пушками, если джунгары решили уничтожить наши города и навсегда властвовать над нами? — Манай тяжело вздохнул, помолчал, пока Сания подала ему большую пиалу кумыса. Потом задумчиво проговорил: — Ваша весть не для нас. Я правду говорю, Алпай? — Он медленно повернул голову в сторону друга.

— Истина твоя, Манай. Но мы должны помочь им.

— Да, нельзя отсиживаться здесь, хотя наши гости и говорят, что джунгары пройдут мимо и не заглянут сюда. Скорее переберемся на другой берег Алтынколя, к Чингизским горам. Во все времена степь слухом полна. Не может быть, чтобы все батыры казахов сидели сложа руки. Аллах не допустит нашей гибели. Не так уж скуден и безроден наш народ, у него найдется сын, способный объединить жигитов всех племен и жузов. Нужно проводить наших гостей к батырам Тайлаку и Саныраку. Нужно только узнать, где они, и направить братьев к ним. Пусть все, что поведано нам, услышат и они. Слух о том, что в шатре и в стане джунгар есть наши люди, укрепит дух батыров и сарбазов.

— Но достаточно ли это для единства? — проговорил Алпай и, словно попросив взглядом прощения у друга, продолжил речь: — Благословенный Тауке завещал нашему народу искать друзей. Ты знаешь об этом, Манай. Он за два года до своей смерти посылал гонцов к белому царю, а царь присылал гонцов к нему, чтобы сговориться о военном союзе, о дружбе на равных, как брат с братом, и в дни опасности вместе идти на джунгар.

— Но этой дружбы нет по сей день, Алпай. Да и захочет ли царь русов подать нам руку, когда мы сами, как стаи перепуганных шакалов, бежим по степи, грызя глотки друг другу, предавая друг друга. Нет, Алпай. Никто сейчас не подаст нам руки помощи, если мы сами не поймем свою беду и не восстанем для последней схватки, которая должна решить — жить нам или умереть, стать навеки рабами джунгар.

Сания, наполняя чашу одну за другой, не знала, что ей делать, думала, как бы ей выйти из юрты, чтоб не мешать столь тяжелой беседе старейшин. Но если уйти, то кто будет разливать кумыс? Не положено, чтоб аксакалы сами занимались этим. И гостям это не к лицу.

Когда вместе с отцом и Каражалом она встретила этих двух незнакомцев на дороге, то подумала, что они враги. Потом они рассказали о Малайсары, и она решила, что это сарбазы батыра. Они говорили, что выполняли волю Малайсары. Тоской и болью повеяло от их слов, когда она спросила их о Кенже... А что же выходит теперь! По разговору аксакалов получается, что они прямо из стана джунгар. Так кто же они? Сания вспомнила, что старший назвал себя Томаном, а младший — Накжаном.

А все-таки этот Накжан привлекателен, он немножко застенчив и этим похож на Кенже... Но ведь это он, Накжан, говорил, что сегодня или завтра джунгары будут здесь, в этих местах. А дед Манай только что сказал другое, и, видно, сказал с их слов. Так как же верить им? О чем они здесь рассказывали двум аксакалам до ее прихода? Почему они сейчас сидят молча, сосредоточенные, задумчивые, словно совершили великий грех...

И эти голоса в тугаях, голос Каражала, — Саня теперь была уверена, что там, в зарослях, она действительно ясно слышала Каражала. Что случилось здесь за то недолгое время, пока она купалась?..

Она была поглощена своими мыслями. Ей, единственной дочери Оракбая, баловнице аула, не уступающей жигитам, ей, которой всегда казалось, что она вызывает зависть всех девушек и женщин своей красотой, своим открытым нравом, которая не терпела соперниц и хотела, чтоб жигиты вздыхали лишь по ней, удивляясь ее решительности и смелости, сейчас было не под силу разобраться в тонкостях столь простого мужского разговора.

— Дитя мое, позови своего отца — Оракбая. Остальных не тревожь. И пусть все те бедные скитальцы, что теперь оказались вместе с нами, не знают о нашем разговоре, пусть о нем не услышит и тот, кто назвал себя глашатаем. Его зовут Каражалом. Он из рода садыр, — слова Маная прервали мысли Сани.

Она вышла из юрты и передала слова Маная своему отцу. Солнце приближалось к закату. Жара ослабла. Кони и верблюды стояли на привязи в центре поляны, вокруг которой расположились юрты и шалаши беженцев. Перед животными было вдоволь травы, накошенной за день. Возле шалашей и юрт все было прибрано, кое-где лежали готовые вьюки. Горело несколько небольших костров.

В лагере беженцев чувствовалось напряженное ожидание. Одни боялись нового прихода вчерашнего волосатого гостя, другие ждали, когда Манай уведет их подальше от этих мест.

Саня обвела взглядом лагерь и внезапно увидела Каражала. Он сидел в кругу людей у костра и в упор смотрел на нее. Она даже вздрогнула от неожиданности. Взгляд жигита казался загадочным, в уголках губ затаилась улыбка.

— Иди к нам, юный друг. Угостим куском жареной баранины, — нежность прозвучала в его голосе.

Саня пошла на зов. Каражал вытащил из-за голенища острый нож и одним ударом отсек жирный кусок мяса от бараньей ляжки, что была зажарена на вертеле и теперь лежала посреди круга на старом дастархане.

— Ну и как, скоро здесь будут джунгары? — словно невзначай спросил Каражал.

— Сюда, к нам, они не придут, — ответила Саня и чуть

не выронила мясо из рук, поняв, что нарушила наказ, только что данный Манаем.

— Так, так. А эти болтуны, которых мы сегодня взяли в плен, говорили, что джунгары будут сегодня или завтра. Вот вруны... Со страху это они, что ли? Вот и верь кереем. Эти ведь керее. А большинство кереев помогают джунгарам... — будто размышляя вслух, говорил Каражал, вытирая нож о пучок травы и вновь засовывая за голенище.

Сания заметила, что он исподлобья поглядывает на Табана — оборванного старца с посохом, которого он сам привел сюда, как бедного безродного бродягу, скитающегося по свету из страны в страну, рассказывающего чудесные сказки и горящего на разных языках.

«На разных языках?» — мелькнуло в голове Сании. А быть может, сегодня там, в зарослях тугая, Каражал говорил с ним, с этим Табаном? Девушка посмотрела на Табана. Старик никогда не расставался с посохом. Даже сейчас посох лежал рядом с ним, с правой стороны. А сам он, задрав рваные штаны до колен, грел ноги у костра, хотя вечер и без того был чересчур теплым. Ноги были все в струпьях, с зарубцевавшимися ранами. Сания отвела взгляд. Что может быть общего между этим беспомощным, нищим и жалким бродягой и гордым Каражалом? Да и какая у них может быть тайна? Ведь Каражал говорил Манаю, что он встретил этого бродягу на дороге, что он, Каражал, понимает его только тогда, когда тот говорит на языке персов.

— Что же молчим? Огонь всегда располагал к долгим беседам или воспоминаниям о батырах, у огня рождались красивые сказки, — весело произнес Каражал. — Вот у этого божьего человека сказок целый клад. Пусть поведает Табан одну из них, а я перескажу.

Табан опустил штанину, прикрыл ноги. На миг не по-старчески сверкнули его глаза, когда он взглянул на Каражала. Но он тут же опустил свои ресницы, не то запыленные, не то седые. Подобрал ноги под себя, принял спокойную невозмутимую позу.

— Пусть говорит божий человек, пусть развеет наши тяжкие думы, — тихо произнес старик со слезящимися, покрасневшими от солнца и трахомы глазами.

— Пусть расскажет... — поддержали другие.

Каражал сказал что-то Табану на незнакомом языке. Тот, оставаясь невозмутимым, глядя в огонь немигающим взглядом, певуче заговорил и долго, монотонно говорил о чем-то.

— Он спрашивает: о чем повести рассказ? Или о богдыхане, или о великом Цевене Рабдане, решившем навсегда покорить эти степи? Или о евнухе Надире, рабе шаха Тахмаспа, который ныне, свергнув своего владыку, стал повелителем персов и вселяет страх в сердца русов? Или о маге, обладающем тайной литья пушек, которые ломают стены казахских

городов и, с благословения самого всевышнего бога, повелевают джунгарам покорить вас — вольных детей степи, не признающих ни власти, ни единства, ни веры и грызущихся, как стая волчьих переярков меж собой? Или просто о жизни и основе жизни — любви?.. О чем же мне начать свой рассказ? — спрашивает божий человек. — Каражал говорил, отчеканивая каждое слово, словно хотел этим подчеркнуть силу рока, нависшего над кучкой беззащитных бедных людей, скитающихся по степи вслед за своим вожаком Манаем. Сании стало страшно от этих вопросов.

— Что он, этот безродный бродяга, мелет? Почему он хоронит нас раньше времени? — вдруг вспылала женщина в черном платке, сидевшая чуть подальше от мужчин, — мать, потерявшая свое дитя по дороге сюда, мать, чуть не сошедшая с ума, когда под зноем хоронили ее малыша.

— Можно отрубить голову, но нельзя отрезать язык. Достоин уважения тот, кто говорит правду в лицо. Чем мы лучше волков? Даже волки объединяются в минуту опасности. Прав этот волосатый странник. Говорят, спрашивай о смысле жизни не у того, кто много прожил, а у того, кто много ездил по свету и многое перевидал. Но пусть он расскажет нам не о джунгарах и не об евнухе Надире, не о богдыхане и Цевене Рабдане, а сказку о жизни, — успокоил женщину старик с трахомой, утирая слезящиеся глаза.

— Пусть говорит о любви. Только она может создать единство и прибавить силы человеку, а может и внести разлад даже меж братьями... — поддержали старика.

Каражал перевел их слова. Табан вновь поднял пепельные ресницы, загадочно взглянул на Санию.

— Я был в стране детей львов и слышал легенду об Ануле, которая, убив собственного мужа, стала царицей детей львов. Жила она во дворце, построенном на высокой неприступной скале. Каждый месяц приводила к себе нового воина и возводила его в цари, клялась в любви, клялась быть его рабыней.

Но каждый царь властвовал лишь месяц. Анула убивала его на ложе. Ее лоно было ненасытно и безродно. Над нею властвовала похоть, она подчиняла ей свой ум, свою хитрость. В ней было столько же красоты, сколько жестокости. Она севла вражду между воинами и выбирала жертву среди них. Ее не любили, но ее страстность привлекала мужчин, как ласка самки привлекает самцов.

Царство детей львов распалось. Воины, сговорившись, жестоко и всенародно насытили жажду Анулы и, разрезав ее тело на куски, бросили шакалам...

Анула говорила, что вся жизнь, вся борьба, вся красота даны человеку для наслаждения и для насыщения своей похоти. Народ отверг ее слова, потому что она была подобна самке скорпиона, которая ждет любви лишь для того, чтоб получить у самца его силы и тут же убить его. Самка скор-

пиона живуча и бессмертна, как живучи на земле зло, коварство и жестокость. Зло в женщине...

Каражал слово в слово пересказывал легенду Табана, а Табан немигающими глазами смотрел на Санику, которой стало жутко от этого взгляда. Но вот глаза старика потускнели, и когда Каражал перевел его последние слова, Табан, не дав людям времени осмыслить услышанное, начал новую сказку:

— Я продолжу легенду, но теперь другую, родившуюся в стране благословенной всеми богами и проклятой всеми духами, в стране богатой и нищей — в Индии, на земле славных воинов раджпутов... Да, я продолжу свой рассказ...

Теперь, когда солнце уже коснулось земли и огонь костра стал ярче, когда разморенный дневной жарой мир погружался в тихую дрему, он, этот безвестный странник, казался святым, казался мудрым посланником самого аллаха в этот нищий, бегущий от врага аул. Переводя рассказ Табана, Каражал изредка поглядывал в сторону юрты Маная. Там все еще шла беседа. Табунщик Оракбай давно вышел оттуда и уселся на куче седел, лежавших возле ее порога. Он наверняка охранял вход в юрту, чтобы кто-либо не помешал беседе старейшин аула с двумя пришельцами из стана Малайсары.

— Да, я продолжу свой рассказ, — повторил Табан и чуть подался всем телом вперед, словно хотел подвинуться поближе к огню. — Нет, не было истины жизни ни в поступках Анулы, ни в ее словах. Если бы в ее словах была истина, то владыки бы не дрались за престол, люди не боролись бы за свое счастье, народ не мечтал бы о свободе, отец не думал бы о сыновьях, а мать о дочерях. Да, жизнь это миг, и тот, кто хочет использовать этот миг лишь для насыщения своей утробы, для удовлетворения своей похоти, тот подобен царице Ануле и самке скорпиона...

Я расскажу вам легенду о дочери раджпутов — расскажу вам быль о красавице принцессе. Юной царицей величали ее, ибо она была дочерью вождя племени раджпутов.

Люди молча слушали Каражала, который, не нарушая напевного монотонного рассказа Табана, быстро и искусно переводил легенду. Каражал уже не выглядел прежним — гордым, недоступным и в то же время хитрым глашатаем. Он весь превратился в слух. Лицо его было словно вырублено из серого, холодного гранита, в глазах переливались искры — отражения костра. Казалось, он, не задумываясь, пересказывал слова Табана, а думал о чем-то другом. И то, другое, волновало его больше, чем легенда Табана.

— ...Близ скалистых горных ущелий, заросших садами, раскинулись розовые дворцы. В самую великую жару там веет прохладой. Кругом луга, сады, щедрые поля, под тяжестью плодовгибаются деревья. Журчат арыки, и блестит на солнце, как голубой жемчуг, озеро. Его влага чиста и холодна, живительна, как нектар, и лотосы, прекрасные лотосы,

цветут на волнах озера, как бриллианты на груди красавиц. Богатым был край, но скупым на дружбу оказался его народ. Распри, коварство и месть, бесчестье, ложь змеились между родами. Топтали друг другу посевы, угоняли скот, крали красавиц, жгли сады. И не выдержал бог — великий Шива, решил наказать раджпутов за грехи.

Вражья конница двинулась на поля раджпутов, под ее ударами падали стены крепостей, горели рисовые поля. Каждый защищался в одиночку от своих и чужих. А тут суховей, пыльные бури и жара, жара, иссушившая в пепел лепестки лотоса, жара, выпившая воду в каналах, в арыках, озерах. Болезни и голод, нищета и враг обескровили край...

— Точь-в-точь как у нас, казахов, — вздохнул старик с трахомой и грязным рукавом вытер слезы.

— ...Высохли водоемы, издыхал скот, и даже родники, что доселе бурно вырывались из-под скал, иссякли. Черный меч смерти навис над всем Раджастаном. Запершись в последней крепости, великий раджа созвал к себе всех мудрецов.

«Что нужно, чтобы снова воспрял дух народа, чтоб он почувствовал в себе силу, забыл распри меж родами и прогнал врага, чтобы к нему вернулось былое единство и слава великих воинов?» — спросил раджа мудрецов.

«Вода! — ответили старцы. — Нужно изготовить для нее великое, прекрасное ложе из камня там, где еще есть жизнь в родниках, и принести священную жертву — белую корову в честь справедливого, благородного Шивы — справедливого Махашевры!»

Ложе было готово. Жертва принесена. Ждали месяц. В живых раджпутов оставалось мало. Последняя крепость была готова сдать врагу. Но то уже был бы вечный конец всему племени раджпутов. Последние листья осыпались с деревьев, обнажая черные сухие трещины земли и зловещий оскал скалистых гор. Зачах последний родник. Ни капли дождя — муссоны обошли этот край.

«Мы погибли. На нас пал гнев всемогущего Шивы. Мы сами разгневали его своими грехами. Завтра на рассвете мы все сами должны покончить с собой», — сказали мудрецы.

Настала последняя ночь перед гибелью раджпутов.

В последний раз пришел старый раджа в храм, единственный храм бога Шивы, оставшийся у раджпутов, и окутал ноги благословенного Шивы благоухающими лепестками последних роз из своего сада. Зажег светильник. Молча стояли жрецы вокруг могучей статуи. Раджа поклонился и поклялся богу, что утром на рассвете он отдаст свою душу ему, священному Шиве, за все грехи своих рабов.

Ушел раджа, наступила полночь. Верховный жрец смыл со лба священный трипунд и пошел в свои покои. В темных углах храма растаяли молодые жрецы — неусыпная охрана многорукого Шивы.

арку, освещенную луной, вошло в храм нежное создание в голубом сари. Застыли невидимые стражники, и только сверкали из темноты их глаза. Стража знала: то была единственная дочь великого раджи, то была Чамелирани.

Со страхом шагнув в полумрак храма, она опустила на колени у ног пляшущего Шивы, сложила ладони и зашептала молитву. Струился дым сандала из чаши, лепестки последних роз маслянисто светились. Грациозно и спокойно извивалось тонкое пламя, то озаряя руки, то скользя по лицу, то освещая ноги трехликого Шивы, и казалось юной деве: зол и страшен бог, он разгневан и танец его свиреп и жесток. То был вечный танец — танец жизни, танец смерти, танец ненависти и любви — танец созидания Вселенной, танец обновления.

«Помоги народу моему, обнови нашу землю, дай влагу полям и садам, дай силу воинам нашим, всели в них любовь друг к другу, любовь брата к брату, дай жизнь садам, помоги матерям с иссохшей грудью, дай жизнь детям матерей наших, о великий, справедливый Шива! — дрожа от страха, шептала девушка. — Я лишь росток, я лишь крохотный цветок в море жизни, белый лепесток в черном океане лжи, ты сожги меня, но помоги народу моему. О священный Шива! — лились слезы из глаз Чамели. Страх прошел, глаза ничего не видели от слез. — Я в жертву готова себя отдать, скажи мне: что мне делать, чтоб спасти народ?!» — молила принцесса.

Ночь проходила, бесшумно на землю надвигался рассвет. Но не заметила юная царица, как светлее стало в храме. Лишь почувствовала — земля у нее под ногами заколыхалась. В руках Шивы сверкнуло пламя — и озарило весь храм, древний и просторный, вырубленный в недрах скал. И, словно огненная струя, из пламени прыгнул тигр в центр храма.

«Я поняла тебя, о великий и священный Шива! Принимаю смерть! Я погибну под когтями тигра, пусть он разорвет меня клыками, но дай жизнь народу моему!» — она сбросила сари и прекрасная, как лотос, нагая, как солнце, раскрыв объятия, шагнула навстречу тигру. Но снова пламя — тигра нет, стоит олень — дитя природы. Еще шаг — и нет оленя, и перед обнаженной девушкой стоит юноша печальный. Упала юная царица к его ногам. Стыд подкосил ее. Юноша вернул ей сари.

«Ты прекрасна и чиста. Твоя любовь едина, вечна. Разорви завесу майи. И поймешь, что жизнь прекрасна. И нет священнее дела для человека, чем пожертвовать собою во имя жизни племен своих. Ступай ты в каменное ложе, где пересохла все истоки влаги. Отдайся камню. Напои каменное ложе своей кровью... Все истоки оживут к восходу солнца. Спешите, сестра!» И видение исчезло.

Ранним утром, когда матери с иссохшей грудью, еле двигаясь от жажды, волоча за собой гулкие кувшины, в которых давно не было воды, в последний раз перед смертью пошли к каменному ложу, их взгляду предстала голубая, чистая, про-

зрачная, прохладная вода. Она заполнила огромное ложе, переливалась через края, а вокруг звенела трава, цвели розы, птицы вновь пели свои песни. Сады оживали. А в самом центре ложа цвел алый лотос.

Первый луч солнца упал на воду, скользнул над рябью волн и заискрился в лепестках лотоса. Люди смотрели на сверкающий волшебный лотос, и никто не знал, что то была последняя улыбка их юной царицы, любовь которой вернула им жизнь. Никто не знал, что сегодня на рассвете она напоила своей кровью раскаленное дно каменного ложа...

Уже наступила ночь, небо заискрилось холодными звездами. Потрескивая, горели сухие корни саксаула. Люди, сидевшие у костра, задумчиво слушали рассказ Табана.

По лицу Сании бродили отблески пламени костра. Сидя на вязанке сухого хвороста, она молча внимала легенде. Перед ней лежал колчан со стрелами — колчан Каражала. На одной из стрел она увидела тонкую зарубку. На других зарубок не было. Сания думала о юной царице. Она видела огромное море воды и этот цветок, который Табан назвал «лотосом». А корень цветка на дне, под водой, там, где лежит юная дева, принесшая себя в жертву народу.

— Так чья же любовь прекрасней: царицы Анулы, что правила детьми львов, или юной царицы раджутов? — завершил свой рассказ Табан. Каражал перевел его последние слова. Люди молчали.

— Говорят, что дочь царя мавреннахров вонзила нож в спину юноше — своей единственной любви, который по ее зову пришел к ней в сад. Она ласкала его, клялась в любви, но когда случайно заметила, что к ним идет стража и что люди могут узнать об их любви, то она незаметно ударила ножом в спину юноши, а страже сказала, что он, этот юноша, тайно проник в сад и осмелился заговорить с ней, и приказала выбросить его тело на съедение шакалам... — вставил старик со слезящимися глазами. — Один аллах знает, что это за чувство — любовь? В ней не мало добра, в ней не счесть и зла.

— Я слышал, что в нашей степи пленных могут освободить по воле женщины-матери, потерявшей в битве сына. Если великодушные матери победит ее ненависть к убийцам сына, то пленнику даруют жизнь и волю. Так ли это? Смогла ли какая-нибудь женщина забыть о своей любви к сыну и дать свободу врагам? — спросил Табан, и Каражал перевел его вопрос.

Все молчали, как и прежде, задумчиво глядя на языки пламени. Каражал заметил, как из юрты вышли двое — те, кого они днем встретили на дороге и привели сюда.

Они прошли мимо костра. Табунщик, Оракбай отвел их куда-то на ночлег, сам вернулся к костру. Увидев отца, Сания поднялась и направилась к своей юрте.

— Кто может сейчас ответить на этот вопрос? Сейчас мы сами словно пленники джунгар. И останемся ли мы живы

сами... — проговорил наконец старик с трахомой. Глаза его совсем покраснели. Он поднялся и побрел в свой шалаш.

— Все ко сну, на отдых. Завтра в дорогу! Так сказал Манай! — прозвучал хриплый голос Оракбая...

...Сания долго не могла уснуть в эту ночь. И странный разговор, услышанный ею в тугаях, и поведение этих новых пришельцев, которые сказали, что идут от Малайсары, а кажется, что они от самого Галдана Церена, и эти легенды Табана об Ануле и юной царице раджпутов — все было таинственно, вселяло страх и неверие в окружающих людей, неверие в себя. Почему вдруг этот бродяга Табан начал рассказы о любви и почему он так странно посмотрел на нас, и зачем Каражал следил за юртой Маная и так неожиданно спросил ее, о чем там, в юрте, шла речь, и она, не задумавшись, выложила ему правду, хотя дед Манай просил все, о чем там говорилось, держать в тайне...

Не спалось. Тяжелела голова от дум. Никогда еще ее так не волновало то, что творится вокруг. Она раньше не думала об этом, жила своей радостью и печалью. Лишь горе родного аула угнетало ее. А теперь, когда она слышала о пушках, когда поняла смысл разговора Маная с гостями и угрозой, угрозу, прозвучавшую в словах Табана о джунгах, ей стало страшно. Но она не могла понять, как это, каким образом может погибнуть весь народ. Ведь земля казахов так велика и так много на ней смелых жигитов?.. Ее мысль прервал вой собаки. Это была одинокая дворняжка, которая то исчезала, то вновь появлялась в стане беженцев. И вот кто-то прогнал ее, потому что вой собаки всегда вселял тревогу в сердца людей. Говорили, что собачий вой — предвестник несчастий. Дворняжка, видать, ушла подальше в тугай и теперь глухо выла от страха.

В юрты врывается запах навоза, запах дыма костра, кто-то бормотал во сне в соседнем шалаше. Вот фыркнула лошадь, застонал верблюд — и вновь тишина. Странная, жуткая тишина. Где же отец? Должно быть, в карауле. Они с Алпаем всегда стараются быть рядом с Манаем или вблизи его юрты.

Собравшись в комок и плотно укрывшись мягким одеялом из верблюжьей шерсти, Сания прислушивалась к каждому шороху. Мало-помалу сон взял свое, дневная жара, усталость и тяжесть всех этих загадочных событий долгого дня одолели ее. Она забылась в беспокойном сне...

Наступило то самое мгновение ночи, когда властвуют тишина и покой.

Никто в стане беженцев не видел и не слышал, как две тени мелькнули в лунном свете и бесшумно исчезли на тропе, ведущей в пески, а оттуда к дороге, где днем были задержаны двое — Томан и Накжан.

Когда кончились тугай и под лунным светом завиднелись очертания барханов, передний из беглецов остановился.

— Все. Возвращайся. Помни, ни один из этих двух кереев не должен уйти к шатрам Болат-хана, Абуль-мамбета или хана Абулхаира. Казахи готовятся собрать единое ополчение... А теми из кереев, кто еще остался в стане великого хунтайджи, я займусь сам. С них сдерут шкуру... Ступай! Помни, огонь поможет тебе расчитаться с керееями и еще более приблизиться к Манаю. Держись ближе к Манаю, выполняй его волю, иди вместе с ним в Сарыарку, узнай, что замышляют казахские батыры. Великий Цевен Рабдан наградит тебя... Ступай! Скоро я разожгу здесь такой огонь, что он будет виден отовсюду.

— Ох, сказочник, видать, немало крови ты выпил, — слышался голос Каражала.

— Я старый гуркх. Я прошел по многим странам, видел многих владык. И как гуркх я был предан тому, кому служу. И грех и слава удел тех, кто направляет стрелу... Тетива натянута не мной, — спокойно и твердо сказал Табан. — Ступай...

Каражал молча исчез в тугаях.

...Сании снились сны. Тяжелые, неразборчивые. В них ожили легенды казахов о неверной жене и сорока женах пророка Сулеймана. А потом она видела Кенже. Он был в крови. Потом поднялся тигр, тот самый, что ночью всполошил весь стан, весь аул беженцев, он был красив — гладкая спина, страшный оскал клыков. Потом она видела Табана, огромного, высеченного из камня и раскачивающегося у костра, он вселял в нее ужас. Она хотела крикнуть от страха, позвать на помощь отца, но тут сквозь сон сама услышала чей-то пронзительный крик. Попыталась встать, вскочить с места и вдруг почувствовала, как кто-то сорвал с нее одеяло. Кто-то навалился на нее, чьи-то холодные руки коснулись ее тела. Из-за стен юрты послышался ответный крик отца. Кто-то тихо залился злым смехом и черной тенью метнулся вон из юрты.

Сна как не бывало. Холодный пот покрыт лоб Сании. Она торопливо оделась. Откинув дверь, в юрту вбежал отец. За пологом юрты было светло как днем. Где-то горело, трещало. Кричали люди, ржали кони.

— Скорее, дочка! Пожар! Все горит! — крикнул отец.

Еще не в силах взвесить разумом и понять, что творится вокруг, охваченная страхом, она, подчиняясь инстинкту, в мгновение ока успела схватить щит и, невольно защищаясь им от палящего света, выскочила вслед за отцом. Отец уже сидел на своем мерине и держал наготове коня Сании.

— О, суд аллаха, как ты страшен! Скорее, дочка! А то ветер, как шайтан, может повести огонь так, чтобы взять нас в кольцо. О, как ты страшен, суд аллаха! — повторил Оракбай каким-то странным, непривычным для Сании голосом.

Вскарабкавшись на коня, она увидела, что отца уже нет рядом. Оглянулась вокруг, не зная куда и за кем скакать.

Люди сдирали кошку с остовов юрт и торопливо скатывали, связывали и вьючили на перепуганных коней и верблю-

дов, молча поглядывая на восток, откуда приближалось густое кроваво-черное пламя. Горел древний сухой лес — заросли саксаула, что лежат на границе с песками.

Все ярче становилось зарево, обостренный слух уже улавливал гудение горящего леса. Огонь приближался к стану беженцев.

Юрты Маная как не бывало, а сам он уже сидит на коне. Рядом с ним его друг Алпай. Отец тоже возле них и что-то торопливо говорит Манаю, указывая на восток и обводя руками вокруг. Наверное, он объясняет, что пламя может взять беженцев в кольцо. Но Манай властно указывает ему в ту сторону, где стоит Саня... И девушка поняла — только их юрта еще не была убрана. Она слетела с седла и кинулась вырывать колья, к которым прикреплен остов юрты. Она и не заметила, когда рядом с ней оказался Каражал, отец и еще несколько человек. Все это произошло быстро — не успела Саня опомниться, как кошмы были скатаны, остов юрты уложен и связан и все это вместе взвалено поверх поклажи чье-то верблюда. Саня видела, как мужчины и женщины хватали испуганных детей и бросали их на коней и верблюдов, навьюченных скарбом. Дети не плакали. Они были так же бледны и молчаливы, как взрослые. Какая-то старуха вытаскивала из золы обгоревшие лепешки, кто-то засовывал в торбу не дожаренное на углях мясо, а караван уже, спеша, покидал насиженное, обжитое за эти дни место. Он уходил вслед за Манаем и Алпаем в чащу, держа путь к берегам Алтынколя — Балхаша.

— О, суд аллаха, скорее, скорее! — Оракбай помог старухе взобраться на верблюда. Подал ей вывалившуюся из узла лепешку...

Томан, Накжан и Каражал вместе с Оракбаем последние покинули стоянку. Огонь, распластав свои смертоносные крылья и обдавая жарким дыханием все, что лежало впереди, торопился вслед за караваном. Лишь ветер, неожиданно подувший с северо-запада, со стороны озера, замедлил его бег. Но пламя рвалось вперед, к камышам, к зарослям акаций и тополей, к дремучим завалам саксаула, поднимая птиц из обжитых гнезд, выгоняя зверей из логова, пожирая птенцов, сжигая змей и ящериц, не давая выйти из нор грызунам. Где-то в чаще в страхе зарычал тигр, послышался вой шакала. Не разбирая троп, мчалось к воде стадо кабанов. Оно перерезало дорогу и проскочило впереди каравана Маная.

Собственно, караван уже не был подвластен Манаю. Страх гнал людей напролом через тугай. Каждый стремился быстрее выбраться из этого леса, до сих пор служившего убежищем, а теперь превратившегося в безумствующего врага. Никто не думал — откуда и как возник этот пожар, потому что никто не сомневался: тугай подожжены джунгарами, вслед за огнем идут они, эти беспощадные, железные джунгары с пушками. И от этой мысли страх усиливался вдвойне.

Не щадя коней и верблюдов, не жалея себя, не чувствуя боли от ударов веток, не ощущая, как шипы диких акаций и облепихи рвут одежду, вонзаются в тело, люди мчались к великому Алтынколю, как к матери-спасительнице. Весь восток был озарен красным пламенем, а над языками пламени, тянувшимися к небу, висел черный дым. И пламя и дым подходили все ближе и ближе, стаи птиц с криком, наполняя воздух шумом крыльев, неслись к озеру. Они летели низко над головой беженцев.

Сания подгоняла навьюченного верблюда, стараясь не отстать от других и не терять из виду Маная или Алпая, чтобы скакать вслед за ними. Где-то справа в чаще мелькнула голова Каражала. Сзади нагнал отец, крикнул:

— О, суд аллаха! Ты жива, дочка? Не отставай! Я посмотрю, чтобы кто-нибудь не слетел с коня и не остался под пламенем.— Он повернул своего коня в сторону, исчез.

Через мгновение Сания сквозь треск леса, шум птичьих крыльев, рев верблюдов ясно и четко услышала хриплый, ожесточенный и испуганный крик отца:

— Э-эй, скачите сюда! Кто ближе?! О, суд аллаха! За что такое наказание — и огонь и джунгары!

Сания придержала коня. Верблюд, которого она охраняла, понесся вперед изо всех сил, подгоняемый страхом. Своей огромной тушей тараня густые заросли, он уходил вперед, мчался к воде, понимая опасность. За ним уже невозможно было угнаться. Лишь бы выюки не слетели.

Завертелся конь, не подчиняясь удилам. Сания крепче сжала поводья и хлестнула скакуна, направляя его туда, откуда донесся голос отца. Выскочила на небольшую полянку. Не отпуская конец длинного чембура и прокиная своего коня, то и дело норовившего вырваться из рук и умчаться прочь, Оракбай наклонился над чьим-то телом.

— Помоги, дочка, надо положить его на коня и похоронить подальше от огня. Джунгары посылают вслед за нами не только огонь, но и стрелы.— Оракбай пучком травы вытер окровавленную стрелу и вложил в свой колчан. Спина лежащего перед ним воина была вся залита кровью.

— Это провидец Накжан, которого мы вчера привели в наш стан. Он хотел рассказать нашим батырам о джунгарах...

Сания в страхе взглянула на приближающееся пламя. Ее на мгновение охватил ужас, похолодело тело от мысли, что такая стрела может вылететь из-за любого куста и вонзиться в нее. Но окрик отца заставил ее слезть с коня. Она помогла взвалить тело Накжана в седло отца.

— Кто его убил? — на полянке внезапно появился Томан.— Кто его убил?! — он был бледен от гнева.

— О, суд аллаха! Мы за него в ответе. Вот стрела, сразившая его,— Оракбай передал стрелу Томану.

— Кто бы ни был владельцем этой стрелы, я найду его.

Ты будешь отмщен, брат мой! — Томан со слезами на глазах нагнулся к телу Накжана.

Они вдвоем — Оракбай и Томан — вскачь повезли мертвого Накжана вслед за караваном. Саня мчалась за ними, с ужасом ощущая, как приближается огонь, и содрогаясь от мысли, что ее тоже может настичь вражеская стрела.

...Казалось, горят не только тугаи, горит вся земля, пылают иссушенные жарой барханы — и беглецам уже не будет спасенья от этого всепожирающего пламени, дымом которого окутано утреннее небо.

Прошел час, два, а быть может, и все три часа с тех пор, как люди покинули свой стан и вместе с испуганными зверями и птицами пробивались к воде. А желанного берега все не было. Выбирались из одного тугая и тут же попадали в другой, заросли камыша то редели, то вновь плотной стеной преграждали дорогу.

Сквозь густую завесу дыма показалось утреннее солнце. Необычное, кроваво-красное, как при закате, огромное, стремящееся пробить свои лучи сквозь черную дымовую завесу, но пока что плывущее как огромный, раскаленный щит за этой черной завесой. Но вот сквозь разорвавшуюся пелену дыма прорвались его лучи, и в этот же миг люди увидели широкую, почти в несколько верст, длинную до бесконечности песчаную полосу, отделявшую воду Алтынколя от зарослей диких тугаев.

...Люди спаслись от огня, и хотя многие потеряли свой последний скарб, хотя с новой силой заныли прежние раны, хотя исчезли последние запасы муки и в клошьях изорвалась одежда, измотались кони и верблюды, но не это было главным. Главное было то, что все остались живы — кроме Накжана. Да еще потерялся бродяга старец Табан. Куда он исчез? Погиб в огне или растерзан зверем? Никто не видел его. Никто ничего не знал о нем.

— Где тот старец, которого ты привел с собой? — спросил Манай у Каражала.

— Этот странный скиталец не боялся смерти. Он часто говорил, что смерть от огня священна, говорил, что люди его племени часто кончают жизнь саможжением... — ответил Каражал.

Люди двинулись по берегу великого Алтынколя на северо-восток по ровному пустынному песчаному берегу, на котором оставили свои следы звери и птицы, вырвавшиеся из объятий огня и умчавшиеся, улетевшие в поисках спокойного клочка земли.

Манай спешил. Он чувствовал, что ослаб, что теряет последние силы. Его мучила тоска по сыну, он считал себя виновником гибели своего верного друга Сеита. И еще он понимал, что тугаи не могли загореться сами собой, что в Накжана не мог стрелять кто-то из джунгар — их пока нет в этих краях. Значит, стрелял кто-то из тех, что идут вместе с ним,

кто-то из каравана. Но кто? Зачем? Куда девался этот странный бродяга Табан и почему не ищет и не искал его Каражал? Ох, загадки... Загадки и тайны жестокой жизни. Манай уже не властен над этими людьми, что идут вместе с ним. Чья-то невидимая рука управляет ими теперь, управляет и самим Манаем... Но пока некогда искать разгадки всех тайн...

Люди покинули обжитое место. А здесь, на этих песчаных берегах, нет ни одного ручейка. Вода в озере соленая. К тому же вновь началась жара. До захода солнца, самое крайнее — до завтрашнего утра — нужно найти пресную воду. Иначе не стоило и спасаться от огня. Нужно идти и идти вперед. Там, впереди, должна быть пресная вода, должно быть маленькое, голубое, прохладное озеро. Манай не раз слышал о нем. Старики — его сверстники и люди постарше — говорили, что Алтынколь — это мать маленького прохладного озера, со дна которого бьют родники, и потому это озерко называется Балапанколем.

...Когда огонь остался далеко позади и уже не было видно зарослей саксаула и камыша, а прямо с пологих берегов Алтынколя начались ровные, выжженные солнцем окаменевшие степи, Манай остановил коня у небольшой возвышенности.

— Здесь мы предадим земле тело жигита — славного сына кереев Накжана... Как звали его отца, сынок? — Манай обратился к Томану.

Томан устало опустил голову и, глядя себе под ноги, сказал:

— Прости, аксакал. Он хоть и молод, но был за старшего. Мы встретились в плену. Не нашлось у нас времени расспросить друг друга о родных.

— Он сын казаха и силы свои отдал за народ. Алтай, отмерь ему ложе на вершине сопки...

Пока мужчины под наблюдением Алпая копали могилу, Манай сидел возле тела Накжана, завернутого во все белое и укрытого белым. Над телом был вздвигнут навес.

Когда жигиты понесли покойника к могиле, Манай, устало передвигая ногами, подошел к воде, постоял, задумчиво гляделся в переливающиеся на солнце волны Алтынколя. Соленая вода ласково лизала его ичиги. Он нагнулся, зачерпнул шершавой ладонью влагу, освежил лицо, провел мокрой ладонью по бороде, ополоснул рот.

Вдали на волнах качались не то утки, не то дикие гуси, а над головой то и дело проносились чайки. Их крик был похож на плач ребенка, а быть может, какая-то чайка потеряла своего птенца при пожаре, как он, Манай, потерял своего последнего сына... Ему не хотелось двигаться. Хотелось лечь у воды, смотреть на чаек и спокойно ждать конца. Но он понимал, что не имеет на это права. Там, на холме, ждут его. И он вновь поднялся, стараясь держаться собраннее, крепче.

Женщины наспех готовили еду. Был полдень. Вновь над землей властвовало огненное Око аллаха. Вновь жара, а ря-

дом вода, много воды, которую нельзя пить и которая лишь удесятяряет жажду. Какая-то старуха, сидя у воды, тихо причитала.

— Слезы не помогут. Перестань скулить. Нам с тобой уже давно пора на тот свет... — проговорил Манай. — Успокойся. Нам с тобой не положено плакать... — Он поднялся на возвышенность. Люди ждали его.

— Бисмилла... — тело опустили в глубокую могилу, головой в сторону Мекки. Манай бросил в могилу горсть земли.

А потом все было как всегда. На сопке вырос маленький холмик свежeverытой земли, и, как всегда, Алпай приготовился прочесть последнюю молитву. Манай подошел к нему. Алпай уступил ему свое место. Манай опустил на колени. Все стали на колени позади него.

Он долго неспешно читал молитвы, и те, кто сидел ближе, ясно услышали, что он во время молитвы произнес и имя своего сына — имя Кенже. Отец навеки прощался не только с Накжаном, но и с сыном. Уже поднося ладони к лицу, чтобы вместе со всеми произнести последнее «Аминь!», Алпай взглянул в сторону Маная. Повернув голову, Манай взглянул на него. Его лицо было страшным. Оно было жестоким, суровым. Но глаза выдавали слабость, он тоскливо, с мольбой смотрел на Алпая. Алпай не выдержал.

— Аминь! Аминь! — понеслось от одного к другому.

Алпай незаметно поддержал старого друга, который только что мысленно похоронил своего последнего сына. Но вожак мягко отстранил руку друга и встал сам.

— А теперь к дастархану. Помянем усопшего. Пусть дух вместе с нами примет последнюю трапезу здесь, на берегу Алтынколя. Пусть колыбель мертвых сыновей наших будет мягкой. Земля рождает нас, она же и забирает нас в свои объятия... Прощай, незнакомый жигит, прощай, сын мой... Мы скитальцы. Сегодня наш путь лежит на Балапанколь. Здесь среди нас и твои друзья и твои враги, — сказал он твердо.

...Растянувшись по берегу, караван Маная в тот же день достиг Балапанколя. Небольшое, изрядно обмелевшее в это жаркое лето озеро встретило их веселым гвалтом непуганых птиц, даже стадо сайгаков паслось неподалеку. Вода была прозрачной, и, стоя на берегу, можно было наблюдать, как стайки рыб весело и стремительно носились по мелководью. Уставшим от страха, от бесконечных тревог людям казалось, что они наконец-то нашли тот уголок земли, где можно без страха и риска воздвигать юрты, копать землянки. Здесь можно жить, не думая о жаре — вода рядом, о голоде — здесь много птиц и рыбы, и сайгачьи стада здесь не пуганы, быть может, и джунгары сюда не придут. Ведь им нет смысла забираться в такую даль, здесь нет богатых аулов, тучных косяков коней...

Но слова Маная, сказанные им у могилы Накжана, все же тревожили их. Они уже чувствовали внутреннюю неприязнь

друг к другу. В их лагерь прокралось недоверие — причина распрей и ссор, причина всех малых и больших бед меж людьми. Как-то незаметно, без особых слов, без видимых ссор люди разделились на два лагеря. Одноаульцы Маная уже потеряли прежнее доверие к тем, кто примкнул к их каравану на этом опасном, долгом и тяжком пути. Это особенно относилось к мужчинам. Даже старик, больной трахомой, уже заметно сторонился чужаков. Прежде чрезмерно словоохотливый, он теперь стал молчалив, замкнут. Ему, как и другим, не давали покоя загадочные слова Маная: «Здесь среди нас и твои друзья и твои враги». Но кто же враг? Кто убил керей Накжана? Если бы мудрый Манай точно знал убийцу, он давно бы назвал его и сам бы осудил его перед всеми. В таких случаях он бывал беспощаден. Как же быть теперь?

Люди стали зорче, бдительней. Старались не оставлять без внимания все поступки друг друга. Только женщинам было не до долгих и томительных размышлений. Не успев отдохнуть час-другой, они тут же решили перестирывать все, что подавалось стирке. Они торопились. Ведь неизвестно, что на уме у Маная, вдруг завтра снова в путь... Нужно запастись мясом, прокоптить и провялить его на дороге. Всех, кто может подстрелить уток, диких гусей и добить сайгаков, они погнали на охоту. Только Томан остался вместе со стариками — в юрте Маная и Алпая. Горю молчаливого Томана сочувствовали все, и все уже знали, что стрела, которой был убит Накжан, хранится у него, и что он сам сказал: это джунгарская стрела. Он, пока добирался до Балапанколя, тайком заглянул в колчаны всех, кто был в караване Маная, и ни у кого не нашел таких стрел — с наконечниками-шестигранниками. Но откуда в тугаях Алтынколя мог появиться одинокий джунгарский стрелок? А если он и мог появиться, то куда исчез? Ведь кругом было пламя. И люди и звери могли спастись, лишь выйдя к берегам великого Алтынколя по тем же тропам, по которым выбирались они. А еще — куда же девался этот дряхлый, беспомощный, но в то же время непонятный Табан?

Вопросов и сомнений было много, но никто, даже сам Манай, не мог ответить на них...

Первым с охоты вернулся Каражал. Он привез тушу сайгачихи, молодой, яловой, откормленной. словно не существовало для нее страшного джута и опаляющего летнего зноя. Женщины были довольны. Одно удовольствие готовить такое нежное мясо. Они наперебой хвалили Каражала. Нашелся-таки храбрый жигит и удачливый охотник-кормилец.

Каражал, принимая как должное лесть женщин, расседлал коня, вытер пучком травы вспотевшую спину и грудь скакуна.

— Моя сила в моем вороном. Нужно проехать, охладить его, искупать, чтобы он и завтра на охоте не подвел меня, — он взял коня за повод и, мельком взглянув в сторону юрты

Маная, ушел подалее от людей, скрылся в зарослях тростника.

...Берега Балапанколя были пологими, заросшими травой, тростником. Здесь не было ни саксаула, ни облепихи. Попадались лишь редкие кусты шиповника и песчаной акации. А кое-где берега были совсем голые, усыпанные мелкой галькой или золотистым, нагретым на солнце песком. Густыми зарослями караганника, терскена и таволги наполнилась степь, лежавшая к юго-востоку от Балапанколя, а пространство между Алтынколем и озером-птенцом было пустынно, и только редкие кусты колючек нарушали его однообразие.

Балапанколь лежал, словно малыш на груди у своей великой матери — Алтынколя. И сейчас, когда солнце, одолев свою дневную дорогу, готово было уйти на покой, великое море сверкало, лаская его последние лучи. Золотистые блики были видны далеко вокруг. Но Саня не могла наслаждаться этой красотой. Стреножив коня, она углубилась в заросли. Благо, жара и засуха сделали свое дело: почва под ногами была твердой, а трава от густой тени и близости воды стала сочной, мягкой, прохладной. Она бродила среди гнездовой птиц, намереваясь подойти к прозрачным водам Балапанколя в таком укромном месте, чтобы ее ниоткуда нельзя было увидеть. Наконец девушка нашла подходящее местечко, сняла доспехи, выстирала рубашку, повесила ее сохнуть на тростники. Ей и в голову не приходило, что белизна рубашки может привлечь чье-то внимание. Оставив свои доспехи и трофеи — подбитого селезня и дикого гуся — возле стреноженного коня, она вошла в воду.

За день вода нагрелась, но здесь, в тени тростника, она все же сохраняла прохладу. Саня не умела плавать. Стоя по грудь в воде, она умыла лицо, расплела косы и вымыла волосы. Вдоволь насладившись прохладой, выжав волосы и раскинув их по плечам, чтоб быстрее высохли, Саня вышла на берег, осторожно ступая босыми ногами по траве. Она сняла с тростников рубашку, но не стала надевать ее. После купания девушка чувствовала необычайную легкость. Ей не хотелось натягивать мужскую одежду, кольчугу поверх платья, не хотелось вновь скручивать волосы, чтобы спрятать их под шлемом. Свободно дышала грудь. Усталость как рукой сняло. Ей не хотелось сейчас возвращаться туда, на стоянку, слушать жалобы людей на судьбу. Она с удивлением отметила, что уже реже вспоминает о Кенже.

Хотелось побыть одной. Расстелив потник и подложив седло под голову, она решила немного помечтать перед заходом солнца под тихий шелест тростника и предвечерний гвалт птиц. Глядя в бездну неба, окрашенную алыми лучами догорающего солнца, она не заметила, как рядом с ней оказался Каражал.

— Вот мы и одни... — Она, услышав его голос, подняла голову, села.

Глаза Каражала показались ей темнее обычного. Он не мог отвести взгляда от ее груди. Ей хотелось вскочить с места, прогнать незваного гостя или уйти самой. Но она не сделала ни того, ни другого. С необычным для нее спокойствием в голосе спросила:

— Так что же ты стоишь?..

Каражал стоял от нее шагах в пяти, и, когда он самодовольно сказал: «Не торопись», — отбросил в сторону камчу, расстегнув пояс, на котором висел кинжал, и с ухмылкой, сверля ее своими недобрыми глазами, шагнул к ней, Сания схватила свою короткую саблю и бросилась в воду.

— Ни шагу дальше!

Каражал растерялся, расстегнутый пояс упал к ногам. Быстро подобрал его и вновь застегнув, жигит негромко рассмелся и сел на ее одежду.

— Буду ждать. Ты хороша в воде, как разгневанная лебедь. Ну а я... Я все же дождусь тебя. Смотри, чтобы камыши не окровавили твое лоно раньше времени.

— Молчи и убирайся. Я не шучу. Позову на помощь.

— Зови, если у тебя нет стыда.

— Это ты говоришь о стыде?! Мне нечего стыдиться своей наготы перед своим аулом. Я его дочь. Эй-и, люди! — крикнула она.

— Тише ты, бешеная кобыла, заткни глотку! — Каражал вскочил с места. — Все равно не уйдешь от моих когтей. Сегодняшняя ночь — моя! — пригрозил он, исчезая в тростниках.

Напряжение улеглось. Вернулось спокойствие. Сания оделась, прислушиваясь к негромким голосам птиц. Вода вновь освежила ее. Она давно не испытывала такого состояния успокоенности и какой-то блаженной усталости.

Закатные лучи солнца уже далеко отбросили косые тени от тростников. Собственно, теней уже не было, они быстро сливались воедино. Солнце вошло в объятия Алтынколя.

Она медленно поднялась с места. Привела волосы в порядок и туго скрутила их сзади. Стальная пластина на затылке шлема укрыла волосы, и она вновь обрела вид молодого красивого сарбаза. Только не по-юношески мягок был ее взгляд да и в уголках губ затаилась спокойная улыбка.

— Что-то заскукала, уединилась наша баловница, а тут уже готовы были искать, думали: где же она запропастилась? А она, выходит, не отстает от мужчин, тоже добычу принесла, — такими словами встретила ее одна из словоохотливых старушек, когда Сания вернулась на стоянку.

— Даже в такое время нет спокойствия твоему языку, — прищипнула на старушку другая и тихо добавила: — Не знаешь, что ли? По Кенже ее горе. Вот и тоскует. Жаль славного жигита...

Лицо Сании потускнело, когда она услышала имя Кенже. Но никто не заметил этого.

— Дочка, придется тебе угощать ужином аксакалов. Манай уже спрашивал о тебе.

Огромную деревянную чашу, наполненную мясом, Сания внесла в юрту Маная.

— Молодец, дочка. Мы уже совершили вечерний намаз и готовы к трапезе.

Пока Сания готовила дастархан, старики, а вместе с ними и Томан, вышли, чтоб помыть руки перед ужином. Развязав стоявший в углу курджун, она достала горсть прошлогоднего курта и положила в большую пиалу, наила туда кипяченой воды, чтобы растворить курт и, смешав со свежим бульоном, приготовить любимый напиток Маная. Сегодня не было ку-мыса. Еще не доили кобылиц.

Снимая с кереге мешочек с баурсаками, она увидела стрелу, засунутую между кереге и кошмой, укрывшей остов юрты.

«Почему она не в колчане? Зачем Манай спрятал ее сюда?» — подумала девушка. Она внимательно взгляделась в стрелу и заметила, что та не похожа на обычные, которыми пользуются казахские жигиты. Шестигранная, ближе к тыльному концу сделан тонкий надрез. Кажется, Сания уже видела такую стрелу. «Но где и у кого?» — мелькнуло в голове и забылось. Аксакалы вошли в юрту и расселись по местам. Манай вытащил свой старый охотничий нож с костяной ручкой и передал его Томану:

— Будь хозяином, сынок, нарежь-ка мяса.

Томан осторожно пододвинул к себе чашу с мясом, взял лежавшую поверх громадных кусков дымящуюся голову сайгака и, переложив ее в другую чашу, передал самому Маная.

— Аксакал, благодарю вас за оказанную честь, но когда сидят старшие, мне не пристало нарушать обычай. Вот ваш нож. У меня есть свой.

— Бисмила, — старик принял чашу.

Томан начал нарезать куски мяса. А Манай осторожно отрезал сайгачьи уши и передал одно Томану, другое Сании.

— Вам еще не мешает внимать мудрости старших...

Сания молча приняла угощение. Мельком взглянула на Томана. Тот, кажется, улыбнулся.

— ...Ты говоришь, что это джунгарская стрела. Видать, такая стрела сразила и моего сына, — эти слова, продолжившие разговор, заставили девушку встрепетаться. Подняв голову, она увидела, что Манай держит в руках стрелу.

— Сын мой, если поможет аллах, то убийца не уйдет от нас. Все в руках бога. Что предписано судьбой, того не изменить, аллах сам ведет нас к победам и поражениям, к радости или печали. Ты должен забыть о мести, забыть, пока не знаешь, над кем нужно занести меч возмездия. Быть может, твои знания помогут нашим батырам одолеть джунгар. Ты должен дойти до них, найти ставку наших ханов, найти батыра Богенбая и передать им все, что узнал ты в шатрах джунгарских владык. На рассвете кони будут готовы в дорогу. Я дам тебе

проводника из своих людей. Он будет верным помощником. Вы объедете великий Алтынколь, преградивший нам дорогу в Сарыарку. Выберите путь покорооче. Есть переход: длинная песчаная коса, отделяющая соленую воду Алтынополя от пресной. Оракбай проведет тебя по нему, а дальше вы попадете на пастбища вблизи Чингизских гор. Там живут аулы твоего племени — керей. Ты знаешь об этом. Но узун кулак доносит, что нынче туда прибыли тобыктинцы во главе со своим молодым и властным бием Кенгирбаем. Кто бы вам ни встретился, я уверен, они укажут тебе дорогу к батырам, собирающим сарбазов против джунгар.

— Иншалла, я провожу тебя через песчаную косу Узуна-рал, — вставил Оракбай. — Провидцы нужны нашим батырам.

Ужин подходил к концу. Вместо кумыса подали напиток из тертого курта.

— Сон — лучший лекарь перед дорогой, — сказал Алтай.

Когда Саня направилась к выходу, чтобы покинуть юрту Маная, отец сказал вслед:

— Дочка, приготовь мой курджун, иншалла.

...Как только стемнело, пришел отец. Взял свой курджун.

— Положила пару лепешек, несколько куртов и кусок вареного мяса, — объяснила Саня.

— Хватит. А если не хватит, то здесь, в степи, много дичи, а в озерах рыбы. Дай немножко соли. Мы скоро вернемся, дочка. Отведу жигита к батырам и вернусь. Я найду вас, куда бы вы ни перекочевали. Поможет аллах, увижу батыров, о которых в степи идет добрая слава. Увижу, вернусь и расскажу о них Манаю... А ты, дочка, будь осторожна. Береги себя. Слышишь? Даже среди нас есть волки. Пусть аллах защитит тебя. Береги себя, будь ближе к Манаю. Он любит тебя, как родную дочь... Ох-х, наказание аллаха, мне уже пора, — вздохнул старик и своей колючей ладонью неумело погладил дочь по голове. Он волновался. — Ну, вот... хорошо. Темнота какая, — открыв полог юрты, отец растворился в темноте. Когда полог закрылся, струя воздуха чуть не погасила светильник.

Саня осталась одна. Волнение отца передалось ей, постепенно ею овладел страх. Она вздрагивала от каждого шороха. Раньше такого с нею не случилось. Она впервые ощутила острую, тоскливую боль — боль одиночества и страха. «Осталась совсем одна, одна на всем белом свете — ни отца, ни Кенже».

Вспомнилась угроза Каражала. Стало еще страшней. Она боялась ночной встречи с ним. Забилась в угол, сжалась в комочек на груди старых одеял и подушек, не сводя глаз с дверного полога, боясь резких вспышек лучины, вздрагивая от каждого шороха.

...Каражал вошел в юрту совершенно бесшумно. От страха девушка не смогла произнести ни слова. Отбросив шлем и не гася лучину, он грубо схватил ее за плечи своими словно от-

литыми из железа пальцами. Она вырвалась из его рук и как кошка вцепилась в остов юрты.

— Отец, отец идет! — крикнула Саня неожиданно для себя.

Он отпрянул назад. Она схватила кинжал.

— Ты трус. А корчишь из себя льва. Уйди прочь!

— А где твой отец? Куда он ушел? — Каражал понял ее хитрость и медленно пошел к ней.

— Не будет и завтра. Он ушел проводить Томана. Они уехали в ставку батыров. Томан провидец. Он хочет поведать батырам мысли джунгар, чтобы наши сарбазы смогли понять все хитрости твои и джунгар!.. — внезапно вырвалось у нее.

Лицо Каражала стало бледным, злым. Он не старался скрыть своего гнева. Неожиданно выбил кинжал из ее рук и схватил ее за горло.

— Говори, говори, пастушья сука, возомнившая себя красавицей! Говори все, что знаешь!..

— Ничего я больше не знаю! — Саня вырвалась из его рук и отступила к выходу. — Не двигайся с места, иначе я так крикну, что люди разорвут тебя. — Саня прижалась к дверной раме, не зная, как улучшить момент, чтобы выскочить из юрты.

— По какой дороге они поехали?

— Не знаю.

— Давно они уехали?

— Давно. Тебе их не догнать!

— Ну это мы еще посмотрим! — Он остановился у дверей и пригрозил: — Только посмей высунуть голову из юрты — зарежу! — и исчез в темноте.

Всю ночь Саня не могла сомкнуть глаз. Холодный пот выступил на лбу. Голова разболелась от страшной мысли: «Изменник! Предатель!» Впрочем, не сейчас родилась эта мысль, она и раньше чувствовала, что Каражал не тот, за кого выдает себя и за кого принимает его Манай. Чувствовала, но не думала об этом. Она просто, как женщина, ждала встречи с ним. Не сердце было виной тому, а желание хотя бы минутной ласки. Ведь она не святая, она как все женщины степи, которые привыкают к простоте и грубости нравов. Только один человек считал ее чуть ли не святой, только один Кенже любил ее, боготворил ее, и она старалась быть в его глазах именно такой — чистой, недоступной. А если сказать правду, ей нравилось играть, наблюдать, как теряется и краснеет Кенже при встрече с ней... «Эх, эх... Кенже, Кенже, ягненок мой, и на кого я тебя чуть не променяла?! На врага твоего! А может... может... о, упаси аллах. Нет! Казни меня! Казни! Может, он убийца — твой убийца!» Саня вцепилась в волосы, чтобы заглушить рыдания, уткнулась в подушку.

Да, он настоящий убийца! Она видела его стрелу — стрелу убийцы. Она висит на стене у Маная. Это та самая стрела с надрезанным концом, которая находилась в колчане Каражала. Она заметила эту стрелу тогда, когда тот проклятый

старик, загадочный Табан, рассказывал свои сказки, страшные сказки о коварной царице Ануле. Это он, Каражал, убил Накжана и теперь, как кровожадный шакал, поскакал по следам Томана. Но с Томаном уехал ее отец! Каражал догонит и убьет их...

Что же делать?! Бежать к Манаю... Рассказать ему обо всем. Но как? Как убедить его, если он спросит: права ли ты, дочка? А откуда ты узнала это? Сказать правду?.. Нет! Дед Манай слаб. Он не вынесет такого удара, он любит ее, как дочь, как подругу своего любимого сына Кенже.

Опять вспомнила слова Табана об Ануле. Страшные слова. Но Табан был прав. Сама Саня сейчас коварнее Анулы... Она стала сообщницей джунгар... Она такая же убийца, как Каражал. И пожар и убийство — это плоды ее измены. Она поведала вражескому лазутчику тайну Маная. Но почему за ее грехи, за ее предательство страдает весь аул, весь их род, который вскормил ее, любит и балует ее?!

Она сама должна найти выход из этого ада. Она догонит Каражала. Убьет его или умрет сама. Она больше не вернется в этот аул, которому причинила столько несчастий. Саня быстро оделась. Натянула кольчугу и шлем, проверила тетиву, острие стрел, лезвие сабли и, оседлав коня, на рассвете покинула аул...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Прошло два года с тех пор, как Кенже оставил свой аул где-то в песках близ мутной и многоводной реки Аккуйгаш. Два года назад отец послал его как гонца к батыру Малайсары. Вместе с ним был и друг отца — Сеит. Славный Сеит, пусть земля на его ложе будет мягка как пух. Это он отводил смертельные удары джунгар в самой первой и самой страшной для Кенжебатыра битве. Именно тогда, после той битвы, Малайсары назвал Кенже «батыром», а потом так и пошло — Кенжебатыр.

Младший сын старого Маная оказался удачливым, он остался среди последней сотни жигитов Малайсары, сохранивших жизнь, хотя после битвы в ущелье за Алтынэмедем джунгары не отставали от отряда казахов, не давая передышки, то и дело загоняя в западни. Почти месяц им приходилось скрываться в горах. Они дошли до вершины Актау, что высится над глухим ущельем Текели, переправились через горные реки, а потом, после отчаянной драки с отрядами джунгар в песках у горы Матай, прорвались к Чингизским горам; вели неравный бой на берегах реки Шаган и, воспользовавшись ночной темнотой, оставив вконец исхудавших и обессиленных коней, несколько суток укрывались в пещере Святого Коныра; с помощью жигитов из племени тобыкты, бежавших в эти края с берегов Зайсана под предводительством своего вождя — бия Кенгирбая, им удалось отбить табун коней у джунгарских воинов-табунщиков и умчаться в степь Сарыарки, слиться с сарбазами батыра Санырака из рода тас-журек...

Санырак собирал одиноких мстителей, чтобы сполна расчитаться с джунгарами за свои сожженные аулы, за угнанных в неволю сестер и братьев...

Кенжебатыру не удалось найти своего отца, свой аул, скитающийся где-то в степях вокруг Алтынкола.

Малайсары уже не мог, как прежде, вести жигитов в бой. Копье врага ранило его в левую ногу, вражья сабля рассекла мышцы правой руки. Раны долго не заживали, и потому он сам привел своих людей к Санырак-батыру. Санырак встретил его как друга и брата, как прославленного воина.

Шатры и юрты сарбазов Санырака были укрыты в небольшом, обильном водой и травой урочище, окаймленном мелкими сопками и лежавшем вдали от людных троп и дорог. Время от времени самые нетерпеливые жигиты, составив сотню, с согласия Санырака под покровом ночи углублялись в степь на сотни верст, совершали неожиданные налеты на стоянки и обозы джунгар, освобождали пленных, вселяя тревогу и страх в сердца джунгарских тысячников. Чаще других такие сотни возглавлял молодой Кенжебатыр. Санырак и Малайсары трижды вместе выводили своих жигитов на бой с отдельными туменами джунгар, разбойничавшими в степи, и трижды джунгары, оставив на поле сотни своих наемников, бежали в ставку своего владыки — принца Шона-Доба — брата Галдана Церена и второго сына Цевена Рабдана.

С каждым днем увеличивались ряды сарбазов. Жигиты приводили с собой все новых и новых людей. Иные приходили в одиночку, другие — группами. У каждого десятка был свой вожак, обычно лихой и смелый жигит, жаждущий мести за несчастья, принесенные захватчиками ему и его роду. Иногда приходившие пригоняли отличных скакунов, отбитых у врага, а то и пленных.

Молва о том, что три батыра, сыны трех разных родов — болатшы, басентина и тас-журек, стали братьями и вместе бьют джунгар, шла по степи, радуя сердце каждого казахаскитальца. Об этом сообщали и пленные. Санырак вместе с Малайсары допрашивал пленных. Сопоставляя рассказ одного с тем, что поведал другой, батыры всегда точно определяли передвижение передовых сотен джунгар по степи. Нередко пленные сообщали о тайных связях того или иного казахского султана или бая с тысячниками джунгар, о тех, кто перешел на сторону врага со своими туленгутами, табунами и аулами. Случалось и наоборот: главари, сотники или десятские джунгар, оскорбленные несправедливым, на их взгляд, дележом добычи или поддавшись чувству давней родовой вражды, переходили на сторону казахских сарбазов. Так среди джигитов Санырака оказалась ойротская сотня.

Все смешалось в степи, и часто невозможно было понять — где свои, где чужие. Одно было ясно — жертвой и пришельцев и своих изменников становились мирные аулы. Их обирали дочиста, убивали всех, кто сопротивлялся, на стариков и детей не тратили пуль и стрел — их сжигали в юртах или оставляли в степи без пищи, одежды и крова.

Юношей и девушек под охраной отправляли в Джунгарию, а оттуда — на невольничьи рынки Китая.

Постепенно умножая число своих сарбазов, Санырак совершал неожиданные налеты на объединенные тумены джунгар, где было по две, а то и по три тысячи сабель, отбирал у них добычу, освобождал пленных и быстро менял свою стоянку. Никто, кроме его самого, Малайсары и Кенжебатыра, заранее не знал, где завтра состоится встреча с джунгарами и где послезавтра раскинут они свои шатры и юрты. Все жигиты имели по одному, а то и по два запасных коня.

Сарбазы-мстители словно ветер носились по степи. Им была известна в ней каждая тропа, каждый ручеек, каждый колодец. Но где бы они ни проходили, всюду примыкали к ним новые люди — то одиночки, затаившие злобу на своего хозяина-богача, то беглецы из родных краев — казахи из разных жузов, разных родов. Среди сарбазов появились и русские, невесть где оставившие свою семью, свой очаг, бежавшие от гнета своих владык.

Конница Санырака разрасталась на глазах...

Тысячники джунгар тщетно пытались напасть на ее след. Они лавиной проносились по мертвым аулам. Часто им казалось, что великая Казахия вконец разгромлена, что в степи больше нет силы, которая бы противостояла им. Но хозяева степи то и дело появлялись — неожиданно, словно из-под земли, наносили урон, вселяли страх и вновь исчезали, не принимая боя с главными силами джунгар. А в конце лета, не дожидаясь осенних дождей, батыры увели своих сарбазов в глубь степей, повели в Бетпақдалу, куда еще в прошлое лето, спасаясь от джунгар, покинув богатые леса, луга и озера Кокшетау, переместилось могучее, но давно утратившее свою воинственность племя аргынов. Но здесь сарбазы пробыли недолго, Санырак не доверял вождям аргынов.

Малайсары молчал. Лишь раз, за вечерней трапезой он как бы невзначай обронил:

— Где-то ходит батыр аргынов Богенбай. Народ славит его. Говорят, он молод, но спокоен и мудр. О его бесстрашии слагают песни.

— Брат мой, разве ты слышал, чтобы у аргынов рождались батыры?.. Если их не было раньше, то где же им взяться теперь... Хваленый Богенбай, видать, не стоит и твоего мизинца. Аргыны мастера распускать слухи и сочинять легенды. Песни и сказки, ворожба и костоправство — это их стихия. Они звездочеты и сочинители. Разве ты не знаешь пословицу: «Кипчаку и найману дай в руки булаву и выставь против врага, а аргынам вели сказы слагать...»

Малайсары не ответил. Он как-то необычно, с тоской и удивлением посмотрел на Санырака и опустил голову.

— Тебе видней, мой брат... Я уже не тот воин, что может решать распри наших племен...

«Лев превратился в вола», — подумалось Кенже, когда он услышал эти слова. Юноша тут же покраснел от своей мысли, постарался скорее забыть услышанное в этот вечер. Упрямство Санырака ему было не по душе. Сердцем он был на стороне Малайсары, но как младший из батыров молчал, не вмешивался в споры старших.

Запасшись на зиму, они укрылись от глаз своих и чужих где-то в песках. Тысячники джунгар так и не смогли заманить их в свою петлю. Одолеть сарбазов не помогли даже пушки великого хунтайджи...

...На этот раз зима оказалась на редкость мягкой. Подножного корма для коней было вдоволь. Санырак и Малайсары всю зиму готовили жигитов для будущих битв.

Санырак никогда не снимал кольчуги и шлема. Говорили, что у него нет правого уха, что во время первой битвы, когда под его белым знаменем — на котором вышит человеческий глаз, а к острию древка прикреплен пышный конский хвост, — было всего лишь тридцать храбрецов, джунгарскому сотнику удалось полоснуть батыра саблей.

Кенжебатыр никогда не видел Санырака без шлема. Санырак снимал свой шлем тогда только, когда ложился спать.

Каждое утро батыр раньше других садился на своего черного гривастого скакуна и вместе с Малайсары и Кенжебатыром объезжал лагерь, поднимал сарбазов и выводил их в степь.

Начиналась конная борьба. Скинутые с седел продолжали схватку на земле или же учились вести бой со всадниками. Выявлялись лучшие стрелки из лука, мастера сабельного боя, обучались прыгать с коня и садиться на коня на полном скаку; учились не только ловко владеть пикой, но и умело защищаться. В походной кузнице готовили пики, закаляли лезвия сабель, кузнецы научились делать свои самострелы — ружья (порох доставали из обозов джунгар).

Малайсары всегда с грустью наблюдал за жигитами со стороны. Он уже не мог, как прежде, владеть мечом, пикой, палицей или пустить стрелу из лука. Раны зажили, но правая рука не покорялась ему, как раньше, пальцы ее не разгибались. Веселье в его глазах появлялось лишь тогда, когда жигиты выходили на охоту.

Во время охоты главным был конь. Он настигал лису или волка, и тогда Малайсары левой рукой пускал в ход шестигранную плетку, на кончике которой был кожаный мешочек с тяжелым куском свинца. Одним ударом Малайсары валит волка.

Кенжебатыр всегда неотступно следовал за Малайсары, всегда старался быть рядом с ним и помочь ему в нужный момент.

Однажды во время охоты Санырак заметил, как Кенжебатыр на полном скаку схватил за шею волка, подбитого Малайсары, и забросил его себе поперек седла. Волк был

еще жив, и Кенжебатыр добил его в седле. Когда возвращались на стоянку, Санырак и Малайсары ехали рядом, впереди Кенжебатыра.

— Ты счастлив, Малайсары,— услышал Кенжебатыр голос Санырака.— Иметь такого смелого, преданного и неразлучного брата, как Кенже,— это воистину счастье.

Санырак с улыбкой оглянулся. Он был, как всегда, в утепленном шлеме, короткая густая черная бородка ровно укрывала подбородок, усы аккуратно подобраны, и немного скуластое, широкое лицо стало сейчас добрым и мягким от улыбки. Кенжебатыр редко его видел таким. Батыр обычно был сосредоточен, суров. Кенже невольно улыбнулся в ответ, но тотчас спрятал улыбку. Не пристало жигиту, да к тому же воину, развесив уши, слушать похвалы в свой адрес.

— Ну что вы, батыр-ага, нахваливаете меня, как девушку на выданье,— произнес он и, придержав коня, отстал.

— Если бы родной брат мой оказался таким, как Кенжебатыр, то большего счастья в жизни для меня бы не существовало. Но этот подлец, опозорив весь род, осрамив меня, с самого начала ушел к джунгарам. Весь прошлый год я жаждал встречи с ним на поле боя, я сам бы покарал его от имени отца и матери, но так и не довелось увидеть этого шакала...— чуть ли не стоном вырвалось у Малайсары.

Санырак молчал. Малайсары впервые вслух говорил о том, что у него есть, вернее, был брат. Он никогда никому не рассказывал ни о себе, ни о своих родичах. Лицо его потемнело, голова склонилась от стыда. Санырак почувствовал неловкость за то, что случайно, по незнанию, причинил боль другу. Но на откровенность отвечают откровенностью.

— Да, тяжкие времена, батыр, ныне роднее родного тот, кто поддержит нас в бою, как друг подставит плечо... Прости, Малайсары, я не знал о твоём горе, и не было злого умысла в моих словах. Аллах свидетель,— проговорил Санырак.

— Кенже — сын старейшины рода болатшы. Младший из пятерых сыновей мудрого Маная,— глубоко вздохнув, вновь поднял голову и, оглядевшись вокруг, произнес Малайсары,— а я из рода басентин, но мы оба, как и ты, принадлежим к великому племени найманов, так что мы единоутробные по предкам нашим, а значит, и братья кровные, как и все племена казахов Младшего, Среднего, Великого жузов. Теперь от нашего единства зависит жизнь, судьба всех казахов.

— Правда твоя, батыр. Нынче все уже знают, что нет у казахов надежды ни на аллаха, ни на ханов и султанов. Единственная надежда у нас всех — на свой меч. Но сумеет ли воспрянуть народ, собраться воедино...— сказал Санырак.— Прости меня, я не принял твои слова о Богенбай-батыре. Ты помнишь? Но с тех пор многое передумал. Ты прав, брат...

— Народ пришел в себя после ударов джута и джунгар. Опомнился, начал отбиваться и убедился, что джунгары та-

кие же люди, что пушки хунтайджи не так уж страшны, только сильно гремят... И теперь он ищет вождя. Он пойдет не за каждым. Народ никогда не пойдет на смертельный бой, если не поверит в силу и разум вождя, если не заручится единством своих старейшин и не получит их общего благословения... — перебил его Малайсары. Последние слова он произнес твердо, убежденно.

— Да, ты снова прав, Малайсары. Ныне уже все — и стар и млад — говорят о заповедях Тауке-хана, который смог одолеть в битве полчища Цевена Рабдана.

— Но еще никто не сделал первого шага, чтобы восстановить единство. Тауке-хан смог сплотить казахов лишь на несколько лет. А после все пошло, как прежде. Любой хан, любой султан, любой правитель не перешагнет междоусобную черту, каждый готов отдать на съедение врагу своего соперника. Пусть сожгут аул найманов, лишь бы аргынов или коныратов не трогали... А батыры... Немало богатырей появилось в степи. И каждый со своей сотней или тысячей в одиночку кусает то в бок, то в зад джунгар, то ударит по темени. Но одолеть в открытом бою не может... У каждого батыра своя гордость, и никто не хочет переступить черту, стать под знамя другого... Это наша древняя и затаенная болезнь. Хотим мы или не хотим, но истина беспощадна, и она утверждает, что всегда нас били, побеждали за нашу спесь по отношению друг к другу, за нашу алчность, наше упрямство. Распри правителей, междоусобицы — помощь врагу. Ты был прав, мой брат, когда говорил, что кто-то должен унять свою гордыню, идти на уступки. Вот и я думаю: не начать ли это нам с тобой, брат мой Малайсары... Ты пришел ко мне как простой воин, хотя среди батыров ты один из первых дал отпор тысячной коннице джунгар. Ты подобен удалцу Жанатаю. Не пойти ли нам вместе и не призвать к единению сил батыра Тайлака?! Достаточно трех-четырёх переходов, и наши сарбазы смогут объединиться... Скоро лето, надо не ждать ударов джунгар, а опередить их и первыми напасть на них... Что ты скажешь, Малайсары?

— Провидцы говорят, что тысячники джунгар стоят у Шаши в Сайраме, закрепили шатры у Алтынколя. Пошлем гонцов к Тайлаку... — проговорил Малайсары. — Пусть гонцы скачут ко всем батырам, ко всем султанам, пусть народ сам потребует единства ханов... Если ты не против, пусть это дело будет поручено Кенжебатыру. Я скажу ему.

— Кенжебатыр! — Малайсары оглянулся, но не увидел друга. — Где он?

Кенже ехал далеко в стороне в кругу молодых жигитов, недавно появившихся в стане Санырака. Они возвращались после осмотра окрестных троп и дорог. Нигде не заметили ничего подозрительного и оттого были спокойны. По дороге слыхались с теми, кто возвращался с охоты. Кони на ходу жадно пощипывали первую траву.

Кенже с удивлением заметил, что подснежники уже уступают место ранним бутонам диких тюльпанов, что очень пушисты кусты молодого жусана и что вся степь как тонкой шелковой накидкой укрыта чистой синевою весенних трав.

Ранняя, очень ранняя весна нынче, подумалось ему. Да, собственно, и зимы-то по-настоящему не было в этих краях. И весна нынче будет хорошей, богатой травами. Хотя снега было мало, но зато обильными будут дожди — так говорят старые воины, — а это значит, что и лето и осень будут сытными для скота. О аллах, упаси нас от такого джута, как это было в позапрошлую зиму, и от такого зноя, как в тогдашнее лето, и дай нам силы согнать с родной земли джунгар и найти своих родных, говорили старые воины, еще и еще раз напоминая Кенже об отце и о Сании, о родном ауле. Где они теперь? Живы ли? Смог ли отец увести своих бедных сородичей, одноаульцев, подальше в степь, укрыть от врага, найти тот «тихий, спокойный уголок земли», о котором мечтал?

Кенже подумалось, что прошло так много времени — целая вечность — с тех пор, как он не видел Санию.

Всему виной война. Даже миг на войне кажется бесконечным, потому что этот миг — взмах сабли или удар булавой, потому что в это мгновение может оборваться жизнь. На войне в один миг можно потерять не только отца или брата, семью, родственников, но и свой аул, свой род. Кенже вспомнил, как однажды вечером у костра кто-то из воинов, знавших язык кзылбашей, рассказывал о каком-то поэте, который говорил, что люди — куклы, они созданы из земли, и сам аллах забавляется ими как хочет, поиграет, а как надоест, так выбросит человека из игры, чтобы он вновь ушел в чрево земли. Нет вечной жизни, нет вечных людей. Вечна лишь одна любовь, говорил поэт. И самое великое несчастье — это потерять любовь или не знать ничего о ней... Что-то страшное, роковое тайлось в словах поэта. И та щемящая тоска, которая всегда была его спутником с тех пор, как он увидел Санию, и которая сопровождала его даже тогда, когда он был в ауле и каждый день встречал ее, теперь вновь проснулась в нем с новой силой. Последние дни он не находил себе места. Внешне всегда спокойный, сдержанный, внимательный, он стал рассеян, часто, поглощенный своими мыслями, не слышал обращенных к нему слов. Вот и сейчас он не расслышал крика Малайсары.

— Эй, брат, не тебя ли окликают? — спросил его воин, ехавший рядом.

— Кто? — очнулся Кенже.

— Э-э. Ты совсем задумался. Даже не слышал. Видать, немало горя досталось на твою долю. Да только тоска не поможет. Веселей живи, брат, ты еще молод. Вон батыры тебя

зовут, — воин камчой указал вперед, в сторону Малайсары и Санырака.

На казаха не похож, а говорит не хуже любого аксакала, отметил про себя Кенже, еще раз взглянув на воина. Плечист, скуласт, но все же не похож на казаха, волосы светлей и глаза прозрачней...

— Из какого вы племени? — спросил Кенже.

— Из башкир я. Хайдаром зовут. Ищу батыра Таймаза. Говорят, он на Каратау... — услышал Кенже в ответ.

«Таймаз, Таймаз, не слышал я о таком батыре. По степи вот уже второй год идет молва о Богенбае как о самом умном, удачливом, спокойном и смелом батыре; знают люди о вспылчивом Тайлаке, о Малайсары и Саныраке, а о Таймазе... Нет, не слышал о Таймазе. Ну, аллах с ним. Чем больше батыров в степи, тем лучше. Быстрее прогоним джунгар», — подумал Кенже.

— Вы звали меня, батыр-ага? — спросил он, на полном скаку осадив коня возле Малайсары и Санырака.

— Готовь коня в дорогу. Выбирай лучшего в табуне. Возьми с собой жигитов. Завтра будет совет старейшин. Исполнишь волю старших. Жди. Батыров шлют гонцами по самым сложным и важным делам. Удача батыров придает силу сарбазам... — с улыбкой сказал Санырак.

...Попросив подсыпать коню овса из запасных курджунов, Кенже до блеска начистил шлем, ножны, свежим бараньим салом натер сапоги, чтобы они стали мягче, проверил запас стрел в колчане, надел свою стальную рубаху-кольчугу, а сверху накинул короткую абу, сотканную из верблюжьей шерсти. Сарбазы, ведавшие припасами, наполнили каз-моин¹ самым свежим весенним кумысом.

Все готово. Но кого же из жигитов взять с собой и куда держать путь? Санырак еще не сказал об этом. Но не все ли равно — к озерам Кокшетау или к лесам Каркаралы... А быть может, к северным пастбищам Сарыарки или Улытау? Кенже уже надоело топтаться на одном месте. Может, эта поездка наконец станет для него счастливой и он узнает что-нибудь о родном ауле, узнает, где его отец, найдет Санию! Его охватило волнение. Скорее бы дожидаться завтрашнего вечера и узнать, что предстоит. Возможно, его пошлют гонцом к вождем тобыктинцев, кереев или аргынов. Но кого же взять с собой в дорогу? А что, если того, кто говорил о батыре Таймазе? Башкира. Ведь он тоже ищет своих.

Кенже нашел Хайдара и вместе с ним подобрал еще двух жигитов — быстрого, смелого и меткого Лаубая из рода тасжурек и молодого руса, бежавшего от своего повелителя. Тот называл себя Егоркой, а сарбазы звали его просто «рус Жагор», так было легче. Ни в смелости, ни в лихости Жагор никому не уступал.

Когда стемнело и звезды украсили ночное небо, Кенже явился в двенадцатистворчатую белую юрту Санырака. Батыр переселился сюда недавно из крепкого саманного дома, где провел зиму. Стража пропустила Кенже. В юрте на кошмах и коврах, на волчьих шкурах, пододвинув под локоть кожаные подушки, сидело и полулежало человек десять пожилых сарбазов. Большинство из них были воины из рода тас-журек, к которому принадлежал и сам Санырак. Малайсары сидел рядом с хозяином юрты. Кенже отметил про себя, что Санырак сидит без шлема. Но на голове у него была ушанка из тонкой черной материи, которая обычно надевается под шлем.

Огромный дастархан, расстеленный перед гостями, был завален баурсаками, кусками казы, куртотом и комками сахара. Молодой воин разливал душистый чай из железного чайника.

Кирпичный китайский чай из обоза джунгар, подумал Кенже. Ох и ловко же захватили осенью обоз тысячника! Увели вместе с охраной, а следы смыло дождем и заporошило снегом.

Он приветствовал сидящих.

— Иншалла... Старые люди говорят: кто приходит во время трапезы, тот вестник добра. Быть тебе удачливым, — приветствовал его Санырак.

— Мы готовы в дорогу. Куда путь держать, батыр? — спросил Кенже, поблагодарив за приглашение к дастархану.

— Я слышал, что на Каратау собрались лучшие кузнецы казахов из всех жузов и вместе куют мечи и ружья... Я слышал, что все три великих старца — Толе, Казыбек и Айтеке — три верховных бия трех жузов — собрались в Ойном ауле на берегу Сырдарьи; я слышал, что тысячники джунгар, захватившие Туркестан, Сайрам и Шаш, ныне не могут без страха покидать городские стены; что у каждого из семи ворот Туркестана стоят по сто воинов джунгар. Люди говорят, что великие бии провели свой совет и послали гонцов ко всем ханам, требуя исполнить волю народа — слить воедино силы сарбазов. Идет по степи молва о славном Богенбай-батыре, птицы на крыльях несут его клич о единстве... — Санырак впервые говорил так долго. Он словно заранее подкреплял свою еще не высказанную мысль. — Правду ли я говорю, аксакалы? — обратился он к старым воинам, сидящим вокруг дастархана.

— Правда твоя, батыр. Говори!

— У него на груди такой же знак, как и у меня, — Санырак своей огромной ладонью поднял висевшую у него на груди массивную круглую золотую пластинку с барельефом льва. — Такой же знак, как и у батыра Малайсары. Вместе с этим знаком народ нам вверяет свою судьбу, как своим верным сыновьям. Эти знаки вожди племени надевают не

всем батырам. И у каждого знака свой символ. На одном изображен лев, на другом — беркут, на третьем — тигр, на четвертом — горный архар. Какой знак у Тайлака?

— Беркут! — ответили воины.

— Лев предлагает беркуту руку, чтоб исполнить волю вождей племени! Ты с нами, брат мой Малайсары?

— Только смерть задушит мою жажду братства и мечту о мести джунгарам. Я с вами, брат. Аллах свидетель, моя обескровленная рука еще тверда.

— Вы слышали, братья? — голос Санырака звучал торжественно.

— Мы согласны с тобой, Санырак. Твоя речь мудра, как речь великого бия!..

— Дат! — перебил всех Санырак. — Не надо сладких речей. Брат Кенже ждет нашего слова. Пусть он скачет к Тайлак-батыру, передаст ему наши слова. Его шатер недалеко. Тайлак в Иргизских степях. Пусть Кенже найдет его. Я слышу гул копыт коней сарбазов Тайлака. Он ведет открытый бой, не боясь джунгар. Теперь джунгары должны бояться нас, они на нашей земле...

— Истина властвует в твоих речах, батыр! — зашевелились старые воины. Забыв о степенности и выдержке, они заговорили, перебивая друг друга, не скрывая радости. Слова Санырака словно сняли с их лиц пелену настороженности, грусти и тревоги.

— Благословим Кенжебатыра в дорогу, — самый старый воин встал с места и раскрыл ладони. Поднялись все.

Кенже стоял перед ними, охваченный торжественностью момента, не чуя земли под ногами, готовый сейчас же, сию минуту выполнить волю этих убежденных сединами воинов, волю всех казахов — волю отца своего — Маная, волю Сании. Ведь если они сейчас живы, то не могут не присоединиться к словам Санырака. Ах, если бы Сания была рядом и видела бы, какая великая честь оказана ему, Кенже.

Он выполнит волю батыров, даже если это будет стоить ему жизни. Ни сотня, ни тысяча джунгар не смогут остановить его на пути к батыру Тайлаку.

— Аминь! — услышал Кенже. Его благословили в путь.

— Я найду батыра Тайлака. И передам ему вашу волю, не забыв ни слова, — он на миг преклонил колени перед старшими. Выпрямился.

— Иншалла, пусть небо поможет тебе. Темнота ночи позволит тебе миновать джунгарские засады...

Кенже мельком взглянул в лицо Санырака, потом Малайсары. Станным был взгляд Малайсары. Он будто безмолвно прощался с ним. Кенже отвернулся, шагнул к двери. Вышел, не удержавшись, заторопился, побежал к своим друзьям, которые, приготовив коней, ждали его в небольшой безлюдной ложбине, в стороне от стана сарбазов, укрываясь от посторонних глаз.

...Ночи в степи прохладны. Но сегодня было необычно тепло, вероятно, от туч, так низко нависших над землей. Все, кажется, сопутствовало гонцам — и темнота и тучи. Одна только беда — как отыскать дорогу в этой тьме? Когда видны звезды — легче, любой казах определит дорогу в степи по звездам. А во тьме степь не подвластна никому. Не определить, откуда всходит солнце и в какой стороне Кааба. Да к тому же никто из жигитов толком не знал, как быстрее добраться до Иргизской стороны — ни сам Кенже, ни Хайдар, ни Егорка. Разве что Лаубай. Он житель этих краев, он из рода тас-журек, что кочует в этих местах. Он знает дорогу в Иргиз, но во тьме и он беспомощен. И все же Кенже согласился с ним — решили пробираться по древней Сауранской дороге вдоль караванного пути к Улытау, который виден был днем за десятки верст. С начала войны по дороге уже больше не ходили, как прежде, многолюдные караваны купцов из России и из Каркаралы и Улытау, из Туркестана, Караоткеля и Хивы. По ней иногда проходили лишь беженцы — порой одиночки, порой целые аулы, бегущие от жестокостей джунгар. Не раз по ней двигались и отдельные сотни, находившиеся под предводительством принца Шона-Доба.

Шона-Доба соперничал с Дабаджи.

Его конница с самого начала по велению отца была направлена от Зайсана на завоевание обширных степей и обильных пастбищ, лежавших севернее Алтынколя и тянувшихся до самого Сейхуна и Жаика. Во всем этом обширном крае не было таких городов, как на пути Дабаджи, чья конница дошла до богатого шелками и золотом Шаша и Туркестана. Все двадцать пять казахских городов захватил Дабаджи. А на долю Шона-Доба досталось лишь несколько старых глиняных крепостей на берегах Иртыша и Аягуза да руины старых городищ на Улытау. Правда, зато здесь, в степи, тысячники и сотни Шона-Доба сразу стали обладателями огромных пастбищ, несметных стад овец, отбили у казахов сотни табунов коней.

Отборные косяки кобылиц Болат-хана достались Шона-Доба. Но что от этого толку, если он не смог овладеть кландами хана и взять в плен самого Болат-хана — властителя Великого жуза. Правда, и Дабаджи не сумел взять в плен ни одного казахского хана, ни одного батыра, но зато он слал повелителю в дар шелка, парчу и бархат. Что же касается пленных жигитов и казахских красавиц, то Шона-Доба отправил их в прошлом году в Джунгарию не меньше, чем Дабаджи.

Чем дальше продвигалась конница, тем все труднее и труднее доставалась джунгарам победа. Да и можно ли было назвать это победой? Не только рядовые наемники, даже тысячники уже не те, что год — полтора года назад, когда они, опьяненные первыми успехами, ринулись в эту бесконечную, но чужую и оттого загадочную и пугающую степь

за наживой. И тогда всем им хотелось вернуться назад с первой же добычей. А сейчас, в эту новую весну, еще труднее стало управлять изголодавшейся за зиму армией. Все меньше и меньше становилось добычи. Неуловимые сарбазы казахов, как волчьи стаи, неожиданно появлялись, сеяли панику, опустошали обозы. Караваны с трофеями и пленными, которые под усиленной охраной Шона-Доба отправлял домой, в Джунгарию, в ставку отца, вот уже несколько месяцев не могли выйти за пределы казахских земель, — исчезли бесследно, где-то в пути попадали в руки мстителей. Более того — уже дважды сотники, хранители добра хунтайджи, возвращались к нему, потеряв всех своих воинов и онемев от ужаса. Под ударами нагайки, под пытками они говорили правду: караван захвачен казахскими сарбазами, а их — сотников — сарбазы оставили в живых для того, чтоб они передали ему, наследнику трона, принцу Шона-Доба, слова... Ха! Какие это были слова!.. Принц, не дослушав, не узнав, где сотники попали в руки сарбазов, всаживал в них кинжал...

Какие-то самозванцы, именующие себя батырами, требовали от него, Шона-Доба, покинуть эти степи!..

...Взобравшись на походный трон, схватившись за золотую голову огнедышащего льва, служившую для опоры рук, положив на колени обнаженный меч с рукояткой, инкрустированной бриллиантами, принц-полководец, одетый в легкую соболью шубу, созвал к себе тысячников и вот уже второй раз приказывал им найти тех, кто осмелился увести караваны, кто посмел произнести столь дерзкие слова о нем. Он торопился скорее покинуть эти края, скорее отвести свою конницу к городам на берегах Сейхуна. Но он не мог идти дальше, не обезглавив сначала столь дерзких батыров. Но где эти неуловимые батыры? Быть может, и нет их вовсе? А быть может, появились предатели в самом лагере принца, среди его слуг и рабов, среди его полководцев...

Тысячники молчали. Вокруг стана, где собралось пятнадцатитысячное войско джунгар, по крайней мере верст на двести — триста все было пустынно. Оставались там лишь нищие аулы. Лазутчики и провидцы возвращались ни с чем. Никто не мог узнать точно, где стоянка батыров Санырака и Тайлака и сколько сарбазов у них. Собственно, одной тысячи хватило бы, чтобы расправиться с каждым из них в отдельности. Но посылать в открытую степь столько войска, не зная, где находится враг, было бессмысленно.

— Кони набрали силу, заждались. Все тумены покинули зимние стоянки, стянуты к твоему шатру, готовы к походу. Люди все чаще оглядываются назад, тускнеют их глаза, они вспоминают о своих домах. Не слишком ли часто ты говоришь об этих недостойных твоего внимания бродягах, мой повелитель? — начал старый косоглазый Дамба — любимец

самого хунтайджи¹, главный советник принца. Он был старшим над тысячниками и командовал всеми туменами войска.— Нас ждут города на Сейхуне, реке, которую казахи называют Сырдарья. Там мы должны объединить наши знамена с бесстрашным великим Дабаджи, и тогда у наших ног будут все красавицы Самарканда и Бухары, а богатства этих городов умножат могущество и славу вашу, мой повелитель. Еще выше станет трон непобедимого и славного владыки — Цевена Рабдана. Мы оставим здесь конницу тысячника Хансаны. Пусть он пронесется со своей тысячей по этой степи, растопчет безумцев, осмелившихся бросить нам вызов. Он догонит нас. Пора в дорогу. Кони заждались...

— Разве ты забыл, как этот наглец Тайлак осмелился назвать нашего солнцеподобного отца трусливым зайцем? Разве ты забыл, что он осмелился сказать, будто наш владыка и повелитель, всемогущий отец наш, перед которым склоняет голову сам богдыхан, когда-то был бит Тауке-ханом. Я не сделаю ни шага с этого места, пока у моих ног не окажутся головы безумцев,— принц впервые так резко говорил с Дамбой. Ему хотелось как можно резче осадить этого старика, который посмел назвать Дабаджи «великим». Ведь не Дабаджи, а он, Шона-Доба, сын Цевена Рабдана и брат Галдана Церена, значит, он, Шона-Доба, великий принц — прямой наследник трона.— Мы даем вам неделю. К ее исходу они должны быть привязаны к моей повозке. Как псов, я поведу их на привязи за собой. Пусть своим воем оглушают степь! Я все сказал!

Тысячники, пятясь, покинули шатер. Остался Дамба.

— Честь и слава нашего владыки для нас превыше всего! Ты, наверное, забыл об этом. Ты стар. Тебе уже пора в постель. Ты боишься подалеже заглянуть в казахские степи, Тайлак и Санырак тебе кажутся львами, живущими в недоступном логове. Найди дорогу к ним. Ступай! Мы подумаем о тебе,— губы принца скривила улыбка, лицо старого советника окаменело, глаза еще больше сузились.

Впервые с тех пор, как хунтайджи назначил его наставником и советником своего младшего сына, он вышел из шатра принца как простой воин, пятясь. Чуть не свалился, споткнувшись о порог. Услышав за собой тихий смех принца, он до боли в ладонях сжал рукоятку кинжала и, кажется, понял, какой гнев принца он навлек на себя. Заметив, что в стороне, как обычно, в ожидании его приказов стоят тысячники, Дамба обрел привычный вид и, пристально взглядевшись в их лица, приказал им следовать за собой.

В тот же вечер, несмотря на близость ночи, из стана джунгар по всем дорогам и тропинкам направлялись в степь отряды конницы, ведомые сотниками. Свирепый Хансана после долгой беседы в шатре Дамбы собрал всех своих сот-

¹ Верховный правитель, властелин у джунгар.

ников и повелел им до заката следующего солнца узнать точное местонахождение главных сил Тайлака и Санырака. Прочесать степь так, как это делали разъезды Чингисхана, чтобы ни один зверь не мог проскочить незамеченным, ни один человек не мог ускользнуть из рук. Пытать всех встречных в степи. В аулах заставить говорить всех от мала до велика. И в первую очередь пытать старцев, которые, решив, что нечего бояться тем, у кого ничего нет, остались здесь.

Уже покидая свои шатры, сотники видели, как пришел в движение весь огромный стан всеильного Шона-Доба. Пламя вспыхнуло на копьях отборной охраны, стоявшей вокруг огромного островерхого шатра принца.

К вечеру загорелись костры, отмечая боевой распорядок туменов. Этого давно уже не бывало, но таков был наказ солнцеликого Цевена Рабдана, и, видимо, сегодня и принц, и Дамба вспомнили о священном наказе. Видимо, не сегодня, так завтра принц устремит свою конницу в поход. Но куда? Вперед, к войскам Дабаджи, или назад, к отцу? О священный Будда, вразуми принца...

В зареве костров, покидая стан, сотники заметили и то, как резко была увеличена охрана боевых коней, набиравших силу на весенних выпасах.

...Всю ночь не останавливались гонцы Санырака. Глаза их привыкли к темноте, к тому же после полуночи с неба спала завеса туч, выглянули звезды. Ехать стало легче и спокойнее. Кенже и Лаубай, взглядевшись в звезды, убедились, что не сбились с пути, не свернули на одну из сотен троп, которые ветвят Сауранскую дорогу. Дорога вела к старым горам, за которыми простираются Иргизские степи, а там не пройдет и дня, как они найдут — в этом они были уверены — прямую тропу в стан батыра Тайлака.

Ехали быстро, изредка перебрасывались словами. Интереснее всего было слушать Егорку. Хайдар все же не так интересовал Кенже и Лаубая — как-никак был своим, единоверцем. А вот что заставило принять на себя тяжкое бремя службы сарбазов Егорку? Какой ему интерес? Россия отсюда далеко, люди здесь иноязычные...

— Люблю коней, люблю волю, — говорил Егор.

Но это все еще не проясняло дела. Кто же не любит хороших коней? За тулпара можно отдать все свое состояние. А кто же из людей не любит свободу? Но ведь как понимать слово «свобода». Когда война, значит — садись на коня, бери меч в руки, иди на врага. Хочешь — в одиночку, хочешь — стань под начало батыра и сражайся, пока твоя голова цела. Но разве это свобода? А когда нет джунгар, нет войны, тогда надо идти к баю, султану или хану, стать их туленгучом, или чабаном, или табунщиком, — кем ни станешь, все равно ты подчинен их воле, а сами они — воле более сильного. Конеч-

но, можно не служить никому. Но тогда придется сделаться разбойником, конокрадом и прятаться ото всех. Что же это за свобода! Да и есть ли в жизни она вообще? Странно говорит Егорка. Но тем интереснее его слушать. Он много знает и много видел и даже понимает язык джунгар. Выходит даже, что он был во дворце самого Цевена Рабдана. Но когда и почему? Все это надо узнать подробнее, решил Кенже. За два года войны он понял, что хорошо надо знать соратника, прежде чем довериться ему. Осторожно спросил:

— Какие же дела заманили тебя в Джунгарию из дальней столицы белого царя и как же сумел ты пройти все народы и пути через великую землю нашу? Не скажешь ведь ты, что не было опросов на дороге и что ты перелетал туда на сказочном драконе?

— Мы не царевичи, чтоб о нас сказки сказывать, — ответил Егорка. — Все как есть скажу. Мое дело плотницкое да кузнечное, чтоб телеги чинить. Вот и взяли меня с собой его высокородие капитан Унковский¹ в свое посольство к зюнгарскому хунтайджи его преподобию Цевену Рабдану. Вот уже пятый годок пошел с той поры. Ехали мы тогда через татар и башкир — то земля Хайдара. Через Волгу — Едиль, через неведомые просторы ваши. Ох и много же довелось увидеть! Хана вашего с Меньшой орды, Абулхаира, довелось увидеть и хана Великой орды Болата. Десять месяцев, считай, добирались от России до зюнгар. Сказать можно так: хоть и наш Христос, и ваш Аллах, и Будда зюнгарский — разные боги, а мужики-то, считай, все одно схоже живут — один у барина землю пашет, другой у бая коней пасет, а третий у хунтайджи и нойонов под плетью пляшет. Вот выходит, что воля-то у тебя тогда, когда под тобой конь хороший и сабля острая в руках. Тут уж ты человек, себя в обиду не дашь. Но самое верное дело, если ты человек к тому же с умением, если бог твой тебя обласкал и хорошее дело тебе в руки дал. Вот мы, русские, бивали шведов под Полтавой, считали: швед он есть швед. А швед — он голова! Видывал я у хунтайджи одного шведа, Ренатом² кличут. Выходит, что мы его под Полтавой в полон взяли, а потом его послали вместе с господином Бухгольцем в компанию по Иртышу, это с согласия вашего Тауке-хана. Он, этот Ренат, земли на бумаге рисовать умел. Я слышал, что ваш Тауке с царем Петром посольство имели, союз замышляли. Так вот зюнгары напали на Бухгольца и вновь полонили Рената, отвели его к своему хунтайджи. А он, оказалось, и пушки лить умел. Вот и повелел хунтайджи дать ему все, что захочет, и людей

¹ Посольство Петра I во главе с И. Унковским прибыло в Джунгарию летом 1722 года.

² Иоган Густав Ренат — сержант шведской армии. В 1709 году попал в плен к русским. В 1715 году попал в плен к джунгарам и пробыл у них до 1733 года, научил плавить железную руду, лить пушки, готовить снаряды, устроил типографию.

под его власть дал, и все оттого, что тот пушки лить умел. Много пушек отлил. И теперь те пушки против нас грохают.

— Видел я эти пушки, когда на битву нас водил батыр Малайсары. Нам бы такие... — задумчиво произнес Кенже.

— Я к тому, что если бог тебе хорошую башку даст да умное дело в руки, то ты уже всем нужен. И царю, и хану, и хунтайджи, — ответил Егорка. Потом добавил: — Авось и я бы служил по сей день господину Унковскому. Человек он был не без доброты, ума большого. Да отослал он меня с обратной дороги в Ямышевский острог. Пакет дал и велел с двумя казаками оный пакет начальнику острога передать самостоятельно. Да зюнгары тайно на след на наш напали. Полонили, пакет отобрали, казаков сгубили, а меня решили к хунтайджи на допрос повести.

«Тебя не тронем говорят. Мы, балакают, в дружбе с царем русским хотим быть, вместе на казахов войной ходить». Да какая уж дружба, когда тебя в полон берут. Плохо дело, думаю. Бежал все-таки. Через месяц до Ямышевки добрался. Сказал, как было. А меня в острог, потом копать землю под частокол заставили. Как кончишь, говорят, так тебя, сукина сына, предателя, назад отправим, в Москву, с конвоем. Выложишь там все как было. А я тут хоть малость воли отведал. Вот и решил — лучше к батыру. Добыл коня и саблю.

Кони, не сбавляя, шли быстрой рысцой. Увлечшись рассказами Егорки, Кенже, Лаубай и Хайдар не заметили, как приблизился рассвет, вокруг посветлело, прохладный утренний ветер бодряще бил в лицо.

— Говорят, что уже подох хан джунгар Цевен Рабдан и на трон уже сел его старший сын Галдан Церен¹. И готовит новые войска, чтобы заслать к нам... — проговорил Лаубай.

Они свернули с Сауранской дороги. Завидев четырех всадников, невесть откуда появившихся здесь и едущих напролом, по бездорожью, оставляя следы на траве, покрытой утренней влагой, тяжело поднимались с места заленившиеся за ночь степные беркуты. Порой пересекал дорогу одинокий волк или стремглав бросались прочь поредевшие за эти годы стада сайгаков.

— Здесь хорошая охота на куланов и на лис, — мечтательно сказал Лаубай. — Да куда-то они нынче подевались.

— Сейчас охота не для нас, — ответил Кенже. — Коням нужен отдых, и самим нам ноги размять не мешало бы.

В небольшой ложбинке они нашли еще не успевший иссякнуть родничок. Расседлали коней, пучком травы вытерли их потные спины и, стреножив так, чтобы не смогли уйти далеко, отпустили. Ополоснув лица водой из родника, закусив из походного курджуна, все четверо с наслаждением растянулись на траве. Наступил день. Лучи солнца рассеялись по зеленой степи, ярко осветив черные скалы Улытау.

Уставшие кони, освободившись от седел, остались стоять на месте, но вскоре голод взял свое, они с хрустом начали рвать сочную зелень. Травы было вдоволь. Вкусной майской травы. Так что беспокоиться о том, что кони поднимутся выше и их кто-то может заметить издали, было не нужно.

— Может, сарбазы Тайлака знают, где конница Таймаза, — мечтал вслух Хайдар. — Найду своих, там хоть в ад пойду...

— Да, жигиты, что ни говори, а все же, если бы не джунгары, никогда не встретились бы мы у этого родника все четверо вместе, — пытался философствовать Егор. Лаубай молчал. Он всегда был молчалив. Кенже лежал, глядя в нежно-синее, чистое утреннее небо. Слушал песню жаворонка, но мысли его были совсем далеко.

Он вспоминал Санию, ее улыбку, ее глаза, ее волосы. Так всегда бывало с ним в редкие минуты затишья, спокойного отдыха. Вот и сейчас, устало закрыв глаза, он видел ее, слышал ее голос. Он шел с нею рядом по этой влажной, мягкой и прохладной траве. Она была босая, как в детстве, в ауле. На ней белое платье, а волосы черные, черные и глаза. Они искристы, эти родные глаза, в них затаился смех. А он в тяжелой кольчуге, со шлемом. Идет с ней рядом, и сабля в серебряных ножнах вочичится по траве.

— Я люблю тебя, очень люблю, — говорит она.

— Я всегда ищу тебя. Ты где была? — спрашивает он.

Она смеется в ответ.

— У нас в стане немало женщин и девушек. Они стреляют из лука и шашкой владеют не хуже мужчин. Но я не вижу их, я ищу тебя, — говорит он. Она смеется.

— Почему ты смеешься? — спрашивает он. — Я унесу тебя на Улытау, на священную гору казахов. Пятнадцать лет назад батыры казахов там дали клятву о единстве. Мы тоже поклянемся. Ты любишь меня?..

— Какой ты глупый. Ведь горы еще далеко. У батыров нет единства, а я здесь... Я здесь! — звучит ее голос. Тонкое белое платье. Цветы обняли ее босые ноги. — Я здесь! Какой ты глупый! Ты, наверное, трус, а не батыр, — говорит она. Платье трепещт на ветру.

Может, она продрогла? Она хочет тепла. Ведь трава сейчас прохладна, да и ветер степной. Ох, какой он недогадливый. Он тянет к ней руки, но она еще дальше, она, кажется, улетит. Нет, она громко, залиvisto смеется, он не может дотянуться до нее...

— Подожди, Сания! Не оставляй меня. Я всю жизнь ищу тебя! — кричит он, просыпаясь от собственного крика. Холодный пот на лбу. Солнце уже поднялось и осветило ложбину. Кенже оглянулся. Друзья спят крепко, с храпом, раскинув руки. Что за наваждение?! Нет. Не от собственного крика проснулся он, а услышал призывное ржание коня. Но где же кони?

Он быстро встал, вышел на бровку ложбины. Кони были недалеко. Они не паслись, а стояли, настороженно вглядываясь то влево, то вправо, нетерпеливо перебирая ногами, стараясь освободиться от крепких пут.

Кенже взгляделся в даль и на краю горизонта увидел длинную шеренгу всадников, скачущих прямо на него. Оглянувшись — и с другой стороны увидел такую же шеренгу. Еще не поняв, что происходит, он стал ловить коней, освободил их от пут и, ведя за собой, с криком побежал к ложбине.

— Вставайте! Вставайте! Джунгары, джунгары идут на нас! — кричал он.

— ...Нам не уйти от них. Они уже близко и взяли нас в кольцо, — сказал Лаубай. — Всем четверем надо мчаться след в след и пробить брешь в строю. По крайней мере двое из нас смогут проскочить.

— Нет, невозможно уйти от такой погони, — опустил руки Кенже. Все четверо уже были на конях и готовы к бою. — Надо живыми дойти до Тайлака. Иначе нельзя. Иначе батыры никогда не сойдутся. Нам нужно остаться живыми.

Придерживая коней, они топтались на месте. Хайдар дважды выскакивал из ложбины и дважды возвращался. Кольцо джунгар сжималось.

Когда джунгарам оставалось всего лишь полверсты до ложбины, четверо жигитов спокойно вышли навстречу им. Впереди ехал Егорка. Он пересел на коня Кенже, накинул дорожную абу Лаубая, заменил свою саблю на саблю Хайдара, ножны которой были инкрустированы дорогими камнями, и теперь выглядел не простым воином, а господином над тремя остальными жигитами. Ехали они мирно, не вынимая сабель. Со стороны можно было подумать, что их нисколько не волнует то, что они оказались в кольце джунгар.

Когда джунгары на взмыленных конях были уже совсем близко и, казалось, вот-вот снесут всех четырех жигитов с коней, Егорка поднял правую руку вверх и крикнул:

— Кто вы такие и где ваш сотник?! Разве вы не верные слуги великого Галдана Церена?

Услышав имя своего повелителя, джунгары придержали коней.

— Кто ты? — прохрипел самый грузный и самый свирепый на вид. По кольчуге, по широкому поясу, с которого свисали кожаные мешочки не то с деньгами, не то с порохом или с резной дробью, по дорогой сабле и длинному ружью, да еще по маленькой тяжелой булаве с железными шипами, а самое главное — по шапке из шкуры красной лисицы, втиснутой в шлем, было видно, что он глава всей этой сотни.

— Я русский гонец. Еду из Астрахани в Тобольск по Сауранской дороге. А это мои проводники — башкирец с Едия

и казахи, состоявшие на службе у ее величества императрицы... Перед кем я стою?

— Мы дети солнцеликого Цевена Рабдана, — прохрипел сотник.

— О, я знаю непобедимого Цевена Рабдана — славного отца великого хунтайджи Галдана Церена и принца Шона-Доба. Наша императрица наслышана об их победах над казахскими ханами. — Егорка об этом говорил так торжественно, что у Кенжебатыра невольно зачесались руки. Он готов был остановить Егорку, но, увидев, как напряжилось тело и побледнело лицо Лаубая, сдержал себя. «Не предательство ли все это?» — мелькнуло у него в голове.

Но выхода не было. Они стояли в плотном кольце джунгар, готовых поднять их в небо на остриях пик при малейшей оплошности. Сотник прошелся долгим холодным взглядом по лицу каждого.

— Бесподобно был мудр и щедр великий Цевен Рабдан. Он всегда был в дружбе с нашим батюшкой царем Петром, — продолжал Егорка.

Не дослушав его, сотник исподлобья взглянул на своих телохранителей, и те внезапно навалились на жигитов и обезоружили их. Связали руки, ноги вместе со стремянем притянули к телу коня.

По приказу сотника джунгары с гиканьем погнали их впереди себя.

Четыре коня с привязанными к седлу жигитами мчались во весь опор — джунгары подгоняли их уколами пик. Кони то сбивались в кучу, то старались скакать врозь.

— Поверили кафиру. Сами себя отдали в руки джунгар, — скрежетал зубами Лаубай.

— Пока мы живы и еще на своих конях скачем, а там видно будет. Может, нас к красивым джунгаркам везут... — старался развеселить товарищей Хайдар.

— Как-никак самого Шона-Доба увидим, а там что бог пошлет. Но знайте, если что — я сложу свою голову раньше вас, — словно оправдывался Егорка.

— А ты что молчишь, Кенже? — крикнул Лаубай.

— Спокойствие и выдержка! — твердо прозвучал голос Кенжебатыра. — Разве, идя на битву, вы не знали, что смерть всегда ходит рядом?

— Но умирать со связанными руками... — сказал Лаубай.

— Не грусти, развяжут, — начал было Хайдар, но тут его хлестнули плеткой по спине. То был приказ молчать.

Кажется, верст тридцать уже прошли. Кони устали. Солнце поднялось высоко. Онемели руки, от непрерывной езды ломило спину, отекали ноги, крепко схваченные и притянутые ремнями к туловищу коня. Но вот пленников загнали в узкое ущелье. Справа и слева были лишь плоские, гладкие, черные, заглянцованные солнцем и ветром скалы.

Жигитов сопровождали пятнадцать джунгар. Старший из них остановился первым. Сошел с коня, заковылял на кривых ногах к кустам чия, на ходу развязывая шнурки кожаных штанов. Вернувшись, приказал ссадить пленников с коней.

Сидя на траве, Кенжебатыр наблюдал, как джунгары перерыли их курджуны. С жадностью выпили кумыс из маленького походного торсука Лаубая, вмиг расправились с кусками вареного мяса и лепешкой, что лежали в курджунах Хайдара и Егорки, и с удивлением развернули алый кусок бархата и увидели дорогой кинжал работы лучших мастеров оружейников-найманов. Этот кинжал Санырак просил передать батыру Тайлаку. Кенже спрятал его в своем курджуне. Джунгары со знанием дела, причмокивая губами, рассматривали узорчатые ножны, рукоятку.

— Это подарок русского генерала непобедимому Шона-Добе! — нашелся Егорка.

Глава джунгар вырвал кинжал из рук своих подчиненных и вновь завернул в бархат, засунул за голенище. Он приказал напоить жигитов из бурдюка.

Лежа со связанными руками, запрокинув голову, пил Кенже протухшую воду, струйкой лившуюся из горловины... Он видел небо, видел облака. К ночи снова будут тучи. Будет тьма. Вот тогда, наверное, они поведут нас в свою ставку, к шатру своего повелителя... «Но далеко ли до шатра?» — с тоской подумал он.

— Пусть кони подкормятся. Двинемся к вечеру, — словно угадывая мысли Кенже, пробурчал глава джунгар.

...Шона-Доба сегодня не хотел ласки. Взмахом тонкого, блестящего опахала он повелел увести двух юных рабынь, которые были отобраны из числа пленниц старой китайкой для сегодняшней ночи. Сняв с них всю одежду, словно кору, она еще с утра тщательно осмотрела девушек, целый день втолковывала им уроки любви и ласки, искупала их в чистой воде и натерла их тела благовониями. Обе рабыни были прекрасны, как белое семя мангустины. Но повелитель даже не взглянул на них. Старая сводница, вот уже много лет знавшая его привычки, собралась было сказать: «Взгляни, мой повелитель». Она ждала удобного случая, но Шона-Доба вновь взмахнул своим опахалом. Это уже было слишком: старая карга вынудила его дважды повторить свой приказ.

— К рабыням ее! Пусть получше присмотрится!

Стражники с готовностью схватили старуху. Она извивалась, кричала. Ведь в юности она была наложницей самого священного владыки Цевена Рабдана — отца нынешнего своего повелителя. Стражники мгновенно заставили ее замолчать и, подняв, понесли вон, извивающуюся, кусающуюся руки.

Шона-Доба не находил себе места. Пока он гнался за проклятыми казаками в этой страшной степи, умер отец. И старший брат — Галдан Церен — уже занял его трон. А тут еще эти неуловимые батыры.

Вчера он решил самолично командовать всем войском и вопреки советам косоглазого тысячника Дамбы, возглавлявшего конницу, повелел собрать все тумены, приказал готовиться в поход. Но куда? Где ставки этих самозванных батыров Санырака и Тайлака? Лазутчики сообщают, что с Саныраком вместе и батыр Малайсары, осмелившийся открыто напасть на тумены джунгар еще в позапрошлом году.

...Пятьсот всадников он отправил в степь еще вчера вечером, приказал ловить всех встречающих, стереть с лица земли все аулы на пути, но узнать, где главные силы Санырака и Тайлака.

Прошел день. Уже десятки пленных приводили к нему, и никто толком не сказал, где эти батыры...

В шатер вошел косоглазый Дамба. Вошел спокойно, как прежде, когда он был главой конницы, когда Шона-Доба не мог обращаться с ним, как с другими тысячниками. Принц был вынужден терпеть его. Но что это, косоглазый Дамба поклонился ему! Поклонился не как прежде, а согнув колени.

— Мой повелитель, здесь тот, кто укажет нам дорогу, яснозорячий провидец, которому дарована одна из тридцати священных пайцз луноликого отца твоего Цевена Рабдана.

— Пусть войдет! — Шона-Доба скрыл свою радость. Он остался в той же позе. Вид его был непроницаем. Он хотел вконец подавить спесь косоглазого Дамбы.

Но еще до того, как он сказал эти слова, в шатер бесшумно, словно привидение, вошел старец в лохмотьях. Вид его вызывал жалость. Ноги обмотаны бараньей шкурой, обвязаны кожаными ремешками. На копне длинных волос — острореврая шляпа из кошмы. Он опирался на сучковатый посох из арчи.

Шона-Доба опознал в нем одного из самых главных провидцев своего отца, одного из тех, от чьих советов и доносов отцу в былые времена зависела не только судьба сотников и тысячников, нойонов и ханов, но и его брата Галдана Церена и самого Шона-Доба.

— Я весь внимание! — изрек Шона-Доба, подражая своему отцу. — Далек ли был твой путь к нашему шатру?

Старец молчал. Отбросив свой посох, он сел в углу и, словно не слыша слов повелителя, начал разглядывать убранство шатра. Шона-Доба следил за его взглядом. Старец удивленно посмотрел на тысячника. Шона-Доба взмахнул опахалом. Дамба покинул шатер.

— Тот, кто говорит, что у него нет вши, у того их две, — загадочно сказал гость. Принц не понял. — Вели принести

халат, мой повелитель. Не пристало верному слуге хунтайджи сидеть в священном шатре в одежде дервиша. Жажду гостя утоли.

...Принц ждал, пока гость, облачившись в новый халат, жадно опустошал чашку.

— Меч принадлежит тому, кто может им владеть, владения тому, кто может их завоевать. Так записано в Коране, в священной книге мусульман, — начал гость. — Ты завоевал эти земли, ты покорил иноверцев. Но легче завоевать, чем управлять. Крепка ли твоя рука, зорки ли твои глаза, верны ли твои тысячники? — гость засыпал вопросами.

Принц молчал.

— Мой повелитель хочет знать, где логово батыров Санырака и Тайлака? Их логово пока лежит по обе стороны твоего шатра, в двухдневных переходах на запад в степных лесах, на юг — за безымянными горами. Твои верные волкодавы — славный Дамба и свирепый Хансана, — как две стальные лапы могучего льва, одним ударом могут сломать их хребты. Спешите, мой повелитель, пока их юрты разбросаны, пока они спесью полны, пока батыры казахов не снюхались друг с другом. Мои слуги поведут тысячников по верному пути. Меч принадлежит тому, кто умеет им владеть, — повторил гость. — Твой меч всегда должен быть отточен. Твое войско похоже на сборище. Надо встряхнуть его, чтобы в головах твоих слуг и рабов, коим доверил ты сабли свои, не копошились мухи сомнения. Только победа придает силу войску. Славный полководец и твой дядя Дабаджи ждет тебя в Туркестане. Шатры его тысячников белеют в Сайраме. Вы вместе одержите последнюю победу над неверными, и эти степи, и города у Сейхуна, и ключи на запад — Шаш и Самарканд навеки покорятся священной Джунгарии... Спешите, мой повелитель! — Гость умолк, закрыл глаза и больше не проронил ни слова. Он ушел в себя. Для него уже не существовало никого и ничего. Он словно слился с шатром и стал похож на тех безжизненных идолов, которым молятся во дворцах и хижинах Джунгарии.

— Я слышал голос мудрого советника луноликого хунтайджи. Тысячу лет ему. Мы исполним его советы, — сказал принц, спокойно глядя прямо перед собой. — Прежде чем призвать тысячников к трону, мы хотим слышать слова непревзойденного провидца о нас. Что говорят в аулах и городах Казахии?

Гость медленно раскрыл глаза.

— Семьсот семьдесят дней прошло, семьсот семьдесят дней солнце всходило с тех пор, как Непобедимый направил свою конницу в казахские земли. Семьсот семьдесят дней идет по степи его провидец. Он был у берегов Алтыноля и Аккуйгаша, в Сайраме и Туркестане, заходил в Отрар и обошел развалины Дженда, видал кару, настигшую непокорных, тысячу смертей... — вновь ожил гость и незаметно умолк

лишь тогда, когда в шатер вновь вошел косоглазый Дамба и передал весть о том, что в степи пойман посланник русов.

— Он едет по Сауранской дороге из Астрахани в Тару, а оттуда в Тобольск. Что делать с ним?

— Мы подумаем, — невозмутимо ответил принц, — а вам повелеваем готовить войско в поход! — Дамба вышел как простой воин. Принц внутренне был рад, что, отдалив вчера от себя на расстояние своего главного наставника, сегодня неожиданно обрел для себя нового, но еще более сильного и хитрого советника — провидца своего отца, который сможет ему открыть дорогу к трону. Теперь можно быть спокойным. Дамба все равно верен ему, он не затаит злобу, он славный воин, и в час, когда это нужно, Шона-Доба снова скажет ему, чтобы он стал рядом с его походным треном. А сейчас он должен внимать словам главного провидца, который может узнать не только движение казахских сарбазов, но и мысли полководцев всей Джунгарии. Надо довериться ему, его советам. Иначе нельзя. Иначе небезопасно, если учесть, что шепоту верного провидца внимает и его брат — ныне великий хунтайджи Галдан Церен.

— С русами надо мир держать. Такова воля победителя! Казахские ханы еще при Тауке на сговор с ними готовились. Надо, чтоб нынче они нашу силу видели, — монотонно сказал гость.

Принц ударил твердым концом опахала в круглую медную пластинку, висевшую на шее золотого льва, которая служила опорой для правой руки победителя. В шатер вбежал глава охраны.

— Введите пленных! Но пусть прежде войдут все мои тыщники!

...Когда стража трона, разомкнув пики, пропустила пленников к шатру, Кенже перешагнул порог вслед за Егоркой, слегка поклонился и стал прямо перед треном, на котором в окружении тыщников сидел располневший не по годам принц Шона-Доба. Шатер был богато убран. В глубине виднелась дверь, там, видимо, были покои принца или потайной ход в другие шатры.

Еще перед входом Кенже увидел две пушки, выставленные по обе стороны дороги, ведущей к шатру. Для устрашения, наверное. Недалеко от входа в шатер, по правую сторону, на подставках стоял огромный барабан, обтянутый бычьей кожей. А здесь, на стенах шатра, он увидел русские мечи, казахские мечи, джунгарские сабли, пики и щиты. Возле трона лежало два короткоствольных ружья. Кенже не знал, что это были шведские пистолы. Он раньше не видел их.

Шатер был устлан дорогими коврами, шкурами барсов, тигров и медведей. В дальнем углу стояла бронзовая статуя Будды, а у самой стены в левом углу сидел молчаливый старец. Он не подавал признаков жизни, у него были густые

седые волосы, черное от загара лицо, полузакрытые глаза. Кенже лишь на мгновение остановил на нем свой взгляд. Но если б он два года назад не покинул вместе с Сеитом свой аул, то и за этот миг он узнал бы в старце бродягу Табана, который, внезапно появившись среди беженцев в ауле Маная, так же внезапно исчез в ночь перед пожаром, охватившим побережье Алтынколя. Но Кенже не мог знать об этом. Он стоял перед тронном владыки джунгар, обескровивших его родную степь, разоривших аулы, кровью заливших землю.

Хайдар и Лаубай были рядом, за спиной Егорки. Прежде чем они попали сюда, их несколько часов продержали в темнице, а потом на солнцепеке. Они видели войско джунгар.

В широкой долине собирались бесчисленные отряды. На определенном расстоянии друг от друга расположились тумены, каждая тысяча могла подняться и выступить по первому сигналу, не мешая другому тумену. Между правым и левым крылом легко угадывались очертания дороги для быстрого передвижения артиллерии. На холмах, цепко окружавших долину, и на вершине горы, у подножья которой скопилась конница, — всюду виднелись сторожевые отряды джунгар.

Жигитов провели мимо грозных пушек, мимо сотен воинов, вооруженных ружьями. Все четверо молчали. Перед входом в шатер принца Кенже вернули бархатный сверток с кинжалом.

— Я подданный и слуга русского царя, послан его превосходительством генерал-губернатором Астрахани к его благородию начальнику Тобольской крепости, — сбивчиво говорил Егорка, напрягая память, восстанавливая в памяти все то, что видел, будучи в отряде Унковского, при подобных встречах. — Бог ведает, какая радость видеть в здравии непобедимого принца Шона-Доба, сына и наследника трона хунтайджи, — Егорка слегка вспотел. Его способности к дипломатической речи на этом исчерпались. Наступила тишина. — Милостиво прошу принять этот дар от меня, — Егорка взял у Кенже сверток и, раскрыв его, на ладонях преподнес кинжал принцу.

Принц слегка улыбнулся.

— Ваше высочайшее благородие! Велите вернуть нам коней и оружие наше. Велите освободить нас, — осмелел Егорка.

— Русская царица нам друг. Ты хорошо говоришь по-нашему. Где ты научился языку? — неожиданно ласково и дружелюбно спросил Шона-Доба.

— Я господина капитана, его благородие Унковского, сопровождал во дворец его солнцеликой светлости хунтайджи, — ответил Егорка. Он не видел, что за ним пристально следил старец, сидящий у стены шатра. — Ваше благородие тогда сидело по левую сторону от трона, — добавил Егорка и неожиданно для себя вытер вспотевший лоб.

Принц мельком взглянул на старца и уловил еле заметный кивок.

— Вернуть гостям их оружие и коней! — повелел принц. — Оказать достойные почести! Пусть до следующего восхода солнца отдохнут у нас...

— Пойманную птицу выпускают, чтоб узнать, где ее гнездо, а зверя, чтобы узнать его намерения. На украденном коне скачут оглядываясь, — сказал Табан, когда Кенже, Хайдар и Лаубай покинули шатер в сопровождении слуг принца. — Я знаю этого руса, он говорит правду, но он не сказал, что он бежал от нас, — он думал, что убежал сам. И сейчас надо, чтоб они думали, будто мы им верим. Выпустить надо их из рук, но не терять из виду. Пусть убедятся в твоей силе и расскажут об этом своим, куда бы путь ни держали — к русам или казахам. Если правду говорит рус, то пусть весть о твоём могуществе, мой владыка, дойдет до их царицы. А если он думал хитростно уйти от тебя, то не надо его задерживать. Пусть за ними следят твои глаза, мой повелитель. — Табан умолк, закрыл глаза. — Это их провидцы, — вдруг твердо, не по-старчески сказал он. — Сам священный Будда тебя благословляет, мой повелитель. Скорее выпускай их из клетки, твой меч всегда настигнет их. Чем быстрее они дойдут к своим батырам, тем быстрее соберут те своих сарбазов в одно логово, и тогда легче будет одним ударом переломить им хребет.

...Уже наступал полдень, когда в войлочный шатер, где были оставлены под охраной жигиты, вошли сразу трое. Один нес оружие, отнятое у них вчера в степи, другой на огромном железном подносе тащил дымящееся мясо, третий, шедший следом, приказал первым двум оставить все и выйти, потом он взмахом руки заставил выйти из шатра и стражников и лишь после этого с заискивающей улыбкой обратился к Егорке:

— Мы исполним все желания русского гостя. Кони накормлены. Ждут. Щедрости повелителя нет предела. Он дарит гостю лучшего коня, чтобы быстрой была его дорога...

— Мы можем ехать? — спросил Егорка.

— О да... Всесильный повелитель наш великодушен, — привычная, ничего не значащая улыбка не сходила с его лица. «Чургучут»¹, — подумал Кенже.

В большой деревянной чаше внесли кумыс. Поставив чашу перед Егоркой, слуга, не разгибая спины, вышел назад, бросив взгляд на чургучута. За шатром раздался чей-то окрик. Не переставая улыбаться, чургучут покинул гостей.

— Что они готовят нам? — допив кумыс, Кенже взглянул на лица друзей.

Никто не ответил. Лаубай взглядом показал на стражника, безмолвно застывшего за открытыми дверями. Чургучут вер-

¹ Маньчжур.

нулся в сопровождении двух воинов. «Видать, сотники», — подумал Кенже.

— Они проводят гостей до дороги! Так повелел благородный и непобедимый повелитель, — объяснил чургучут.

Встав с места, жигиты разобрали оружие и молча, повинаясь жесту хозяина, вышли из шатра в сопровождении двух сотников. Кони были готовы в дорогу. Возле них стояло еще четверо джунгар.

Сели на коней и медленно двинулись за сотниками, четверо джунгар направились за ними.

Шатер Шона-Доба возвышался на самом видном месте. Лучи солнца играли на белом острие опоры, торчавшем прямо в центре крыши. Ниже острия висел пышный черный конский хвост. На опорах, растягивавших углы шатра, чернели треугольные лоскуты знамени. Солнце играло на шелковистой ткани шатра, на щитах воинов. Даже в этот жаркий полуденный час войско строго блюло порядок. Потные, не снявшие боевых доспехов, не расстававшиеся с оружием воины расположились ровными рядами и, образовав одно кольцо в другом, приступали к обеду.

— Такого порядка не было раньше у них, — тихо проговорил Егорка.

— Это в нашу честь, чтобы нагнать на нас страху, — как и прежде, старался шутить Хайдар.

Кони каждой сотни стояли в пять рядов, привязанные к натянутым канатам. У подножья далеких холмов, окружавших стан, паслись запасные табуны. Крытые обозы очерчивали границу каждого тумена.

Жигитов вновь провели мимо пушек, мимо сотен, вооруженных ружьями. Они проехали меж двух туменов и попали в ту часть стана, где находился лагерь для пленных, огороженный телегами и вереницей лежащих верблюдов. Видно, во время похода пленных использовали как грузчиков и погонщиков. Под охраной джунгар они пасли отары овец, отбитых у них же самих, угнанных с пастбищ разоренных аулов; чинили конскую сбрую, копали рвы, укрепляли шатры и юрты джунгар.

Жигиты проехали совсем близко от пленных, изможденных, худых, обросших. Привязанные друг к другу тонкой крепкой волосяной веревкой, они были согнаны в плотную кучу и стояли прямо под солнцем. Двойное кольцо охраны неусыпно следило за ними. А дальше, под навесом из рваных кошм, лежали связанные пленницы. На ночь их разбирали по шатрам и юртам те воины, к которым благосклонно относились их начальники. Порою между воинами завязывались настоящие побоища из-за женщин.

Сердце ждалось от боли и гнева, когда Кенже заметил, как из юрт, подталкивая пиками, одну за другой ведут женщин, истерзанных, полунагих. А других, грубо вырвав из темноты, уводят в шатры и юрты. У Кенже от бессилия затума-

нились глаза, когда внезапно мелькнула мысль, что и Саня может оказаться среди них. В какое-то мгновение он готов был броситься туда к пленницам, располосовав ненавистные лица стражников. Но на его пути стояли здоровенные воины отборного тумена принца.

— Спокойствие и выдержка, — процедил сквозь зубы Лаубай.

Кенже больше не смотрел по сторонам.

...Его воспаленный взгляд блуждал поверх голов людей, он с тоскливой мольбой взирал на небо. Он не знал, куда их ведут джунгары и сколько они уже проехали — пять или десять верст. Но вот они поднялись и спустились с косогора и вышли на дорогу, перерезавшую им путь.

— Это ваша дорога, Кенже встретимся! — сказал один из сотников, ехавший впереди, и, криво усмехнувшись, прищипил коня. Джунгары помчались назад, оставив четырех сарбазов среди безбрежной степи.

— Похоже, что они из нас делают подставных зайцев для охоты на лис или приманку для более крупного зверя. Как ты думаешь, ваше благородие? — первым начал Хайдар.

— Какое тебе «благородие». Башкир ты, башкир и есть. Башка непутевая. Мозговать надо: зачем они так просто нас на волю шуганули?..

— Так ты ведь русский посол — гонец, а мы твои ну-керы.

— Так они и поверили... Кабы поверили, совсем бы по-другому обошлись. А тут — на тебе, разберись, чего они задумали.

— Они вывели нас к той дороге, которая сегодня же должна довести до пределов владений сарбазов батыра Тайлака, — внимательно оглядевшись вокруг, сказал Лаубай.

— Другой дороги нам не нужно. Что бы ни задумали джунгары, мы должны добраться до батыра Тайлака, и чем скорее это случится, тем лучше. — Кенже пустил коня, быстрой рысью, внимательно поглядывая на редкие сопки, маячившие в степи.

...К концу дня, когда от земли до солнца оставалось всего лишь несколько локтей, подъезжая к небольшой речушке, они заметили, как за ними, справа и слева, в зарослях травы мелькнули всадники. Джунгары следили за ними. Они действительно крались за ними по пятам.

Вброд перебравшись на другой берег и не успев проехать версту от реки, жигиты попали в засаду казахских сарбазов, которые приняли их за джунгарских лазутчиков. И кто знает, как бы обернулась эта встреча, если бы среди сарбазов, схвативших их, не оказалось одного из рода тас-журек, приходившегося дальним родственником Лаубаю.

Если раньше в степи порою встречались большие заросли карагайника, таволги или курая, то здесь чаще встречались рощицы. Петляя по тропам, вьющимся то среди осины, то

меж невысоких сосен, миновав три дозора сарбазов, Кенже и его друзья добрались до ставки Тайлака.

Собственно, ставки не было. Было сотни две сарбазов, расположившихся среди кривых берез и тальника вблизи маленького безымянного озера, заросшего камышом и переполненного дикими гусями и утками.

Ярко горели костры, освещающая лица товарищей, расположившихся вокруг. Возле трех одиноких валунов высилась белая юрта, а между деревьев были в беспорядке разбросаны другие юрты и шалаши. Стреноженные кони пугливо похрюпывали в темноте.

Жигитов подвели к одному из костров. Сарбазы, сидевшие у огня, были заняты беседой. Но, оглянувшись на шум шагов, кто-то из них сказал:

— А вот и они, гости наши.

— Пусть говорит тот, кто за старшего! — резко сказал человек, сидевший к ним спиной. Он даже не взглянул на них, а продолжал длинной сырой палкой ворошить костер. Отблески пламени сверкали на его начищенном до блеска шлеме. Он был худощав, строен и, наверное, быстр в движениях. Лица его не было видно, но по статности он казался намного моложе окружавших его степенных, широкоплечих и рослых сарбазов.

— Говори, кто смелее других, — добавил тот, кто первым заметил пришельцев.

— Мы к батыру Тайлаку от его братьев — Санырака и Малайсары, — начал Кенже.

— А я не знал, что славные батыры Санырак и Малайсары живут в шатре кровожадного Шона-Доба. У нас нет времени слушать ваши сказки. С чем пришли? Мы не тронем вас. Если вас Шона-Доба послал узнать наши замыслы, то передайте своему господину: он узнает их на поле брани. Хотя... какие вы послы. Сброд, предатели. Но предатели-казахи — это привычно, а что нужно здесь русскому и башкиру?

— Это мои друзья! Я Кенжебатыр, сын справедливого Маная из рода болатшы. Батыром назвал меня сам Малайсары, первым дерзнувший остановить джунгар, когда другие сберегали свою шкуру, и никому я не в силах прощать оскорбления, даже если это батыр Тайлак! — неожиданно для себя впервые взорвался Кенже.

Человек, сидевший к нему спиной, резко повернулся. Кенже заметил, что его чуть продолговатое скуластое лицо было бледным, из-под черных бровей смотрели молодые, острые, но уставшие от дум глаза.

— Ты смел, я вижу. Но чем ты подтвердишь свои слова?

— Мы попали в плен к джунгарам. Теперь добрались к вам. Санырак и Малайсары предлагают вам единство, предлагают собрать силы сарбазов в единый кулак. Иначе нас растопчут тумены Шона-Доба. Войска джунгар не счесть,

у них пушки. Они снялись с зимних стоянок и стянулись в одно место. Они стояли у северных склонов Улытау. Мы знаем дорогу в их стан.

— Сейчас их там нет, они покинули свое логово вслед за вами. Тебе хочется повести нас в западню! — Тайлак резко встал с места. — Так чем ты подтвердишь свои поступки и слова? Как вы оказались у джунгар? Отвечай! Я ошибся, приняв вас за послов Шона-Доба. Теперь судья вам только меч!

— Я из рода тас-журек, который известен в этих краях, — вышел вперед Лаубай.

— Мы не на купеческом базаре, чтобы вести торги, узнавая кто откуда! — осадил его Тайлак. — Эй, жигиты, позовите Томана! — взгляд Тайлака был суров и не предвещал ничего доброго. Все четверо пленников молчали. Где-то в темноте за кострами послышался топот копыт. Он приближался, и вскоре прямо к белой юрте подскакал молодой воин и соскочил с седла.

— Сюда! — крикнул Тайлак.

— Тайлак-ага! Их конница свернула в нашу сторону. Она медленно шла, огибая Улытау, как страшный дракон, и на исходе дня остановилась, повернув голову сюда. Их много, их тьма, у них пушки! — выпалил юный воин. — Наши дозорные следят за джунгарами. И еще, агатай, я хочу передать, что наших посланцев к Саныраку нигде не видно. Они не возвращаются, — он говорил словно равный с равным, словно Тайлак был не батыром, а всего лишь воином немного старше годами. «Наверное, Тайлаку нет и тридцати пяти», — подумал Кенже.

— Они вернутся к рассвету, — спокойно и уверенно сказал Тайлак. — Смени коня и передай дозорным, чтобы пробрались как можно дальше и неусыпно следили за всем, что происходит в стане джунгар. Надо знать, сколько туменов готовы двинуться сюда. Надо следить за всеми дорогами, по которым могут возвратиться наши. Нам нужно знать, с чем они вернутся. Это может быть или спасением, или гибелью для всех. Смени коня, — повторил он. — Скачи назад. Сна сегодня нам не видать.

— Коня, скорее коня! — юный воин с криком исчез в темноте.

Наблюдая за ним, Кенже не заметил, как к Тайлаку подошел круглолицый, степенный сарбаз с коротко подстриженными черными усами.

— Внимательно всмотришься в этого, — Тайлак ткнул пальцем в Кенже и, отвернувшись, снова подсел к костру. — От твоих слов будет зависеть их жизнь. Не хватит времени и для того, чтоб сварить казан мяса, как мы покинем этот лес. Решай! Он говорит, что знает Малайсары, что вместе с вами был в первой битве, — продолжал Тайлак, не оглядываясь.

Томан взгляделся в лицо Кенже, поочередно оглядел Хайдара, Лаубая, Егорку и вновь всмотрелся в Кенже.

— Нынче жалость нам не друг, а враг. Мы смертники и клятву не нарушим. Скажи свое слово, Томан.

— Я не знаю его, — ответил Томан.

— Тогда пусть отхлещут их и отправят назад к Шона-Доба. А ты, лжебатыр, передай, что мы ждем его у берегов Буланты и Боленты, — Тайлак отвернулся.

— Шагайте! — вынув свой алдаспан из ножен, жигит-охотник указал на отдаленный огонь костра. — Ни слова больше! У нас не плачут и не просят пощады! — отрезал он, заметив, что Кенже вновь собирается вступить в разговор.

— Казахи говорят, что можно отрубить голову, но нельзя отрезать язык! — повысил голос Кенже. — Я принимаю любую казнь, но и вы выслушайте слова батыров Санырака и Малайсары. Мы их посланцы. Они призывают тебя, Тайлак, объединить силы сарбазов. Они готовы вместе с тобою идти в сражение!

— Чем ты докажешь свою правоту? — повторил Тайлак.

— Пошлите гонцов к Саныраку, — ответил Кенже.

— Наши гонцы уже побывали у Санырака, но они по дороге не гостили у Шона-Доба. Мы дождемся их. Исполним твою просьбу.

— Не по своей вине мы попали к джунгарам, — повторил Кенже.

Томан снова подошел к Кенже и, не отрывая взгляда от его лица, спросил:

— Скажи мне, не ты ли как-то в дождливую ночь вошел в пещеру Малайсары за Алтынмелем?

— Рядом с Малайсары был тогда и славный Мерген. Это была ночь перед битвой с туменами Галдана Церена, — ответил Кенже и вновь повторил: — Я сын Маная из рода болатшы, я брат Малайсары и Санырака. Мы их сарбазы.

— Ты выглядел тогда юношей. Годы войны состарили нас, — вздохнул Томан и обнял его. — Меня зовут Томан, я керей. Я тогда сражался вместе с Малайсары, мы кровные братья. Я тогда пробрался к Малайсары из шатра Галдана Церена. Батыр! — обратился он к Тайлаку. — Я готов разделить их участь. Я видел этого жигита на поле битвы. Он говорит правду.

— Верните им оружие. Пусть найдут свое место среди твоих сарбазов, Томан. Назад им пути уже нет. Джунгары захватили все дороги. Они следят за нами. Дождемся своих гонцов и покинем лагерь на рассвете, — сказал Тайлак.

Томан повел гостей в шатер, укрытый за деревьями. По бряцанию оружия, по фырканию коней и по тихим голосам людей можно было догадаться, что в глубине за деревьями сарбазы покидают лагерь.

— Батыр, последние сотни выходят в путь! Осталась лишь сотня для охраны и те, что залегли в дозоре и охраняют подступы, — услышал Кенже чей-то голос за своей спиной.

— Побольше костров, да поярче пламя! — приказал Тайлак. — Всем дозорным разжечь костры!

Только теперь Кенже почувствовал то постоянное напряжение, которым был охвачен лагерь Тайлака. Казалось, Тайлак видит и знает все, что в этот час происходит в туменах Шона-Доба, старается перехитрить его, тайно увести свою конницу, тщательно обманывая джунгар обилием своих костров. Но как же сражение? Раз батыр уводит свои сотни отсюда, значит, он не желает встречи с врагом. Или он ждет чего-то? Что замыслил Тайлак-батыр?

Кенже не решался спросить Томана. А тот как ни в чем не бывало привел их к небольшому, уже догоравшему костру, возле которого сидели двое жигитов.

— У нас найдется чем накормить гостей?

Жигиты взгляделись в незнакомые лица и, встав с места, приветствовали Кенже и его спутников.

Пока хозяева знакомились с гостями и угощали их, все юрты и шатры были разобраны. Бесшумно и незаметно жигиты уносили вьюки подальше в темноту и там за деревьями вьючили коней. Все меньше становилось людей у костров. Томан один остался с гостями.

— Вам придется сменить коней. Скоро и нам пора в дорогу. Останутся лишь дозорные, чтобы поддерживать огонь костров, — сказал Томан.

— Мы не в гости пришли и готовы разделить участь сарбазов или дозорных, — сказал Лаубай.

— Пока мы живы, мы все друг у друга гости, друг другу опора. Что, жигиты, дастархан наш был бедноват? Не беда, — произнес внезапно, подходя к огню, Тайлак. — Сейчас не время для тоя, для ласковых слов и для сна. Джунгары готовятся взять нас в клещи. Гонцы не вернулись. Два тумена Шона-Доба направились в сторону отрядов Санырака и Малайсары. Остальные, видать, считают наши огни. Мы покидаем эти места. Если поможет аллах, то мы встретимся с Шона-Доба вместе с сарбазами наших братьев — Санырака и Малайсары. Я верю, что они поймут нас и не станут медлить.

— Эй, Кураш! Ведите коней! — крикнул Тайлак.

— Я здесь! — донесся голос из-за деревьев, и тотчас к костру выехал воин, ведя на поводу вороного скакуна с завязанным хвостом и с султаном из перьев совы на холке. Подвели коней и всем остальным.

Прежде чем сесть на коня, Тайлак дождался пожилого воина, не спеша направлявшегося к нему от соседнего костра.

Тайлак молча обнялся с ним.

— Если будет угодно аллаху, мы еще свидимся на тое, Тайлак.

— Мы дождемся вас, Татымтай-ага, удачи вам, — голос батыра прозвучал неожиданно тихо.

— Тебя ждут, торопись, пока джунгары не сомкнули коль-

цо вокруг нас. Великой удачи! Пусть само небо поможет нам! Амины! — хрипло сказал Татымтай.

Тайлак вскочил на вороного.

...Под покровом ночи сотня бесшумно вышла из небольшого леса и, растянувшись в длинную цепочку, утопая в густой высокой траве, окутавшей маленькое тихое озеро, по-неслась вслед за батыром на юго-запад.

Уже прошла полночь, когда они, пройдя под яркими звездами верст пятнадцать, поднялись на небольшую сопку. Тайлак остановил коня, поджидая остальных. Взошла запоздавшая луна. В ее серебристом свете один за другим поднялись наверх всадники. Кенже с удивлением заметил, что каждый, кто останавливал коня возле Тайлака, в лунном свете был похож на сказочного батыра. Короткие рукава кольчуг, тонкие копья, холодно поблескивающие шлемы, гривастые кони. Вместе с Томаном он поспешил в круг ночных богатырей.

— Смотрите, — Тайлак показал туда, где остались дозорные под командой Татымтая. Костры горели, как и прежде. И отсюда, с высоты, отдаленной расстоянием, казалось, что там раскинулся огромный лагерь, что он растянулся на несколько верст...

— Нет. Не станет Шона-Доба отдавать приказ окружать такое огромное войско, — рассмеялся Тайлак. — Он соберет все свои тумены, чтобы идти в лобовую атаку, подкрепив ее пушками. Кураш! Проверь, есть ли здесь наши. Почему не слышно их? — обратился батыр к своему оруженосцу.

Юный воин, привстав на стременах, поднес ладони к губам. В ночи раздался крик совы. Все вслушались, даже кони притихли. Кураш повторил крик дважды. Издалека донесся ответный голос совы, и тогда Кураш тихо и протяжно свистнул. Послышался конский топот, и вскоре к сотне подскакал всадник.

— Нас здесь трое. Наши прошли давно. Только что был связной. Передал, что все спокойно. Джунгары не заметили нашей конницы. А еще он сказал, что наши гонцы вернулись. Ждут на крутом изгибе Буланты, где стоянка наших лучников-мергенов. Радостную весть привезли они, Тайлак. Они не могли попасть прямо к тебе. Дорога была перерезана, и тогда батыры Санырак и Малайсары сказали, чтобы один из гонцов остался и повел жигитов прямо к Буланты. Сейчас тысячи наших братьев сарбазов в дороге и под покровом ночи идут, чтоб вместе с нами встретить джунгар.

— Так что же ты не просишь суюнши, мой брат?! — с радостью воскликнул Тайлак и, пришпорив вороного, подъехал к сарбазу и обнял его. — Спрашивай — твое желание будет выполнено! — восторженно говорил он, снимая свою саблю с пояса. — Бери, бери. Твоя весть достойна великого дара.

Тайлак обнял и поцеловал Кенже, Томана, Лаубая, Егорку и Хайдара. И в этой предрассветной мгле, под звездным небом сотня бывалых воинов словно превратилась в детей. Они

бросались друг другу в объятия. Дарили друг другу своих коней, свои мечи и щиты. А те воины, что были постарше, пользуясь темнотою, незаметно смахивали с глаз слезы.

— Тысячу благодарностей тебе, о великий аллах! Наконец-то, наконец-то вместе.

— ...Кто может одолеть нас теперь!..

— Слава аллаху... Дети казахов объединились.

— Скорее, жигиты, мы едем навстречу братьям! — Конь Тайлака встал на дыбы и рванулся с места. — Устроим великий той после битвы. Мы победим! — Тайлак был непохож на себя, он радовался, как безусый юноша, забыв о сдержанности, забыв, что он глава двух тысяч сарбазов, а не простой воин, и его ликование передавалось всем. Как рукой снято скованность и тревогу, которую ощущали все до этой минуты.

— Слава создателю! Не ожидал, не ожидал, даже мечтать не смел о такой радостной встрече со львом нашим, славным и бесстрашным Малайсары. Скоро увижу его. Слава создателю! — повторял радостно Томан. — Есть нам о чем вспомнить. Как много дней прошло после нашей битвы за Алтынэмелем! Как труден, как долог был наш путь в эти края! После битвы за Алтынэмелем я с незабвенным Накжаном попал в пески Алтынколя, спасался в бродячем ауле Маная, — Томан умолк, вгляделся в Кенже. — Постой, ты не сын ли того Маная? Ты же говорил, что отца твоего зовут Манай, что он из рода болатшы?

— Где ты расстался с ними, где они сейчас? — вырвалось у Кенже. Он чуть было не схватил Томана за руку... — Живы ли они?

Томан умолк. Улыбка исчезла. Лицо его вновь стало озабоченным, грустным. Он придержал коня.

Они отстали от других.

— Почему ты молчишь? Что с ними случилось? Говори правду, не скрывай, лучше самая жестокая правда, чем ложь, так утверждают старцы. Если ты действительно был в нашем ауле, ты не мог не увидеть рядом с отцом его друзей — старого Алпая и бескорыстного Оракбая и дочь Оракбая Санию, — голос Кенже прозвучал резко, он словно боялся произносить эти имена, будто заранее предчувствовал недоброе.

— Проклятое, тяжкое время. С тех пор как джунгары пришли на нашу землю, радость покинула нас. — Томан начал издали, стараясь подобрать слова весомые, спокойные. — У каждого из нас немало горя. Война никого не пощадила... Твой отец, да пусть могила его будет мягка, был мудрым вожаком своего рода... Нет, нет, я сам не видел его смерти, — заторопился он, заметив, как побледнело лицо Кенже. — Я не видел. Но это так... Я покинул твой аул тогда, когда Манай привел его к берегам Балапанколя. Там же мы похоронили моего кровного брата Накжана, который вместе с тобой сражался за Алтынэмелем, не щадя своей жизни... Он погиб от руки лазутчика джунгар, хитрого, кровожадного Каражала,

погиб во время пожара. Стрела Каражала сразила его. Манай дал мне в проводники своего друга Оракбая, и когда мы уже перешли на другой берег и были на расстоянии дневного пути от аула тобыктинцев, нас догнала Сания. Славная девушка, бесстрашная. Она сообщила нам, что вслед за нами крадется Каражал, что это он, Каражал, убил Накжана... Мы повернули коней, чтобы встретить этого шакала. Но случилось так, что он потерял наш след, натолкнулся в степи на разьезды джунгар и повел их в аул Маная. Он пытал отца твоего и славного старца Алпая. Он хотел знать, куда мы направились. Но старики прокляли его, и тогда он велел умертвить весь аул. — Томан не видел Кенже, но слышал за своей спиной рыдания. — Спокойствие, мой брат. На все воля аллаха. Мир беспощаден. Нет на свете человека, не познавшего горя утраты. — Томан тяжело вздохнул. — Успокойся, мой брат. Кровь смывают кровью. Иншалла, мы ныне устроим джунгарам такую месть, что не соберут своих костей, — Томан от гнева заскрежетал зубами, он поднял вверх свой огромный кулак, в котором была зажата рукоятка камчи. — Убийцы мудрого Маная и Алпая тогда не ушли от нас безнаказанными. Жигиты-тобыктинцы помогли нам взять их в западню. Никому из карателей не удалось спастись, а шакала Каражала настигла стрела возмездия — стрела дочери Оракбая Сании. Славная девушка, под стать любому жигиту. Но Каражал был живуч. Раненный, он прорвался через кольцо, и все же, слава аллаху, мой конь настиг его...

Трое друзей — Лаубай, Хайдар, Егорка, — заметив, что Кенже с Томаном отстали, придержали своих коней.

Уже светало. Почти через каждую версту навстречу Тайлаку выезжали то дозорные, то сотники. Для четверых, попавших сюда из стана Санырака, здешние места были незнакомы. Собственно, это уже была не та степь, к которой они привыкли. Частые холмы, небольшие леса и перелески, а между ними луга, густая высокая трава, в которой могут укрыться всадники. Овраги и глубокие лощины. Впереди, широко разлившись, лежит река. Берега круты с одной и пологи с другой стороны.

Егорка не переставал любоваться щедростью и красотой здешних мест, Хайдар рассказывал, что его родные края точь-в-точь такие, что там такая же река. Охваченные общим настроением, радостные, возбужденные, они не сразу заметили, как бледен и подавлен Кенже. Лишь поравнявшись с ним и услышав слова Томана, они притихли, не находя слов утешения. Нежданное горе друга омрачило их радость.

— Гневом полно сердце каждого из нас, Кенже. Прах отцов и братьев наших, попранная честь сестер требуют отмщения. Мужайся, отведем душу в предстоящей битве! Слезы не помогут. Лишь меч да сила рук в бою утолят нашу жажду, облегчат боль сердца. Мужайся, брат! — сказал Лаубай, когда они подошли к реке.

Подняв голову и прищпорив коня, Кенже вплотную подъехал к Томану и, стараясь взять себя в руки, тихо спросил:

— А что с Санией, где она сейчас?

— Не знаю, брат,— вздохнул Томан.— Мы расстались с нею и ее отцом в степях Сарыарки. Оракбай сказал, что они поедут искать своих дальних родственников к берегам Сырдарьи. Пусть аллах сбережет их от стрел и арканов джунгар.— Томан больше не проронил ни слова. Молчали и остальные. Никто не спросил: кем приходится Саня Кенжебатыру...

Дозорные провели всех сарбазов, сопровождавших батыра Тайлака, к броду. А на другом берегу, пройдя сквозь заросли тальника, они сразу оказались среди огромного скопища ополченцев, отдохавших на просторной поляне. Тут находилось человек пятьсот, не меньше. Это был один из отрядов Тайлака. Своего жоака люди встретили восторженно, наперебой повторяя все ту же весть, придавшую всем силу, весть о том, что батыры Санырак и Малайсары ведут своих жигитов к ним, что они уже близко, что хорошо бы послать глашатаев ко всем другим батырам, все сыны Алаша¹ — братья, нечего делиться на племена, роды и жузы перед лицом общего врага: не надо ждать, пока ханы и султаны соблаговолят унять свою спесь и пойдут на уступки друг другу. Теперь ясно, что только единство даст победу, поможет сохранить родную землю, а врозь не одолеть конницу джунгар...

...Когда после долгих размышлений военачальников главные тумены джунгарской конницы под водительством свирепого Хансаны, растянувшись полумесяцем, стремительно двинулись вперед к месту расположения жигитов Тайлака с полной уверенностью, что они застанут сарбазов врасплох, то их встретила одна-единственная сотня казахов, закрепившаяся меж камнями на трех небольших высотах у подступа к тем местам, где раньше располагались юрты и шатры ополченцев.

Сотня отчаянно отстреливалась из самодельных фитильных ружей и луков. Достаточно было одной пушки, чтобы покончить с ними сразу, но рассвирепевший Хансана приказал взять жигитов живыми.

Прошло несколько часов, прежде чем удалось скрутить руки двадцати жигитам, остальные погибли в рукопашной. И когда Шона-Доба прискакал к месту боя, Хансана упал в поклоне перед копытами его коня, прося прощения за то, что еще раз упустил живым Тайлака. Двадцать пленников предстали перед принцем. Глаза Шона-Доба налились кровью.

— Где ваша трусливая конница, где Тайлак? — вскричал повелитель.

¹ То есть казахи.

Тысячи джунгар, заполнивших долину и удивленно взиравших на золу потухших костров, которые ночью вселяли в них страх, молча, не слезая с коней, не выпуская из рук оружия, смотрели на пленников.

— Он ждет тебя между реками Буланты и Боленты! И если ты не трус, то язьсь со своей конницей туда! Завтра в полдень он ждет тебя, безмозглый бродяга! Или убирайся прочь с нашей земли! — прогремел голос Татымтая. Он стоял впереди всех пленных. С него была содрана кольчуга, безжизненно висела окровавленная правая рука, а из левого плеча торчал обломок стрелы. — Молись своему богу, шакал! Ты доживаешь свои последние дни! — напрягая силы, крикнул Татымтай и стал медленно опускаться на землю.

Но израненные друзья подхватили его. Мертвая тишина нависла над войском джунгар. Лицо принца передернулось. Он взмахнул саблей — и тысячи копыт прошлись по телам двадцати сарбазов. Но не успели джунгары дожидаться следующего приказа, как примчался вестник от косоглазого Дамбы: сарбазы Санырака и Малайсары покинули свою стоянку и, не приняв боя, исчезли неизвестно куда.

Ударом сабли располосовав лицо гонца, принц скрылся в своем походном шатре. Растерянный Хансана приказал тысячникам отвести свои тумены подальше от шатра и расположить их в местах бывших стоянок сарбазов Тайлака.

...Провидцы Тайлака донесли обо всем случившемся батырам, они также сообщили, что тумены Дамбы спешат к шатру принца. По всему видно, что джунгары решили вновь собрать всю свою конницу в единый кулак.

Сменив в пути двух коней, прибыл гонец от батыра Богенбая, который предупреждал, что со стороны Аягуза движется свежая джунгарская конница, посланная хунтайджи для подкрепления сил Шона-Доба, и что она находится в пяти переходах от реки Буланты. «Они не дойдут до шатра своего повелителя, у безымянных сопок их встретим мы!» — повторил гонец слова Богенбая.

...До поздней ночи совещались батыры в белой юрте, воздвигнутой на высоком берегу реки. Все опытные воины, знавшие эту местность как свои пять пальцев, были собраны на этот совет. Батыры сидели полукругом, занимая места по старшинству возраста. На самых почетных местах восседали старейшины родов и воины, прославившиеся в битвах с джунгарами еще при хане Тауке. Возле старейшин расположились Малайсары, Санырак и Тайлак. На совет был приглашен и Кенже вместе с Томаном. А друзья Кенжебатыра, Лаубай и Хайдар, уже успели найти своих сородичей, даже Егорка нашел своих русов. Это были мужики и казаки, бежавшие с каторги или подневольных работ на строительстве только что начавших возводиться по правому берегу Ертиса русских

крепостей — Омска, Ямышевки и Семипалатного. Были тут и просто бродяги — любители вольной жизни. Под знаменем Санырак-батыра в те дни оказалось более ста русских людей. Хайдар нашел среди сарбазов и своих башкир, и татар, которые пришли сюда за лихим прославленным вольнолюбом батыром Таймазом. Сам Таймаз находился здесь же в юрте, на совете батыров и старейшин, он сидел рядом с Саныраком.

— Благословение создателю, настало время силой изменить силу в открытом поле, — начал низкорослый худощавый старец, сидевший на самом почетном месте. — Настало время, когда наши жигиты могут в открытом бою показать свою храбрость и удачу. На эту священную битву идут вместе не только сыны всех племен Алаша, а братья наши киргизы и каракалпаки, узбеки и башкиры. Пусть враг не увидит наших спин, пусть на поле брани брат не покинет брата, — взвешивая каждое слово, медленно говорил старец.

Кенже молча прошел взглядом по лицам батыров. Все они хранили спокойствие. А там, за стенами юрты, слышались веселые голоса сарбазов, смех и звон оружия. Царило оживление, которое приходит лишь тогда, когда люди не сомневаются в своих силах. На какое-то время под влиянием этой торжественности забывался и Кенже, но проходили минуты, и он внезапно с острой болью вновь вспоминал рассказ Томана, вспоминал о Сании, и ему становилось мучительно от сознания своей беспомощности и от неведения.

Где, в каких краях теперь Сания? Где ее искать, помнит ли она о нем? Он уже успел побывать в этом лагере среди женщин и девушек, которые здесь, как и всюду, сопровождают своих мужей или братьев, помогают готовить пищу, ухаживают за ранеными, а в трудную минуту, заправив волосы под шапку, взяв в руки пику, лук или саблю, не хуже мужчин сражаются с врагом. Так всегда было в казахской степи. Кенже не нашел Санию среди них.

Он сидел, погрузившись в свои мысли, рассеянно слушая назидания старцев и короткие речи батыров о предстоящей битве, и только слова Санырака: «...После битвы мы двинемся на юг — к Туркестану, к Сырдарье, чтобы объединиться с батырами, которые ведут там бои с полчищами Дабаджи», — вывели его из задумчивости. Ему показалось, что слова Санырака предвещают скорую встречу с Санией. Ведь они направят своих коней к Сырдарье. А Томан сказал, что Сания со своим отцом уехала к ее берегам.

И с этого момента Кенже словно подменили. Он с нетерпением стал ожидать боя. Будучи внешне спокойным, он старался не пропустить ни одного слова то и дело прибывавших к юрте и вновь исчезающих гонцов, дозорных и провидцев. Ему хотелось узнать: как близко подошли джунгары, когда же начнется бой?

И удивительное дело — он никогда раньше не испытывал такого странного чувства — какая-то пустота, тоска все равно

одолевали его. Он не мог думать о смерти отца. Он думал только о Сании. Донесения он слушал со вниманием, но и с раздражением. К чему все эти разговоры? Скорее надо вывести войска навстречу джунгарам, скорее начинать бой.

Он не мог терпеть этой медлительности. Чего ждать, зачем так долго думать о расстановке сил? Все равно, куда бы ни поставить ту или иную тысячу сарбазов, бой придется вести всем, так не лучше ли выступить сейчас, всей лавиной обрушиться на джунгар. На этот раз поражения не будет — будет победа. Ничто его не страшило, он не думал о смерти.

Чем раньше произойдет схватка с джунгарами, тем лучше, тем скорее они двинутся на юг к Сырдарье, там ближе он будет к Сании, будет искать и найти ее. Эта мысль сопро-вождала его повсюду — и когда после совета в белой юрте батыры обходили войска, отдельными тысячами расположенные на обоих берегах Буланты и Боленты на солидном расстоянии друг от друга, и когда наступил вечер и всем, кроме сторожевых, было велено хорошо отдохнуть.

Прошел еще день. День, когда шла новая перестановка войск. К закату солнца Кенже вместе с двумя тысячами жигитов оказался почти в десяти верстах севернее места вчерашнего ночлега. Внешне он все так же был сдержан, молчалив. Друзья сочувствовали ему, считая, что он переживает смерть отца.

Ранним утром дозорные донесли, что джунгары сплошной лавиной растянулись по фронту верст на пять, идут с северо-запада, движутся мелкой рысью, одно полчище за другим, в каждом по шесть туменов. А между ними едут повозки с пушками и стрелками. Сам принц с отборной тысячей своих телохранителей находится в центре конницы. Главные военачальники Дамба и Хансана возглавляют левый и правый фланги.

Каждая тысяча казахских сарбазов, оседлав коней, приготовилась к встрече. Дробь малых барабанов, притороченных к седлам глашатаев, оповестила всех о приближении джунгар.

Три батыра — Санырак, Тайлак и Малайсары, — которым старейшие воины вручили судьбу всех ополченцев, после краткого совета решили встретить головные тумены джунгар в долине Карасыр.

Семь тысяч жигитов-ополченцев разделились на четыре отряда и, заняв свои позиции, ожидали двенадцатитысячную конницу джунгар. Лаубай стал неотступным телохранителем и оруженосцем Малайсары, так как из-за старой раны батыр не мог отбиваться от врага в полную силу. Кенже попал в смешанный отряд Таймаза, где находились две сотни лихих жигитов из тургайских степей да четыре сотни из башкир, татар, русских и каракалпаков. Егорка был вместе с Кенже. Сотням Таймаза надлежало немедленно двигаться в глубь степи и, разделившись надвое, скрытно одолеть путь почти в пятна-

дцать верст. Не обнаруживая себя, подойти с флангов и в нужное мгновение попытаться предотвратить удары джунгарской артиллерии по казахской коннице. Таймаз с тремя сотнями сарбазов должен был подойти к вражеской артиллерии с правого фланга, Кенже с двумя сотнями — с левого.

Выбирая овраги и лошины, укрываясь в зарослях, Кенже повел своих сарбазов к цели.

Тридцать жигитов он выбрал для охраны отряда. Рассеявшись по одному через каждые полверсты и держась в отдалении, они должны были с дальних сопок наблюдать за движением джунгар, за началом боя и передавать обо всем увиденном по цепочке самому Кенжебатыру.

Отряд мчался без остановки, чтобы скорее, не обнаружив себя, перерезать путь джунгарам, сделать огромный полукруг по степи и выйти в нужное место. Всадники вброд перешли Буланты, прошли через позиции сарбазов Тайлака и скрылись с глаз товарищей.

Освободив повода и во весь опор пустив своего коня вслед за двумя воинами, хорошо знавшими здешние места, Кенже впервые за эти сутки ясно, почти физически ощутил всю сложность предстоящей битвы, в которой казахи должны, обязаны выйти победителями.

Что значит его личное горе, его тоска по Сании по сравнению с тем, что должно свершиться сегодня?! Какой-то внутренний голос подсказывал ему, что от победы или поражения в сегодняшней битве зависит многое, очень многое, не только в его жизни, а в жизни всего народа. Он ясно понимал, что эта битва может стать роковой для всей Казахии, а может поднять ее дух, возродить веру в себя, веру в силу единства. О ней, об этой предстоящей битве, уже говорят всюду. Глашатаи разнесли весть по степи. О ней знают все батыры. Победы в этой битве желает и батыр аргынов Богенбай, где-то преградивший путь новым отрядам джунгар, направленным на помощь Шона-Доба самим хунтайджи. Из многочисленных отрядов мстителей, скитающих в глубине лесов, степей, гор и пустынь казахской земли, к белой юрте батыров, объединивших свои силы, то и дело пробиваются гонцы, чтобы узнать всю правду о будущем бое. Сегодня в битве примут участие жигиты всех трех жузов, всех враждовавших раньше меж собой племен. Собственно, враждовали не племена, а ханы, султаны, как говорят в аулах, «отпрыски белокостных господ».

Сегодня здесь нет ни ханов казахских, ни султанов, здесь батыры и сыновья всех племен, населяющих Казахстан от Джунгарских гор до Арала и Тургая. Сегодня сами сарбазы и батыры решат исход боя, решат свою судьбу.

Кенже не видел, как передние тумыны джунгар появились в долине Карасыр и волна за волной заполнили ее; как навстречу им спокойно выехали две тысячи жигитов, ведомые Малайсары. Он не видел, как остановилась конница джунгар,

и не слышал, как угрожающе загремел огромный походный барабан, установленный на колесах. Тот самый барабан из бычьей кожи, который обычно стоял перед шатром принца Шона-Доба.

Завидев сарбазов, преградивших путь, джунгары остановили коней. Две армии встали лицом друг к другу. В степи воцарилась тишина, даже кони притихли. Куда-то скрылись и умолкли перепуганные птицы. Лишь в глубине неба, боясь опуститься ниже, парили орлы. Их пугало это скопище коней и людей, этот нервный, резко переливающийся отблеск солнца на тысячах шлемов и щитов, на остриях пик; пугали черные знамена джунгар, голубые, красные и белые знамена казахов с изображением глаза или секиры, с конским хвостом на острие.

Сколько длилось молчание? Наверное, недолго. Но и казахам и джунгарам показалось, что прошла вечность. Наконец из плотного ряда джунгар вышел всадник, пришпорил коня, доскакал до середины поля и, осадив своего гривастого черного жеребца, крикнул что есть силы:

— Кто смел преградить дорогу коннице непобедимого Шона-Доба?

— Хозяйева этой земли! Сегодня мы свершим свой суд над Шона-Доба! — сдерживая своего нетерпеливого, вырвавшегося вперед скакуна, ответил Малайсары.

Голос батыра потонул в воинственных кличах сарбазов. Джунгарец помчался к своим. Вновь зарокотал огромный барабан, и перед войском казахов оказался другой всадник со сверкающим позолоченным щитом. Под грохот барабана и воинственные крики своих он приподнял и опустил пику, направив ее острием в сторону сарбазов.

— Он вызывает на единоборство. Кто готов?! — крикнул Малайсары.

Опережая других, вперед выскочил молодой плечистый воин на сером скакуне.

— Благословите меня, батыр!

Малайсары спокойно кивнул головой:

— Победы тебе! Аминь!

Жигит поднял пику и, принимая вызов, опустил ее острием вперед. Гул пронесся по рядам джунгар и казахов. Каждая сторона подбадривала своего храбреца. Единоборцы одновременно пришпорили коней и помчались навстречу друг другу. Притихли ряды. Все взоры были обращены на двух всадников, несшихся по ровному, густому, зеленому полю, усеянному белыми, алыми и желтыми цветами. Никто не заметил, как в этот миг с правого и с левого фланга конницы Малайсары на небольших высотах появились группы всадников. То были воины Санырака и Тайлака. Укрыв свои отряды за холмами, батыры не смогли удержаться от соблазна посмотреть схватку единоборцев. Напряжение на поле передавалось им. Острому глазу степняка не нужны подзорные трубы.

Оба батыра отлично видели, как стремительно несутся друг к другу два всадника. Летят из-под копыт цветы.

Еще миг! Под тысячеустое «Бе-ей!» каждый скорее ощутил, чем услышал, звон от удара пик о щиты. Никому из противников не удалось с первого захода сбить или пронзить врага. Каждый достойно принял удар. Закружились кони, пики стали мешать и были отброшены. Молодой воин-казак оказался стремительнее, на мгновение быстрее он вытащил свой меч и первым нанес удар. Он пришелся в левое плечо всадника, и тот уже не мог больше защищаться щитом.

— А-а-а-а! — раздался голос раненого.

Он, казалось, падал с коня. Но тут же произошло чудо. Джунгар, подняв коня на дыбы, нечеловеческим криком оглушив жигита, саблей нанес ему смертельный удар по лицу. Восторженным кличем огласились ряды джунгарской конницы.

— Зажечь фитили! Все стрелки вперед! — Малайсары сам не слышал своего голоса. Заметив, что конница джунгар готова ринуться вперед, он пришпорил коня и первым повел свою тысячу.

Лавина джунгарской конницы понеслась навстречу. Вот уже совсем близок враг, уже ясно видны напряженные лица, кровью налитые глаза.

— Стреляйте! Стреляйте! — кричал Малайсары, стараясь опередить вырвавшегося вперед Лаубая. Раздался залп двухсот ружей.

Это было впервые: конница казахов на всем скаку из ружей била в упор по врагу. Отпрянули джунгарские кони, упали на землю первые жертвы боя, смешался строй врага. Первая тысяча сарбазов пятью клиньями вонзилась в головные тумены Шона-Доба.

С ликующим победным криком сотники и тысячники джунгар заставили своих сомкнуть ряды. Казахские конники оказались в плотном кольце.

И началась сеча. Огромный стукот коней и людей извивался в зеленой долине. Сарбазы, отбиваясь, старались прикрыть спины друг другу, джунгары всей массой наседали на них.

Лязг оружия, ржание коней, стоны раненых еще более усиливали жажду крови. Прошло полчаса. Полчаса небывалой по жестокости резни. Джунгары готовы были вот-вот торжествовать победу, но ее все не было. И вот новая тысяча сарбазов понеслась на них. Снова загрохотал огромный барабан. На этот раз он требовал выполнить приказ косоглазого Дамбы.

Пушки джунгар были уже подтянуты и установлены на высоте. А двести жигитов Кенже уже зашли с фланга и по узкому оврагу, ведя коней на поводу, подобрались совсем близко к пушкам. До орудий оставалось небольшое расстояние, но зато открытое всем ветрам. Нужно было молнией одолеть

его. Каждый застыл на месте, схватившись за стремя своего коня, побледневший Егорка был рядом с Кенже.

— Надо бить по пушкарям. Скорее! Медлить нельзя! Иначе нас заметят! — торопил Егорка.

Кенже молчал. Где Таймаз? Где его сотни? Уже вторая тысяча сарбазов мчится к джунгарам. Но что это? Джунгары внезапно отступают к пушкам и быстро расступаются, открывая дорогу сарбазам.

Пушки! Пушки! Они хотят, чтоб артиллерия ударила по рядам казахов. Кенже взлетел на коня. Словно из-под земли вырвались его джигиты на голубое поле и понеслись прямо на пушки.

— Вперед! Вперед! — Кенже не видел ничего, кроме пушек, кроме тех джунгар, что уже подносили фитили к запалам.

Но нет! О спасибо тебе, аллах! Таймаз налетел с другого фланга! На разъединившиеся части джунгар справа и слева с высот мчатся сотни Тайлака и Санырака. Но самих батыров еще не видно. Значит, есть еще сарбазы в засаде, есть еще сила! Кенже прямо перед собой увидел искаженное не то от злости, не то от испуга лицо китайца, держащего в руках горящий факел. Напружинилось тело. Рука взмахнула вверх. Батыр с лету опустил свой меч на голову врага. Факел отлетел в сторону.

Только три пушки из двенадцати успели дать выстрелы, но это не остановило сарбазов. Воспользовавшись тем, что путь оказался свободен, они неслись прямо к засаде джунгар, где находились еще не вступившие в битву сотни Шона-Доба. По всему было видно, что казахские батыры разгадали планы джунгар и, вопреки замыслам принца и его полководцев — косяглазого Дамбы и свирепого Хансана, пытаются втянуть в бой всю конницу джунгар.

Пушки молчали. Быстрый Таймаз, увлекая жигитов своим бесстрашием, навязал бой прямо на батареях, не давая возможности артиллеристам-китайцам занять свои места у пушек. Мало того, его сарбазы сумели увести пять пушек к казахским позициям.

Ополченцы не давали джунгарам объединиться в единый кулак, растянули фронт. Бои шли уже на обоих берегах Боленты. Ни Дамба, ни Хансана уже не могли управлять действиями своих туменов. Лишь отборная тысяча телохранителей еще не вступала в бой, не покидала Шона-Доба.

Уже наступал полдень, когда джунгарам удалось-таки отбросить, отгеснить казахские сотни, прорвавшиеся к шатру владыки. Но это не изменило хода битвы. Ополченцы бились все яростней. Их умение вовремя вклиниться в уязвимые ряды джунгар было очевидно. Внезапным ударом свежей сотне сарбазов удалось прижать скопление джунгар к высокому обрывистому берегу.

Кенжебатыр вместе с Таймазом, вырвавшись из пекла боя,

повели своих на помощь тем, кто прижал джунгар к обрыву. Подоспела другая сотня. Джунгары были взяты в кольцо. В страхе наседая друг на друга, они полетели с обрыва прямо в воды реки. Среди джунгар началась паника. Не слушая ни сотников, ни тысячников, они направили коней назад и, спасаясь от стрел и сабель ополченцев, бежали к шатру, еще более усиливая страх владыки.

Шона-Доба приказал остановить безумцев, повернуть их назад на врага. Но было поздно. Тайлак и Санырак бросили в бой свой последний резерв — пятьсот сарбазов. Все батыры казахов сомкнули ряды, увлекая за собой своих жигитов. Армия ополченцев, уже изрядно поредевшая, снова обрела единый грозный облик.

Шона-Доба, еле успевший переметнуться со своими телохранителями на другое, более удобное для обозрения место, покинул свой шатер, сел на коня. Увиденное потрясло принца. Его великая конница, бросая поле битвы, рассеялась по степи.

Окровавленный всадник прискакал к нему и с криком: «Мы погибли!» — свалился с коня. Это был Хансана...

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Начиналось лето. Непривычно тихий шелковисто-мягкий ветер безмятежно гулял по безбрежным просторам, осторожно сдувая пыльцу с цветов. Обилие трав было повсюду, такого разнотравья, такого цветения степи давно не видели в стране казахов. Да и погода нынче была на редкость ласковой. Теплое, но не жаркое лето. Пора было начинать косьбу. Нынче можно было вдоволь запасти сена даже там, где в иное лето косари по стеблю собирали копны и то лишь в низинах возле рек. Ранние обильные дожди вдоволь напоили землю, и она зацвела, щедро одаря людей, словно стараясь заплатить им сполна за свою скупость в прежние годы. И если бы не война, если бы не джунгары... Если бы можно было забросить пики и щиты и взять в руки косу, пойти по лугам... Но нет. Нельзя выпускать меч из рук. Особенно сейчас, когда первые дни столь щедрого лета принесли на своих крыльях давно желанную радостную весть. Весть о победе казахских батыров над армией джунгар в битве у рек Буланты и Боленты! Степь зацвела еще ярче, она стала еще роднее и милее. Воспрянул духом народ. И даже глубокие старцы, уведшие свои семьи, свои аулы в глубины гор и пустынь, вдруг преобразились, услышав весть о первой победе. Вытаскивали на свет запрятанные в куче хлама свои секиры, начинали счищать с них ржавчину, начинали оттачивать лезвия сабель, острых пик. Начинали подыскивать себе коней, открыто выходили на дорогу и нападали на разрозненные мелкие отряды джунгар, бежавших с поля боя у рек Боленты и Буланты и бродивших по степи.

По всем дорогам великой Казахии носились добровольные глашатаи. Перекинув через переднюю луку седла маленькие, крепко обтянутые кожей барабаны, они мчались от одного к другому аулу, неожиданно появлялись в запрятанных селе-

ниях жатаков, неслись к одиноким пастухам, останавливали путников. И по всей степи разносили вести о победе на Карасыре, об единстве батыров; рассказывали о том, как славный Богенбай помог батырам одержать великую победу: жигиты Богенбая заставили трехтысячную конницу, спешившую на помощь Шона-Доба, повернуть вспять. От красноречия каждого из них зависело, насколько ярким будет рассказ о великой победе. Красок не жалели, говорили о том, о чем слышали сами и что подсказывало им неумное воображение. Радости их не было границ. Среди глашатаев были и те, кого только что освободили из джунгарского плена.

— Суюнши! Суюнши! — несло по степным дорогам.

— Наконец-то победа. Да, оно так и должно было быть! Разве когда-либо случалось так, чтобы джунгары или наемники Небесной империи могли одолеть казахов?! Разве наши батыры не сильнее их?! — Люди, как это бывает в дни радости, забыли о поражениях прошлых лет. Гордость переполняла их.

— Да что там Шона-Доба, хоть сам Галдан Церен явись сюда, мы теперь побьем и его. Когда батыры едины, то и народ един, а это уже огромная сила. Никто, никто не одолеет нас! — сдержанность покинула бывалых аксакалов... — Глаз боязлив, руки смелы, так всегда говорили предки. Врага бьют умением и единством. Слава аллаху! Наконец наши батыры воистину стали братьями.

Табуны коней, отбитые у джунгар, таяли на глазах. Людям нужны были кони. И стар и млад поднялись в поход, услышав весть о победе, отвечая на призыв батыров. Каждый был готов вступить в отчаянную битву.

— Жизнь или смерть! Не пристало казахам быть рабами джунгар! — осмелел народ, вспомнил о былых победах, о подвигах своих батыров...

И молодой жигит и старый чабан подбирали себе коней получше, готовили скакунов к походу и боям, находили седла покрепче, сильнее затягивали подпруги, челки скакунов украшали султанами из совиных и соколиных перьев, гривы заплетали в косички, туго перетягивали хвосты алыми лентами. Казалось, что люди готовятся к торжественному тою, к великому празднеству. Вновь повсюду были слышны шутки и смех. Обилие трав и цветов, нежная яркость солнца, приподнятое настроение людей — все это радовало глаз, укрепляло уверенность в своих силах. Рассказывая друг другу об эпизодах битвы на берегах Буланта и Боленты, жигиты до блеска начищали щиты, секиры, сабли и пики. Снова и снова перетягивали тетиву на луках, оттачивали стрелы и украшали их соколиными перьями. Во всех аулах от Каратау до Улытау задымили кузнечные горны, загрохотали удары молотобойцев. Лучшие мастера торопились ковать оружие для сарбазов. А между тем, подхватив призыв батыров, мелкие отряды сарбазов-мстителей из Младшего, Среднего и Великого жузов,

объединяя свои ряды, на совете воинов выбирали себе вожakov и, очищая родные земли от карательных отрядов джунгар, начинали свое победное шествие. С Келес-Бадамского хребта, с северных пастбищ Сарыарки, с Улытауских и Каратауских гор они прокладывали себе дорогу в сторону Туркестана, куда, по словам глашатаев, двинулось объединенное войско батыров Богенбая, Санырака, Тайлака, Таймаза и Кенжебатыра. Малайсары среди них уже не было. Он погиб в жестокой сече с отборной тысячей Шона-Доба. Ведя за собой триста смелых отчаянных жигитов, он устремился за принцем, покинувшим поле боя. Увлечшись погоней, они далеко оторвались от своих, и тогда телохранители принца, внезапно развернувшись, взяли жигитов в кольцо. Кони сарбазов устали, кони джунгар были свежи — ведь эта тысяча не принимала участия в битве на Карасыре. Отчаянно, не щадя живота, дрались жигиты. Джунгары не смогли одолеть их, к Малайсары на помощь мчались сотни башкира Таймаза. Когда они подоспели, джунгары во главе со своим принцем были уже далеко. В степи стояла тишина. В лучах вечернего солнца, ведя за повод своих уставших коней, жигиты Малайсары бродили по густой, помятой во время боя траве, разыскивая и подбирая своих раненых друзей, а в стороне десять жигитов несли тело батыра на самодельных носилках... И когда Кенжебатыр вместе с Таймазом подъехали к ним, жигиты бережно положили носилки к их ногам. Кенжебатыр увидел обескровленное, искаженное яростью лицо Малайсары. Соскочив с коня, стал на колени, не смог удержать слез, зарыдал, как ребенок. Застонали раненые...

Три дня сарбазы хоронили своих друзей, павших в битве, принося в жертву боевых коней; три дня праздновали победу. К ним шли и шли люди, иногда целыми отрядами. Санырак и Тайлак устроили торжественную встречу батыру Богенбаю, когда тот после победы над джунгарами вместе с шестьюстами своих сарбазов прибыл к берегам Буланты. Рослый, плечистый Богенбай был добродушен и спокоен. Он искренне, братски обнял батыров, простотой своей сразу завоевал их доверие и уважение. И после тоя Тайлак и Санырак, не сговариваясь, предложили Богенбаю принять положение старейшины среди них.

Богенбай решил, не теряя времени, двигаться к Туркестану, где скопились главные силы джунгар. К тому же гонцы сообщили, что где-то в степях под Оттаром проходит «Турымтай кенес»¹ ханов трех жузов. Они собрались там по призыву трех великих биев² — Казыбека из Среднего жуза, Айтеке из Младшего жуза и Толе из Великого жуза. Бии, получив весть о победе сарбазов в урочище Карасыр и выполняя

¹ Малый совет.

² Знаменитые степные философы и ораторы, выполнявшие роль верховных арбитров и судей не только между простыми людьми, но и между султанами и ханами.

волю народа, обратились к ханам: «Поставьте свои юрты рядом, чтобы на пути не было посредников, объедините свои силы, подтвердите свое братство перед лицом врага и поднимите свои знамена для окончательной победы над джунгарами, поддержите батыров, окажите почести победителям, созвав людей на великий курултай. Изберем вождя и сардара ополчения!»

...Объединенная конница батыров направилась к югу. Туда же потянулись отдельные мелкие отряды мстителей со всех окраин казахской земли. Они шли открыто. Так что для провидцев джунгар не составляли секрета их намерения и цель. Но попытки джунгарских тысячников остановить их не имели успеха. Казахские ополченцы уже не выглядели такими слабыми, как год или два назад. Их сплоченность, бесстрашие, а порой даже безрассудная храбрость пугали джунгар. Тревожные предчувствия начали сковывать прежнюю наглость джунгар, и теперь не казахские жигиты, а они стремились избежать столкновений. Разрозненные отряды джунгар тоже заторопились на юг, в Туркестан и Сайрам, где находились главные силы Дабаджи. Все же Дабаджи в этой войне показал себя умней, храбрее и сильнее Шона-Доба. Да и сам Шона-Доба, потерпев поражение от малоизвестных доселе батыров, растеряв свою двадцатитысячную конницу, бежал к Дабаджи. Об этом уже знали все джунгары. Они знали также, что Шона-Доба оскорбил знаменитых полководцев — свирепого Хансану и могучего Дамбу, — решил самолично командовать войском, но не смог управлять им; что в битве в урочище Карасыр погиб Хансана...

Вся степь жила радостными слухами о первой большой победе над джунгарами. Степные барды, которых не было слышно со времен страшного джута, снова, как и в былые времена, появились в людных местах. Среди сарбазов, в аулах они вели свой рассказ, пели свои песни о победе, о славных батырах, разбивших конницу Шона-Доба, о том, что народ собирается на великий курултай, собираются все бии, все вожди племен и родов, чтоб избрать сардара, чтоб слить воедино силы всех сарбазов степи и навсегда прогнать с родной земли ненавистных джунгар.

От проезжего путника услышал эту весть и старый табунщик Оракбай, который жил со своей дочерью на берегу реки Бадам, вблизи маленького бедного аула, переполненного беженцами. Старые юрты, шалаши из курая и камыша занимали все окрестности аула. Уже второй месяц жил здесь старый табунщик.

После гибели Маная он уехал в эти края, надеясь найти здесь своих родственников, о которых когда-то рассказывала

ему покойная жена. Хотел пристроить к ним свою дочь. Но не нашел их. Джунгары побывали всюду, все аулы скитались по степи, забыв прежние дороги. Поиски были бессмысленны. Да и годы у Оракбая были не те. Вот уже пятое или шестое лето длится война. Сколько горя перевидано, сколько пережито. Да и дочь совсем повзрослела. Она уже не та, что раньше.

Саня по-прежнему носила мужскую одежду, но скорее по привычке, а не по желанию. Лицо ее, опаленное зимней стужей и летним зноем, немного осунулось. Глаза потеряли прежний задор и блеск, в них глубоко затаилась грусть и не вяжущаяся с ее характером покорность. Она стала молчаливой, задумчивой. С утра до ночи то хлопотала у очага, то помогала отцу пасти двух коней, стараясь вовремя напоить их, вовремя найти для них лужайку с сочной травой. Два исхудавших за зиму коня — вот все, что осталось у отца с дочерью. Война сделала свое дело: словно перекасти-поле перебросила их с одного края казахской земли на другой и полностью осиротила — ни своего рода, ни родного племени, ни близких друзей... Отец и дочь редко говорили друг с другом. Да и о чем было говорить. Все осталось позади. Все отнято джунгарами. Вспоминать о прошлом — посыпать солью раны. А жизнь и так горька, жестока. «Лишь бы выжить. Лишь бы выдать дочку замуж за какого-нибудь доброго человека», — тяжело вздыхал табунщик Оракбай. Глядя, как дочь проводит дни у домашнего очага, как она собирает кизяк или тащит на себе дрова, нарубленные в прибрежных зарослях, видя, как изнасилась одежда дочери, старик опускал голову. Утирая глаза шершавой ладонью, молил аллаха дать его единственной хоть чуточку счастья. Он уже дважды собирался повести коней на базар, чтобы обменять их на платье и приобрести немного муки, но дочь не разрешала.

— Мы погибнем без них, будем нищенствовать или станем рабами у какого-нибудь богача. Я не хочу оставаться здесь. Мы должны вернуться назад, в родные горы, а как мы доберемся без коней? Потерпи, отец. Ничего, что одежда изнасилась. Я найду шерсти, вытку. Пусть кони набирают силу. Скоро кончится война, и мы двинемся в обратный путь, — успокаивала Саня отца.

Отец видел, что дочь совсем изменилась, что нрав ее стал другим — она избегала людского общества, не вступала в разговоры с жигитами, как прежде, — и удивленно думал, как может человек так сильно перемениться.

— О аллах, на все твоя воля... — бормотал он. — О бедный мой друг, мудрый Манай, скорее бы мне встретиться с тобой. Где ты там, что послал тебе создатель? Жжет ли он кости твои в аду или открыл хоть ненамного двери рая, чтобы ты отдохнул на том свете? На этом тебе не было спокойствия и счастья, потерял ты всех птенцов своих, свой аул. Да и я вот, как видишь, дожил до позорных седин. В чужом краю, для

всех чужой, живу лишь для того, чтобы дочь не осталась совсем одна, а иначе зачем бы я жил. Ничто меня больше не беспокоит — ни горе людей, ни эта война. Все люди шакалами кажутся мне, и свои, и чужие... О аллах, прости, прости меня, старого дурня! Что это я так болтаю? — сидя возле шалаша на солнцепеке, говорил сам с собой табунщик Оракбай.

И, боясь прогневить бога своими столь мрачными мыслями, начинал тихо повторять про себя все хорошие вести, которые слышал от людей.

— Ты слышал, мой бедный и мудрый друг Манай? Говорят, батыры одолели проклятых джунгар в битве в урочище Карасыир. Говорят, там были и Санырак, и Тайлак, и Малайсары, и Богенбай. Значит, Малайсары был жив... — старик вдруг задумался. Огляделся вокруг и чуть не вскочил со своего места, обрадовавшись своей неожиданной догадке.

«Если был жив Малайсары, — думал он, — значит, может быть в живых и Кенже, младший сын Маная...» — Старик встал. Он вспотел, пот выступил не от жары, а от неожиданной догадки. Прикрывая глаза ладонью от солнца, он взглядом поискал Санию. Но она была далеко, ушла за хворостом... Старик снова уселся на свое место. И хорошо, что ее не оказалось рядом. Не надо говорить ей о своей догадке. Она давно мысленно похоронила Кенже. Былого не вернешь. Да если и жив Кенже, помнит ли он Санию? Ведь на дорогах войны случается всякое. Мало ли девушек в степи? Каждая почтет за счастье быть с таким жигитом. Кенже в этом не виноват. Пусть здравствует, пусть будет счастлив сын доброго Маная. Не надо говорить о нем дочери. Слава аллаху, его дочь не хуже других. Вот придет бы ее, и она не уступит никому ни красотой своей, ни смелостью. И трудится она не хуже других. В этом он убедился здесь. Найдется и ей жених, хотя... конечно, какое было бы счастье для него, старого Оракбая, если бы он выдал ее за единственного сына своего мудрого друга Маная... Мысли, одна не похожая на другую, вконец одолели старика, он устал от них. Не мог удержать их в полной тайне и после того, как вернувшаяся с поля дочь накормила его айраном и горстью прожаренного проса и напоила чаем, разговорился:

— Доченька, ты что думаешь, вот так и будем жить мы с тобой, как глухонемые?... Как хочешь, а все же мы с тобой пойдем сейчас в аул, хоть на людей посмотрим, уже два дня, как там много народу. Видать, вести хорошие принес узун кулак, акыны, говорят, появились. Пойдем, дочка. Никто не унесет наш шалаш и не уведет коней. А хочешь, оседлаю коней, поедем...

Сания удивленно взглянула на отца. Что с ним? Впервые за много дней отец показался ей взволнованным. Что его обеспокоило? Может, ему просто надоела такая тихая жизнь — и он решил выйти в люди? Сания улыбнулась. Стало как-то легче на сердце. Бедный отец, хоть раз бы поругал

ее, отвел свою душу, а то ведь и ругаться-то не умеет. За всю жизнь она так и не услышала от него сердитых слов. Бедный отец... Ему же не легче, а, наверное, труднее, чем ей.

— Поедем, поедем, отец. Вы только немного потерпите. Я заштопаю вашу рубашку и сама оседлаю коней. Посидите или, как всегда, немного отдохните после обеда.

Но он заторопился пуще прежнего.

— Зачем мне переодеваться? Я не на той еду. Это тебе нужно смотреть за собой. Что ты ходишь, как старушка?! Раньше времени хочешь похоронить меня? Ты, дочка, не смотри на меня так. Я свое прожил, ты делай все так, как тебе хочется, как душа велит. Ты ведь у меня молодец. Для меня, сама знаешь, нет ничего важнее твоего счастья. Не оглядывайся на меня. Сам аллах знает — я теперь не в силах тебе помочь, я как путы на твоих ногах. Эх, я старый, старый ворон, как дракон, проглотил всех, кто был вокруг, а сам живу. И что это за наказание?! Мне нужно было раньше Маная отправиться на тот свет и встретить его там, а я все живу...

— Хватит наговаривать на себя! — вдруг резко вырвалось у Сании. — Да что это вы сегодня так исполошились? Сказали бы с утра, мы бы с утра поехали в аул.

Она подвела коней, быстро оседлала их. Старик притих. Он не произнес ни слова, взобрался в седло. Прошел почти месяц, как табунщик не садился на коня, и сейчас ощутил, что конь уже набрал за это время силу. Седло было удобным, и старик успокоился, почувствовал себя прежним Оракбаем, который, если надо, еще может потягаться с молодыми жигитами.

— Иншалла, все будет хорошо, дочка, — назидательно сказал он и направил коня в сторону аула. — Поехали, дочка, слушаем новости, говорят, сюда заехал бродячий акын и слагает песни о победе батыров...

...Сания еще издали заметила, что центр аула, большое, утрамбованное копытами коней поле, лежащее перед двенадцатистворчатой юртой местного бая, заполнено людьми. Собственно, такую же картину она наблюдала не раз за последние дни, но не обращала на нее внимания. Постоит, посмотрит издалека и вновь займется своим делом. Мало ли что может происходить там? У кого-то случится беда, кому-то бог пошлет нежданную радость. Ведь у казахов так: родится ребенок — соберутся люди, родители заколют последнего ягненка. А народ сейчас — ох как охоч до еды. Умрет человек — снова режь барана, а то и коня — у кого что есть. На все воля аллаха. Но вот сегодня, видимо, не той по случаю рождения и не поминки. Не слышно ни плача, ни смеха. Однако людей много, многие верхом — видно, приезжие из ближних и дальних аулов. Все чем-то поглощены, кого-то слушают. «А не все ли равно, кого там слушают», — подумалось ей. Но тут же она удивилась своей мысли. Что сделало ее та-

кой безразличной ко всему? Совсем недавно, ну год, даже полгода назад, ее в таких случаях снедало неуемное любопытство. Она, не задумываясь, мчалась туда, где было побольше людей, где были жигиты, ей нравилось стоять в стороне, будто не обращая внимания на них, и в то же время ждать — кто из них первым бросит на нее взгляд, кто первым догадается, что она — девушка, что носит мужскую одежду, потому что считает себя не хуже любого жигита-воина. Она неосознанно бросала вызов степному укладу жизни, где высоко ценилась лишь сдержанность и замкнутость девушек на людях, особенно среди незнакомых мужчин. Сания, кажется, поняла все это лишь сейчас, в эти месяцы, находясь в чужом для нее краю, живя в уединении. Она потеряла Кенже. Единственного человека, который по-настоящему любил ее, считал ее чуть ли не святой, терялся и краснел перед ней, как перед ханской дочерью. Эта мысль терзала ее все чаще и чаще за эти последние месяцы. Было невыносимо тоскливо и больно на сердце, что она ни разу не смогла подарить Кенже свои ласки. В ней раньше никогда не появлялось чувство подавленности и покорности, которые присущи женщинам ее положения. Ведь она не байская дочь и не дочь султана. Зачем нищенке быть гордой? Но и отец и мать, и весь аул воспитали ее так, что она росла баловницей, свободной и вольной. Ей было дозволено все, и никто не осуждал ее. Дозволена была даже эта одежда, что и теперь на ней, мужская одежда, которую она сейчас носит лишь по привычке. Это была тоже ее прихоть, средство, чтобы быть ближе к жигитам. Пора, пора снять ее. Не будет же она носить такую одежду до старости. Пора подумать о будущем. Отец совсем стар, слаб, и ему нужна опора, подмога... Погруженная в свои мысли Сания не заметила, как подъехали к толпе, и только голос отца: «Дочка, оставим коней, подойдем поближе», — прервал ее размышления.

...Акын завершил свою песню о битве под одобрительные возгласы слушателей. Молодая женщина в белом, отороченном красными узорами кимешеке преподнесла ему кумыс в большой фарфоровой чаше. Он был тощ и долговяз, этот акын, в белой рубахе навыпуск, в широких штанах из мягко отделанной кожи жеребенка, в красных ичигах на ногах. На плечах был чапан из нежной, тонкой верблюжьей шерсти, в руках домбра. Но сейчас он отложил домбру в сторону, пьет кумыс, сдвинув тюбетейку на затылок. Лицо худое, морщинистое. Только глаза молодые. Сидит на ковре, рядом подушка.

— Повтори, повтори, добрый человек, имена батыров. У меня плохой слух. Я хочу запомнить их имена навек... — шепелявя беззубым ртом, просит дряхлый, весь седой старик, опирающийся на посох.

Допив чашу до дна, акын поставил ее перед собой, не дотрагиваясь до домбры, немного приосанившись, четко повторил имена.

— Батыры эти — сыновья разных племен, дети всех трех казахских жузов, аксакал! — ответил акын. — Это славный Малайсары из рода басентин. Пусть земля ему будет пухом, пусть отдыхает он в раю, пусть благодарность народа дойдет до него... — акын, соединив ладони, поднес к лицу.

Все слушатели, вздыхая, присоединились к нему. Старец поднял руки к небу, шепелявя, прочитал краткую молитву, проведя ладонями по лицу и бороде, сказал:

— Аминь!

— Аминь! — повторили все.

— ...Вместе с ним сражались: мудрый и храбрый Богенбай, смелый Санырак и не уступающий в хитрости лисе, в смелости барсу Тайлак-батыр. Были с ним и батыр башкиров Таймаз, а еще самый молодой среди них — сын Маная, что из рода болатшы — Кенжебатыр!..

Сания, которая спокойно стояла рядом с отцом и почти равнодушно слушала рассказ акына, услышав имя Кенже, вдруг почувствовала слабость в ногах. Сердце девушки забило так, словно ему стало тесно в груди, лицо ее то бледнело, то краснело. Она вцепилась в плечи отца и увидела его лицо. Из глаз Оракбая текли слезы.

— Ты счастлив, ты счастлив, мой незабвенный, мой мудрый друг Манай... — бормотал старик сквозь слезы.

Схватив его за рукав, Сания начала выбираться из толпы...

После она никак не могла вспомнить, как они выбрались, как сели на коней и приехали в свой шалаш.

«Ты жив! Ты жив, мой Кенже... Слава создателю... Пусть теперь я буду твоей жертвой, я ежедневно буду молить аллаха, чтобы черная тень смерти, если будет нужно, окутала меня вместо тебя. Живи, живи, мой Кенже. Я люблю, люблю тебя, как же я не знала раньше, что нет у меня никого, никого, кроме тебя...» Впервые за долгие месяцы Сания дала волю слезам. Она плакала молча, отец не смотрел на нее. Не мешал ей. Он сам расседлал коней и увел в степь. Вдоволь наплакавшись, Сания почувствовала облегчение. Прибрав в шалаше, вытащила из мешка, встряхнула и осмотрела все свои старые, поношенные платья. Принялась за стирку, незаметно для себя даже начала напевать какую-то старинную песенку и, услышав свой голос, рассмеялась, утирая еще не просохшие слезы мокрыми руками. Засучив рукава до локтей, отбрасывая назад то и дело сползающие с плеч волосы, она перестирала всю одежду, что имелась у нее.

Вернувшись с поля, отец понял, что дочка готовится в дорогу. Решил скорее поделиться с ней новостью, услышанной в степи от проезжего всадника.

— Дочка, ты слышишь, говорят, что все казахи, все, кто может держать в руках щит и меч, собираются на Безымянной горе, что стоит у истоков Бадама. Там состоится великий хурал, как это бывало еще при Тауке-хане. Туда же, на Безымянную гору, держат свой путь и батыры, побившие джун-

гар у Буланты и Боленты. Иншалла, слава аллаху, народ отныне станет един, и тогда джунгары уберутся с нашей земли...

— Отец, отдай мой щит, мою саблю и кольчугу хорошему жигиту, найди мне новое платье или в обмен на старые достань мне какую угодно материю — шелк, атлас, самаркандский ситец. Я сама сошью себе платье. Быстро сошью, — сказала Сания, вытирая полотенцем белые локти и раскрасневшееся лицо.

— Но, дочка... — удивленно начал отец.

— Я не буду больше носить мужской одежды, щит и сабля мне ни к чему. Оружия не хватает жигитам... — Сания весело, четко произносила каждое слово.

— Хорошо, хорошо... Иншалла... Я сейчас же поеду в аул и на базар, что собирается у развалин Отрара. Управлюсь быстро, я быстро управлюсь...

На редкость густая и высокая трава уродилась нынче и здесь, в южных краях, в долинах рек и в предгорьях. Реки Арысы и Бадам были полноводны, как никогда. Их холодное, стремительное течение легко свалить всадника, а в лесных чащах, густо зеленеющих в долине, без труда могли скрыться целые аулы или огромное войско. Но это просто так, к слову. Нынче никто здесь не собирался прятаться от людского глаза, особенно от джунгар. Каждый аул, прикочевывший сюда, каждый жигит, каждая сотня, устремившиеся сюда по зову великих биев степи, по зову прославленных батыров, старались быть на виду. Со всех концов земли по большим дорогам, по заброшенным караванным тропам, а то и просто напрямик, прорезая густой ковыль грудью коня, утопая в зелени, словно в волнах необъятной реки, шли и шли сюда жигиты всех трех жузов необъятной Казахии. Они шли мимо Туркестана и Сайрама, никого не боясь, не обращая внимания на скопления джунгар, словно бросая им вызов, самим видом подтверждая донесения джунгарских провидцев и лазутчиков о том, что казахи открыто готовятся к главному удару.

Без конца собирались на совет тысячники джунгар, без конца спорили между собой Шона-Доба и Дабаджи, не в силах предпринять что-либо, что помогло бы остановить эти потоки казахских ополченцев, идущих к Безымянной горе. Решили ждать. Ждать прихода новых сил — китайской конницы, посланной великим хунтайджи Галданом Цереном через Аксу и Текес. Ждать результата переговоров казахских ханов, ведь еще ни разу не было так, чтобы ханы казахов пришли к согласию. Нет сейчас среди них такого, который смог бы взять верх над другими своей властностью, силой и мудростью. Да и батыры не так-то легко подчинятся один другому. Нужно, чтобы хорошо поработали провидцы. Можно наконец подкупить султанов, чья жадность, чья зависть к соперникам могут хорошо помочь джунгарам. Так советовал самый мудрый Табан. Шона-Доба, чье позорное поражение на берегах Бу-

ланты и Боленты вселило страх и тревогу во всю джунгарскую армию, пока что держался в стороне. Взвалив всю вину за проигранную битву на Дамбу, он не находил себе места от страха, ожидая кары от своего старшего брата — великого хана ханов Галдана Церена. И всю свою храбрость, все коварство свое использовал он для того, чтобы весть о его позоре не дошла до дворца. Самые верные слуги принца зорко следили за тем, что происходит в шатре Дабаджи. Ни один гонец Дабаджи не должен был уйти с вестью о поражении Шона-Доба в Великую Джунгарию. Двух тайных гонцов в сопровождении двух сотен самых храбрых и преданных китайцев отправил Дабаджи с рассказом о битве принца с казахскими батырами, но ни один из них не добрался даже до Аккуйгаша.

Дабаджи не знал об этом. Об этом знал лишь Табан, и только им посланный человек добрался до великого хунтайджи и рассказал обо всем, что было, о том, как теперь ведут себя Шона-Доба и Дабаджи, и передал совет провидца: настал час доверить Дабаджи говорить от имени хунтайджи. Нужно послать полководцам свое строгое великое повеление — объединить силы, собрать в железный кулак все войско, находящееся в Шаше, Сайраме и Туркестане, выстоять решающую битву, обязать всех казахских ханов платить дань и вернуться, сохранив добычу... Но об этом послании Табана не знали ни Шона-Доба, ни Дабаджи... Они знали лишь о том, что в спешащей к ним из Джунгарии коннице много циней. Что сам богдыхан хочет помочь им, что не пройдет и недели, как под их эгидой будет пятидесятитысячное войско, которое может победоносно пройти по всей земле казахов...

...Прошла почти неделя, как старый табунщик, покинув свою последнюю стоянку — шалаш в низовьях Бадама близ маленького аула, вместе с дочерью выехал по направлению к Безымянной горе. Попадая из одного каравана в другой, переходя из одного стана ополченцев к другому, он, как и в былые годы, подолгу засиживался у костров, целыми днями не знал покоя, помогая то одним, то другим. Он словно обрел прежние силы. Как ребенок, старик радовался тому, что люди стали общительны, доверчивы, словно в былые, почти позабытые времена.

Оракбай хотел помочь каждому. То он перевозил на своих конях людей через речку, то помогал чинить чью-то арбу, то подковывал коня молодому жигиту в походной кузнице. А Саня помогала женщинам доить кобылиц, толочь просо...

Чем ближе они подъезжали к Безымянной горе, тем чаще им встречались белые юрты султанов и их близких родственников, богачей. Вокруг гарцевали на скакунах разодетые воины, туленгуты. И все чаще Оракбай слышал грозные окрики, и уже не по собственному желанию, а по приказу того или

иного байского прихвостня ему приходилось то отводить на выпас чьих-то коней, то помогать подогнать кобылиц для дойки, то разделявать тушу барана для байского котла.

— Эй, ты! Что ты без толку бродишь здесь? Лучше бы зашел к нашему достопочтенному баю и попросил его, чтоб он дал тебе работу, еду. Дочь-то у тебя не так уж плоха. Глядишь, и смиловился бы наш мирза. Да я и сам готов прикрыть ее на ночь своим чапаном...— слова туленгута, как плетью, обожгли старого табунщика. Он был беден всю жизнь, но не привык к таким оскорблениям.

Оракбай оглянулся. Хорошо, что Сания не слышала этих слов, она вела коней с водопоя. Старик не мог сдержать своего гнева.

— Видать, ты безроден, жигит, коль не научился уважать старших. Были бы здесь жигиты из рода болатшы, они бы вырвали тебе язык. Быть туленгутом у богача не столь уж высокая честь, чтобы она давала право оскорблять каждого. Мои седины достойнее твоей продажной молодости. А дочь моя не для таких, как ты, дворовых псов богача!..— старик захлебнулся, закашлялся. Обида и горечь сжали горло. В этот миг он почувствовал себя чужим среди своих.

Не ожидавший такого дерзкого ответа от какого-то старика скитальца, туленгут набросился на Оракбая и, не слезая с коня, стал хлестать старика плетью по спине.

— Старый бродяга! Как смеешь ты называть меня безродным, я покажу тебе! — он гарцевал вокруг старика, нанося удары.

Бедный Оракбай то падал, то вновь вскакивал, пытаясь схватить обидчика за ноги или за уздечку его коня.

Сания издали заметила, как отец, защищаясь от ударов, упал на землю. Она вскочила в седло, схватила чей-то курук, прислоненный к юрте, и, подскакав к обидчику отца, в мгновение ока столкнула его с седла. Отбросила в сторону курук, вырвала плетку из рук перепуганного туленгута и изо всех сил хлестнула его по лицу. Туленгут заорал от боли.

— Не трогай отца! — не по-женски суров был голос Сании.

Она помогла отцу встать. Подвела коней. Собрался народ. Старый табунщик и его дочь оказались в тесном кругу незнакомцев. Одни смеялись над незадачливым туленгутом, другие с удивлением и уважением смотрели на молодую стройную женщину. Поддавшись внезапному приступу гнева и обрушив свой удар на обидчика, Сания теперь не знала, что делать. У нее дрожали руки. Ей хотелось причитать, плакать, кричать и ругаться, как это обычно делают женщины в таких случаях. Но она не могла.

— Искали спасения от джунгар, а у своих попали в волчье логово! — с тоской и болью воскликнула она.

— Эй, что здесь за толчея, что за шум? — люди расступились, пропуская человека лет пятидесяти, выхоленного, с чер-

ными красивыми усами, в голубом легком чапане, накинутом на плечи.

— Да вот, скитаются тут всякие бродяги и еще оскорбить вашу честь норовят... — ответил один из туленгутов. — Видите, мирза, эта женщина, подобная голодной волчице, осмелилась при всем народе поднять руку на вашего слугу. Его лицо залито кровью!..

— Ха! Если он не может одолеть бабу, то зачем лезет к ней?! Мнишь себя соколом, а перед бабой выглядишь побитым щенком... — гневно процедил бай сквозь зубы.

— Ба, да это же конокрад Сыбай, верный пес Салакбая... — удивленно крикнул кто-то из толпы. — Да кто же это его? Кто бы ни был — поделом Сыбаю...

— Эй, кто там так осмелел?! Выходи сюда! Салакбаю не нужны чужие кони, он и за коней из своего табуна купит с потрохами сотню таких, как ты!

— Умерь свой пыл, Салакбай. Времена не те. Лучше утри сопли своему туленгуту! — раздался тот же голос.

— Взять его! — приказал Салакбай.

Туленгуты ринулись выполнять его приказ, но толпа не шелохнулась, она плотной стеной загородила жигита, стоявшего в коротком старом чапане нараспашку. Жигит улыбался. Белый платок туго обтягивал его голову. На поясе висел короткий кинжал, под чапаном была видна кольчуга.

— Не время, не время, Салакбай. Отложим спор. Я хотел бы увидеть тебя в битве с джунгарами, — сверкали глаза жигита. — Не одолели старика и женщину, хотите потягаться со мной. Не выйдет. Лучше добром раздай табуны сарбазам. А иначе без спроса твоих коней оседлаем. Или ты хочешь их передать джунгарам, чтобы спасти свою шкуру?!

Воспользовавшись моментом, старый табунщик попытался увести Санию из этого опасного места. Но Салакбай, будучи не в силах наказать дерзкого жигита, обратил весь свой гнев на Оракбая и Санию:

— Стойте! Кто вы такие и откуда?

— Я табунщик Оракбай из племени найман, из рода болатшы, а это дочь моя, — стараясь держаться достойней, ответил старик.

— Так что же вам нужно здесь?! Продали свои земли джунгарам и сеете раздор и смуту здесь, среди достойных жигитов Младшего жуза. Эй ты, пес плешивый, скажи: как было дело? — обратился Салакбай к своему туленгуту, все еще вытиравшему кровь со лба.

— Она, видать, взбесилась... Налетела сзади и плеткой по лицу... — начал оправдываться тот.

— Так, значит, вы все здесь сговорились! Все против Салакбая... Ну посмотрим! — процедил сквозь зубы мирза и резко крикнул: — Взбесилась, говоришь! А ты не знаешь, от чего бесится баба? Давно ездока не видела... — он зло рассмеялся. Раздался недружный хохот туленгутов. — Так помоги ей.

Бери, она твоя! Пусть жигиты возьмут моих коней за нее. Эй, чего вы стоите?! Хватайте, уведите ее в юрту потемней! — крикнул он своим слугам. — А этому старому бродяге дайте верблюда. Это мой калым!

Несколько туленгутов, наперебой восхваляя щедрость Салакбая, бросились к Сании. Она, как беспомощное дитя, вдруг схватилась за рубаху отца и укрылась за его спиной. От ее прежней смелости и гнева не осталось и следа. Но зато Оракбай, которому отцовское чувство дало силу, встал во весь рост, седой, побледневший. Старческие руки стальной клешней сжали рукоятку сабли, и он был готов совершить свой суд над теми, кто сейчас приблизится к его дочери. В этот миг он мог решиться на все. Туленгуты оробели. Притихла толпа, и тут вперед выскочил все тот же дерзкий жигит в коротком чапане.

— Вы действительно превратились в дворняжек! — толкнул он в грудь переднего туленгута. — Назад! Прочь руки! Аксакал, успокойся, — обратился он к Оракбаю. — Сестра, не бойся. Мы не дикари, чтобы отдать вас на съедение Салакбаю. Садитесь на своих коней. Мира и счастья вам! Никто вас не тронет в этом краю, на этом великом сборище всех племен казахов по случаю победы батыров и по воле великих биев. Салакбай не судья над нами. У него больше нет табунов. Все кони нынче нужны для сарбазов! Такова воля старейшин, воля биев всех трех жузов!

Ты подобен шакалу, Салакбай! Но нынче сила не в твоих лапах. Жигиты, пошли! Выберем себе коней из его табунов. А вы, продажные дети аллаха, идите вместе с нами, — обратился он к туленгутам. — Нынче нам судьи не баи и султаны, а сам народ! Победим — обласкает, погибнем — оплачет. Нынче нам судья — наша совесть, а наш враг один — джунгары...

Не дослушав речи жигита, не узнав, чем закончилось столкновение бедных сарбазов с Салакбаем, старый табунщик со своей дочерью покинули аул и, держась в стороне от людей, спустились в долину и поехали куда глаза глядят. Сания не могла удержать своих слез — от обиды, от беспомощности, от одиночества.

— Да, трудно, трудно одним без защитника, без опоры... — еле сдерживал свои рыдания Оракбай. — Но мы найдем, найдем здесь своих. Аулы Великого жуза тоже должны быть здесь. Мы поедем к ханским шатрам. Там должен быть Кенже. Говорят, уже прибыли все батыры... — размышлял старик, когда они остановились у небольшого ручья перекусить. Слезы Сании давно высохли.

В этой охраняемой со всех сторон сарбазами долине, в этих аулах, живущих под охраной ополченцев, сейчас нет страха перед джунгарами. Богачи пригнали сюда под защиту жигитов-мстителей даже свои табуны и отары. Здесь джунгары не страшны ни для Сании, ни для ее отца. Но что из этого? Всегда было так — если ты беден, да еще одинок и без-

защитен, то нечего тебе ждать добра от людей. Любой туленгут богача или сам бай, а то и просто какой-нибудь зарвавшийся забияка может безнаказанно поиздеваться над тобой. Такова доля женщины, когда она слаба и беззащитна. Найти бы Кенже, а там будь что будет... Все мысли, все думы девушки были лишь о Кенже. Ведь он тоже где-то здесь... Женское предчувствие не обманывает. Она скоро увидит его. Она ждет этой встречи и боится ее. Быть может, он уже забыл о ней.. Достояна ли она того, чтобы помнить о ней?..

Нет, нет, все равно она должна увидеть его. Он защитит отца, защитит ее от обидчиков.

Объединенная конница Санырака, Тайлака и Таймаза, слившись с сарбазами Богенбая, шла на юг к Безымянной горе, сопровождаемая послами и гонцами всех трех ханов Казахской земли. Батыры двигались не спеша, сохраняя силу коней и людей, не отдаляясь от обозов с богатыми военными трофеями, захваченными в битве с джунгарами. Почти вся артиллерия противника оказалась в руках сарбазов. Чтобы не тесниться во время привалов, сарбазы двигались тремя отдаленными друг от друга на десяток верст отрядами. В каждом из них насчитывалось по несколько тысяч сабель.

Оставив позади верст шестьсот, батыры повернули коней, обошли стороной Туркестан и вышли к просторному караванному пути, связывавшему Чимкала с Шашем. На следующий полдень вновь объединились все три отряда и под приветственные возгласы выезжавших и выходивших навстречу людей — богатых и бедных, лихих воинов и нищих бродяг, убеленных сединами старцев и впившихся в гривы коней степных сорванцов, старух и степных красавиц они наконец достигли главной ставки ханов, укрепивших свои знамена на вершине Безымянной горы.

Собственно, никакой горы здесь не было. Была широкая, просторная зеленая терраса, на которую батыры поднялись незаметно для себя, сопровождаемые радостным гулом народа, собравшегося здесь по зову вождей племен со своими юртами, со своим походным имуществом, со своими кузницами и косяками боевых коней. Терраса эта поднималась над безграничной степью, над безбрежными долинами рек Бадам и Арысь и с юго-запада и юго-востока была окаймлена отрогами Каратауских и Алатауских гор.

Через день после прибытия Кенжебатыр поднялся на верхнюю точку террасы.

Отсюда можно было обозреть все реки и долины, раскинувшиеся вокруг, всю степь, утопающую в переспелой буйной траве. И казалось, что нигде на этой великой казахской земле нет такого места, с которого так же открывался бы простор дальнозоркому взгляду степняка...

Он впервые так широко ощутил первозданную, могущественную красоту степи, он видел ее синеву, ее цветенье и силу. Богатая, щедрая земля лежала у его ног. Небольшие холмы, низкие зеленые отроги напоминали застывшие волны великого моря; реки, сверкающие в лучах солнца, уходили из одного края дали в другой. Но не только красота природы заворожила Кенжебатыра. Ему как воину было ясно, что только с этой точки, только с этой площадки можно увидеть то, что было скрыто от посторонних взглядов, от джунгар. Отсюда были видны все войска народного ополчения.

Вместе с Егоркой, который поднялся сюда с ним, Кенжебатыр видел сарбазов, расположившихся у подножий холмов, укрывавшихся в многочисленных логах волнистой террасы.

Но и отсюда нельзя увидеть все казахское войско — в этих логах, неглубоких, но самой природой надежно укрытых от глаз ущельях, расположились отборная конница Абулхаира, султанов Абульмамбета, Барака, Болат-хана и объединенная конница Санырака, Тайлака, Таймаза и Богенбая. Кроме них в складках этой огромной террасы надежно укрывались каракалпакские, киргизские и узбекские сотни. И не прошло и часа, как глашатаи известили всех о том, что на помощь ополченцам пришли и таджикские сотни.

— Ох, и великая будет сеча ныне на вашей кайсацкой земле, — потирал руки Егорка. — А что? Не объединить ли мне всех русаков? Своя сотня будет. Есть каракалпакские, туркменские сотни, будет и русская. Потягаемся, кто храбрей и скорей в сече.

— Отныне все решают ханы, — ответил Кенжебатыр, и ему самому показалось, что ответил не он, а кто-то другой. Так непривычно было для него это слово — «хан».

Прибыв сюда вместе с батырами, он с первой же минуты почувствовал необычность обстановки. Не только торжественность и величие происходящего, его важность для судеб своих соплеменников и свою причастность к этому событию, но и нечто другое, что больно отдавалось в сердце, рождало глухой протест и злобу. Здесь ему сразу же дали понять, что он из черни, что он не принадлежит к степной знати, к белокостной элите, что он не потомок бая или султана, что даже род его — болатшы — не может быть на равных с другими родами и племенами казахов.

Но, быть может, все это показалось ему? Ведь никто не сказал ему об этом прямо. Его принимали с почетом, как и всех других батыров...

Кенжебатыр впервые в жизни задумался о себе и о своем месте в этом великом скопище людей. Что заставило его задуматься? Слова разодетого, как петух, распределителя мест и юрт для батыров, который, как показалось ему, изо всех сил старался дать понять своими поступками, что он, Кенжебатыр, не может претендовать на место в кругу знати, на место в юртах для почтенных лиц...

— Тьфу! — с досадой плюнул Кенжебатыр. Ему стало стыдно за свои мысли... — Нашел о чем думать, над чем ломать голову. К чему эта мнительность? Да откуда она?

— Ты што хмурый, опять о своей красотке вспомнил? — спросил Егорка, глядявась в лицо Кенжебатыра. — Это, брат, как болячка. Не хочешь, а все одно в голову лезет. Я вот тоже нет-нет да о своей вспоминаю. Была такая. Как пойдет она на ум, так и изба родимая вспоминается и по деревне тоска одолевает. Так я быстро ту думу прогоняю.

— Ты прав, брат, в родных краях, среди родных и горе и обида легче переносятся... — задумчиво ответил Кенжебатыр.

Они стояли в ста шагах от огромного белого шатра, в котором проходил совет ханов и султанов. Там же находились великие бии, от батыров там присутствовал Богенбай. Вокруг шатра безмолвно застыла стража. Шатер был обращен лицом к степи, а дальше, чуть ниже по склону, возвышались богатые шестнадцатистворчатые юрты ханов, за ними были рассыпаны юрты и шатры ханской знати и султанов, богачей, еще ниже теснились юрты и шалаши воинов, поваров, табунщиков — всех тех, кто явился сюда, чтобы слиться в огромное людское море. В стороне от белого шатра был вбит в землю железный кол. Возле него на привязи томился одинокий снежно-белый скакун без седла, без сбруи. Красавец конь с султаном из совиных перьев на холке. Грива его была заплетена в косички, на хвосте алые и голубые ленты. Не конь, а тулпар.

Поглядывая на белого скакуна, о чем-то переговариваясь меж собой, поодаль на богатых коврах, на атласных подушках полулежали несколько старцев в бело-голубых чалмах. То были хозяева разрушенных джунгарами мечетей Туркестана и Сайрама, люди высокого духовного звания, ходжи, совершившие паломничество в Мекку и потому почитаемые народом как святые. Без их благословения удача не могла сопутствовать в любом большом деле. Они изредка отмахивались опахалами от мух и степенно потягивали свежий кумыс из огромных фарфоровых чаш. Несколько молодых жигитов молча стояли рядом, готовые выполнить любое повеление верховных служителей алаха. Но старикам не было дела до них; лениво перебрасываясь словами, они то поглядывали в сторону шатра, то бросали пристальный взгляд на западный склон верхней террасы, где дымились костры над котлами. На свежеструганых осиновых кольях разделявали бараньи туши. Там, вокруг костров, не менее ста мужчин и женщин, засучив рукава, торопливо готовили трапезу для ханской свиты, султанов, батыров. В огромных бурдюках, привязанных к наспех вбитым столбам, женщины взбивали и взбалтывали кумыс. Молодые жигиты на конях без устали подвозили и подвозили к ним кобылье молоко из ближнего лога, где доили кобылиц. Веселые, сытые гончие и дворняжки, радостно повизгивая, гонялись друг за другом вверх и вниз по скло-

нам. Десятки озабоченных конных и пеших, как муравьи, неустанно шныряли от юрты к юрте, от аула к аулу. Одним словом, все говорило о том, что люди ждут какого-то торжественного события, ждут окончания ханского совета. Но из шатра пока никто не выходил. Только безмолвные слуги то скрывались в шатре, то вскакивали на коней и мчались куда-то по срочным делам. А молчаливая стража зорко следила за тем, чтобы никто, кроме слуг, не приближался к шатру. Нетерпеливо, звонко заржал белый скакун. На его голос откликнулись другие, что стояли у дальней коновязи под охраной туленгутов. То были отборные рысаки и прославленные скакуны султанов и батыров, заседавших сейчас в главном шатре.

Наблюдая за происходящим вокруг и занятый своими мыслями, Кенже опять вспомнил о Сании и не заметил, как к нему подъехал Таймаз.

— Что, брат Кенже, думы одолевают?.. Нечего томить себя. Все будет решено там, — Таймаз указал на шатер. — А нам важна сила рук. Голова перед боем должна быть свободна от всякой ерунды. Уже близок час. Видишь, глашатаи что-то учуяли, на коней сели, а вон погляди на барабан для особо важных событий. Какой-то жигит уже в готовности стоит возле него. Собирается бить тревогу или призыв. Ему все равно! — Таймаз, как всегда, был весел, подтянут, его шлем сверкал в лучах уже поднявшегося к зениту солнца. Но здесь, на вершине террасы, не ощущалось жары. Мягкий свежий ветер легал по травам.

Не успел Кенжебатыр ответить Таймазу, как зашевелилась, забеспокоилась стража. На почтительном расстоянии от шатра застыли в ожидании приказов гонцы, глашатаи. Медленно перебрасываясь словами, начали подниматься с мест почтенные слуги аллаха. Взоры всех обратились к белому шатру. Кенжебатыр и Таймаз прошли поближе к гонцам.

Вот откинут тонкий персидский ковер, раскрылась дверь шатра, и показался великий имам степи.

Он торжественно направился к ожидавшим его ходжам и муллам. Батыр Богенбай вышел из шатра в сопровождении Тайлака и Санырака. Лицо Богенбая было спокойно, глаза задумчивы. Он быстро окинул взглядом террасы, на мгновение обратил взор в безбрежную даль степи, постоял немного, будто вспоминая о чем-то, но, заметив Кенжебатыра, Егорку и Таймаза, широко улыбнулся, пошел им навстречу.

— Ну, пора, жигиты! Скачите, выводите войско! — раскрыв огромную пятерню, он обвел рукой холмы, раскинувшиеся у ног батыров. — Священный час настал! Скачите, готовьте сарбазов. Пусть победители битвы на берегах Буланты и Боленты станут впереди! Всех на коней! Слава создателю! Ныне великие бии обратятся к сарбазам и народу!..

Все трое вскочили на коней. Объезжая ханские юрты, они заметили, что за юртами стоят шатры иноземцев — быть мо-

жет, купцов, а может, послов или просто странников, охочих до разных слухов, доносчиков и лазутчиков... Кого только не влечет сейчас в эту степь?! Всем интересно и важно, выстоит ли или погибнет Казахия под копытами джунгар и циней! Говорят, даже франки здесь появились, северные франки. Каждый втайне надеется поделить шкуру еще не убитого быка, подумалось Кенжебатыру.

На дальних холмах и на больших террасах — повсюду слышны голоса глашатаев. Захлебнулись от радостной дроби барабаны, затрубили, заурчали карнай и сурнай — точь-в-точь как на площадях Хивы, Самарканда и Бухары. Откуда-то доносится гортанный клич туркмен, призывные крики узбеков и каракалпаков, где-то затянула песню таджикская сотня...

Батыры заторопились. Егорка устремился в длинный зеленый лог, где стояли смешанные сотни русских и казахов и находились трофейные пушки; Таймаз мчался к своим, у него уже было пять сотен башкир и татар, нгайлинцев — и все лихие жигиты, под стать друг другу, озорные, смелые, охочие до степных красавиц, мастера на острое слово, чувствующие себя баловнями среди казахских сарбазов, относившихся к ним с братским великодушием и терпеливо выносивших все их остроты в свой адрес.

Кенжебатыр с ходу, не сбавляя галопа, поднялся на холм и осадил скакуна возле молодых воинов.

— Кончился совет ханов и великих биев. Ждут нас! Торопитесь, братья. Передайте жигитам — мы все должны выглядеть батырами, как подобает победителям. Возьмем ширину войска в пятьдесят всадников, чтобы не растягивать конницу в глубину больше чем на версту...

Таймаз быстро подтянул свои сотни, и конница победителей в едином строю во главе с батырами двинулась к белому шатру, прорезая людское море, неистовыми волнами охватившее все подступы к верхней террасе, к главной ставке.

Охваченный каким-то радостным, волнующим чувством, не ощущая под собой седла, не слыша рокота людской волны, Кенже ехал впереди всех. Он видел лишь белизну шатра да бездонность голубого неба. Он видел себя со стороны. Видел батыром, ведущим огромную армию к священному шатру, чтобы получить благословение народа. За ним следовали Таймаз и десять самых храбрых жигитов, которые после битвы в долине Карасыр стали сотниками и тысячниками.

Расступался народ, пропуская победителей, расступались войска ханов и султанов, завистливо уступая дорогу объединенной коннице батыров.

— Нет, там не видно Богенбая. А где Санырак и Тайлак? А этот, кажется, тот самый удалой Кенжебатыр из рода Болатшы, из племени найманов, что в Великом жузе... Слава аллаху, тысячу благодарностей создателю... Наконец-то, наконец-то мы дожили до великого дня. — Кенже слышал голо-

са людей, даже воины ханов и султанов с почтением приветствовали их.

— Смотрите! Смотрите! Вон тот самый храбрый сын башкир и татар. Красавец батыр Таймаз! Айналайн, все-таки своей, мусульманин, за нас дрался...— услышал Кенже голос какого-то старика.

— Да что ты?! Заладил — мусульманин, мусульманин... А вот тот — рус? Говорят, тоже дрался не хуже Богенбая, хотя и не нашей веры,— перебил другой.

— Должно быть, он тоже одной веры с нами. Иначе быть не может...— не сдался старик.

Уже близко, совсем близко от шатра. Вырвавшись из толпы, навстречу Кенже бросились два всадника: пожилой могучий мужчина и красивая, строгая красотой женщина в иссиня-белом кимешеке. Они бросили под копыта коней батыров пригоршни золотых и серебряных монет.

— Это все наше богатство! Пусть во имя народа ваш путь будет счастливым! Победы, победы, победы вам, сыны наши!..

Где-то в толпе зазвенела домбра. Высокий чистый голос акына начал торжественную песню. Подхватил другой...

Кенже не слышал ничего, он видел только лица, усталые, но радостные лица братьев и сестер своих. Все, все были его братья, его сестры. Он слышал смех, он видел слезы — слезы радости — на глазах у людей. Он не услышал, как из глубины людского моря неожиданно, как внезапный выдох, вырвался голос женщины: «Кенже!» — и умолк.

То Саня увидела его и не смогла сдержать себя. Она рванулась вперед, но ее конь не смог пробиться к сарбазам, люди оттеснили ее. Она снова, как и в прежние годы, была в одежде жигита. Отца рядом не было. Он заболел с того дня, когда его избил туленгут и они с трудом, с помощью незнакомых жигитов ушли от надменного богача. На следующий день отец не смог подняться, у него разболелась спина. Доверив отца попечению незнакомому старому табунщику и его старушки, прибывших с берегов Сырдарьи, она сегодня приехала сюда, к верхним террасам, в надежде найти Кенже. И вот нашла его, увидела его. Он жив! Он стал батыром! Так смеет ли она теперь искать с ним встречи, когда самая достойная красавица степи, будь то дочь султана или хана, почтет за честь удостоиться ласки Кенже...

Кружилась голова. Горело лицо... Нет, нет. Она не уступит его никому. Никому! Она нашла его. Нашла после стольких лет, после стольких мучений...

Но где же он?! Как он далек и сколько людей вокруг него, сколько жигитов ведет он за собой?!

Кенжебатыр не увидел девушку, но где-то в глубине его сердца жило желание, чтобы именно сейчас, в эти торжественные мгновенья, его увидела Саня. Он мечтал об этом.

Но где она теперь? Куда занесла ее нелегкая судьба? Ему так хотелось увидеть ее или хотя бы услышать о ней. Не толь-

ко оттого лишь, что он любит ее. А потому еще, что она единственная, кто знает до последних дней жизнь его погибшего аула...

Все ближе белый шатер. Больше знати, теснее ряды сарбазов. Вон там, кажется, стоят ханы, каждый в окружении своей свиты — султанов, богачей и сородичей.

Кенжебатыр огляделся. По пятьдесят в ширину, медленно, стремя в стремя, как течение великой свинцовой Сырдарьи, двигалась конница вслед за ним. Берега этой реки были составлены из плотной людской массы — конной и пешей...

Случайно Кенжебатыр задержал взгляд на опаленном ветром лице степняка. Старая худая кляча под ним, худое седло, рваный чапан, а вид — как у ободранного, но задиристого петуха, сверкает топор у луки седла. Рядом такой же бедняк. У него секира, у третьего соил из корней яблони. Трое затесались в среду знати. Но вокруг таких много. Тысячи. Они заполнили все террасы, холмы и равнины. Топор, секира, вилы, косы, дубины — чуть ли не у каждого из тысяч и тысяч людей, собравшихся сюда. Он видел этих людей и раньше. Вчера и позавчера. Деревянные пики с железными наконечниками есть у всех, кто не смог раздобыть себе лучшего оружия, хорошего коня, крепкую кольчугу и достойно встать в строй сарбазов. Видно, что все они жаждут боя, рвутся все в битву с джунгарами. «Но что им защищать, что терять?.. — вдруг подумалось Кенжебатыру. — И зачем здесь столько стариков, зачем женщины и дети? Ведь война не их удел...»

Прямо перед собой он увидел жигита на саврасом коне, в дорогом воинском одеянии.

— Остановитесь здесь! Дальше нельзя... — поднял он руку.

Кенжебатыр натянул поводья. Войско победителей встало лицом к белому шатру. С запада, востока и юга подошла конница ханов трех жузов. И если бы в этот момент можно было, подобно орлам, парящим сейчас в небе, подняться ввысь и бросить оттуда взгляд вниз, то взору предстала бы неповторимая по своей величавости картина.

От белого шатра на все четыре стороны, подобно широким рекам, сверкая в лучах солнца шлемами, тянулись плотные ряды четырех армий. Солнце играло на отточенных остриях пик, окаймленных пучками волос из конского хвоста, сверкая и переливаясь на начищенных до блеска кольчугах, на лезвиях секир и выпуклостях щитов. Конница, появившись откуда-то из густых зарослей трав, плотным упругим строем подходила к самому шатру. А широкое пространство между отрядами было заполнено народом.

Орлы, взмыв до самых небес, кружили там чуть ли не стаями, не обращая внимания на вспугнутых уток и гусей, тучами поднимающихся с рек, на дроф в степи, на зверей, убежавших прочь от этого людского моря; на куланов и сайгаков, уводивших своих еще не окрепших детей подальше от шума, в безлюдные края.

Наступили торжественные минуты ожидания. Постепенно умолк гул. Слышался лишь перестук копыт да тонкий лязг сабель и мечей. Взоры всех — и воинов и простого люда — обратились к белому шатру.

Справа от его входа собрались прославленные батыры и предводители ханских конниц. Впереди, в центре спокойно стоит могучий Богенбай. Рядом Тайлак, и Санырак, и Есетбатыр, молодой, но уже известный в народе своими подвигами, он стоит в толпе других — сыновей киргизов и узбеков, каракалпаков, туркмен и таджиков. Даже ойроты здесь, они с берегов Едиля. Никто из батыров не принадлежит к знатному роду, но все они любимцы народа, и потому сейчас они заняли места, достойные их славы. Словно герои легенд и сказаний о великих сражениях, стоят они в ожидании выхода верховных вождей этой необъятной земли. Открытые лица, веселая улыбка у одних, суровый взгляд у других. Но все они под стать друг другу. Стоят как братья, как дети одного отца, тихо переговариваясь между собой и бросая время от времени взгляды на своих сарбазов, застывших в отдалении.

Слева от шатра — верховные служители аллаха — имамы, ходжи и те, кто наделен высшей властью повелевать над сборщиками пожертвований и податей, взимать налоги во имя пророка Мухаммеда и в честь всех священных мусульманских празднеств.

Кто знает, о чем сейчас их мысли? Наделенные неограниченной властью над бедными людьми, над всем, что есть и чего нет у них, эти имамы и ходжи всегда вселяют в душу и сердце бедного степняка смутную тревогу за будущее. Ведь без их молитв нет покоя не только на этом, но и на том свете... Но аллах с ними, с ходжами. Кенжебатыру нет дела до них. Как и его друзья, он весь в ожидании.

Вот наконец раскрылись двери. Один за другим на зеленое поле перед шатром степенно вышли три убеленных сединами старца, три великих бия, чьи имена были известны каждому степняку: три человека, которые, дожив до глубокой старости, не потеряли ясности ума, смелости и трезвости мысли; три человека, о мудрости и справедливости которых уже давно слагались легенды, сказки и песни в степи. Трое, те, кто не подчиняются ни ханам, ни султанам; трое, те, кто еще пятнадцать лет назад, еще при жизни Тауке-хана, были объявлены совестью народа. И перед ними, как перед судом совести, тогда кровно поклялись все ханы и султаны Казахии, поклялись действовать в согласии — покончить братоубийственную междоусобицу и быть едиными перед джунгарами и цинями, никогда не дававшими покоя казахской степи.

Кенжебатыр знал, что они, эти трое старцев, жизнью и делами своими доказали свое бескорыстие и справедливость. Они служили одному богу — Истине. Перед их судом всегда были равны все — богач и бедный, хан и пастух. Неподкуп-

ность давала им силу перед владыками степи и власть над умами людей, приносила им любовь народа.

Три старца с посохами стояли во весь рост перед народом. Три хана сели в стороне на походные троны, вынесенные слугами из шатра. Казахских ханов, свергнутых с трона Хивы и Шаша, не видно среди них. Но в этот миг никто не вспомнил об этом. Все взгляды были обращены на старцев.

Тихий говор, как ветерок, прокатился по людскому морю от вершин Безымянной горы до самых равнин: «Вот тот, что с левого края, это сын Алибека Толе-бий, в центре бий Казыбек, сын Келдибека, а справа Айтеке-бий, сын Сейткула...»

Толе-бий вышел вперед. Поднял свой посох, левой ладонью провел по длинной белой бороде,

Притих народ, напрягая слух.

— Это я, Толе-бий, обращаюсь к вам! Вы слышите меня, дети Великого жуза?! — голос старца прозвучал неожиданно твердо и звонко.

— Слышим!.. — прокатилось волной. — Говори, Толе-бий!

— Здесь, рядом со мной, стоят два седых льва степи, два зоркие орла, два мудрых оратора, не знающих себе равных в искусстве слова; два человека, познавших Истину жизни и способных умом и прозорливостью своей всегда защитить справедливость от железной паутины зла!

Вот они, достойные Казыбек-бий и Айтеке-бий, осененные доверием народов Среднего и Младшего жузов! Мы все перед вами. Мы сыны и рабы ваши, и потому сегодня на этой священной горе, которую отныне потомки назовут Ордабасы, наше слово будет единым! Готовы ли вы выслушать нас?

— Говори! Говори, Толе-бий! — покатилося по степи. — Говори, Толе-бий! Мы исполним вашу волю! Мы верим вам! Мы верим вам!

— Дети мои, взгляните в небо... Сколько птиц летает над нами?! Орлы и стаи уток, коршуны и быстрокрылые соколы... Что их привело в эти края? Обилие воды, обилие пищи, щедрость нашей земли, — произнес старец. — Здесь их родина. Здесь их гнезда. Но пройдет лето, наступит зима. Птицы улетят в теплые края и долетят туда, где будут вместе, если будут в стае... Они вернуться назад, в родные гнезда свои, если будут вместе. Без стаи нет птицы, она погибнет в пути, станет добычей любого зверька!.. Не только птица, но и волк сильнее в своей стае! Ручеек бессилен, слаб, но когда из ручьев сливаются реки, то поток разрушает скалы! Народ мой! Как ручьи стекались сюда, на Ордабасы, наши караваны. Зачем они шли сюда?! — голос старца стал еще тверже и громче. — Ответьте, люди, ваше слово!

— Единство! Единство! Единство! — покатилося волной над людским морем.

Старец поднял посох. Подождал, пока утихнут голоса.

— Нас сюда привело одно желание: подтвердить свое братство! Сила народа всегда была в согласии и единстве.

Но разве мы не клялись в своем единстве двенадцать лет назад на горе Улытау?! Разве мы не скрепляли тогда кровью свою клятву?! Разве тогда не братались наши султаны, ханы и батыры, тѐре и кара?! Так какого же единства вы хотите, люди?! Клятву дважды не повторяют!

...Мертвая тишина охватила Ордабасы с вершин до низовий. Молчал народ, молчали воины. Побледнели лица надменных ханов, переглянулись султаны, потупил свой взгляд Богенбай. Задумчиво глядели великие бии: «Куда клонит Толе?»

— Сегодня не клятва нужна, а битва, если мы хотим остаться народом! Нужен вожак для стонущей стаи, если мы хотим быть единым в бою. Сегодня мы должны избрать сардара и довериться ему, если хотим победы. Готовы ли вы принять такое решение?

— Готовы! — крикнул Кенжебатыр.

— Готовы! — повторил Таймаз.

— Готовы, готовы, готовы! — батыры киргизов и каракалпаков, узбеков и туркменов, все воины ответили великому бию.

— Я все сказал! Слово за тобой, Казыбек-бий! — Толе умолк.

Под одобрительный гул народа на шаг вперед вышел прославленный бий Среднего жуза Казыбек.

— Дети мои, вы слышали древние слова о том, что весь свет наш принадлежит лютому бурану или сильному врагу! И еще предки говорили, что если пятеро едины, то достанут то, что недоступно десятерым, живущим врозь. Если нет единства среди шестерых, то и один сильный человек может отнять у них все — и скот и землю. Всегда был прав тот, кто силен. И сегодня, когда мы собрались сюда, на Ордабасы, как перекасти-поле, согнанное страшным ветром со всей степи, когда мы, уповая на алаха, ищем согласия меж собой и своего спасения в этой согласии, когда мы, потеряв свой скот, свои аулы, свою землю, стали подобны загнанным зверям, — в этот день, здесь, рядом, в нашем Туркестане, в нашем древнем Сайраме, в Шаше и Чимкала господствует враг. Он сидит в наших домах. Его рабынями стали наши жены и дочери. Злорадству джунгар нет предела! Но есть ли предел нашему бесчеству?!

— Отомстим! Отомстим! — сверкнули сабли, заколыхались пики.

— Достойны ли мы быть народом? — не по-старчески чистый, звонкий и сильный голос Казыбека звучал над степью. — Народ славит ханов, когда они справедливы и сильны, и проклинает их, когда они коварны и трусливы. Народ славит своих батыров, когда они бескорыстны, смелы! Он проклинает батыров, ведущих своих жигитов на бой меж родными племенами. Никто не вечен в этом мире, и ничто не вечно в этом мире. Слава для одного, бесславие для дру-

гого. Для гибели бая или султана достаточно одного джута. От стужи, от свиста метели погибнет его скот, и он — нищ, как другие. Для гибели батыра достаточно одной стрелы, как и для смерти джейрана...

Ничто не вечно под небом аллаха. Лишь сохранив свою честь и достоинство, человек может считать себя человеком, а народ остаться народом... — Казыбек сделал паузу. Как и прежде стояла тишина. Слышался лишь тихий звон щитов и стук копыт да храп коней.

— Есть ли у нас сила, чтобы кровью джунгар смыть свой позор и унижение?! Я к вам обращаюсь, сарбазы казахов! — Казыбек умолок.

— Мы готовы к бою! — взметнулись к небу пики и сабли.

— Несчастлива птица, отставшая от стаи, говорил мудрый Тауке-хан, — продолжал Казыбек. — Несчастен и вечно в тревоге народ, когда он одинок, говорит Тауке-хан, через сто лет повторяя слова беспокойного и дерзкого, жестокого Тауекеля¹, который, как Касым и Хакназар, вел переговоры с царем русов о военном союзе. Тауекель обменялся послами с русским царем, а ровно через сто лет Тауке-хан принимал посла русов в Туркестане...

Вы помните об этом.

Вместе с Айтеке и Толе-бием я был тогда рядом с Тауке. Мы говорили о дружбе с русами, посол русов говорил о согласии своего царя быть с нами против джунгар...

Народ должен быть верен своему слову! Три дня назад из этого шатра, — Казыбек кивнул в сторону ханов, — мы вновь отправили своих послов к русам... Нам от предков завещана дружба с русами. У нас ныне один грозный враг — джунгары. И сегодня мы не одни выступаем против них. Сегодня вместе с нами здесь стоят жигиты киргизов и каракалпаков, башкир и узбеков. Стоят наши братья, готовые разделить нашу радость или горе, нашу славу или бесчестье. Но, как сказал Хакназар, когда-то вернувший нам славу сильных, не бывает стаи без вожака, народа без вождя, воинов без предводителя... — Казыбек сделал паузу, поднял голову и, сняв островерхую шапку, обнажив седые волосы, выдохнул: — Готовы ли батыры всех трех жузов, преодолев свою гордыню, стать под начало одного, единственного сардара в битве с джунгарами?!

Наступила тишина.

— А кто он, этот сардар? — донесся одинокий голос откуда-то из глубины конницы ополченцев.

Казыбек молчал.

— Благословенный и мудрый Казыбек, я согласен стать под знамя любого сардара, который объединит всех сарба-

¹ Верховный хан казахов. Сел на престол в 1586 году. В 1594 году обменялся посольствами с царем Федором. В 1598 году скончался от ран, полученных при осаде Бухары.

зов, — Богенбай вышел вперед и преклонил колени. Тайлак, Санырак, Есет преклонили колени вместе с ним.

— Мы согласны! — прозвучали голоса всех батыров, тысячников и сотников.

— У нас нет крепостей, все крепости разрушены. В пыль превращены наши глиняные города. Враг топтал их не раз. Но всегда мы вставали из руин, собирались из глубин ущелий и песков, гор и степей и вновь освобождали нашу землю. Нас не раз били, но жестокий враг никогда не мог до конца победить нас. Так же, как мы его. Но если мы не победим джунгар в нынешней битве, то нам никогда больше не быть народом! Джунгары и цини растопчут нас, как это делал Чингисхан! — старец был беспощаден. Его голос звенел над притихшим людом. Он говорил правду. — Нам нужен сардар, чтобы войско было единым и сильным! Я все сказал. Теперь слово за тобой, Айтеке. Объяви нашу волю народу, — Казыбек устало отошел в сторону.

Айтеке-бий провел ладонью по бороде, выпрямился, будто сбрасывая с плеч груз годов, шагнул вперед и без всяких вступлений объявил:

— Волею старейшин и вождей племен казахских и с согласия старейшины ханов — хана Великого жуза Болата главой над сарбазами в великой битве с джунгарами станет самый молодой из ханов храбрый Абулхаир!

— Аминь!

— Пусть великий имам степи благословит его!..

...Абулхаир встал с места, направился к имаму и стал на колени перед ним.

В мертвой тишине, нависшей над холмами и степью, отчетливо слышались слова хутбы. Кенжебатыр не отрывал взгляда от Абулхаира. Действительно, хан молод, лет сорок ему. Подтянут. Жемчугами переливается рукоять сабли. Остроконечная шапка на голове, с лихо изогнутыми краями. В центре ее, надо лбом, сверкает драгоценный камень с золотыми нитками. Сверкает кольчуга, грудь укрыта блистающей стальной пластинкой. Острый взгляд, скуластое лицо.

...Соединив раскрытые ладони, все три великих бия вместе с имамом провели по лицу:

— Аминь!

Благословение кончено.

— Удачи тебе, победы тебе, сардар Абулхаир! — несется со всех сторон.

Четверо здоровенных жигитов несут белую кошму. Абулхаир садится на нее. Натянув кошму с четырех сторон, жигиты поднимают ее вверх так, чтобы весь народ увидел нового полководца. Каждое племя произносит свой боевой клич.

Два воина выводят белого скакуна, до сих пор томившегося за шатром. Имам благословляет жертву.

В стороне от шатра на чистое зеленое поле падает скакун. По белой шерсти разливается алая кровь...

Священная жертва во имя победы принесена.

Бушует, грохочет, переливается людское море. Под удары барабанов батыры уводят свои войска в укрытия, чтобы подготовиться к смотру главного сардара.

Такого изобилия Кенже не видел за всю свою жизнь. И откуда что взялось? Ведь был джунгарский первый год идет война. Видать, народ сегодня в честь избрания главного сардара решил выложить все до последней горсти муки, зарезать последнего барашка, надеть на себя самую дорогую одежду, которая до сих пор хранилась в сундуках или походных мешках. Но как бы там ни было — сегодня царит изобилие. В торсуках полно кумыса, в котлах мяса, в казанах, а то и прямо на углях, пекут лепешки, возле юрт людей побогаче прямо на осиновых вертелах жарят целые бараньи туши. Жигиты то и дело подвозят дрова к котлам, где варится молодая конина, в огромных деревянных чашах разводят прошлогодний курт. Откуда-то везут и разливают всем желающим вкусный кырман и крепкий шубат. А кумыс, кумыс какой! Хорошо изготовленный, густой, золотистый и крепкий. Пьянит от одного его запаха. Все как в степных песнях о батырах, которые перед боем ели свежее, мягкое мясо жеребят и пили отменный кумыс, чтобы не уставать в бою, чтобы быть жизнерадостными и бодрыми.

Какое-то беззаботное, веселое чувство охватило сарбазов. Исчезли тревоги, улетучился страх. Будто готовились не к смертельной схватке с заклятым врагом, а к великому тою.

На волнистых террасах Ордабасы, на холмах, в долинах реки Бадам и ее притоков, на равнинах — всюду, куда ни глянь — юрты, шалаша, а то и просто кошмы, расстеленные под открытым небом. Везде люди — бедные и богатые, воины и нищие, дервиши и просто бродяги, дети и старики. У самодельных кузниц, засучив рукава, опаленные зноем бывалые кузнецы и безусые юнцы куют наконечники для стрел и пик, готовят свинцовые пули для ружей, чинят седла, куют секиры, сабли. А совсем рядом, собравшись в круг, молодые воины и старые табунщики слушают песни жирши и сказания жырау о боевых походах предков на джунгар и циней. Женщины готовят запасы еды, стирают одежду. Только в чистой белой рубахе подобает мусульманину принимать смерть на поле боя с неверными.

Уже покидали склоны Ордабасы отряды, которым поручено охранять подступы от внезапных набегов врага. Далеко в степь к Туркестану ускакали сотни жигитов. Они будут следить за передвижением джунгарских войск и обо всем сообщать в ханскую ставку через гонцов. Прошли слухи — Галдан Церен снова направил в Туркестан тумены наемных циней и чургучутов... Но никого не встревожили эти слухи,

как это бывало прежде. На Ордабасы все шло своим чередом. Сарбазы готовили коней в поход, купали их, расчесывали гривы и хвосты, осматривали копыта (как бы не захромал в бою), чистили сбрую, доводили до блеска щиты и шлемы, чинили кольчуги. Не было прежней напряженности и тревоги у людей: всюду слышались смех и шутки. Замкнутость степняков словно рукой сняло. Будто все они из одной давно воюющей сотни, будто все они жигиты одного аула.

— Посмотрим, какой он батыр и сардар, этот ваш Абулхаир... — весело говорит пожилой башкир сарбазу конницы султана Абульмамбета. — Войско в бой вести это ведь не то что на троне сидеть.

— Да пусть уж, у нас так заведено. Хан должен быть главой над всеми. Выше Абулхаира почитается Болат-хан. Он из Великого жуза и остался старшим. Так решили великие бии. Им виднее, они мудрее нас, лучше смыслят в жизни. А что до Абулхаира, то главное, чтобы он не отвергал советов Богенбая и Кабанбая, Санырака и Тайлака — каждый из них не уступит сардару. Видать, у вас, башкир и татар, таких батыров не сыскать... Только на словах вы храбрецы. Не столько о битве, сколько о наших красавицах думаете. Угадал? Останется все вы у нас, зятями станете. Считай, оно так и будет. И прежде так бывало. Никуда от вас, назойливых сватов, не денешься. Да ведь и наши жигиты ваших красоток не упускают, — разговорился сарбаз.

— Это ты зря насчет наших батыров, — ворчит башкир. — Еще неизвестно, есть ли кто храбрее нашего Таймаза.

— Слышишь, Таймазка, о тебе брешут... — Егор своей камчой ткнул в бок Таймаза.

Втроем с Кенжебатыром они проезжали мимо беседовавших. По приказу Богенбая их конница была отведена на прежние места. Расставили дозорных, а сарбазам дали отдых до завтрашнего дня. Молодые жигиты разъехались кто куда, пожилые коротали время за кумысом и беседой. А трое друзей решили тоже проехать по огромному людскому лагерю, послушать, что говорят, побывать в шатре старших батыров, потолковать с ними о завтрашнем дне. Они не стали вмешиваться в беседу казахских и башкирских жигитов, проехали мимо. До них ясно донесся голос казаха-тарбаза:

— Воюют не ханы и батыры. Воюет народ! Он и решит исход битвы, а не Абулхаир...

Друзья переглянулись.

— Что правда, то правда, брат. Тут уж ничего не прибавишь. Даже великие бии спорить не станут, — вздохнул Таймаз. — Ну вы как хотите, а я к своим башкирам. Песни наши хочу послушать. Ох и хороши наши песни! Особенно вечерами. А со старшими батырами лучше вести разговор завтра. Сейчас они, видать, на ханской трапезе. Вон сколько там народу, — Таймаз кивнул в сторону белого шатра, маячившего на самой вершине.

— Я еще немного поброжу, может, кого из родных мест встречу... — ответил Кенжебатыр.

Наступил вечер. Солнце, окатив кровавой краской горизонт, уходило на покой. В вечернем воздухе стоял густой запах дыма, окутавшего долину. Прохладой и запахом трав повеяло со стороны реки. В наплывающем вечернем сумраке ярче стали огни костров. Их было много, этих огней. Сотни, тысячи. От самой вершины Ордабасы они рассыпчато тянулись в степь. Кенжебатыр медленно ехал меж юрт и костров. День был необычайным, напряженным, очень длинным. Он сегодня увидел всех — и ханов, и биев, и султанов, и всех батыров степи. Увидел столько лиц! Такое, наверно, бывает раз в жизни — стать свидетелем того, что вся Казахия собралась на одной горе. Люди относились с почтением к нему — сыну бедного Маная, последнему оставшемуся в живых жигиту из небольшого аула, что когда-то ютился в горах, а потом был развеян в степи, как пыль, исчез навсегда. Погиб аул. Он, Кенжебатыр, один остался. И еще, быть может, где-то бродит Сания. Может, она ищет его. А может, и нет. Возможно, нашелся человек, который обласкал, пригрел, защитил в эти тяжкие годы.

Нет, не было ни зависти, ни ревности в сердце Кенже. Было тоскливо и грустно...

Люди расступились, увидев одинокого, задумчивого воина, бесцельно разъезжавшего по склону, приглашали в юрту, к костру, к дастархану. Но он ехал дальше. Ему хотелось найти Санию или кого-нибудь из своих соплеменников, сородичей...

Но где найдешь их в этот вечер, среди этого скопища людей, где каждый занят своим делом?

Его потянуло туда, откуда слышались песни, смех — к качелям, где собралась молодежь. Направил было коня в их сторону, но, не доехав, свернул. Передумал.

На северном склоне Ордабасы он нашел небольшую, свободную от людей полянку, слез с седла, пустил коня пощипать траву и уселся на мягкую прохладную зелень. Сверху он задумчиво смотрел на костры. Потом оглянулся туда, где маячили белый шатер и шестнадцатистворчатые ханские юрты. Там было по-прежнемулюдно. В руках конных и пеших стражников появились факелы. Факелы плавали и внизу, в долинах, где стояла конница. Должно быть, проезжали дозорные.

Недалеко от Кенже проехало сотни три всадников со стрелами и длинноствольными ружьями. Они скрылись за ближней террасой. словно из-под земли появилась исхудавшая гончая, боязливо виляя хвостом, стала поодаль от Кенже и, убедившись, что ее не гонят, улеглась на траву. Видать, потеряла своего хозяина днем, в людской толпе, а может, просто бродячий пес, подумал Кенже. Был и у Кенже пес такой породы, когда он жил в своем родном ауле. Пса разо-

рвали волки во время джута. Кенжебатыр вновь вспомнил свой аул, последние дни, проведенные рядом с отцом, когда они бежали от джунгар и скитались по степям и пескам за Аккуйгашем. Вспомнил, как с печалью провожал его отец, когда он вместе с Сеитом собрался к Малайсары. Грустным был тогда его взгляд. Он, кажется, чувствовал, что прощается со своим сыном навсегда.

А Кенже? Кенже тогда еще не знал как следует, что такое война... Ему до боли в сердце стало тоскливо оттого, что он тогда, в тот знойный день в песках где-то вблизи Аккуйгаша, в последний раз не прижался к груди отца, не ощутил прикосновения его бороды, не успокоил его.

Вспомнился последний взгляд Сании. Она молча проводила его. Не сказала ни слова. Но Кенже почему-то до сих пор кажется, что она тогда поклялась ему в любви, сказала, что будет ждать его...

А бедный Сеит?.. Он был другом отца всю жизнь и как родной отец оберегал Кенже во время первой битвы... После гибели Сеита самым близким и родным для Кенжебатыра стал Малайсары. Но сейчас нет и его. Похоронен где-то в степях Сарыарки... Да, война, война. В войну быстро сходятся люди. У Кенже много друзей, но нет среди них второго Сеита, второго Малайсары. Он уважаем сарабазами, он батыр, но он одинок, как птица, отставшая от своей родной стаи... Кенже печально улыбнулся своим мыслям, вспомнив, что невольно повторил слова великого бия, сказанные им у белого шатра.

Да, многое увидел он в этот день. Устал. Устал от напряжения, от впечатлений, от необычности виденного. Надо бы радоваться — наконец-то казахи приобрели единство, силу. Но что поделаешь, когда так грустно на душе... Человек остается человеком. Один всем доволен, другого вечно гнетет неудовлетворенность.

Кенже встал, потянулся. Пес вскочил с места и пугливо залаял. Отбежал в сторону и вдруг завыл — протяжно, тоскливо. Кенже отогнал его прочь.

Вечерний сумрак лег на степь. Четко мерцали огни костров. Людской гул понемногу утихал. После столь суматошного дня люди собирались ко сну. Глядя сверху на бесчисленные догорающие костры, Кенже вдруг подумал: а что, если джунгары нагрянут ночью и захватят врасплох эту громаду людей... Стало тревожно. «Нет, нет! Не осмелятся», — прогнал он беспокойную мысль. Немало жигитов стерегут в степи сон лагеря.

Подошел к коню и, ласково потрепав его по шее, вскочил в седло. Направился к своим сарабазам. Ночная прохлада немного взбодрила батыра. Не доезжая до лога, где была укрыта головная сотня объединенной конницы батыров и где стояла его походная юрта, Кенже встретил всадника. Подумав, что это жигит из ночного караула, он окликнул его. Тот оста-

новил коня и молча уставился на него. Когда батыр подъехал ближе, всадник слетел с седла и с тихим криком: «Кенже мой!..» — бросился к нему, схватился за стремя и прильнул к его ногам. Кенжебатыр, не помня себя, спрыгнул на землю, взгляделся в лицо. Это была она! Это была Саня! Бледная, похудевшая. Она смотрела на него, чуть приоткрыв губы, потрясенная неожиданностью встречи, и плакала.

Он обнял девушку. Шлем упал с ее головы, рассыпались по спине черные волосы. Она, рыдая, уткнулась лицом в его грудь.

...Всю ночь они пробыли вместе. И не было конца их расказам, воспоминаниям, порой смешным, веселым, но чаще печальным. Они то появлялись среди сарбазов, коротавших ночь у костра, то вновь исчезали далеко в прибрежных зарослях. Смущенной улыбкой отвечал Кенже утром на подтрунивания Таймаза.

— Гроза джунгар забыл о своих сарбазах и попал в плен к неизвестной красавице в одежде жигита. Кому же ты поручишь свою тысячу?

— Пусть сарбазы отдыхают, пока Абулхаир думает, как нами командовать, — ответил Кенжебатыр.

Вместе с Санией он навестил больного Оракбая. Бедный табунщик, забыв о своем недуге, встал с постели, прослезился от радости и все повторял:

— О-о, аллах, будь жив славный Манай, как он бы порадовался! Каким мужчиной ты стал, сынок! Настоящий батыр! Тьфу, тьфу, чтобы не сглазить. Ах, аллах, какое счастье ты мне дал... Теперь я спокоен. Теперь я готов умереть хоть сейчас. Не думайте обо мне. Счастья вам, долгой жизни, дети мои...

Старик и старуха, приютившие Оракбая, в честь гостя-батыра закололи свою последнюю овцу, созвали соседей. Наступил полдень, Кенже заторопился к своим сарбазам. Саня поехала с ним.

— Я сам найду вас, как только встану. Видит аллах, я счастлив. Долгой вам жизни. Обо мне не беспокойтесь. Как прогоните джунгар, возвращайтесь в родные края...

— Что вы, отец! Мы не оставим вас, — сказал Кенже. — Саня проводит меня и вернется. Как только войдем в Туркестан, я заберу вас к себе, а там решим, как быть.

— Я что, я так. Я спокоен, я хоть сегодня готов предстать пред очи аллаха. А вы ступайте, ступайте. Как решите, так и будет, — сбивчиво, пересиливая боль и стараясь быть веселым, говорил Оракбай.

Когда они наконец вернулись к сарбазам, старейшины аулов уже совершали послеобеденный намаз. Вместе с Таймазом и Егоркой их встретили Лаубай и Томан. Они находились в коннице Тайлака, и в последние дни Кенже редко видался с ними. А сейчас явились сюда, услышав весть, что Кенжебатыр нашел свою невесту.

Сания, увидав Томана, кажется, растерялась на миг, но тут же взяла себя в руки. Их взгляды встретились.

— Здравствуйте, сестрица. Я рад вас видеть снова, разделяю радость нашей встречи...— дружелюбно, по-братски проговорил Томан, разряжая обстановку и протягивая руку для приветствия. Она с благодарностью посмотрела на него.

— Санырак давно здесь. Войско готовится к смотру. Батыр ждет вас в своей юрте. Тайлак вместе с ним,— сообщил молодой сарбаз, осадив своего коня возле Кенжебатыра.

— Эй, жигиты! Разве нет у казахов песен? Быстрее зовите певцов! Пусть жигиты расступятся, дадут дорогу к главной юрте батыра. Встречайте молодоженов!— весело крикнул Таймаз.— Песню, песню в их честь!

...Два жигита-воина, два молодых акына, пристроив своих коней возле Сании и Кенжебатыра, ударили по струнам домбры, зазвучала песня. В сопровождении друзей-батыров Кенже и Сания направились к главной юрте.

Зазвучали слова «той бастар», расступилось войско. Длинным плотным строем стали сарбазы с двух сторон. И под их радостные возгласы, под звуки песни они медленно приближались к юрте...

Сверкают шлемы, лес пик над головой, радостные, веселые лица. Навстречу выходят батыры Тайлак и Санырак.

— Пусть ваша свадьба будет предвестницей победы,— говорит Тайлак.

— Пусть жизнь ваша будет долгой, пусть седина вас вместе окрасит,— сказал Санырак.— После победы по-настоящему отпразднуем вашу свадьбу, где-нибудь в садах Туркестана.

— Эй, жигиты! Несите чаши с кумысом. Пусть молодые выпьют сидя на коне! Ведите коней!

Их заставили слезть со своих коней. Подвели в подарок двух черногривых скакунов. Два сверкающих новых шлема с султанами из павлиньих перьев и саблю, выкованную каратаускими мастерами и инкрустированную благородными камнями, преподнесли батыры молодоженам.

— Подруга твоя под стать тебе, она не уступит в бою жигитам. Будьте счастливы,— благословил их один из старейших сарбазов.

Под радостные крики жигитов Кенжебатыр и Сания вскочили на только что подаренных им скакунов. Загарцевали кони, еще непривычные к узде...

Снова расступилось войско, освобождая молодоженам место для почетного круга. Но тут раздалась команда Санырака:

— Жигиты, займите свои места!

К ним мчались ханские глашатаи, а вслед за ними с ближней террасы в сопровождении Богенбая и целой свиты султанов на рослом вороном иноходце спускался сам Абулхаир. Старшего среди ханов Болат-хана и хана Среднего жуза Са-

меке с ним не было. Значит, с их согласия Абулхаир уже выполняет роль верховного сардара.

Иноходец приближался быстро. Войско притихло в ожидании. Застыли знаменосцы.

Вслед за ханской свитой показалась другая. Женская. В окружении девушек и жен султанов на белом рысаке ехала молодая ханша.

— У-у-у... Хан едет с гаремом, — протянул кто-то из сарбазов. — Значит, пойдут дела. Сама мудрая красавица Бопай к нам пожаловала.

Раздался смех.

— Жигиты! — грозно крикнул Санырак. Замер строй. Подтянулись батыры. Вперед, навстречу хану выехал Санырак.

— Чья конница? — властно спросил Абулхаир, еле заметно кивнув в ответ на приветствие Санырака.

— Меня зовут Санырак-батыр, — твердо прозвучал ответ. — Здесь тумены сарбазов, победивших джунгар в битве у рек Боленты и Буланты близ озера Субар в долине Карасыр!

Суровым, испытующим был взгляд Абулхаира. Санырак смотрел вперед. Еле заметная усмешка скользнула по лицу хана.

— Рано носить званье победителей, — спокойно сказал он. — Это только начало битвы.

— Оно было долгожданным, это трудное, но достойное начало. Победоносное начало решает исход дела, — ответил Санырак.

Абулхаир ощутил упрямство в словах батыра. Вгляделся в лица других, обвел взглядом войско.

— Началом будет сегодняшней восход луны, сегодня новолуние! — сказал хан и повернулся к Богенбаю. — Пусть будут готовы все войска!

— Иншалла. Мы выступим вовремя, — ответил Богенбай и выехал вперед. — Здесь только часть туменов, мой повелитель, — четко выговаривая каждое слово, сказал он. — Остальные в соседних долинах и логах. Всего более десяти тысяч сабель. Жигиты Великого и Среднего жузов. Есть башкиры, татары, калмыки и русы. Вот он стоит, батыр Тайлак, рядом с ним храбрый вожак башкир Таймаз.

Хан молча всмотрелся в Таймаза.

— Хорошо, если батыр башкиров идет вместе с нами. Значит, он нам в спину свои стрелы не пошлет. Не пристало нам обижать братьев-башкир, а им начинать ссору, как прежде...¹

— Ссорятся даже в одной семье. Разве мало коней уведили друг у друга жигиты Великого, Среднего и Младшего жузов? Что же до башкир, то они нынче решили не ссориться

¹ Намек на казахско-башкирские столкновения в 1715 году, из-за приволжских пастбищ.

с братьями-казахами. Сейчас не время для ссор. Сейчас время вместе джунгар бить. А там видно будет. Может, снова спор начнем. Ведь мы братья родные. А между братьями бывают ссоры, особенно когда они за престол дерутся. Не правда ли, мой повелитель? — дерзко ответил Таймаз.

Все притихли. Абулхаир будто не слышал его слов. Ничто не изменилось в его лице. Указав на Кенжебатыра, он спросил:

— Я что-то не знаю такого удальца... — в его голосе послышалась ирония.

Кенжебатыр понял намек. По традиции никто, кроме ханской знати, не смел носить на шлеме султан из павлиньих перьев. Шлемы батыров и воинов украшали перья золотистого фазана или совы или пучок волос из конской холки.

Любой из батыров готов был ответить хану дерзостью, но всех опередил Богенбай:

— Кенжебатыром зовут его. Он храбро сражался в первой битве Малайсары с джунгарами. Он прославился своей храбростью и смекалкой в битве на Буланты и Боленты...

— А сегодня у него свадьба. Сегодня той у нас, мой повелитель, — докончил слова Богенбая Тайлак.

— Будьте гостем, окажите честь, мой повелитель! — Санырак слегка наклонил голову.

— Благословляю тебя, молодой батыр, — голос хана стал мягче.

— Прими наши благословения, — добавил султан — правитель Среднего жуза Абульмамбет, стоявший рядом с ханом.

Абулхаир круто повернул своего иноходца, начал смотреть войск. Проезжая перед строем в сопровождении Богенбая, он внимательно всматривался в лица сарбазов.

— Много ли ружей?

— Двести, — ответил Богенбай.

— Есть ли пушкари?

— Пушки в распоряжении Тайлака. У него хорошие пушкари из казахских сарбазов, русов и башкир.

— Что за кони?! Не кони, а клячи! Заменить! Взять из табунов Абульмамбета, — сказал хан, указывая на понурых лошадей бедно одетых жигитов. — Я думаю, султан уступит вам пару сотен скакунов из своего табуна, — хан с улыбкой посмотрел в сторону Абульмамбета.

— О чем речь, Абеке. Лучшие косяки моих коней уже к вечеру будут здесь... — ответил улыбкой на улыбку султан-правитель.

Абулхаир освободил поводья иноходца и быстро поднялся на ближнюю бровку. Свита стала позади, а рядом с ханом — Богенбай и Абульмамбет.

— Сарбазы! Народ благословляет нас в поход. Он ждет победы. Сегодня все воины трех казахских жузов собрались здесь. Мы выступим в назначенный час. Покаяемся же победить джунгар!

— Клянemся! — ответил тысячеустый хор сарбазов.

...Абулхаир продолжал смотреть войск. Батыры зашпешили к своим сотням. Кенже с Санией остались в одиночестве. Ханша Бопай со своей свитой подъехала к ним, приказала одной из своих подруг снять камзол со своего плеча и подарила его Сании.

— Это тебе наш свадебный подарок, сестрица. А теперь будь вместе с нами. Не мешай своему жигиту. Все равно мы не отстанем от мужчин. Мы найдем их даже во время битвы...

Ханша не приказывала, она просила Санию занять место в ее свите. Сания посмотрела на Кенже. Кенже молча кивнула головой в знак согласия.

— Видишь, все мужчины таковы. Для них свобода всегда желанна, даже в первый день свадьбы, — улыбнулась Бопай. — Вы свободны, свободны, батыр. Вас ждут сарбазы. Не пристало батыру слушать нашу женскую болтовню, — улыбка молодой ханши была прелестна, голос ласков и повелителен. Она держалась свободно и сидела на своем рысаке легко, непринужденно. Не только она сама, но вся ее свита была одета в тонкие кольчуги и красивые шлемы. Легкие, но прочные щиты с чеканкой были похожи на игрушечные.

«Недаром о ней идет молва как об умной и властной ханше, советнице Абулхаира», — подумал Кенжебатыр, направляя своего только что полученного в подарок скакуна к сарбазам.

Поздним вечером, когда утих огромный стан, в белый шатер на Ордабасы были позваны все тысячники и пансады. Связные Абулхаира прямо с постели подняли многих батыров и привели в шатер. Кенже был поблизости. Он встретился с Санией, которая не знала, как теперь ей вырваться из свиты ханши. Не успели они договориться о следующей встрече, как молодой сарбаз из стражи Абулхаира заторопил их к шатру.

На почетном месте сидели владыки всех трех жузов Казахстана — ханы Болат, Самеке и Абулхаир. Абулхаир восседал в центре. Среди батыров Кенже впервые увидел Кабанбая, прославившегося в степи не менее, чем Богенбай, своей храбростью и бесстрашием во многих схватках с джунгарами. Кабанбай сидел рядом с Кенже у выхода из шатра. Тут же находились Санырак и Таймаз. Так по традиции полагалось занимать место на приеме у ханов батырам — выходцам из низших сословий. Остальные сели в соответствии со знатностью своего рода.

Богенбай был выходцем из обедневшего, но знатного рода канжыгалы, что принадлежит к племени аргынов. Абулхаир пригласил его сесть рядом.

— Это верно, что так поступил Абулхаир. Богенбай достоин этой чести,— спокойно проговорил Кабанбай.

По тому, как он произнес эти слова, Кенже понял: Кабанбай любит и уважает Богенбая. Кенже и раньше слышал, что эти два батыра — сверстники и друзья. Любят подшучивать друг над другом. Кенже пригляделся к Кабанбаю и слегка улыбнулся. Родители словно в насмешку дали ему имя Кабанбай. Он был долговяз, худощав и, кажется, быстр, стремителен в движениях. Худ-то худ, но плечи широки, плотные мышцы выпирают из коротких рукавов кольчуги. Одет просто, как рядовой сарбаз. Голова обтянута белым платком, поверх которого он обычно надевает шлем. На боку кинжал и сабля без всяких украшений. Кенже показалось, что он как-то странно, не то с превосходством, не то с иронией смотрит на разодетых ханов, на собольи и лисьи шкуры, висящие на стене, на медвежьи и волчьи, лежащие под ногами. Да и вообще у него, кажется, тяжелый взгляд, подумал Кенже. Он с любопытством разглядывал Болат-хана. Как-никак, а владыка Великого жуза, свой хан. Спокойно восседает на троне. Слово не он бежал от джунгар, оставив все свои владения в руках врага. Лицо болезненное, безразличное. Самеке более подтянут, поглаживает редкие усы и, прищурив глаза, осматривает батыров. Собственно, его зовут не Самеке, а Шахмухамед. «Самеке» — это прозвище, данное ему народом. Он тоже, как и Болат-хан, один из потомков Тауке-хана и родной дядя султана Абульмамбета, претендующего на его трон. А сам Самеке хотел бы быть на месте Болат-хана...

...На плечи всех трех ханов небрежно брошены легкие парчовые и шелковые халаты с короткими круглыми горностаевыми воротниками и манжетами. На остроконечных, добротно сшитых золотыми нитками шапках с лихо завернутыми краями сверкает по большому бриллианту. На ногах мягкие красные сапожки. Походные троны обиты кожей. Оруженосцы и телохранители стоят сзади, не смея шелохнуться.

— Все в сборе,— объявил Богенбай, нарушив тишину.

— Начинай, Абеке, время позднее,— нехотя произнес Болат-хан.

Чуть скривив губы, Абулхаир сделал еле заметный кивок головой и посмотрел в сторону Самеке.

— Сегодня слово за тобой,— как-то отчужденно, с приторной улыбкой сказал Самеке.

От тысячников и полутысячников, от всех, кто собрался в шатре, ничто не ускользало. Каждый напряженно следил за поведением трех владык. Шутка ли — все трое собрались в одном шатре и сидят смиренно, на время забыв свою спесь, как будто никогда не было между ними яростных споров и взаимных злобных угроз.

Да, страх перед джунгарами и цинями примирил их. Но надолго ли? Не готовят ли они друг другу ловушки, не точат

ли ножи за спиной друг друга даже в эти дни, когда воля народа, требование батыров и мудрость великих биев заставили их вместе восседать в этом шатре и обмениваться любезностями?

— Я буду краток, — сказал Абулхаир, будто по глазам прочитав мысли собравшихся и стремясь скорее распустить людей и разрядить обстановку. — Наши провидцы из стана джунгар сообщают: на помощь объединенной армии джунгар прибыла конница циней и чургучутов. Теперь их более сорока тысяч собралось у Туркестана и у Чимкала. Конница джунгар, захватившая Шаш, покинула город и, обойдя наш стан стороной, приближается к своим основным силам. Их основные отряды приступили к сооружению укреплений близ Чимкала.

Сарбазы Великого жуза вместе с объединенной конницей батыров, принявших бой на Буланты и Боленты, пойдут в наступление с Келес-Бадамского хребта. Одним словом, отсюда они двинутся прямо к стану джунгар. Такова воля нашего почтеннейшего брата Болатхана! Поведет сарбазов батыр Богенбай.

Сарбазы Среднего жуза, совершив круг, сделают заход к стану джунгар с северной стороны. Такова воля нашего почтеннейшего брата Самеке! Во главе войска встанет султан Абульмамбет. Сарбазы Младшего жуза, которых поведу я сам, будут наступать с западных склонов Каратау!

Выступать в поход сегодня же, как только взойдет звезда Шолпан, еще до предутреннего намаза. С мест сниматься тихо, бесшумно. Не беспокоить народ. Мой приказ держать в тайне.

О нашем местопребывании узнаете через гонцов. Пушки и обоз пойдут под охраной сарбазов Великого жуза. Им выступать немедленно, как только уснет народ.

Всем тысячникам и полутысячникам, всем батырам повелеваю: не мешкать в пути, двигаться быстро, не жалеть коней, брать запасных из любого табуна, кому бы он ни принадлежал! Проверить запасы стрел и пороха. Пополнить из обоза, но не отяжелять себя! — Абулхаир помедлил немного, вертя в руках короткую камчу с золотой рукояткой, затем добавил: — Двигаться лавинами, по тысяче или две, на расстоянии нескольких верст друг от друга. Всем быть в назначенных местах и принять боевой строй не позднее послезавтрашней ночи. — Абулхаир умолк и поочередно посмотрел в сторону Болат-хана и Самеке.

Болат-хан сидел с заплаканным лицом, полузакрыв глаза. Он дремал. Ощувив на себе взгляд Абулхаира, он удивленно раскрыл глаза и на всякий случай произнес:

— Верно!

— Срок достаточный, успеют, — ответил Самеке, поглаживая редкие усы указательным пальцем, на котором, отражая пламя свечей, сверкал перстень.

— Я все сказал! — закончил Абулхаир.

— А где будет это «назначенное место», мой господин? — вдруг раздался голос Кабанбая. Богенбай укоризненно взглянул на друга.

— Об этом предводители сарбазов узнают в пути, завтра! — холодно ответил Абулхаир.

— Верно, — умышленно поддельваясь под тон Болат-хана, ответил Кабанбай. Но Болат-хан не расслышал его, он вновь дремал...

Когда сарбазы бесшумно покидали уже обжитые за эти дни места, Сании все же удалось через одного из туленгутов ханши сообщить Кенже о том, что они тоже поедут вслед за ставкой Абулхаира к месту будущей битвы.

Сарбазы собрались быстро. Они уже давно были готовы к походу и теперь радовались — наконец-то кончились мучительные дни ожидания. А к тому же уже обеднели пастбища и луга вокруг, они выедены и вытоптаны табунами боевых коней и табунами богачей, которые пригнали их сюда в страхе, что джунгары похитят их. Теперь богачи проклинают себя и молча скрежещут зубами, видя, как воины бесцеремонно, без спроса ловят их лучших скакунов и седлают их.

«Мы идем защищать ваши богатства, так пусть ваш конь погуляет под нашим седлом», — говорят эти наглецы. Что делать? Осмелела чернь в войну.

Жигиты привели крепкого запасного коня и Кенжебатыру; когда головная сотня была уже верст за двадцать от Ордабасы, по дороге попались табуны богачей Среднего жуза.

Сарбазы объединенной конницы не очень торопились. Они шли напрямик, их дорога была намного короче, чем у других. Вперед и на фланги были посланы отряды охраны, которым надлежало сообщать обо всем увиденном, проверять всех встречных и немедленно вступать в бой, если будут замечены разъезды джунгар.

Но все было спокойно в степи. На следующую ночь устроили привал на склонах двух холмов близ степной реки. Костров не зажигали, довольствуясь холодным вареным мясом, лепешками и водой из родника да кумысом. По приказу Богенбая, отдохнали всю ночь и почти полдня и лишь потом стремительно пошли вперед. Мчались без отдыха, меняя коней на ходу, и к полуночи, одолев более ста верст, вышли на широкую долину, окаймленную холмами. А к исходу следующего дня, пройдя еще верст тридцать, вплотную подойдя к стану джунгар, где размещалось огромное войско, прямо на глазах у противника, демонстративно начали занимать боевые позиции. Подоспел и обоз. Егорка и Таймаз начали искать место для пушек. Выбрав удобные позиции и разместив свои сотни, Лаубай и Томан нашли Кенжебатыра.

— Ну, как дела, брат? Еще не тоскуешь о молодой жене? Не успел жениться — и в поход. Каково-то ей там, — подшучивал Лаубай.

— А она, боевая, не растеряется! Смотри, брат. Погнавшись за джунгарами, не потеряй жену, — добавил Томан. Но сам же начал успокаивать: — Она у тебя молодец. Под стать любому батыру. Я знаю ее. Говорил же тебе, что видел ее в вашем ауле. Открытая, честная и смелая. Сколько перевидела и пережила. Всюду искала тебя. Береги ее.

— Она скоро будет здесь! — не без гордости ответил Кенже.

Высокие заросли караганника, ревеня, камыша, непроходимые рощи облепихи, шиповника и саксаула укрывали здешние долины и высохшие русла рек. Земля была глинистой, местами песчаной, и всюду в тени зарослей можно найти узкие старые дороги, извивающиеся словно звериные тропы. Ощущалась близость мутной Сырдарьи. В нескольких верстах вправо от холма, где устроил свою ставку Богенбай, лежали руины древнего Отрара. Там, в доме батыра Бердибека, в феврале 1405 года провел свои последние дни железный хромец Тамерлан. В те далекие времена в этих местах стояла одна из лучших армий Тамерлана. Отсюда, напрямик, рассекая эти извилистые дороги, Тамерлан часто ездил в Туркестан, чтобы поклониться могиле поэта Ахмеда Яссави, могиле, над которой, по его приказу, воины и рабы, лучшие зодчие Востока, плененные им в битвах, воздвигли мавзолей.

Жестокий и коварный Тамерлан почитал Ахмеда Яссави как бога. Перед каждым походом он приезжал поклониться могиле святого поэта — предводителя ордена схоластов-суфитов, жившего более чем за двести лет до самого Тамерлана. Все степные завоеватели почитали Туркестан и стремились подчеркнуть свою преданность вере перед могилой поэта, ибо могила эта глубоко уважалась степным непокорным народом.

Но сегодня, в последний день маусыма 1126 года хиджры¹, Туркестан находился в руках джунгар и циней — в руках идолопоклонников.

Всего лишь в трех верстах от холма, где стояли батыры во главе с Богенбаем, виднелась армия джунгар. То оседающее, то медленно поднимающееся вверх облако пыли выдавало гайну ее пребывания. Тумены захватчиков занимали позиции для атаки. Далеко, на самом высоком кургане зоркий глаз степняка мог заметить и шатры джунгарских полководцев. Конные разъезды противника то и дело появлялись вблизи и, погарцевав на виду у сарбазов, уходили прочь.

В подозрную трубу Богенбай видел развалины Отрара. Он долго всматривался в очертания величественной мечети Арыстанбаба. Заметил, что недалеко от Отрара лежат развалины другого города. А на одном из холмов, высящемся

¹ Мусульманское летосчисление. Равно 1728 году по новому календарю.

далеко на севере, батыр разглядел развалины древней крепости. Их вид издалика казался причудливым.

— Много перевидела эта земля, — со вздохом сказал Богенбай, словно думая вслух. — Она вся пропитана кровью. Здесь не раз решалась судьба казахов, а теперь решится и наша судьба. — Он передал подзорную трубу, взятую из ханской ставки, Саныраку.

— Здесь легко можно утаить от глаз врага целые тысячи сарбазов и выбрать место для внезапного набега на врага. Заросли высокие, без труда укроется всадник. Не заметишь, как он проскользнет даже днем. Да и оврагов немало, по которым можно невидимым одолеть не одну версту и внезапно ринуться в сабельный бой. Так зачем же мы все войско держим на виду? — спросил Лаубай.

— Ты прав, мой нетерпеливый брат. Но всему свое время! — ответил Богенбай. — А пока все должно быть готово к отражению атаки джунгар, если они задумают напасть на нас. Я бы на их месте атаковал, — промолвил батыр. — Зорко следите за тылами, держите войско готовым к набегу. Уставших коней сменить, сарбазам дать отдых днем, утроить караулы! — приказал Богенбай всем сотникам.

Сам он, это видел Кенже, не знал отдыха. То мчался к пушкам, то проверял готовность сотен, то вновь поднимался на вершину сопки и долго наблюдал за станом противника, внимательно вслушиваясь в слова лазутчиков.

До поздней ночи к Богенбаю один за другим прибывали провидцы, заранее посланные им в стан врага. Пешими и конными они пробирались назад. Наконец он дождался провидцев и из самого Туркестана.

Загорелые, голодные, уставшие от жажды и напряжения, они были в лохмотьях, как дервиши. Их разговор с Богенбаем оставался тайной для всех. Батыр спокойно выслушивал их и тотчас посылал отдыхать. Он был всегда спокоен и уверен в себе, этот славный Богенбай, и его спокойствие, его уверенность передавались людям. И батыры, и сарбазы молча повиновались его приказам.

Глубокой ночью бесшумно подошла отборная тысяча, сопровождавшая сардара Абулхайра и его свиту, следом прибыла свита ханши Бопай. Их встретили у шатров и юрт, поставленных под прикрытием холма, на небольшой лужайке, окаймленной густыми зарослями туранги, где укрылся усиленный караул. Ни Кенже, ни другие батыры не видели и не знали, когда и кому отдавал Богенбай приказ о том, чтобы воздвигнуть эти шатры и юрты. Обоз — двухколесные, прочные и легкие арбы и вьючные верблюды — широким кольцом опоясал эту лужайку и туранговую рощу. Он служил надежной преградой нежданым гостям — никто бы не смог пробраться через это кольцо незамеченным, даже ночной зверь.

Ночь озарилась кострами джунгар. Сарбазы костров не разводили. После прибытия Абулхаира группы всадников по двадцать — тридцать человек молча скрылись в темной ночи, потонули в зарослях. Это были знатоки здешних мест. Под покровом ночи они мчались навстречу коннице Среднего и Младшего жузов, чтобы передать им приказы Богенбая.

Бессонной была ночь для Кенжебатыра. Дважды он собирался пойти к Сании, но туленгуты из сторожевой сотни ханши молча вставали на его пути. Такова была воля Бопай. Кенжебатыр нетерпеливо ждал утра.

Но когда на бледно-голубом небосклоне, вспыхнув на короткое время последний раз, начали таять звезды и ярко заблестела Шолпан, тысячники и сотники были подняты с мест. Абулхаир с Богенбаем ждали их, сидя в седлах. Белый шатер сардара уже высился на вершине холма, там, где вчера стоял Богенбай.

— Джунгары готовы к битве. Их войско выстраивается серпом. Они готовятся к обильной жатве. Зубья серпа направлены на нас. Хотят схватить нас с флангов и зажать в тиски. Они выступят, как только солнце подымется из-за далеких Алатауских гор. А мы выступим с восходом солнца!

У джунгар тридцать тысяч сабель. Остальные подтянуты к воротам Туркестана. Нас не меньше. В войске каждого жуза по десять тысяч сарбазов. Земля наша. Родная. Она прибавит сил!..

Подымайте жигитов. Выводите на холмы. Мы пойдем в открытую. Прямо на зубцы серпа, а конница Среднего и Младшего жузов ударит с двух флангов и сломает серп!

Нас благословит аллах! Победы нам. Ступайте! — Абулхаир прижал бока иноходца, направляя его на вершину холма.

Батыры и сотники помчались к сарбазам. Тишины как не бывало. Загудела земля под копытами. Пришло в движение все войско. Сотни, выскакивая из зарослей, оврагов, мчались к вершинам холмов. Заржали кони, перекликаясь друг с другом, сердито и жалобно ревели верблюды. Послышались короткие, гортанные крики команд. Проснулась и свита Бопай. Туленгуты подводили коней. Все женщины и девушки были одеты одинаково, как воины, — в шлемах и кольчугах. С короткими пиками, у каждой лук и колчан, заполненный стрелами, на каждой яркая легкая накидка. Так что трудно сразу найти среди них Санию. Женщины готовятся наблюдать за боем и помогать раненым.

Кенже замешкался, его конь завертелся на месте. Как быть? Там, среди свиты Бопай, что стоит у шатра под охраной туленгутов, остается Сания. Конь, вырывая удила из рук, встал на дыбы. Он рвался за сотней. Сания увидела его. Наконец-то! Она подъехала к Бопай, спросила о чем-то и во весь дух пустилась к нему. Ее конь перескочил через лежавшего на пути верблюда.

— Береги себя! Береги! Я буду с тобой. Скажи, сарбазы ждут тебя. Я здесь, я буду с тобой! — ласково, призывно сверкали глаза Сании. Лицо ее было бледно. — Я жду тебя с победой, батыр мой, Кенжетай мой! — голос Сании задрожал. У Кенже не хватило сил слушать ее дальше. Да и не было времени. Жигиты ждали его. С высокого холма на него смотрели Абулхаир и Богенбай.

Уже близился восход.

Нервной дробью забили барабаны, объявляя готовность и призывая к вниманию. Конь Кенже упругими прыжками одолел высоту. Обнажив саблю, Кенжебатыр встал во главе своей сотни. Оглянувшись, Сания уже была рядом с Бопай.

Умолкла барабанная дробь. На мгновение наступила тишина. Сарбазы вглядывались туда, где в утренней дымке чернел огромный джунгарский лагерь. Каждый сарбаз чувствовал, что там тоже готовы к бою, что взбудоражен этот гигантский муравейник.

Сарбазы ждали. Каждая тысяча подняла свое знамя. Вот Абулхаир взмахнул золотой булавой. Загорелись три костра на трех холмах. Это было приказом подготовиться к атаке. Дым узкой черной лентой потянулся к небу. Значит, безветрие — редкое явление для раннего утра на степных холмах. Сейчас это кстати. Сарбазы Среднего и Младшего жузов без труда поймут, откуда начнется атака.

Но почему же Абулхаир не отдает следующего приказа? Почему он медлит?

На загнанных, обливающихся потом конях к хану примчались трое связанных. Хан и Богенбай выслушали их. Остались одни. Стоят. Тянется время. Нет сигнала к атаке.

Нервы сарбазов напряжены до предела. «А не струсил ли хан? Чего он медлит? Лавина джунгар может двинуться раньше». Уже первые лучи ударили из-за высоких гор. Взоры тысячников и полутысячников, взгляды всех десяти тысяч сарбазов обращены к холму, к Абулхаиру и Богенбаю.

Пройдет еще немного времени, и может случиться неоправимое — нетерпеливые гордые батыры могут посчитать их трусами и сами броситься в атаку, и тогда уже ни хан, ни батыр Богенбай не смогут управлять боем.

Напряжение передалось всем — и обозникам и их охране, туленгутам, свите Бопай. Все знали, что атака должна начаться, как только первые лучи солнца вырвутся из-за далеких вершин.

Рассеялась дымка, видно, как головные тысячи джунгар — каждая построилась отдельным клином — рысцой покидают стан, идут навстречу объединенной коннице батыров. Нет мочи ждать! В этой битве проиграет тот, кто будет медлить!

Заволновались ряды сарбазов, и в этот миг все увидели, как на загнанном, раненом коне, в крупе и шее которого торчали стрелы, к холму Абулхаира, напрягая последние силы, мчался воин без шлема, без щита, лицо окровавлено.

Абулхаир сам помчался к нему навстречу. Кровь отлила от его лица. Воин не доскакал. Упал. Абулхаир соскочил с седла, вырвав саблю из ножен, стал над ним, как палач.

— Говори!

— Они на месте! Ждут, мой повелитель! Нас, гонцов, было одиннадцать. В пяти верстах отсюда наткнулись на дозорную джунгарскую сотню. Все погибли... — задыхаясь, говорил воин.

Но Абулхаир не слушал его. Он снова обрел прежний вид. Вскочив на коня, махнул саблей туленгутам, чтобы они помогли раненому. Его иноходец взлетел на вершину холма. Хан оглядел войско и, привстав, махнул белым платком. Правое, пятитысячное крыло объединенной конницы батыров понеслось вперед, навстречу джунгарам. Его вел Тайлак. Там же находились Таймаз и Томан. Кенжебатыр, сдерживая коня, стоял со своей сотней во главе конницы Санырака. А отборная тысяча сардара еще оставалась в засаде.

И Абулхаир и Богенбай были неподвижны.

Сарбазы Тайлака скатились с холмов, проскочили заросли, слились в плотный, единый поток, выскочили на просторный, чистый такыр как раз в тот момент, когда головные тысячи джунгар показались с другого края такыра. Еще мгновение, и две стремившиеся друг к другу лавины столкнулись, слились в неистовой схватке.

Лавина джунгар была плотнее, она приняла в свои железные объятия все пять тысяч сарбазов Тайлака. Степь огласилась торжествующим воплем, предсмертным ржанием коней, лязгом железа. Гигантский клубок коней и людей, словно смерч, закружился по такыру. Прошло совсем немного времени, солнце еще не успело одолеть путь в длину одной палки, как внезапно появилась новая волна джунгарской конницы. По всему было видно, что она направляется прямо к высоте, где маячил шатер Абулхаира.

Хан вторично махнул белым платком. Оглушенный криком батыра Санырака Кенже прищпорил коня. Последним, что он увидел, стоя на высоте, были тонкие столбы дыма, поднимавшегося где-то далеко с северной и юго-восточной стороны тыла джунгар. «Сарбазы Среднего и Младшего жузов несутся отсюда на джунгар и циней. Скоро им переломят хребет.ломают серп», — вспомнил Кенжебатыр слова хана, стараясь не отстать от Санырака. Рядом, обнажив свой меч, стремя в стремя мчался Лаубай.

Уже всего половина, а то и треть версты отделяли их от джунгар и циней в тот момент, когда раздался грохот пушек. Пушки ударили по плотным рядам врага справа, сбоку, со всем с близкого расстояния. Смешались ряды джунгар. Кони одних отпрянули назад, другие встали на дыбы, роняя всадников, третьи бросились прочь. Ряды джунгар смешались. Когда же Богенбай успел перебросить пушки? Как он узнал, что именно здесь пройдут джунгары?.. Во весь рост с ревом

поднялись верблюды, они пытались сбросить страшный груз со своих горбов. Вокруг верблюдов суежилась сотня Егорки. Молодец Егорка!

Больше Кенжебатыр ничего не слышал и не видел, кроме лиц джунгар. Едва отбив удар одного, он увидел, как на него несется второй. Чургучут или китаец? Какая-то загадочная нечеловеческая улыбка на гладком желтом лице. Длинные тонкие прорезы вместо глаз. Кенжебатыр не смог принять его удара. Он оказался в хаосе людей и коней. Сзади наседали свои, в лицо дышал враг. Выкатив глаза, с пронзительным ржанием упал чей-то конь. Кто-то неистово кричал рядом.

Кенжебатыр извивался, как разгневанная пантера, принимая удары врагов на щит и тут же нанося свои то в плечо, то в затылок, то прямо по лицу. Не глядя по сторонам, он ощущал каким-то внутренним чувством, где свои, где враги. Чувствовал, что рядом бьется Лаубай. Из кольца наседающих циней прорубает себе дорогу Санырак. Конь без седока, озверев, вырывается из этого хаоса, волоча тело убитого сарбазы. Еще одно усилие, и они, кажется, пробились, пробились сквозь первые ряды джунгар. Впереди видно знамя Тайлака! А там, далеко слева, по склону косогора несется свежая конница. Чья она? Кабанбая или Абульмамбета, и сколько времени прошло с начала битвы? Кенжебатыр погнался за всадником, что, припав к седлу, уходил от него. Но тут что-то заставило его привстать на стременах и оглянуться. Он увидел, как с далекого холма, где стоял шатер хана, несется отборная тысяча Абулхаира с бело-голубым знаменем сардара! Впереди — Богенбай.

Кенжебатыр не заметил, как уходящий от него враг, не разгибая спины, натянул тетиву, не услышал свиста стрелы. Стрела попала не то в грудь, не то в глаз коня. На всем скаку он ударился о землю и перевернулся. Напоролся на чью-то пику. Животное забило головой о пыль, не в силах подняться. Кенжебатыр выронил саблю. Туша скакуна придавила ногу, застрявшую в стремени. Он не мог встать. Мелькали копыта коней, своих и чужих. Оглушал грохот. Невероятным усилием батыр освободил ногу. Надел шлем. Чей-то конь грудью отбросил его в сторону, он снова встал. Сабля лежала в двух шагах от него. Он нагнулся, чтобы поднять ее, и в ту же секунду ощутил тяжелый удар булавы по шлему. Закружилась земля, закачалось небо. Разогнув спину, он поднялся во весь рост, зашатался, сделал несколько шагов и упал, не слыша ни криков, ни лязга железа, ни стука копыт, ни отрывистого свиста стрел.

...Он открыл глаза и ощутил, как что-то железное обжигает руки. То был его щит. Солнце уходило из зенита. Стояла дурманящая жара. Болела голова. Немного тошнило. Рядом на коленях стояла Саня, ее косы, как две черные змеи, текли по спине. Глаза, полные слез, сверкали от радости. Чему

она радуется, лениво подумал Кенжебатыр, пытаюсь освободиться от ее объятий. Но она не отпускала. Под прохладой тонких железных сетей кольчуги он почувствовал упругость ее груди и, ослабевший, прижался к ней, как ребенок. А она, как мать, все лепетала что-то ласковое, нежное. Но он не разбирал ее слов. И лишь после того, как она влила в его рот кисловатый кумыс из своего маленького походного торсука, он начал приходить в себя.

Он сидел недалеко от вздувшейся туши коня. Жужжали мухи. В небе парило черное воронье, а над воронами поодиночке, распластав могучие крылья в бездонной синеве, плавали орлы. Кругом стояла тишина. Саня платком вытирала с его лица запекшуюся кровь. К нему с трудом возвращалось сознание. Все поле было завалено телами коней и людей. Из земли торчало копые. Вцепившись друг другу в горло, лежали двое. Один из них коренастый, широколицый. Кое-где, взяв за повод коней, меж телами бродили сарбазы и женщины.

— Победили, победили наши! — говорит Саня. — Сарбазы преследуют джунгар. А у тебя нет ран. Ты цел, — вдру радостно сообщает Саня. — Тебя, наверное, сильно оглушило ударом. Это ничего, слава аллаху. Полежишь спокойно день-другой — и все пройдет. Я тебя увезу к реке. Там прохладней. Ты за ночь придешь в себя и будешь на тое победы...

Кенже плохо слышит ее. Он увидел, как прямо перед ними шагах в десяти поднялся человек и уставился на них. Ойрот или китаец. Нет, не ойрот, скорее всего китаец, не слушая Санию, думает Кенжебатыр. В руках китайца лук. Из спины торчит стрела. Не моргая, он смотрит на Санию. Взгляд мертвеца. Страшный взгляд. Китаец тянется к колчану, валяющемуся у ног, вытаскивает стрелу, берет за тетиву лука, натягивает, целится в Санию. Саня не видит его.

Опираясь на щит, Кенже, с криком, скорее похожим на стон, наваливается на Санию. Падают оба. Саня в испуге смотрит на него, а он на китайца. Китаец не сумел как следует натянуть тетиву — не хватило сил. Стрела, выпущенная им, упала, не долетев до Сании. Глаза китайца закрылись, он медленно упал лицом в землю. Впившаяся между лопаток дальнобойная стрела сарбаза так и торчала в его спине.

Какой-то жигит помог Сании посадить Кенжебатыра на коня, и она повезла его туда, где раньше находилась свита Бопай. Кенжебатыр ехал словно во сне. Он равнодушно смотрел, как на вершине холма сарбазы разбирали белый шатер Абулхаира и по частям грузили его на походных коней, видел, как туленгуты тащили с места битвы раненых сарбазов. Они уносили их в туранговую рощу, где стояли юрты лекарей и знахарей. Рослый мулла вел своих собратев к дальнему оврагу. Должно быть, приказано хоронить погибших там. Много людей потребуется, чтобы потом засыпать этот овраг, а потом воздвигнуть над ним могильный холм.

Ханши Бопай не было на месте. Вместе со своей свитой она мчалась вслед за Абулхаиром. Уже были разобраны юрты. Кенжебатыра посадили на арбу, наполненную свежескошенным сеном.

— Долгая жизнь у вас будет, батыр! Благодарите создателя! — сказал сарбаз. — Сейчас помчитесь в Туркестан. Утром будете там. Дорога свободна. К утру управимся и мы. Уберем и достойно похороним своих. А потом освободим место для трех сотен джунгар. Пусть предадут своих земле по своему обычаю. Таков уговор. Туркестан отдают без боя, — сообщил сарбаз.

Солнце клонилось к вечеру. Задымили костры, когда арба с Кенжебатыром запылила по Сауранской дороге, которая начиналась где-то на севере, на берегах Иртыша, стремительно шла на юг до Туркестана, а затем через Отрар, Шаш, Самарканд, Бухару, Балх, Мешхед и Астрабад по южному берегу Каспийского моря уходила на Багдад, Халеб, Дамаск и Миср, на земли древних финикийян и далее — до Андалузии, ибо Сауранская дорога некогда была одной из ветвей «Великого шелкового пути». Ее называли именем древнего казахского города Саурана лишь потому, что в Саурани, находившемся неподалеку от Туркестана, она троилась. Одна из дорог уходила через Алматы, через Аккуйгаш и Джунгарские горы в Небесную империю, а другая тянулась к Афганским горам и, пробив их, добиралась до долин Инда. Кенжебатыр в этот вечер ехал по самому короткому и прямому отрезку дороги, который вел из Отрара в Туркестан. Между этими двумя казахскими городами при хромом Тамерлане день и ночь стояли дозорные, ибо сам Повелитель в любой день, особенно в дни гнева или в дни радости, но чаще в дни, когда он тайно вынашивал мысль о новых походах, мог, не предупредив своих телохранителей — барласов, сесть на коня и мчаться в Туркестан, чтобы молча войти в великие прохладные покои, в полумрак мавзолея святого поэта Ахмеда, и, оставшись в уединении, взобраться на михраб и долго сидеть там, разминая больное колено и думая о судьбе своей империи.

В дни, когда не было похода, главное знамя Повелителя с тяжелым толстым древком из железного черного африканского дерева хранилось у стен в далекой глубине мавзолея вблизи огромной малахитовой гробницы Ахмеда Яссави. И сейчас оно там, это знамя. Ни джунгары, ни цини не смели тронуть его, хотя не раз бывали в Туркестане.

Рассказывая о мавзолеях, мечетях и банях Туркестана, старый воин-степняк то и дело подгонял нара, и без того стремительно несшегося по ночной дороге. Старик торопился быстрее донести Кенжебатыра до города. Арба подпрыгивала на ухабах, но это не беспокоило Кенже. Плотный слой свежей травы, заполнивший арбу, смягчал удары. Рядом на белом скакуне, не отставая, неслась Саня в сопровождении

двух сарбазов. Она готова в любое мгновение прийти на помощь.

Они догнали и миновали обоз. Вся дорога были заполнена сарбазами, направлявшимися в Туркестан. Свежий вечерний ветерок взбудрил Кенжебатыра. Перестала болеть голова. Он почувствовал в себе прежнюю силу, и ему стало неловко от того, что его, не выдержавшего одного удара палицы, везут словно тяжелораненого сарбаза.

...Кенжебатыр устроился в маленьком глиняном домике бедного казаха-дехканина, расположенном почти у самых городских стен. Отсюда и пошли они с Санией на следующее утро по узким улицам вдоль дувалов и арыков к возвышающемуся над всем городом и сверкающему своим куполом мавзолею поэта, возле которого были расположены шатры и походные юрты соратников и сподвижников Абулхаира и Богенбая. Город был разграблен джунгарами, во многих местах еще догорали дома, виднелись следы пожарищ и разрушений. В сторону кладбища молча несли тела погибших. Всюду десятники разводили своих сарбазов на постой. Часть конницы находилась в цитадели, построенной подле мавзолея, часть заполнила базарную площадь. Но основные силы ополчения лагерем расположились в степи, в садах, на берегах реки близ города.

В ставке Абулхаира собирались ханы, султаны и батыры. Прошел слух, что туда же прибыли великие бии.

Саньи как женщине не пристало появляться у ханского шатра среди батыров, и она, на время распрощавшись с Кенже, заторопилась к ханше. Всюду царило веселье, народ был опьянен большой победой над врагом.

Усталый, возбужденный, с раскрасневшимися от бессонницы глазами Санырак радостно встретил Кенже, обнял его.

— Ты жив, брат! А я-то подумал плохое, не видя тебя среди батыров. Я искал тебя. Абулхаир и Богенбай просят представить им смелого молодого батыра, достойного быть почетным гонцом от совета ханов и биев. Вот я и представляю тебя. Ты готов, Кенжебатыр?

Кенже не ответил на вопрос Санырака. Видимо, Санырак не знал о том, что случилось с ним. Да и как ему было знать обо всем, когда тысяча гнала джунгар до Бугеня. А сам он лишь глубокой ночью с сотней сарбазов прибыл в Туркестан и встречал Абулхаира.

— Подбирай себе жигитов, где твои сотни? Егорка поедет с тобой. Что-то важное замыслили там, — Санырак кивнул в сторону шатров.

Батыры стояли у могучих стен мавзолея. Кенжебатыр с нескрываемым любопытством, как и масса собравшихся здесь людей, осматривал святыню казахов. Рядом стоял мулла в огромной чалме.

Кенже не ответил на вопрос Санырака о своих сотнях. Нужно было скорее найти их. Но Санырак не отпускал его, повел с собой к шатрам. Кенже встретил раненого Лаубая и от него узнал, что сотни в цитадели, что ранен Тайлак.

— Пустяковая рана в плечо. Заживет быстро, — говорил Лаубай. — Томана жалко. Хороший был жигит. Убит... Много славных жигитов полегло в этой битве. Завтра будет ас¹ по ним.

Внезапно Лаубай умолк. В сопровождении трех мулл к главному входу в мавзолей сквозь толпы расступавшихся воинов и паломников шли ханы Болат, Самеке и Абулхаир вместе со своими соратниками и сподвижниками из числа султанов и батыров.

Торжественно открылись толстые, тяжелые узорчатые двери. Первым в глубину зала под своды гигантского купола шагнул Болат-хан. Снова сомкнулась толпа, только что уступившая дорогу ханам.

Санырак вновь разыскал Кенжебатыра и торжественно сообщил ему:

— Готовься в дальнюю дорогу. Прибыл гонец от посланников к царю русов. Наш главный посланник заболел в пути. Посольство движется в столицу башкир, надо догнать его...

При слове «башкир» Кенже вспомнил о Таймазе. Где он? Санырак успокоил: и Таймаз и Егорка среди сарбазов, которые следят за отходом джунгарских войск. За ними посланы гонцы. К ночи вернутся в город.

Ханша Бопай была милостива, она вновь разрешила Сании покинуть свиту. На этот раз Сания собирала Кенже в дорогу. Условились, что она перевезет отца в Туркестан и, если госпожа будет великодушна и разрешит ей уйти из свиты, станет ожидать Кенже здесь, в городе... В ту ночь им так и не удалось уединиться в тесной землянке дехканина. Санырак созвал своих соратников послушать песню молодого жырау об их победе на Буланты и Боленты и освобождения Туркестана от джунгар.

Гости расселись в саду возле наполненного арычной водой хауза. Было прохладно, дастархан не вмещал обилия блюд. Вместе с кумысом подавали соки и вино.

Захмелели жигиты. Кенже не был привычен к вину, и сно не понравилось ему.

Все новые и новые вести приходили из шатра повелителей. Каждый сарбаз, являвшийся на этот пир, сообщал что-то свежее:

— Тысячники джунгар, что шли брать Хиву, повернули назад и бегут к Аккуйгашу. В Хиве возведен на престол родной брат Абулхаира Сарыайгырхан вместо двоюродного брата Абулхаира Бахадурхана.

¹ Поминки. После погребения в честь усопших устраивается борьба, спортивные состязания.

— У нашего сардара двойной той. Он повелел отметить нашу победу. Завтра великий ас. Весь Туркестан в дыму. Готовят трапезу. По случаю торжеств Абулхаир приказал доставить сюда своего сына, султана Нуралы. Две сотни поскакали за ним.

— Джунгары покинули наши южные города. Они направились к Аккуйгашу, в Жетысу. Говорят, там они встретятся со свежей конницей, идущей к ним на помощь. Как бы вновь не повернули сюда.

— Не повернут. Знают — теперь мы им обломаем рога. Вся степь заполнена нашей конницей. Кроме адаевцев и бершей, все казахские племена объединились. Не устоят против нас ни ойрот, ни чургучут, ни монгол, ни цинь... — горячился захмелевший сарбаз. — Вон какие у нас батыры. Слава Саныраку! — возвеличивал он хозяина дастархана.

Лишь после полуночи Сании удалось увезти Кенжебатыра на отдых. Спали в глубине сада, на плоской крыше глинобитного домика.

...И снова перед ним лежала дорога. Далекая, неведомая, но мирная. Тихо и спокойно было кругом, и не надо было тревожиться, что вдруг из засады выскочат джунгары. Он снова был гонцом, как и тогда, в начале этой, пока еще не оконченной войны.

Сегодня он ханский гонец. Нет, нет. Он гонец от народа. Так сказал великий старец Казыбек-бий, чтимый народом. Он вошел в шатер Абулхаира, когда Кенже находился там. В шатре были лишь Абулхаир, Абульмамбет и еще сын Абулхаира Нуралы. Верховный военачальник был суров и краток.

— Ступай без промедления. Дорогу укажут батыр башкиров Таймаз и рус Егор. Их жигиты охраняют конные вьюки. Там дары. Ступайте в Уфу. Мои подарки передашь султану башкир. Пусть с милостью примет брата Таймаза. А посольству нашему расскажешь о победе нашей и пополнишь его дары царю русов. Среди даров меч Дабаджи. Пусть скажут царю русов, что я разбил джунгар и готов стать оком царя в степи и хотел бы быть под его попечительством... А как сказать остальное, знают сами послы. Ступай. Рус Егор будет твоим толмачом в пути... — сказал Абулхаир.

Богенбая не было в шатре. Его не было и в Туркестане. Со своими сарбазами он преследовал джунгар.

— Наше письмо передай нашему главному посланнику. — Абулхаир вручил плотно завернутое в голубой шелк письмо.

Кенже с поклоном взял его и спрятал за пазуху. И в этот момент бесшумно вошел Казыбек.

— Гонцом от народа своего едешь, сын мой, — сказал старец. — Народ твой ищет опору и сильного друга. Здесь, в Туркестане, казахи не раз принимали послов царя русов. Здесь мудрый Тауке вел беседу с ними. Он говорил о верном

союзе с царем. О великом договоре, которым закрепится наша верность русам. У нас с ними одна земля, мы братья по отечеству и потому добровольно хотим их попечительства. Запомни это, сын мой. Пусть дорога твоя будет быстрой и мирной. Прими мое благословение. Аминь!

Егор и Таймаз мчались рядом с ним, стремя в стремя. Втроем они вырвались далеко вперед. Их маленький караван торопливо пылил чуть ли не за версту от них.

Знакомой была дорога русу Егору, башкиру Таймазу, но неведомой для Кенжебатыра. Однако он не думал об этом. Рядом мчались братья, вместе с которыми он одержал победу над джунгарами.

ЭПИЛОГ

Осенью 1731 года в ставку хана Младшего жуза Абулхайра, расположенную в те дни в Иргизских степях, прибыл гонец. Молодой жигит, лицо обветрено, воспаленный взгляд — должно быть, давно не спал. Но держится гордо. Осанка под стать султану. Голова туго обтянута красным платком. Куртка с короткими рукавами, добротна сшитая из кожи жеребенка. На поясе кинжал. Сапоги с длинными голенищами. В руках камча. Через седло опрокинут курджун. Широкоплеч, худощав.

Гонец не оробел перед ханом. Слегка поклонился.

— Я от батыров Кенже и Таймаза. Они возвращаются в родную Казахию.

— И ты примчался сообщить мне об этом?! — гневно скривил губы Абулхайр. — Какая великая новость! — хан до боли в пальцах сжал золотую булаву.

— Почтенный хан! Я не досказал. Батыры не одни. Они вместе с вашими послами Кутлумбеком, сыном Коштая, и Сейткулом, сыном Кундагула, сопровождают посла великой царицы русов. Посол уже находится на земле казахов. Он на берегах Арала. Ищет ставку ханов Казахии, Кенже и Таймаз оберегают его. Посла царицы русов зовут Тауекель...¹

— С этого и надо начинать, а не говорить о каких-то бродягах Кенже и Таймазе! — Абулхайру изменило спокойствие. Он засуетился. Тотчас же снарядил сотню жигитов во главе со своим сыном — султаном Нуралы, отправил ее навстречу русскому послу.

И радость и тревога охватили сердце хана. Он радовался тому, что первый сможет встретить, принять и начать пере-

¹ А. Тевкелев. Русский дипломат, участник персидского похода, знаток восточных языков. Еще с 1722 года по поручению Петра I готовился к переговорам с казахскими ханами.

говоры с послом России, и это вновь возвысит его в глазах народа. Тревога одолевала потому, что он боялся, как бы посол не направил свой караван прямо в Туркестан, где находится хан Среднего жуза Самеке, или же в Ташкент, где только что укрылся новоявленный хан Старшего, Великого, жуза Жолбарс. Собственно, из-за грызни за престол хана Великого жуза он, Абулхаир, и лишился звания сардара. Что же? Всего не предугадаешь. Добро и Зло всегда ходят вместе. Лишь бы батыры Кенже и Таймаз не узнали всего, что произошло, и не увели русского посла другой дорогой, к другим ханам... Нет, нет. Такого случиться не могло. Во-первых, потому что Кутлумбек и Сейткул — его верные воины, а батыры не могут ослушаться этих старейшин. Во-вторых, кто мог раскрыть им тайну минувшего? Ведь мало кто знает об этом. Людям сейчас нет дела до распрей ханов. Народ празднует победу над джунгарами, его не интересуют подробности событий, происходивших осенней ночью ровно год назад в зеленой долине Каратала у восточных границ Казахстана...

Одержав подряд три победы — на Анракае, у подножья Обители богов — священного Хан-Тенгри и у Джунгарских ворот, — объединенная армия ополченцев готовилась преследовать джунгар и циней дальше и дойти до ставки хунтайджи. Но в этот момент внезапно умер хан Великого жуза Болат.

Претендентов на верховный престол оказалось трое: Абулхаир, Самеке и султан Абульмамбет.

Честолюбивый и надменный Абулхаир считал, что только он вправе занять верховный трон и повелевать всей Казахстаном. В случае необходимости он, как сардар, решил использовать силу против соперников.

Но ни батыры, ни старейшины не поддержали его. Не смогли завоевать доверия большинства ни Самеке, ни султан Абульмамбет, на сторону которого встал и влиятельный грозный султан Барак, тайный соперник Абулхаира. Выбор пал на внука Тауке-хана султана Жолбарса, и тогда Абулхаир покинул поле битвы.

Ушли восвояси сарбазы Младшего жуза. Увели свои тумыны султаны Барак и Абульмамбет, тысячники хана Самеке тоже повернули коней назад.

Очистив Казахстан от джунгар, батыры распустили ополчение. Сарбазы с вестью о победе вернулись домой. Народ ликовал. А владыки степи вновь, как и прежде, начали грызню между собой.

Хан Жолбарс, зная повадки своих соперников, счел за благо укрыться в Ташкенте под усиленной охраной телохранителей.

...Весть о прибытии русского посольства быстро разошлась по степи. Вновь объявились самозванные глашатаи. Провидцы джунгарского хунтайджи и тайные посланцы богдыхана стали, не слишком таясь, появляться в ставках султанов-соперни-

ков всех трех ханов степи. Под покровом ночи султану Бараку были переданы дары от богдыхана и хунтайджи. Известные всадники все чаще начали проезжать возле ставки русского посольства, которое охраняли двести сарбазов-добровольцев во главе с Кенже и Таймазом и около ста солдат.

В ближние аулы заходили бродячие странники.

— Нет чести в том, что правоверные мусульмане на союз с неверными русами идут, — говорили посланцы султанов Барака и Абульмамбета.

Прошел слух, что сотни султана Барака напали на ставку посла, что Абулхаир не смог предотвратить нападение и что налетчики взяли в плен батыров Таймаза и Кенже и потребовали, чтобы русский посол покинул пределы Казахстана... И кто знает, как дальше развивались бы события в Иргизских степях в те октябрьские дни 1731 года, если бы в сопровождении своих верных сарбазов не примчались Богенбай, Санырак и Тайлак. Если бы не прибыли вовремя великие бии Айтеке, Казыбек и Толе.

Таймаз и Кенже были освобождены из плена. Притихли сторонники султанов Барака и Абульмамбета. Притихли потому, что опора степи — народ: пастухи и табунщики, чабаны и пахари, люди, которых мало волновали коварные ходы степных воровил друг против друга; люди, верящие лишь в бескорыстие великих старцев, в смелость своих батыров, со всех концов страны потянулись туда, куда явились великие старцы и гордость народа — батыры.

Перед оком народа Абулхаир вел переговоры с русским послом об условиях союза русских и казахов.

Уже шел третий день переговоров, когда Богенбай, не дождавшись конца церемоний, собрав вокруг себя батыров, остановил посла России, идущего из шатра Абулхаира.

— Зачем русской царице нужна Казакхия? — спросил он, глядя прямо в глаза Тевкелеву.

Наступила тишина.

Офицеры, сопровождавшие посла, и хан Абулхаир, провожавший высокого гостя до почетной юрты, удивленно смотрели на Богенбая. Но на лице Богенбая никто не заметил скрытого коварства или хитрости.

— Русским нужен мир с кайсацкой степью! Ваши ханы еще при Иване Грозном вели переговоры с Россией о дружбе, а ваш славный Тауке-хан сговорился с Петром Великим о союзе воинском, мой друг. Не только от имени ханов кайсацких, но и от вас, батыров, прибыли в Петербург ваши послы, которые, оказав нам честь, проводили нас в эти степи...

— Но, предлагая союз, каждый видит свою выгоду... — продолжал Богенбай.

— Любой союз выгоден и священен, батыр, если он ведет к миру между людьми. Об этом вы, воин, знаете лучше меня.

— Вы правы, почтенный гость. Но нам, казахам, нужен союз с царицей вашей против джунгар и циней. А зачем царице такое время? — в упор спросил Богенбай.

— Откровенность рождает откровенность, — спокойно проговорил посол. — У нас нет тайн. Переговоры наши ясны. Мы хотим спокойствия в наших степях. Хотим, чтобы караваны наших купцов без страха шли по вашим землям в Бухару, Балх и далее. Мы хотим жить в братстве. Не только Казахию беспокоят джунгары, но и наши земли за Иртышом. Единство наше — залог спокойствия каждого из нас, мой друг. — Седые старцы еле заметным кивком подтверждали правоту слов посла.

— Прости, почтенный гость наш, что отнял твое время. Но помни, твоя речь услышана всеми. Правота твоих слов согревает наши сердца. Где твои бумаги? Можешь писать, можешь на слово верить. Я первым вступаю в этот союз со всеми своими аулами. Детям, внукам и правнукам завещаю вечную дружбу с русскими. Пусть об этом слышат все, вся степь наша! До последнего дыхания моего я, Богенбай-батыр, останусь верен этой клятве! — спокойно, величаво звучали слова Богенбая. — Делить нам нечего, враждовать незачем. Мы живем по берегам одних и тех же рек, пасем стада на одних и тех же лугах, и не пристало нам, казахам, искать союзника за горами и пустынями, как это предлагает султан Барак. И если враг придет из-за тех гор и пустынь, то отныне мы будем не одни. Я верю словам посланника русов и присягаю на верность России!

Великие старцы со словами «Аминь!», «Иншалла!» провели ладонями по бородам.

— Богенбай сказал за всех нас! — подтвердили батыры.

Посол кивнул офицерам. Те поднесли Богенбаю в дар богато инкрустированное оружие.

— Не обижай нас, досточтимый гость! В степи дают клятву не за дары. Верность не завоевывают золотом. Не за награды я принял присягу, — нахмурил брови Богенбай.

— Тогда будьте гостем нашим, — не растерялся посол.

— Гость вы, а не я! И как гость прими моего коня! — батыры подвели Тевкелеву чистокровного арабского скакуна.

А на следующий день, 10 октября 1731 года, вокруг ставок Абулхаира и Тевкелева собрался народ, был той, такой же той, как и на Ордабасы, когда сыны всех племен казахских праздновали свое единство. Вслед за Богенбаем, Абулхаиром и батырами на верность союзу с Россией присягнули тридцать старейшин и поставили свою тамгу под священным Договором, где обязались «содержать себя всегда в постоянной верности русско-казахскому союзу», «...совместно охранять земли от врагов», жить «бессорно», обеспечить безопасность русских караванов, проходящих через казахские степи, вернуть всех пленных и «впредь отнюдь не брать». Богенбай

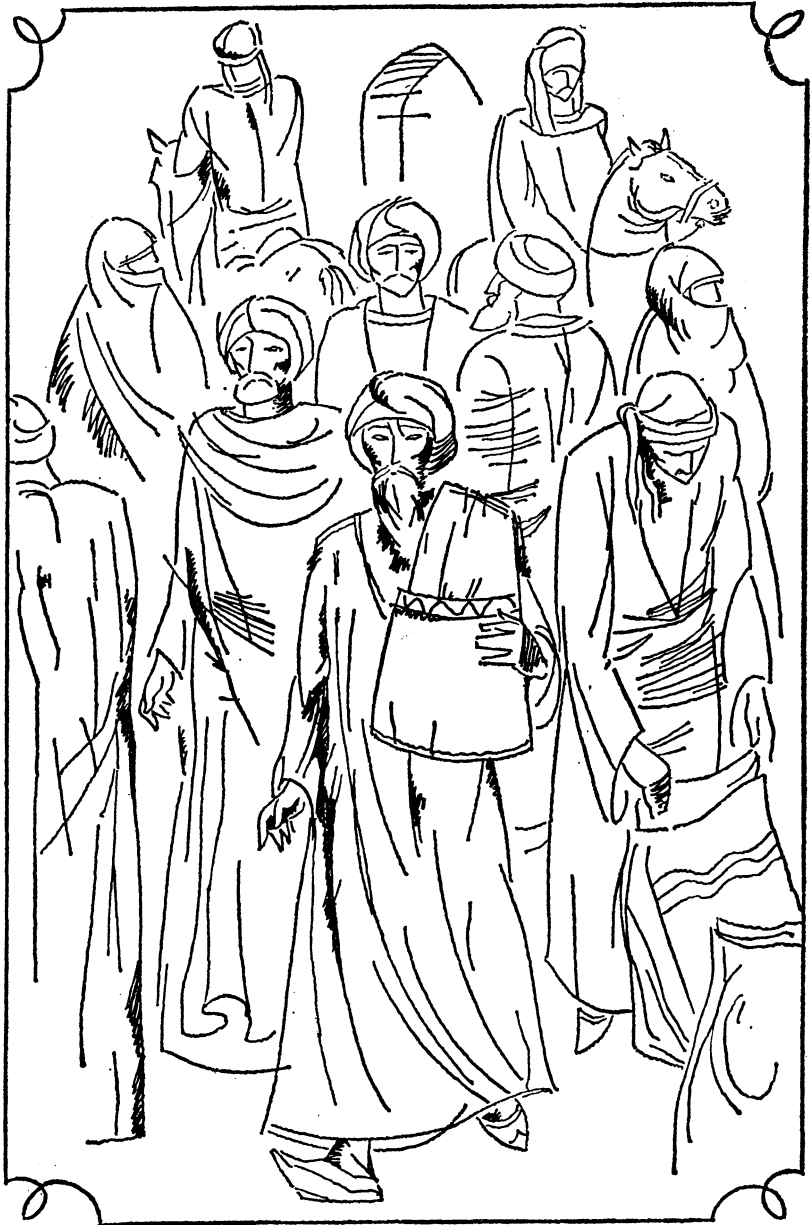
навечно побратался с Тевкелевым, и в тот день русский посол А. Тевкелев записал в дневнике: «...Господь дал мне одного человека, бескорыстного друга Богенбай-батыра...»

Прибыли почетные гонцы от хана Среднего жуза Самеке и хана Великого жуза Жолбарса, вместе с которыми великие бии Казыбек и Толе приняли присягу от имени племен и родов Среднего и Великого жузов. Лишь султаны Барак и Абульмамбет да молодой, только что отличившийся в одном из боев с джунгарами племянник Абульмамбета султан Аблай уклонились от присяги, укрылись в дальних зимовьях, и никто не вспомнил о них. Степь жила вестью новой, радостной, ибо слово «мир», слова «союз» и «дружба» во все века приносили людям радость. От юрты к юрте, от аула к аулу, от города к городу — по всей Казахии мчался гонец — несласть весть о начале братства с русами.

И бывалые сарбазы, рассказывая родным и друзьям о минувших походах и битвах, неизменно повторяли слова великих старцев, сказанные на Ордабасы, — слова о силе Единства.

Стрела Махамбета





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

— Ты вернешься на родину? — спросила она.

— Да, — ответил он.

— Ты возьмешь меня с собой?

— Нет.

— Оставишь здесь?

— Нет.

— Вернешь падишаху?

— Нет, нет, нет!!!

— Прости меня, мой господин, — проговорила она. — Ты сам учил держаться открыто и говорить как равной. Ты говорил, что я не рабыня. Все двери передо мной держал открытыми. Ты говорил, что достоинство женщины не только в красоте, что девушки ваших аулов ходят с открытыми лицами, в споре не уступают мужчинам. Я хочу остаться с тобой... Покорность женщины — не в тягость мужчине. Жена твоя может быть моей госпожой...

Он стоял перед ней. Тонкий луч солнца, пробившись через слюдяное окошечко, сверкал на его шлеме. Она сама напустила их до блеска: застежки на белой кольчуге и шлем с султаном. Только кинжал и саблю он никогда не доверял ей.

Она знала — он готовится в путь.

Он собирался покинуть ее. Но когда? Сегодня, завтра или через неделю — об этом он еще не сказал. Но она чувствовала, что час расставания близок.

— Значит, оставишь меня на волю аллаха?

— Нет!.. — Большие тяжелые руки легли на ее плечи. Щеки ощутили прохладу кольчуги. Скрывая слезы, она плотнее прижалась к его груди, а он гладил ее волосы. — Тебя могут схватить тотчас и продать на рынке или передавать из рук в руки для улады... Не только тебе — одинокому жителю страшно в этом городе, — сказал он задумчиво.

— Знаю,— торопливо проговорила она.— Знаю, мой господин. Как же это я раньше не догадалась?.. Ты убьешь меня. Потому что ты любишь меня!.. Я счастлива, мой господин. Я согласна... Слава аллаху. Он послал мне твою любовь. Ты убьешь меня, чтобы я осталась чиста и верна тебе, чтобы мы встретились в садах аллаха... Смерть от твоей руки благословенна. Я приму ее. В наших горах и у раджпуров Индии, если враг насаждает, мужчины, идя на смертный бой, убивают женщин, чтобы они не достались врагам... Это священная смерть! Само небо соединяет сердца и души влюбленных после смерти...— лепетала она, устремив свой взгляд туда, откуда пробивалось солнце.

Он прервал ее на полуслове. Его пальцы, как клещи, впилась в ее плечо. От боли она откинула голову назад. Ослабли колени, она повисла на его руках. Он трясся от гнева:

— Что ты мелешь, женщина?!

— Не гневайся, мой господин, я счастлива... Только отцу моему передай весточку.— Пересилив боль, она с покорной нежностью ждала смерти и желала ласки перед смертью.

А он молчал. Он был возбужден, растерян. Гнев и жалость боролись в нем. Он был поражен и, не найдя слов для ответа, швырнул ее в угол, на ночное ложе.

— Ты сама расскажешь отцу о себе. Проклятье! — Шашка зазвенела о косяк. Он пинком открыл дверь и вышел на улицу...— Коня! Туке, веди белогривого! Накажи Нояну — пусть двое из его жигитов неусыпно следят за караванами. Как только появятся кзылбашы, пусть дадут мне знать.

Едва коснувшись стремени, он легко вспрыгнул в седло. Рядом на гнедом жеребце уже гарцевал Жантас.

— Нас сегодня не ждите!

Они выехали за ворота и пустили коней вкачь...

Не поняв ничего из слов хозяина, женщина молча уткнулась лицом в седло, которое стояло у изголовья постели вместо подушки.

За все дни, проведенные в Хиве, ей впервые стало так страшно. Если раньше она могла покорно следовать за любым человеком, полагаясь лишь на милость аллаха, то теперь не представляла себя в разлуке с тем, кого полюбила, кто убил в ней молчаливость, покорность и безразличие рабыни, кто первым открыл ее ночное покрывало.

...Их было пятнадцать, когда они прибыли в Хиву из Афганистана.

Из рабата их повели в сад, и там они купались в прохладном водоеме под наблюдением караванбаши — купца, который насильно увез ее из родного дома.

После купания он тщательно осмотрел всех девушек, построив их в ряд в тени кипариса, за высокой стеной зеленых кустов граната. Долго стоял возле пленницы из Герата, не

скрывая восхищения, потом ласково взял ее за подбородок, провел потной ладонью по ее груди и сказал:

— Ты как пери из райского сада...

Евнух rozdal новые наряды и собрал старые платья, разбросанные у бассейна. Купец остался доволен осмотром.

— Вы все прекрасны, слава создателю. Вас ждет милость мужчин. Мужья Хивы щедры на ласки.— Он снова взглянул на девушку.— Как звали тебя?

— Нурбал,— ответила она чуть слышно, не смея взглянуть на купца.

— Иншалла, ты будешь достойной оправой моих даров хану... Любовь владыки всемогуща, добивайся ее. Будь горлицей Герата, розой Ширази, покорной ланью и волшебной услугой для него. Пусть аллах тебе поможет... Эй, раб! Укрой ее шелками.

Девушки с тихой завистью и спокойной грустью смотрели на нее.

— Сердце хана смягчишь, успокоишь его, уладишь, и к нам он ласковей станет,— продолжал купец, когда ее готовили к приему.

Накинув на нее темное покрывало поверх голубой вуали, повели во дворец. Перед входом в тронный зал сняли верхнюю накидку.

Торжественно и тихо было в зале. Хотелось осмотреться, взглянуть на трон, на владыку, но она не смела поднять лицо и откинуть вуаль.

Сначала купец поднес хану жемчуга и парчу, шелка и сладости, изделия афганских мастеров: кинжал в бриллиантовой оправе и халат, расшитый золотом. Потом подвел Нурбал.

Сквозь тонкую вуаль зал казался ей сумрачным, прохладным. Купец слегка толкнул ее, продолжая свою речь. Она не слушала его. Почувствовав, что стоит перед троном, упала на колени и согнулась.

— О царь, всемогущейший государь, почитаемый Аравией и Персией! Падишах, имеющий слуг, подобных Джемшиду, привратников, подобных Кесарю, аллаху тень и его наместник на земле, владыка Джейхуна, Ургенча и всего Хорезма! Прими этот бутон, выросший у прозрачных истоков афганских. Пусть он цветет в твоём саду...

Она почувствовала, как тупые костяшки пальцев купца коснулись ее плеч. Легкое покрывало слетело с нее. Девушка сжалась в комок.

— Она прекрасна, как дитя Джейрана...

— Росток из волшебного сада...

Слева и справа Нурбал ощущала сверлящие взгляды вельмож, купцов и богачей Хивы. Ей было плохо от этих жадных взоров, она сгорала от унижения.

Вначале ей было страшно в этом зале. Но потом страх прошел. Она начала прислушиваться к словам султанов и полководцев Хивы, поняла, что они восторгаются ее красо-

той, и тихо улыbnулась. Сам аллах свидетель: женщины любят лесть мужчин. Нурбал успокоилась и, чуть приподняв голову, взглянула в сторону владыки. Но не увидела его. Перед ней была решетка из белого мрамора. Тонкий орнамент — листья и гроздья винограда, лепестки роз и лотоса были изумительны. Мрамор был чист, как первый снег, лежащий на омытой зелени листьев. Сквозь резьбу виднелись голубые, зеленые, красные ковры Хорасана, укрывшие стены и пол за перегородкой...

Еще чуть выше подняла она свой взгляд и заметила складки золотистой занавеси. Она поняла, что за перегородкой суфа для трона, а над тронном балдахин, с которого свисают шелка и знамена.

Чтоб увидеть хана, нужно было разогнуть спину, подняться. Но она не смела шевельнуться без приказа. Вгляделась в узоры на мраморной решетке и сквозь нее вдруг увидела, что прямо перед ней, поджав ноги и лениво положив руки на колени, сидит владыка.

— Встань, — спокойно и властно сказал хан.

Она разогнула колени, распрямила спину, подняла голову, волосы скользнули по голой спине. Перед ней был желтолицый человек с дряблыми щеками и острым леденящим взглядом. Трудно было по виду разгадать, сколько ему лет. Он сидел на подушках, облаченный в легкие одеяния, украшенные золотом и жемчугами, и взглядом ощупывал ее. Зал умолк на миг. Но вот улыбка восхищенья скользнула по лицу владыки, и вновь все зашумели, перебивая друг друга:

— Она воплощенье красоты, владыка...

— Стройна, как кипарис, нежна...

— Она Лейли, она Ширин...

— Поэты где?! Стихов достойное создание. Восславить нужно этот цветок. Она будет украшеньем в саду владыки, — сказал человек в остроконечной шапке из голубого бархата, расшитой серебром. Справа от трона сидел он, и в руках у него были четки из слоновой кости.

А взгляд хана все скользил по еще почти детской груди афганки. Пересилив себя, она уже без страха всмотрелась в него. Она знала, что отныне ее жизнь в руках этого желтолицего человека с холодными глазами...

Рядом с тронном стоял чернобородый мужчина с гордой осанкой. Он смотрел спокойно и задумчиво. Ничто не ускользало от его взгляда и слуха. Незаметно пробежал он глазами по залу, мельком посматривая на старика в голубой чалме.

«Визирь», — отметила Нурбал.

— Поэт бершей прибыл, мой владыка, ждет приема. Слава его в Букеевской орде подобна славе Махмуда Пахлавана в Хорезме... Она может быть достойным даром ему, — чуть склонившись, прошептал визирь, указывая взглядом на афганку. — Весть о вашем даре поэту облетит степи за Жайком.

При помощи аллаха ваш дар оплатится многими табунами коней. Вы возьмете в одну упряжку поэта Махамбета, в другую — султана Каипгали, восставших против пса Жангира, и помчитесь по степи между Жайком и Едилем. Все воины-казахи Внутренней орды будут в ваших руках. Все дороги от Едила до Герата будут ваши... Казахи защитят Хиву от кафиров.

Никто, кроме хана, его не услышал. Все сидевшие и стоявшие в зале со знанием дела, словно прицениваясь, говорили об афганке.

— Эй, примите дары! Дайте фирман¹ купцу Афгана. Пусть его товары сверкают на рынках Хивы. Исполните просьбу гостя, дайте стражу. Пусть проедет по земле Хорезма без страха, а обратной дорогой привезет меха Московии. Аминь! — Хан приподнял палец правой руки.

— Великий шахиншах, повелитель священной Хивы и Хорезма! Безмерно твое милосердие. — Купец упал на колени. — Я слуга твой и раб.

Хан слегка кивнул головой, улыбнулся и резко поднял руку.

Купец почтительно приложил руку ко лбу и сердцу, пять, вышел из тронного зала.

— Введите поэта из бершева рода! — приказал повелитель.

Расступилась немая стража, раскрылись двери. Мельком взглянув на сидящих вдоль стен богачей, имамов, купцов и полководцев Хивы, молодой воин, придерживая саблю, упругим, твердым шагом подошел к трону. Не склонив головы, не оказав почестей великому хану, встал он поодаль от девушки, не удостоив ее взглядом. Ропот возмущения прокатился по залу. Лицо владыки окаменело.

Краешком глаза Нурбал взгляделась в поэта. Короткие черные усы, широкое смуглое лицо, чуть выдается подбородок. На голове островерхий шлем, на боку короткий кинжал в красивой оправе, на левом — сабля.

— Владыка Джейхуна, повелитель всех городов Хорезма, властелин Хивы, потомок пророка Мухаммеда, его могущество шахиншах дарует тебе цветок из собственного сада, как мастеру узоров словесных, в чьих устах стихи обретают силу и надевают плащ из пламени... Дочь из афганских гор будет твоя, поэт казахов — любимец бершей и адаевцев, всех казахских родов, на горе оказавшихся под рукой нечестивого пса Жангира, продавшего душу неверным. Отныне владыка владык берет тебя под свою защиту — ты певец его могущества... Такова воля и милость мудрейшего из мудрых, царя царей. Аминь! — чеканя каждое слово, медленно и торжественно говорил визирь.

¹ Персидское — фирман, приказание, повеление. В данном случае — указ, повеление шахов Ирана.

— Благодарю тебя, хан Аллакул. Но не обо мне будет речь. Чужая защита для жигита как сеть для рыбы в Джейхуне. Свобода и воля превыше всего. Спасибо за честь, но певцом твоим я не буду, досточтимый хан. И не за цветком услады я пришел к тебе! — ответил поэт.

— Ты с друзьями собираешь оружие на рынках Хивы. Но за это ты дашь мне голову Жангира, — грозно ответил хан.

— Не послом своего народа я пришел к тебе, а воином. Народ мой сам судья над своими ханами...

— Но он в долгу передо мной. Султан казахов Аргынгазы посмел коснуться моих владений. Ты забыл об этом?! — Аллакул повысил голос.

— Султан — не народ. Кушбеги Коканда и Хивы грабят аулы казахов, казахские султаны разоряют кишлаки хивинцев. Но разве можно обвинять в этом наши народы. Да, Аргынгазы был твоим нукером и угнал твои табуны. Он побил и опозорил тебя. А ты, не сумев отомстить ему, обрушился на бедные аулы казахов на Сырдарье, ты продал в рабство сотни сестер моих... Так этот дар взамен их, что ли?.. — поэт указал на Нурбал.

Хан в гневе приподнялся с места. Руки полководцев Хивы потянулись к мечам. Человек в длинной островерхой шляпе с белым орнаментом вскочил на ноги.

— Молчи, Махамбет! Дерзость твоя безмерна. Язык твой — враг твоих дел и намерений. На нем яд. Проси прощения! Перед кем стоишь?! На колени!.. — вскричал он.

— Успокойся, Кайбала, не с тобою речь, — спокойно ответил поэт. — Если ты забыл, то я напому пословицу казахов. Слушай. Если ты одинок, то...

Но хан не дал ему договорить, жестом приказал старшему миршабу убрать поэта из зала. Стража бросилась к Махамбету, скрутила руки, но он сумел одним рывком освободиться от них и без поклона покинул зал.

Желтолицый хан Аллакул, скривив губы, смотрел ему вслед.

— Почтенный султан, последнее слово остается за тобой. Разговор с поэтом слишком затянулся, — сказал визирь, мельком взглянув, как мехмандар¹ перевернул песочные часы и золотая струйка вновь потекла из одной половины в другую. — Послы ждут приема.

Лицо хана опять сделалось подобно маске.

Юной афганке, ставшей виновницей ссоры царя и поэта, трудно было понять, что будет с ней дальше. Опустив голову, дрожа от стыда, холода и страха, она стояла в напряженном ожидании.

— Говори, султан Каипгали, — произнес визирь.

Успокоившись и обретя прежний надменный вид, Каипгали заговорил:

— Глупость черни не нова. Махамбет — поэт из черни, мой владыка. Тот, кто провел жизнь в песках, не поймет величия каменных гор. Для скитальца кажутся тесными дувалы. Чернь не поймет прелести рая, коршун не станет орлом для схотников. Но смерть Махамбета в Хиве опасна. Для казахской черни его имя — знамя, как фартук Кавы. В степи он полезней тебе, чем в саду. Он нужен и мне, пока жив твой враг Жангир. Твоя милость велика, твоя щедрость безмерна. Пусть твое решение будет справедливым, мой повелитель...

Мудрый визирь вновь склонился к хану:

— Если в степи появится новый Тентек-тёре, то вашей мудростью можно направить его силу против Жангир-хана. Пусть волки загрызут друг друга — больше овец достанется льву.

Хан Аллакул выслушал визиря. Полководцы Хивы тихо высказывали друг другу свое возмущение поступком казахского поэта. Аллакул поднял руку и приказал увести Нурбал.

— Отведите ее к поэту. Мы повелеваем освободить поэта Махамбета... — громко сказал владыка и, повернувшись к Кайбале, добавил: — Ты прав, мой досточтимый султан, — затем, словно поправляясь: — хан Младшей орды Каипгали!

— Да сбудутся слова твои, о великий падишах!

— Аллах поможет... Аминь! — с чуть заметной улыбкой произнес старик в синей чалме, перебирая четки из толченых лепестков роз. То был глава мусульман Хивы.

Покидая зал, Нурбал лицом к лицу встретилась с женщиной в скромном одеянии и прижалась к стене, уступая дорогу. Она не знала, что навстречу шел Мунис — поэт и главный мираб Хивы...

...За воротами дворца Махамбета ждали друзья — молодой туркмен и юноша казах.

— Почему так долго? — бросились они навстречу.

— Надежда напрасна. Коня, Жантас!

Юноша подвел к нему тонконового, белогривого скакуна.

— Аллакул приглашал, чтоб поднести мне вот этот подарок, — весело сказал Махамбет, кивнув в сторону Нурбал.

— Плохая примета, когда вместо оружия дарят женщину, — нахмурился туркмен. — Кто она?

— Дочь афганца.

— Вчера тебя Аллакул приглашал, чтоб послушать твои стихи. Сегодня, чтоб одарить, а завтра может на цепь посадить. Так было с Зелиди. Будь зорок, Махамбет. Дстойна ли доверия твоя афганка? Кзылбашы порою коварны.

— Не хану я вчера читал стихи, а поэту Мунису. А что касается афганки, то в чем ее вина? Купец подарил ее хану.

— А хан тебе. Не худо. Все точно, как было с Зелили, — ответил Балабек.

— Ты узнал, где Зелили? — спросил поэт.

— Под тройною стражей ночью, а днем стража лишь у ворот. За горсть танги пропустят завтра в полдень. Я отнесу сейчас Зелили шербет, лепешки, дыню...

— В лепешке письмо, а в дыне напильник, — прибавил Жантас.

— Одного пропустят? — спросил поэт.

— Да, только одного. Деньги возьмет начальник караула...

— Что слышно от Суюнгары, Жантас?

— Вестовой еще не прибыл.

— Ходят слухи, что он где-то близко. Значит, скоро встретимся с ним. Посмотрим на бога адаевцев, нагнавшего страху на Хиву...

— Потом доскажешь, Балабек, — перебил его Жантас. — У ханских ворот бывают уши. Видишь, стража за нами следит. Там твои же туркмены. Могут вслед невидимку послать.

Махамбет вскочил на коня.

— Дай руку, сестра!

Скакун завертелся вокруг девушки. Поэт подхватил Нурбал и усадил перед собой.

...Тонкие трели колокольчиков, подвешенных к кожаным мешкам, наполненным водой, крики водоносов, скрип колес встречных арб, жалобы нищих и окрики воинов из городской охраны, группами рыскавших по узким улицам Хивы в поисках жертв и наживы, сливались с ревом верблюдов, заполняя улицы невообразимым шумом. Караван бухарцев, шедший навстречу, поднял облако пыли. Махамбет придержал коня.

Пропустив последнего верблюда, жигиты выехали на базарную улицу. В глубоких нишах стен, стараясь перекричать друг друга, сидели мелкие торговцы. Чем ближе к базару, тем гуще становилась толпа.

Калеки и дервиши; продавцы пряностей и погонщики ослов; мясники и пекари; повара, готовящие свой плов и сорпу прямо на улице; молчаливые бродяги из узбекских, казахских, каракалпакских и туркменских аулов; богачи, раздвигающие перед собой толпу при помощи слуг и охраны; воины-скитальцы, а быть может, просто грабители и разбойники, ищущие достойного главаря или хозяина; сводники, шныряющие по всем закоулкам; менялы, знахари, люди, готовые на любые услуги, — кого только не встретишь на главной улице Хивы — города святого колодца, священного Джейхуна, сорока медресе, сорока мечетей и множества минаретов и мавзолеев.

Караваны из Ирана и Индии, от афганцев и адаевцев, из Тибета и Монголии, от волжских ногайцев, купцов Самарканда, торгашей Коканда, из Малой и Большой казахской

орды сливаются в единый поток на главной улице города. Гончары и кузнецы, словно соревнуясь друг с другом, здесь же творят свое чудо из металла и глины. Мальши-зазывалы снуют под ногами людей и коней. Только женщины безмолвны и пугливы. Прячась под паранджой, они покорно уступают дорогу всем — бродягам и вельможам, палачам и дервишам. Это и есть самая главная улица Хивы, здесь самый богатый из двадцати кварталов города.

Сквозь тонкую ткань покрывала Нурбал с любопытством всматривалась в толпу, видела башни и минареты, чьи краски настолько же чисты и прекрасны, насколько пыльны и грязны эти улицы. После долгих скитаний на горбу верблюда, после горных перевалов и переходов по безлюдным степям, после рабатов, маленьких кишлаков и больших аулов — этот город кажется ей огромным и непонятным, как и Герат, по улицам которого она проехала вместе с караваном.

Она вглядывалась в силуэты женщин под паранджой, стараясь разгадать — стары они или молоды? В смутной тревоге следила за своим новым хозяином, вздрагивая от каждого прикосновения его руки. Неудобно и неловко было сидеть в седле перед ним. Страшно еще и потому, что он, ее хозяин, молчит.

По пути в Хиву ее часто отвлекали рассказы погонщиков и стражников каравана, а однообразие дороги вселяло равнодушие и спокойствие. Она часто дремала под тихие стоны усталых верблюдов, привыкла к шуткам и ругани караван-баша. Караван, увезший ее из дому, был последней частицей родины. Но купец отдал ее хану Хивы, а хан — этому загадочному человеку. Оборвалась последняя нить, связывавшая с родиной. Сейчас она действительно в чужих руках.

Новый хозяин был суров и не разговаривал с ней. Молчали и его друзья, ехавшие сзади. Она не знала, кто они, а они не спрашивали, кто она. О том, что хозяин ее — поэт и воин, Нурбал слышала, стоя у трона владыки Хорезма. Что лучше — быть в гареме хана или в доме поэта?..

Но стоит ли думать? Не все ли равно? Она женщина. Едет в объятиях поэта. Люди расступаются перед его золотистым, с белой гривой, конем, который то и дело задирает голову, требуя свободнее держать поводья. Идет он неровным торопливым шагом, иногда пританцовывая на месте, иногда норовя пуститься вскачь, наседая на толпу...

Навстречу всадники — каратели хана. Ведут пленных, подгоняют их плетями. Пленники босые, в рваных рубахах, кровь запеклась на губах, синие рубцы на теле, распухшие лица, связанные руки.

Поэт придержал коня.

— Каракалпаков ведут, сарбазов Айдоса, из племени коныратов. — Балабек подъехал к Махамбету.

Жантас вздохнул

— Говорят, он суровый, но справедливый бий. Скитается

в песках, в верховьях Джейхуна. Покинул дом. Свои же не давали покоя. Нет единства меж племенами каракалпаков...

— Смотри, этот шакал силен, когда у человека связаны руки. Эй, каков ты в поединке? Ну, отступись! — взорвался Балабек, увидев, как конвойный замаяхнулся плетью.

Тот зло оглянулся и схватился за пику. Малахай чуть не упал с его бритой головы. Балабек напряжился, как барс, и, сжав нож, пришпорил коня. Но Жантас вцепился в поводья его скакуна.

— Прекрасные слова. Ты тоже покажи себя в бою, а не здесь, — обращаясь к Балабеку и успокаивая самого себя, сказал Махамбет, когда прошли пленные.

— Хочешь одним ударом перерезать сотни петель. Сам аллах не в силах это сделать, Балабек, — сказал Жантас.

— Сто это не десять.

Балабек грустно улыбнулся. События того дня, о котором напомнил Жантас, были еще свежи в памяти.

...Он был в поле, когда ханские сборщики податей ограбили его юрту, стоящую на берегу Дарьи. Был убит отец. Балабек бросился в погоню за убийцами. Догнал и вступил в сражение без щита и меча, с одним соилом. И сохнуть бы костям Балабека на ветру, если бы не Махамбет с друзьями. Они ехали в Хиву и стали случайными свидетелями неравного боя. Не выдержали, бросились на помощь Балабеку.

Посланцы хана были изрублены. Махамбет с друзьями свернул с большой дороги и помчался в пески. Балабек покосился на них...

Обходным путем, запутав следы, прибыли они в Хиву. С тех пор не расставались...

— И один беркут страшен для стаи грифов, — запоздало ответил Балабек, стараясь хоть как-нибудь оправдать свой поступок.

— Говоришь, что Айдос из коньратов. Но ведь ты тоже из племени коньратов, Жантас? — спросил Махамбет, пресекая их спор.

— Я из казахского племени коньратов...

— Слышишь, Балабек? Одно племя, а делится и на казахов и на узбеков, на каракалпаков и туркмен... Хан Хивы Аллакул тоже коньрат. И палач и раб из одного рода. А ты, Жантас, упрекаешь каракалпаков, что у них нет единства. Но разве оно есть у нас, казахов?! — задумчиво произнес Махамбет, отодвигая руку Нурбал, мешавшую держать поводья.

— Вглядись, Махамбет, это медресе Шергазы — святыня туркмен, воспетая нашим Фраги. Отец говорил, что сам Фраги здесь учился. Я знаю его стихи.

— Читай, Балабек, — встрепенулся Махамбет.

...Слились в один поток помуды и гоклены.
Где тот кончается поток,
не различить!

или жалобу к судье. За ними, у дувала, сидят торговцы бумагой собственного изготовления.

...Никто еще одной могучей силой
Не стал велик и не бывал унижен,
Ведь в этом мире лишь дела людские
Несут почет или ведут к презренью...—

слабым голоском, нараспев читает стихи из священной «Панчетанты» индус с длинной белой бородой, в грязной чалме. За ним под дробь барабана показывает свое искусство китайский фокусник.

Кони медленно идут сквозь толпу. Под ногами ползают попрошайки-калеки...

Запах сандала, пыли, пота и фруктов, дым жаровен; непрерывный гул, в котором слились и песни, и плач, и удары бубна, и крики зазывал, рев верблюдов и ослов, — все это дурманит Нурбал. Дает себя знать и усталость от напряженного ожидания, от неизвестности. Совсем ослабла Нурбал, и, чтобы не упасть, она крепко вцепилась в луку седла и слегка прислонилась к груди Махамбета...

Сабли из дамасской стали, седла с инкрустацией, кольчуги и щиты, фитильные ружья, булатные ножи — все это надолго задержало внимание Махамбета и его друзей...

Наконец они приблизились к окраине базара, где под открытым небом торговали пленниками, захваченными в дальних странах и на близких землях, в узбекских кишлаках, казахских, туркменских аулах и в русских селах. Бородатые рыбаки из-под Астрахани были схвачены и завезены сюда знаменитым разбойником из рода адаев Чабеком и его другом, беглым солдатом и лихим атаманом Андреем Стрельцовым.

По приказу хивинского хана и Андрей и Чабек со своими подручными разбойничали на Каспийском море. Посредники из Хивы скупали у них пленников и перепродавали здесь, на рынке. Торговля людьми значительно обогащала казну владыки Хорезма. Так повелось со времен захвата власти ханами племени коньратов — с середины восемнадцатого века. А с тех пор как Аллакул стал ханом, доход от работорговли увеличился вдвое.

Не обращая внимания на крики зазывал и стараясь не смотреть на пленников, Махамбет с друзьями медленно выбирался из людского моря.

— Откуда вы родом, братья? — не удержался и спросил Жантас, увидев двух связанных казахских жигитов.

Старший поднял распухшее от ран лицо, но не ответил.

— Каракипчаки они, с устья Джейхуна. Вступили в драку с сарбазами повелителя, угнавшими у них скот, — ответил вместо пленников пожилой хивинец-казах, стоявший в толпе.

— А вы, мирза, не из свиты ли Каипгали-султана?

— Нет! — резко ответил Махамбет. — Сколько за них? —

с грубой требовательностью спросил он торговца и, услышав цену, бросил к его ногам мешочек с деньгами.

Жантас саблей перерезал арканы. Младший пленник упал на колени перед конем Махамбета.

— Дай им бумагу, что они отныне свободны! — потребовал Махамбет.

— Какая бумага? На что им? — развел руками торговец. — Разве поэты не знают, что рабы всегда рабы...

— Вы свободны. Отныне ваша воля в собственных руках, — сказал Махамбет пленникам. Толпа глазела на него. Одни с восхищением, другие с презрением.

— Поэт казахов в Хиве рыщет в поисках красавиц! — раздался чей-то голос. — Он заодно с султаном Кайбалой. Пришел помогать Аллакулу грабить аулы...

Потемнев от гнева, Махамбет так рванул коня с места, что Нурбал чуть не слетела с седла. Толпа молча расступилась.

— Эй, стойте! — хрипло заорал старший из пленников.

— Чего тебе? — Жантас преградил ему дорогу.

— Передай своему мирзе: я не хочу свободы, купленной за деньги предателя! — Пленник задыхался, кровью налились его глаза.

— Молчи, глупец! — Жантас ударил его плетью по спине.

Балабек вцепился в Жантаса:

— Безоружных не бьют!

— Оскорбивших наказывают! — Жантас вырвал свою плеть из рук Балабека.

— Спасители... — Пленник заскрипел зубами. — Поэт казахский. В стихах беркут, а на деле ворон. В Хиве нашел приют. В Хиве, убившей святого Срыма... А где же твой род? Славу благодетеля на мне зарабатываешь! Кто поверит, что я свободен? Вон, смотри! Там продают наших сестер, матерей! Купи их! Заполняй свои гаремы...

Ошеломленный Махамбет в упор смотрел на жигита. Он трясся от гнева. Нурбал почувствовала, как напряжились его мускулы. Вдруг он выбросил ее с седла и рванул туда, откуда доносился плач женщин. Древний плач, плач-причинение казахских матерей.

...В кругу обвешанных оружием хивинцев стояли девушки с открытыми лицами. В этом городе, да и во всей Средней Азии, без чадры и паранджи могли быть только казашки. Не видя ничего, кроме мертвенно-бледных лиц девушек, слыша только их рыдания, ехал Махамбет сквозь толпу. В разорванных платьях, с распущенными волосами, едва живые от страха, стыда и унижений, стояли они, прижавшись друг к другу, как загнанные джейраны. У их ног, в кровь исцарапав лицо, тихо причитала старуха:

...Где же защита, куда нам пойти?

Где же войны, жигиты где?

Иль нет мужчин на казахской земле,

Иль жигиты казахов трусливее всех?!
О аллах, пощади своих деток-сирот:
Отныне им жизнь тяжелее, чем смерть,
Нет ни смеха, ни счастья, лишь слезы одни...
В темницах сгноят их шакалы Хивы...
О аллах, свои муки нашли на меня,
Спаси моих деток от смерти, стыда...

Рука его потянулась к оружию, чувство гнева взяло верх над разумом. Одним рывком Махамбет обнажил саблю. Но копья воинов, охранявших пленниц, уперлись в грудь Махамбета. Раздался лязг железа. Балабек и Жантас едва успели прикрыть поэта и парировать удары. Конь Махамбета встал на дыбы.

— Именем падишаха, спокойствие и порядок! — раздался чей-то голос. Побледневший Жантас вместе с Балабеком вновь встали плечом к плечу. — Кто ты? Султан по виду, разбойник по повадкам! Отвечай, или твои потроха смешаются с пылью! — властно крикнул воин в богатом одеянии.

Он появился внезапно, словно из-под земли. Рядом с ним стояли миршабы хана. Махамбет с друзьями был взят в кольцо.

Подъехал глава миршабов и взгляделся в Махамбета. Лицо его расплылось в улыбке. Он видел Махамбета в тронном зале хана.

— Живи во здравии, гость великого падишаха! — Отбивая поклоны поэту, он тут же с бранью обрушился на крикуна, назвав его смутьяном... — Вы свободны, мой господин. Великий падишах дарует вам знак своей милости и любви!

Глава миршабов передал Махамбету большую серебряную пластинку с тонким полумесяцем. Это был знак неприкосновенности на территории Хивинского ханства.

Старуха, лежавшая у ног девушек, снова запричитала. Разочарованная толпа — не оправдалась ее надежда увидеть резню — медленно расходилась. Только теперь Махамбет заметил, что все люди вокруг вооружены. Достоинство человека здесь определялось количеством и ценностью оружия, навешанного на нем. Страной управлял меч.

Базар снова гремел, кричал, истеричный хохот какого-то бедняги, которому за долги отрезали уши, холодом обдавал душу. От жары и духоты, от внезапных потрясений заныла голова, свинцовая боль отдалась в висках. Махамбет торопился быстрее вырваться из пропитанного грязью, как воды Джейхуна, людского моря. За его конем, путаясь в длинном покрывале, бежала испуганная Нурбал.

Она боялась отстать, боялась, что ее схватят и продадут так же, как этих девушек, из-за которых сейчас могла случиться беда, и не смела открыть лица. С мольбою тянула она руки к Махамбету, хваталась за стремя, обнимала ноги. А по другую сторону за конем Жантаса урюмо, покорно бежал тот самый жигит, который был освобожден Махамбетом.

— Убери их, Жантас! Убери из-под ног, отведи к Туке, — яростно кричал Махамбет, вырываясь вперед.

— Куда же ты? — опасливо спросил Жантас.

— Не все ли равно, куда идти беспомощному бродяге!

Махамбет, не оглядываясь, пришпорил коня. Балабек погнался за ним. Обогнув холм, на котором стоял арк, окруженный высокими крепостными стенами и глубоким рвом, они понеслись к малым городским воротам. Стража не посмела остановить воина в дорогом аба.

Махамбет и Балабек скрылись за городскими стенами. Нурбал, вместе с жигитом, освобожденным из плена, в сопровождении Жантаса направились в казахские кварталы...

Проехав по тесным безлюдным улицам, они остановились возле узких, серых, ничем не отличающихся от других в этом квартале ворот. Жантас постучал. Навстречу вышел человек, остриженный наголо, худощавый, в просторной рубахе, стеганых штанах и в старых выцветших сапогах. Короткий кривой нож висел у него на поясе.

— Туке, отведите ее в дом. Пусть отдохнет, кто знает, сколько верст проехала она... Махамбет приказал. — И добавил, увидев молчаливый вопрос в глазах Туке: — Она афганка. Сам хан сосватал ее Махамбету... А этого жигита переправьте через потайной ход в другой двор, к нашим. Там он найдет своих каракипчаков. Пусть оденут, оружие дадут. Добудем коня. Как зовут тебя, жигит?

— Ноян.

— Видать, ты совсем еще молод?

— Двадцать пять лет мне.

Туке ввел гостей во двор. Потом отвел Жантаса в сторону и шепнул:

— Весть от Суюнкары-батыра. В пятницу ждет в камышах. У верблюжьего брода...

— Махамбет поскакал к Дарье. Пусть успокоится, я встречу его, — сказал Жантас в ответ.

Жантас выпил чашку кумыса и уехал. Туке вместе с Нояном исчезли в маленьком саду, что в глубине двора за конюшней. Откуда-то явился мальчик и сел на старую тахту у стены, исподлобья поглядывая на гостью. Нурбал показалось, что прошла вечность, пока вновь явился Туке и провел ее в прохладную темную комнату. Потом он принес воду, лепешки, виноград и оставил ее одну.

Нурбал в страхе забилась в угол и долго сидела за дверью, но больше никто не входил. Голод одолел ее, и она торопливо накинулась на лепешки и виноград. Потом прибрала все и вновь села в угол. Страх прошел, стало спокойнее. Засыпая, она вспомнила маленькую землянку в горах за Гератом, отца, вечно копошившегося на крохотной, в два раза меньше, чем этот дворик за дверью, делянке земли в полже-

риба, взятой под аренду у богача. Отец растил конские бобы, кунжут, мак, рожь и пшеницу, а маленькие грядки окаймлялись кустами кукурузы. Там же росли гранат и персики. Отец ее был хорошим земледельцем и умудрялся снимать с арендного поля два урожая в год. Но долги его не уменьшались, потому что он был рабом. Все доставалось хозяину, и она тоже была собственностью хозяина. Это хозяин отдал ее купцу за парчовый халат и лошадь. Отец не отдавал ее, но его связали, избili плетью и бросили на полянке под гранатовым кустом. Жив ли он?..

В полусне Нурбал вспомнила долгую, красную от зноя, каменистую дорогу через плоскогорья и равнины. Сколько кру она проехала по ней, сколько дней длился этот путь? Вспоминались лишь рабаты с узкими бойницами и молчаливыми охранниками, где в тесной комнатке на паласе или циновке, разостланных на глиняном полу, она, как и другие девушки-рабыни, забывалась коротким сном. Даже во сне ей чудилось, что она продолжает свой путь на горбах верблюда: от каждого шага содрогается тело, каждый шаг отдается толчком в груди... Порой пески вдоль дороги были похожи на белый, жесткий снег, порой дорога казалась одетой в рваную шесть...

Проснулась она поздно. Солнечные лучи уже не касались узких окон. Чуть приоткрыв дверь, Нурбал убедилась, что наступили вечерние сумерки.

Во дворе все так же было безлюдно. Лишь под навесом мальчик помогал Туке заполнить ясли свежей травой, завезенной сюда, пока она спала. Огромная рыжая собака терлась о ноги мальчика.

Услышав скрип двери, Туке оглянулся. Она сразу закрыла дверь и прошла на свое место.

Туке принес и зажег светильники. Потом мальчик внес горячий плов. В глубокую тесную выемку на полу насыпали горячих углей, поставили чайник. Туке открыл резную дверцу, ведущую в другую, более просторную комнату, и дал ей понять, что она может спать там.

Снова одна. Лишь под утро явился поэт: злой, уставший. Не сказав ни слова, сел он есть. Потом потянулся к воде, чтоб вымыть руки. Она вскочила с места и налила воды. Умывшись, он выпил кумыса, потом вдруг повернулся к ней:

— Сними с лица чадру. Наши девушки не носят ее! — и сдернул с нее покрывало.

Она отпрянула...

Прошли недели. Огромная, воспаленная луна, висевшая над минаретами в ночь прибытия Нурбал в Хиву, успела растаять, ее заменила молодая луна. За эти дни Нурбал привыкла к Махамбету.

Махамбет мало говорил с ней. Порой он бывал резок, груб, а порой сидел, не замечая ее, и тоскливо думал о чем-то

своём. Иногда он начинал рассказывать ей о своей степи, о казахах, расспрашивал о её родине. Но она почти ничего не знала о Герате и каждый раз вспоминала лишь маленький дворик отца и его делянку. Да и что могла знать она, если не имела права переступить через порог собственного дома?..

Нурбал не умела рассказывать. Когда к Махамбету в гости приходили друзья, она накрывала дастархан вместе с Туке, который относился к ней как к дочери, наполняла кумысом пиалы и оставляла хозяина наедине с гостями.

Она сразу заметила, что хозяин её не просто поэт: хотя все держатся с ним как равные, слушают его как старшего. Гостей стало больше в последние дни, прибыл гонец из степи, от рода бершей. Он говорил, что ходят слухи о будущей войне, о каком-то хане Жангире, о батыре Исатае... Махамбет собирался покинуть Хиву.

Нурбал опять жила в томительном ожидании. Снова началась неизвестность — возьмет поэт её с собой или бросит?

Казахи в битву не берут женщин. А там, на её родине, мужчины во время войн, предчувствуя поражение, убивали своих жен, матерей и дочерей, чтобы не была опозорена честь предков, честь племени. Но ведь таковы обычаи лишь её племени, да ещё у раджпутов Индии, а он, её господин, не принадлежит к её роду. Значит, он не убьёт её. Что же ждёт её? Поэт вспомнил об её отце. Сказал: «Ты сама расскажешь отцу о себе!» Но как она может встретиться с ним? На небесах после смерти?..

Дехкане, с раннего утра рыхлившие окаменелые солончаки и поившие их с помощью чигирей, оторвались от дел, бросили кетмени и тревожно посматривали на двух жигитов, которые мчались по дороге к Джейхуну. Кто знает, что это за люди? Может, гонцы Аллакула. Какую весть разнесут они по кишлакам? Может, вслед за ними появятся сборщики налогов. Но всадники неслись молча, не обращая внимания на них, не сворачивая в кишлаки.

Перед взором Махамбета все ещё стояли лица юных казашек, их глаза. А в ушах не смолкал стон старухи матери. Подставляя лицо встречному ветру, забыв о неотступно следовавшем за ним Балабеке, Махамбет уносился все дальше и дальше, не в силах избавиться от тяжелых мыслей.

Изгнанник, ищущий защиты на чужой земле! Что толку от того, что ты спас свою шкуру? Разве не ты совсем недавно оглашал казахскую степь своим призывом? Разве не твои стихи читают жигиты от Едиля до Жаика, на берегах Арала и Сырдарьи?..

Гей, жигиты родных степей, —
На коней, на коней, на коней!
Пусть коням позавидует ветер —
Вылетайте на битву. Быстрой!..

Где же твоя бывшая удаля, Махамбет? Где выдержка? Или тюрьма в Калмыково тебя надорвала, или скитания ослабили твой дух? Быть может, ты стал просто трусом? Жизнь стала для тебя дороже чести?.. «Даже волк исполнит свой долг и умрет. Не погубит приятеля волк», — вспомнились ему строки из песни о батыре Кобланды. Мысль перескакивала с одного на другое, оживляя недавние события... А потом снова плакала старуха мать:

Где же воины-жигиты, где?
Иль жигиты казахов трусливее всех?

Зачем он пришел в Хиву как изгнанник? В родном краю его скрывали в каждом ауле. Спасти свою шкуру там легче, чем здесь. Просить помощи? У кого? У хана Хивы? Но ведь известно, что если один шакал и поможет загрызть другого, то только для того, чтобы все досталось ему. Или ты явился сюда, чтоб стать рядом с султаном Каипгали — сыном хана Есима? Но ведь он против Жангир-хана только потому, что ему нужен трон...

Когда-то батыр Срым¹ убил хана Есима — отца Каипгали. А ты, Махамбет, собрался служить султану, который хочет стать ханом... Тогда зачем же ты поссорился с ханом Жангиром, Махамбет?.. Может, Каипгали станет добрее, чем Жангир, вернет народу земли, розданные царским графам, атаманам, султанам и баям?.. Нет!..

Понемногу в памяти всплывало все пережитое за последние годы. Его конь перешел на рысь, потом, почувствовав, что хозяину сейчас не до него, пошел шагом. Балабек догнал Махамбета и поехал рядом. Очнувшись от раздумий, Махамбет удивленно посмотрел на него и, словно оправдываясь, сказал:

— Поедем посидим у реки. Давно я не видел ни Жаика, ни Сырдарью, пусть Джейхун напомнит о них...

Навстречу шел мальчик. В руках его был узелок. Наверно, обед для отца-пахаря. Махамбет улыбнулся. Малыш был похож на Мусу — младшего брата...

...У лихого табунщика Отемиса из рода бершей было десять сыновей. Отемис воспитывал их как воинов, в седле. Еще с детства Махамбет был свидетелем того, как отец поднимал свой аул против карателей хана Айчуака. Со своими лихими жигитами он не раз отводил беду от родных юрт, увозил свой аул в такие дали, куда боялись подступиться и наемники хана, и карательные отряды казачьих атаманов. А когда сын Айчуака Жанторе под пушечный салют Уральского мезового двора был избран ханом и объявил себя властелином всех казахов Младшего жуза, Отемис не признал его.

¹ Срым Датов (Датулы) — вождь казахских повстанцев Младшего жуза. Был убит в 1801 году.

Отец Махамбета был справедливым, смелым и честным. Он растил своих сыновей, как орел орлят. Не щадил, не жалел, с малых лет сажал их на диких коней, учил натягивать тетиву, твердо держать в руках меч и пику.

Смелыми выросли дети. Только самый старший, Бекмухамбет, был более рассудителен, а самый младший, Муса, который вспомнился при виде этого малыша, был скромным, тихим, задумчивым. Махамбет любил его больше всех. Муса ходил и ездил с ним всюду.

В шестнадцать лет Махамбет был признан лучшим акыном из рода бершей. В любом ауле его встречали с почетом. Обычно скупые на слово и ласку аксакалы были щедры по отношению к нему. Он легко побеждал бывалых акынов и быстро стал гордостью рода. Старшины и батыры с радостью раскрывали двери перед ним. Слава о нем полетела по аулам всего Младшего жуза, о нем знали ногайлинцы Едияля и шектинцы Каратау, кипчаки, аргыны и найманы. Бедные батыры Котыбар и Арстан из рода шекты слали ему в дар аргамаков, добытых в бою. А самый уважаемый бершец старшина Исатай объявил его своим другом и братом.

Когда Махамбету исполнилось девятнадцать лет, на высоком холме в степи был великий хурал всех казахов. Собрались пять тысяч старшин, биев, султанов и ходжей Младшего жуза. Они посадили султана Жангира на белую, как молоко, кошму и объявили его ханом всего жуза. Таково было решение русского царя и желание совета богатых султанов степи. Жангир был сыном хана Букея. Того самого, который, будучи султаном, еще в 1801 году попросил царя Павла I помочь отделить от Младшего жуза земли, лежащие между Волгой и Уралом, и создать там новое ханство. Императорская канцелярия охотно оказала ему помощь, и к 1812 году Младший жуз был расколот надвое. Букей добился своего — стал ханом Внутренней орды, как назывались теперь земли между Волгой и Уралом, где для усмирения казахов воздвигнуты были царские крепости. Жангир стал ханом по праву наследника.

Когда начались торжества в честь нового хана, великий хурал объявил Махамбета лучшим поэтом Младшего жуза. Молодой хан тут же, на глазах у народа, пригласил Махамбета к себе, подарил ему коня, пику, щит, золотом расшитый халат, серебром украшенную саблю и объявил его своим другом и главным поэтом Младшего жуза. Хан взял к себе и старшего сына Отемиса Бекмухамбета, объявив его одним из своих визирей.

Лет пять Махамбет жил вместе с ханом. Он действительно был лучшим среди его поэтов, певцов и музыкантов. Первым он был и среди знатной молодежи на пирах и приемах, во время охоты с гончими, беркутами, соколами, на лихой байге, в джигитовке...

Вначале, когда Жангир-хан жил в богатых и теплых шатрах, в огромных белых юртах, раскинутых в урочищах на

берегу Каспия, юрта Махамбета всегда стояла рядом. Послы царя, Бухарского эмира, хана Хивы, гонцы из Среднего и Великого жузов старались снискать любовь и уважение поэта так же, как и самого хана. Махамбет чувствовал себя как в раю. Немало значили для него и многообещающие взгляды ханши Фатимы, властительницы над всеми женами Жангира, страстной любительницы поэзии. Махамбету не было дела до того, что гонцы хана носились по аулам, объявляя о новых налогах, что чем больше и щедрее были пиры в богатых шатрах, тем беднее становились аулы. Он восхищался тем, что Фатима не уступала мужу в знании французского, немецкого, русского и персидского языков, была своевольной и гордой, коварной и нежной, но всегда прекрасной...

Однажды весенним вечером, когда серебряная луна висела над барханами, Махамбет пробрался в покои ханши, и она приняла его. Жангир в тот вечер был на охоте, а Махамбету уже исполнился двадцать один год.

Еще через год Махамбет сопровождал Жангира в Петербург. Вместе с ханской свитой, в которой находился и сын покойного хана Есима — султан Каипгали, он провел зиму в русской столице.

...Как-то Махамбета познакомили там с офицером-лекарем.

— Господин Даль-Луганский желает аудиенции с вами как с поэтом казахов, — сказал пронырливый найман в сюртуке, ходивший в толмачах при министерстве внутренних дел империи.

Имя гостя тогда ничего не значило для Махамбета. Его заинтересовал сам собеседник. Он был дотошен, этот офицер, чудаковат и все требовал новых и новых рассказов о степи. Каждое казахское слово заставлял говорить по слогам, объяснять значение. Он собирался в Оренбург, его интересовали жизнь и быт казахов, и он хотел знать, что говорят в аулах о Пугачеве и вообще помнят ли о нем.

Махамбет пересказал ему все, что слышал от отца, от степных акынов и сказителей, от стариков бершей и адаевцев, служивших в отрядах «рыжего Петруса». В степи рассказывали, что Пугачев знал казахский язык и наизусть помнил столь много сказаний, что даже удивлял аксакалов.

Махамбет целый вечер рассказывал гостю о битвах казахов с джунгарами и китайцами.

— О, тогда мысль о гибели объединила все племена Младшего, Среднего и Великого жузов, и стал народ казахский могучим, единым и сильным, отстоял свои земли, очистил их от захватчиков, добравшихся чуть ли не до Арала. Но в битвах погибли многие батыры...

— А до этого когда-нибудь казахи собирались в единую силу? — спросил собеседник.

— При Касым-хане, сыне справедливого бия Жанибека,

бывшего султаном Дешти-Кипчака в Великом жузе, — ответил Махамбет. — А о сыне Касыма Хакназаре, о его решительности, дерзости и смелости созданы песни. С ним вел переговоры сам Иван Грозный. Славы Хакназар достиг потому, что объединил казахов с ногайлинцами и не раз бивал джунгар. К 1570 году уже все народы считались с силой казахов. Возможно, что государственность наша окрепла бы еще больше, если бы не бездарный Сыгай-хан, занявший престол после Хакназара...

— Где вы учились?

— У аульных грамотеев и в ставке его высокостепенства хана Жангира, — ответил Махамбет.

— Я непременно приеду в ваши края, в Оренбург. Буду рад встрече, беседам. И тогда я спрошу вас не о ханах, а о Срыме Датове, сударь. Вы поэт хана? Я вижу, вы хорошо знаете родословную правителей степи...

— В степи у нас вечная борьба против самовластия ханов и султанов, любезнейший господин. Народ говорит о них лишь то, что заслужили. Казахи — слишком вольный народ. Каждый пастух гол, но горд. В этом, возможно, счастье и трагедия нашей жизни. Мы не любим почитать живых, то скуем лишь по мертвым батырам. Плохо, что каждый хвалит свое племя, а вожди грызутся за власть. Лишь в тяжелые дни поднимаются батыры на защиту народа. Но настоящей свободы нет ни у тех, ни у других.

Да и была ли она у кого-нибудь? Хан тоже дрожит за трон. А я не поэт хана. Я слагаю стихи о батырах, достойных славы, таких, как Срым Датов!..

Если в начале беседы Махамбет был деликатен, видя перед собой лишь царского чиновника, то теперь, после столь дерзкого замечания собеседника, он стал самим собой. Он говорил резко, не скрывая своих чувств и мыслей.

Худощавое лицо собеседника еще более вытянулось. Страстность Махамбета передалась и ему. Кажется, он хотел остаться, продолжить разговор, но тут вошел адъютант хана и передал, что его величество Жангир-хан вызывает Махамбета.

— Мы еще встретимся у вас в степи... — Гость покинул его. Махамбет запомнил тонкое длинное лицо, сутуловатую фигуру.

Особняк, в котором разместили хана со свитой, находился в отдалении от центра. Хан не жалел денег. Один пир был роскошнее другого. Сановники царского двора любезно принимали щедрые дары Жангира. Портные шили новые платья для Фатимы. На каждый бал или прием она являлась в новом наряде.

Балы и приемы для аристократов Петербурга в зимнюю пору были единственным развлечением. А присутствие на них киргиз-кайсацкого хана и его прелестной азиатской жены придавали приемам экзотичность.

Незаметно летели дни. Прошел месяц, другой. Жангир без устали давал пышные приемы: он ждал аудиенции у императора, который выехал в отдаленные губернии и не возвращался.

Однажды все переменилось. Очередной прием, назначенный на вечер, не состоялся. В Петербург пришла весть о смерти царя. Над городом поплыл траурный звон колоколов. Потом все стихло. Ждали коронации нового царя. Жангир-хан готовил дары новому владыке.

...Четырнадцатого декабря после обеда, услышав залпы орудий со стороны Сенатской площади, хан приказал подать коней и в сопровождении собственной охраны помчался в центр.

Улицы были переполнены любопытствующими, а площадь оцеплена войсками. Жангир-хан направился в министерство внутренних дел. Там Махамбет вновь увидел Луганского. Господин Луганский был так взволнован, что забыл даже поздороваться.

— Ну, что вы скажете, сударь? Какие люди, а? Нет, нет, это уже не пугачевщина, а другая Русь... Ну, да вы простите меня. Вы, конечно, не знали этих офицеров? Да и до них ли вам, господин Махамбет?!

Даль-Луганский спешил и ответа не дождался.

Махамбет действительно ничего не знал о «них». А ему очень хотелось знать, что произошло в этот день.

— Безмозглые смутьяны решили устроить бунт, — говорил Жангир-хан.

— Восстала армия. Лучшие офицеры были во главе, — шептали другие.

«Тайное общество мятежников раскрыто. Восстание подавлено», — писали газеты.

Хан запретил своим людям говорить о восстании. Он готовился предстать перед новым императором.

Спустя три недели хан Жангир принял присягу в верности новому государю. Потом был бал во дворце. Вместе с султаном Каипгали Махамбет стоял там меж белых мраморных колонн и без удивления и восторга, с каким-то отвратительным чувством собственной никчемности среди всего этого блеска и шума, смотрел в зал. Он все еще думал об офицерах, осмелившихся выступить против царя.

А потом на бал явился сам царь. Император России шел по залу и с чуть заметной улыбкой отвечал на поклоны. Проходя мимо свиты хана, он задержался возле Фатимы. Жангир-хан сам представил ее императору. Царь пригласил ее на танец. Умиляя иноземных послов, легко и грациозно шла в танце Фатима...

Шепотом, из уст в уста передавались слова, сказанные ей царем.

— Как же вы живете среди дикарей? — спросил Николай I.

Прекрасная азиатка ответила русскими стихами:

— Дым отечества и сладок, и приятен, мой государь...

Осыпанный дарами и украшенный орденами, получив от нового царя Николая генеральские эполеты, Жангир-хан вернулся в свою ставку. Стояла весна 1826 года. Холмы и долины, степи и пески от Едиля до Жайка были покрыты зеленью. Близилось лето. После тоя в честь прибытия, на который собрались все влиятельные султаны и старшины, Жангир сразу же отдал приказ о строительстве дворца в урочище Жаскус, в центре Нарынкумов.

Тысячи жатаков были согнаны в урочище. Караваны верблюдов, конные обозы доставляли в Жаскус лес и мрамор. Пятьсот туленгутов неусыпно следили за строителями. Жангир сам участвовал в создании новой гвардии для охраны, для сбора скота, денег, хлеба... В каждый отряд входили казаки и солдаты, взятые в линейных крепостях с помощью генерал-губернатора. Взамен их Жангир посылал жигитов, насильно увезенных из дому...

Из Петербурга от имени царя в дар для украшения дворца в Орде и тронного зала хана было прислано тридцать пять тысяч рублей. Но это был очень маленький дар, лишь знак внимания и милости царя, если учесть, что только один парадный выход красавицы Фатимы, ее казахский национальный костюм, усыпанный бриллиантами, стоил сто пятьдесят тысяч рублей.

Переход ханской семьи из шатра во дворец завершился грандиозным пиром. Но на этом празднике среди гостей уже не было султана Каипгали Есимова.

Он счел себя обделенным и царем Николаем, и ханом Жангиром. Ведь он был равным претендентом на ханский престол и считал оскорблением для себя столь долго находиться в свите Жангира на правах обыкновенного султана... Жангир не обращал на него внимания, он даже не дал ему титула старшего султана-правителя. Хан окружал себя сынками степных богачей, часто приглашал гостей из Оренбурга, перед которыми мог щегольнуть своим знанием языков, любил рассказы об Иване Грозном и без конца вспоминал о том, как много медресе и мавзолеев построил в Ташкенте хан Барак...

В своих владениях Жангир установил порядки русского царя. Увеличилось число налогов: зякет, согым — для ханского стола, налог для содержания дружины, армии и гостей; налог для царских генералов, вестовых, есаулов, налог для султанов и для духовенства. Каждая из пятнадцати тысяч семей, живущих вблизи ханской ставки, должна была платить Жангиру ежемесячную дань. А кто не мог выдержать такого

побора, тот лишался крова и жизни. Те же, кто так или иначе мог причислить себя к родственникам Жангира, перебирались в урочище Жаскус, и вскоре вокруг Орды, где находился дворец, появился целый город.

Избалованный славой, убаженный ласками Фатимы, Махамбет после приезда из Петербурга по-прежнему не вникал в дела хана, пока не был однажды приглашен в ставку старшина Исатай. Хан решил выдать ему Дарханную грамоту, но Исатай не принял ее.

— Я из рода бершей, хан Жангир, и не хочу, чтоб твоя грамота стала щитом между мной и моим родом, причисленным тобою к черни.

— От того, что ты не взял грамоту, ничего не изменится, Исатай-ага. От счастья не бегут, руку дающего не бьют, — заметил Махамбет, когда Исатай покидал дворец. — От того, что возьмешь грамоту, ты не перестанешь быть главою рода бершей, к которому принадлежу и я.

— Ты прав, Махамбет. Но речь не обо мне. Ты живешь в саду, возвращенном рабами, ты пьешь вино, купленное ханом на деньги, отнятые у народа. По Дарханным грамотам Жангира баи, султаны, бии и ходжи отняли пастбища бедных. Разорены аулы, люди лишены земли и крова. Пастбища по берегу Каспия от устья Едиля до устья Жаика отданы канцлеру Безбородко и графу Юсупову. Войсковые атаманы делят наши земли, как тушу убитой овцы, жирные куски — для генералов, офицеров, султанов, ходжей и хана, а народу — обглоданные кости. Отобраны посевы и пастбища. Жангир разделил казахов на чернь и ак-суек. Ты тоже давно уже принадлежишь к ак-суеку, хотя и являешься сыном Отемиса. Так пой же славу Жангиру под вздохи своего народа...

Слова Исатая звучали как удары хлыста. Махамбет то бледнел, то краснел. Его впервые так осуждали, и осуждал Исатай, которого он любил, которому поклонялся, как смелому и честному батыру.

Слышал Исатая и старший брат Махамбета — визирь хана Бекмухамбет, стоявший в окружении слуг.

— Эй, Исатай, ты стал слишком дерзок, и язык твой подобен языку змеи. Сегодня ты гость. Потому отпускаем с миром. Но рука владыки может достать тебя в любом углу. Помни об этом и, пользуясь гостеприимством, не отравляй сердце Махамбета. А теперь прочь из пределов дворца.

— Я исполняю твой приказ, Бекмухамбет. Но будет страшен тот день, когда мы встретимся в поле, — ответил Исатай. — Никто не властен над тобой, — сказал Исатай, прощаясь с Махамбетом. — Этот сад тенист, но правда и то, что там, где пчела собирает мед, — змея берет и свой яд...

Слова Исатая отняли у него спокойствие. Он вспоминал о них за столом во время пиршеств и во время охоты на

волков и лисиц. Он больше не мог, как прежде, беззаботно предаваться наслаждениям, не мог видеть склоненные перед ханом головы, его бесила угрюмость и подавленность слуг. Он дрожал от одного вида откормленных есаулов и тосковал о родном ауле. А тут еще братья приглашали в гости. Они напомнили о том, что еще в детстве отец сосватал за него Макбал и заветы отца должны быть исполнены.

Не предупредив хана, он через три месяца после прибытия из Петербурга поехал в свой аул вместе с сотником Жантасом. Муса встретил их за двадцать верст от дома и до самого аула скакал впереди, созывая гостей, объявляя всем о приезде Махамбета.

В первый же день Махамбет увидел Макбал, вместе с которой провел детство. Она стала едва ли не самой красивой девушкой в ауле. Вечером он снова встретил ее у качелей возле костра. Она сидела в кругу подруг и играла на жетышеке¹. При свете пламени девушка казалась похожей на царевну из степных сказок. Лицо ее пылало, в глазах светилась радость. А голос? Голос звенел, и песня звучала призывно. Махамбет знал, что она поет для него, что она ждала его и сегодня поет о счастье своем.

На следующий день он любовался, глядя, как она мчится на тулпаре. Ни один жигит не мог догнать ее и сорвать поцелуй.

Друзья намекнули Махамбету, что многие жигиты мечтают о ней. Богачи слали сватов, но не решались взять ее силой. Да и сама Макбал осталась верной Махамбету...

Был свадебный той. Почти из всех аулов рода бершей съехались гости на свадьбу, но не было среди них Исатая.

— Он снялся с места и ушел в степь. Неизвестно, где все они теперь, — сказал гонец. — Возможно, в тугаях озер или в песках Нарына.

Не успели люди разъехаться после семидневной свадьбы, как прискакал вестовой от хана. Жангир требовал возвращения Махамбета.

Поэт выехал в Жаскус вместе с Макбал. Во время торжественного совета султана и биев Жангир объявил Махамбета наставником и воспитателем наследника трона — своего сына Зулкарная и приказал сопроводить его в Оренбург на учебу. Пришлось отправить Макбал в аул и ехать в город.

...В Оренбурге Махамбет жил в доме отца ханши Фатимы муфтия Мухамеджана, чье влияние на Жангира когда-то было столь же велико, как и на его предшественника хана Шигая, управлявшего Внутренней ордой после смерти Букея до совершеннолетия самого Жангира. Это по его совету в Орде создавалась привилегированная каста ходжей и мулл, строились мечети и увеличивались налоги во имя аллаха.

¹ Музыкальный инструмент типа арфы.

Когда-то Мухамеджан был офицером русской армии, царским разведчиком в Кабуле, затем, пользуясь своими связями в Петербурге, переехал в Оренбург, стал другом губернатора. Его почитали мусульмане как защитника веры, и он сам возвел себя в сан муфтия, совершив хадж в Мекку. Умер Мухамеджан год назад, когда Жангир собирался к царю. Но его огромный дом сохранился в прежнем виде, слуг и лакеев тоже не убавилось. Об этом заботилась Фатима.

У Зулкарная в этом доме оказалось немало наставников и пииск. Так что Махамбет мог на целые дни уезжать на охоту или вместе с жигитами уходить на плац, где муштровали солдат. Офицеры относились к нему с подчеркнутой вежливостью, как к посланцу хана. Его ловкость и бесстрашие при фехтовании вызывали восхищение. А после того как он отличился своей меткостью на стрельбище, офицеры пригласили его в свою компанию. Среди них он нашел себе друзей и перестал интересоваться делами своего подопечного.

— Ну, как твой принц? Будет учиться военному делу? — спросил его однажды поручик Шустиков, с которым он успел сойтись ближе, чем с другими.

— Воля литейщика — с какой стороны ушко к котлу отлить, — ответил Махамбет.

— Это вроде русской пословицы — «каждый на свой аршин мерит», что ли?

— Скорее можно перевести как — «вольному воля».

— Ну, а где же твой принц сейчас?

— В доме муфтия почивает.

— Правда ль, что поминки по муфтию готовят такие, чтоб кайсаки о них говорили как о поминках батыра Срыма, которые устроил Младший жуз спустя два года после его смерти?

— Здесь как раз уместен ответ: «Каждый на свой аршин мерит». Срыма любил народ как своего защитника, а муфтия ненавидел. И поминать его будут лишь ходжи да имамы, — ответил Махамбет.

— Каждый свят по-своему. Знал я его, муфтия-то вашего. А наивернейшим другом его был Ермолаев, что при князе Волконском служил. Таким же кровососом был, что муфтий при хане. Да не повезло ему — под военный суд угодил. А вашего муфтия аллах прибрал. Что ни говори, а справедливость все-таки есть.

— А царь Николай тоже решил справедливо, когда повесил офицеров? — с нарочитой наивностью спросил Махамбет.

— Слова твои мятежны, акын! — насторожился Шустиков. Потом улынулся и, тоже стараясь казаться простаком, ответил: — Его превосходительство бывший наш генерал-губернатор князь Григорий Волконский любил говаривать: «Все во власти бога». А человек он был добрый. Лично ездил по казармам смотреть, как солдаты берут на караул. И очень

огорчался, если никто не был бит шпицрутенами. Его превосходительство очень любил смотреть, как водят солдат через строй и бьют шомполами, а особенно мужика или вашего киргиз-кайсака. Сам он никогда не наказывал, только смотрел.

Махамбет молчал.

— А ты слышал стихи о декабристах? — вдруг спросил Шустиков.

— Кто такие декабристы?

— Ну, те офицеры, о которых ты сам только что сказал. Те, что восстали против царя Николая. Ты же сам был в Петербурге тогда...

— Я не был на площади. Лишь слышал, как стреляли пушки, — ответил Махамбет.

— В полках своих те офицеры, вопреки указу государя, отменили наказание солдат шпицрутенами. А его степенство твой хан Жангир, говорят, ввел сейчас шпицрутены даже для своих туленгутов. Правда ли это?

— У нас нет шомполов!

— Я видел жигитов, исхлестанных плетью лучше, чем шпицрутенами. Их продали здесь, на Оренбургском базаре, — сказал Шустиков.

— Кто продал?!

— Есаулы его величества хана.

— Кому?

— Не все ль равно? Каждый вправе купить. На это есть указ. Князь Григорий Волконский еще в 1806 году ходатайствовал об этом перед министерством внутренних дел. А граф Потоцкий добился, чтобы помещик или купец, купивший кайсака, имел над ним такое же право, как и над своими крепостными. Ну, мог бы обменивать его, к примеру, на собаку. Он требовал даже поощрения для тех, кто покупал детей кайсаков.

— Казахи не продают своих детей. Торгуют лишь пленными! — ответил Махамбет. Но он знал, что Шустиков говорил правду. Не злорадством и издевкой, а сочувствием звучали слова поручика. В них был намек на жестокость и своеволие Жангира.

— Никто по своей воле не продаст свое дитя, Махамбет. Торгуют детьми, лишившимися отцов и матерей. Их вылавливают в степи, собирают в голодных аулах. Я знаю это по спискам... Безземельные пастухи переходят к нам, за Яик. Казаки гонят их обратно. С голоду вымирают целые аулы. Оставшиеся в живых продают детей-сироток, зная, что для младенцев — это лучший исход. Останутся живы...

Шустиков был беспощадно откровенен. Махамбет молчал. Споры, гнев здесь были ни к чему. Он слушал и пил, стараясь утопить свой гнев в вине. Строка за строкой вспомнились стихи Ахтамберды, которые он слышал когда-то от старого акына:

Когда же настанет пора
Ретивых коней взнуздать,
Застежки кольчуг подтянуть
И, панцирем грудь заслонив,
Копье вдогонку врагу послать?!

Он не пьянел. Чем больше пил, тем трезвей становились мысли. Он вспомнил о письме Исатая, которое получил в то утро. Исатай писал: «Поэты — баловни народа. Но если они недостойны его любви и надежд, то будут прокляты. Так повелось в степи. Никто из поэтов-дружинников — ни Казтуган, ни Шалкииз и Жиёмбет, ни Таттикара, ни Бухар-жырау — не оставались слагателями од для ханов». Письмо взволновало его, перед глазами вновь и вновь вставала последняя встреча с Исатаем.

Махамбету хотелось побыть одному, хотелось уединения...

Он сидел в саду за домом муфтия, когда один из султанов-правителей, прибывших в Оренбург, нашел его и выразил от имени хана недовольство и гнев по поводу того, что он мало уделяет внимания наследнику трона и ведет себя вольно. Махамбет громко, в присутствии свиты изругал султана и снова пошел в дом Шустикова. Там он услышал, что противник Жангир-хана, султан Каипгали Есимов, поднял мятеж. Донесение об этом поступило в канцелярию генерал-губернатора сегодня.

Вернувшись в дом муфтия, Махамбет приказал жигитам седлать коней.

...Возвращаясь тогда в Орду, он еще не знал, что предпримет дальше. Ясно было одно — он навсегда покинет ставший ненавистным ему ханский двор.

На степных дорогах, так же как и теперь вдоль берегов Джейхуна, попадались бедные кочевья. Одни стремились за Жаик, другие обратно. Потеряв землю, потеряв свои пастбища, аулы скитались в поисках тихого уголка. Богачи гнали их от берегов рек и речек, озер и болот — все принадлежало баям, султанам, людям из ханского рода, владевшим Дарханскими грамотами. У жатаков отбирали коней, верблюдов, последнюю овцу. Дружинники хана — туленгуты, есаулы и казаки из линейных крепостей — уводили кормильцев и бесчестили девушек. Нищие аулы, сторонясь больших дорог, уходили в глубь песков, чтоб не быть на глазах у карателей...

Махамбет не останавливался возле кочевий. Никого ни о чем не спрашивая, ехал он, погруженный в свои мысли.

После двухдневного пути Махамбет и его друзья добрались до перевалочного дома Яицкой крепости, сменили коней и поехали дальше по прямой дороге, ведущей в Орду. В лесу им встретился маленький аул шектинцев, остановившийся на привал у воды. Заметив всадников, оборванные,

босые дети бросились к телегам, женщины поспешно начали тушить костры и собирать пожитки, выючить верблюдов. Мужчины настороженно сгрудились в одном месте.

— Откуда и куда направились? — спросил Махамбет.

— Мы еще весной двинулись в путь. Долина, в которой мы жили, приглянулась какому-то атаману. А где мы очаг свой построим, лишь одному аллаху известно, господин, — сказал старик. — Ходим по кругу, как заарканенные лошади. Дошли было до Едила, дальше не пускают — царская земля. Дошли до Жаика, тоже дальше не пускают — земля своих казахов, но разделенная крепостями. Границу, говорят, нельзя переезжать. Остановимся — прогоняют: чужая земля... Едем в песок — это наш последний путь. У нас не осталось ни еды, ни скота. Двух стариков и нескольких детей схоронили в дороге, мирза. И сейчас у нас не осталось достойного для вас угощения. Смилуйтесь, не осуждайте... — Глава аула, тощий старичок с перекошенным от шрама лицом, упал на колени перед конем Махамбета. Заплакали дети.

Это было страшно. Люди боялись, что их накажут за вынужденное негостеприимство. Они жили в вечном страхе. Любый всадник для них был вестником несчастий. Они боялись встреч на дорогах...

Махамбет начал избегать кочевий, он объезжал их стороной.

В Орду попали через несколько дней после выезда из Оренбурга.

— Быстро мы добрались, мчались, как гонцы с поля битвы, — сказал один из друзей Махамбета, когда из-за песчаных холмов неожиданно показалось урочище Жаскус и легло у их ног. — Такой длинный путь одолели. Считаю, что от самых берегов Жаика до берегов Едила...

Вид с высоты перед спуском в урочище был великолепен.

В широкой зеленой долине, окаймленной золотистыми барханами, как на сказочном ковре, были рассеяны родники и речки, хлебные поля, пламенели языки делянок, засеянных просом, зеленели рощи и луга, тут и там были рассыпаны аулы, бродил скот... Но ближе всего к путникам стояла крепость. У ее стен завязывался узел всех дорог. В этом узле было спрятано начало и той тропинки, которая ведет в аул Махамбета. Оно, это урочище, воплотило в себе все миражи пустыни и видения степи.

Глубокий ров у крепостных стен издали не заметен, да и зеленые стены слились с красками долины. Выделяется лишь сам дворец. Огромное красное парадное крыльцо имело шесть колонн из белого мрамора. Дворец был высок и величествен. По обеим сторонам его стояли особняки ханских родственников. За ними полукругом — дома слуг и стражи,

дальше сады, еще стены, а за ними каземат и зинданы, где томились пленники и властвовал палач...

Когда копыта коней ступили на мягкую зелень Жаскуса, из ближней березовой рожицы вылетела стая птиц. За нею гнался ястреб.

— Как жаль, что нет колчана со стрелами! — огорчился молодой оруженосец.

— Это твое спасение, а то стал бы посмешищем. Тебе ль из лука в сокола стрелять?! — пошутил другой.

Где-то ястреб, ястреб есть такой,
Что, касаясь крыльями луны,
Вьет гнездо на ветках у сосны
Иль в прохладной зелени берез.
Так и я, свободный, молодой,
Веря в жизнь, любимый всеми, рос.

В этот край нас предки привели.
Лучшей, видно, не нашли земли —
Пусть она тревожит их покой...

Голос юного оруженосца был звонок и чист. Он вспоминал стихи Махамбета, читал их вдохновенно. Махамбету нравилось его чтение.

— Уа, кай! Давай еще! Со стихами и песней въедем в Жаскус! — встрепенулись жигиты. И кони заржали, заторопились, предчувствуя близкий отдых.

— Попросим Махамбета, пусть прочтет нам новые стихи! В честь окончания пути! — не унимались друзья.

— Разве жигит знает, где кончается его путь? — спросил Махамбет. Оглядев друзей, он устремил свой взгляд в зеленую даль Жаскуса.

Где-то озеро, озеро есть под луной,
Не доскачет туда и тулпар вороной!
В глубине его сахар и мед сокрыт,
Лебедь сладость почует — и прочь не летит!

Он сделал паузу и раздумчиво продолжал:

...Средь простых бывает простолюдин —
Ханский сын не сравнится с ним ни один.
В нашей жизни случается день иной,
Что, как долгий месяц, пройдет над тобой...
Этих слов моих не понять никому,
Кроме тех, кто призыву вял моему,
Кто со мною мыслью живет одной...

Жигиты переглянулись. Поэт говорил загадками. Но на встречу, опережая друг друга, уже неслись всадники.

— Что стряслось? К добру ли жигиты разгулялись? Эй, что тут за байга? — окликнул их Махамбет.

— Завтра байга, завтра джигитовка на быстроту и смелость! — ответил рослый юноша, осадив коня. — Здравствуйте, акын-ага! Счастливого возвращения.

— Как зовут тебя, брат? — спросил Махамбет.

— Я Кумар, сын батыра Нарынбая из рода жаппас. Мой отец не раз в единоборстве побеждал тигров. А я в сотне Жантаса. Жантас скучает по вас, ждет. Завтра наша сотня соревнуется с сотней из рода маскар. Черный пот сгоняем с коней. Застоялись кони, вот и гоняем. Выстоят ночь и завтра будут злы и неистовы, как голодные волки. Легкость прибавится в ногах...

— А те кто? — спросил Махамбет, указывая на караван без груза, удаляющийся от крепости.

— Голодранцы из рода шомекей. Привозили долги хану, а для нас — конюхов и слуг. Их аксакалы остались. Они с прощением к хану. А сам хан на охоте.

— ...Хорошенько за ним присмотри, отдохнет — накорми, напои. Завтра к обеду он должен быть готов в дорогу! — наказал Махамбет, передавая своего коня Кумару.

— Не успел приехать — снова собрался. Куда спешишь? — Рядом стоял Жантас.

— В аул.

— А-а... понял. К Макбал спешишь. Лучше бы за ней повозку послал.

— Я больше не вернусь в Жаскус, — ответил Махамбет.

— Не понял тебя, Махамбет.

— Хочешь все знать — приглашай в гости...

В дом Жантаса собрались жигиты, чтобы приветствовать поэта. Расстались поздно. Махамбет так и не сказал Жантасу о причине отъезда. Да и говорить было не о чем. Он сам не знал, что ждет его впереди.

— Ты мрачен, Махамбет. Что стряслось в Оренбурге? Иль тебе вновь захотелось в ханские покои? Так я готов исполнить твою просьбу — снова стоять на часах. Фатима небось ждет, — с хитрецей проговорил Жантас, провожая его.

— Ты весел, как всегда. Но пусть лучше она не узнает о моем возвращении...

— Поди, уже узнала. Она всегда начеку. Ты вернулся против воли хана?

— Да.

— Где его отпрыск?

— В Оренбурге.

— Зачем же ты вернулся сюда?

— Чтоб проститься с тобой...

— Разве тебе плохо здесь, под кровом хана?

— У меня есть свой кров.

— Но будет ли лучше?

— Будет свободней.

— Свобода — это раздольная жизнь. Ты здесь вольнее всех нас. Твое слово — на устах и слуг, и султанов, баи бьют тебе

поклоны, женщины вздыхают по тебе. Не хочешь ли ты пойти по следам султана Каипгали? Кстати, мы готовим войска, чтобы схватить его.

— Прощай! — перебил его Махамбет.

...В двух верстах от крепости на маленькой сопке, возвышающейся на краю площади, под шелковым шатром, на походном кожаном стуле, изготовленном не столько для дальних походов, сколько по капризу Фатимы, восседал Жангир. А сама Фатима сидела в шатре в окружении девушек. Длинный халат из кашмирского шелка накинут был на плечи хана поверх рубахи из тончайшего торгына¹. И халат и рубашка сверкали на солнце. Все застежки были украшены дорогими камнями. Из-под расшитых разрезов ханских брюк виднелись острые носки мягких сапожек. А сабля из Дамаска и генеральский мундир из Петербурга лежали рядом, на подушке... Телохранители и слуги готовы были по первому знаку подать их своему повелителю.

Жангир отдыхал. Ночью он вернулся с охоты и сегодня хотел полюбоваться удалью своих отборных дружинников. Стоялись друг друга, стояли молодые султаны и богачи из племени байулы.

Возле знатных старшин, находившихся в этот день в Орде, были и прославленные воины: старый Нарынбай — бывший солдат русской армии, кавалер медали за взятие Парижа, рядом с ним — герой Бородинского сражения аксакал Алдияр из далекого аула Жидели, некогда лихой жигит Аким, получивший награду за храбрость из рук самого Кутузова. Аким и здесь командовал сотней солдат, переданных хану генерал-губернатором. Нарынбай и Алдияр были вызваны ханом для показа генералу Эссену, сменившему вышедшего в отставку князя Волконского. Новый генерал-губернатор должен был прибыть сюда, в гости к хану, лишь завтра. А сегодня была репетиция джигитовки...

В зеленой долине выстраивались жигиты. У подножия холма, поглядывая по сторонам, но не теряя своего достоинства и стараясь казаться независимыми, стояли аксакалы из бедных аулов рода шомекей.

— Передай этим заступникам: они останутся здесь, пока их аулы не пригонят всех овец и коней, положенных по указу! — сказал хан своему глашатаю. — А пока взять под стражу!..

— Все готово к сабельному бою, повелитель! Туленгуты будут биться, — доложил Жантас хану. — А затем наша сотня сразится с маскарями...

Хан не ответил. К шатру подъезжал Махамбет. Жангир был разгневан своеволием поэта. Сегодня утром он узнал,

что Махамбет прискакал из Оренбурга и собрался ехать в свой аул. Хан приказал задержать его и привести к себе. Махамбет был единственным человеком, с которым он не решился обращаться, как с другими. Сора с поэтами не прибавляла славы. Но сегодня чаша гнева переполнилась. Махамбет вернулся из Оренбурга, оставив без присмотра юного Зулкарная. Он ведет себя слишком вольно, как равный...

Поэт остановил коня у подножия сопки. С почтением поклонился аксакалам из рода шомекей.

— Я готов выслушать тебя, Жангир! — прозвучал его голос.

— Не вижу с тобой твоего господина, наследника трона, — сдерживая гнев, сказал хан.

— Он остался в Оренбурге.

— А ты почему здесь?! Иль ты, слуга принца, возомнил себя могущественней султанов? — Жангир указал на свою свиту. — Знай свое место, Махамбет! Доброта моя не беспредельна. Марш назад в Оренбург! Так повелеваю я, хан Жангир!

— Ты не хан надо мною, Жангир! — прозвенел голос Махамбета.

Кругом все стихло. Фатима вышла из шатра и встала на пороге. Солнце заиграло на ее одежде. Строй жигитов застыл, насторожились султаны. Ошеломленный Жангир не мог произнести ни слова.

— Ты проклят народом, Жангир! — Голос Махамбета звучал над долиной. Слова, долго теснившиеся в груди, сами собой, легко, неудержимо рвались на волю. — Ты равняешь меня со своими султанами, Жангир, — сказал он. — Так ответь мне:

Кто полезней стране родной:
Белокостных сорок щенков
Иль один народный герой,
Что, напав на наших врагов,
В наше дело сумеет внесть
Справедливость, храбрость и честь?!

— Придержи язык, иначе он будет отрублен! — опомнился и вскричал хан. — Кого ты называешь врагом?!

— Тебя, Жангир! — ответил Махамбет и указал на посланцев рода шомекей. — Освободи их, если ты хан. Казахи никогда не брали в залог аксакалов.

— Он прав. Можно отрубить голову, но нельзя отрезать язык. Правдивому слову всегда поклоняются. Отпусти стариков, мой повелитель!.. — неторопливым басом прогремел Нарынбай.

— Эй, жигиты! Подайте коней аксакалам! — весело крикнул Махамбет конюхам, державшим запасных коней.

Те растерялись. Неожиданно осмелевшие шомекеевцы бросились к коням, их повел коренастый старик. Он мигом взобрался на коня.

— Стойте! — загремел Жангир, поднимаясь с места, в руках у него сверкала позолоченная булава.

— Эй, Жангир! — обратился к нему предводитель шомекеевцев. — Успокойся. Ты хоть сейчас можешь отрубить мой детородный член. Но аллах свидетель: прав Махамбет!

— Батыр Аким, где твоя сотня? Связать их всех! Наказать плетьюми! — Булава хана указала на Махамбета.

Махамбет поднял коня на дыбы и, обращаясь к старикам, крикнул:

— В дорогу, аксакалы!

Шомекеевцы погнались коней. Сотня Акима бросилась за ним.

— Жигиты, за мной! — Жантас со своей сотней окружил Махамбета и поскакал вместе с ним.

Махамбет вырвался вперед и повел их вслед за солдатами есаула Акима. Солдаты схватились за ружья, на скаку взвонили курки.

— Остановить! Остановить! — командовал Аким, очутившийся среди жигитов Жантаса. Он с трудом вывел своих солдат из конного потока.

Старики шомекеевцы, перескочив через рвы и арыки, пройдя пшеничное поле и луга, уходили все дальше. Вслед за ними к барханам, растянувшись по степи, мчались дружба Махамбета...

Жангир был взбешен. В тот же день он выехал навстречу генерал-губернатору, а на следующее утро, сразу же после приветствий, доложил Эссену, что «вор, предатель и смутьян» Махамбет бежал и увел с собой сотню жигитов. Он тут же попросил генерала дать ему отряд для усиления охраны крепости.

Остерегаясь бунта в своих войсках, Жангир-хан выслал казахские сотни в русские линейные укрепления, получил в обмен солдат и казаков из карательных отрядов и создал смешанные сотни из туленгутов и карателей. Отдельные части Жангир бросил на помощь султанам-правителям.

Весть о том, что поэт Махамбет открыто выступил против Жангира, всколыхнула аулы. Один аул за другим выходили из-под власти султанов и хана. Мятежники искали вожда. Им нужен был человек, который смог бы провести их сквозь царские кордоны и крепости за Жаик, к родственникам из Младшего жуза, в бескрайние степи Сарыарки, подальше от глаз царских карателей и зякетчиков Жангир-хана. И такой человек, казалось, нашелся.

Сын Есима — султан Каипгали объявил себя спасителем и защитником всех тех, кто обижен Жангиром. Он обещал увести народ на восток, за Жаик, и там, на бескрайних просторах Сарыарки, с согласия ханов Младшего и Среднего

жузов, создать новое ханство, где не будет преград для кочевий.

Обозленные старшины родов тана, шеркеш, шомекей, шекты, обездоленные аулы маскаров и кетинцев, беглецы из шести родов: кердери, толеу, жагалбайлы, табын, тама и керей — потянулись к нему. Но большинство родов Букеевской орды, чьи султаны и баи пользовались покровительством Жангира, все еще выжидали.

Ждали и аулы, которые совсем недавно были соучастниками походов мятежного султана Каратая. Они в побоищах потеряли своих сыновей, лишились скота и жили под надзором царских жандармов и ханских соглядатаев. Почти пятнадцать лет они были вместе с Каратаем. Выполняя его волю, закрыли дороги купеческим караванам Индии, Ирана, Бухары и Афганистана в Россию. Всеми дорогами владели они и были неуловимы для царских войск. Меч и лук противопоставили они пушкам, веря словам Каратая. А Каратай, не добившись ханского трона, отдал их на расправу карателям.

— Ворона не станет орлом, так и султан не станет защитником народа, — говорили они. — Пусть Кайбала сначала покажет, на что он способен, и мы решим — идти ли с ним?..

Не торопились и аулы рода бершей. Они ждали, что скажет Исатай — самый спокойный и мудрый из всех старшин, испытавший ханские цепи и царскую тюрьму за свое заступничество за бедных соплеменников. Но Исатай молчал.

Когда Махамбет, вырвавшись из рук Жангира, решил попасть к нему, то не нашел его, — Исатай увел свой аул в глубь песков. Он был осторожен с тех пор, как трижды поссорился с ханом.

Махамбет простился с жигитами, вставшими на его защиту. Разъехались и аксакалы из рода шомекей. Вместе с поэтом остались Жантас да десяток верных друзей.

Они направились в родной аул Махамбета. Братья поэта оказали ему достойную встречу. Радостно сияли глаза Макбаа. Но слухи о том, что в степь выслан отряд для поимки поэта-беглеца, вселяли тревогу в каждого. Братья готовили коней, оттачивали сабли и пики, примеряли кольчуги, чистили фитильные ружья. А сам Махамбет решил отвести все удары от родных и попросил старейшин тайно увести аул в глухие пески.

Темной ночью к поэту привели гонца от султана Каипгами.

«Я приветствую брата, — говорилось в послании Каипгами. — На устах всех аулов Младшего жуза твои слова, сказанные Жангир-хану. Я поднял меч против него. Со мною султаны и бии — враги Жангира. Мой шатер — твой шатер, мои сарбазы — твои сарбазы. Я протягиваю тебе руку, непревзойденный поэт и бесстрашный батыр бершева рода... Мне известно, что Жангир приказал своему гончому псу султану Баймагамбету схватить тебя и на цепь посадить. Отряд Бай-

магамбета движется к тебе. Защиту ты найдешь только у меня...»

Махамбет оставил послание без ответа. Собрав жигитов, он выехал навстречу Баймагамбету, обошел его и на утренней заре ворвался в стан султана. Перебив охрану, сарбазы разоружили туленгутов, опрокинули шатер султана.

Султан Баймагамбет стоял перед поэтом в одном нижнем одеянии и дрожал от страха. Махамбет отобрал у него саблю и скакуна, угнал всех боевых коней. Отряд султана был опозорен.

На помощь Баймагамбету вышел отряд султана Караул-ходжи. Но Махамбет был неуловим.

Он разослал гонцов по аулам с вестью о том, что отныне он будет отбирать скот у каждого султана и раздавать бедным жатакам. Каждое убийство, каждый грабеж, совершенные людьми султана, не останутся безнаказанными.

Султаны-правители, сам Жангир, а еще больше военный губернатор Оренбургского края генерал Эссен, боясь не столько набегов Махамбета, сколько влияния его бунтарских стихов на умы черни, торопились без шума обезвредить его.

Их беспокоило и то, что Махамбет мог присоединиться к султану Каипгали и тогда выступление мятежников могло обрести еще большую силу. Нужно было не допустить объединения родов, а наоборот, рассорить их, дать повод к братоубийственным походам, барымте, кровной мести...

В отряд Махамбета были направлены лазутчики из числа подкупленных шектинцев, а в аулы шектинцев послали наемных бершцев... Одновременно генерал Эссен через разведку казачьего полковника Донского вел тайные от Жангира переговоры с Каипгали. Полковник сообщил мятежнику, что если тот быстро соберет вокруг себя аулы и попытается перейти Урал, то он, полковник Донской, за определенную мзду пропустит его через кордон на земли Младшего жуза...

Раньше всех был схвачен старый батыр, вождь шектинцев Дастан, который еще в юности водил тысячные отряды жигитов на карателей и заставлял бухарских купцов, торговавших с Россией, платить дань за проезд по землям шектинцев.

Дастана под усиленной стражей отправили в Яицкую крепость, а в распоряжение султана Чингали было послано пятьсот казаков. В тот же день по аулам был распущен слух, что схватить почтенного Дастана помогли бершцы, а посланные генералом Эссеном солдаты спасли его и препроводили в тюрьму для разбирательства прошлых дел батыра.

...На Махамбета тоже навалились ночью, когда он, будучи уверенным, что нет погони, решил на время распустить жигитов по домам и отдохнуть в маленьком бедном ауле жатаков. Так и не успев дотянуться до сабли, он оказался в ру-

ках есаулов Баймагамбета. Только крик Макбал спас Жантаса, спавшего на копне сена за юртой. Но он не смог освободить Махамбета и вынужден был отступить, спасая Макбал и маленького Мусу.

Махамбета увезли в Калмыковскую тюрьму, а по аулам пошел слух, что его выдали шектинцы и адаевцы.

Жангир-хан был доволен. Он увеличил налоги для содержания туленгутов и для подарков атаманам линейных укреплений. Хан Жангир и генерал Эссен потирали руки. Если их предшественники почти пятнадцать лет возились с мятежным султаном Каратаем и даже вынуждены были пойти ему на уступки и слать богатые дары, то они за одну осень намеревались покончить со всей смутой во Внутренней орде. Оставалось выждать, пока вгрызутся друг в друга бершцы и шектинцы, а султан Кайбала соберет и подведет мятежные аулы к Яику.

Но ошибся хан, ошибся и генерал. Род бершей не пошел войной на шектинцев. Их сдержал непокорный и недоступный старшина Исатай. А старому батыру Дастану как-то удалось предупредить своих о том, что не бершцы выдали его. Вдобавок ко всему, знаменитые батыры рода шекты Котыбар и Арыстан, батыр адаевцев Суюнкара назвали Жангир-хана подлецом и предателем народа и объявили, что не признают его ханом. Хану нужно было любой ценой не допустить объединения шектинцев с отрядом Кайбалы. И полки генерала Эссена внезапно напали на мятежные аулы шектинцев.

Пушки против сабель, ружья против пик... Тысяча солдат и казаков у Эссена, а жигитов мало. Они не успели собраться под единое родовое знамя. Опытные прославленные батыры Котыбар и Арыстан, запутав следы, повели за собой уцелевшие аулы подальше, в камыши, в барханы. А сын Котыбара Есет и сын легендарного Срыма Жусуп встали во главе смертников, заслонивших собой подступ к спасенным аулам. Они дрались как львы. Рассыпавшись на малые отряды, они неожиданно налетали на полки Эссена и с остервенением били их, а потом так же быстро уходили в разные стороны. Тут же, словно из-под земли, появлялись другие жигиты и вновь опрокидывали строй солдат. Растерянные туленгуты не могли вести прицельный огонь. Сарбазы на скаку вырывали у них ружья и уносили с собой.

Дважды объединенные полки султанов бросались в погоню, и оба раза повстанцы незаметно, увлекая боем, заводили их то в болото, то в барханы, а однажды прижали к крутому берегу реки.

Султаны слали гонцов за помощью к хану, хан — к генералу Эссену. Весь свой гнев каратели обрушили на аулы. За каждого убитого туленгута или солдата казнили или ссылали на каторгу десятки ни в чем не повинных людей. Дочери шектинцев, не стерпев позора и насилий, накладывали на

себя руки. Только самые сильные из пленных оставались живы после пятисот ударов шпицрутенами. На них надевали кандалы и гнали в Сибирь...

Находясь в тюрьме в Калмыкове, Махамбет узнал, что на берегу Жаика атаман Донсков открыл огонь из орудий по кочевьям, сгрудившимся у брода, чтобы перейти на восточный берег — на свободные земли Среднего жуза. Река была заполнена трупами. А Кайбала, обещавший счастливую жизнь народу на восточном берегу, бежал...

Здесь же, в тюрьме, Махамбет слушал рассказы о подвигах молодых батыров — сыновей Срыма и Котыбара.

Повстанческие отряды росли день ото дня. Старики и молодые шли в них, не разделяясь на племена и роды. Полки генерала Эссена, туленгуты султанов-правителей Баймагамбета, Караул-ходжи, Чингали, самого хана Жангира вынуждены были отступить к крепостям.

Наступил момент, когда все аулы Внутренней орды и Младшего жуза были готовы пойти за молодыми батырами. Но начались осенние дожди, потом пошел снег, наступили морозы, и черная тень джута упала на степь. А к весне в аулах разлилась холера...

Холера пришла и в Калмыково. Казаки паниковали. Однажды в полдень началась драка между солдатами и жандармами, а в это время в крепость ворвался Жантас с сотней жигитов. Махамбет был освобожден, но половина его друзей погибла в перестрелке.

Весну и лето Махамбет провел в родных краях, скрываясь вместе с Макбал. Новые его стихи передавались из уст в уста:

Хан стал злее. Родины, стад
Он лишил тебя, азамат!
Но коль с кличем бросимся в бой,
Тело крепкой покрыв броней,
Вражьей кровью омыв булат,—
Мы не знаем, кто победит!
Не печальтесь, мои друзья!..

Он звал народ к единству, но обескровленные, отчаявшиеся от голода аулы по подсказке своих богачей грызлись за пастбища, которых не хватало. Вспыхнула ссора между шектинцами, шомекеевцами и жагалбайлинцами. Все три рода лишились богатых травю пастбищ: Жангир-хан великодушно передал эти пастбища во владение царских офицеров и казаков.

В одной из схваток глупо погиб славный батыр Котыбар, попытавшийся образумить и примирить шектинцев и жагалбайлинцев. На нем не было кольчуги, он не брал с собою ни щита, ни булавы. Батыр выскочил из юрты в одной рубашке и, сев на неоседланного коня, помчался в пекло боя, чтоб

разнять братьев, убивающих друг друга. Шальная стрела попала в сердце...

Жангир-хан решил пойти на хитрость. Он передал Махамбету свое послание о назначении поэта старшиной рода бершей и пригласил к себе за Дарханной грамотой. Но Махамбет высмеял хана и прогнал гонца. Сборщиков налога из ханской ставки он отстегал плетью. И тогда Жангир объявил Махамбета своим кровным врагом до самой смерти.

Одна трагедия за другой омрачали степи Внутренней орды от Жаика до Едила. Скрываясь от карателей хана Жангира и тайных лазутчиков генерала Эссена, Махамбет еще одну зиму провел в родных краях. Он не мог больше оставаться здесь, навлекая опасность на себя, на братьев своих и друзей.

Тайно ушел он из аула. Лишь одна Макбал видела это. Повзрослевшая, спокойная, молчаливая, она не раз в дни опасности надевала кольчугу, подбирала косы под шлем и, взяв в руки саблю, мчалась по степи рядом, как настоящий воин.

В туманное утро Махамбет с Жантасом на конях переплыли Жаик и переехали границу разделенного надвое Младшего жуза. Но и здесь для них не нашлось спокойного уголка. Да и было разве когда-нибудь затишье на казахской земле?

Здесь с древних времен не обходилось без битв и ссор, без междоусобиц. Объединялись только в дни, когда на их земли посягали полчища иранского шаха или джунгар. И не было врага, которого не смогли бы одолеть казахи. Почти шесть столетий удерживали они великую страну от Каспия до Алтая. Никто не смог одолеть их. И губило казахов только тщеславие собственных ханов, их раздоры. Лишь подкупая ханов и султанов, хитростью натравливая одно племя на другое, можно было одолеть этот народ.

Сыны степей, которых называли то куманами, то татарами, то половцами, то киргиз-кайсаками, не были искушены в коварстве, в политике. Они были храбры на поле боя, но наивны и доверчивы в мирное время.

Во владениях Младшего и Среднего жузов, в Сарыарке и на берегах Арала, от Туркестана до Аулиеаты — всюду рыскали есаулы и туленгуты местных султанов, экспедиции карателей белого царя — шла охота за бунтарями, «туземными разбойниками», а еще за теми, кто остался в живых из двенадцати тысяч жигитов, которые под командованием Тентектёре разбили кокандских беков и затем, расколовшись на мелкие отряды, подняли мечи на баев и царских жандармов. Нет, не было спокойного уголка на казахской земле!

Слежка за Махамбетом шла и здесь, вдали от Жаика, в Среднем жузе. Так же как и в Младшем жузе, был здесь свой хан. И свои султаны натравливали один род на другой, сталкивали одно кочевье с другим. Если в пору единства родов и племен Средний жуз мог диктовать свою волю Хиве и Коканду, то сейчас над ним висел меч Хивы. Быть может,

поэтому после долгих, мучительных скитаний по аулам Приаралья Махамбет уехал в Бухару, затем в Самарканд, а потом, совершив трудный переход, поэт прибыл наконец в эту коварную Хиву, где приобрел себе немало верных друзей, но еще больше врагов — врагов сильных и коварных.

Повсюду на земле побеждала сила. Как и всюду, зло держало свой меч обнаженным...

Впрочем, это уж не мысль Махамбета, а слова Муниса — поэта и мираба Хивы, с которым Махамбет познакомился еще до встречи с Нурбал. Он видел Муниса в саду хана в тот самый день, когда Аллакул первый раз пригласил его во дворец на собрание поэтов. Видел и тогда, когда стража дворца держала его под охраной, а в тронном зале шли переговоры хана с султаном Каипгали.

За два года до приезда Махамбета в Хиву Мунис был придворным поэтом падишаха. Год назад он отличился во время поэтического состязания и победил всех поэтов Бухары. Он прославил владыку Хивы, и падишах сказал:

— Я исполню любое твое желание, поэт! Проси!

— Я потомок мирабов, великий падишах. И хочу остаться мирабом...

— Отныне ты будешь главным мирабом Хивы и поэтом всего Хорезма! — ответил хан.

И с тех пор не только в саду падишаха, но и в доме Муниса собирались поэты и ученые Хивы. Махамбет тоже часто навещал его.

Вот и сегодня после мучительных раздумий о прошлом, возвращаясь с берегов Амударьи, Махамбет решил заглянуть к Мунису...

Махамбет был вспыльчив, он часто спорил. У него не хватало терпения выслушивать других. Своей резкостью он огорчал даже друзей и только в часы одиночества старался обдумать, взвесить все услышанное и увиденное. Размышления переходили в воспоминания о прошлом, а прошлое рождало тоску по родному краю. Обиды, сожаления прошлых дней, гнев и тоска выливались в стихи.

Но сегодня не было стихов — сегодня властвовали лишь боль и тоска. Если утром, после встречи с ханом и побега с базара, он оставался внешне, как всегда, неприступным и гордым, то сейчас выглядел усталым и равнодушным ко всему. Балабек забеспокоился, увидев, как он осунулся за день...

— У тебя не болит голова? — осторожно справился Балабек, когда они приближались к городским воротам. — Ты не привычен к жаре...

Впереди, утопая в пыли, шло стадо коров, глухо тархтели арбы дровосеков да торопились одинокие странники.

— Кони устанут — заменим, а сами отдохнем после смерти, — мрачно ответил Махамбет. — Зря к Дарье помчались.

Здесь реки не такие, как Жаик, и не похожи на Едиль. Не зря арабы зовут ее Джейхуном. Мутная и коварная, как змея. Нужно пойти к палуану...

Палуаном называли мавзолеей Махмуда-Палуана, святого покровителя Хивы. Каждый раз, когда становилось тоскливо или когда хотелось успокоить себя, Махамбет шел к нему. Не потому, что там было потише, чем в городе. Со всей Средней Азии стекался туда бедный люд. Отряхнув дорожную пыль и совершив омовение у колодца, люди вытаскивали из-за пазухи запасную чалму и, оставив обувь — если она была у них — далеко от стен святыни, с трепетом переступали порог мавзолея.

Под звон падающих в жертвенник монет люди тихо молились, прося милостей у праха святого Махмуда, а потом глазели на яркие узоры, на мраморные решетки, загадочные надписи и небесную лазурь только что отстроенного, но уже ставшего святым мавзолея.

Из дальних аулов и ближних кишлаков, рискуя быть ограбленными и убитыми в дороге, шли сюда паломники, чтоб в молитве просить у аллаха прощения за грехи, надеясь на исцеление своих духовных и телесных болезней. В Средней Азии теперь стало три священных обители: гробница поэта Ахмеда на земле казахов в Туркестане, святой колодец в Шахи-зинде в Самарканде и теперь в Хиве — мавзолеей Махмуда, которого имамы называли сыном самого пророка Али. На самом же деле он был отпрыском скорняка и родился у старых ворот Хивы в 1247 году.

С трепетом осматривали паломники вмятины на огромном камне, лежащем перед мавзолеем, считая, что вмятины эти — отпечатки пальцев самого святого Махмуда. Ведь он не просто был святым: никто не мог соперничать с ним в силе. Он мог мять камни, как глину. Но больше всего людей поражали краски, таинство орнаментов и надписей на стенах, на майоликовом куполе, на малахитовой гробнице и мраморных решетках. И хотя святые отцы твердили, что два паломничества к гробнице поэта-раба в Туркестане или три поклонения святому колодцу в Шахи-зинде равны хаджу в Мекку, люди стекались сюда, к новоявленной святыне. Никто из пилигримов не знал, что надписи на новом мавзолее взяты не из сур Корана, как в других местах поклонения, а что это были строки стихов самого Махмуда, написанные на языке персов.

Содержание стихов было известно лишь немногим, но никто не осмеливался прочесть их вслух, ибо поэт Махмуд смеялся над глупостью и алчностью владык, богохульствовал и издевался над богом и его слугами.

Простой змеей до хаджа был ходжа.
А возвратясь, он сделался драконом, —

Легче море переплыть и звезды сосчитать,
Чем слушать болтовню глупца и время убивать...

Это были надписи на куполе. С тех пор Махамбет заинтересовался Махмудом, его стихами.

— У него хватало силы смеяться над палачами, — говорил Мунис. — При жизни его не раз заковывали в цепи в Герате и в Хиве. Каратели шаха охотились за ним, но в Хиве не было человека, который мог бы одолеть его. Славу самого сильного человека он завоевал в Индии, а как поэт прославился в Герате. Века, прошедшие после его смерти, превратили Махмуда в святого. К тому же он возвел Шахид-мазар. Ты видел этот мазар в степи за Хивой. Это гробница погибших в битвах за родину. Он любил свой народ, и народ платил ему тем же. Потому-то сам падишах Мухаммед-Рахим решил пожить за счет его славы. Это по его приказу начали строить мавзолей «святому» поэту и закончили только теперь, при Аллакуле. Довольны все: нищие, паломники, ходжи и муллы. Бедным мусульманам есть во что верить, а имамам и ходжам есть кого обирать — паломники платят сполна...

Махамбет часто встречался с Мунисом в глубине двора за мавзолеем Махмуда, в тени пяти тесно сросшихся друг с другом чинар.

У самых корней чинар синим рубином мерцал прохладный хауз. Двор был всегда чист, полит водой. Толстые стены мавзолея и желтые высокие дувалы надежно охраняли двор от уличного шума. Хозяин двора, встречая Махамбета, отбивал поклоны, вел к айвану у хауза, усаживал на подушки. Над головой висели гроздья винограда. Тишина и прохлада располагали к раздумьям и философским беседам...

Каждый раз, пока Махамбет ждал Муниса, хозяин без слов разрезал для него душистую хорезмскую дыню, подавал шербет и вино. Здесь Махамбет слушал рассказы Муниса-мираба о земле Хорезма, Муниса-поэта о стихах Хафиза и Атаи, Муниса-историка о том, как много батыров и философов похоронено в пантеоне казахов в Туркестане. От него он слышал и о долгой борьбе адаевских жигитов с хивинскими ханами...

Беседы Муниса с Махамбетом длились долго. Им никто не мешал, и здесь не нужно было опасаться соглядатаев Аллакула...

— Пылью покрылась твоя аба, и у коня подтянуты бока. Видать, вы с дороги. С удачей ли вернулись? — приветливо встретил Мунис Махамбета и Балабека.

— Идем с берегов Дарьи, — ответил Махамбет.

— Но где же пленница ваша?..

Махамбет удивленно взглянул на Муниса.

— Девушка из ханского сада, афганка. Утром я проводил тебя с ней из дворца владыки, — улыбнулся Мунис.

Только теперь Махамбет вспомнил о Нурбал.

— Как долог был день. Мне казалось, что с тех пор прошла вечность... — грустно ответил он другу.

— Тяжелым был день для тебя, мой друг. Ну что ж, давайте рассеем горе. Пойдем к истокам песен, — сказал Мунис, когда друзья утолили жажду.

...Балабек увел коней к Туке. Махамбет с Мунисом направились в квартал танцовщиц.

— Есть пословица у казахов: «Не вынимай саблю, если даже стрелой не достать», — откинув края чалмы за спину, сказал Мунис, когда они вышли на узкую безлюдную улицу. Догорала вечерняя заря, и от первых звезд, появившихся в небе, повеяло холодом. Это был признак наступающей осени.

В переулке закрипела арба. Извозчик ринулся навстречу друзьям, предлагая свои услуги, но Мунис дал понять, что возница им не нужен.

— Продолжай, Мунис. Ты не досказал, — попросил Махамбет.

— Иншалла, придет день, когда нужны будут тебе и стрелы и меч. Побереги их и будь властен над гневом своим.

— Чувство гнева не всегда покорно разуму, — ответил Махамбет, поняв наконец, что Мунис знает о его неудачной схватке на рынке рабов.

— Разум предпочтительнее гнева...

— Но подлинные чувства не подвластны человеку, а терпение — удел раба! — ответил Махамбет.

— Мы все рабы, — грустно покачал головой Мунис. — И жизнь для всех — страданье. Блажен лишь он! — Мунис указал на бродягу-дервиша, который, позвякивая кольцами и мурлыча какую-то молитву, терся спиной о глиняный дувал. Лохмотья лежали на земле возле него, и он готовился к ночлегу.

— Мы идем с тобой к истокам песен, к вину и танцам, а он останется в пыли, — ответил Махамбет.

— Но он счастливей нас. Он верит в величие духа. В скитаньях он нашел покой. Одинок, свободен от всего. А ты? Ты веришь в свою свободу? И можешь ли дать ее народу? Был Рудаки, были Хайям, Фирдоуси, но никто из них не поднимал меча... Меч только меч. В одной руке один лишь меч. А владык? Их тысячи, мой друг...

— Слишком почетно для меня твое сравнение, Мунис! Я не Рудаки и не Фирдоуси, а степной карагач. Карагач не покинет степь. Он вечно воюет с безводьем и солнцем, и нет в нем нежности кипариса, растущего у воды. Жизнь моя — сраженье, и смерть я приму на коне. Так что оставь свои назиданья...

— Да, я мираб, мечтающий напоить Хиву и ее сады, а ты поэт других желаний. И стихи твои лишены аромата роз.

Лязг мечей, и топот копыт, и запах полыни в них. Такая поэзия чужда Востоку...

— Восток велик, Мунис. А розы растут лишь при дворцах падишахов. Их расстят рабы, но не рабам они дарят свою красоту. Запахом жусана пропитана вся степь, все дороги рабов и батыров. Найманы и кипчаки, после битвы за Сайрам, Отрар и Сыгнак¹, как побежденные, пополнив тумыны Чингисхана, увозили с собой в чужие края не розы, а прятали в седла пучок жусана. Чтоб на чужбине не забыть аромата родных степей.

— Кончим спор,— перебил его Мунис.— Зачем вспоминать о прошлом, если оно так мрачно. Прочь споры и сомнения! Цель близка...

Они шли по кварталу танцовщиц. У порогов домов горели светильники. Все здесь было на виду, как в торговых рядах. И днем здесь действительно восседали торговцы. Да и сейчас кое-где на жаровнях дымился плов, на циновках громоздились хивинские сладости.

Двери комнат, расположенных вдоль улицы, были раскрыты. В шелковых нарядах, поджав под себя ноги или опершись локтями на подушки, сидели танцовщицы. По углам в ожидании клиентов дремали музыканты.

Дома здесь были двухэтажные. Там и тут, то сверху, то снизу, доносились песни. Изредка по улице проезжала ночная стража, кое-где слуги сторожили коней своих господ...

По узкой и темной круговой лестнице Мунис провел Махамбета на второй этаж в довольно широкую комнату.

Вдоль стен разложены были скатанные подушки, узкая суфа покрыта ковром. Красавица в шароварах из тонкого шелка встретила их ласковым взглядом, и глаза у нее были чистые и влажные, как у верблюжонка.

— Мунис, пришел ты наконец,— она не встала, лишь улыбнулась, и губы ее раскрылись, как цветок миндаля.

— Пришел к тебе я с другом, Гульджан,— ответил Мунис.

— Садитесь, жигиты. А ты, Гульджан, налей вина! — сказала дородная ханум — хозяйка дома.

— Ассалаумагалейкум, достопочтенные купцы Хивы! — Мунис обратился к двум мужам, возлежавшим тут же на подушках в дорогих одеяниях. У их изголовий стоял кувшин с вином и дымилась хука.

— Эй, мираб. Ты перебил ее сказки. Садись скорей да слушай Гульджан! — сказал старший из них.

— Знакомьтесь, поэт казахов Махамбет,— представил Мунис.

¹ Войско Чингисхана, двинувшееся на Запад после падения Отрара, Сыгнака и других городов, в основном составили найманы, кипчаки, тергауты, джалаиры — предки нынешних казахов, которых в те времена называли куманами, половцами, татарами.

Купцы ответили еле заметным кивком.

— Поэты любят песни, так что оставь свои сказки на завтра, дорогая Гульджан! — Купец помоложе бросил к ногам девушки горсть серебряных монет.

Азартная дробь барабана рассыпалась в воздухе. Барабанщик от упоения зажмурил глаза. Зазвенели струны дутара, чанга. Барабан теперь лишь поддерживал такт. Чистая тихая мелодия поплыла над Хивой.

Гульджан поднялась во весь рост. Она была так прекрасна, словно аллах собственноручно создал ее для созерцания. Босые ступни шагнули по монетам. Она взяла кувшин и, изогнувшись, как лоза, наполнила чаши Муниса и Махамбета. Потом надела браслеты с колокольчиками на ноги, грациозным движением откинула косы и медленно пошла по кругу...

— Уа-а-ха! — не удержался молодой купец.

Пока с любовью не увижусь,
Я сгораю, как Зухра...

Голос ее был настолько чист, а музыка столь пленительна, что Махамбет забыл обо всем.

Тонкий звон колокольчиков сливался со звуками чанга, а чанг и дутар вторили песням Гульджан. Комната утонула в волнах этой песни. Махамбет сидел неподвижно, уставившись в одну точку.

Ты все пытаешься проникнуть в тайны света,
В загадку бытия... К чему, мой друг, все это?
Ночей и дней часы беспечно проводи,
Ведь все устроено без твоего совета.

Это проговорил Мунис.

— Эй, философ, замолчи! Когда поют соловьи — молчат вороны! — сказал старый купец.

— Правда твоя, достопочтенный. Поэтому помолчи, — спокойно ответил Мунис.

— Я хочу, чтобы читали стихи, — продолжая танцевать, сказала Гульджан...

Меня философом зовут.
Однако — видит бог — ошибочен их суд.
Ничтожней много я: ведь мне ничто не ясно.
Не ясно даже то, зачем и кто я тут...

— Ты тоже прав, мираб, — расхохотался молодой купец. — Иди своей дорогой. Не место грифам в соколиной стае.

— О аллах, ты слышал?! — Мунис схватился за голову. — Купцы Хивы победили Хайяма. Он сегодня перевернется в могиле...

— Тебя, а не великого Омара оспорил, — не унимался молодой купец.

— Но я читал его стихи...

Гульджан подхватила строки, прочитанные Мунисом, и допела песню до конца...

— Хитрая лиса ты, — сказал купец и швырнул монеты на ковер. — Вот выкуп. Я побежден.

Жест был ясен. Он просил всех молчать об этом разговоре, ибо тот, кто не знал стихов Хайяма или Хафиза, считался невеждой и не смел входить в дома хивинских танцовщиц.

Так же, как и в Персии, сюда могли прийти все — и отцы семейств, и безусые юнцы, но каждый должен был знать: здесь царство песен. И если у тебя нет своих стихов, то знать поэзию ты обязан. Здесь женщины раскрывают чадру, и здесь простор стихам. Отсюда, из таких кварталов, начинается дорога многих великих поэтов, певиц и танцовщиц Востока...

Поэзия и женщины властвуют здесь.

...В новом танце плыла Гульджан. Пустели кувшины с вином, пьяные купцы за каждое прикосновение танцовщицы платили таньгой. Она неслась по кругу плавно, бесшумно...

Махамбет отбросил саблю и распахнул абу. Он видел то своевольную, гордую и страстную ханшу Фатиму, то видел Макбал, которая, убрав свои косы под шлем, мчалась в степи... Его пьянили песня и близость Гульджан:

Сокол царственный, сидящий с лотосом небесным,
Не гнездись в долине гор средь ловушек и силков!
Что с тобою тут случилось? Ведь тебе свистят призывно
С высоты твердыни неба, с золотых ее зубцов...

Махамбет не выдержал:

Я так влюблен, что всем влюбленным огонь дарую,
как свеча.
Сияю всем безумцам праздным сквозь тьму ночную,
как свеча.

Гульджан тут же подхватила:

Мое израненное сердце между водою и огнем.
Поглощена тобою, я томлюсь, тоскую, гасну,
как свеча...

Мунис торопливо включился в поединок:

День для меня темнее ночи, когда не видимся с тобой,
Я таю, таю, убываю — ведь я ревную! —
как свеча...

Махамбет взгляделся в Муниса. От обычного его спокойствия не осталось и следа. Мунис вкладывал в стихи всю свою страсть, свою жажду и любовь к Гульджан. А возбужденный взгляд девушки не останавливался ни на ком, она вся отдавалась песне. Каждый мускул, каждое ее движение было подчинено ритму, словам песни...

— У-а-а-ах! — Обессилевший купец тянулся к ее ногам и плакал от умиления. А другой, что постарше, уже храпел. Рассердившийся Мунис прикрыл его лицо подушкой.

Ханум, хозяйка, незаметно подбирала деньги с пола. Музыканты, замороженные собственной игрой, тихо ахали и

вздыхали вместе с Гульджан. Мунис машинально потянул к себе потухшую хуку, потом отбросил ее прочь. Табак рассыпался.

...Музыка умолкла. Заканчивая танец, Гульджан ловко собрала оставшиеся деньги с пола и бросила хозяйке. Сама она уселась на прежнее место, и лишь глаза ее затуманенно и грустно, с тоскливой болью смотрели на поэтов.

Махамбет сорвал с себя абу и расстелил у ее ног. Мунис бросил к ее ногам тугой мешочек. Гульджан улыбнулась, подняла абу и укрыла ею плечи Махамбета. А мешочек с деньгами вернула Мунису.

— В моих руках купцы Хивы...— Гульджан звонко смеялась.— А поэты — наши братья. Для добрых дел побереги свою казну, Мунис.— Она повернулась к Махамбету: — А ваша аба мне не по плечу, жигит...

Мунис помолчал, потом рывком швырнул мешочек через окно. Вскрикнула хозяйка, музыканты бросились на улицу. Послышались топот и крик на лестнице. Музыканты возвратились обратно, вслед за ними ворвались миршабы.

— Именем падишаха! Оставаться на месте! Мы ищем беглых рабов владыки...— Оглядев всех, миршабы направились в другую комнату. Музыканты вновь рванулись к дверям и лицом к лицу столкнулись с Жантасом.

— Конь заждался тебя, Махамбет,— сказал он без всяких вступлений.

— Ступай, мой друг. Я здесь останусь до утра,— сказал Мунис.

— Не забывайте нас,— помахала рукой Гульджан.

— Балабек передал: по городу облава. Ищут каких-то воров,— объяснил Жантас.— А тебя завтра в камышах у Амударьи ждет Суюнкара...

Жантас был мрачен и чем-то недоволен. Махамбет почувствовал себя виноватым перед ним.

— Ты зря беспокоился, Жантас.

— Жигиты наши ждут дела, а не развлечений, Махамбет!

Поэт не ответил. Жантас был прав.

...Отдав коня Туке, Махамбет рывком открыл дверь и увидел афганку, сидящую у лучины. На ней, как и утром, была чадра. Не открывая лица, она подала ужин.

Он сорвал с нее чадру. Она пугливо отскочила в угол.

— Прости меня, Нурбал, что я тебя обидел.— Он отложил в сторону свою абу, вышел во двор, прошелся. Вернувшись, открыл дверь в спальню и проводил туда Нурбал. Сам уселся в передней.

Ночь он провел без сна. Вспоминался плач женщины на рынке, он видел перед собой лица Гульджан и Нурбал... Уснул лишь к рассвету и тут же проснулся от прикосновения чьих-

то рук. Открыв глаза, увидел над собою лицо Нурбал. Так прошла их первая ночь после тревожного, наполненного событиями и длинного, как вечность, дня.

...Махамбет невольно загляделся на Нурбал. Она спала крепко, по-детски раскинув руки, улыбаясь чему-то во сне...

Махамбет вытащил руку из-под головы Нурбал, тихо встал и прикрыл ее чепаном. Вдруг ему почудилось, что на месте Нурбал лежит Макбал. Он почти физически ощутил запах дыма родной юрты, услышал родной голос, ласково окликнувший его.

«Жигиты наши ждут дела, а не развлечений!»

Так сказал Жантас. Он вышел во двор, плотно закрыл за собою двери. Было еще рано и прохладно. Завидев Махамбета, белогривый конь негромко заржал. Туке еще не было видно во дворе. Махамбет снял кожаное ведро, висевшее на стенке, и, набрав воды из колодца, поднес коню.

— Рано поить, пусть еще поест! — Туке, как всегда, появился неслышно и незаметно. — Все жигиты на ногах. Говорят, что уже надоело спать и обедаться.

По тайному ходу поэт прошел в соседний дом, к друзьям.

...Раздетые по пояс жигиты, умывшись холодной водой, взяли в руки сабли и щиты. Встав попарно, они начали тренировку.

Человеку со стороны могло показаться, что во дворе начинается настоящее сражение. Жигиты с обнаженными клинками яростно бились друг с другом, летели искры, трещали щиты. То один, то другой, защищаясь от ударов «противника», начинал отступать и, улучив миг, снова бросался в атаку.

Один из жигитов взял длинный шест. К концу его было прикреплено кольцо, обтянутое бычьей кожей. Отсчитав сорок шагов, жигит встал и начал размахивать шестом над головой. Лучники били метко. Мишень ошетибилась стрелами.

Потом началась борьба. Выстроившись лицом друг к другу, жигиты по команде Балабека вступили в схватку.

Молниеносным движением хватали один другого и, не дав опомниться, опрокидывали на землю. Но иногда соперник делал обманное движение и, увернувшись, укладывал на лопатки нападающего.

В стороне от всех стоял Ноян. На нем были новые штаны из жаргака — шкуры жеребенка, отороченные серебряными нитками. Махамбет знал, что эти штаны — часть боевого, парадного костюма Жантаса. В них он появлялся на парадах и выступал на скачках в Жаскусе — крепости хана Жангира. А сейчас, видимо, навсегда отдал свой костюм Нояну, только вчера освобожденному из плена. Жантас успел подружиться с ним, и теперь они стояли рядом.

— А ты что? Решил пузо отращивать?! А ну, Ноян, выхо-

ди в круг. Покажи мне, на что ты способен! — весело крикнул Балабек.

Все уставились на новичка. Вчера, когда его привели с базара, он казался худым и слабым. А сейчас, после крепкого сна и хорошего отдыха, выглядел совсем иным. Рослый, мускулистый, красивый.

— Я жду! — потер Балабек руки. Он был широкоплеч и могуч.

— Не бойся, что он старше, клади на обе лопатки. Не обидится. Ведь сила не признает старшинства...

Ноян молча, растопырив руки и пригнув голову, начал приближаться к Балабеку. Взгляд его стал суров и пронзителен. Напружинив мускулы, Балабек внезапно бросился к нему, но не сумел ухватить за локти. Ноян увернулся и, не дав опомниться, обхватил Балабека сзади за поясницу и с размаху бросил на землю.

Каким-то чудом Балабеку удалось уйти от позора, его спина чуть не коснулась земли. С трудом увернувшись от нападающего Нояна, он снова принял боевую позу. Его глаза горели, брови сошлись на переносице, он тяжело дышал и зорко следил за каждым движением Нояна. А тот приближался к Балабеку, как охотник, вышедший на единоборство с медведем. Ни тот, ни другой не слышали подбадривающих, шутивых возгласов друзей...

Махамбет был увлечен зрелищем. То один, то другой брал верх, но ни тот, ни другой не давали уложить себя на лопатки. Жигиты образовали кольцо вокруг борцов.

— Что с тобой, Балабек?! — кричали жигиты. — Не подводи наших!

— Ноян, не поддавайся!

Никто не заметил, как жигит, стоявший на страже, открыл ворота и во двор, в сопровождении десятка телохранителей, на звездолобом саврасом жеребце въехал султан Каипгали.

— Пусть множится ваша сила, жигиты!

Все уставились на султана.

— Разве вы забыли слова приветствия? — спросил Каипгали.

— Сойди с коня и проходи, если пришел с миром, — ответил Жантас.

— Я вижу, вы совсем забыли о почтении к людям... Видимо, тоска по дому вас сделала грубыми. Да, нелегко в чужом краю. Права пословица: чем быть султаном на чужбине, лучше оставаться ултаном в родимом краю.

Каипгали, крикнув, сошел с коня, бросил поводья телохранителю и протянул руку Махамбету.

— Вчера в тронном зале Аллакула твой голос звучал бодрее, — сказал поэт, отвечая на приветствие. — Тебя здесь уже не султаном, а ханом величают. Не пристало хану жаловаться на свою судьбу.

— Пусть он за судьбу сирот и за кровь убитых на Жаике ответит, — не сдержался Жантас. — Собрал, выставил под огонь атамана Донскова, а сам удрал. Теперь лижет пятки Аллакулу...

— Эй, жигит, не ты ли был сотником у Жангира и помогал обирать народ? А я хотел спасти людей, вывести их в вольные степи Сарыарки. Но сила ломит силу. И если тогда меня опозорил и предал атаман Донсков, то это не значит, что ты сегодня должен чесать свой язык. — Каипгали говорил тоном старшего, сквозь зубы. Инкрустированной рукояткой камчи он стяхнул пыль с сафьянового сапога, поправил на плечах голубой, золотом шитый халат. — Если бы не ваше упрямство и гордыня, то мы бы не бродили сегодня по Хиве. Не за себя я обхаживаю Аллакула. Без нитки и игла — не игла. Без оружия, без воинов нам пустая цена. Немало на свете забияк, которым не стать батырами. Лучше подумаем о деле. Молодость и вспыльчивость не советчики в большом деле... Я к тебе, Махамбет! Есть разговор...

— Жигиты, готовьте дастархан, — сказал Махамбет и вместе с султаном вошел в дом.

На чисто выметенном земляном полу стояли вдоль стен нары, застланные рваной кошмой. У изголовья громоздились старые чепаны, кольчуги, шлемы, седла, потники. По седлам можно было сосчитать, сколько здесь живет жигитов.

— Это «дворец» Ибрайбека, — ответил Махамбет на молчаливый вопрос султана. — Он из рода байбак, был в дружине Срыма-батыра и в Хиву явился вместе с ним.

Тут Махамбет вспомнил, что батыр Срым собственноручно убил отца Каипгали хана Есима, а посланцы султана Каратая отравили Срыма здесь, в Хиве. Каратай приходился дядей Каипгали...

— Да, великий Срым был вероломно убит здесь. Он был байбактинцем. Значит, Ибрайбек остался верен делам батыра. Хвала ему и честь. О, сколько славных сынов погибло в межродовой борьбе... Для меня Срым дорог, как и для всех казахов, хотя он и убил моего отца. Как видишь, и я поднял меч против своего кровного брата Жангира... — Султан оправдывался, словно разгадав мысли Махамбета. — Помнишь, мы с тобою были в Петербурге. Там русские офицеры, поднявшие меч против царя, тоже были не из простых семейств... А на что живет Ибрайбек? — спросил вдруг султан, переменяя разговор.

— Кусок земли добыл да десяток верблюдов, — ответил Махамбет. — По сей день ищет тело Срыма. В Туркестан хочет отвести, в великую гробницу.

— Иншалла, я верю, что найдется человек, который поможет ему. Прах Срыма свят для казахов. Великий Абулхаир тоже был отравлен в Хиве... — сказал Каипгали.

— Да, немало ханов было у нас.

— Правда твоя, Махамбет. Не всякий может остаться самим собой и сохранить свою любовь к людям, став владыкой... Власть и слава ослепляют многих. Не каждому дано управлять народом. Вот почему я восстал против Жангира. Видит аллах, как велика моя вера в народ и как безмерно тяжка мне его боль. Мечта моя — увидеть Жангира слугой своим и слить все роды казахов в единое племя, чтобы поэты, подобные тебе, могли расправить крылья...

— Разве на землях наших от Едиля до Алтая когда-нибудь накладывали путы на ноги коню поэта? — перебил султана Махамбет.

В комнату вошли жигиты. Двое из них несли огромный чан, наполненный кымраном. За ним вошли Туке и Ибрайбек.

— Ассалаумагалейкум, Ибрай-ата! — встал навстречу Махамбет. — Где вы были? Знакомьтесь, ата: сын Есим-хана султан Каипгали.

— Вижу. Он уже переступил порог моего дома, так пусть будет гостем, — ответил старик сдержанно. Султан посмотрел на Махамбета.

— Продолжай, — сказал поэт, — у меня нет тайн от друзей.

— Мой зять, падишах Аллакул, дал мне войско в тысячу пятьсот сабель. Каждый из вас будет желанным сардаром над ними...

— Ты и меня в сардары прочишь, султан? — спросил Ибрай-ата, поудобней усаживаясь на нары и наблюдая, как Ноян взял круглый ковш с длинной рукояткой, начал взбалтывать и переливать кымран. Принесли деревянные чаши. Ноян наполнил их.

— А что ты обещал Аллакулу за его нукеров? Или это дар зятя тестю? — кряхтя, осведомился Ибрай.

— Моя дочь оказалась мудрей иных жигитов и пошла за хана Хивы, чтоб помочь своему народу в борьбе с Жангиром. — Султан поднялся. Чуть не опрокинув ногой чашу, стоявшую на краю дастархана, он шагнул к выходу. — Эй, жигиты, не надоело ли вам скитаться?! Настало время испытать мечи! А ты, Махамбет, мог бы усмирить свою гордыню. Кому она нужна?! Иди к Аллакулу, склони голову перед ним и дай клятву, что ты останешься верен ему, и тогда мы сможем начать наш поход в Букеевскую орду, на Жангира. Я все сказал...

Султан вышел. В комнате воцарилась тишина. Было слышно, как Каипгали сел на своего коня и вместе с телохранителями покинул двор.

Махамбет молчал. Ноян вопросительно посматривал на всех. Он еще не знал султана, но что хан Хивы дал Каипгали своих туркмен-нукеров, не предвещало ничего хорошего. С другой стороны, султан говорил о народе, о битве с ханом Жангиром, а жигиты, с которыми он успел подружиться, мечтали о том же...

Махамбет наконец прервал молчание:

— Ну что ж, друзья, может быть, настало время. Вы свободны. Поклон вам за верность. Идите с Кайбалой. А я не могу встать под его знамя. Я не склоню голову перед Аллакулом. Я слышу плач матерей и дочерей степи, плененных им.

— Много раз горячность подводила нас в молодости, когда мы шли за великим Срымом, — тяжело вздохнув, задумчиво сказал Ибрай-ата. — Торопиться не следует. Каипгали не уйдет отсюда без вас, даже если Аллакул даст ему двадцать тысяч нукеров. Ни одно племя, ни один род в Младшем жузе не окажет ему поддержки, если вас не будет с ним. На таких батыров, как Исатай, да на тебя, поэт Махамбет, народ возложил надежды. В наше время трудно заслужить доверие людей, легко потерять... Казахи Хивы и племя табынцев, что под властью Аллакула, не оставят вас, сколько бы вы ни жили здесь. Все, что есть у нас, — это ваше. Живите, не торопитесь. Хорошо подумайте и, решив, не отступайте. Я уже стар, жигиты, но я во всех битвах был рядом с Срымом. Знал и бесстрашного султана Каратая, коварство которого не имело границ. Его посланцы и отравили Срыма. Будьте осторожны. — Ибрай помолчал немного. — Да что с меня взять. Я прожил свое. Я могу лишь давать советы. А помогут ли они, не знаю...

— Мы благодарны вам, Ибрай-ата. Мы обязаны вашим друзьям за хлеб и соль. Но пусть сегодня решают жигиты, — ответил Махамбет.

— А что решать?! Или ты уже хочешь уйти от нас, Махамбет? Мы с тобой связаны одной веревкой, — нахмурился Жантас. — Испытаем султана, услышим, что скажет бог адаевцев Суюнкара, и тогда решим, как быть! Но только следует дожждаться вестей от Исатая. А пока давайте чаши. Такого кымрана вы не найдете и в ханском дворце. Ибрай-ата сам готовил... А ты, Балабек, ты что загрустил? Слова султана пришились по душе? Так иди к нему. У него же вся армия из туркмен, сразу признают за своего.

— А сколько сынов из аула твоего рода служат Жангиру? — сурово прервал его Махамбет. — Или ты забыл наш разговор о коньратах?

— Какие это туркмены? Одни наемники, — огрызнулся Балабек и встал. — Ну, мне пора.

— Ты к Зелили? — встрепенулся Жантас.

— Иншалла, сегодня увижусь с Зелили, — ответил Балабек.

— Пусть удача сопутствует тебе. Будь осторожен, возьми двух жигитов на всякий случай. И знай, мы все с тобой и стоим за Зелили, если надо будет, — напутствовал Махамбет.

Не доверяй любому, жигит!
Тот герой, кто, ветром палим,
Страждет в пути, но коня хранит!

Та лишь стрела надежнее всех,
Что пробивает надежный доспех.

Но таких ты встретишь не раз,
Что среди дня смелы напоказ,
А по ночам их изводит страх...

Стихи рождались внезапно. Нахлынут слова, полетятся строка за строкой, как бывало в юности, в садах Жаскуса, когда он жил, ожидая тайных свиданий с Фатимой, или когда он, как обезумевший от ярости барс, скитался по Нарынкумам вместе с молчаливой, покорной, но смелой и нежной Макбал. Но тогда в каждом слове стиха, в каждой строке была сила. А сейчас все больше проникала в них грусть и тревога. Махамбет старался не повторять теперь свои стихи вслух. Но сегодня он не мог избавиться от них.

Слова Нурбал не давали ему покоя.

«Ты убьешь меня, чтобы я осталась чиста и верна тебе... Это священная смерть!.. В наших горах и у раджутов Индии, если враг насаждает, мужчины, идя на смертный бой, убивают женщин, чтобы они не достались врагам...»

А что, если собрать сейчас всю дружину и ворваться во дворец Аллакула, освободить из плена всех невольниц — девушек степи, омыть свою саблю в ханской крови? Ведь лучше достойно умереть в бою, чем ждать!

...Прошел почти месяц с тех пор, как он узнал Нурбал и стал очевидцем торговли людьми на рынке, до сих пор в ушах звучал голос плачущей женщины. Каждый раз он вспоминал лица бедных, дрожащих от страха девушек. А еще вспоминал Оренбург, слова офицера Шустикова о том, как торгуют детьми казахов в столице генерал-губернатора Эссена. Нет, не Эссена, а Сухэтлена, Сухэтлен заменил Эссена. Теперь говорят, что Сухэтлена заменит некий Гекке или Перовский... Об этом написал в письме Исатай, об этом же говорил при встрече Суюнкара. С ним Махамбет встретился в ту ночь, когда туркмены освободили своего поэта Зелили, подлив отравы в шербет и кымран для стражей зиндана.

Жигиты вместе с Зелили с гиканьем пронеслись через город. Накинув петли на шеи часовых у городских ворот, они протащили их по камням, а затем умчались в пески. То были туркмены из сотен, проданных Аллакулом султану Каипгали...

Балабек, собиравшийся действовать один, чтобы освободить Зелили, так и не смог пробиться к нему. Все попытки были тщетны. Сторожа зиндана часто менялись. Брали взятки одни, на охрану вставали другие. О побеге Зелили Балабек узнал лишь на следующее утро, когда миршабы хана в поисках беглеца поставили на ноги весь город. В ночь, когда освобождали Зелили, Балабек и Жантас вместе с Махамбетом были у Суюнкары.

...Коренастый, угловатый, словно вытесанный из толстых корней дуба, человек с бычьим взглядом неожиданно появился под вечер во дворе Ибрая-ата и без приветствий, не обращая внимания на остальных людей, подъехал прямо к Махамбету.

— Ты Махамбет, сын Отемиса?

— Кто спрашивает?

— Не твое дело! Где твой конь? Пошли. Суюнкара ждет.

— Где?

— Не твое дело. Следуй за мной.

На коне человек сидел прочно, крепко обхватив ногами бока такого же коренастого, как и он сам, толстоногого коня. Нижняя губа пришельца была рассечена, короткие пальцы на руках растрескались и задубели. Он молча повернул коня и поехал.

— Карагым, скажи, кто ты, хотя бы имя назови? — попросил Ибрай, но человек не ответил.

— Да ты упрям как бык! — крикнул ему вдогонку Ноян.

Но человек словно не слышал его. Выехав на улицу, он медленно направился к городским воротам. Махамбету пришлось поспешно сесть на коня.

— Поезжайте вместе, — обратился Ибрай к жигитам. — А то не известно еще, куда заведет этот «глухонемой». Дело к ночи...

Друзья вскочили на коней и двинулись за Махамбетом. Заметив их, пришелец остановил коня.

— Куда? Только двух возьму, — сказал он, поправляя широкий кривой нож, висевший у пояса.

— Возвращайтесь назад, видите, как он сердит, — засмеялся Махамбет и взял с собой лишь Жантаса с Балабеком.

Отъехав от города верст семь и поплутав по тропинкам меж хлопковых полей и по чьим-то садам, он завел их в заросли камыша. Долго ехал в потемках и наконец привел их к маленькому костру возле шалаша, окруженного непроходимыми тугаями.

— Слезайте с коней. Приехали...

Из шалаша вышел высоченный человек, настоящий великан. Конь Жантаса с храпом отпрянул в сторону. Совсем рядом в тугаях раздалось призывное ржание. Из темноты вынырнуло еще несколько воинов.

Высокий подошел к костру. «Глухонемой» с легкостью юнца соскочил с коня и в мгновение ока вытащил откуда-то шкуру тигра, бросил под ноги великана. Тот сел.

— Хотел бы знать, кто вы? — сказал высокий.

— А я хотел бы знать, кто пригласил меня?

— Я приглашаю всех, кто просит встречи, но не с каждым мне пристало лобызаться. Перед тобою гроза врагов адаевцев — Суюнкара! Я из племени львов.

Тигру подобен я хваткой моей,
Нет в поединке меня сильней,

Сердцу неведомы дрожь и страх
Пред свинцовой тучей врагов,
Тесным кольцом зажавших меня.

Люди говорят, что эти стихи обо мне написал поэт бершей Махамбет...

— Я — Махамбет! — ответил поэт. — Я тот, для кого Жангир свои сети вил. А дядя Жангира, хан Айшуак, был отцу моему, Отемису, враг...

Суюнкара поднялся с места.

— Жигиты, к нам сокол из бершей пожаловал, где же ваши почести?! — Он обнял по очереди Махамбета и его друзей. — Садитесь, братья!

«Глухонемой» выволок из-за кустов раненого джейрана. Суюнкара раскрыл свои огромные ладони и благословил жертву для гостей. Потом «глухонемой» оттащил животное в сторону, свалил, прижал коленями к земле и плоским кривым ножом полоснул его по шее. Струйки теплой крови дотекли до костра. Двое жигитов взгромоздили казан на треногу и начали помогать разделявать тушу...

— Что тебя привело ко мне, Махамбет? — Суюнкара отвел взгляд от казана.

— Молва о твоей справедливости и силе, а также просьба батыра Исатая о дружбе и помощи, — ответил Махамбет.

— Честью для себя считаю дружбу твою и Исатая, — сказал Суюнкара. — Но прежде чем ответ держать, дождемся трапезы. Таков обычай предков...

Кони тихо заржали. Через минуту у костра показался молодой всадник. Он передал «глухонемому» бурдюк с кумысом.

— Эй, Ерсары, что ты там стоишь как привидение? Раздобудь чаши для кумыса! — крикнул Суюнкара, и только теперь Махамбет, Жантас и Балабек заметили человека у стены шалаша.

— Да вы что, сговорились, что ли?! — Суюнкара повернулся в сторону «глухонемого». — Эй, Нуралы, я к тебе обращаюсь. И к тебе, Ерсары. Вы же собрались возвращаться в родные края с Махамбетом, ждали его, а когда он пришел, молчите. Вот он, ваш Махамбет, — сокол бершева рода! Дайте ему воды, чтобы руки помыть. Несите ему голову джейрана!.. А ты, Махамбет, не обращай внимания. Мы все сверстники — и Ерсары и Нуралы, вот и разговор у нас друг с другом такой громкий. Из Нуралы слова не вытянешь. На все один ответ: «Не твое дело». — Суюнкара вновь подтрунивал над своим сверстником. — Мы его зовем Букейханом, который был так же молчалив, как Нуралы. И всегда, как и наш Нуралы, говорил по поводу и без повода: «Не твое дело». Но я не думаю, что Кайбала более похож на своего деда Букея, чем наш Нуралы. Не правда ли? — Суюнкара резко переменял тему разговора и прямо взглянул на Махамбета. — С тобой султан Кайбала держится как друг, Махамбет, а адаевцев стремится склонить на сторону Аллакула. В то же время он через лазутчиков ведет

переговоры с людьми из прикаспийских царских крепостей. Обещает им поймать Исатая и Махамбета, если казачьи атаманы помогут ему занять трон Жангира...

Махамбет молча осушил чашу.

— Эй, Ерсары, где твой дар Махамбету?... — крикнул Суюнкара.

— Жигиты, тащи блюдолиза Кайбалы! — Густой бас Ерсары прокатился по чаше.

Пожилой сарбаз привел к костру человека в бешмете с завязанными руками. Тюбетейка пленника сползла набок. Жантас признал в нем советника и друга султана Каипгали.

— Ты всю правду сказал? — Суюнкара повернулся к нему.

— Аллах свидетель... — Пленник упал на колени и закрыл лицо.

— Спрашивай, Махамбет, — Суюнкара обратился к поэту. — Три дня назад Ерсары пробрался в ставку Кайбалы и заарканил этого блюдолиза.

— У меня нет вопросов.

— Что ответили атаманы твоему Каипгали? — спросил Суюнкара у пленника.

— Они на стороне Жангир-хана, повелитель. Требуют, чтоб Каипгали сам пришел к ним с повинной.

— Ступай, — приказал батыр. — Для генерал-губернатора все равны: что Жангир, что Кайбала. Но пока Жангир сильнее. Граф Сухэтлен сказал: «Кайбала мне не опасен... Пусть султан и ханы казахов бьют друг друга...»

Все молча принялись за еду.

— За голову Срыма ханы и генералы давали три тысячи рублей, — начал издавека Суюнкара.

— Ер-Таргын дважды был оскорблен и унижен, изгнан ханом с родной земли. Он скитался по Крыму, но возвращался домой и вел полки в бой, когда народу угрожала опасность. Я верю, что ты вернешься в родные аулы, защитишь свой народ... Но будь зорок, Махамбет. Волк остается волком и дома и на чужбине. Это я о Кайбале говорю. Не доверяй ему. Срыма погубила излишняя доверчивость.

Окончив нарезать мясо, Суюнкара вытер нож о голенище сапога и спрятал его в ножны. Рядом с ним на шкуре тигра лежали сабля и булава. Жантас с любопытством рассматривал узоры на рукоятке сабли.

— Подарил бы ее тебе, да сам в подарок получил, — сказал Суюнкара, поймав его взгляд. — От графа генерала Сухэтлена. Вот письмо. — Батыр вытащил из кармана желтый сверток и передал Махамбету.

— «...За доставленных мне двух русских пленных посылаю вам при сем отделанную зеленым бархатом саблю. Желаю, чтоб вещь сия могла вам пригодиться», — прочел поэт. Внизу письма стояла подпись и печать Сухэтлена.

— «Мы России не враги и не хотели, чтоб она стала нашим врагом», — так я ответил на письмо, — проговорил Суюн-

кара. — А теперь ответчу на твой вопрос, который ты задал перед трапезой.

Казахи говорят: лучше жеребенок из родного аула, чем скакун у соседей. Я сын адая и умру здесь, на Усть-Урте. Хивинский хан подкупил безродного Чабека, пообещав ему, что сделает его ханом над адаем. Чабек действует вместе с русским мятежным атаманом Андреем Стрельщиковым.

Но не было и не будет хана над адаем. Эту клятву адаевцы дают с древних времен над колыбелью и над могилами сыновей. Два моих сына похоронены в родной земле, а третий убит в зиндане хивинского хана. И я, как старый обезумевший бура, ныне кружусь по Мынкыстау и по Усть-Урту вокруг дорогих могил. Кружусь с тоской... — Суюнкара поднял лицо к ночному небу, к звездам, провел рукой по короткой густой пепельной бороде. — Родная земля моя не отпустит меня. Пока я жив, пока жив хоть один жигит из адая, никто с мечом не переступит порог наших юрт, не войдет в наши аулы...

Вот, брат мой, ответ на все вопросы. Если когда-нибудь объединятся все роды и племена казахов, как при Хакназаре, Тауекеле и первом Касымхане, то и адаевцы разделят судьбу всех казахов... Я стар, Махамбет, для далеких походов, и я благословляю тебя. Прими мой меч. — Суюнкара отдал свой семсер в золотых ножнах. — Ерсары со своей сотней готов идти с тобой. Он будет ждать сигнала от Ибрая-ата, а пока будет скрываться здесь, готовить пищу на дорогу и коней в поход. Дорога дальняя. Передай поклон Исатаю. Да помни о том, как когда-то, сто лет назад, Жанатай-батыр дрался с джунгарами...

С пятьюстами жигитами остановил он десяти тысячное войско джунгар, пришедших из-за Китайской стены. Все ханы и султаны были заняты тогда своими распрями и лили кровь казахов, одно племя грызло глотку другому, а он один остановил полчища врагов и не пустил их на землю казахов. С другом своим батыром Уйсинбаем победили они захватчиков и погнали их назад. Но в кольцо попали жигиты. Десять их осталось из пятисот...

Пуля сразила тогда коня у единственного сына Жанатая — Токаша, а сам Жанатай погиб. Раненый батыр Уйсинбай отдал коня юноше Токашу:

«Скачи по аулам, скажи всем, что пора кончать раздоры!»

Мальчик не подчинился, и батыр ударил его. Но тот не хотел ехать. И вот тогда батыр поклонился в ноги малышу:

«Скачи и знай: если убьют тебя, то некому будет отомстить за нас!»

Так знай, Махамбет, пусть мчится к нам твой гонец, коль будет трудно. Адаевцы никогда не оставляли в беде соплеменников... Но помни: не всякий орел может стать вождем над орлами. Вспомни поверие.

Орлица иногда оставляет на зиму яйца в гнезде. От ветра и стужи крошится скорлупа. А весной орлица возвращается

в гнездо и садится на то яйцо, которое выдержало испытание. Она сидит, не покидая гнезда до тех пор, пока не появится птенец. Этот единственный птенец по силе, закалке и бесстрашию не имеет равных и может стать во главе орлиного племени. Так и люди, Махамбет. Народ сквозь битвы может провести лишь тот, кто прошел все невзгоды и бесстрашен в бою.

Давно уже была окончена трапеза, вымыты руки. Чаши с кумысом снова пошли по рукам. Люди сидели молча, задумавшись над словами батыра. Суюнкара встал.

— Осень нынче будет ранней и холодной. — Он снова посмотрел на звезды. — Прощай, Махамбет...

Вспомнив последние слова батыра Суюнкара, Махамбет машинально взглянул на небо, обвел долгим взглядом минареты и купола мечетей. Сегодня он вновь побывал у Муниса. Мунис предупредил, что хан Аллакул интересовался Махамбетом.

— Ходят слухи, — сказал Мунис, — что Аллакул намеревается заставить тебя перейти на свою сторону, а если ты откажешься, то заковать в кандалы и посадить в зиндан вместо Зелили. Так что будь осторожен. После побега Зелили город наводнен сыщиками...

Проезжая вдоль стен внутренней крепости, поэт улыбнулся. Мысль об убийстве Аллакула и освобождении пленниц, возникшая утром, была по-детски вздорной. Нужно драться с умом. Вон какие толстые стены и глубокий ров оберегают сады, дворцы и гаремы владыки Хивы...

— Есть вести, — сказал Жантас, встретив Махамбета в воротах дома. — Исатай обратился к народу с призывом, собирает армию против Жангира. Нам пора...

— Пора! — ответил Махамбет. — Завтра на рассвете мы должны быть готовы. Направь гонца к Ерсары: пусть ждет у брода через речку.

— Тебе нужен конь для Нурбал? — спросил Жантас.

— Да, конь нужен. Возьмем запасного. Что слышно о караване кзылбашей?

— Есть караван. Большой. Ночью уходит из Хивы в Герат.

— Так что же ты молчишь?! Надо готовить Нурбал в дорогу. Все, что есть у меня, отдадим ей. Нужно еще с караванщиком договориться и попросить Туке проводить Нурбал до дома. Иди к караванщикам и не забудь сказать, чтобы приготовили вьючных коней.

— Нурбал не поедет с нами?! — удивился Жантас.

— Она вернется к себе домой!

— Ты стыдишься показать ее Макбал?

— Я не хочу ее мучить. Нарынкумы — наш дом, а для нее чужбина...

Хивы, где на длинных ржавых гвоздях и кольях уже висели отрубленные головы миршабов, не сумевших удержать Зелили в зиндане, вышел афганский караван. На последнем верблюде, закутавшись в темную чадру, сидела женщина. Нурбал тихо плакала, а рядом, держа в поводу запасного коня, ехал молчаливый Туке.

...Когда муэдзины Хивы поднялись на минареты, у далекого брода, в ложбине, окруженной зарослями саксаула, жигиты Махамбета встретили сарбазов Суюнкары. Здесь же Махамбет увидел Муниса, усталого, на потном коне.

— Не удивляйся, Махамбет. Я не променял кетмень на меч. Остаюсь мирабом. Пришел проводить тебя, — сказал Мунис, опережая друга. — Хочу свести тебя с Зелили, пока нас не разделит Джейхун.

Рядом с Мунисом на тонконогом арабском скакуне сидел подтянутый, худощавый человек. На нем был легкий дорогой чепан, а на голове шапка из серебристого каракуля, оттеняющая смуглость и худоба лица.

«Видать, в тюрьме он отвык смеяться...» — подумал Махамбет.

— Что ж вы умолкли, братья? — сказал Мунис.

Поэты подъехали друг к другу и, не слезая с коней, обнялись как старые знакомые.

— Песню в зиндане не удержишь. Я рад, что ты на воле, Зелили, — сказал Махамбет.

— Разве мы уже свободны?! Так почему же мы прячемся здесь? — Губы Зелили искривила горькая усмешка. — Великий туркмен Байрам-хан, который учил падишаха Акбара войне, говорил, что раб не может быть свободен, даже если зароется в песок...

— Можно быть рабом, владея всеми богатствами мира. И можно быть свободным, не имея ничего, даже самой свободы, — ответил Махамбет. — А мы свободны, пока у нас меч!..

Высоко держа деревянную чашу, наполненную кумысом, юный воин-адаевец подъехал к батыру.

— Осторожней, иначе капля коснется земли! — вскричал Суюнкара. Он достал из курджуна лепешку, разломил и передал один кусок Мунису, другой — Махамбету и третий кусок — Зелили... — Скажу как старший: клятва с хлебом в руках — священной и страшней, чем клятва над Кораном. Казахи говорят: «Можно наступить на Коран, но нельзя оставлять под ногами крошку хлеба или пролить на землю каплю молока». Сейчас каждый из нас уйдет своей дорогой. Бедняки Хивы ждут Муниса, туркменские аулы ждут Зелили, а тебя, Махамбет, зовет Исатай!

Так пусть лепешка и этот кумыс, перебродивший в кожаном торсуке на крупе боевого коня, придадут нам силы для будущих битв и скитаний!..

Суюнкара отпил глоток из чаши и передал ее Махамбету. Чаша пошла от жигита к жигиту...

Не доезжая до брода, Махамбет спрыгнул с коня и с корнем вырвал пучок жусана. Потом вскочил на коня и помчался за Мунисом. Услышав топот, Мунис придержал коня.

— Возьми, Мунис! Это жусан. Посади его рядом с розами. Не поливай и испытай — что сильнее, розы или жусан!..

— Иншалла, теперь мы будем жить на том берегу, — Ерсары направил своего старого, испытанного в боях коня наперез волнам. На острие его пики развевались пучок конских волос и алая лента — знамя восставших. А на плече, хлопая крыльями, чтоб удержать равновесие, сидел сокол — подарок Суюнкары.

Молчаливый Нуралы, Жантас, Балабек и Ноян ехали рядом с Махамбетом.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Степь разомлела от зноя. Скрылись куда-то шумные стайки птиц, носившихся над ковылем. Табуны кобылиц, отбиваясь от мошкеры, уходили к дальнему ручью. Брюхатые суслики пушистыми пеньками замирали у своих нор. На развалинах одинокого мазара, раскрыв клюв и высунув острый красный язык, уселся старый степной бродяга беркут. Другой, помоложе, кружился в небе. Он парил в прохладном воздушном буране у самого белого облачка, блуждающего по бледному от зноя небу.

Старый беркут заметил суслика, сидевшего за кустом желтого чия, и чуть было не сорвался с места, но суслик исчез в тот же миг. Орел снова сложил крылья и начал осматривать свои владения.

Низкие, тупые, лобастые холмы были рассеяны по равнине. За самой большой сопкой темнел овраг, за ним дорога. Все это было знакомо издавна.

Он родился и вырос в скалистых горах за дальней рекой, но с тех пор, как окрепли крылья, охотился здесь. В молодости он видел, как там, далеко в барханах, дрались люди.

Много орлов и коршунов слетелось тогда к трупам. Еды было вдоволь. Ни раньше, ни позже не бывало такого пира...

Вернувшись с охоты, он увидел у подножья скалы распластанное тело орлицы. Гнездо опустело. Рядом лежала белая рогатина да клочок черной волосяной сетки. Кругом все было усеяно перьями, на выступе скалы висела окровавленная тряпка...

Целый день он кружил над скалами, кричал, звал орлицу, птенцов. Ночь провел одиноко. Утром снова поднялся в воздух и снова искал. Но голод заставил вернуться в степь. Здесь он увидел глупого белого ягненка, который, жалобно крича,

то и дело взбегал на холм, растерянно озирался вокруг и снова бежал вниз. Голодный беркут камнем упал на ягненка, зажал его когтями, ударом клюва размозжил его череп.

Потом поднялся с добычей в воздух, но, вспомнив, что гнезда больше нет, нет птенцов, опустился в ковыль. Там он начал рвать нежную шкуру ягненка, глотал мясо вместе с курчавой белой шерстью.

Уже насытившись, услышал он знакомый свист и увидел другого беркута. Уронив кусок из клюва, старый беркут бросился навстречу. Но молодая сильная птица с лету опрокинула его на землю и бросилась к остаткам ягненка. Это было неслыханной наглостью. У хозяина долины от гнева взberoшились перья. Напружинив мускулы, раскрыв клюв и приготив когти для удара, он ринулся на незваного гостя. Соперники взмыли к облакам, сцепились, хлестали друг друга крыльями. Хозяин долины теперь отбивался изо всех сил. Он старался набрать высоту, но гость не давал опомниться.

Старый степной орел, считавшийся властелином всего края, легко побеждавший лисиц и волков, вынужден был бежать. Он подался в сторону и полетел к дальним холмам, а молодой беркут спокойно опустил к остаткам ягненка.

С тех пор хозяевами этой равнины стали двое.

Раны, нанесенные молодым беркутом, заживали долго. Старая птица ослабла за эти годы. Теперь она питалась лишь сусликами и мышами. Зайцы и те доставались ему с трудом. А незваный гость был на редкость жаден. Охотясь за фазанами или подкарауливая зазевавшихся ягнят, он в то же время зорко следил за стариком, то и дело намереваясь отнять его добычу.

Но сегодня старый орел был сыт и не обращал внимания на своего соперника. Его беспокоило другое. Вблизи мазара, ставшего для него пристанищем после гибели птенцов, вновь появились люди. В ложбине меж двумя холмами, где когда-то он настиг золотистого фазана, паслись овцы. В поисках тени животные сбились в кучу, попрятали головы под брюхо друг другу, и стадо превратилось в островок, стало точь-в-точь похожим на белое облако, возле которого кружит сейчас молодой беркут.

За стадом следили два человека.

Сидя на развалинах мазара, птица зорко наблюдала за этими странными двуногими существами, которых она боялась всю жизнь.

Один из сидящих встал и обошел стадо. Птица узнала его. Она запомнила его потому, что человек принес когда-то с собой в степь птенца-беркута и отпустил его на волю. Птенец тогда сделал круг над долиной и исчез навсегда, оставив в сердце старого орла щемящую боль.

Хозяин мазара не знал, конечно, что птенец, которого освободил чабан, был его потомком. И что люди, оставившие обрывок веревки у его гнезда на вершине скалы, были из

аула Жидели — из того самого аула, который был ему знаком с первого полета...

Жидели стоит на самом краю степи, там, где граничит она с песками Нарына.

На стыке ковыльной равнины и песков, огражденные сакаулом и зарослями песчаной акации, зеленели обильные луга. Посреди этих лугов стояли землянки, и в них жили жатаки — самые бедные люди в степи. Пара овец на семью, да облезлый верблюд, и еще небольшое просяное поле на весь аул — вот и все их богатство.

Жатаки считали себя потомками сарбазов легендарного Срыма Датулы, лет сорок назад поднявшего восстание против белого царя и хана. И еще были среди них те, кто отстал во время великой откочевки казахов за Жаик с берегов Едиля. Гонимые казачьими отрядами и ханскими нукерами, потеряв весь скот, шли они через пески по растрескавшимся такырам, по тропам, устилая путь белыми костями...

Не все могли тогда выдержать трудный переход. Костей на дорогах становилось все больше. Некоторые, свернув с дороги, чтобы избежать столкновений с карательными отрядами, погибали в песках. Несколько их семей попало в Жидели.

Аул принял их, поделил с ними овец и остатки проса. А пришельцы в благодарность обучали молодых жигитов кузнечному делу. Парни из рода бершей женились на девушках-адаевках, адаевцы — на девушках из рода бершей, найманы скрепляли брачные союзы с аргынами. Рождались дети — уже настоящие жиделинцы. Охотники растили гончих, обучали ловчих птиц... Так что жили они более или менее сносно под началом своих, жиделинских, не очень-то крупных богачей, появившихся из числа тех же сарбазов Срыма и беглецов с берегов Едиля. Да и сами богачи вели себя пока что тихо. Не стерлась еще память о походах Срыма.

Были в ауле и свои знаменитости. Хозяйкой здешнего края слыла Алка — высокая, статная женщина, не уступающая умом бывалым аксакалам, а силой — жигитам-борцам. В молодости она считалась лучшей певицей края. Но то было в прошлом.

Сейчас в землянке у нее часто не хватало даже айрана. Алка старалась удержать в доме прежний достаток. И по-прежнему сохраняла уважение к себе как к хорошей хозяйке. Муж ее, чабан Сагырбай, был одет всегда чисто, опрятно. Сшитая из лоскутов рубаха, стеганные пайпаки из войлока, бараний треух — все было изготовлено ее руками. Никто не слышал от нее жалоб на тяготы жизни. Дети ее, Курмаш и маленький Байгазы, росли крепышами. Никогда в ауле не слышали, чтоб Сагырбай или Алка подняли голос или руку на своих сыновей. Они росли свободно, не испытывая унижений, хотя и были всего только наследниками бедного жатака.

Если случались праздники — свадьба или той в честь новорожденного, то Алка, надев штаны мужа, выходила в круг и редко находила себе равных в борьбе. Всем помнится слу-

чай, когда пожилой кузнец, решившийся помериться с ней силой, был посрамлен. Дважды его спина коснулась земли, и он бежал от стыда и позора, покинул Жидели навсегда...

Но еще большей знаменитостью аула был сын Алки — Курмаш. Как и отец, он с детства пас овец. Но, в отличие от отца, да и от всех своих сверстников, чабаном был никудышным. Малышом он терял ягнят, а когда доверили овец — не мог уследить за стадом. Он даже забывал, что он чабан. Лишь изредка, вспомнив о стаде, внимательно осматривался вокруг и громко кричал. Животные, услышав этот гортанный, тревожный крик, в страхе неслись через ковыль прямо к нему и, пугливо озираясь, долго теснились у его ног, а потом вновь растекались по долине. Овцы забывали о чабане, чабан забывал о них. И молодой пастух не раз получал трепку за утерянного ягненка или за отставшую овцу от хозяина стада. Но люди никогда не видели его плачущим. Всегда он был сосредоточен и суров.

Жиделинцы вначале звали его не иначе как «упрямец Сагырбая» или «безумный сын Алки». Виной всему была фанатичная увлеченность мальчика. Он любил музыку. Для него не важно было, кто играл на домбре, на кобызе, на сыбызге или кто пел — мать или забредший в аул нищий странник. Спрятавшись в кустах, он мог пролежать целый день, слушая песни. Мог он еще, забыв о еде, сидеть где-нибудь меж кустов чия и подражать пению птиц. На растрескавшемся от времени кобызе, подаренном кем-то из старых чабанов — пришельцев с берегов Едила, играл он печальные песни, услышанные в ауле. Постепенно слова «упрямец Сагырбая» и «безумный сын Алки» приобрели иной смысл. С удивлением и восторгом гляделись люди в маленького Курмаша, который легко мог состязаться с самыми виртуозными музыкантами края. Еще больше удивились, когда он сам смастерил домбру, отличающуюся от других инструментов чистотой и силою звука. Когда он сыграл на ней первую, никем и никогда не слышанную мелодию, восторг жиделинцев разделили жители других аулов.

Одни говорили, что прапрапрадед Сагырбая был великим музыкантом и поэтом в Курмаша переселился дух священного предка. Другие утверждали, что домбра Курмаша, наверное, такая же волшебная, как и «двухструнная домбра Фараби». И быть может, сам Курмаш — прямой потомок создателя домбры, великого кипчакского музыканта Мухаммеда аль-Фараби, жившего много столетий назад на берегу Сырдарьи. Ведь недаром существует поговорка: «Голос чист, как у двухструнной домбры Фараби»...

— И все же он не похож на обычных детей. В нем действительно живет шайтан или джинн, как хотите, но назвать его просто домбристом нельзя, — задумчиво говорили третьи.

— Разве мало было в степи известных музыкантов и мало их сейчас? Разве почерневшая от слез, высохшая от ветра, обожженная солнцем и опустошенная незваными пришельца-

ми эта земля мало дала музыкантов и певцов?.. Но кто из них был таким упрямым безумцем с детства, как сын Сагырбая? — высказывал свои мысли вслух аксакал аула Алдияр.

В Жидели никто не сомневался в мудрости Алдияра. Здесь его называли Алдияр-бий, Алдияр-судья. В юности он прошел всю степь, бывал и в Среднем, и Великом жузах. Не раз он участвовал и в боях. Его дед прославился как батыр во время битв с джунгарами, а сам он заслужил похвалу русского царя за храбрость в Отечественной войне с французами.

— Песни наши спокойны, кюи говорливы. Время успокоило наш дух, — грустно продолжал Алдияр. — Тысячу раз палачи рубили головы наших жигитов. Обескровлен, оскорблен и расколот, разбросан по земле наш народ. Он стал податлив и покорен. Не нашлось человека, который объединил бы нас в единый кулак; не нашлось уголка, в котором собрались бы все племена и роды. Нет у нас ныне хана, подобного Хакназару, и батыров, подобных Богенбаю, Тайлаку и Саныраку. По сей день мы оплакиваем Срыма. Народ потерял не только своих батыров, но и свое имя, чужое клеймо на нас. Так нужны ли такому народу домбристы-безумцы, подобные Курмашу, чья музыка гневом клокочет в горле и отдается в сердце, беспокоит душу и напоминает забытые слова о походах? Сын Сагырбая врывается в печальное русло наших песен, горьких и тоскливых, вобравших всю боль великих бедствий...

Слава аллаху, что батыры, друзья Богенбая и сарбазы всех жузов, сохранили честь народа, очистили степи от джунгарских полчищ. Но и сил с тех пор у нас нет, не те пошли жигиты, обескровлены, запуганы все жузы...

Не смогли мы уберечь Срыма. Слова его будоражили людей, как и кюи Курмаша. Он увлек за собою народ. Все больше и больше жигитов становилось под знамя батыра Срыма. Казалось, возродились казахи, вернулись силы, словно дух воинов-предков вселился в жигитов. Десять лет сражался Срым, стараясь образумить ханов, облегчить жизнь народа. Победа была близка, и снова, уж в который раз, сам аллах наказал нас. Джут накрыл нашу землю. Снова дороги были усеяны костями. И, умирая, предки наши извечно завещали нам жить смиренно, быть покорными воле аллаха...

Аллах велик. Он карает народ наш за каждое ослушание. Старики завещали остерегаться буйных голов, смелых песен и безумных слов. Берегите Курмаша, но пусть спокойнее звучит его домбра...

Алдияр редко произносил столь длинные речи. Скупой на слова Алдияр тайно восторгался талантом Курмаша.

Порой, оставив дела, он медленно шел по аулу. С достоинством старейшины, степенно проходил он мимо молодых жигитов, в кругу которых сидел Курмащ. Старик входил в ближнюю юрту, чтобы оттуда, поддерживая беседу с хозяином, слушать игру Курмаша. По его холодному, неподвижно-

му лицу нельзя было понять, слушает ли он игру Курмаша или погружен в свои мысли...

Ах, эта проклятая волшебная музыка, этот Курмаш... Не струны поют и не домбра сына Сагырбая, то поет сама могучая земля, по которой несутся кони батыров, взрывая копытами ковыльный чепан степи. Гортанный, многоустый клич воинов несется над ней...

Домбра Курмаша, рассказывая о былых походах, не плакала, не тосковала, как это было доселе в песнях и кюях степи. Она оживляла в памяти походы и победы. И старый Алдияр не мог в такие минуты оставаться спокойным. В сердце рождался гордые, запретные слова, и он, чтобы сдержать себя и обуздать чувства, стискивал зубы.

Был случай, когда старейшина изменил себе. Жиделинцы помнят об этом. Алдияр, как всегда, сидел в юрте. На решетчатой стенке юрты висело начищенное до блеска длинное ружье, единственное во всем Жидели. Оно принадлежало Алдияру, в юности попавшему в Астрахань, а оттуда в Москву с отрядом казахских воинов, переданных ханом русскому царю в 1812 году. За храбрость в битве с французами ему пожаловали коня, ружье и наградили крестом. Рядом на подставке, обернутой кожей, сидел молодой беркут в томага, подаренный ему охотниками Жидели. Старик изредка подносил птице куски сырого мяса...

Прошла полуденная жара, но до вечера еще можно было трижды сварить мясо в казане. Кобылиц подгоняли к аулу, готовя к предпоследней дневной дойке, пахло конским потом и айраном. Жигиты и девушки из соседних аулов собрались на лужайке, у загона, где привязывают жеребят.

Курмаш был задумчив. Пальцы настроенно коснулись струн, тихо подала свой голос домбра, струна запела и умолкла. Потом торопливо зазвучали обе струны. Снова тишина. И вот с глухим надрывом запела домбра, застонала. Алдияр уронил мясо из рук. Он был поражен. Курмаш изменил себе, он создал песнь о горе, тоске.

Но старик ошибся, песня полилась ровнее, звонче, тверже. Курмаш, как сказитель, начал с воспоминаний о скорби людской. А потом вдруг поднял голову и рывком, словно вырывая и отбрасывая из сердца всю боль прошлого, ударил по струнам. Бушующие аккорды ворвались в каждую юрту, стоящую вблизи. Огненная мелодия заполнила аул.

Он не повторял себя. Из-под его рук каждый раз легко, неудержимо рождался новый кюй. Останавливались прохожие. Всадники сворачивали в сторону Курмаша.

Курмаш был бледен. Глаза его были широко открыты. Он смотрел куда-то через головы людей, через юрты в степь, но не видел ничего. Он стал похож на сокола, готового к полету, к схватке...

Снова плач и раскаты грома и хриплые крики — то плачет домбра, то песня звучит укором, то ржание диких коней и

лязг мечей заглушают стоны. Мелькают пальцы, рождая песню-чудо.

Вот сильнее удар — мощные раскаты понеслись в небо. Дрогнуло и сжалось сердце Алдияра. Песня овладела им, покорила его. Он не мог оторвать свой взгляд от Курмаша. Слушая музыку, он замер. Эта песня вобрала в себя все буйство и весь простор степи: песня, пьянящая гордый дух казаха, степняка, вечного воина. Тысячеголосая домбра звенит сейчас в ушах Алдияра, тысячеголосый кипчакский хор исполняет свой богатырский гимн...

Старик встает. Он не в силах больше оставаться в юрте. Он переступает порог и идет к музыканту, как слепой, вытянув вперед белую палку. Идет тихо. Идет тихо. Ему чудится, что звуки домбры овладели миром, и вся степь взывает к нему...

Домбрист взмахнул рукой. Удар! И все смолкло. Оборвались струны. Домбра Фараби со времен создания не попадала в такие неистовые руки.

Алдияр шел и шел, по инерции. В ушах еще звучала песня.

— Продолжай, Курмаш, Курмангазы! — вырвалось из уст старика. Он дрожал в ожидании. Курмаш молчал. Он все еще жил неоконченной песней.

Жигиты встали перед старцем. Кто-то протянул Курмашу домбру, но тот не взял ее.

Глухой топот копыт вывел всех из оцепенения. Люди увидели всадников, скачущих к аулу.

Заржал жеребенок. Из оврага донесся крик верблюда. Старый Алдияр вновь обрел свой прежний неприступный вид и приказал юноше, стоявшему рядом:

— Принеси сюда беркута. Он в юрте, сидит на подставке. Только надень нарукавник...

Алдияр подарил молодого орла Курмашу.

— Пусть он на крыльях понесет твои кюи по аулам, пусть полет твой будет подобен полету орла. Я раньше ошибался в тебе. Ты рожден для воли. Отныне ты не только сын Сагырбая. Люди узнают тебя и прославят твое имя — Курмангазы! Аминь.

На следующее утро Курмаш был далеко от аула. Поднявшись на холм, он выпустил орленка, подаренного Алдияром, на свободу. Старый беркут, хозяин мазара, долго глядел вслед улетающему птенцу...

Накануне, летая над аулом, беркут увидел множество всадников на его улицах. Он не знал, что аул Жидели передан ханом Жангиром во владение самого могущественного богача края — Дулата и что среди всадников, прибывших в Жидели, находится сын бая, что есаул Дулата сообщил жиделинцам об указе султана-правителя.

Земли Жидели всегда были собственностью Дулата, но он не заявлял об этом потому, что не было надобности. С сегодняшнего дня Дулат-бай берет жиделинцев под свою защиту, говорилось в указе. Затем есаул сообщил, что через день хо-

зяин сам прибудет сюда с нукерами. Жиделинцы должны встретить его как своего владыку. А сын Сагырбая своей игрой должен ласкать его слух. Сын Дулата потребовал, чтобы Курмаш сыграл для него что-нибудь сейчас же.

Толпа молчала. Молчал Алдияр. Правая рука Курмаша была укрыта толстым нарукавником, на котором сидел молодой беркут.

— Видите, струны на домбре оборвались,— сказал пожилой жиделинец.

— Разве нет другой домбры? Вон сколько домбристов здесь собралось. Эй, дайте ему домбру! — крикнул сын Дулата.

Курмаш всматривался в его лицо.

— Он и впрямь похож на безумца. Смотрите, у него волчий взгляд...— засмеялся сын Дулата.

Передав беркута соседу, Курмаш шагнул к нему, намереваясь взять коня за повод. Но байский сын подобрал поводья и замахнулся камчой...

Жигиты, окружившие Курмаша, в мгновение ока оказались рядом. Один из них принял удар на себя. Остальные тут же стянули с коня наследника Дулата.

Всадники навалились на пеших и помогли своему мирзе, сыну Дулата, снова взобраться в седло.

— Токтатындар! — Алдияр встал между нукерами Дулата и жигитами. — Остановитесь! Смотрите на солнце, оно догорает. Настало время вечернего намаза — священное время! Или вы не казахи? Где вы видели, где вы слышали, чтобы в часы священного заката люди начинали вражду, чтобы братья шли на братьев?

— Неплохое начало. Посмотрим, что скажете завтра... — с кривой, желчной улыбкой произнес сын бая, освобождая поводья.

— Успокойся, Курмаш, мы с тобой, — говорили жигиты, направляясь в ночное к байским табунам. Но в их словах звучала тревога...

Весть о переходе земли жиделинцев к Дулату и о столкновении табунщиков с сыном владыки края вселила в каждого страх.

...Плывя в предвечернем небе, старый беркут видел, как табунщики, выехав из аула, взяли в руки свои домбры и, пустив коней легкой рысью, ударили по струнам. Они продолжали прерванную песню Курмаша. Призывный кюй несся над степью, тревожа сердце старого беркута.

Никто в ауле не пел. С окраины, где жили самые бедные жатаки, доносился детский плач. Люди торопливо гнали овец домой, стреноживали коней, молча разжигали вечерние костры. Лишь возле землянки Сагырбая раздавались сердитые голоса женщин.

— Несчастье принес твой сын в Жидели. Кто он такой, чтоб не исполнить волю наследника бая Дулата?.. В кого он

у тебя такой уродился? — Женщины кричали наперебой, обращаясь к Алке, которую раньше почитали за ум.— Беду наклик твой безумец на нас, на всех жиделинцев!..

Мужья едва уняли расходившихся жен, увели по домам. Алка осталась одна. Она долго сидела возле потухшего костра. Ничего не сказала мать Курмашу. Лишь отрезала кусок баранины и подала сыну, чтобы тот накормил своего беркута.

...Медленно наступала ночь. Люди засыпали в тревожном ожидании. И когда все утихло, несколько семей бесшумно сложили свой скарб и покинули родной аул. Подальше от лиха...

К обеду следующего дня в Жидели прибыл байский караван. Слуги разгрузили верблюдов, быстро собрали и укрепили походную белую юрту Дулата.

Курмаш, выпустив на свободу орленка, подаренного Алдияром, возвращался домой. Еще издали он заметил байскую юрту. Возле нее доили кобылиц, готовили навес и стоянку для коней, устанавливали котлы на треногах.

Проходя по улице, Курмаш заметил, что сегодня люди сторонятся его и при встрече отводят глаза. Он не мог понять почему.

По аулу ходили слухи, что Дулат приедет вечером и пробудет здесь всего лишь два дня. Он распределит подпасков по табунам и отарам, разделит луга, выберет места для сенокоса. Говорили еще, что Дулат послал погоню за ночными беглецами, что он накажет плетью Курмаша и будет акын восхвалять мудрость и щедрость Дулата...

Самому домбристу некогда было интересоваться слухами. Внезапно заболел отец, и Курмаш пошел вместо него пасти овец. Старая Алка долго хлопотала возле мужа. Уложила его на теплый кан поближе к огню, где-то добыла кумыса для больного. Когда Сагырбай наконец успокоился и заснул, она вышла из дому и долго стояла, глядя в степь...

...Солнце опустилось к самому горизонту, жара спала. Высоко в небе запел жаворонок. Он то поднимался ввысь, то падал неудержимо быстро и пел, пел тонко, весело, как будто рассказывал чудесную сказку. Заметив тень старого беркута, плывшую по ковылю, жаворонок вдруг умолк и исчез.

Закат был чудесен. Солнце приблизилось к земле и запылало красным пламенем. Тысячи золотых стрел бросило оно в степь. Курмашу казалось, что лучи звенят, поют и по степи несутся сладостные звуки тихой песни. Он снял с плеча домбру и потрогал струны, но в это время к его ногам упала тень от далекого холма, и вместо песни он услышал овечьё блеянье.

Поглядывая на белую юрту Дулата, он погнал овец к аулу. ...В маленькой комнатке, на коровьей шкуре, скорчившись, лежал отец. Рядом сидела мать. Седые волосы, выбившиеся из-под кимешека, закрывали ее лоб.

— Подойди ко мне, сынок. Лишь аллах знает, доживу ли я до новолуния. — Отец говорил отрывисто. — Ты уже стал жигитом. Пусть судьба будет милостивой к тебе. Вчера ты поссорился с сыном бая. Аллах рассудит, кто виноват, но тебе здесь придется плохо. Ты непокорен судьбе и потому оставь нас. Ищи свое счастье, как Асан-кайгы¹ искал обетованную землю. И пусть удача сопутствует тебе... Мать тоже благословит тебя...

Курмаш посмотрел на мать. Она не проронила ни слова. Еле заметный кивок головы говорил о том, что она согласна с отцом.

— А теперь возьми домбру и сыграй, — сказал отец.

Струны звучали спокойно. В доме посветлело. Теплее и нежнее стал взгляд матери.

Курмашу не хотелось сейчас играть. Но нужно было успокоить отца, облегчить страдания матери.

Отец закрыл глаза, лицо его стало спокойным, задумчивым. Мать с тоскою глядела на сына.

Когда отец уснул, Курмаш перестал играть и вышел из юрты.

Звездный шатер повис над аулом. В обманчивом лунном свете белела юрта бая. Был виден и белый конь, тот самый, на котором приехал Дулат. Где-то ворчал волкодав, чуть слышно блеял ягненок.

Немного постояв, Курмаш зашел в соседнюю юрту, где жил табунщик Сарман.

— Сарман, ты спишь? — спросил он, откидывая полог.

— Нет.

— Какие новости, Сарман?

— Сегодня гонял табун на Кок-Жайпак и там встретился со знакомым табунщиком из соседнего аула. Он слышал о твоей встрече с сыном Дулата.

— А еще какие новости?

— Он говорил, что в степи вновь появился Махамбет, читал его новые стихи.

— Ты запомнил их?

— Нет, — ответил Сарман. — Я знаю лишь слова Махамбета, известные каждому. Он сказал их, когда поссорился с ханом Жангиром. Разве ты не слышал о них, Курмаш? Это было лет семь назад. Махамбет заступился за бедных жатаков из рода шомакей. И тогда Жангир спросил Махамбета: «Ты сомневаешься в том, что я справедлив?!»

Махамбет ответил:

Разве хан ты? О нет,
Не дворец у тебя, а волчье логово.
Друзья твои — волки. И они
Вместе с врагами твоими разорвут тебя в клочья!

Ты не хан! Поверь мне, поэту.
Повадки твои звериные, а коварство — змеи.
Ты не хан! — справедливо сказать, —
А двуглавый стервятник на теле народа...

Сарман умолк и настороженно вслушался в тишину. Потом достал из-за голенища сапога плоскую костаную чакчу и насыпал под язык насыбай:

— Не заставляй меня повторять его стихи, Курмаш. А может, и неправда все это, а так: узун кулак. Только вот что скажу: Дулат не зря прибирает нас к рукам. Это, наверное, повеление самого Жангир-хана... За слова поэта он хочет наказать всех бершцев. Ведь слова как стрелы. Говорят же казахи: «Удар палки разорвет лишь кожу, острое слово пронзит не только сердце, но и кости». Поэт сказал и скрылся. А отвечай народ. Вот так, Курмаш. И ты зря с сыном Дулата связался. Хоть ты и не виноват... Чья возьмет — время покажет... Одним словом, если хочешь говорить правду, имей скакуна, чтобы вовремя убраться подальше... А твои кюи уже далеко-о-о слышны...

Выше стали звезды, бездонней небо. Вспомнились стихи поэта. А в общем-то слова как слова, очень простые. Поэт высказывал то, что мог сказать и Курмаш...

Ночной ветерок словно ощупывал мускулы. Он вспомнил совет отца. Это не было изгнанием. И отец и мать освободили его, как он освободил птицу. Вот только маленький Байгазы... Где же он? Наверное, заигрался с кем-нибудь. Курмаш невольно улыбнулся, вспомнив малыша. Потом ему захотелось увидеть Акшолпан. Он обошел вокруг ее дома. Тишина. Акшолпан спала.

...Никто не знал и не узнает об их тайне — тайне Акшолпан и Курмангазы. Разве только вот старый степной орел знает о ней. Птица тогда долго кружилась над ними в небесной сини. А они смотрели на нее, лежа в майской траве далеко за мазаром. Когда Акшолпан пришла к нему, на ней поверх платья была тонкая зеленая накидка — зеленая, как трава. Лицо ее горело...

Двоем они слушали шелест травы, стрекотанье кузнечиков, фырканье овец и видели над собой небо и одинокого беркута.

Больше они не виделись наедине. При случайных встречах она отводила глаза или со смехом убегала...

Курмаш еще раз обошел вокруг дома Акшолпан. Света в окошке не было.

— Прощай, Акшолпан, — прошептал Курмаш.

Он шел через ночной аул, не выбирая дороги. Глухой удар копыт о землю и фыркание коня нарушили ход мыслей. Неожиданно для себя он оказался возле белой юрты. Под навесом стоял лучший скакун Дулата.

Конь... «Конь — крылья жигита», — словно во сне повторил он поговорку.

Пахло свежей травой, кумысом и конским пометом. Подняв голову из ясель, белый конь доверительно потянулся к Курмашу. Юноша похлопал по шее коня, тронул его гриву и не совладал с собой: отвязал поводья. Зарычал сытый волкодав. Курмаш натянул поводья, стараясь успокоить коня, прислушался.

От овечьего загона кто-то шел. По походке и сутуловатой фигуре Курмаш узнал деда Жакыпа, аульного боббля-батрака. Он сторожил по ночам жиделинские отары. Курмаш выехал из-под навеса, разогнул спину.

— Это я, ата, — спокойно произнес он. — Я — Курмаш, сын Сагырбая.

Жакып остановился. Курмаш неясно различал его лицо. Видимо, старик был удивлен и озадачен.

— Курмаш... Как же ты? — Старик не договорил. — А что с отцом и матерью будет?

Конь натянул удила, беспокойно рвал копытами землю. Курмаш не отвечал. Собственно, отец и мать благословили его. Но они не знали, что сын покинет их сегодня. Не знал этого и сам Курмаш, а то покрепче обнял бы Байгазы, успокоил мать и отца...

— Куда ты?.. — торопливо спросил Жакып. — Да ладно, аллах с тобой, не буду мешать. Как бы беды не наклепать, торопись, если решил. Удачи тебе. Жигит в степи не пропадет. Ну, что стоишь? Пусть аллах тебе поможет. Ступай, сейчас не время менять решение. Я знаю, что это так...

— Тысячу благодарностей тебе, ата!

Курмаш освободил поводья. Проехал немного шагом и пустил коня в галоп.

Жакып, прислушиваясь, заковылял к спящим овцам.

— О кудай, помоги детям своим, своим безумцам...

Разбудив и вспугнув беркута, Курмаш промчался мимо старого мазара. Всю ночь не сдерживал он коня. Ему казалось, что у него выросли крылья и он летит над степью, как птица, под звуки гордой песни. Это была та самая песня, которую он начал в кругу друзей, которую прервал сын бая Дулата. Но теперь она звучала увереннее, и Курмаш уже знал ее до конца. Песня говорила не только о страданиях, о горе и печали народа — в ней звучал призыв, боевой клич, который был похож на раскаты грома, призыв, рожденный стихами поэта Махамбета.

Он не знал, куда едет. Он будет искать Махамбета. Но где

найти его? Разве можно узнать дорогу акына, который тайно идет от аула к аулу и призывает народ идти против хана? Разве песни могут навести на след? Ведь они летят над степью и нельзя узнать, где они рождаются.

Куда ехать? Грустно становилось от этих мыслей. Усталость и голод заставили Курмаша еще раз вспомнить о родном доме. Он знал, что Дулат уже ищет своего белого коня...

Бай Дулат пойдет к матери и будет кричать, грозить, требуя, чтобы она сказала, куда девался ее сын. Что-то будет там...

И все же он не мог представить того, что творилось в это время в родном ауле.

...Туленгуты Дулата окружили дом Сагырбая.

— Где твой сын? — Дулат стоял над Сагырбаем.

Алка, до сих пор молча сидевшая в углу, встала.

— Он болен. Дайте ему спокойно умереть!

Один из нукеров замахнулся на нее. Алка схватила его за руку и отшвырнула в сторону.

— Эй, помогите, уберите эту колдунью!

Четверо туленгутов навалились на нее, скрутили руки и вывели на улицу.

— Да есть ли аллах на небе?! И есть ли глаза у этого аллаха? Почему не видит он? — стонала Алка.

— Успокойся, дочка, — донесся голос Алдияра из толпы. — Ты была единственным мужчиной в нашем маленьком ауле...

Ее волосы были распушены. Голова обнажена. Так матери обнажают головы, когда приходит беда.

— Найти конокрада! — приказал бай.

...Над степью всходило солнце. Курмаш знобило, болела голова. Иногда он забывался и дремал в седле. Когда он поднялся на одну из сопок, то увидел вдали дымок. Конь заржал и направился в сторону жилья.

Из юрты вышла девушка с длинными косами. Открытое лицо, широкие лучистые глаза, окаймленные густыми ресницами.

Курмаш изумленно смотрел на девушку. Казалось, что это во сне. Но боль в голове и пояснице, сухость во рту, дрожь в теле — все было явью.

Девушку обеспокоило неожиданное появление молодого всадника. Слишком хороший был конь у него и слишком бедное одеяние. Воспаленные глаза юноши, глубокие впадины на конских боках — все говорило о том, что странник совершил далекий и нелегкий путь.

— Пить... — Курмаш упал на гриву коня.

— Что с вами? — Девушка подбежала к нему. — Простите, ага, в этом доме нет мужчин. Позвольте, я помогу вам.

Она поддержала падающего Курмаша, ввела его в юрту и

осторожно уложила на коврик. Потом развязала сабу, стоящую в углу, наполнила пиалу и, приподняв голову Курмаша, поднесла кумыс к его губам. Он выпил и закрыл глаза.

Девушка вышла. Скоро приехал ее брат, табунщик Зарбай.

— Кто у нас? — спросил он, увидев коня.

— Он не сказал своего имени.

Брат внимательно осмотрел белого коня.

— У него есть домбра?

Сегодня на рассвете Зарбаю была сообщена новость: знаменитый домбрист Курмангазы увел лучшего скакуна бая Дулата и был объявлен конокрадом и бунтарем. Дулат приказал поймать юношу.

— Где он сейчас? — спросил брат.

— В юрте, спит. Он болен.

Зарбай подошел к белому коню, похлопал его по шее:

— Сагыш, отведи его в зеленый ров и там зааркань!..

Когда Сагыш вернулась, Зарбай снял с гвоздя короткий летний чекмень, приобретенный им у проезжего торговца.

— Сактай, не отдать ли нам этот чекмень нашему гостю?

Смотри, ведь он совсем раздет...

Табунщик внезапно умолк. За стеной юрты послышался приближающийся топот копыт. Сагыш испуганно посмотрела на брата. Зарбай вышел из юрты.

На взмыленных конях подскакали всадники.

— Удачи вам, жигиты! — приветствовал их Зарбай.

— Ищем конокрада! — сказали ему приезжие. — Не видел ли ты оборванца на белом коне?

— Нет, — спокойно ответил Зарбай.

Старший из жигитов сурово оглядел табунщика с ног до головы.

— Где был ночью?

— Я старший табунщик Дулата, — ответил хозяин. — Если б я увидел его коня, то сразу бы узнал...

Трое сидели за дастарханом. Крепкий сон, бешбармак и чашка кумыса вернули силы Курмашу. Давно было покончено с едой, но разговор не клеился. Зарбай — человек не очень-то говорливый — не знал, чем занять гостя. А Курмангазы был тоже не из многословных. Ему захотелось взять домбру и сыграть песню благодарности.

Струны поведали хозяевам о старом больном отце, о доброй и ласковой матери, о воле; Сагыш ясно представила широкую, ровную зеленую степь. По ней шел он, этот гордый и красивый юноша-домбрист, так прочно овладевший ее мыслями...

Нет, он шел уже не один — она, Сагыш, была рядом с ним. Его песни были ее песнями... Но почему Курмаш не взглянет на нее, не сыграет именно для нее? Он смотрит куда-то в сто-

рону, его большие черные глаза не замечают ее, он думает о чем-то своем.

— Пора. Спасибо вам... — Курмаш встал, надел чекмень, подаренный Зарбаем.

Сакыш подала ему курджун с тврогом, куртом и лепешками.

— Сестра проводит вас к коню, — сказал Зарбай.

— Спасибо, я сам найду коня. Вы только скажите, куда идти. — Хотя голос его был полон благодарности, слова эти для Сакыш прозвучали холодно.

Спустившись в овраг, Курмаш увидел, что конь его был мертв. Он лежал возле ручья, вытянув ноги, а за трупом, скатавшись в комок, лежала растоптанная змея...

На краю зеленых долин Жидели, ближе к Жаику, рассыпались пески Нарына — немые свидетели истории западных казахов. Нарын служил кладбищем кочевников, умирающих от голода и нищеты. Но в этих песках скрывались и народные мстители.

Не раз по Нарынкумам к Жаику или Едилю шли кочевники, надеясь избавиться от насилия ханов и султанов. Но царские и ханские каратели, стоявшие у рек, встречали их огнем, и Нарын темнел от крови.

Безмолвны пески, они щедры на жару и скупы на влагу для любого скитальца. Идет время, сохнут деревья, мелеют реки, а пески вечны.

Немногие могут прочесть невидимые надписи на песке, узнать, где колодец с прохладной водой, куда скрылась быстрая сага. Но и среди них не найдется такого следопыта, как старый акын Узак...

Сегодня Узак спешит в горы Мынтобе, там его аул.

Узаку знаком каждый куст саксаула, каждая сопка в песках. Долгую жизнь прожил он: бывал и в ханском дворце, и в юртах бедняков. Он пел там, где были люди, пел для тех, кто слушал. Для него все были равны.

Плавню несет его верный конь. К седлу привязан чехол с домброй. На Узак шапка из персидского шелка, отороченная лисьим мехом, и халат из тонкой верблюжьей шерсти. Опясан он ремнем с отделкой из серебра.

Езда настраивает на размышления. Он думает о прошлом. Жизнь прожита не зря. Слава без труда пришла к нему и пронесла его на своих крыльях над Нарынкумами, над всей степью. Во всей орде знают его. Но вот с некоторых пор закрылось в его душу сомнение.

И все это началось с тех пор, как он услышал о юноше-домбристе, который называл себя учеником Узака. Но юный музыкант не пошел по следам учителя, не ласкал слух баев и султанов...

В аулах о нем начали говорить больше, чем об Узак. Да 411

и его кюи, его мелодии нарушали вековые традиции степной музыки. Дух непокорности и бунтарства жил в нем. Игра юноши полюбилась народу. Домбристы каждого аула теперь с жадностью ждали новых кюев Курмаша. Его называли гордым, а его кюи — огненными. Узак уважали, но о нем никогда не отзывались так, как об этом юноше Курмангазы.

Узак знал, что бунтарство всегда было присуще стихам таких поэтов, как Махамбет. Но чтобы кюи воспринимались народом так же, как стихи, еще не бывало. Владыки до сих пор боялись только поэтов, завидовали их славе и остерегались их осуждения, а музыкой они всегда наслаждались.

Музыка сама по себе, без слов, не могла иметь столь покоряющую и призывную силу, как стих. В этом Узак был уверен... Уверен, пока не появились кюи Курмангазы...

Узак отстегнул от седла чехол и взял в руки домбру. Он старался сложить песню в такт быстрому и ровному бегу коня. Но появлялись новые мысли, и он забывал о домбре.

Мрачны и однообразны были пески. Глядя на них, Узак вспоминал о приречных лесах. Они принадлежат графам Безбородко и Юсуповым, которые, выселив жатаков, построили там свои дворцы.

А пастухи, когда-то жившие там, теперь скитаются по пескам в поисках новых мест для зимовок. За право кочевки по своим землям они платят дань тем же Безбородко и Юсуповым.

О них, об этих обездоленных людях, пел Махамбет, о них же создал свои кюи и Курмангазы. А он, Узак, тоже пел о них, но пел по-иному, призывая к покорности...

Седой домбрист вспомнил, как несколько лет назад по этим местам прошел джуг. Такого джуга Узак не видел за всю свою жизнь. Кроме богачей, ни у кого не осталось скота. От Едила до Жайка лежали не прикрытые землей трупы людей и скота.

Отупевшие от ужаса, голодные люди шли к султану Караул-ходже, к графу Безбородко. Порой дело кончалось кровопролитием. А теперь начинается вновь...

По аулам ходят слухи о старшине из рода бершей Исатае Тайманове, который встал на защиту обездоленного народа. По приказу хана Жангира султаны-правители Баймагамбет и Караул-ходжа уже дважды пытались поймать Исатая, закопать его в кандалы и посадить в тюрьму.

Узак не поверил, когда ему сказали, что Исатай написал хану: «Народ желает владеть своею собственностью... А если мы не получим на сие ответа, то будем думать, что нет над нами никакого начальника». Письмо это по дерзости было подобно письму батыра Срыма русскому царю.

— Астапралла, — проговорил Узак вслух. — Вновь в степи назревает буря. Вестник смерти Азраил поднимает свой меч. Чем окончится все это? О аллах, спаси рабов своих, прости непокорных казахов!..

Стараясь отогнать неприятные воспоминания, Узак хлестнул плеткой коня и запел, как, бывало, в юности. Но голос его был хриплым и слабым. Он пел, чтобы отогнать тяжелые думы...

Выбравшись из песков, Узак поехал по узкой утоптанной дороге к видневшемуся вдали аулу. Еще не потерявшие остроту глаза его заметили, что аул многолюден, юрты разобраны, везде телеги и оседланные кони.

«Что за той? — подумал он. — По какому поводу?»

Подъехав ближе, Узак увидел, что неразобранными стоят лишь юрты богатого старшины Акбая и его близких. В центре аула в плотном кольце людей стояли вооруженные нукеры и солдаты Акбая.

— Ассалаумагалейкум, аксакал, жол болсын!¹ Вовремя подъехали к нам. Говорят, что вместе с мудростью к людям приходит покой. Решите наш спор, аксакал. Возьмите свою домбру в руки, заставьте этих непослушных пастухов выполнить волю султана Баймагамбета... — встретил Узака старшина Акбай. — Видите, они хотят освободить посланца от смутьяна и выскочки Исатая...

Среди нукеров Узак увидел пленника — стройного, чернобрового жигита средних лет. Волосыным арканом было скручено его тело. Толпа неистовствовала. Увидев Узака, люди притихли, расступились, приветствуя акына.

— Салем, ата, — склонив голову, сказал пленник. — Верблуду прокалывают нос, вдевают кольцо и водят его по пескам, не давая ни воды, ни травы. Точно так же водят меня, только нос пока цел, ата... — сказал он, обращаясь к Узаку. — Скажи, аксакал, разве мало людей повесил Жангир, разве мало слез пролил Акбай? Говорят, что правду знает не тот, кто много прожил, а тот, кто много видел. Вы не только долго прожили, но и многое видели...

— Скажи свое имя, мой сын, и я отвечу, — сказал Узак.

— Ноян. Я из рода каракипчак. Родился на берегах Сырдарьи, далеко от здешних мест, в Среднем жузе. Теперь у меня не осталось родных. Хан казахов Аргынгазы и хан Хивы Аллакул освободили меня от ласки матери, от забот отца и от сочувствия ближних...

— Все песни казахов печальны, мой сын, — ответил Узак. — Но слезы не помогли нам. Ветры никогда не смогут с корнями вырвать все деревья земли... Никакие силы не смогут выкорчевать зло. Оно рождается вместе с человеком. Береги себя, и пусть возродится твой род...

— Вы правы, аксакал. Но реки пересекают скалу. Нам нужны песни Махамбета и слова Исатая, — ответил Ноян.

— Время — судьба над поступками людей, мой сын, — задумчиво сказал Узак. — Яд рождает противоядие. Злу противостоит добро...

¹ Счастливого пути!

— Аксакал прав. Ноян желает нам добра. Эй вы, блюдолизы Акбая! Развяжите и освободите его, иначе никто из вас не уйдет отсюда живым! — кричали в толпе.

— Батыр Исатай объезжает аулы и собирает жигитов. К нему в сарбазы идут все, кто жаждет мести, кто не хочет, чтобы хан и его султаны помыкали им, как покорной клячей. Мы хотим расселить свои аулы у рек! — крикнул Ноян.

— Почему ты не берешь домбру, аксакал? Не вразумишь их и не заставишь замолчать этого смутьяна? — Акбай был раздражен. Бессильный предпринять что-либо, он еле сдерживал свой гнев. Ему не хватало нукеров и солдат. — Может быть, ты тоже жаждешь людской крови?!

— У песни нет сил против правды! — резко ответил Узак. — Разве ты не казах и разве не знаешь пословицу: «Нет суда над правдивым словом»?

Скрывая злобу и соблюдая степной обычай, Акбай пригласил Узака сойти с коня, войти в юрту. Узак остался на месте. Он слушал Нояна, который читал стихи Махамбета:

Что толку народу от ханов лихих,
Если для нищих, для бедняков
Нет справедливости, правды у них!
Как я хотел бы свой меч обнажить,
Грудю увидеть мертвых голов,
Слышать предсмертный верблюжий рев
Ханов, что бедный народ томят,
Биев, что брюхо себе растят!..
Как я хотел бы среди щедрых лугов
Вольной толпою народ расселить!..

Акбай приказал своим нукерам выбираться из толпы. Но люди не выпускали их. Началась потасовка.

— Оставьте! Пусть разбираются и передадут всем другим кровососам, что народ поднял меч. Придет время — и он сам назначит себе хана! — крикнул освобожденный Ноян.

Жигиты подвели к нему коня.

— Кто пойдет за Исатаем, собирайтесь в дорогу! — крикнул он, вскочив в седло.

Люди бросились к повозкам. Поднялась суматоха. Со скрипом двинулись с мест арбы. Кричали верблюды, ржали кобылицы, потерявшие своих жеребят, блеяли овцы. Половина аула двинулась в путь за неизвестным никому жигитом — посланцем Исатая.

— Сам Жангир-хан приберет вас к рукам. В Нарынкумах будут озера из вашей крови! Плети погуляют по спине Исатая, цепи заменят вам стихи Махамбета! — кричал Акбай им вслед.

В гневе он хлестал слуг, оказавшихся рядом, отшвырнул ногой медный таз, лежавший на пути. Ругая своих нукеров, он не заметил, как на окраине аула показался усталый, босой Курмаш. За спиной у него была торба, а в руках он держал домбру.

Акбай заметил его, уже собираясь войти в юрту.

— Ха-а, держите этого бродягу. Небось он тоже гонец Исатая!

Юношу схватили, исхлестали плетью. Лишь вмешательство Узака спасло его.

— Чем я вызвал ваш гнев, повелитель? — спросил окровавленный Курмаш.

— Замолчи, щенок, и возблагодари аллаха, что остался жив, — злобно процедил Акбай.

— Курмангазы — сын Сагырбая. Конокрад. Это он увел скакуна Дулата, — опознал один из нукеров.

Узак вздрогнул, услышав имя юноши.

— Связать подлеца! — приказал Акбай. Ударом сапога он разбил пополам домбру Курмаша.

— А теперь, повелитель, попробуйте заглушить кюи, рожденные на этой домбре! — Глаза Курмангазы блеснули из-под густых бровей.

— Заткнись! Загнал коня — в зиндан упрячу тебя! А пока посидишь под охраной. Завтра тебя, как щенка, отведут в Ординскую тюрьму...

Акбай ушел в свою юрту. Узак подобрал обломки домбры.

Давно окончили ужин, хозяева разошлись по другим юртам, оставив Узака одного. Сквозь тундык смотрели звезды. Посередине юрты, под большой треногой, слабо мерцал костер.

Узак понимал, что, нарушив обычаи гостеприимства и оставив его без собеседника, Акбай показал свою власть над старым музыкантом. Он мстил Узаку, не сказавшему ни слова против Исатая.

Никогда Узак не был так одинок. Он не мог вспомнить случая, чтобы акын или домбрист проводил вечер в уединении.

Так уж повелось в аулах с древних времен. Каждый вечер люди собирались возле домбриста или просто уважаемого старца, сказителя или веселого балагура и молча слушали песни и сказки, были и небылицы о жизни в степи...

Впервые в вечернюю пору Узак был предоставлен самому себе. Перебирая костяные четки, он беззвучно читал молитву и думал о людях, покинувших аул, о гневе Акбая, о молодом домбристе, который сидел сейчас под охраной.

Он просил прощения у аллаха за все свои неверные шаги, просил совета и помощи у пророка, потому что сейчас ему трудно было понять, что происходит в ханстве. Чтобы отвлечься от мыслей, он начал осматривать юрту...

Подушки и толстые одеяла, сложенные вместе с кошмами, громоздились на деревянной кровати, отделанной адаевскими косторезами. Тут же висело инкрустированное седло. Его, наверное, делали мастера из рода шеркеш. Ведь все лучшее, что создается аульными мастерами в Нарынкумах, доступно Ак-

баю. И эти широкие узорчатые ленты, висящие вдоль решетчатого остова юрты, — дело рук адаевских мастериц. А этот мягкий ковер Акбай, наверное, купил в Хиве за добрый косяк кобылиц.

Посмотрев на ортеке¹, Узак вспомнил, с какой злобой Акбай сказал Курмангазы: «Загнал коня — в зиндан упрячу тебя!»

Постепенно в Узак просыпался гнев. «Рассуди, аллах, кто же прав? — мучительно думал он. — У Акбая несметные табуны, а он из-за одного коня готов убить человека. Из-за одного коня он готов начать вражду со всем родом кзылкуртов, к которому принадлежит Курмангазы».

— Гнев без воли — вдовец! — шептал он, глядя на потухающие угольки. Пальцы осторожно легли на струны. Невысказанная обида, смятение и растерянность — все смешалось в сердце. Тихо и надрывно заговорили струны. Тоскливая мелодия поплыла над угасшим костром.

...Курмаш лежал со связанными руками на козлиной шкуре. Дрожа от холода, он слушал приглушенные звуки незнакомой мелодии, доносившейся сквозь оголенный остов юрты. Курмангазы не знал, что песня была создана Узак давно, что она посвящена батыру Срым и что Узак обычно исполнял ее в кругу простых бедных жигитов. В этой музыке не было ни гнева, ни ярости. Лишь сожаление, боль и печаль. Врагов Срыма он называл кафирами. Говорил, что нельзя уподобляться кафирам и проливать кровь... Если бы Срым не поднял свой меч на хана, то он бы жил долго. Каким бы смелым ни был человек, он не должен идти против воли аллаха. Аллах велик, а жизнь — это страдание. Ничто не может измениться без воли аллаха! Так обычно заканчивал Узак свою песню.

Но сейчас Узак исполнял «Тоску Срыма» для себя, беседовал сам с собой. Музыка помогала ему свободиться от тяжелых мыслей, неожиданно нахлынувших и смутивших его душу в эту летнюю звездную ночь...

Вслушиваясь в тихую песню-речитатив, Курмангазы понимал, что в ней где-то далеко запрятан гнев. Только холодный рассудок умудренного жизнью старика брал верх над чувствами и страстью музыканта. И песня поэтому звучала тоскливо. Эх, если бы сейчас развязали руки и дали домбру! Он исполнил бы этот кюй по-своему. Он содрал бы с него печальный покров, дал свободу гневу и страсти, вдохнул огонь. И песня, как пламя, вырвалась бы в эту зияющую за решеткой юрты пустоту, подняла на ноги Акбая, заставила бы выть от страха его гончих собак, вселила бы ужас в его сердце... Эх, славный Узак, до чего же печальна твоя песня. Она как вода в глубоком колодце пустыни. Ни всплеска, ни волн...

¹ Деревянные фигурки лошадок, расположенные на деревянной подставке. Тонкие нити от фигурок привязаны к пальцам домбриста, и лошадки «танцуют» в такт игре.

Курмангазы напряг слух. Сняв замок с дверей, пробирался к нему охранник. Он тайком принес еду и шепотом сказал, что он — брат Курмаша, потому что из рода кзылкурт. Но он не может освободить его, боится за своих детей. А Акбай приказал ему готовить коней, чтобы утром, вместе с жандармом, сопровождать Курмаша в аул бая Дулата...

После завтрака Узак вошел к Акбаю и предложил ему своего коня.

— Возьми его вместо своего скакуна, которого загнал сын Сагырбая. Освободи жигита. Он домбрист, которому нет равного во всем нашем жузе.

— Я не хочу лишать вас единственного коня. Табуны мои еще не поредели, аксакал. Великодушие ваше удивляет меня. Зачем вам нужен этот конокрад? Впрочем, не мне разгадывать мысли такого акына, как вы. — Он развел руками, скрывая улыбку. — Зачем вам нужен этот бродяга? Ведь он из рода кзылкурт. А вы, аксакал, из почтенного рода байулы...

Сощуриив глаза и нервно покусывая толстую нижнюю губу, Акбай смотрел на Узака. И Узак почувствовал себя совсем беспомощным, дряхлым стариком. Где былая сила, где его слава и дерзость? Переступая с ноги на ногу, он, как мальчишка, стоял перед Акбаем, облаченным в воинское одеяние. Сверх парчового бешмета у бая была натянута кольчуга, за плечами — ружье, сбоку — короткий тяжелый бухарский меч, на голове — лисий треух, обшитый серебряными пластинками, на ногах — остроносые саптама с длинными широкими голенищами, в руках — короткая восьмигранная плетка. Он даже не предложил Узаку сесть...

Овладев собой и выпрямившись, Узак степенно попрощался с баем, подошел к осунувшемуся от бессонницы Курмашу, отдал ему свою домбру.

— Эту домбру знают во всем Нарыне. Тот, кто отберет ее у Курмангазы, будет проклят всеми! — сказал он.

Курмаш долгим взглядом проводил печального Узака. Потом оглядел сверкающую от украшений домбру. Ночной охранник из рода кзылкурт подошел к нему:

— Доверьтесь мне и дайте домбру. Вам будет неудобно нести...

...Акбай помчался в окружении свиты. Следом везли Курмангазы.

Ехали по степной дороге. На пути то и дело встречались косяки кобылиц — вороных, гнедых, серых с белыми пятнами на лбу, а то совсем белых как снег. Не знавшие седла и узды дикие жеребцы ревниво охраняли их. Каждый стремился держать своих соперников в отдалении.

Иногда, грозно согнув шею и волоча гриву, храпя и фыр-

кая, жеребец бросался вслед за молодой кобылицей, уходящей к другому косяку. Ускользая от погони, кобылица с веселым ржанием неслась к чужому жеребцу. И тогда летели клочья шерсти, искры сыпались от ударов копыт. А кобылица, кокетливо изогнув шею и задрав хвост, носилась по кругу, приближаясь то к одному, то к другому косяку. Старые кобылицы кусали ее, отгоняли прочь. А она не обращала внимания и все носилась, носилась по кругу...

Охмелевшие от ее звонкого призывного ржания жеребцы с яростью грызли друг друга, бились до конца.

Теперь уже не одна молодая шалунья, а все кобылицы с той и другой стороны вплотную подходили к вожакам, подбадривали их тихим грудным ржанием...

Только самые верные подруги останутся на стороне побежденного и будут готовы сражаться за него. Но такой исход вносил не только путаницу в табуны и причинял много хлопот табунщикам, он мог стать и причиной раздора между их хозяевами-баями.

Поэтому жигиты, охранявшие косяки, держа наперевес свои куруки, во весь опор неслись к драчунам и разнимали ошалевших, слепых от гнева и ярости жеребцов. Немало доставалось в таких случаях и изменнице, если ее вовремя не уносили ноги.

— Чьи это табуны? — спрашивал Курмангазы у своих охранников.

— Акбая.

— Дулата.

— А эти табуны — подарок казахских баев графу Безбородко. Все лучшие пастбища, разбросанные в этих краях, переданы Безбородко. Акбай и Дулат держат здесь свои табуны по его разрешению. Здесь содержат коней и для войск Жангир-хана...

Встречные табунщики, ответив на вопросы, заговаривали с Курмангазы, косо поглядывая на жандарма. Весть о том, что Курмангазы пойман и закован в цепи, шла от шалаша к шалашу, от аула к аулу и быстро долетела до друзей Курмаша — Сармана и Зарбая.

Дошли до песков. Вброд пересекли теплую речку. Проехали по зарослям саксаула, вновь вошли в барханы...

Ночевать пришлось под куполом одинокого мавзолея, возле колодца. Напоили и накормили коней. Жигит из рода кзылкурт, посоветовавшись со своим напарником, снял наручники с Курмангазы. Жандарм не стал вмешиваться. За едой он только угрюмо посматривал на всех троих... Скорее бы выбраться из песков, добраться до аула бая. А там он уже не взял бы с собой для охраны этих двух кайсаков, которые, может быть, заодно с конокрадом...

Курмашу вернули домбру.

— Хорошая балалайка, богатая! — на всякий случай стараясь быть дружелюбным, сказал жандарм.

Курмангазы попробовал воспроизвести услышанный в прошлую ночь кюй Узака, но играть не смог. Руки болили от наручников. Охранники, приготовившиеся слушать музыку, опустили глаза. Они увидели на руках Курмангазы красные следы от наручников.

Потушили костер, и все потонуло во мраке. Жандарм, не выпуская ружья, улегся в глубине мавзолея. У входа легли жигиты-охранники. Курмангазы растянулся возле потухшего костра. За стеной мавзолея, насторожив уши, застыли усталые кони.

Никто из четверых не смыкал глаз. Вслушиваясь в жалобный писк заблудившейся в ночи одинокой птицы, каждый из них думал о своем. В полночь начался ветер. Кони в страхе прижимались друг к другу. Жандарм про себя проклинал свою судьбу.

Вдруг до слуха Курмаша сквозь вой ветра донесся мелодичный гул. Он то нарастал, то убывал. Где-то в глубине пещер, будто из подземелья, раздавался могучий, приглушенный расстоянием звон сотен тяжелых медных колоколов.

Никто, кроме Курмангазы, пока не мог отличить этот звон от воя ветра. Курмашу чудилось, что гудит и поет сама земля, у него захватывало дух от этих могучих аккордов, от волшебного гула земли.

— Слышите? — прошептал он, обращаясь к охранникам.

— Ветер плачет... — ответил один из них.

Другой жигит приподнялся и прислушался. Потом опустился на место:

— Это каменный лес поет. Их много в Нарынкумах...

— Что? Что случилось? Говори, кайсак! — спросил жандарм, торопливо подбирая выпавшее из рук ружье.

— Деревья поют. Песню знаешь? — успокоил его охранник-кзылкуртовец.

— Тьфу! Всяк вой у вас песня, — жандарм ворчал и мешал слушать.

Курмангазы встал, позвякивая цепями, подошел к выходу, прислонился к стене. Напрягая слух, ловил он голос окаменевшего леса.

А лес все пел и пел.

Песчаная буря коснулась его ветвей, и он, проснувшись от тысячелетнего сна, гудел, гудел, не в силах удержать песни рек, птиц и зверей, песни пахарей и воинов, некогда заселявших долину у леса...

Давно иссохли реки, испарились родники, погибли города, высохла трава, захлебнулись песками каналы. Сотни и тысячи лет прошло с тех пор, как вили в лесу гнезда певчие птицы, когда в его тени отдыхали караваны...

Все вымерло вокруг, все погребено под барханами. А лес живет. Он не помнит, когда на его ветках зеленели листья, когда он слышал плеск воды и трели соловья. Он окаменел от времени. Каждый ствол в этом лесу черен, тверд и

блестит, как заглянцованное от пламени дно чугунного котла.

Ох, если бы человек мог понять слова этой песни, понять этот гул и по нотам разобрать его! И песня бы та, наверное, унесла его в прошлое. Он услышал бы трагический рассказ о судьбах края, увидел царства и народы, жившие здесь; перед его взором встали бы шатры воинственных саков, которых не мог одолеть Александр Двурогий; крепости туранцев, куманов и кипчаков, погребенные под барханами; дворцы парфян и согдийцев; он бы услышал некогда звеневшие здесь песни калмыков и ногайлинцев и древнюю песню могучего и легендарного Сыпыра-жырау. Ведь люди помнят, что он когда-то тоже бывал здесь...

Как жестоко судит время людей за распри, за зло и тщеславие, за войны...

А сейчас только волшебный кюй несется из темных глубин песков. Курмашу чудится, что все в этом мире — и древний мавзолей, и звезды, еле пробивающие свой свет сквозь мглу, и эти цепи на ногах, — все состоит из звуков великой трагической песни каменного леса...

...Долго, долго еще доносилась до слуха Курмангазы песня каменного леса. Он ехал, не видя перед собой ничего, кроме спины охранника...

Потом жандарм приказал идти пешком, и охранник-кзылкуртовец снял цепи с ног Курмаша. Глотая дорожную пыль, шел он по степи. Его успокаивало лишь то, что Дулат сейчас не в Жидели, а в своем главном ауле. Жиделинцы не увидят цепей на ногах и аркана, к которому Курмаш привязан, как бык или верблюд.

Горло пересохло от жажды, руки ныли от ран, а спина — от усталости и побоев. Но Курмаш все не мог забыть гул мертвого леса и песню Узака. Порой думалось, что гул леса и кюй Узака слились воедино, и от мощных аккордов болела голова...

Семья Дулата покинула стоянку. Она перебралась ближе к Черным родникам, чтобы держать дойных коров на лучших выпасах. К тому же отсюда ближе к ставке Жангир-хана, к его войску. Безопаснее.

В старом ауле Дулата остались лишь сторожа и самые бедные жатаки, не способные даже перевезти свой скарб на новое место.

...Сторожа грузили остатки байского добра на коров. В стороне стояла двуколка, в которой сидел русский солдат.

Дулат и Акбай приказали везти сына Сагырбая в Ординскую тюрьму. Загорелый, добродушный на вид солдат с маленькими нафабреными усами и с веселыми искорками в бледно-голубых глазах остановил свой взгляд на Курмаше. Он внимательно осмотрел его широкие плечи, выпирающие

из рваного чекменя, скуластое широкое лицо, пыльные ноги и весело крикнул на чистом казахском языке:

— Ну, садись, жигит, поедем!

Курмаш, оглядевшись и не найдя знакомых, нехотя двинулся к двуколке. Жандарм соскочил с коня:

— Надеть на него наручники и гнать пешком, как приказано!

Отвязав от седла веревку, жандарм привязал Курмаша к телеге за наручники. Солдат насмешливо посмотрел на жандарма и отвернулся.

— А ты иди позади. Нечего таращиться,— прибавил жандарм, дернув Курмаша за руку.— А ну, живо! И эти двое пойдут рядом с телегой,— он указал на двух охранников, прибывших вместе с ним.

Они уже двинулись с места, когда Курмаш неожиданно увидел мать, бежавшую навстречу. Видимо, она знала об его аресте, знала, что его провезут здесь, и пришла сюда, в этот старый аул Дулата. Курмангазы рванулся навстречу матери и упал. Волосяной аркан натянулся, заныли руки. Солдат торопливо остановил коня. Курмангазы еле встал.

— Куда же везут тебя? — запричитала мать, обняв сына.

Что-то оборвалось в душе Курмаша, он сник и зарыдал. Впервые в жизни, громко, неудержимо, всхлипывая, как мальчик.

Мать умолкла. Она оторвала голову сына от своей груди и вгляделась в его лицо. Утирая слезы, мать заметила брезливую гримасу на лице жандарма.

— Успокойся, сынок...— попросила она.— Не показывай свою слабость врагу!

Жандарм поехал, ощутив на себе холодный взгляд солдата. Хмуро смотрели на него и двое охранников — слуги Акбая. Курмангазы поднял голову.

— Это подарок акына Узака...— Выпрямившись, он взял с телеги домбру и передал матери.— Успокойся, это я не от страха. Виноват, что уехал от вас, не предупредив...

— Пусть эта домбра принесет тебе счастье, сынок. Я сохранию ее...

Двуколка со скрипом двинулась с места. Мать, утирая глаза краешком кимешека, пошла за сыном.

— Смотрите, люди! Сам Узак признал кюи моего Курмаша,— говорила она, обращаясь к толпе любопытных.— Теперь все узнают, что сыну Сагырбая отдал свою домбру самый знаменитый акын и домбрист Младшего и Среднего жузов... О аллах, за что ты наказал меня? — вновь зарыдала она, когда сын уже был далеко.

В сумерках двуколку, ехавшую в Орду, встретили несколько всадников. Среди них был Зарбай. Они быстро и бесшумно навалились на солдата и жандарма, связали их.

Собрав последние силы, Курмангазы вскочил в седло. Табунщики помчались прочь от дороги, в глухую вечернюю степь. Вместе с ними ушли и двое кзылкуртовцев, посланных Акбаем.

Пастбища, подернутые осенней позолотой, укрыла ночь. На серебристую ленту речки с шумом опустилась запоздавшая стая уток. Со стороны овечьих тырновок изредка доносились голоса чабанов. Возле юрт, расставленных недалеко от речки, загорелись костры. В степи запахло дымом.

Чабаны дремали возле юрт, подложив под головы кошмы и седла. Спокойнее стало в долине. К ночи присмирели даже шаловливые кобылицы.

Лишь где-то в темноте время от времени слышался крик уставшей за день верблюдицы да слабый плач заблудившегося верблюжонка... Возле одной из юрт собрались табунщики.

— Слышали? Опять напали на кзылкуртовцев. По милости аллаха солдаты султана Караул-ходжи снова обируют людей, — говорил пожилой худощавый табунщик в поношенном льсьем треухе, надринутом на широкий лоб.

— Попался бы мне наедине этот ходжа, — задумчиво сказал другой табунщик, подтягивая под себя козлиную шкуру. — Он больше не смог бы седлать чужих коней!

Это был Зарбай. Он лежал на правом боку и задумчиво смотрел на гаснущее пламя.

— Исатай зовет нас к себе...

— Нужно подумать, — тихо сказал после долгого молчания пожилой табунщик. — Мы часто враждовали с родом Бершей. А теперь идти к ним?.. Как бы не стать паршивой овцой, позднее бляение которой всегда вызывает досаду. Если мы объединимся с жигитами рода бершей, то уже нельзя будет сдерживать коней при виде врагов, идущих на их аулы...

— Все аулы наши. Разве это не аулы казахов?! — рассердился Зарбай. Чтобы успокоиться, он поднялся с места, подошел к костру и подбросил в огонь комки сухого конского помета.

Песня слышалась от реки. Зарбай прислушался.

— Где Курмаш наш, там и песня... — заметил старый табунщик.

— Он же из рода кзылкурт, — насмешливо ответил Зарбай. — Значит, не наш...

Все рассмеялись.

— О, сколько родов и племен у нас, казахов!.. — с досадой произнес юноша, сидевший рядом.

...Прохладой веет от реки. Изредка слышен шлепок выпгнувшей из воды рыбы. Тихо, боясь нарушить песню, переговариваются жигиты. Курмангазы задумчиво смотрит на водную гладь, по которой плывут ночные облака. Порой из-за

облаков выглядывает луна. Спокойная, задушевная мелодия рождается в теплой ночи.

Миганье звезд, шорох речной волны, шелест трав, стук копыт пасущихся коней, таинственные звуки степи и тихий, чистый голос Сақыш — все это слилось в единую музыку. Курмаш настроил домбру и, стремясь отвлечься от тяжелых переживаний, осторожно перебирает струны. Люди подсаживаются ближе к домбристу.

— Тише, Курмангазы играет... — Молодой пастух подносит палец к губам. Домбрист замечает этот жест и с улыбкой кивает головой.

Да, он будет играть. Он знает, что отныне не будет расправлять раны и вызывать у слушателей лишь жалость, как это делал Узак.

Нужно быть акыном, рассказывающим народу о делах батыров, звать народ к мечу, как Махамбет... Люди всегда готовы слушать кюи Курмангазы. Они верят в него, ждут вдохновенной музыки. Песня и кюи — это крылья народа. И если однажды умрет песня, умолкнут кюи, то замрет и задохнется от тоски вся степь. Не время думать о ранах...

Он играл, играл как одержимый, с каким-то бешенством, вкладывая всю страсть, весь темперамент, всю силу таланта в этот новый кюи. Гул каменных лесов, дикое ржание коней, бунтующие песни батыров — все было в этом кюе.

На самой высокой ноте застыла песня, но никто не шевельнулся. Люди долго еще сидели как заколдованные, не в силах освободиться от мыслей, порожденных ею.

Курмангазы направился к юртам. Молча разошлись друзья. Мимо пасущихся коней и спящих овец пошли они к своим хижинам.

Бесшумно вынырнув из темноты, к Зарбаю подошло несколько жигитов. Зарбай пригласил их в свою юрту. Возле костра остался лишь худощавый табунщик в треухе. Он внимательно прислушивался к каждому шороху.

Курмангазы тоже вошел к Зарбаю. В юрте было темно, и никто не обратил внимания на вошедшего домбриста. Зарбай зажег светильник, поставил его на перевернутую вверх дном деревянную ступу и внимательно осмотрел ночных гостей.

— Ассалаумагалейкум! Как добрались?

— Уагалейкумассалам, Зарбай! Здоров ли ты? Мы бесшумно пробрались. Видишь, даже сторожевые псы не заметили. Коней заарканили подальше от этих мест, в камышах...

Один из пришельцев подошел к светильнику, сел и, разувшись, вытащил из-под стельки сапога аккуратно свернутую тряпочку.

— Эта бумага написана Исатаем. Жигиты, адаевцы и бершцы поставили под ней отпечатки своих пальцев. Должны поставить и мы, если согласны с письмом. Оно будет вручено самому генерал-губернатору.

— «Наш владыка — хан Жангир, сын Букея — бесчинствует... — Жигит по слогу распутывал арабскую вязь. — Мы не ограждены никаким законом, подвергаемся обидам, притеснениям, переносить которые далее не имеем возможности, потому что султаны и баи нас тоже угнетают и отбирают у нас скот и имущество... учиняют побои, наносят раны...»

Все взгляды были устремлены на чтеца — плечистого, широкоскулого жигита в круглой маленькой шапке на голове и в плотно облегающем тело верблюжьем чепане. К поясу жигита была привязана маленькая тяжелая булава.

Кончив читать, жигит оглядел табунщиков.

— Понятно? — спросил он.

— Зачем спрашивать? Читай...

— Если вы согласны, то намажьте сажей большой палец и поставьте свою тамгу под прощением...

Вместе со всеми поставил отпечаток своего пальца и Курмангазы и вышел в ночь. Спали табуны коней, отдыхали табунщики. Курмангазы пошел к реке, откуда доносились тихие призывные песни Сақыш.

Старый Жакып снова стоял у ворот овечьего загона. Вернулся в свой аул и Курмангазы. Пришел он открыто, не боясь Дулата.

Дулат знал о возвращении домбриста, знал и о том, что у домбриста появилось много друзей по всей степи. Народ признал его, и теперь опасно связываться с ним. К тому же и табунщики вернулись в аул, зовут народ объединиться с сарбазами Исатая. Вся степь, все аулы словно взбесились...

Дулат распутал слух, что простил Курмангазы и не будет требовать с него выкуп за загнанного коня. А сам, затаив злобу, послал письмо приставу.

Вернулся в аул и Сарман. Он изменился за лето: загорел и возмужал. В этом рослом, красивом жигите трудно было сразу признать того нерешительного табунщика, который умел лишь лихо закладывать насыбай под язык.

Сарману повезло. После бегства Курмаша по просьбе проезжего купца Акбай отдал его в погонщики каравана. На привалах молодой слуга купца обучал Сармана грамоте. Остановившись в каждом ауле, селе, городе, караван почти месяц добирался до Ак-Мечети. За это время Сарман научился кое-как читать. Чтобы добраться обратно до своего аула, Сарман нанялся проводником маленькой русской экспедиции, пробиравшейся через степи к Оренбургу.

Экспедицию возглавлял чудаковатый, странный, как показалось Сарману, узкобородый человек в офицерской форме без погон. Они двигались гораздо медленнее, чем купеческие караваны.

По дороге Сарман без конца удивлялся причудам хозяина, но не мог отгадать, кто же этот человек по роду занятий.

Хозяин порой, остановив всю экспедицию, лечил больного в каком-нибудь ауле или срисовывал орнаменты с какого-нибудь древнего мазара. Подолгу сидел он возле надмогильного камня с орнаментом, не уставая записывал небылицы старых аксакалов...

Этот русский знал много казахских песен, сказок и преданий о батырах, но хотел знать еще больше. Зачем? Одному аллаху ведомо. Многие в нем было непонятно Сарману, но он полюбил его и старался как можно лучше выполнить любой его приказ. Человек этот нравился Сарману своей внимательностью, великодушием и любовью к детям жатаков.

Его звали Владимиром Ивановичем, сам он называл себя «ориенталистом». От него Сарман узнал очень многое о жизни. Он мог теперь читать даже русские книги, правда, медленно и по слогам, но главное, что буквы для него перестали быть загадкой.

В одном из аулов экспедицию встретил казах лет тридцати, одежда его походила на одежду русских, а звали его Аканом.

Оказалось, что Владимир Иванович давно знаком с ним, и потому решено было устроить маленький праздник «в честь встречи с другом по Петербургу». Этот Акан три дня сопровождал экспедицию, но ни разу не заговорил с Сарманом и держался высокомерно. Владимир Иванович и Акан без умолку рассказывали друг другу новости. Сарману особенно запомнился один их спор, услышанный в день его ухода из экспедиции.

— Учение доступно лишь живущим в султанских усадьбах, — говорил Владимир Иванович. — В этих усадьбах построены школы, живет мулла, который ведет мусульманское обучение детей. Это естественно, но хотелось бы, чтобы султаны и вообще влиятельные казахи приглашали для обучения своих детей настоящих учителей. А было бы еще естественней, если бы учителя совместно обучали и детей бедняков.

— Учение должно быть предметом занятия достойных людей. А пастухам оно ни к чему и будет лишь обузой, — сказал Акан.

Сарману это не понравилось. Оставив работу, он уселся возле выюков и стал слушать дальше.

— Не понимаю, не понимаю тебя, господин Акан, — начал горячиться Владимир Иванович. — Неужто и ты таков? Что же это? Общее явление в степи: умный и способный казах начинает учиться, служит, живет в русском городе, усваивает кое-какие европейские привычки, вкусы, иногда даже лучше, чем иные русские, потом возвращается в степь и становится своего рода лакеем степных царьков и баев. А эти баи от российских помещиков отличаются лишь тем, что разводят овец вместо свиней. На что же тогда, сударь мой, позволяете спросить вас, вам нужно учение, если ваше просвещение не идет

дальше поярковых шляп, жилетов, пиджаков, узких панталон, керосиновых ламп и тарантасов? Если в духовную жизнь своего степного народа вы не внесете ничего нового, то и учение тогда ни к чему... А еще я слышал, что молодые образованные люди — дети имущих казахов — теперь потянулись в «святую» Бухару. Изучают там персидский, арабский языки, мусульманские законы, а потом в лучшем случае становятся муллами. Кичась своей образованностью, они измываются над простым людом, лакействуют перед султанами...

— Я говорю о другом, — снова начал Акан. — О том, что учение вредит бедному люду. Оно вредит даже некоторым из нашей среды — из ак-суека. Вы слышали о том, что старшина Исатай и поэт Махамбет перестали выполнять приказы хана Жангира, скрываются в степи и призывают народ к бунту? Они ведь не бедны и хорошо знают арабскую, татарскую, да и русскую грамоту...

— Не от грамоты идет сей бунт! — вскипел вдруг Владимир Иванович. — Бунтует и русский мужик. Ох как бунтует... Разин, Пугачев. А у вас Срым Датов, а теперь Исатай, Махамбет. Кстати, я знаю Махамбета, встречался с ним в Петербурге. И тогда же, думается мне, говорил ему, что не рогагины, не камча, а учение поднимает народы из глубоких темниц, господин Акан!..

А что касается русской интеллигенции, то наиболее достойные делают все, что в силах, для так называемых «иностранцев». К сожалению, наш интерес к вашей народности служит пока что только для пополнения европейской науки об Азии или же для папок тайной дипломатии и министерства внутренних дел его императорского величества. Что делается в целях пробуждения казахского, или, как пишут, кайсацкого, народа? Не в наших пока это силах. Не всем суждено на веку стать декабристами...

Видимо, настанут времена, когда народы пробудятся. — Владимир Иванович говорил, уже не обращаясь к Акану, а глядя куда-то в сторону. — Ибо немало среди них Махамбетов и таких же пытливых умом людей, как этот жигит, — он указал на Сармана. — Видишь, с каким вниманием слушает, а ведь пришел ко мне только попрощаться...

Впрочем, это я так, разговорился. Дело, к сожалению, решают не слова, а пушки.

А ну, господа, поблагодарим его! — обратился Владимир Иванович к своим спутникам, указывая на Сармана. — Правда ли, что твой аул в двух днях ходьбы отсюда?

— Правда, — ответил Сарман, тепло прощаясь к русским ученым человеком, ставшим ему близким за долгий путь. Зато Акан даже не посмотрел в его сторону.

— Ну, шагай с богом...

Перед уходом Сарман узнал, что Акан — племянник султана-правителя Баймагамбета.

...Прибытие табунщиков и чабанов с летних пастбищ, неожиданное возвращение Курмангазы и приход Сармана вновь оживили Жидели, где летом оставались лишь старики и дети. Все беды словно забылись. Сарман бесконечно, со всеми мельчайшими подробностями рассказывал о русском ученом человеке, которого он сопровождал, Курмагазы знакомил любителей музыки со своими новыми кюями. Зарбай беседовал с табунщиками и чабанами, приезжавшими к нему поодиночке из других аулов.

Чаще стал выходить из юрты и старейшина жиделинцев Алдияр. Он ходил, опираясь на свою белую палку, от одного дома к другому, молча слушал новости, радовался игре Курмангазы.

...В людях Курмаш не заметил особых перемен, только мать его поседела за эти месяцы. Дождавшись старшего сына, она теперь думала о младшем — Байгазы, который вот-вот тоже должен был вернуться в аул, но почему-то все еще не возвращался, хоть ягнята, которых он пас, давно уже подросли и влились в общее стадо.

Старый Жакып сообщил, что Байгазы приедет, как только Дулат покинет свою стоянку и переберется в большой аул. Мальчик сейчас помогает слугам Дулата доить кобылиц, следит за жеребятами.

— А Дулат к нам больше не вернется. Не понравились мы ему. Будет слать гонцов с приказами из большого аула. Я знаю, что это будет так. Так спокойнее, — многозначительно говорил Жакып, поглаживая клок редкой бородки и сощуриив старческие глаза. Своей верблюжьей походкой он шагал вокруг загона, поправляя покосившиеся за лето столбы. — Всего на полтора месяца поехал на жайлау. Срок короткий, а вот все проклятое байское имущество захирело. Ни гвоздя, ни веревки, ни колышка не пришлет Дулат. Мы, как арабские волшебники, все должны сделать сами. Лес для загона найти, аркан сплести, дом приготовить... А ему, этому Дулат-баю, некогда заняться собственным хозяйством, ему лишь девчонок подавай. Старый верблюду... Аллаха не стыдится. Я знаю, что это так...

Последние слова Жакыпа болью отдались в сердце Курмаша. В первый же день приезда он узнал, что Дулат увез Акшолпан, чтобы она вместе с другими девушками готовила кумыс для байской семьи. Он хотел спросить о ней у Жакыпа, но не смог. Постоял, понаблюдал, как старик, кончив чинить ограду, принялся кетменем рубить на ровные квадраты утрамбованный за год овечий навоз.

— Курмашжан, заменил бы меня на денек, отару мою взял. Никак не управлюсь, — неожиданно ласково сказал Жакып и, не дождавшись ответа, словно оправдываясь, продолжал: — Нужно дрова готовить на зиму. Я знаю, что это так... А тебе только дробу подавай, — продолжал ворчать старик. — Что? Вспоминаешь, как бежал отсюда? А конь какой был!

Наделал ты тогда шуму... Но все улеглось. Аллах помог тебе: жив остался и в Сибирь не погнажи... Народ больно злой на бая стал. Да и сам ты крепок. Вон какой! Дулат боится. Знаю, что это так...

Курмангазы уже не слышал его. Он шел мимо покосившейся за лето землянки Акшолпан. Окна были задернуты высохшей, потрескавшейся бараньей брюшиной, вместо трубы торчало ведро без крышки. Перед дверью лежали комья коровьего навоза, обглоданная кость. Нет хозяйки, нет Акшолпан... Конечно, и другие дома не богаче, но порог у них чище.

А в общем-то везде одно и то же. Сложенный в кучу кизяк, утопанные плотно стога терскена, саксаула — жиделинцы готовятся к зиме.

Зелень на лужайке, где весной собиралась молодежь, затоптана и пожухла, пожелтела. Вся степь вокруг, все долины меж холмами до самых песков окрасились в глинистый цвет. В овраге, по которому когда-то пришла к нему в поле Акшолпан, все скошено. Так, наверное, выглядит и та лощинка, где они встретились впервые.

А беркут, что кружил тогда над ними и разделил их тайну. Где он сейчас? В небе его не видно. Поди, сидит на верхушке мазара, как всегда. Акшолпан тогда смеялась над ним. Скрывая смущение, стараясь казаться смелой, кричала птице:

— Что ты кружишь над нами, что ты смотришь? Видишь, какая я!..

А Курмаш, то ли от радости, то ли от смущения, уткнулся тогда лицом в прохладную траву и повторял: «Акшолпан, Акшолпан...»

Акшолпан покинула летний аул Дулата. Она бежала тайно. Отец был далеко. Он пас байских верблюдов. Да и что мог сделать он против бая, который хотел надругаться над дочерью?

Еле вырвавшись из рук Дулата, Акшолпан в разорванном платье бросилась прочь с байского двора. Дулат, сопя и топая сапогами, в одном нижнем белье побегал догонять ее, но волкодав, которому Акшолпан каждый день подбрасывала куски мяса из казана, с грозным рычанием преградил ему путь.

— Цыц, проклятый! — задыхаясь, произнес сквозь зубы Дулат. — А ты погоди, сука. Завтра я тебя с вечера запроу в отдельной юрте...

Он бесшумно скрылся в дверях своего дома.

Она не вернулась в байскую юрту. По узкой тропинке направилась в степь. Шла всю ночь и решила отдохнуть лишь тогда, когда на небе появилось солнце Плеяд — древний звездный компас чабанов и табунщиков. Отец научил ее определять дорогу по звездам. Убедившись, что идет в Жидели, она успокоилась. Днем, свернув с тропки, Акшолпан

забралась в траву, нашла дикий лук, ягоды. Утолив голод, зашагала дальше. Но, пройдя версты две, вновь спряталась в зарослях травы. По дороге шел караван, и она не смогла до самого вечера выйти из своей засады, боясь, что ее увидят и скажут Дулату.

Вновь наступила ночь. Лежа под открытым небом, вздрагивая от крика ночных птиц, она шептала слова древней молитвы, обращаясь к звездам. Она просила небо выполнить ее просьбу — сохранить ей здоровье и честь, охранить ее от нападок людей и зверей, дать ей силы дойти до родного аула и увидеть когда-нибудь своего Курмаша.

Проходила ночь. Акшолпан встала вместе с утренней зарей и вновь зашагала по еле заметной, заросшей дороге.

Заметив всадника, она снова свернула в сторону и притаилась в траве. Всех боялась она — и конных, и пеших. Иногда дорога терялась в такырах, в песках или зарослях таволги, и она долго кружила на одном месте, пока не находила другую тропу.

Но вот дорогу преградила маленькая речка. Она выбрала место поглубже и стала купаться. Прохлада сняла усталость, придала силы. Она выстирала свое платье и кое-как скрепила порванные места тонкими сухими стебельками травы. Тропинка, по которой она шла, круто сворачивала к востоку и исчезала на сопке. Акшолпан постояла немного в задумчивости, затем решительно зашагала дальше. Но сразу за поворотом она неожиданно столкнулась с повозкой. Двое русских ехали на ней — жандарм и солдат.

Акшолпан растерялась от страха, но уже в следующий миг овладела собой и готова была нырнуть в траву. Тут же раздался резкий окрик: «Стой!» — и грубые мужские руки схватили ее выше локтя.

— Хороша кайсачка! — засмеялся жандарм. Его рука потянула только что зашитое платье. Акшолпан с мольбой взглянула в сторону солдата.

Упершись босыми ногами в маленький куст чия и напрягая все тело, она рванулась. Но руки обидчика не ослабли.

— Ах ты, дикарка! Я тебя сейчас, сейчас... — Жандарм засопел.

— Ваше благородие, пустите ее! Боится она, не хочет... — сказал солдат.

— Марш вперед! А телегу оставь! — заорал жандарм, продолжая тащить Акшолпан. — Ты не тужи, служивый, и тебе достанется... Иди, оставь нас малость!

Акшолпан, изловчившись, вцепилась зубами в руку жандарма. Тот заорал от боли и ударил кулаком ее по лицу. Потом вдруг поднял ее и понес в траву.

— Мам-ма! — закричала Акшолпан.

И вдруг руки жандарма ослабли, он медленно свалился на бок. Закрыв руками колени, Акшолпан смотрела на солдата. Пальцы его разжались, из рук выпал окровавленный ка-

мень. Он медленно пошел к телеге, взял свою старую шинель и бросил ее девушке.

— Возьми, дочка, укройся и садись на телегу,— сказал солдат по-казахски. Взвалив тело жандарма на плечи, он ушел за сопку и долго не появлялся.

От страха она сжалась в комочек, зубы ее стучали. Укрывшись шинелью, она сидела не двигаясь. Лошадь лениво отбивалась хвостом от мух...

Солдат вернулся. В глазах его были равнодушие и усталость.

— Поехали...— сказал он.

— Куда поедем, ага? — чуть слышно спросила она.

— А куда идешь, дочка, туда и поедем... Но вначале к воде. Умоешься...

Степан боялся ехать прямо в аул. Там его могли увидеть и опознать дулатовцы. А Дулат сразу же пошлет гонца в орду к сотнику с известием о том, что русский солдат, изменив присяге, перешел на сторону неблагонадежных табунщиков.

Он направил свою повозку в урочище, где в эту пору должны были находиться косари-жиделинцы, готовившие сено для байских коней.

Акшолпан постепенно успокоилась, но все же порой настороженно поглядывала на своего спасителя. К ее великому удивлению, солдат знал казахские названия здешних гор, долин, аулов; знал всех известных людей этого края.

Степан без умолку говорил всю дорогу. Он рассказывал ей о своей сестре, такой же девушке, как Акшолпан. Вместе с отцом жили они под Астраханью, в маленьком селе, наполовину заселенном казаками. И был у Степана друг Есбол. Он работал батраком в усадьбе хорунжего. Есбол был силен, крепок и смекалист в работе. Богатые русские охотно нанимали его в батраки. Зарабатывал он лучше других и умел одеться — сатиновая рубаха, шаровары, армяк, красный кушак, — да и сам он был строен, красив. Гуляли они всегда втроем — Степан, сестра его Катя и Есбол.

— Катя любила Есбола вот так же, как ты своего...— рассказывал Степан. — Мы с отцом не мешали им. Отец сам был батраком и уважал Есбола. А что он казах, то об этом отец и не задумывался...

Погоди, дочка! — встрепенулся Степан. — Как ты назвала мне своего жигита — Курмаш? Это Сагырбая сын, что ли, домбрист?

— Он...— Акшолпан была поражена.

— Значит, Курмаш?

— Вы знаете его? — вырвалось у Акшолпан.

— Как же не знать. Он сидел на том же месте, где ты сейчас. А жандарм и я были конвойными...

Акшолпан смотрела на него со страхом.

— Куда вы отвезли его?

— Успокойся, дочка. Жив, здоров твой Курмаш. Он у своих. Жигиты ваши увезли его, а нас побили и оставили. Слава богу, что не убили.— Степан улыбнулся.— Успокойся.

Степан продолжал рассказывать о своей сестре и Есболе... Настал день свадьбы. Все село узнало об этом. Старые казаки всполошились, собрали сходку в доме хорунжего и, вызвав отца, приказали уговорить свою дочь, чтобы отрелась от некрещеного басурмана. Катя заявила отцу, что ни за кого, кроме Есбола, не пойдет.

Тогда богатеи решили устроить самосуд. В дом хорунжего были вызваны Есбол и Катя. Они и тут заявили, что любят друг друга. Хотели наказать Есбола розгами, но не смогли выполнить своего решения. Слишком опасно было делать это на виду у всех, могла начаться драка.

И тогда хорунжий вынес приговор — передать Катю в руки самых влиятельных казачек, пусть они накажут девку по своему усмотрению. Злые бабы, как воронье, напали на Катю, сорвали с ее головы платок, разули и потащили к церкви...

Степан подобрал вожжи.

— ...Вместе с отцом и Есболом мы бросились в толпу, чтобы освободить Катю, но нас смяли, Катю затащили в церквушку и закрыли двери. Есбол озверел, он где-то достал коня и вместе с друзьями-жигитами подскакал к двери церкви, сорвал замок. Бабы пинками вытолкнули избитую, вымазанную сажей, обнаженную невесту...

Эх, дочка, что и говорить... Бедный русский мужик еще хуже вашего жатака живет. Потому и издеваются над ним...

Степан зло стегнул коня. Двуколка затарахтела по кочкам. По дороге он досказал...

Есбол схватил Катю, усадил в седло и унесся в степь, к своим. Началась погоня, но жигиты задержали казаков. Село расколосось надвое, казахи уложили свой скарб на телеги и под охраной жигитов покинули насиженное место. А ночью по приказу хорунжего был подожжен Степанов дом. Во время драки убили отца...

В родном селе оставаться Степану было нельзя. Он работал в городе, потом стал солдатом. А теперь вот едет — не знает куда. Примут табунщики — будет с ними. Не примут — степь широка, дорог много...

Получив весть об Акшолпан, Курмангазы прибыл в урочище к косарям. Радость его была неудержима, ему хотелось броситься к любимой, поднять ее на руки и бежать по степи, крича о счастье. Но у него не хватило смелости сделать это на глазах у старших. Стараясь скрыть свои чувства, он слушал взволнованный, сбивчивый рассказ Акшолпан. Она то и дело вытирала слезы и виновато улыбалась.

В Степане он сразу же узнал солдата, который сопровождал его вместе с жандармом. Тогда он не сказал Курмашу

ни одного плохого слова. А когда навалились табунщики — не сопротивлялся. Сразу отдал ключи от наручников...

— Мы многим обязаны тебе, русский человек. Ты спас от беды нашу дочь. Но мы бедные люди. У нас нет хорошего коня или дорогого халата. Будь братом нашим. А если надо будет скрыться — выбирай любого скакуна из байского табуна, — сказал самый старый из косарей.

— Тулпар мне не поможет, — ответил Степан.

Договорившись с мальчиком, приехавшим к косарям на телеге, Курмангазы сразу же отправил Акшолпан в свой аул. Сам он приехал позже. Угощали их вместе со Степаном как дорогих гостей. Приближаясь к аулу, Курмангазы даже не слышал звонких песен сидевших возле качелей у костра девушек и жигитов. Он вспоминал рассказ Акшолпан о жандарме... Весь гнев и возмущение выливались в грозную мелодию, которую слышал сейчас только он сам — Курмангазы.

Степь широка, но мы еще встретимся, Дулат!..

...Проезжая мимо дома Акшолпан, Курмаш увидел, как она убирает двор. Увидев его, Акшолпан зарделась, отбросила косы с плеч за спину и махнула ему рукой.

— Буду ждать на прежнем месте, у мазара, — сказал он, придерживая коня. — Заменю Жакыпа-ата. Он просил. Возьму его отару...

— Ступай ты, не топчись... — Акшолпан подняла прутик, шутливо замахнулась на него, снова отбросив волосы со лба. — Отец скоро приедет. Дом надо прибрать... — В ее глазах он увидел прежний озорной блеск и прищипорил коня...

У юрты Зарбая стоял взмыленный жеребец под седлом. Курмаш решил заглянуть к другу.

— Кто приехал? — спросил он, увидев Сақыш, подвешивающую котел на треножник.

— Гость, — ответила она, посмотрев на него с укором. — А больше ничего не интересует вас?

— Пока ничего. Надо будет — сама скажешь, — сказал он ей и вошел в юрту...

«Не сравнишь ее с Акшолпан, хотя и красавица. Уступчивая. Как перепелка. Сидит, ждет, пока не схватит кто-нибудь. Беркут или коршун — для нее все равно», — подумал он, вспомнив, как тогда, ночью, на берегу речки, она без слов уступила ему...

Молоденький высокий жигит с тонкими, едва пробивающимися усами, но с умными пронизательными глазами стоял возле Зарбая. На ногах у него были крепко подогнанные сапоги, короткий чекмень был перетянут широким кожаным поясом с серебряным орнаментом, на боку висел короткий нож с костяной рукояткой в кожаном чехле. Курмаш почувствовал, что помешал разговору.

— Гость с недоброй вестью, — указал на жигита Зарбай.

— А вы и есть Курмангазы? — Выражение лица гостя стало мягче. — По домбре узнал. Говорят, что это подарок Узака и вы никогда не расстаетесь с ней...

— Плохие вести, Курмаш. Прощение Исатая, под которым все мы поставили свои тамги, не принято генерал-губернатором. Белый царь послал Жангир-хану своих жандармов и солдат с пушками. Жангир рассылает сотни казаков и туленгутов для охраны верных ему старшин и баев. Акбай и Дулат тоже получают охрану. Дулат, конечно, пошлет сотню сюда...

— Одним словом, нужно седлать байские табуны, точить пики, — как бы продолжая прерванный Курмашем разговор, сказал гость.

— Курмаш, а вам я привез вашего братишку. Он уже дома. Настоящий жигит. Я его ночью увез. Чтобы мальчик не остался у Дулата, если что...

— Хотите сказать: если я пойду с вами в поход. Разве вы сомневаетесь во мне? — Курмангазы впился взглядом в лицо гостя. — Я знаю вас. Это вы привезли в тот раз нам письмо Исатая к царю... Я пойду с вами.

— Нет! — ответил Зарбай. — Кюи Курмангазы уже властвуют над степью. Он нужен не только нам. С нами пойдут лишь жигиты, по которым некому лить слезы.

— У меня есть брат, но нет двойника. А матери есть у каждого, — ответил Курмангазы.

— Нужно все взвесить. Наш удел тяжел, — стараясь успокоить друзей, сказал гость. — Время пока есть, можно все продумать... Кстати, Дулат готовится запустить свои когти в тело жиделинцев. Вчера ночью, когда я искал вашего братишку, то пробрался к юрте Дулата. Мальчика там не было, но зато я увидел, как на атласных подушках, подобно обожравшемуся клевером жеребцу, лежал Дулат. Перед ним сидел рыжебородый мулла, тот, что раньше обучал его детей Корану. Я слышал их разговор.

«Земля колышется под нами, — говорил мулла. — Все аулы словно взбесились, всюду смуты. Будьте начеку, баеке. Опять у всех на устах имя Исатая и беглого акына Махамбета. Оба скрываются в песках, поймать их трудно. Как и несколько лет назад, они вновь поднимают чернь против всемогущего хана Жангира...»

«На этот раз им все зачтется. Что могут сделать песчинки против скал, овцы — против льва Жангира? — говорил Дулат. — Только вот беспокойств много будет, пока всех их не переловят, этих голодранцев...»

«Баеке, береги свой скот, чтоб он не попал в их руки. Подбрось милостыню своим верным слугам, чабанам, пастухам, жатакам, успокой их ненасытные утробы, и все. Они тебе верно послужат. А тут еще в нужный момент надо упомянуть обиду аргынов на берщев.»

Так говорил мулла.

«Какую обиду?» — встрепенулся тогда Дулат.

«Баеке, разве мало обид можно придумать? У казахов нет писаной истории. Кто знает, может быть, сто лет назад бершцы всех девушек аргынов обесчестили, а?..» — усмехнулся мулла.

Дулат сказал мулле, что через день-два соберет пастухов и табунщиков трех аулов. А жиделинцев он не велел звать.

«С ними у меня особые счеты», — сказал Дулат.

Больше я ничего не услышал. С другой стороны к юрте подъехали гонцы Дулата, а мне нужно было разыскать Байгазы.

— Что же ты не говорил обо всем раньше, Ноян? — спросил Зарбай. — О замыслах Дулата должны знать все табунщики во всех аулах. Ты не задерживайся. Скачи к другим табунщикам и через гонца передай обо всем этом Махамбету и Исатаю. Встретимся в назначенном месте. Тебе скажут, когда мы покинем Жидели...

Ноян согласно кивнул головой.

— Сакыш, где ты, сестрица? Дай нам чаю или кумыса. Ноян торопится! — крикнул Зарбай в открытую дверь.

Сакыш расстелила дастархан. Принесла мяса, кумыса. Быстро поев, Ноян поблагодарил хозяев, попрощался с Зарбаем и с Курмангазы, крепко пожав им руки, вскочил на успешшего отдохнуть коня и ускакал.

Курмангазы поспешил в степь. Вокруг было тихо и пусто. Только беркут сидел на развалинах мазара. Курмангазы лег на землю и смотрел в сторону аула. Нетерпение овладело им. Он уже оборвал вокруг себя траву, когда показалась Акшолпан. Подойдя к Курмангазы, который поднялся, завидев ее, она виновато сказала:

— Не смогла я вырваться раньше. Отец ночью приехал. Чепан его до утра залатала. Хоть шерсти верблюжьей привез на этот раз. Теперь я ему теплую рубаху свяжу... А ты-то ждал меня?

Акшолпан сидела, прижав руками колени и устремив взгляд в одну точку.

— Отец сегодня ночью угоняет свое стадо в пески. Надолго. И меня с собой берет. Да и что здесь делать одной? Ждать, пока Дулат не увезет? Или караулить дом, как тот старый беркут, охраняющий развалины мазара?

— А я? Что же я? Ты говоришь, словно и нет меня! — Курмангазы ласково обнял ее.

— А что ты?! — Акшолпан легко вырвалась из его рук и встала. Ее платок остался у Курмангазы, и черные косы рассыпались по спине. — Чтобы жениться, ты должен еще сосватать. А чтобы свататься, нужно спросить у меня: согласна ли я? Я не согласна. Вот так!..

Он, ничего не понимая, смотрел на нее.

— Может, Сакыш согласна? — глаза ее смеялись, не было в них ни упрека, ни ревности. — Ты что, онемел? Ой, Кур-

маш, и вправду говорят, что твое красноречие проявляется только в музыке. Так сыграй, что ли, пусть домбра расскажет... Я же знаю, как по тебе вздыхает Сакыш, а ты о ней ни слова. И о себе тоже...

Акшолпан взяла домбру. Курмангазы пытался поймать девушку, но она выскользнула из рук, легко побежала вперед, потревожив отдыхающее стадо.

Старый беркут, до сих пор наблюдавший за ними с развалин мазара, тяжело взмахнув крыльями, сорвался с места.

Курмангазы догнал ее в зарослях ревеня, и они упали на широкие желтые листья. Курмангазы отобрал домбру, прислонил ее к кусту.

— Безумец, безумец ты мой. А я-то думала, что больше не увижу тебя... Как не хватало тебя, когда я бежала от Дулата. И тогда, когда жандарм... Я так боялась за тебя, Степан сказал, что вез тебя под конвоем... — В ее глазах стояли слезы. Чтобы спрятать их, она подняла лицо к небу. — Смотри, он опять наблюдает за нами, как и в первую нашу встречу. Словно мы не расставались.

Акшолпан рассмеялся, указывая на беркута, парившего в небе.

— Видишь, над ним летает другой, — сказал Курмангазы. — Тот моложе. Летает выше.

— Ну вот, хоть слово вымолвил. Наконец-то. Говори, говори... Расскажи о чем-нибудь, хоть о домбре. Мне все равно. Только не молчи...

Акшолпан шептала, пряча свое лицо на груди у Курмангазы. Он неловко обнял ее узкие плечи, привлек к себе.

— Знаешь, сегодня утром мне встретился за аулом Алдияр-ата, — начал он просто так, чтобы не молчать. — Он так был погружен в свои мысли, что даже не заметил меня. Когда я приветствовал его, он только спросил:

«Скажи, какая из них выше?» — и палкой указал на сопки.

«Та, что ближе к мазару», — ответил я.

«Там лежит батыр нарынских песков», — сказал он. — Под каждым холмом спят наши батыры. Мой брат тоже похоронен здесь. Я служил у него и скоро вновь пойду к нему на службу. Торопиться надо, сынок. Степь колышется, аулы бурлят, и слова жигитов похожи на твои огненные кюи, Курмаш. Больше я не хочу видеть ни ран, ни крови, не хочу глохнуть от стонов... Я видел многое — умирающих на снегу французов, видел, как Махамбет разговаривал с Жангиром, как бежал он со старцами из рода шомекей. Слышал, как он победил Баймагамбета, потом попал в тюрьму и бежал оттуда в Младший жуз, затем в Средний, потом в Бухару и Хиву. Сколько лет прошло с тех пор? Сейчас Махамбет с Исатаем вновь собирают войско. Снова будет литься кровь. Хватит с меня... Никакому батыру еще не удавалось победить своих ханов, даже Ер-Таргыну. Батыры сильны, когда защищают свой народ от иноземных врагов. Перед хитростью и ковар-

ством ханов они бессильны... О аллах, поторопись, забери своего раба в свои покои!»

Алдияр-ата опустил на колени и начал читать утреннюю молитву. А я не смел отойти...

«Курмангазы, ты слышал легенду об Аксак кулане и помнишь кюй о нем? — спросил у меня Алдияр-ата после молитвы. — Так вот: исполни этот кюй каждому, кто впредь усомнится в силе и вечности твоих мелодий...»

Акшолпан сидела, обняв колени. Ей было приятно так, с закрытыми глазами, слушать его.

— Я знаю эту легенду. Но никогда не слышала мелодии, названной «Аксак кулан», — тихо сказала Акшолпан, передавая домбру.

Курмангазы настроил струны. Он думал о словах Алдияра, о странном его поведении. Неужто он вышел за аул только для того, чтобы увидеть холмы и прочесть утренний намаз?..

Обычно спокойный, медлительный и степенный Алдияр чем-то был обеспокоен, взволнован. Что-то заставило думать о смерти Алдияр-ата, бесстрашного воина, батыра, чью храбрость оценил сам царь, наградив его медалью за участие в Бородинской битве.

Смерть, смерть... Пальцы левой руки двинулись по ладам, по тонкому древку домбры, правая тверже ударила по струнам. Он вспомнил, что кюй «Аксак кулан» тоже говорил о смерти. Неужели мудрый Алдияр-ата просил чаще исполнять эту песню потому, что хотел сказать — «вечна лишь смерть»? Тогда к чему слова о силе и вечности созданных мною песен и мелодий, Алдияр-ата? Почему вы назвали их «огненными»? Ведь огонь — это жизнь...

Курмангазы был под впечатлением слов Алдияра и потому, кажется, сам не услышал, как полились звуки степной песни.

— Ты тоже хочешь слушать песню смерти, так слушай! — Курмангазы встал с места. Он играл древний кюй о хромом кулане и о жестоком кагане. Акшолпан знала эту легенду наизусть.

...То было давно. Все земли от моря до моря оказались во власти одноглазого Чингиса. Степи казахов тогда он отдал сыну своему — молодому и беспокойному Джучи. Старый хан монголов видел в нем наследника своих завоеваний и любил его больше других сыновей.

А Джучи любил охоту на тигров, джейранов, газелей, куланов. Месяцами пропадал он в степях Сарыарки, лесах Кокшетау, в камышах Амударьи...

Колеса по степи вместе с телохранителями, он встретил однажды табун диких куланов и бросился в погоню...

Стремительно звенят струны. Глухой топот многокопытного табуна все ближе, громче. Видны потные крупы куланов. Свистит в воздухе петля. Крик кобылицы. Волосяной аркан захлестнул, затянул горло. Хрип отбивающегося животного, грохот падения...

Замерли руки домброста, лишь пальцы выстукивают дробь. Табун уносится в ковыльную глушь. Вожак отстал, свернул назад и мчится к охотнику, занесшему меч над молодой кобылицей.

Охотник не видит вожака. Не слышит предупреждающих криков телохранителей, спешащих на помощь.

Вожак налетает на Джучи и грудью опрокидывает его вместе с конем. Копыта крошат колчан со стрелой, выбивают меч из рук. Свободна молодая кобылица. Вожак гонит ее в табун. Победное ржание.

Джучи видит, как вожак уходит, волоча ногу. Он, молодой хан, побежден хромым жеребцом.

Грозный клич несется вслед косяку. Снова бунтующая песня наполнила степь. Грохот копыт. Кружат над землей взбудораженные орлы...

Акшолпан застыла, как изваяние. Она знала легенду, но не думала, что так может звучать домбра...

Старый орел, кружащий в небе над Курмангазы и Акшолпан, увидел, что там, вдали, к аулу скачет отряд. Блестят на солнце длинные стволы ружей, сверкают лезвия обнаженных сабель.

Акшолпан и Курмангазы скрыты за холмом, им не виден отряд, не видно Жидели.

...Разгневанный охотник несется за хромым куланом — вожаком. А тот с грозным ржаньем, распустив гриву и ошалело выкатив глаза, гонит свой косяк вперед. Но стремителен конь юного хана. Еще рывок, еще.

Не уйти вожаку от погони. Он слышит дыхание скакуна и брань человека.

Мощным и грозным ржаньем подхлестнув своих кобылиц, вожак неожиданно поворачивается назад и, поднявшись на дыбы, он ударом обоих копыт встречает налетающего всадника. Тот валится на землю. Ударом хромой ноги ломает вожак череп человеку и вновь мчится вслед косяку, унося на крупе торчащие стрелы, посланные телохранителями. Тонкой струйкой хлещет кровь из ран, окрашивая белопенный ковыль...

Каждую неделю во дворец кагана прибывали гонцы с радостными вестями от Джучи. Но вот прошла неделя, и впервые не явился гонец. Одноглазый каган был разгневан.

— Кто с печальной вестью придет, будет обезглавлен. Таков закон степи! — сказал он и послал своих воинов на поиски сына.

Телохранители сына, боясь явиться к трону, встречали воинов в степи и, встав на колени, кинжалом пронзали себе грудь. Воины возвращались к Чингису без доспехов, разорвав ногтями лица. Молча ложились они перед тронном, и сам каган сносил им головы.

Молчание перед владыкой — беда. Смерть властвовала над казахской землей.

Жигиты казахов гибли один за другим. Владыка не хотел слышать смеха, не мог смотреть на улыбки людей. Всюду властвовал страх. Песня-плач по убитым жигитам шла от юрты к юрте. И тогда к Чингисхану явился странник, старый домбрист и поэт по имени Кет, из маленького воинственного рода болатшы, что принадлежит к племени найманов. Вместо глаз у него зияла пустота.

— С чем ты пришел, слепец?

Кет не ответил. Он ударил по струнам. Заговорила домбра. О вольном, диком табуне куланов, о широте степей, о хромом свирепом жеребце, неистово охраняющем своих кобылиц, о человеке, осмелившемся нарушить покой табуна, о битве человека с жоаком табуна. Обо всем говорила домбра.

— Стой! О чем твоя песня, глупец?! — разгневанный каган прервал музыканта. — О смерти?!

— О смерти твоего сына. О том, что близка твоя смерть! — ответил Кет.

— На плаху слепца! — вскричал Чингис, цепляясь за золотые ритоны на подставке у трона.

— Мой повелитель, не я, а домбра рассказала о смерти. Обычаи степи священны. Всегда князят гонца печали. Я поэт и музыкант, а не гонец Джучи-хана. О смерти первой тебе сказала домбра, и ты первым повторил это слово вслух. Так кого же ждет палач — меня или мою домбру?!

— Залейте глотку домбры! — Хватая ртом воздух, каган сам, подобно слепцу, метался по шатру.

Горячим свинцом залили палачи горловину домбры, на которой впервые звучал кюй «Аксак кулан»...

Умолкла песня смерти, спасшая от гибели многих жигитов казахских степей. Последние аккорды растаяли в воздухе.

— Владыка наказал домбру за эту песню... Слушай... — Курмангазы поднял свою домбру и потрянул ее. Тарахтя прокатился тяжелый комок. — Это тоже свинец. С тех давних пор в каждую домбру вливают капли свинца. В память о песне, победившей смерть! Слушай, Акшолпан, Алдияр-ата говорил не о вечности смерти. Он говорил о силе музыки, о ее силе. Он прав. Нельзя без песни, без музыки. Что случилось бы, если бы вдруг заглохли все песни, умолкла музыка! Прав Алдияр-ата. Я был глуп, не понял его. Песня не подвластна смерти... Смотри, она летает над степью, как эти орлы!

— Ты играл эту песню для меня?

Акшолпан смотрела на него, ожидая ответа.

— Для тебя, для тебя, моя Акшолпан! — Курмаш потянул ее к себе и ощутил пьянящий запах ее волос. Степной полынью и дикими цветами пахли они. Он опьянел от радости, от буйства древней песни, от солнца и ее близости.

...И старого беркута — хозяина мазара, и молодого, облюбовавшего этот край для охоты, вначале беспокоила и пугала стремительная песня Курмангазы. Теперь же они, плывя в прозрачной синеве, смотрели на аул.

Всадники плетью выгоняли людей из юрт и домов, собирали их в центре Жидели, на лужайке у овечьего загона.

Несколько жиделинцев, прячась от пришельцев, сели на неоседланных коней. Но их тут же настигли, окружили и повели туда же. За всадниками с рычаньем бегали волкодавы. Чья-то юрта была перевернута, дети кричали, цепляясь за одежды отцов и матерей. Но их плач не был слышен у подножья мазара...

Тонкие высокие стебли бросали тень на Акшолпан. Она лежала, опершись локтями на кустики коян-шоц, заячьей травы.

— Ох, бесстыдная я, а ты безумец!..

Курмангазы не ответил. Он устал, был спокоен и счастлив, слушая Акшолпан и наблюдая за орлами.

— Мы всегда будем вместе, — тихо проговорил он, повернувшись к ней.

— Никогда! — ответила она. — Ты всегда будешь одинок, как вон тот молодой орел. Видишь, он снова смотрит на нас. Он знает нашу тайну.

— Но ты же любишь меня?

— Если бы другая смогла полюбить тебя так, как я, — вздохнула она, застегивая ворот. — Ты живешь лишь страстью, а страсть мгновенна. Пройдет мгновенье, и ты станешь другим... И другого я не люблю... Ну, я пошла... Собери свое стадо.

Акшолпан убежала. Она исчезла в узком овраге, ведущем к аулу.

Курмангазы так и не успел сказать ей самых сокровенных слов, которые берег для нее со дня своего возвращения, тех, которые согревали его сердце в дни скитаний...

Он задумчиво пошел собирать овец, рассыпавшихся по ложине.

Его мысли были прерваны гулким раскатом выстрела.

Стреляли со стороны аула.

Он взбежал на вершину ближнего холма.

...Прямо к Курмангазы, размахивая малахаем, несся всадник. Он что-то кричал, но невозможно было разобрать слов. Курмангазы смотрел на аул. Там в пыли и дыму носились люди, горел дом. До слуха Курмангазы донесся чей-то плач, лай собак. Он увидел вооруженных людей и понял, что выстрел донесся отсюда.

Всадник был уже близко. Вглядевшись, Курмангазы узнал Жакыпа и сбежал с вершины холма навстречу.

— Скорей, Курманшжан, садись на этого коня и убирайся.

В ауле дулатовцы — нукеры и солдаты. Всех табунщиков угоняют. Говорят, что в тюрьму за то, что бунт хотели устроить. Всех наших жигитов схватили. Твоя мать просила спасти тебя. Вот я и подумал, что ты здесь. Скачи куда-нибудь подальше. Ищут тебя. Знаю, что это так... — Кряхтя и задыхаясь от усталости, Жакып подсаживал Курмангазы на коня.

Курмангазы повернул разгоряченного скакуна в сторону Нарынкумов, но не освободил поводыев. Гарцуя на месте, он еще раз оглянулся в сторону аула.

— Говорю: торопись! Беду накличешь, — рассердился Жакып.

Курмагазы вдруг увидел, как из оврага, что вплотную подходит к аулу, выбежала девушка в голубом. То была Акшолпан. Она бежала к отцу...

Он развернул коня и помчался к аулу.

— Ой-бай, куда ты? Вернись... — растерянно кричал вслед Жакып. — Ох, аллах, я знал, что это будет так!

Курмангазы осадил коня возле пожарища. Акшолпан стояла возле отца. Горела юрта Зарбая. Сам Зарбай стоял по другую сторону поляны, привязанный к столбу. На дороге перед Курмангазы умирала от ран лошадь Зарбая. Возле загона, в окружении есаулов и туленгутов, стояли все жигиты аула. Рубахи порваны, кровь на груди и лицах. Плакали дети, кричали женщины и ругались незваные пришельцы, хрипло лаяли собаки... Курмаш сквозь весь этот шум успел услышать слова Акшолпан:

— Скорее. Спаси Зарбая!

Туленгуты не успели опомниться, как он подскочил к другу, слетел с коня и перерезал аркан.

— Это сын Сагырбая! Хватай его! — вскричал кто-то из нукеров. — Мирза, он здесь! Сюда, сюда идите...

— На коня! — толкнул Курмаш Зарбая, а сам, схватив соил, одним ударом уложил нукера, бросившегося на Зарбая, и, оттолкнув еще двоих, вцепился в третьего.

Только теперь, отбиваясь от наемников, Курмангазы заметил, что Зарбай прорывается к сыну Дулата, возле которого лежала связанная Сагыш. Но он не смог пробиться. На него надели трое, связали. Били кто плетью, кто прикладом.

Жесткий аркан из конского волоса стянул тело Курмангазы.

Толпа стариков и женщин, где находились Сагыш и мать Курмаша, с криком рвалась на помощь, но их остановили штыки и пики.

Откуда-то из-за загона выскочил Байгазы и с криком: «Кокетай, кокетай!..» — бросился к Курмангазы. Но здоровенный наемник Дулата схватил его за ворот, хлестнул плетью по спине, пинком загнал в толпу.

— Не смей! — Курмаш трясся от гнева. Он яростно пытался освободиться от пут, но аркан только сильнее впивался в тело.

— Эй, полоумный, попробуй еще, может, чумбур лопнет!.. — хохотали туленгуты.

Юродивый, невесть как очутившись в этот час в Жидели, стал на дороге. Смиренно и покорно оглядел всех, обидчиков и обиженных, расстелил перед собой рваный чекмень, воздел руки к небу и, стараясь всех перекричать, начал нараспев читать молитву:

— Биёмилла ил-ла иль-рахма-ан...

К нему подошел черноусый туленгут и штыком отбросил его курджун в сторону. Юродивый продолжал читать молитву, не обращая на него никакого внимания.

— Эй, шайтан, пошел вон. Не вой здесь! — Кто-то толкнул его прикладом. Юродивый упал лицом в пыль.

— Астапралла! Что делают они? — гневно возмущались старики.

— Заткните глотки!

Окрик есаула прозвучал настолько злобно и грозно, что даже дети притихли.

Солдаты и наемные жигиты Дулата начали рассовывать по сумкам добро, награбленное в ауле. Мынбай, сын Дулата, подошел к Курмангазы.

— Как дела, конокрад? Придется теперь отвечать за все сразу. За коня тоже. Ты еще не сошел с ума? А то вид у тебя как у сумасшедшего. Ха-ха... — Он скривил свои тонкие губы, сощурил глаза. — Ты сыграешь мне сегодня вечером, на берегу реки, где я поставлю юрту, чтоб завести в нее девушку для развлечения. — Он резко повернулся к Зарбаю: — Этой девушкой будет твоя сестра! Она успокоит меня. Ведь это ты виноват в том, что мы здесь, что здесь мои солдаты, что обеспокоены мой отец, я! Так вот, твоя сестра успокоит за это меня, а после позабавит моих нукеров!.. Как ты смотришь на это? Вы с сыном Сагырбая будете привязаны снаружи. Там вы будете слышать мои разговоры с Сакаш. И на домбре для нас сыграет сын Сагырбая...

— Зверь! — прохрипел Зарбай. — Лучше убей меня. Не трогай ее.

— О, не говори страшных слов, — ухмыльнулся сын Дулата.

— Гнать всех в лагерь! А этих двух вести отдельно, на аркане, с почетом, — приказал он, указывая на Зарбая и Курмангазы.

...Юрта Зарбая догорала, кошмы тлели, наполняя воздух удушливым густым дымом. Юродивый копался среди выброшенного тряпья.

Курмангазы заметил, что в стороне, опираясь на свое длинное ружье, полученное за храбрость в бою под Бородином, стоит Алдияр. На земле судорожно бился конь Зарбая. Чтоб облегчить муки животного, старик вытащил нож и прирезал его. Вытер нож о траву, спрятал. Не глядя ни на кого, медленно направился к окраине аула.

Каратели настороженно посматривали на Алдияра, но никто без приказа не решался тронуть его.

— Это тот, что царя видел. Крест получил и ружье от него,— объяснил есаул туленгутам.— Сам Жангир-хан с почетом принимает его.

— Мирза, все готово в дорогу,— доложили Мынбаю.

Женщины запричитали, прощаясь со своими сыновьями.

— Трогай. А эту красотку я повезу сам. Подкиньте ее мне!

Нукер схватил Сақыш и бросил ее поперек седла.

— Встретимся вечером,— сказал Мынбай Курмашу, обеими руками подтягивая к себе обессилевшую Сақыш, лежавшую поперек седла. У нее не было сил даже подать голос, заплакать.

— Алдияр-ата, спасите Сақыш! — вырвалось вдруг у Зарбая, которого всадник тянул за собой на аркане, как и Курмангазы.

Алдияр остановился, оглянулся назад. Казалось, что слова Зарбая вывели его из глубокого оцепенения. Он услышал, как жиделицы слали проклятия карателям, увидел Курмангазы, медленно перевел взгляд на Мынбая.

— Стой! — резко и властно сказал Алдияр, не повышая голоса.— Развяжи Курмангазы, развяжи Зарбая и его сестру. Мстят достойно, в битве. Оставь девушку. Только трусы мстят матерям и сестрам за дела их сыновей и братьев...

— Аксакал, вы можете считать себя бием, но мне вы не судья. Барымту придумал не я, вы, старики. Девушка моя. Моя лишь на ночь. Завтра она вернется.

— Оставь ее...— снова повторил Алдияр.

Но Мынбай не стал слушать его. Он уходил. Алдияр все так же спокойно и мрачно смотрел на него. Потом медленно поднял ружье, проверил кремень и нажал курок...

Это был второй выстрел в Жидели за этот день. Первым выстрелом солдат убил коня под Зарбаем, пытавшимся скрыться.

Вторая пуля попала в Мынбая.

Алдияр спокойно опустил дымящееся ружье. Туленгуты на какой-то миг растерялись. Умолкли причитания, плач. Все сразу стихло. Сын Дулата приподнялся в седле, неестественно откинулся назад и, охнув, повалился в дорожную пыль. Сақыш осталась висеть поперек седла. Нукеры бросились к телу своего господина.

— Руби его! — заорал опомнившийся есаул, указывая на Алдияра.

— Не велено трогать. На нем крест за храбрость от царя! — ответил кто-то из туленгутов.

— Я ему покажу крест! — Есаул обнажил саблю.

— погоди ты, пусть туленгуты!.. — остановил его другой есаул.

Убедившись, что Мынбай мертв, нукеры вырвали свои кин-

жалы из ножен и полукольцом окружили Алдияра. Старики аула, до сих пор стоявшие молча, бросились на его защиту.

Лицом к лицу встретились жиделинцы и наемники бая. Туленгуты из карательного отряда, окружив пленных жигитов, молча наблюдали за схваткой.

— Трусые эти нукеры, стариков испугались. Всех бы их шомполами... — цедил сквозь зубы есаул.

Нукеры с воинственным криком набросились на стариков и начали растаскивать их. А в это время Байгазы вновь пробрался к Курмангазы и Зарбаю, оставшимся без присмотра, перерезал аркан. Все услышали команду Зарбая:

— Жигиты, хватайте их, отбирайте ружья!

Вдруг раздался неистовый хохот. Это смеялся юродивый. Он прыгал вокруг трупa Мынбая, закатив глаза, и повторял одни и те же слова:

— Вот подарок Дулату, вот подарок Дулату!..

Пленные жигиты, услышав команду Зарбая, набросились на своих охранников. Началась беспорядочная стрельба. В воздухе засвистели пули, вставая на дыбы, заржали кони...

Один из наемников прорвался к Алдияру, и старик, ухватившись за ствол ружья, ударом приклада уложил его. Но в тот же миг кто-то полоснул его ножом по спине.

Зарбай отобрал у туленгута саблю и ворвался в круг наемников.

Здоровенный, неуклюжий верблюжатник Жанпеис, отец Акшолпан, схватил и скрутил руки тому, кто ранил Алдияра. Тот, уронив кинжал, заорал от боли. Жанпеис поднял его в воздух и бросил подальше от себя. Потом подобрал кинжал и, переломив его о колено, швырнул куски в траву. Оттащив раненого Алдияра в сторону и передав его в руки женщин, Жанпеис бросился на помощь своей дочери. Акшолпан, развязав руки Сақыш, увела ее. Курмангазы, защищая их, изо всех сил отбивался соилом от двух нукеров. Жанпеис схватил валяющуюся тут же оглоблю и бросил ее на спины обоим карателям. Мать Курмаша подхватила Сақыш.

Уцелевшие туленгуты выровняли ряды. Жигиты отступали назад. На месте схватки остались раненые и убитые. Ускользая от сабельных ударов, с криком носился юродивый.

— Ружья готовы! — скомандовал старший есаул.

Жиделинцы — и старые, и молодые — сбились в кучу, поддерживая Алдияра и Сақыш.

Но вместо команды «пли» послышался крик:

— Быстрее! Ой-бай, они идут сюда!

Из-за ближних холмов прямо на них с громким криком «Аруах, аруах!» неся отряд табунщиков, держа на изготовку пики, мечи, кривые сабли и булавы. Многие на скаку подбирали из колчанов стрелы к лукам. Впереди на гнедом звездолобом жеребце летел жигит в кольчуге. То был Ноян, за ним мчались Сарман и Степан. Зарбай и Курмангазы сразу узнали их.

Туленгуты, рассыпавшись по дороге, уходили восвояси. Босой юродивый хохотал им вслед, подняв кулаки к небу:

— Уа, аллах, Азраил уходит. Ха-ха, ха-ха!

В стороне, сбившись в кучу, стояло десять туленгутов, лишившихся коней, обезоруженных и связанных жиделинцами.

— Вы будете казнены здесь как палачи и насильники! — объявил наемникам Ноян. — Нет! Стойте! Пусть все рассудит Алдияр-ата. Он сегодня судья над вами...

Алдияр истекал кровью, лежа на белой кошме. Старики и жигиты осторожно положили кошму на маты из чия, подложили под голову Алдияра свои шапки и чекмени и подняли его на плечи. Жанпеис и Зарбай осторожно поддерживали его голову. Ноян встал перед Алдияром на колени.

— Ата, они ждут твоего последнего слова, — сказал он, указывая на наемников. Старики и женщины тихо плакали. Лица жигитов словно окаменели.

Алдияр провел языком по пересохшим губам и, уставившись в лицо Нояна, еле слышно спросил:

— Как зовут тебя, батыр?

— Ноян.

Алдияр-ата терял силы. Жанпеис старался влить ему в рот глоток кумыса. Старик взглядом попросил убрать кумыс и еще раз провел распухшим, непослушным языком по губам.

— Достойное имя, сынок... Отпусти их... Аминь.

— Степан, развяжи им руки. Жигиты, верните им коней. Исполним волю Алдияр-ата, — сказал Ноян.

Алдияр чуть заметно улыбнулся, лицо его стало спокойным. Он попытался сказать еще что-то, но не успел. Шея ослабла, глаза остались открытыми. Жанпеис слегка провел по ним своей огромной ладонью, и глаза сомкнулись. Лицо Алдияра стало таким же синевато-белым, как и борода.

— Прощай, ардагер, — всхлипнул Жакып. — Да, жизнь такова. Знаю, знаю, что так...

Белым чепаном, а сверху голубым платком укрыли тело Алдияр-ата. Жигиты на плечах понесли его к юрте, в которой он жил. Бородинское ружье лежало рядом. Алдияр не успел передать его кому-нибудь, а может быть, не нашел достойного жигита. Потому оно должно было занять место в могиле рядом с погибшим батыром.

Никто больше не плакал, не кричал. Притих даже безумный юродивый. Он сидел возле двух нукеров, которые так и остались стоять в стороне от своих и чужих, хотя Алдияр дал им свободу, а Степан развязал руки. Никто не сказал им ни одного бранного слова, не угрожал им. Все свято выполняли последнюю волю Алдияра. Несколько туленгутов ушло, остальные стояли на месте.

— Погодите, еще получите свсе за измену! — пригрозили им ушедшие.

Байгазы подбирал возле них стрелы. Он с вызовом посматривал на дулатовцев.

— Что же не уходите? Дулата боитесь? — спросил пленников Сарман. Ответа не последовало.

— Тот, кто останется с нами, должен стать защитником народа. Не делясь на племена и роды, должен будет идти против Дулата и Акбая, против самого хана, — сказал Сарман. — Если согласны, не стойте на месте. Помогите людям собраться в дорогу.

Туленгуты молча взялись помогать жигитам готовить выюки для верблюдов. Юродивый бросился отгонять ворон, пытавшихся сесть на труп коня.

В эту ночь жиделинцы не спали. Похоронив Алдияра и предав земле тела своих друзей, они готовились к откочевке.

Всю ночь горели костры. Варилось мясо на дорогу, бурдюки наполнялись водой, айраном, кумысом. Со дна сундуков вытаскивались заржавевшие кольчуги, кинжалы, в кузнице оттачивались пики. Женщины, глотая слезы, чинили одежду мужей и детей. Жигиты Нояна, не смыкая глаз и не выпуская оружия из рук, охраняли аул.

Ночь была на редкость светлой. Полная луна отражалась в застывших лужах крови, к которым не притронулись даже собаки. Они не ласкались, как прежде, не ждали костей от хозяек, а лежали угрюмо, прикрыв морды лапами. Днем они дрались вместе с хозяевами, хватая коней туленгутов за хвосты, бросаясь им под ноги. А сейчас, словно предчувствуя нависшую над аулом беду, время от времени поднимали головы и тихо, протяжно скулили. Где-то в песках визгливо лаяли шакалы, не смея приблизиться к аулу, манящему к себе запахом крови...

В юрте Сармана спорили Ноян и Зарбай: выбирали дорогу к стоянке Исатая и Махамбета. Нужно было пробираться через пески. Зарбай предлагал двигаться по древней караванной тропе, от колодца к колодцу. Ноян и Сарман настояли на своем — идти по бездорожью, а водой запастись здесь, в Жидели.

Когда все было обговорено и установилась тишина, все погрузилось в думы о завтрашнем походе, о том, что будут покинуты родные очаги. Ноян, чтобы как-то подбодрить людей, рассказывал о подробностях весенней победы сарбазов Исатая и Махамбета над султаном Караул-ходжой. Теперь все земли султана отданы бедным аулам...

Женщины во главе с Алкой сели готовить новые кожаные мешки, промывать, продувать их и наполнять водой из родника. Акшолпан вместе с другими девушками не снимала с плеч коромысло.

Только в полночь на какое-то мгновение затихла работа, и тогда зазвенела дымбра Курмангазы.

Все прошедшее за день — и печаль по погибшим, и радость первой победы, и раздумья над предсмертными словами Алдияра, — все пережитое за день рождало новую песню Курмангазы. Перестали скулить волкодавы. Из глубины ночи,

как тень, появился юродивый и сел возле костра, у ног Курмангазы. Осторожно подошли к костру и нукеры Дулата, перешедшие на сторону жиделинцев. Юродивый ткнул в них палкой и залился негромким, быстрым смехом.

— Тише ты, сын аллаха, тише! — басовито, без обиды сказал ему Жанпеис.

— Я не сын аллаха, а дервиш. Иду из Герата и нигде не слышал таких песен, — сказал юродивый.

Ноян, проходивший мимо, пристально взгляделся в дервиша. Ему показалось, что он уже где-то видел этого человека.

Но старик отвернулся.

— Каракипчак Ноян. Слава аллаху, — прошептал юродивый и вновь залился чуть слышным смехом.

Ноян постоял немного и, решив, что юродивый ему незнаком, поспешил к жигитам, готовившим верблюдов для похода.

Пламя вспыхнуло ярче. Темнота отодвинулась от костра. Люди притихли, слушая игру Курмангазы.

Жиделинцы сами дали имя песне Курманша. Они назвали ее «Порывом» — прелюдией битвы за свободу...

Когда занялась заря, старики собрались на предутренний намаз. Они молились долго, помянув погибших, прощаясь с предками, чьи тела лежали здесь, под холмами, с родным Жидели, с его оврагами и родниками и просили опоры у аллаха на неведомом дальнем пути и в будущих сраженьях.

...Восход солнца караван жиделинцев встретил далеко в песках. Впереди, в сопровождении великана Жанпеиса, ехали Зарбай и Ноян. Сзади, замыкая строй, вместе с жигитами двигались Сарман, Курмангазы и Степан. Они вели жиделинцев к Исатаю, вели кружным путем по безлюдным пескам, через барханы. Жанпеис знал, где есть древние колодцы.

Длинным был этот бедный караван, уходящий в бурое чрево песков под тихую песню-плач женщин. Медлительными, в такт верблюжьему шагу, были ритмы трагической и всегда сопровождающей казахов в дни тоски и в дни бедствий песни-плача. Это была не только песня — прощание с землей, но и песня — предвестница похода.

Ветер подхватывал и нес протяжные, надрывающие сердца слова над барханами, разбрасывал их в степи. И одинокий дервиш, получивший коня Алдияра-ата, пробираясь по древней утоптанной тропе, уносил их с собою. Он ехал напрямик к урочищам Атрау и потому отделился от жиделинцев.

А два беркута, хозяева степей Жидели, проснувшись рано, не увидели аула — опустевшие дома стояли, как мазары. И слышался лишь далекий, тревожный, многоголосый человеческий плач, переходивший в печальный гул, подобный песне каменного леса...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

В сопровождении телохранителей, на взмыленных конях въезжали в крепость султаны, правители западных, восточных, северных и южных областей и родовых союзов. Вслед за ними шли перепуганные, растерянные богачи, которые, бросив свои стада и аулы, бежали от гнева повстанцев. Они искали защиты. Попав сюда, в ставку хана, они заискивали перед самим владыкой и офицерами из линейных укреплений, присланными генерал-губернатором Перовским для переговоров с Жангир-ханом.

Каждый хотел вымолить у хана охрану понадежней.

Овец, коней к Жаскусу было подогнано немало. Богачи не жалели скота и денег, лишь бы было побольше оружия да посильнее охрана.

За высокой стеной крепости, за кольцевым рвом, появились рогатины, больше стало дозорных отрядов в обширных владениях хана.

За ханским городком разгружались вьюки. Меж домов теснились только что воздвигнутые шатры и палатки, на лужайках высились белые походные юрты султанов-правителей. Длинные дощатые казармы и землянки были переполнены наемными туленгутами.

Ставка утратила прежнее спокойствие и помпезность и походила на огромный табор. Баи вначале грызлись между собой, спорили, где кому раскинуть свои шатры, но потом нашли выход — каждый располагался поближе к дому бия-визира, который представлял его род.

Вокруг особняка Муфата, старейшего бия рода шеркеш, разместилась вся знать шеркеша, в саду бия Шомбала — советника от славного своими стадами ногайлинского рода — богачи ногайлы; аристократы бершей — у Балки Кудайберге-

нова; байбактинцы — у Кунажана; алашцы — у Байтока; кзылкуртовцы — у Татая; табыны, тама, кетинцы, кердеры — возле бия Кендыбая...

Из сабы в чаны, из чанов в серебристые чаши, а оттуда в пиалы переливался ароматный густой осенний кумыс. Все, чем богата степь, — казы и жая, жент и баурсаки, сочный курт, иримчик, тающий во рту, всевозможные блюда из дичи, рыб и отменной баранины, фрукты и яства — все везли караванами в ставку. Баи щеголяли в дорогих военных нарядах. Навесив на бока пистолы и сабли, украшенные серебром и камнями, они без конца ходили любоваться оружием и боевыми доспехами отборной гвардии Жангир-хана. Туленгуты и казаки, пришедшие на помощь хану из ближних царских укреплений, были спокойны, и оружие у них было куда страшнее, чем булавы, пики и мечи повстанцев...

Но и сотники хана и султаны-правители казались одинаково озабоченными. Это тревожило всех, кто искал здесь спасения от мести сарбазов.

Собственно, тревога вошла в шатры богачей еще весной, когда Исатай и Махамбет разгромили войско грозного султана-правителя Караул-ходжи, тестя хана, отца Сулубубеш — одной из трех жен владыки.

Гонцы из бедных аулов как одержимые неслись от юрты к юрте с вестью о победе над Караул-ходжой. Чернь словно обезумела от радости, взялась за пики и соилы. У всех на устах звучали призывные стихи Махамбета. Акыны слагали песни о битве при Киялы-Кигаше и победах батыра Исатая.

Добровольные гонцы пробирались даже в ставку. То там, то тут среди слуг, среди черни, на полях и пастбищах хана появлялись они, разнося слухи о победном шествии сарбазов. Только вчера поймали одного из них. Соглядатай хана видел, как собрал он вокруг себя толпу и читал стихи Махамбета:

...Быстро мчится белая сайга,
Но в степи не скрыться от стрелка,
Коль простор вокруг широко лег...
Воля нам победу предрешит,
Начинай борьбу с врагом, жигит!
Наш конец решает только бог!..

Потом следовал рассказ о бесславной битве Караул-ходжи с Исатаем.

...Еще в начале науруза под защиту Исатая начали собираться жигиты из бедных аулов, насильно согнанных с насиженных мест султанами. Тогда, по совету Махамбета, батыр разослал своих жигитов по дальним и близким кочевьям с призывом не отдавать богачам своих пастбищ.

А к концу науруза Исатай решил расселить самые бедные аулы, прибывшие к нему, по берегам речки Киялы-Кигаш.

Отделившись от Едила, словно боясь попасть в лапы старика Каспия, игриво убегает она в степь, к пескам Нарына,

к мелким озерам, которые, видимо, когда-то тоже отделились от моря и потому по сей день называются Тенгизскими.

Узнав о намерениях Исатая, султан Караул-ходжа, в чьих владениях текла Кигаш, решил внезапно напасть на повстанцев, разбить их и прогнать мятежные аулы в пески, а главарей доставить на суд хана. Караул-ходжа не сомневался в успехе, на помощь ему сам Жангир-хан прислал хорошо вооруженных туленгутов. Интересы султана совпадали с желаниями не только хана, но и самого генерал-губернатора Перовского.

Узнав о планах Караул-ходжи, Исатай выбрал место удобнее: с одной стороны — обрыв к реке, с другой — сухой овраг — и приказал развьючивать верблюдов, воздвигать юрты, а все подступы к аулу оградить рвами и рогатинами.

Отряды султана, достигнув Киялы-Кигаши, увидели аул, готовый к обороне. Все подступы к нему были закрыты. По ту сторону брода, где могла пройти конница, наготове стояли двести сарбазов, двести против восьмисот. За ними, как муравейник, теснились юрты сбежавшихся под защиту Исатая и Махамбета. Юрты со стариками, женщинами, детьми можно было в один миг разбросать и спалить, если бы не эти двести. Все в кольчугах, надраены щиты, кони наготове — стоят, как железные рыцари.

...При виде львов Исатая султана обуял страх, — напевным речитативом, словно излагая древнее сказание, продолжал гонец:

Кто не знает удара меча Махамбета,
Кто не знает, как меток туркмен Балабек?!
Тигру подобен сарбаз Калдыбай...
Кто не слышал о силе узбека Ерсары
И о могучих ударах булавы Нуралы?!

От этих слов мятежно загорелись глаза у рабов Жангир-хана.

— Уа-а-ах! Мы знаем силу и смелость батыров!

— Говори! Говори еще!..

— Так слушайте, что было дальше...

Султан думал взять батыров измором. Приказал окружить весь стан и ждать. Восьмисот солдат и туленгутов закрыли все выходы из стана Исатая.

— Они подохнут от голода, как мыши в капкане, — говорил сын султана хорунжий Кокболсын. — Их кровью мы окрасим воды Киялы-Кигаши...

Солнце в тот вечер ушло темно-красным.
Птицы притихли вдали за изгибом реки.
Костры запылали в стане султана...

Тишина окутала лагерь повстанцев. Ночь была лунной, прохладной. В глубине степи завывали шакалы, предчувствуя близость битвы.

В белом шатре в золотых эполетах полковника восседал

султан. Хорунжий Кокболсын и старшина байбактинского рода жунус наслаждались свежим, нежным мясом жеребенка. Войску в достатке подвезли кумыса.

— Ждать не будем. Не сдадутся утром — к обеду поставим на колени! Отец, доверься нам — и, клянусь аллахом, завтра к полудню у твоих ног лягут головы твоих врагов, ты сам отрубишь язык Махамбета! — божился Кокболсын.

— Будь по-твоему. Но всех остальных главарей приведи ко мне живыми, — отвечал султан, пьянея от предчувствия победы.

Весел был пир туленгутов, и светлой казалась им ночь. А у повстанцев царила тишина, мрак укрыл слабые огни костров. Собаки скулили чуть слышно. Дети в походных люльках лежали молча, раскрыв глаза...

Огромное войско султана притихло лишь к рассвету, когда заря заиграла в небе.

— И в этот миг, — рассказывал гонец, — содрогнулась земля. Пошатнулся, затрясся шатер султана...

Охваченные ужасом туленгуты бросились к коням, сбивая друг друга. Никто не успел насыпать пороха в свои самодельные ружья.

Проскочив через брод, в самую гущу туленгутов ворвались сарбазы. Их было двести, а султану показалось — тысячи! Телохранители еле усадили его на коня. Есаул Жунус старался выровнять строй туленгутов, окружить смельчаков кольцом, не дать им прорваться, уйти... Но сарбазы и не думали пробиваться в степь. Они сражались молча, сосредоточенно, глаза их были красны от бессонницы, от ярости и гнева. Они были страшны и неистовы...

Рослый белоногий жеребец Исатая порой вставал на дыбы, словно требуя свободы. Кокболсын поднял пистоль, чтоб вернее прицелиться в батыра, но, когда нажал на курок, кто-то прикрыл Исатая. На хорунжего налетело трое сарбазов. Телохранители не сумели сдержать их натиск. Кокболсын, выронив пистоль, схватился за саблю, но увидел перед собой разъяренное лицо Махамбета — пригнулся к седлу, резко повернул и пришпорил коня. Удар Махамбета пришелся по туленгуту, оказавшемуся перед ним.

С воем и злорадными криками туленгуты увлекали с собой Махамбета. Но он был изворотлив, смел до безумия. Он с таким азартом, с такой быстротой отражал удары и настигал своих врагов, словно у него была не пара, а десять рук. Кому-то из туленгутов удалось снести мечом лишь ухо коню Махамбета. Никто не мог достать его ни пулей, ни мечом. К тому же ружья оказались лишними в этом месиве тел, своих и чужих.

Собрав вокруг себя полсотни отборных нукеров, Кокболсын вновь бросился к Махамбету.

— Рубите, рубите его, как собаку! Пики в живот! — Кокболсын видел перед собой только лицо Махамбета, слышал

его дыхание, свист его сабли, видел, как сжимается кольцо вокруг него.

— Жантас! На помощь Махамбету! — раздался могучий крик туркмена Балабека.

Оттесняя туленгутов пиками, сарбазы защищали Исатая и Махамбета. Их было уже немного. Двадцать, тридцать. Не больше. Но они были словно отлиты из железа.

Султан Караул-ходжа поднялся на возвышенность и, наблюдая за боем, слал на помощь своим все новые и новые сотни.

И вот — о долгожданный миг! — он увидел, как пошатнулось знамя Исатая. Пошатнулось — и вновь поднялось, еще выше, теперь оно было в руках великана Ерсары.

— Скиньте их с коней! Набросьте петли на Исатая и Махамбета! Оглушите этих собак! — Голос султана охрип. Редели ряды его сотен, но вот туленгуты в последнем рывке, не силой, а числом начали оттеснять сарбазов к реке.

Лишь бесстрашный Калдыбай, храбрый узбек Ерсары да молчаливый Нуралы, которого никакие силы не могли пошатнуть и сбросить с коня, да еще верткий, стремительный Жантас остались в гуще туленгутов...

— Э-эй! Вспарывайте им животы! — радостно заорал Кокболсын.

Упал конь батыра Ерсары, споткнулась лошадь упрямого коренастого Нуралы. Но тот уже стоял рядом с высоким Ерсары и тяжелой саблей своей вспарывал животы коням туленгутов.

Туленгуты наседали. Вновь заколыхалось знамя Исатая...

Словно раненные львы в последнем прыжке, повстанцы бросились вперед, чтоб вырвать у врагов тела своих друзей...

Султан видел: это агония, силы сарбазов иссякли, и, чтобы завершить бой достойной победой, сам кинулся в гущу схватки.

Но тут случилось непредвиденное. Туленгуты остановились, передние, повернув коней, надели на задних... Все смешалось. Страх обуял туленгутов, когда они увидели, что через узкий брод несется подкрепление к сарбазам. Их было много, мятежников. На конях, на верблюдах. С гиком и визгом неслись они на армию султана. Султан повернул коня. Он не мог понять, откуда появился этот новый отряд.

Остатки султанской армии рассыпались по степи. Никто не понял, что на помощь сарбазам шли не жигиты, а старики, женщины и девушки, в бой их вели жены Исатая и Махамбета. Подобрав тугие косы под малахаи, спрятав подол в мужские штаны и взяв в руки дубовые пики и кривые ножи, они ринулись на помощь мужьям, братьям и сыновьям.

Триста солдат, посланных полковником Гекке по приказу Перовского на помощь султану Караул-ходже, уже не застали мятежников на прежнем месте. В степи поймали Нуралы. Он шел в разведку.

— Мы воюем с Жангир-ханом, а не с русским царем, — сказал Нуралы на допросе. Гекке велел ему показать дорогу к новой стоянке Исатая. Нуралы завел его в пески.

— Почему ты обманул нас? — спросил Гекке.

— Не твое дело. Мне судья один аллах! — ответил Нуралы.

Нуралы выдержал пятьсот ударов шомполами, его бросили в землянку, чтоб наутро казнить, а он скрылся ночью. Взобрался на офицерского коня и еле живой прискакал к сарбазам.

Спустя неделю он пришел в себя, и Ерсары спросил его:

— Где ты был? Почему ушел от нас без спроса?

— Не твое дело. Моя спина — моя боль. Телесные раны быстро заживают. Рана Караул-ходжи страшней. Его туленгуты бежали, испугавшись бабьего войска...

Последние слова рассказчика тонули в хохоте. Люди уже не раз слушали подробности битвы при Кигаше.

Узун кулак давно известил все аулы орды о бегстве султана. Победа повстанцев принесла радость в далекие уголки Нарына, но людям хотелось еще и еще раз услышать о ней. Они требовали новых подробностей о битве и новых стихов Махамбета. Гонец читал:

Кто от рождения чудо-батыр,
Тот неизменно победе друг,
Тот — ураган, колеблющий мир.
Трусость — негодной души недуг,
Трус лишь дрожит, озираясь вокруг,
Распознавай коня-скакуна,
Гриву и хвост оглядев его!
Свалится с трона хан своего,
Если разгневана вся страна!..

Но стихи не дали дочитать до конца. Ханские стражники окружили толпу, ворвались в центр, схватили незадачливого гонца и сообщили о нем Жангиру, уже второй день восседавшему в тронном зале.

— Обезглавить смутьяна! — бросил Жангир и приказал больше его не беспокоить.

Шел ханский совет. В зале находились все бии, визири и султаны-правители.

На самых почетных местах, справа и слева от главы Букеевской орды, в мундире полковника царской армии восседали Караул-ходжа и Баймагамбет, возле них ногайлинец Шомбал, по старшинству названный великим визирем, султаны Шынка, Аспандияр и Чингали, предводитель рода алаш — Алтай Досмухамбет-улы. Места пониже занимали султаны шеркешского рода — Мендигерей, рода кеты — Тогум, рода байбакты — Шуке. Но не было здесь суровых султанов Айдалы и Куаныша. Их схватили повстанцы, суд старейшин из бедных аулов приговорил обоих к смерти...

На суфе, за спиной Караул-ходжи, сжимая рукоять сабли, молча и мудро восседал хорунжий Кокбол. Голова его была

перевязана. Не заживала рана, полученная в битве на Киягаше.

Кокбол всегда и везде находился рядом с отцом. Но здесь, в тронном зале, где собирались все самые знатные люди ханства, он был вынужден держаться в стороне, чтобы подчеркнуть свое уважение ко всем. Его бесило, что в зале находились двое из черни — старшины, которые были в отряде Исатая во время битвы на Киялы-Киягаше. Правда, и тогда они служили не Исатаю, а хану. Это они донесли, что у Исатая не было и двухсот сарбазов. Но сражение все равно было проиграно с позором. Султан Караул-ходжа и сам хорунжий Кокбол стали посмешищем в глазах других. Кто знает, может быть, и эти двое сейчас тоже про себя смеются над ним, хорунжим Кокболом? В обычное время их не допустили бы даже к порогу священного зала. А сейчас оба бершца сидят среди султанов. Сам хан то и дело подчеркивает свое внимание к ним.

В Жаскус они прибыли тайно, а теперь — в кругу знати на почетном месте. Кокбол еле скрывал свой гнев.

Будь все как раньше, он с наслаждением исхлестал бы обоих. И старший из них Еске и младший НаDIR в любой момент могут оказаться на стороне бунтарей. На таких надежда шатка. За кусок мяса, за горсть серебра они предадут кого угодно. Плохие времена наступили, если сам владыка пользуется их услугами, а султаны и он, Кокбол, должны сделать все, чтобы они вновь незаметно попали в стан Исатая и Махамбета. Кокболу противен и Бекмахамбет — старший брат Махамбета, сидевший между прочими почтенными султанами. Бекмахамбет был советником, визиром Жангира с первого дня его ханства...

— Нет земли без холмов и гор, нет народа без ханов и царей. Без вождя и племя не племя, а сброд глупцов. Даже звери не могут жить без вожаков... — откашлявшись, степенно, издали начал султан Баймахамбет. — Исатай, поддавшись влиянию безумца Махамбета, поднял руку на великого хана, которого избрали мы сами, как достойнейшего из достойных по крови и по святым делам его предков. Терпелив и мудр наш владыка.

Он был великодушен к Исатаю. Все мы помним, как сам Алдияр-хан поручал этому неблагодарному глупцу сопроводить сначала хивинского посла к царю в Петербург, потом — генерала Генса в его поездке по орде. Простому старшине, выходцу из черни, была оказана неслыханная честь. Но, как говорят, от ленивого жеребца не родится быстрый рысак, а кляча никогда не станет тулпаром. Он сам сапогом раздавил свое счастье, возомнив себя батыром-вождем.

Настал предел великодушию! В старину говорили: только палка научит медведя молитве. Лишь в зиндане охладится пыл Исатая и умолкнет Махамбет...

Разве не святой тамгой Алдияр-хана был скреплен фирман

о назначении Махамбета старшиной?! Разве мало скота и земли давали ему?! О ненасытные бродяги! Правду, истинную правду говорят, что волк остается волком и на воле и в неволе. Казнить их! Сжечь аулы всех смутьянов, а самих передать карателям великого царя! Вот мое решение! — говорил Баймахамбет.

— Прочитать, прочитать их! Самую страшную казнь для них придумать! — заговорили наперебой султаны и бии, не в силах сдержать свой гнев. Золотая трость хана застучала о трон. Жангир был недоволен шумом. Все притихли.

— Если с разбойниками не справился один, — медленно, растягивая и взвешивая каждое слово, продолжал султан Баймахамбет, бросив из-под густых бровей надменный взгляд в сторону Караул-ходжа, — то благослови нас всех, великий хан. Укрепи нашу силу, дай меч поострее. Мои жигиты готовы наказать взбесившихся мятежников!

— Каждого из них нужно выпороть шомполами, а самого Исатая вместе с Махамбетом повесить на одной веревке, — вставил старый султан ногайлинец Шомбал. Но, заметив, что Жангир-хан слегка поднял свою трость, умолк и склонил голову.

— Толпа упряма, как стадо, чернь глупа. Ее буйство можно покорить не только мечом, но и умом... — Жангир-хан обвел взглядом всех сидящих в зале биев и султанов. — Отрубишь голову — тело не удержится. Нужно отделить Исатая и Махамбета от толпы и показать всем удар умиряющего меча!

— Дат, Аддияр-хан! Мудрость живет в словах твоих, мой владыка! — вдруг оживился Караул-ходжа. — Одолеть их вместе сейчас трудно. Чернь взбесилась, она в ярости и может легко проглотить иных краснобаев, похожих на того пастуха, который гнал двух козлов, а свистом оглушал целую долину, словно все сокровища земли были у него в руках. — Караул-ходжа свысока бросил взгляд на Баймахамбета. — Разве достойный Баймахамбет не помнит, как еще в двадцать девятом году сто голодранцев Махамбета побили его туленгутов и опрокинули его белую юрту? В то время легче было осадить этих зарвавшихся табунщиков. Тогда с ними не было столько аулов.

— А у тебя, ходжа, что осталось после битвы с Исатаем — два козла или две пяди земли? — побагровел Баймахамбет.

— Взятся считать мои богатства? Так знай: я могу тебя купить и продать с потрохами! — взорвался Караул-ходжа.

— Прикуси язык! — Баймахамбет схватился за плетку. Он был сыном хана Аичуака, сам Жангир не смел разговаривать с ним таким тоном.

— Заставь умолкнуть этого самозванного ходжу! — прошипел Акан, стоявший за спиной Баймахамбета.

Тонкая золотая трость ударила в пол, лицо хана стало суровым.

Все смолкли.

— Спокойствие, высокородные правители, — повелительно зазвучал голос старейшего бия, великого визиря Шомбала. — Не уподобляйтесь волкодавам, которые, упустив зверя, грызутся меж собой. Победу приносит лишь единство. Султаны Айдалы и Куаныш никому из вас не уступали в храбрости. А что стало с ними, когда каждый своими силами решил усмирить смутьянов? Наши предки повторяли, что хитрость — сестра разума, даже змею можно выманить из норы, если будешь умен и хитер. Гибкость ума обезвредит даже жало дракона. Исатай обратился с письмом к великому хану. Просьбы его безмерны, желания безграничны, требования безрассудны. Он просит отдать на суд черни досточтимого Баймахамбета и Караул-ходжу, разделить их скот и земли между бедными, он называет великих султанов кровожадными шакалами, жестокими тиранами...

Поэтому великий хан посылает ему письмо с приглашением к себе. Он должен прибыть сюда на переговоры без своих смутьянов и воров. Если Исатай придет, — мы знаем, как его встретить, не придет...

— Руки будут развязаны, — закончил его мысль сам великий хан. — Его превосходительство генерал Перовский готов послать своих солдат из Оренбурга. Пушки уже в дороге. Если будет на то нужда, из Астрахани под началом подполковника Алиева придут триста солдат, из линейных крепостей готовы выступить отряды полковников и казачьих атаманов Бизенова, Меркулова, Трофимова, Истомина...

Раз и навсегда нужно покончить с бунтом в ханстве! — Трость хана снова ударила в пол. — Надоело мне слушать о Махамбете! — Хан не сдерживал своего гнева. Бросив трость на суфу, он поднял булаву — знак незывлемой власти и силы. Его левая рука легла на голову золотого льва, украшавшего выступ трона.

— Махамбет не стоит твоих волнений, мой владыка, — улучив момент, проговорил старый Шомбал. — Объявите народу, — обратился он к султанам. — Великий потомок славного Букея, владыка Внутренней орды, земли которого простираются от Жайка до Едила, хан Жангир дарует пятьсот золотых таньга тому, кто живым или мертвым доставит сюда Исатая. Ему ж будет передано все имущество и скот бунтаря... — Шомбал умолк на полуслове. Распахнулась дверь, расступилась стража, в зал торопливо вошел глава ханских лазутчиков и упал на колени перед троном.

— Смутьяны направили своих коней сюда. Их ведут Исатай и Махамбет!

Султаны вскочили. Только старый Шомбал и еще Баймахамбет не двинулись с места.

— Где они? — процедил Жангир.

— В ста верстах, мой владыка.

— Прочь отсюда! Больше никого не впускать! — приказал

хан. Султаны заметили, что его покинуло спокойствие. Слуги бесшумно разнесли кумыс. Все вновь молча заняли свои места.

— Сам аллах решил нам помочь, — нарушил тишину Шомбал. — Теперь требования Исатая будут выполнены.

Султаны с недоумением уставились на великого визиря, потом перевели взгляд на хана. Хан был не менее удивлен, чем они.

— Его требования будут выполнены, он получит ханский указ... Через десять дней. А сейчас нельзя медлить, мой владыка. Нужно отправить к ним встречное посольство и остановить их. И послать гонцов генералу Перовскому в Оренбург, к царским атаманам, казакам, на все русские заставы на Едиле и Жаике, чтоб к десятому дню покончить со смутьянами. А пока пусть ждут ханского указа. Еще мы попросим уважаемых старшин Еске и Надира, чтоб они сегодня ночью вернулись в стан Исатая, переговорили с батыром Асау, которому наш владыка дарует пастбища у Сары-Камышских озер, и обо всех делах в стане Исатая доносили нам через верных людей...

Хан молча поднял булаву. Слова Шомбала были его словами. Криво усмехнувшись, Жангир встал с трона. Побросав чаши, султаны вскочили с мест и расступились.

Жангир покинул зал. Он спешил к личному посланнику генерал-губернатора полковнику Гекке, который ждал аудиенции, сидя в обществе Зулкарная и ханши Фатимы...

...Порой заскулят иль завоют бездомные псы. И снова все тихо. Темно. Безлунные ночи глубокой осенью тягостны не только для людей. Даже кони в эту пору по-особому настроены. Редко услышишь веселое ржанье жеребца-вожака, не раздастся зов кобылиц. Кони тревожно храпят, услышав малейший шорох из темноты, и от страха начинают бить землю копытами. Лишь верблюды, как всегда, спокойны. Любую передышку, любой отдых — краткий или долгий, весенний или осенний — они встречают и провожают одинаково равнодушно. Вот и сейчас они лежат здесь, словно каменные великаны. Не шевельнутся, не встанут, не освободят дорогу. И если бы не глаза, тут и там сверкающие фосфорическим светом, да не чавканье ртов, перекаत्याющих жвачку, Махамбет не заметил бы их.

Безлунье. Звезды плотно укрыты темными тучами. В воздухе холодная сырость. И небо и земля словно провалились в бездну. Только ровный гул голосов да огни костров, мерцающих в долине и на холме, наполняют степь дыханием жизни, запахом дыма и тревожным ожиданием чего-то небывалого.

Махамбет только что покинул шатер Исатая. Снова — и в который раз — не смог убедить батыра в необходимости бы-

стро напасть на ставку хана. Исатай ждет ответа от Жангира.

— Хан просил десять дней на размышление. Я дал слово ждаты и не нарушу его, — ответил Исатай Махамбету.

Напрасно ждет Исатай: без битвы Жангир не сдастся...

Семь лет пролетело с тех пор, как Махамбет поссорился с Жангиром в голубой долине в Жаскусе и бежал вместе с Жантасом, спасая бедных аксакалов из рода шомекей. Прошел год с тех пор, как он в такую же темную осеннюю ночь покинул Хиву и, после долгих переходов под колючими холодными дождями по безлюдным пескам и такырам, изредка останавливаясь в глухих аулах, добрался до родных берегов Жаика.

Ночью тайком, бесшумно, как воры, переходили они реку, избегая встречи с казачьими отрядами линейных крепостей, которые прежде по просьбе Букей-хана, а потом его сына Жангира и по высочайшему велению русских царей железным обручем окружили границы Внутренней орды, отделив ее не только от России, но и от своих — Младшего и Среднего жузов. И уже месяц прошел с тех пор, как он вновь встретился с молчаливым Туке, напомнившим ему о Хиве, о поэте-мирабе Мунисе, о нежной и покорной Нурбал.

Если в Хиве он тосковал по родному краю, по прохладным рощам и запаху туранги, по пескам Нарына, по Жаику, мечтал увидеть властное течение Едиля, скучал по любимой Макбал, грустил по Исатаю и ждал битвы с ханом Жангиром, если он ждал этой битвы все годы и жаждал победы над ханом, то в эту ночь ему вдруг подумалось, что победы не будет, что все прошлое — тягостный сон, а будущее — безвестность. Что это? Предчувствие? Или просто усталость? Будь что будет. Нелегко одолеть народ, который собрался сегодня в этой долине и ждет от Жангира, чтобы тот выполнил его волю. Хан должен выдать султанов Караул-ходжу и Баймахамбета, наказать их за жестокость, вернуть народу захваченные земли...

Махамбет старался не думать о завтрашнем дне, успокоиться, поразмыслить о прошлом, отдохнуть.

С грустью он вспомнил печальную участь Нурбал и загрузил по Мунису.

В эти минуты для него не было бы лучшего собеседника и советчика, чем Мунис. Но какое дело сейчас Мунису до всех этих битв? Он и тогда, при встречах в Хиве, был слишком рассудителен. Мунис хладнокровно заносил в свою книгу факты истории, вел список погибших батыров и ханов, похороненных на протяжении трехсот лет в пантеоне славы казахов в Яссах, в мавзолее поэта-раба Ахмета Яссави, и аккуратно перечислял султанов, когда-либо садившихся на трон Хивы. Быть может, потому, что Мунис и сам был потомком великого визиря Ауэзбия, служившего при Алаша-хане, он так красочно описывал времена, когда владыкой Хивы были ка-

захские ханы Нуралы, Булакай и Абулгазы? Занимаясь историей, он мало внимания уделял поэзии и сохранил титул главного мираба Хивы лишь оттого, что это почетное звание было дано его деду Адине Мухаммеду ханом Абулгазы. Но как бы там ни было, Мунис далеко...

В первый раз за время отъезда из Хивы Махамбет вспомнил о нем месяц назад, когда встретился с капитаном Шустиковым.

Правда, капитану далеко до Муниса. Но Шустиков был так же откровенен, как Мунис. Его резкость и прямота порой приводили в бешенство.

— Я солдат и выполняю приказы, — сказал Шустиков в тот день, когда сарбазы разбили отряд Кисик-тёре и встретились с Туке. — Твое дело, казнить меня или освободить. Просить и умолять тебя не стану. Только знай: не одолеть тебе своего хана. Зря вы с Исатаем народ губите. Не одолеть, как и Пугач не одолел русского царя. А еще потому побьет вас хан Жангир, что царь Николай стоит за него и русское оружие пойдет против вас. Помнишь, еще в Оренбурге я говорил тебе о дружбе нашего генерала с вашим муфтием...

— Запугать хочешь, — рассмеялся Махамбет.

— К чему? Я в твоих руках. Страх нет оттого, что жить страшно. Я волжанин, как и ты. Только я с того берега, ты с этого. Вы ее Едилем зовете, мы Волгой. Мы всегда шли рядом. Народу и без нас с тобой немало загублено, палачей и без нас множество...

— Я палач над султанами и ханами. Приговор народа — мне указ. Стрелу, запущенную тугой тетивой, не остановишь, пока она не пробьет панцирь врага или не проскочит мимо цели и не заблудится в степи. А меткость — от силы, уверенности и твердости духа, — перебил его Махамбет.

— А что, если враг окажется коварен, силен и жесток и панцирь будет не под силу стреле? — спросил капитан.

— Народ охвачен гневом, ему отдушиной будет лишь битва. Рабы только в бою наслаждаются свободой. Победим или умрем — все едино: никто не сможет пограть наше достоинство и честь, — осадил его Махамбет. — Ты слышал о батыре Кобланды? Он жил тысячу лет назад и уже тогда не признавал над собою власть ханов и нам завещал... В степи уважали тех правителей, кто достоин уважения. Аблай говорил, что только в бою чувствуешь сладость жизни. А ты говоришь — жизнь страшна. Так иди и войуй — с этой жизнью, а не с нами. Забирай своих солдат да моли своего бога, чтоб мы с тобой больше не встретились в бою.

Махамбет отпустил Шустикова на все четыре стороны.

Прощаясь, капитан почему-то решил сказать о том, что Махамбетом интересовался и господин Даль-Луганский, писатель петербургский, невесть зачем прибывший в Оренбург и теперь ставший чиновником по особым поручениям самого

генерал-губернатора. Интересовался особо, как акыном бершева рода.

— Он упоминал о вашей встрече с ним в Петербурге, — сказал Шустиков.

Махамбет долго припоминал, кто мог интересоваться им в Петербурге. А вспомнив свою встречу, свой разговор с Луганским, рассказал о нем Исатаю.

Потом, когда сарбазы написали генерал-губернатору, чтобы не вмешивался, не применял своего оружия для решения вопроса — быть или не быть Жангиру ханом Внутренней орды, жиделинец Сарман тоже вспомнил, что «есть в Оренбурге ученый по имени Владимир Иванович, господин Даль, который очень справедлив».

Решили отправить Сармана с пакетом к Луганскому, чтобы тот передал его губернатору.

Другое письмо послали Жангир-хану.

Махамбет не подписал ни того, ни другого письма.

— Не сразишь врага — будешь сам сражен! Ждать некогда, остывают мечи, тупеют пики! Сарбазам непонятно, почему мы топчемся на месте! — Махамбет впервые столь дерзко говорил с Исатаем.

— Не горячись, Махамбет, — ответил Исатай. — Прошла неделя. Осталось лишь три дня. Казахи говорят: кто томился, ожидая сорок дней, переживет и сорок первый...

Старшины, собравшиеся на совет, поддержали Исатая. Но он, казалось, не слушал их. Поддержка старшин не радовала и не вдохновляла его. Задумчиво глядя куда-то сквозь стены, он тихо проговорил:

— Я тоже жажду боя, Махамбет.

— Исеке, горячность — свойство поэта, величие батыра — в спокойствии и молчаливом гневе, — льстиво вмешался старшина Надир из бершева рода.

— Эй, Надир! Я сказал: будем ждать! Иль ты не слышал моих слов?! — гневно оборвал его Исатай.

Махамбет чувствовал, что Исатая тяготит окружение, он не верит старшинам, которые вместе со своими жигитами присоединились к нему после победы над султаном Караулходжой в Кыялы-Кигаши. Особенно настороженно относился он к старшинам из богатого рода алаш. Почему же он все-таки слушает их? Не только слушает, но и выполняет их волю?..

Если бы это был не Исатай, а кто-нибудь другой, Махамбет порвал бы с ним и сам, один, повел бы жигитов в Жаскус, разнес ханскую крепость и погнал Жангира по аулам босым, привязав к хвосту скакуна, чтоб каждый, кто обижен им, мог собственноручно наказать его...

Если бы знать, кто происходит сейчас во дворце Жангира! Ведь отсюда рукой подать до ставки хана.

Что-то не возвращаются жигиты, ушедшие на переговоры.

Нет и связного Туке. Ушел и пропал. Быть может, поймали старика и сейчас Жангир издевается над ним?

«Нет, Туке неуловим. Туке вернется, — думал Махамбет. — А хан, наверное, лежит в своих покоях, и рядом с ним красавица Фатима...»

Нет, Жангиру не до нее. Да и Фатима не может думать о нем, Махамбете...

Сейчас в Жаскусе властвует страх. Быть может, там уже стоят полки генерала Перовского...»

Неделю назад, когда после великого хурала на Тас-Тобе сарбазы назвали Исатая своим батыром-сардаром и по его приказу, оставив жен и детей, двинулись в Жаскус вручить письмо — ультиматум Жангиру, их встретил один из ханских визирей — Алтай Досмагамбетов. Он был бледен, как и туленгуты из сотни, сопровождавшей его.

— Я, султан Алтай, сын Досмагамбета, преклоняюсь перед твоим бесстрашием, батыр, — сказал он, оглядывая собравшихся в долине сарбазов Исатая. — Досточтимый Алдияр-хан шлет тебе привет. Он направил меня, чтоб я встретил тебя. От имени Алдияр-хана я обращаюсь к тебе, Исатай.

Останови своих сарбазов, не обливай кровью священный престол. Я послан к тебе, чтобы выслушать твои требования и передать твое послание к Жангир-хану. Хан просит десять дней на размышление. За десять дней он изучит все твои требования и сам с ответом прибудет сюда. Пусть разум возьмет верх над мечом...

Исатай задумался. Старшины потребовали уважить просьбу хана.

Султан Алтай ждал ответа.

— Кони просятся вперед, не затягивай удила, батыр... — сказал тогда Махамбет Исатаю, сказал тихо, чтобы помочь, поддержать его.

— Кони поскачут — клинки обнажатся, снова прольется кровь. Сколько ханов в битвах убито?! Перед нами был великий Срым. Он сам обезглавил хана Есима. Но что изменилось? — проговорил Исатай и, обращаясь к Алтаю, твердо сказал: — Мы согласны. Но на рассвете десятого дня, если не исполнится наше желание, мы переступим сегодняшнюю межу, и тогда спор решат мечи!..

Седьмая ночь. Как она темна! Или это потому, что прежними ночами были видны звезды, и луна, и сотни костров, зажженных сарбазами в долине, которые казались отражениями небесных огней? А сегодня — ни луны, ни звезд, и костры стали реже, к тому же они неяркие, словно светлячки.

Мрак над головой. Мрак со всех сторон. Тоскливая, тревожная тишина.

Махамбет невольно прислушался, прервалась мысль, и сразу до настоженного слуха донесся негромкий тысячеусть

говор, наполняющий тьму. Люди не спали. Они сидели, плотно сдвинувшись вокруг затухающих огней. Лишь там, вдали, возле родника, звенела домбра и под одобрительный гул звучала чьи-то стихи, но ветер уносил их в сторону от Махамбета, и он изредка слышал эхо возгласов, перебиваемое фырканьем и вздохами верблюдов.

Первые три дня ожидания прошли быстро, незаметно, в шуме джигитовок и состязаний, но после все стихло. В людей постепенно вселилась тревога, настороженность. Сарбазы стали задумчивей.

Даже короткие осенние дни словно замедлили свою поступь, сделались утомительно долгими для повстанцев, жаждущих боя.

Еще неделю назад сарбазы носились по степи, готовые в любую минуту ринуться в сражение, жажда мести гнала их вперед, им хотелось с лету опрокинуть все шатры султанов и хана, чтобы хоть на миг ощутить свою силу, испытать радость победы. Это был предел их мечтаний.

Но сейчас, после шести дней ожидания, кажется, уже начало угасать первоначальное пламя, люди стали так же угрюмы и сосредоточенны, как грустны и одиноки эти слабые огни костров в тяжелой темноте осенней ночи.

Или сарбазы просто устали за лето, за время минувших боев? Или в лагере стало тише оттого, что жигиты уже закончили свои споры, выявив победителей в песнях, борьбе и на скачках? Ведь теперь уже никто не сомневается, что лучший домбрист — это Курмангазы из Жидели, что лучший поэт среди молодых повстанцев — юный Шернияз, что силой никто не может равняться с другом детства Исатая могучим Калдыбаем, а меткостью и смелостью — с Нояном... Может быть...

О, сколько оправдания для сарбазов и для своей собственной грусти и тоски находит Махамбет сегодня, пытаясь разогнать тревогу. Как назло, всплыл в памяти Петербург. Безмолвие восставших офицеров на Сенатской площади и гром пушек, возвестивший поражение восставших... Вспомнились слова Исатая о батыре Срыме...

Русские офицеры не смогли поднять народ против царя. А батыр Срым сорок лет назад выступил против хана, как сейчас это сделали Исатай с Махамбетом. Срым убил Есима и разбил его трон. Он отомстил Есим-хану за жестокость, отомстил за слезы своего народа. Но легче ли стало народу? Разве только для мести поднимают народ?

После гибели Срыма султаны и ханы стали в тысячу раз лютее. Где выход? Неужто все песни Махамбета, вся борьба столь же ничтожны и никчемны?

Не лучше ли было еще в Хиве подумать об этом и уйти вместе с Нурбал или забрать к себе Макбал и жить спокойно где-то в дебрях Сарыарки, слагая песни о былых батырах, песни-раздумья?..

Чтоб избавиться от неприятных воспоминаний, Махамбет направился туда, откуда доносились обрывки стихов и звуки домбры. Обойдя чью-то юрту, он заметил, что у потухшего костра лежат лучники из сотни Зарбая.

— Хан выполнит наши желания, или мы проучим его, и тогда наш аул перекочет к лесам у Жаика, займет свои прежние пастбища, — говорил молодой сарбаз. Махамбет невольно замедлил шаги, прислушался.

— Э-э, сынок. Ты как тот бедный чудака, который мечтал прокатиться на жеребенке еще не купленной им кобылицы... — с грустным смехом перебил его старый воин. — Давай спать. Лучшего счастья, чем сон, не будет. Свобода к нам приходит лишь во время битвы и сна, остальное тягостно, как было во все времена. А нынче и того тяжелей. Был джуг в позапрошлом году, а ныне бои, кровью окрашены Атрау и Нарын, горькими от слез стали воды Жаика и Едиля, аллах нас не слышит, он молча готовит свой суд. Что предписано судьбой, то и увидим: может, наутро нас укроет снежный чепан и, как голодных волков, погонит буря. Может, насладимся битвой и умрем, обливаясь горячей кровью. Не все ль едино — в мире нет бессмертных. И смех и плач одинаково вызывают слезы. Насмеешься — придет умиротворение, заплачешься — тоже спокойнее станет. Но лучшее спокойствие — сон. Давайте вздремнем, подбросьте в огонь кизяка и корней туранги...

— Корней туранги мало, оставим на утро, — зевая, проговорил молодой воин, плотнее укрывшись чепаном. Вспыхнувшее пламя осветило его лицо. Он был безусым, юным, как поэт Шернияз. Махамбет бесшумно зашагал к кострам на окраине стана, откуда доносилась тихая песня.

Подумалось, что сейчас далеко отсюда, в урочище Теректиколь, сжавшись в комок, возле детей лежит Макбал, так и не испытавшая ни спокойствия, ни счастья, ни радости с тех пор, как вошла в дом Махамбета.

Задумавшись, поэт не заметил, как возле него очутился Жантас. Он вздрогнул от неожиданности.

— Кто сегодня в дозоре, Жантас?

— С нашего фланга отряд Балабека, — ответил Жантас. — С фланга Исатая сотня Калдыбая. Все тихо. Вернулся Туке?

— Пока нет, — ответил Махамбет. — Где Курмангазы и Шернияз?

— Они в твоём шатре. Шернияз создал песнь сарбазов, а сейчас ждет тебя, чтобы ты послушал. Курмангазы со своими домбристами завтра исполнит песнь о битве. Нужно встряхнуть сарбазов. А то скучно, как на похоронах, — неуместно пошутил Жантас. — Я слушал и Курмангазы и Шернияз. Они как джигиты, когда их слушаешь — мороз по коже и руки невольно за саблю берутся. Скоро ль пойдем в Жаскус?

— Ждать! Ждать велел Исатай,— нервно произнес Махамбет и ударил плеткой по темному комку перед своими ногами. С визгом и лаем собака кинулась на него, но Жантас успел оттолкнуть ее в сторону. Захрапели кони, шумно поднялся нар, лежавший возле шатра Махамбета.

— Эй, кто там! — Из шатра выскочили братья Махамбета Иса и Муса. Кто-то подбросил охапку сухого хвороста в обессилевший огонь. Взметнулось пламя и осветило лица сарбазов, а из шатра вслед за братьями вышли Курмангазы и Шернияз.

— Ишь какие чуткие. А может, с перепугу вскочили? Чего же вам не спится? — сказал Жантас.

— Какой тут сон?.. Сколько еще ждать, Махамбет-ага? — спросил Шернияз.

Махамбет уже не мог спокойно слышать этих вопросов, звучащих укором, но сдержал себя.

— Торопливость и горячность — не всегда разумные советчики, мой брат, — ответил он.

— Значит, все еще нет ответа и нет решений, — произнес Курмангазы. — А я уже как голодный барс. Хочется заменить добру на меч.

— Исатай сегодня в третий раз выезжал в поле на встречу с посланцами Жангир-хана и полковника Гекке. Послы говорят, что мы получим ответ, когда истечет назначенный срок. Осталось три дня.

К костру подошли Ерсары и Ноян. Вслед за ними подошел Степан со своими молодцами из-под Астрахани, примкнувшими к повстанцам; появился Зарбай. Из ближних шалашей, шатров и юрт люди собирались к Махамбету. Оказалось, никто не смыкал глаз.

— Прости, Махамбет, но мне что-то не нравится игра в выжидание, — проговорил Ерсары. — Что мы будем делать, если через три дня хан ответит: вон отсюда?

— В дело пойдут мечи, — весело сказал Шернияз.

Ерсары с улыбкой посмотрел на Шернияза.

— Ты поэт, сынок. И к тому же молод. Меч и булавы могут быть тяжелы для твоих рук. Твои слова народу нужнее, чем удары твоего меча. Поминальную песнь про нас ты сложишь, а мы в бой пойдем с Махамбетом.

— Не огорчайся, Шернияз, — присоединился Махамбет к Ерсары, — утром ты отправишься в Теректы и дождешься нас там. Помоги оставшимся старикам и детям. Меткое слово, хороший стих всегда нужны людям. Порой мне самому хочется, расседав коня, забросив шлем в траву, раскинув руки, лежать в спокойной долине, где мирно пасутся табуны. Где небо и травы, земля и горы шепчут свои песни...

Стало тихо.

— Ерсары-ага, — сказал Шернияз. — Вы сказали, что я молод. Но в десять лет ханских отпрысков сажают на трон. Мне уже двадцать, и я хотел бы с любым здесь потягаться в силе.

Ведь барса не назовут котенком, а коня-трехлетку — жеребенком. — В голосе юного поэта звучала не то обида, не то гнев.

Махамбет залюбовался им. Все, кто сидел у костра, на миг забыли о своей печали. Шернияз за короткое время стал общим любимцем. Худощавый и слабый на вид, Шернияз сейчас, при свете пламени, казался высоким и сильным.

Ерсары не успел ответить Шерниязу. Вдруг из дальнего конца долины, из-за барханов, донесся пронзительный, холодом резнувший по сердцу крик. Вспыхнули костры на легких сторожевых башнях, сооруженных еще в первый день стоянки.

«На коне-ей!» — донеслось в ночи. Взметнулись кверху факелы — охапки соломы на длинном шесте, где-то нервно, не сохраняя ни ритма, ни такта, забил тяжелый барабан, призывно заржали кони, с недовольным ревом поднимались с теплых лежанок верблюды. Весь ночной лагерь пришел в движение. Факелы, как плавающие звезды, заполнили огнями долину...

Когда побледнело небо и утренний холодный ветер, словно в тяжелом хмелю, загулял над землей, все войско вставших уже было в сборе, все юрты и шатры уложены во вьюки.

Жигиты, угнавшие коней в ночное, вернулись в стан. Сарбазы седлали скакунов и без команды занимали свои места в строю. Люди больше не могли ждать. Тревога владела всеми.

Строй копыеносцев и лучников был плотен и тесен, свет утренней зари переливался на щитах и кольчугах. В отдельном строю, сдерживая продрогших коней, стояли те, у кого были пищаи и ружья. Рядом с ними — сотня жигитов от адая, смелых до безумия, быстрых и бесхитростных. С ними бок о бок русская сотня Степана, вооруженная охотничьими ружьями, кривыми саблями, выкованными в походной кузне, секирами, прихваченными из сел и деревень. В большинстве это были крепостные крестьяне, бежавшие из поместий канцлера Безбородко и графа Юсупова, но среди них встречались и беглые солдаты, вроде самого Степана, и мужики из рыбацких ватаг на Каспии.

Сарбазы ждали Исатая. Но никто, даже сам Исатай, больше не сможет заставить их расседлать коней. Они готовы пойти за Исатаем и Махамбетом в огонь и в воду, только не ждать, только не зябнуть в этой темной, холодной ночи. Нервы сарбазов были напряжены.

— Почему медлит Исатай? Кто кричал в ночи? Кто поднял всех? Почему умолк барабанщик? — Все смотрели туда, где высился шатер Исатая. Там собралась толпа. Там спорили батыры. О чем?

Терпение покидало сарбазов, когда откуда-то из глубины левого фланга донеслось страшное, хлестнувшее всех слово:

— Измена!

— Измена! Измена! — нелось над всеми. — Старшины бершева рода Кисык и Надир продали нас! Они увели с собой триста жигитов. Они убили шеркешцев, стоявших в дозоре. Бершцы предали нас!

— Эй, сарбазы из рода тама и адая, шапрашты и керде-ри! Гоните бершцев из своих сотен, — в бою их стрелы могут попасть в ваши спины. Старшины бершцев предали нас! Они ушли к Жангир-хану! — кричали со всех сторон.

Пошатнулся строй лучников, затем копыеносцев. Сотники не могли удержать сарбазов в повиновении.

Жигиты из рода шеркеш отделились от других.

— Кровь за кровь! Не простим бершцам убийство братьев!

С ближнего холма, взрывая пески огромными копытами, несся белоногий конь Исатая. Рядом с батыром, как всегда, был Махамбет, следом — самые верные друзья батыра и поэта. Сарбазы немного притихли.

— Я сын берша! Готов принять казнь! — прогремел голос Исатая. Конь батыра встал на дыбы перед войском.

— Он тоже сын берша. — Исатая указал булавой на Махамбета. — Калдыбай от адая, а Ерсары — сарт! Мы все перед вами. Казнить хотите — казним Надира. Он увел не только бершцев. Но главный виновник здесь я!.. Меня избрали сардаром. Я повел вас в поход. Я готов. Слушаю ваш приговор!

Даже кони перестали дергать поводья и беситься под седлом. Недолго длилась тишина. Но казалось, прошла вечность.

«Молчащий в гневе страшен», — говорят казахи. А тут молчал не один — грозно молчало огромное войско, которое совсем недавно, услышав голос Исатая и песни Махамбета, весело, яростно, не задумываясь, несло в огонь сражений.

Прошла еще минута. Никто не промолвил ни слова. Заржал чей-то конь, кто-то уронил щит и старался крючком копья достать его с земли. Ветер играл перьями на шлемах батыров и теребил конские хвосты на узких полосатых знаменах родов.

Вперед пробился воин из свиты Исатая. Это был старый батыр Асау — потомок хана Барака, правившего Ташкентом. Асау всю жизнь провел на коне и гордился тем, что не строил себе ни дома, ни дворца, не имел ни жены, ни детей. Не то как одинокий рыцарь, не то как святой старец Кыдыр, бродил он по степи, увлекаясь охотой, разбирая тяжбы рода шеркеш и собирая подати с аулов, доставшихся ему по наследству, но богатств не копил, стремился прославиться подвигами в бою и щедростью к своим подчиненным. Асау был другом Жангир-хана, в двадцать девятом году он пытался поймать и казнить Махамбета, но после победы сарбазов на Киялы-Кигаше пришел к Исатаю и привел с собой двести жигитов.

— Я воин и хочу быть с народом в этой битве,— сказал он тогда.

Ни Исатай, ни Махамбет ни словом не обмолвились о его прошлом. Никто не вспомнил о его ханском происхождении. Сарбазы отнеслись к нему с почтением.

— Батыр,— обратился он к Исатаю.— Мы все дети одной матери — одной проклятой аллахом, обойденной счастьем земли казахов. Сейчас не время вершить суд друг над другом. По доброй воле народ без веры не пойдет ни за кем. Мы верили тебе. Но сегодня наша вера пошатнулась. Махамбет говорил тебе: «Не срубишь — сам будешь срублен!» Сегодня прошел седьмой день, как мы здесь. Сегодня уже начали рубить нас. Я увожу своих жигитов!.. Эй, жигиты шеркеша и тама, все, кто пришел со мной, выходи! Я привел вас, я и уведу. Ни Исатай, ни Жангир не тронут наших аулов!

Асау пришпорил коня. Сарбазы, стоявшие у правого фланга, двинулись за ним. Загрохотала земля. Нетерпеливо загарцевали кони тех, кто оставался на месте. Топот копыт уходящих сотен слился с гулом голосов оставшихся сарбазов...

Что-то оборвалось в груди Махамбета, заняло сердце, сдавило горло от гнева. Но он не произнес ни слова.

— Исатай-ага, веди нас! — вдруг раздался звонкий голос Шернияза. Махамбет заметил, как изменилось лицо Исатая и яростный огонь блеснул в его глазах.

— Мы сегодня омоем мечи в крови предателей! Нас ждет Жаскус, мы услышим рев хана и биев! — Голос Исатая звучал необычно. В нем появился железный звон.

— Подожди, батыр! Дай помолиться перед битвой,— заговорил молчаливый Нуралы, которого Махамбет еще в Хиве прозвал «глухонемым». — Мы, непокорные слуги аллаха, сегодня пропустили предутренний намаз, так пусть наша молитва перед боем заменит его. Я проклинаю предателей и тех, кто покинул нас в трудный час. Аминь!

Нуралы первым слез с коня. За ним последовали другие. Держа коней за поводья, они разбрелись по долине. Каждый выбрал себе место поудобней, бросил под ноги чекмень или потник, повернулся лицом в сторону Мекки.

— О аллах, я знал, что это будет так,— вздохнул старый Жакып и присоединился к другим: — Бисмалла ил-ла иль-рахман...

Махамбет смотрел на рассыпавшихся по долине и холмам сарбазов.

Сколько ушло с предателями? Скольких увел Асау? Сколько осталось? Пятьсот? Нет, больше. В мечеть превратилась эта узкая долина. Да, собственно, вся степь подобна мечети. Мечети, где просят счастья у аллаха, где встречают свою любовь, где входят в объятия смерти. Бывают годы, когда джут или нашествие ханских и царских карателей превращает эту мечеть в обитель плача и смерти.

Что за время — время тяжкое!
Изменило нам счастье — осталась тоска...
Небо не давит на нас — оно высоко,
Земля не разверзлась под нами —
Широка колыбель моя.
Так что же отняло наше единство?!

Перед собой поперек седла Шернияз держал обнаженной тяжелую саблю и пробовал остроту ее лезвия.

— Сочини стих о могучих батырах адая, я повторю его на домбре, — сказал, подъехав к нему, Курмангазы. — Я иду в сотню адаевцев и кипчаков. С ними веселее в бою.

— Я с тобой, Курмангазы. Пусть Исатай-ага разрешит нам. Пойдем к нему...

— Туке все нет. Сейчас вернется сотня Нояна, ушедшая в погоню за Надиром, — обратился Исатай к Махамбету. — Ты был прав. Ожидание придает силу и смелость соколу. Для людей оно — раздумья и сомнения...

Калдыбай с жигитами разбирает шатер Исатая. Жиделинцы во главе с Зарбаем проверяли запасы стрел и прилаживали фитили к ружьям, а Степан проверял готовность своей сотни.

Окончив молитву, сарбазы сели на коней. Подтянулись, выровняли ряды, четче стала видна каждая сотня.

Махамбет стоял рядом с Исатаем на вершине высокого холма и вглядывался в даль, туда, где лежали вспаханные поля, сады и луга Жаскуса, где стояли крепость и дворец Жангир-хана.

— Пора! — Махамбет торопил Исатая.

Исатай не слышал его. Чуть натягивая повод своего могучего, но послушного коня, он забылся, погрузившись в невеселые мысли.

— Где же Туке? Где Сарман? Дошло ли наше письмо до генерал-губернатора? — размышлял вслух Исатай.

— Бессмысленно ждать Сармана. И царь, и генерал, и хан уже дали ответ. Штыки нам в горло, картечь — в живот! — вскипел Махамбет.

— Мы идем навстречу смерти, Махамбет. Мы с тобой ведем их в пламя ада. Спасения не будет. Жангир оказался хитрее нас. Он успел подтянуть силы, укрепиться, — тихо проговорил Исатай. — Забирай Курмангазы и Шернияза, отделий свою сотню и скачи, защити матерей, жен и детей, уведи их подальше от мести Жангира, уводи за Жаик, к братьям из Младшего и Среднего жузов. Но помни — и там беспокойно. А в Великом жузе вышел на поле брани хан Кенесары. Нет сейчас спокойного уголка на нашей земле.

— А мне нет дороги назад. Мой путь завершается. Песня тоже когда-то умирает, не каждая песнь вечна, но славен тот, кто допоеет свою песню до конца.

— Я не повторяю дважды. Уводи свою сотню, чтоб защитить жен и детей. Береги их. Ты за них в ответе, — повы-

сил голос Исатай, не давая Махамбету вставить слово. Он круто повернул коня назад и, став перед строем, поднял булаву.

— Пусть славные предки благословят нас сегодня! Мы идем... — Исатай не досказал.

— Беда! Беда, жигиты!

Со стороны дальней сторожевой вышки один за другим, в цепочку, во весь дух неслась сотня Нояна. Сам Ноян молча летел впереди. Он резко остановил своего коня перед Исатаем. Лицо его было бледным.

— Вчера вечером солдаты и казаки полковника Меркулова двинулись в Теректиколь... Туке убит. Его повесили. Из всех линейных крепостей, из Оренбурга и Астрахани идут войска на нас. Вокруг Жаскуса пушки, а в крепости полк генерала. — Ноян говорил негромко, но каждое его слово тотчас из уст в уста пробегало по рядам сарбазов.

— О аллах, помоги нам спасти матерей и сестер! Пусть небо покарает тебя, Жангир-хан, пусть шакалы глумятся над вами, султаны! Спасем своих детей от пуль и ядер! — запричитал кто-то.

Всколыхнулись шлемы и пики, сарбазы повернули коней. Раздумывать было некогда, да и как сейчас остановить этих людей, пораженных коварством и жестокостью Жангир-хана?

— Жигиты, хан и полковник Гекке убили наших послов! Кровь за кровь! Их послы в наших руках. Казнить их! И отравить тела в подарок хану!..

Конь Исатая, почуяв гнев хозяина, рванулся с места.

— На Теректиколь! — Белоногий тулпар, разрезая ряды сарбазов, вырвался вперед.

От него не отставал корноухий конь Махамбета. Тут же мчались Ерсары, Калдыбай, Ноян, Степан...

Рассыпавшись по всей степи, сарбазы, обгоняя друг друга, понеслись вперед. Лишь верст через пять Исатаю с Махамбетом удалось опередить всех и установить какой-то порядок.

Армия повстанцев теперь напоминала острый, ощегинившийся пиками клин. Прорезая барханы, заросли туранги и тугая, прибывая густые заросли ковыля, она неслась вперед.

Ничто не удивило Махамбета — ни слова Исатая о том, что он, Махамбет, должен оставить его, ни уход батыра Асау, ни измена старшин бершцев, ни весть о полках, двинувшихся на них из всех крепостей, — ничто. Его ошеломила весть о смерти Туке. Махамбету казалось, что он причина всех бед и гибели Туке. Останься он и вовремя вернись к повстанцам, все было бы иначе. Он предотвратил бы измену, он бы знал, что старшина Надир — предатель. Не ушел бы батыр Асау. Все было бы иначе, думал Махамбет.

И в Хиве, и здесь один вид Туке вселял спокойствие. А как безмерно обрадовался Махамбет, неожиданно встретив Туке месяца два назад.

Следуя скупому рассказу самого Туке, он тогда восстановил весь путь, пройденный Туке в Герат и обратно. Его дорогу от Жидели к Махамбету.

Увлекаемый лавиной сарбазов, Махамбет не слышал гула стонавшей под копытами земли. Корноухий нес мягкой рысью, будто стремясь не прервать его мыслей.

Махамбет думал о Туке и ясно представлял, как два месяца назад конь Алдияра так же плавно нес из Жидели своего нового хозяина-дервиша.

Туке уже не был похож на того безумного бродягу, которого видели в Жидели. Он был молчалив и задумчив, отдыхал и кормил коня на пожухлых лужайках, у речек и ручейков. Ночью спал чутко, как и все, кто одиноко скитался по свету, держа наготове маленький острый нож, обычно запрятанный в лохмотья.

Убедившись, что конь не уходит от него далеко, он освобождал его на ночь, а сам с вечера разводил костер, а потом выгребал уголь и укладывался на теплой земле из-под костра. Седло ставил так, чтобы защититься от холодного ночного ветерка.

Встретив на пути аул, он ехал прямо к юртам, обретая снова облик юродивого. Слушал тревожные рассказы о приближении карателей Жангир-хана и о новых битвах повстанцев с туленгутами султанов и хана...

Он допивал остатки осеннего кумыса в одиноких шалашах пастухов, слушал песни и кюи у костра и в ту же ночь незаметно исчезал на старом иноходе Алдияра.

От пастухов и табунщиков он узнал, что повстанцы, разбившись на сотни, уже господствовали на всем Атрау, заняли все земли султана, правителя Караул-ходжи и канцлера Безбородко и что Исатай с Махамбетом находятся где-то совсем рядом...

Дервиш вскрикнул от радости, когда с высоты заросшего чингилом бархана в одном из аулов увидел множество оседланых скакунов.

— Иншалла, цель, должно быть, близка, — проговорил он и направил коня к аулу. Почувствовав, что хозяин освободил поводья, конь понесся стремительной иноходью.

Приближаясь к аулу, дервиш по одеянию людей заметил, что там были не сарбазы Исатая, а туленгуты с длинноствольными ружьями. Он потянул поводья, конь сбавил бег и пошел тихим шагом. Дервиша встретили двое, подвели к человеку в султанской одежде. Не дав сопроводившим вымолвить слова, дервиш прыгнул с седла, зарылся лицом в пыль, начал бить поклоны, громко молиться. Затем вытащил из кобуха маленький барабан, заглянцованную от времени

кость — баранью лопатку и пустился в неистовый пляс. На шум собрался народ.

— Это же шаман, бедный раб аллаха, бродяга, — сказал аксакал, подошедший к султану. — Отпусти его.

— Шаманы на таких конях не ездят. — Человек в богатой одежде пристально вгляделся в дервиша. — Может, хитрит, может, это вор-лазутчик Исатая и Махамбета...

— Он слуга аллаха. Народ наш щедр и чуток к бездомным и безвинным. И молодого тулпара, и дойную верблюдицу могут подарить несчастному человеку, — твердо проговорил аксакал.

«Это два соперника», — отметил дервиш про себя, все еще продолжая неистовый танец.

— Разойдись! Не выпускать его из аула до прихода сотни! — приказал тёре и направился в свой походный шатер. Аксакал молча последовал за ним.

Закончив танец, отряхивая пыль со своих лохмотьев, дервиш подошел к крайней юрте, возле которой в очаге из камней горел огонь. В казане вскипало молоко. Прислонившись к стене юрты, сидели два древних старика и вели меж собой тихую беседу.

— Проходи, божий человек, пусть добрым будет твой путь и добро придет в хижину, порог которой ты переступишь. Проходи в дом, — обратился один из них к гостю.

Старуха провела гостя в юрту. Расстелила скатерть. Поставила перед ним чашу айрана и пиалу жареного проса в сметане. На скатерть насыпала сухого жирного творога и бросила несколько комков курта.

— Бисмила. — Дервиш принял за еду.

— Погубят, погубят наших бедных жиделинцев. Всех жигитов или убьют или в тюрьму засадят. О, упаси, аллах, — доносился разговор двух стариков, сидевших у юрты.

— Да и помочь-то нечем... — говорил один из них. — И Акбай, и Дулат, и наш Кисык-тёре — все против них.

— А как поможешь? Знать бы, где они, тогда бы придумали. А то их лазутчики вернутся, — отвечал хозяин юрты, — и сразу все выедут окружать жиделинцев. А из нашего аула никого не выпустят, пристрелят. Ох, оберут они нас при уходе, угонят весь скот...

— Не простят нам, что дети наши ушли к Исатаю. Говорят, жигиты Махамбета уже в Косчагыле. Сорок верст отсюда. Дать бы им знать — и жиделинцам, и нам бы подмога...

— Ночь рассудит, а сейчас спокойствие и терпение. — Хозяин юрты умолк. Дервиш поблагодарил хозяйку за еду и вышел.

— Сними седло с коня, пусть пасется на свободе, — посоветовал старик. — Да не упускай далеко — уведут. Туленгутам все равно, кто ты — божий человек или вор. А сам оставайся, отдохни с дороги.

Дервиш не ответил, ворча себе под нос, поймал коня, снял с него седло и повел на лужайку у ручья, на окраине аула. На него заорали туленгуты, стоявшие на часах: нельзя переходить ручей. Он и не собирался. Пустил коня пастись, а сам улегся тут же на траве. Один из туленгутов ткнул его прикладом в бок. Дервиш с криком откатился в сторону.

— Не трогайте его, не гневите аллаха! Он никому вреда не делал! — закричали женщины, пришедшие за водой.

— Пусть гром обрушится на вас! — с гневом запричитала старушка и пошла на обидчиков с палкой.

Туленгуты отступили. Этот бахсы еще не нарушил приказа, не перешел ручья. Так пусть лежит, если нравится.

Постепенно установилась полуденная тишина. После сытного обеда что воин, что чабан — все одно — час-другой дремлют, особенно в степи, в жару, а еще больше в песках.

Дервиш взгляделся в сторону дороги на Косчагыл. Там было пустынно, лишь верблюдица с верблюжонком спускалась с невысокого косогора в ложбину...

Постовые возле ручья разулись и мыли ноги в прохладной воде. Было тихо. Туленгуты отдыхали под длинным навесом у шатра. Кони, парясь под седлами, теснились с обеих сторон у длинных ясель, отбиваясь хвостами от мух, фыркали и доедали овес.

Дервиш встал, подошел к ручью и тоже начал мыть ноги. Потом подвел к ручью своего иноходца и, набрав воды в ладонь, начал обрызгивать себя и коня. Постовые посмеялись и перестали обращать на него внимание. Умывшись по пояс, они улеглись и устало закрыли глаза.

Улучив момент, дервиш собрался вскочить на коня, но тут словно ветер ударил в спину — он услышал стремительный топот копыт и грозный клич:

— Айрай!..

С того косогора, откуда недавно спускалась верблюдица, теперь развернутой цепью неслась конница. Постовые, оторопев от неожиданности, так же, как и дервиш, минуто-две удивленно смотрели на стремительно приближающихся сарбазов, потом, опомнившись, схватили ружья и сапоги и помчались туда, где туленгуты в суматохе разбирали оружие и коней.

— Бейте по ним, бейте из ружей! — орал тёре. Но было уже поздно.

— На коней! — заорал тёре.

— Айра-а-ай! — Клич жигитов рвал воздух. Их кони неслись, застилая землю за собой пеленою пыли.

Отряд тёре свернул в другую сторону, чтобы уйти от удара жигитов. Но и с этой стороны навстречу выскочили сарбазы.

— Аруа-а-ах! Ару-а-ах! — Рассыпаясь на скаку, жигиты с обеих сторон брали аул в кольцо. Беспорядочная стрельба не

могла остановить их, она не причиняла им вреда. Сарбазы словно слились со своими конями. Сверкая кривыми саблями, грозно оцетинив пики, они неудержимо неслись вперед. А жители аула — старики и женщины — уже хватали туленгутов, накидывали на них арканы и опрокидывали с коней.

Один за другим проскакали сарбазы мимо дервиша, все еще стоявшего у ручья, не понимая, что к чему. Рысак дервиша, взбудораженный топотом копыт, без седла и седока помчался вместе со всеми...

Не прошло и десятой доли часа, как утихла стрельба. Туленгуты и сам тёрё оказались прижатыми к опрокинутому вверх дном шатру.

— Это сарбазы Махамбета и Исатая! — кричали дети и женщины, выбегая из домов.

— Уа! Слава аллаху! Сам сокол Махамбет прибыл в гости к нам! — кричал оборванный жигит, бегом направляясь к сарбазам.

— Иншалла, путь мой завершен, — вздохнул дервиш и спокойно зашагал к седлу, оставленному у юрты.

Отвязал курджун от седла, закинул за плечи. Вошел в опустевшую юрту, снял с гвоздя деревянный ковш, зачерпнул из ведра студеной родниковой воды, выпил и медленно зашагал туда, где победители судили побежденных.

Он шел, всматриваясь в лица жигитов. Они были спокойны. С поклоном брали пиалы кумыса и айрана из рук старух и стариков, с улыбкой и шутками — из рук девушек. Аксакалы аула суетились, каждый старался показать свою щедрость — откуда-то тащили огромный тай-казан, уже дымилась кровь жеребца, прирезанного, чтобы угостить сарбазов. Дети без боязни выпрашивали у сарбазов шлемы и под хохот жигитов примеряли их. Кто-то, настроив домбру и проиграв стремительное вступление, с задором начал острую, язвительную, беспощадно высмеивающую алчных степных тиранов песню великого Сыпыра-жырау.

— У-ах-хай! — подбадривали певца друзья.

Вокруг собрались сарбазы. Домбра, пролетая по воздуху, переходила из рук в руки, песню подхватывал то один, то другой.

— Гей, домбристы, кто знает кюи Курмангазы? Сыг-райте!..

Воины постарше чинили седла, чистили кремневые ружья, кусочком кошмы или пучком травы насухо обтирали взмокшие спины и крупы коней. Было жарко. Иные снимали кольчуги, а то, наладив легкие щиты на копыя, держали над головой.

Чем дальше, тем теснее становилось от коней и людей.

Дервиш протиснулся в круг. На большой поляне, образованной в центре людской массы, валялось оружие, брошен-

ное побежденными к ногам победителей. Пленники, сбившись в тесную кучу, стояли на другом конце поляны.

Прямо напротив, среди толпы всадников, дервиш увидел Махамбета и остановился.

— Наконец... Слава создателю, я добрался...— Он тяжело вздохнул, не сводя глаз с поэта, и распрямил спину.

Рядом с Махамбетом стоял Жантас. Других дервиш не знал. Но все, кто находился рядом с поэтом, были молоды, красивы, могучи в плечах и спокойны в движениях. Да и сам Махамбет был не тот, что в Хиве. Спокоен и горд, голос весел и звонок.

Перед Махамбетом на коленях стоял тёрё в разорванном парадном халате.

— Он мне не нужен. Доставим его к Исатаю. Пусть бежит за конем. Нуреке, веди его сам,— обратился поэт к коренастому, угловатому сарбазу, в котором Туке признал Нуралы — друга бесстрашного Суюнкары.

— Веди его на веревке, как собаку, пусть по дороге вспомнит, скольких он заживо свел в могилу,— сказал Жантас.

— Не твое дело. Сам знаю,— мрачно бурнул Нуралы и грозно двинулся на побледневшего тёрё.

— Смотри, Махамбет! — весело крикнул Жантас. — Балабек нашел-таки и поймал тех лазутчиков! — Со стороны косогора показался небольшой отряд сарбазов. Они вели пленных солдат с связанными руками. На двух-трех конях поперек седел лежали тела убитых.

— Развяжи им руки! — приказал Махамбет, когда Балабек подвел солдат. Среди пленных был офицер.

— Ну, что ты нам скажешь, капитан? — заговорил Махамбет. Шум немного утих. — С чем послал тебя в наши края генерал Перовский?

— Чтобы убедиться в твоих разбойных делах, Махамбет! — ответил офицер.

— На аркан и к седлу его! Чтоб знал, как в степи усмиряют пыл палачей! — закричали в толпе.

— Мне знаком твой голос! Кто ты? — спросил Махамбет, вглядываясь в лицо пленника.

— Капитан Шустиков, — ответил офицер.

— Бывший поручик! — срезал его Махамбет. — Тот, кто говорил мне о торговле казахскими детьми, тот, кто говорил о несправедливости русского графа и казахского хана. А сегодня ты пришел, чтобы по приказу генерала Перовского помочь султану?.. Так знай: войско султана давно разбито, а земля его и стада розданы настоящим хозяевам. Сам Караулходжа еле унес ноги из боя на Кигаше и сейчас в своем ауле или уже бежал к своему зятю Жангир-хану. Мы воюем с султанами и ханом, а не с генералом Перовским. Быть может, генералу не нравятся наши походы, быть может, он хочет идти против нас за то, что сын Букея Жангир обещал

отобрать остатки земель у бедных бершцев, шомеке, шапрашты, у родов адай и шеркеш и отдать эти земли вам?!

— Я солдат, Махамбет. И, как солдат, выполняю приказы моего генерала, — ответил тогда Шустиков.

— К седлу его! Слова тут не помогут, давай аркан. — Двое конных сарбазов закружились возле Шустикова. По воздуху пролетела петля и обвила шею офицера. — А ну, разомкнись! Дорогу гостю, жигиты! — Один из воинов прижал конец веревки к седлу.

— Спокойствие и разум! — вскричал Махамбет. — Жигит, осади коня! Снять петлю!

— Чей брат пал не в открытом бою, а убит этими солдатами? — продолжал Махамбет.

— Они еще не успели... — начал кто-то и умолк. Народ расступился. Жигиты на плечах несли тела погибших.

Махамбет слез с коня и стал на колени. Звеня мечами о щиты, опустили на колени все воины, все мужчины, кроме офицера и его солдат. Шустиков видел, как старик в чалме прошел меж сарбазами, присел у изголовья покойников, воздел руки к небу и начал медленно читать молитву.

— Окаянные, они и нашего под себя крестят... — проговорил сквозь зубы один из пленных солдат, и только тут дerviш заметил, что на самодельных носилках рядом с покойниками сарбазами и туленгутами лежал погибший русский. Старец читал молитву для всех.

Шустиков зло оглянулся на солдата. Тот притих. Молитва кончилась. Все казахи, соединив ладони и держа их перед лицом, повторяли слова старца. Настала минута, когда и офицер не выдержал: почитая чужой обычай, он тоже преклонил колени, за ним опустились на колени и солдаты.

— Пусть мать-земля с лаской примет их в свои глубокие объятия.

— Сколько наших погибло сегодня?

— Десять, — ответил Жантас Махамбету. — Пятеро ранены.

— Сколько убито нами?

— Тринадцать туленгутов...

— У меня погибли двое, мы убили одного солдата, — доложил Балабек.

— Тело солдата верните его друзьям. Пусть похоронят по своему обычаю, — сказал Махамбет.

Старик в чалме медленно направился к холму, на вершине которого раскрыли свои пасти свежие могилы. За старцем длинной вереницей держа коней на поводу, шли воины, шли сарбазы...

— Вот Азраил, накликавший беду! Это он привел сюда карателей, он искал кочевье жиделинцев! Он требовал, чтобы туленгуты не щадили нас. На нем, на этом тёре из рода алаша, кровь всех погибших сегодня в битве, — накинулись старики аула на Кисык-тёре.

Но Нуралы отогнал их:

— Не ваше дело. Сам расправлюсь, как скажет Исатай. Вы слышали волю Махамбета?

— Балабек, верни ему саблю.— Махамбет указал на Шустикова и в сопровождении Ерсары, Жантаса и Балабека направился к колму, чтоб отдать последние почести погибшим воинам.

Утирая слезы и вторя песне плакальщиц, сидящих у боевых шлемов покойников, женщины аула, готовясь к асу, расстелили возле ручья огромный дастархан. Всюду пылали костры, в котлах клокотало мясо.

Когда прах друзей был предан земле, пятьдесят жигитов во главе с Жантасом, минуя аул, поскакали в пески навстречу Нояну, навстречу блуждающему каравану жиделинцев.

Махамбет пошел на поклон в дом старейшины аула — того старца, что читал молитву. Дервиш устремился за ним, почерневший от ожогов солнца, худой и высохший от долгой дороги, в ветхих, пропитанных пылью лохмотьях, держа в руках свой растрескавшийся маленький барабан.

— Кто ты, божий человек? С доброй вестью ли ты переступил мой порог? — спросил хозяин юрты.

— Тысячу лет тебе, аксакал. Прости за вторжение, но я к Махамбету.

Поэт встрепенулся. Дервиш, пошарив за пазухой, вытащил серебряный браслет с тонким орнаментом, который могли высекать лишь лучшие мастера-чеканщики по золоту и серебру в Среднем и Великом жузах.

Поэт не мог оторвать взгляда от браслета. Что-то знакомое, родное, тайлось в нем. Но что?

Хива? Да, Нурбал. Это браслет Нурбал! Махамбет сам подарил ей тогда, в Хиве. Широко раскрытые глаза уставились на дервиша. Тот сорвал свой малахай и под удивленные возгласы оторопевших хозяев снял с себя парик, запекшийся от пота и грязи. Голова его сверкала, на ней не было ни волосинки...

— Туке, Туке,— крикнул Махамбет, чуть не уронив браслет, и бросился к дервишу. Все в юрте застыли в изумлении.

— Успокойся, Махамбет. Правда, я не гонец добра, и вести мои не радостны. Но ты правильно поступил, послав жигитов навстречу жиделинцам. Я был у них и видел их битву с нукерами Дулат-бая. Там я слушал Курмангазы и встретил Нояна. Но Ноян не узнал меня. Я шел к вам по караванной тропе. А их кочевье идет по пескам...

— Но к чему это? — Махамбет указал на парик.— Зачем ты под ним прятался и от Нояна?

— Аллах ведает! Быть может, без него я не дошел бы до тебя. Ты знаешь, у меня не было ни жены, ни детей. Нурбал заменила дочь, и я не смог не выполнить ее последнюю просьбу. Как и твою, когда ты уговорил меня отвезти ее в

Герат, к отцу. Я сделал все, как ты сказал. Довез Нурбал до дому. Отца ее не было в живых, и я повез ее в горы, к ее родственникам. Но Нурбал не приняли. У нее вот-вот должен родиться ребенок. Мы жили в ущелье. Я ходил на охоту. И однажды утром она ушла за водой и не вернулась. Я нашел ее у подножья обрыва. Видно, начались схватки, она залезла на скалу, чтобы окликнуть кого-нибудь, и сорвалась. Лишь аллаху известно, как это случилось... Она вручила мне браслет и просила найти тебя: «Передай браслет Махамбету и скажи, что я осталась ему верной. Я люблю его», — это были ее последние слова.

Махамбет тяжело опустился на кошму. А за стенами дома уже начинался ас. Глашатай объявил о выходе борцов на поединки, о готовности к состязаниям стрелков и жигитов, ожидающих конного единоборства... Но Махамбет не слышал ни призывного крика глашатая, ни песен, ни азартных возгласов сарбазов...

И теперь он не чувствовал ни стремительного бега корноухого, ни гула земли, ни грохота от копыт мчащейся конницы — он думал о молчаливом Туке, преданном и верном друге по Бухаре и Хиве.

«Вернись Туке живым из разведки в ставку хана, он бы предотвратил измену старшин-берщцев и уход батыра Асау», — повторял про себя Махамбет. Он не заметил, как по степному бездорожью навстречу сарбазам вышла горстка жигитов и поскакала, пристроившись к Исатаю. Они передали, что аулы на Теректиколь покинули свои стоянки и в сопровождении опытных проводников ушли в глубь нарынских песков, а впереди все дороги заняты русскими солдатами из линейных крепостей. Дорога на Теректиколь перекрывается туленгутами султана Баймахамбета и казаками полковника Меркулова. Они захватили два аула. В штабе Меркулова находится и Зулкарнай. Среди жигитов, сообщивших эту весть, был сын Исатая Жахия.

Солнце в этом году грело необычно долго. Сухая осень затянулась. Ни дождя, ни снега, хотя уже пришел ноябрь.

И сегодня небо было чисто, лишь на западе кое-где видны обрывки туч.

— Алах и вправду покровительствует нам. — Конь Балабека ни на шаг не отставал от корноухого. — Не шлет ни морозов, ни дождей. В небесном царстве все в порядке. Только на земле у нас дела плохи...

— Брось хныкать, здесь тебе не Хива, — перебил Жантас. Он скакал за Балабеком, впереди братьев Махамбета — Исы и Мусы.

— А что Хива? Там-то и вовсе теплынь сейчас.

— Да я не о том. Тебе же там за каждым углом мерещилась палач или соглядатай...

— Это мне-то? Да ты сам был там вроде пугливого зайца. А сегодня что-то расхрабрился. Проверим твою силу в бою...

— С тобой я могу помериться силой до боя. Скоро привал. Готовь своих судей. Если с первой хватки не положу тебя на обе лопатки, пусть меня гром расшибет.

— Долго ждать. Гром грянет только весной,— расхохотался Балабек.— Лучше пусть Шернияз сложит песню о твоём бахвальстве,— Балабек пришпорил коня, стараясь вырваться вперед.

Стараясь увидеть Шернияза и Курмангазы, Махамбет чуть привстал с седла, вгляделся в сарбазов. Конница неслась широко, нестройно, рассыпавшись по степи и растянувшись почти на целую версту. Каждая сотня гнала впереди вьючных лошадей и наров с запасами продуктов. Многие всадники вели на поводу запасных коней. В этой огромной, быстро движущейся массе трудно было отличить одну сотню от другой. Курмангазы и Шернияз находились в смешанной сотне адаевцев и кипчаков, которыми командовал Ноян. А он, конечно, как всегда, вывел своих вперед. Там же, в головной сотне, сам Исатай. Вон видно его знамя.

Махамбет пришпорил корноухого и, опережая одного всадника за другим, понесся вперед...

Ряды сарбазов понемногу стали плотнее, дорога сужалась, она входила в долину, с обеих сторон притиснутую небольшими горами.

Махамбет уже приблизился к Исатаю и видел, как, разбрасывая комья земли своими огромными копытами, ровной рысью шел конь. Волна повстанцев, растянувшись, острым клином стекала в узкую долину.

Ерсары со знаменем пробился вперед и вместе с сотней Нояна ворвался в ущелье, когда неожиданно в лоб коннице откуда-то из-за укрытия ударили пушки.

Били картечью. За первым залпом прогремел второй, и тут же на вершине холмов, окружавших дорогу с обеих сторон, появились конные цепи солдат и казаков.

Степные скакуны, никогда не слышавшие грома орудий, взбесились. Вставая на дыбы, с ошалелым утробным ржанием, не слушаясь поводов, они бросались назад. На какой-то миг все сбилось в кучу. Задние наседали на передних. Вьючные кони и нары, ища защиты, сбивая всадников, устремлялись в кучу сарбазов. Все смешалось в пыли и пороховом дыму.

— Калдыбай! — заглушая крики сарбазов и ржание коней, загремел Исатай.— Прорывайтесь к Зарбаю и Степану! Выводите свои сотни, берите на себя удары справа и слева! Не оставлять раненых и убитых, не задерживаться!.. Соидемя у дороги за холмами!

Исатай привстал на стременах, в воздухе сверкнул его булатный меч.

— Ноян! Настал час! Заткни пушкам глотку!

Клич сардара подхлестнул жигитов. Обнажив сабли и

сомкнув ряды, они стремительной лавиной бросились за Исатаем. Казалось, уставшие за дорогу кони обрели второе дыхание. Рывок головной сотни был настолько стремителен, что артиллерия карателей не смогла сделать третий залп...

Стремясь зажать сарбазов в кольцо, разбить их строй, отсечь одну сотню от другой, с обоих флангов, с вершин холмов на повстанцев двинулись солдаты и казаки. Но на их пути оказался непредвиденный барьер. Нуралы, Жакып и Жантас вместе с другими жигитами, искусно управляя вьючными верблюдами и конями, создали прочный заслон с обоих флангов. На какое-то мгновение солдаты и казаки были остановлены, но этот миг оказался решающим. Жигиты Зарбай и сотня Степана с тыла надели на солдат и казаков.

Сняв батарею, укрывшуюся за высотой прямо перед фронтом, сарбазы прорвались вперед. Но тут их встретила конница султана Баймахамбета, находившаяся в засаде...

Уже прорываясь сквозь строй туленгутов, Махамбет увидел Шернияз — он бился в гуще врагов. Мальчишка! Безумец! Он смеялся. Голова его была обнажена. Слетел шлем. Не слыша команды, предостерегающих криков друзей, увлекшись, он лез все дальше и дальше в гущу туленгутов.

— Назад, Шернияз! Мы уходим! — закричал Махамбет, наискось ударив по плечу наседающего туленгута.

Но Шернияз не услышал его. На помощь к другу, сквозь острия мечей и пик, вместе с десятком храбрых и ловких жигитов прорывался Курмангазы. Наемники султана взяли их в плотное кольцо. Махамбет бросился на помощь, но было поздно. Путь преградили казаки...

Исатай выбрал сарбазов за холмы, на простор. Жигиты, на скаку подбирая тела убитых друзей и защищая раненых, мчались за Исатаем.

— Берегись, Махамбет! — В глазах сарбаза застыл ужас.

Махамбет прикрылся щитом, еле удержался в седле от тяжелого сабельного удара — и в ту же секунду жигит, что кричал Махамбету, вонзил свое копьё в того, кто нанес удар по щиту поэта.

Махамбет больше не увидел ни Шернияз, ни Курмангазы. Он попал в общий поток последней сотни сарбазов, стремительно покидавшей поле боя. Сдерживая корноухого, Махамбет, привстав на стременах, искал братьев — Ису и Мусу. Слава аллаху! Они живы, мчатся вон там, справа. Их, кажется, вывела из окружения туленгутов сотня Степана. Сам Степан скакал впереди своего поредевшего отряда. Он тоже был без шлема, кровь запеклась на лбу.

Снова прогрохотал пушечный выстрел. Убили коня под Степаном. Друзья бросились к нему на помощь, но их отбросили налетевшие казаки. С правого крыла к Степану с десятком сарбазов прорвался Зарбай. Кто-то подвел ему коня. Но упавшая лошадь придавила Степану ноги.

Опомнились и вновь выровняли свои ряды солдаты и ка-

заки, есаулы с туленгутами окружили жигитов Зарбая. А сам Зарбай каким-то чудом вырвался из пекла, помчался за уходящими сарбазами.

Вскоре погоня отстала. Пройдя по безлюдной степи, через такыры, пески и тугаи, повстанцы неожиданно вышли к реке с высокими глинистыми берегами, переправились на другой берег и скрылись в лесу.

Выбрав место поудобней и выставив надежную охрану, воины, не снимая доспехов, повалились на траву. Лишь те, кто еще держался на ногах, сохраняя силу и бодрость, пошли рыть могилу для павших в бою и готовить пищу для живых.

Когда солнце скрылось за холодными серыми тучами и подул колючий ветер, Исатай собрал на военный совет всех сотников. И только тут, сидя под мрачным и холодным небом на берегу реки, Махамбет узнал, что более пятидесяти жигитов осталось в плену у врага и среди них Курмангазы и Шернияз; что больше всех досталось сотне Степана — солдаты и казаки с особым остервенением накинулись на них как на предавших веру и царя; что адаевцы и кипчаки первыми прорвались к пушкам и помогли сарбазам пройти через скопище царских войск, через засаду, о которой никто из повстанцев не знал.

Неожиданная битва в дороге словно подменила сарбазов. Поспав час-другой, они вновь обрели прежнюю силу и ловкость, повеселели и уже поговаривали о новой битве: «Умирать — так в бою, как подобает настоящим жигитам».

Многие были готовы тут же пересесть на запасных коней и мчаться на защиту аулов, захваченных солдатами Меркулова...

Посоветовавшись с Исатаем, Махамбет с сотней адаев и кипчаков покинул стоянку сарбазов...

Вечер был холодный и темный. В глубоком овраге развели костер, кипятили воду, а доморощенные лекари промывали и перевязывали раненых. Тут же рядом, меж деревьев, под неусыпной охраной старых, привычных к бессоннице воинов, с жадностью рвали траву немного уже остывшие, голодные кони.

Сарбазы, держа наготове свои мечи и сабли, настороженно вслушиваясь в негромкий посвист ветра, молча сидели у огня.

Когда наступила ночь, коней подогнали к шатрам. Вбили колья в землю, натянули арканы и привязали к ним скакунов головой друг к другу. Коротконогие сильные степные кони уткнулись в торбы и с жадностью накинулись на овес.

Молчал Исатай. Он сидел в одной из наспех поставленных походных юрт.

Еще вечером, когда землю окутал мрак, сарбазы, стоявшие на часах, привели к нему человека в старом лисьем треухе. Он был голоден. Конь под ним еле держался на ногах.

— Я от султана Каипгали. У него пятьсот нукеров. Аллакул выдал ему оружие против Жангир-хана. Султан шлет привет. Он требует объединения всех сарбазов в единый кулак для победы. Вот его письмо. — Гонец распорол свой треух и передал Исатаю послание султана.

— Сегодня победа от нас дальше, чем когда-либо, — задумчиво произнес Исатай, глядя в раскрытую дверь, за которой стоял его белоногий саврасый конь.

Сарбазы называли саврасого саураном. Это слово перешло к ним в наследство сквозь тысячелетнюю даль от предков — азиатских скифов, которые называли так самых сильных скакунов светло-рыжей масти с темной полосой по хребту от гривы до хвоста. По преданию, саураны были прямыми потомками диких аргамаков, отличались быстротой, неутомимостью и чуткостью. Говорили, они распознают врага по запаху...

— Султан ждет ответа, а я прошу коня. Мой не выдержит обратной дороги, — напомнил о себе гонец.

— Ответ будет через день, когда вернется Махамбет. Дайте ему коня, пусть будет с нами, пока решим, идти ли к султану Каипгали, — сказал Исатай жигитам.

Краток был сон сарбазов. Когда перед рассветом бледное небо очистилось от туч, откуда-то из-за тугаев раздался долгий пронзительный свист. Призывно заржал сауран, встрепнулись кони. Вскочив с мест, сарбазы затянули пояса, быстро оседлали своих скакунов.

— Пора, жигиты! — Исатай легко вскочил на саурана.

Калдыбай был уже рядом. Он держал в руках знамя Исатай — лоскуток бело-голубого шелка и длинный конский хвост с маленьким медным колокольчиком. Тут же стоял жигит со своим барабаном, похожим на огромную пиалу, обтянутую бычьей кожей.

— Сколько нас? — тихо спросил Исатай у Калдыбая, когда жигиты выстроились.

— Пятьсот двадцать...

— Если бы не близилась зима, нас было бы больше, — улыбнулся Исатай.

— Зима сужает дороги, нам трудно станет пробираться по степи: следы будут видны всюду. А летом мы могли бы неожиданно налететь и, рассыпавшись по степи, дробить войско хана, откалывать его по частям. Старые акыны говорят, что так наши предки победили Искандера Двурогого, так мы всегда выдворяли джунгар...

— Но тогда против нас не было царских пушек и ружей, Калдыбай. — Исатай выехал вперед.

О, дважды несчастен мой род!
В московских царях наши ханы
Нашли себе верный оплот,
В ярме наш страдает народ, —

вдыхал Калдыбай, бормоча стихи. — Как ты прав, мой сокол Махамбет!..

Покинув леса, сарбазы выехали в открытую со всех сторон степь, они шли на Тас-Тобе, хотя знали, что здесь повсюду есть лазутчики, повсюду отряды султанов, туленгуты Жангир-хана, солдаты и казаки царя и все жаждут их смерти...

Трем жигитам Махамбета удалось бесшумно проникнуть в одинокий аул, стоявший в верховьях реки. Собственно, аула уже не было. Избы и землянки пустовали. Вместо юрт остались груды обгоревших кереге¹. Весь скот угнали, мужчин схватили и увели в плен. Возле ночных огней матерей оплакивали позор своих дочерей. А несколько стариков и женщин собирали осиротевших детей и, закутав в кошмы, укладывали в телеги. Каратели оставили лишь несколько облезлых верблюдов. Старики готовились увезти своих подальше от этих мест, в глубь песков, куда глаза глядят.

— По всем нашим аулам прошли каратели царя, есаулы и туленгуты хана, — говорили старики. — Вчера вечером они побывали у нас. С собой взяли жен, отцов и матерей сарбазов, а с ними родственников Исатая и Махамбета. Беда со всех сторон. И земля, и небо против нас. Или ослеп аллах, не видит наше горе...

Узнав дорогу, по которой ушли каратели, увозившие заложников, жигиты вернулись к Махамбету.

— Они не могли уйти далеко. Ночь темна. Рискнем! — обратился Ноян к Махамбету.

— Все ли согласны? — тихо спросил Махамбет.

— Среди нас нет трусов, — ответил кто-то из жигитов. В темноте Махамбет не разглядел его лица. — Добудем запасных коней и еды, обозы карателей передадим аулам, уходящим в пески.

...Ноян, Балабек и Жантас ехали впереди. Сотня двигалась следом. Жантас первым заметил костры. Предупредили Махамбета. Сотня свернула с дороги и въехала в заросли чия. Ждали недолго. Раздался тихий лай лисицы. Махамбет выехал на дорогу.

— Судя по кострам, отряд невелик, — сказал Ноян, вернувшись из разведки. — Должно быть, Меркулов со своими казаками. Но видны и костры туленгутов.

— Оставьте коней. Возьмите еще трех жигитов и проберитесь в самое логово. Когда мы влетим в лагерь, бейте стражников, освобождайте пленных!.. — Махамбет снова исчез в зарослях.

¹ Остов юрты.

...Внимательно вслушиваясь в тишину, сотня ждала команды Махамбета. Жигиты по привычке дремали в седле. Прошло полчаса или час, а им уже казалось, что скоро кончится ночь. Кругом — ни зги, только шелест кустов чия да резкое фыркание коней. Со стороны лагеря карателей равномерно доносятся выкрики часовых. Холодный ветер начал пробираться под одежду.

— Сладок ли ваш сон, жигиты? — негромко спросил Махамбет.

— Сон в седле краток, но придает больше сил, чем сон на пуховой подушке, — проговорил из темноты Жакып.

— Не тебя спрашивают, пусть жигиты ответят, — сказал в ответ Нуралы.

Послышался смех сарбазов. Их всегда веселил спор двух уважаемых и любимых всеми воинов.

— Аксакалы, — заговорил Махамбет, — возьмите на подмогу пять жигитов и езжайте в обход лагеря. Там дорога. По ней побегут каратели. Подожгите вдоль дороги камыш и кусты чия, когда мы ворвемся во вражеский стан. А сами уходите к реке в тугаи и ждите нас.

Отряд Махамбета бесшумно подошел к лагерю и, выровняв ряды, со свистом и грозным стоустым кличем «Адай!» — ворвался в стан карателей. Не успев сесть на коней, казаки бросились в темноту. Лишь у дома, где веселились десятские, возглавлявшие охрану пленных, произошла короткая стычка. Казаки и туленгуты без сопротивления оставили аул. Но, увидев вспыхнувшее впереди пламя, повернули назад, и тогда жигиты скрестили мечи. Махамбет искал встречи с есаулом, командовавшим всей сотней. Мешала ночная темень. Вдруг в отблеске огня Махамбет заметил есаула и бросился к нему, но тот успел разрядить свое ружье. Корноухий конь поэта неестественно повернул голову, с диким ржанием грохнулся о землю. Махамбет слетел с седла. Есаул исчез.

Освобожденные из плена жигиты, старики, женщины, дети — родственники сарбазов Исатая и Махамбета — быстро собрали и оседлали оставленных карателями коней. Трофейное оружие было уложено в телеги.

Разбившись на мелкие группы и рассыпавшись впереди, сзади и по бокам ночного каравана, жигиты Махамбета к рассвету перевели освобожденных из плена стариков и женщин на другой берег речки Сазсу. Дальше лежали густые тугаи, за ними начинались пески.

Распроставшись с Махамбетом и с друзьями-воинами, Жакып, Жанпеис и Нуралы увели караваны в сторону песков Нарына.

— Мы уведем аулы туда, где никто не найдет нас, но где есть корм скоту и вода. Мы будем ждать вас с победой. Знаю, она придет, — говорил на прощанье Жакып, хлопоча возле

больной, бредившей матери Курмангазы. Ее чуть живой освободили из плена.

— Не наше дело давать советы, но помни слова Суюнкары, Махамбет, — прибавил Нуралы. — С тобой его жигиты. Я уже стар и буду вам лишь обузой. Мне пора искать место для могилы. — Махамбет заметил, как вздрогнули плечи старика, и отвернулся.

Жанпеис передал своего коня Акшолпан, сам пересел на могучего нара и начал прокладывать дорогу в пески.

И снова, как и год назад, когда после битвы с туленгутами бая Дулата в такую же осень покидали родное Жидели, он тихо мурлыкал под нос песню, родившуюся сто лет назад. В то время вся казахская степь превратилась в кладбище после смертельных битв с джунгарами и после страшного джуга... Чем дальше уходил караван, тем тягостнее, вызывая мучительную боль в сердце, звучала песня.

Не успев войти в пески, караван остановился. Умерла мать Курмангазы. Перед смертью к ней вернулось сознание, она узнала старого Жакыпа, увидела Акшолпан, сидящую на коне, и тихо спросила:

— Где мой Курмаш, где Байгазы?

— Успокойся. Мы едем домой, в Жидели, — с трудом проговорил Жакып: комок подкатил к горлу. — Байгазы вместе с Курмашем. Они победили. Они едут за нами...

Еле заметная улыбка появилась на бледном лице матери, она перевела взгляд на Акшолпан. Девушка не могла удерживать слезы и, пряча лицо, согнулась в седле. Мать приподняла голову, посмотрела вслед каравану и увидела безлюдную степь.

— Где они?! — Это были ее последние слова.

Болезнь, простуда, нагайки туленгутов и боль за судьбу сыновей отняли ее силы. Всю прошлую ночь она бредила. Она не слышала крика «Адай!», не знала, как их освободила сотня Махамбета, не знала, что ее младший сын Байгазы изрублен казаками, а старший, Курмангазы, оказался в руках султана Баймахамбета...

Прошел мелкий дождь. Земля стала сырой, к ногам липла грязь. Позванивая кандалами, скользя, с трудом передвигая ноги, брели под надзором жандармов на каторгу в Сибирь бывшие воины Исатая. Курмангазы шагал рядом со Степаном. Поддерживая друг друга, они шли во главе колонны. Горло пересохло от жары, болела голова, все тело было словно в пламени.

Еще в ставке султана Баймахамбета каждого подвергли наказанию. Сто, двести, пятьсот ударов. Озверевшие каратели уже били, потеряв счет, отливали водой и повторяли все сначала. Потом безжизненное тело стаскивали в яму, выкопанную самими же пленниками. В колонне шли те, кто выжил после пыток.

Прежде чем попасть в Оренбург, а потом дойти до Сибири, пленникам предстояло явиться в ханскую Орду, в Жаскус, и пройти сквозь строй перед Жангир-ханом.

Из всех сарбазов, захваченных в плен, только Шернияз был оставлен в ауле султана-правителя Баймахамбета.

...Когда пленников привели в аул, султан приказал отделить Шернияза и держать под навесом возле дома.

— Я хочу послушать, как новоявленный поэт степи, считающий себя братом Махамбета по духу, будет всю ночь скулить и просить пощады. Утром он должен спеть мне песню пробуждения, — заявил султан. — Мой сон под стоны поэта будет спокоен и крепок.

Ночью в аул султана, в окружении своих казаков, прискакал полковник Меркулов. В доме султана сразу собрался совет. Вестовой в сопровождении десятка туленгутов умчался в главный штаб карателей, расположенный где-то поблизости в степи. Были подняты на ноги сонные солдаты и туленгуты. Усилили караул, увеличили число дозорных вокруг аула и удвоили стражу над пленными.

Утром Курмангазы видел, как мимо аула строй за строем проходила конница Жангир-хана, казачьи полки и солдаты с линейных укреплений. Рослые кони тащили пушки. В эти минуты Курмангазы особенно хотелось вырваться из цепей. Бежать, бежать к Исатаю, предупредить друзей об опасности и вместе с ними умереть в бою, если не суждено победить. Умереть так же, как умирали в бою лучшие сыны степи.

У него родилась надежда на побег, когда конвоир, отделив его от друзей, повел к дому Асана. Отбросив в сторону старую шубу, укрывавшую тело от холода, Курмангазы встал с ночного ложа и, гремя кандалами, двинулся к выходу. Он надеялся, что с него снимут кандалы.

— Стой здесь, — скомандовал Асан. — Эй, сотник, выводите этих голодранцев из загона, пусть соберутся здесь. Сейчас мы будем слушать прославленного кюйши. Он сыграет нам песню победы над бунтовщиками.

Пленных согнали на площадь. Оборванные, обросшие, молчаливые и мрачные сарбазы стали полукругом возле Курмангазы. Их волосы развевались на ветру. Отобранные у них кольчуги, шлемы и оружие были свалены в кучу возле телег.

— Раздать им по чаше кумыса. Пусть знают в степи, что султан Баймахамбет великодушен даже к врагам и делит с ними свой напиток из осеннего торсука, — приказал Асан.

Стражник подвел Шернияза поближе к пленным, но наказал стоять в стороне. Юного поэта трясло от холода. Он старался пересилить дрожь. Степан вышел из толпы и набросил ему на плечи свой походный чепан. Курмангазы взглядом поблагодарил Степана.

Возле шатра Асана слуги поставили кресло, обитое кожей. В сопровождении телохранителей пришел Баймахамбет. На полковничьи эполеты была брошена легкая соболья шуба.

Он грузно опустился в кресло, пробежал взглядом по лицам пленников, оглядел застывших на месте туленгутов и поднял глаза к небу.

— Хорошим будет день. Сам аллах ждет гибели последних смутьянов Исатая, чтобы смыть с земли их поганую кровь и укрыть поля белым снегом. Слава царю и хану!

— Слава! — повторили туленгуты и казаки.

Султан провел ладонью по своей маленькой бороде и обратился к Асану:

— Ты говоришь, что будет играть лучший домбрист казахских жузов? Так пусть он сыграет песню славы царю и хану. Этой песней он может смягчить свою участь.

— Домбру! — обратился к слугам Асан.

— Эй, Баймахамбет! Разве тебе не известно, что орлы не летают в томага, а тулпар не скачет с завязанными ногами?! Сними цепи с рук и ног, и я сыграю тебе такую песню, которую ты никогда не слышал, — хрипло сказал Курмангазы. — Или ты так труслив, что боишься соловья в клетке? — Курмангазы посмотрел на Шернияз. — Сними цепи с юного поэта.

Широко расставив ноги, раздвинув свои могучие плечи и насупив брови, стоял перед султаном сын Сагырбая.

Прищурив глаза и по привычке теребя свою бороду, султан впился взглядом в Курмангазы.

— Пусть будет по-твоему. Снять цепи!

Шернияз, освободившись от кандалов, устало опустился на траву. Он был бос. Победители стащили с него сапоги. Поглядывая на султана, Шернияз обматывал ноги тряпьем. Курмангазы видел, что в глазах у поэта нет страха, его бросает в дрожь от холода, но дух не сломен.

Слуга подал домбру. Курмангазы осмотрел ее богатую инкрустацию. Слегка натянул струны, взял ноту, другую, прислушался.

— Голос твоей домбры подобен пisku объевшегося щенка, Баймахамбет. Верни мне мою, она у твоих туленгутов! — Сын Сагырбая швырнул домбру султана. Слуга еле поймал ее.

Лицо Баймахамбета оставалось неподвижным.

Пленные жигиты хмуρο поглядывали на Курмангазы. Никто не мог понять, к чему он затеял весь этот фарс.

— Друзья-сарбазы, что же вы приуныли? Выше голову, смелее вперед! Иль я не то говорю султану? — Курмангазы взял свою домбру.

Что мне толки? Молве пустой
Не сломить меня, не склонить...
На виду живу я у всех,
Не добычу я шел искать
Вдалеке от юрты родной,
Не по воле скитальцем стал...

Выше головы, это для вас, друзья, я пою!

Напряглось лицо Курмангазы, густые брови слились, взгляд стал острым, пронзительным.

Он ударил по струнам. Раз... Другой...

Завенела домбра. Стремительным и грозным было вступление к новой песне. Курмангазы поднял лицо к небу, а рука сама неслась по ладам...

Там, в небе, парил одинокий коршун. С земли он был похож на орла, парившего когда-то над родным Жидели, тот орел был свидетелем последней встречи Курмангазы с Акшолпан в зарослях ревеня. Тогда они вспоминали легенду о хромом кулане, о грозном кагане. Он музыкой своей рассказал о силе, победившей кагана.

Встречу с Акшолпан, песнь их любви прервали каратели хана. И тогда вместо домбры Курмангазы взял в руки меч.

Нет, не смерти боялся Курмангазы, а рабства. Степь любит свободу, любит сильных, в степи никогда не утихал гул битв: никто никогда не мог силой поставить на колени степняков.

Еще в далекой древности, когда Исканеар Двурогий, без боя войдя в Мараканду, решил захватить и земли степняков, предки казахов — азиатские скифы — сказали полководцам Искандера:

— Если у вас непобедим один царь ваш, Двурогий, то у нас непобедим каждый воин!

Предки казахов отразили и Кира, и Дару, и Надир-шаха, прогнали упрямых джунгар. Но началась вражда меж родами, брат пошел на брата. Степь распалась на трое. Великий жуз, Средний жуз, Младший жуз. Жуз — это лик. Трехликим стал народ. Несчастливым. Ханы дрались за трон, султаны за богатство. Делили и скот, и рабов. Потерял свою силу народ. Забылось время, когда иноземцы боялись его, называя то куманом, то тураном, то половцем, то кайсаком. И поняли враги: коварством и хитростью разделяя племена, натравливая роды друг на друга, можно победить казахов. Не нашлось в степи человека, который бы вновь объединил все роды. О несчастное племя рабов! О, проклятые вам, ханы, султаны, как шакалы раздирающие на части свою землю, народ свой!..

Слава вам, сарбазы! Вы летите по родной степи, возрождая прежнюю силу, воскрешая дух свободы... Земля гудит под копытами ваших коней, нет силы, которая бы сдержала ваш порыв...

Все вдохновение вложил в свою песню Курмангазы.

Бурные, гневные, призывные аккорды тревожат сердце султана и поднимают дух пленных сарбазов. Им чудится, что где-то близко лавиной несутся их друзья. От дробного стука копыт содрогается сердце. Распрямились плечи жигитов, они забыли о своих цепях, глаза мстительно вспыхнули, просветлели лица...

Оборвалась песня, оборвался топот. Но мгновенье — и домбра звучит с новой силой. Сарбазы повернули коней и мчатся назад, сюда. Все громче, оглушительнее бьют копыта. Вот-вот сарбазы ворвутся в аул и снесут белую юрту ненавистного султана...

— Это наши скачут! Это дух Адая — воинственный, неистребимый! Песня Курмангазы об Адае! Слушайте! Вся степь поднялась на битву, вся земля поет песню гнева!

Пленники кричат, они ведут себя как воины на поле брани, забыли о цепях, о нависшей над ними смерти. Туленгуты, сняв ружья и сабли, сгрудились возле султана. Крики пленников страшат их. Да и сам музыкант стал страшен. Волосы как грива льва, глаза налились кровью.

— Замолчи! — прогремел султан. — О чем твоя песня?

— О лихих сарбазах Исатая, которые опрокинут твой шатер, а самого тебя заставят реветь, как старого верблюда!

— Не я, а ты повоеешь у меня, как голодный пес! Всыпать ему двести шомполов! — приказал Баймахамбет. — Не пройдет и недели, как ваш Исатай будет валяться у моих ног, прося пощады!

В аул прискакал офицер — гонец от полковника Гекке. Баймахамбет увел его в свой дом. Есаулы снова загнали пленных в сарай. За сараем сотники выстраивали своих солдат и туленгутов с шомполами наготове.

В центре двора оставили одного Шернияз.

Трое здоровенных туленгутов привязали руки Курмангазы к прикладу, ружья, содрали рубашку и первым протасили сквозь строй.

По команде справа и слева ритмично сыпались удары. Раз... два... три... Кто бил с оттяжкой, кто старался смягчить удар...

Следом за Курмангазы вели Степана. Стиснув зубы, шел сын Сагырбая, молчал и Степан. Удары подгоняли вперед, а в грудь упирался приклад. Враги не слышали ни стонов, ни жалоб.

Нет, не боль мучила Курмангазы, а то, что с ним рядом заставляли идти Шернияз, идти и смотреть, как бьют его друзей.

Юный, еще не окрепший в битвах поэт, мечтавший лишь о любви и подвигах, не мог выдержать эту пытку, не мог видеть кровь на спинах друзей, не мог слышать ударов. Он кричал, плевал в лица солдат, рвался к друзьям.

— Меня! Бейте и меня, я с ними, — плакал Шернияз.

И тогда Курмангазы не выдержал:

— Замолчи, мальчишка! — Его слова прозвучали как приказ. Приказ не только поэту, но и всем, кого вели сквозь строй.

Никто из пленных сарбазов не попросил пощады. Семеро не выдержали пыток, погибли...

...Под тихий звон цепей и монотонную песню одного из конвоиров Курмангазы думал о товарищах, умерших при пытке, о Шерниязе.

Не знал Курмангазы, что после их ухода из аула Шернияз провел ночь в холодном сарае, укрываясь соломой, рубашка у него была разорвана в клочья, когда он вырывался из рук туленгутов, чтобы разделить участь своих товарищей.

А на следующее утро его вновь подвели к дверям султана. Посиневший, переступая с ноги на ногу, засунув ооченевшие руки за пазуху, он стоял перед дверями Баймахамбета.

Стражник ткнул поэта камчой в бок.

— Эй ты, бишара¹, ты сейчас должен сложить песнь — приветствие Алдияру Байеке. Читай свои стихи, да погромче. Чем быстрее исполнишь его волю, тем скорее получишь пищу и одежду.

Приветствую тебя, потомок великих ханов!...—

начал свою песнь Шернияз.

Ты тираном слышешь, султан Байеке...
А я один из бедных сыновей народа...
Слышал я, ты на милости щедр, Байеке,
Я надеждою полон — исполни желание мое.
Проклятый мороз, — босые ноги оледенели.
Если нужна моя голова — сруби ее поскорей.
Одного прошу — пусть погибну стоя...

Баймахамбет молчал. «Пой громче!» — потребовал стражник.

...Байеке, не вернется ко мне день вчерашний,
Не вернется удаль моя — степное раздолье,
Твой меч надо мной навис.
Этот день стал последним...
Если казнь — что ж ты медлишь?

— Кто ты? — крикнул султан, не выходя из дому.

Есть земля Отенсаз, где кочуют аргыны, найманы,
Там пастбища тучны,
На приволье резвятся ягнята,
Жеребят тонконогих не счесть...
Там аулы дружны, там зимовья раскинулись густо.
Там я родился. Был сыном могучего рода,
Соколом — баловнем был у народа,
Если ты не признал меня, Байеке,
Так узнай же! — Я Шернияз,
Певец Исатая и брат Махамбета! —

гордо ответил юный поэт.

— Мой меч готов. Перешагни порог, и я исполню твое желание. Голова твоя слетит к моим ногам, — сказал султан.

— Я думал, что ты подобен Кагану. А ты оказался глупцом, не знающим обычаев предков. Я не раб. Разутым, голым

не войду в твой дом, не покажусь перед твоей ханум, — ответил Шернияз.

— Я сказал — входи! — Баймахамбет задышался от гнева.

Шернияз может перешагнуть твой порог,
Но упрямство твое не от ума, Байеке.
Не меня, а честь своих дочерей пощади.

— На! Заткнись! — Баймахамбет бросил свою соболью шубу. — Войди, вернешь перед смертью! — крикнул султан.

— Байеке, спасибо за совет. Даже сокол при линьке оставляет перья. Султан ты или жадный сурок? Отдав шубу из шкурки десяти мышей, спешишь вернуть обратно. Бери! Я жду смерти здесь. — Новая песнь Шернияза собрала людей возле дома султана.

— Хватит, возьми ее с собою на тот свет! Входи скорее!

Шернияз с песней перешагнул порог. Он пел хвалу дочерям султана.

— Остановись, — прервал Баймахамбет. — У меня шестеро детей. Есть среди них и хорошие и плохие. Воздай должную почесть каждой, — сказал султан, увидев толпу у двери и сдерживая свой гнев. — А может быть, ты осмелишься сказать плохое и обо мне самом? — выжидательно спросил султан.

— Коль прикажешь, скажу!

— Говори!

Всю силу таланта и гнева, всю боль за муки народа, за пытки друзей обрушил Шернияз на правителя. Собрался весь аул. Это была страшная песнь о жестокости Баймахамбета...

Султан не выдержал, вырвал из ножен саблю с золотой рукоятью и двинулся на юного поэта. Шернияз, облаченный в соболью шубу, в упор глядя на палача, продолжал свою песнь, слова которой, как эхо, повторялись теми, кто находился за раскрытыми дверями.

— Дат! Дат! — загудела толпа. — Байеке, не посягай на священный обычай. Дай поэту допеть свой стих перед смертью.

— Молчать! — Правитель был вне себя от ярости, но не мог перешагнуть через вековые устои степи.

— Твое последнее слово! И я пошлю тебя вместе с твоим Исатаем и Махамбетом в пекло ада! — Баймахамбет сорвал шубу с плеч Шернияза и занес над ним свою саблю.

Шернияз смеялся, он хохотал ему в глаза, как безумец, теребя свои лохмотья, он пел о трусости и непостоянстве султана, о его жадности и жестокости.

— Ты сам приказал сказать мне плохое о тебе. Разве я говорил неправду? Что же в тебе осталось от чести не только султана, а и простого казаха, если в тебе нет верности собственному слову?! Ты приказал — я спел. Ты велел говорить правду — я сказал...

— Он прав, султан. Нет суда над теми, кто побеждает в поединке силою слова и ума. Даруй ему жизнь. Он молод. Он будет великим поэтом, — аксакалы аула заступились за Шернияза.

— Поощадив Шернияза, ты обретишь уважение. Безмерная жестокость все дальше отталкивает тебя от народа, — сказали советчики султану, когда разошлась толпа. — Приласкай его, одари. Ласковым словом даже змею можно выманить из норы и заставить танцевать.

Баймахамбет получил приказ Гекке — выступить для окончательного разгрома повстанцев.

«По пути в Тас-Тобе к вам присоединится султан Караул-ходжа вместе с четырьмя сотнями ордынцев и сорока казаками, — говорилось в послании. — Полковники Меркулов, Истомин, Трофимов в пути... Подполковник Алиев из Астрахани через день будет у Тас-Тобе с тремя сотнями солдат и артиллерией, полковник Бизенов прикрывает дорогу бунтовщикам на Урал, при мне султан Чингали Орманов, его шесть сотен ордынцев идут впереди моих восьмисот солдат...»

Полковник Баймахамбет, нацепив свои медали, сопровождаемый целой свитой во главе с Асаном, выехал на торжественный смотр своей армии на равнине в двух верстах от аула. Шернияз, одетый, как молодой султан, стоял на краю дороги в тесном кругу аксакалов, под присмотром двух туленгутов. Глаза его глядели тоскливо, тонкие губы дрожали. Он читал стихи Махамбета:

Аргатак настигнут стрелой,
Хлещет кровь из ребра струей.
И в жигита впилаь стрела.

Как же быть мне теперь, о жизнь,
Если, всеми брошенный муж,
Дел задуманных я не свершил?!

Со всех концов Внутренней орды, со стороны Едила и Жаика, из Гурьева, Астрахани и Оренбурга, со всех пограничных постов и форпостов стягивались вокруг сарбазов Исатая каратели. По приказу бая Шомбала весь род ногайлинцев перешел на сторону карателей, их султан Чингали Орманов стал главным советником Гекке. А султаны Чука, Караул-ходжа и Баймахамбет, получив в достатке оружие и боеприпасы, устремились по следам сарбазов раньше других. У каждого из них были свои счеты с Исатаем, каждый жаждал мести за прошлые поражения...

Почерневшая, застывшая от холодных ветров земля лежала перед взором юного Шернияза. Из аула ушли последние солдаты, вдали утих цокот копыт, и все опустело вокруг. Опустело сердце. Ни гнева, ни песен. Тоска.

Ветер бил в лицо. Слезались глаза. Шернияз направился к аулу. Двое туленгутов неотступно следовали за ним. Аксакалы, шагая стороной, с тихим вздохом покачивали головами: «Какой поэт посажен в клетку!» Они знали, что сегодня узун кулак с быстротою молнии разнесет по степи стихи, прочитанные вчера Шерниязом султану Баймахамбету. Аксакалы понимали, что эти стихи прославят имя Шернияза, но знали они, быть может, и о том, что дни Шернияза сочтены. Соловьи не поют в клетках, особенно когда теряют друзей.

— Ой, бо-ой, не всякий поэт выдержит жестокость и коварство султана. Только Махамбет может тягаться с ним, — качали головой аксакалы. — Большая, очень большая сила идет на сарбазов...

«...Во избежание полумер, которыми легко увеличить можно дерзость и предприимчивость и без того дерзкого скопища, как это уже случалось при отъезде генерал-майора Покотилова, я предпочел послать на линии строжайшее предписание, чтоб команда из 200 казаков, ожидающая меня в крепости Горской, немедленно выступила и прибыла ко мне, а Меркулову я приказал, не ожидая моего прибытия, выступить с четырехсотенным отрядом из Кулагина и Зеленого, прибыть на ур. Тереклы-Кум и завладеть аулами Исатая Тайманова и его приверженцев...

По прибытии же отряда из Горского я намерен с помощью сот четырех ордынцев, из коих, главным образом, будут казахи из ногайлинского рода, от всех прочих отличающиеся, идти против скопища Тайманова и разогнать и стараться самого захватить... Хан Жангир полагает, что они будут упорно защищаться», — писал полковник Гекке в своем рапорте генералу Перовскому 5 ноября 1837 года.

Ноября 9. «...Я выступил с казаками и 400 ордынцами для присоединения с идущим из Горской крепости отрядом... Но получил известие, что отряды, выступившие из Кулагина и Зеленого, были окружены казаками и вынуждены вернуться... Приказал, чтоб орудия немедленно были выдвинуты в степь... Вслед за ним, находясь еще на том же месте, я был извещен, что отряд Меркулова находится только в 35 верстах от меня. Я немедленно распорядился, чтобы его придвинуть. К вечеру оба отряда соединились».

Ноября 12. «...По благоприятному стечению обстоятельств в тот самый день 12 числа, когда посланы были приказания прислать артиллерию, прискакавший известил, что в 25 верстах виднеется русская команда и что везут пушки. Я послал 500 казаков и 100 ногайцев им навстречу, и к ночи 12 числа весь отряд благополучно соединился в одно место».

Ноября 13. «...мы выступили, направив путь на Тереклы-Кум...»

Ноября 14. «...рано утром отряд выступил из Тереклы-Кум и направил путь через Джаман-Кум на Бекетай, куда прибыл в шесть часов вечера, сделавши пятьдесят верст.

Здесь полагали расположиться ночлегом. На расстоянии между Джаман-Кумом и Бекетаем виден был вдаль, во время марша, пожар, произведенный Исатаем, который, откочевав, зажег сено. На сем же расстоянии виднелись отряды, наблюдавшие за нами. Я послал вперед, верст на 6, двухсотную команду с есаулом Егановым и партию ногайцев, при отряде находящихся, но они не успели достичь противников... Исатай хотел остановиться в Тас-Тобе, в 25 верстах от Бекетая. Этим известием я переменял намерение ночевать в Бекетае и, давши отдохнуть лошадям, накормив хорошо людей, выступил в поход во втором часу ночи...»

Ноября 15. «С рассветом мы приблизились к Тас-Тобе... Отряд приблизился к тому месту, где стояла собравшаяся на высоте шайка Исатая, примерно человек пятьсот. Они не показывали вида, что намерены бежать, а, напротив, наездники и батыры их выезжали и гарцевали перед отрядом... Я приказал отряду выстроиться, и, заслонив сначала орудия прикрытием, после первого выстрела ударили в атаку...»

Так писал в своих рапортах полковник Гекке...

Взор Исатая был устремлен вдаль, где на вершине сопки, расположенной напротив Тас-Тобе, солдаты Гекке устанавливали пушки. Исатай ясно видел, как кони вывезли орудия на сопку, как поспешно солдаты начали укреплять их. Потом взяли лопаты и начали насыпать вал перед пушками. Остались видны лишь стволы, щиты да кромка колес.

— Как думаешь, сколько там их? — спросил сардар стоявшего рядом Калдыбай.

— Много, — ответил Калдыбай.

— А не все ли равно, батыр-ага? — весело сказал Ноян, вместе с Жантасом гарцуя впереди. — Смотрите, они обступают нас со всех сторон. Туговато нам придется, но есть мудрая пословица: «Если падать, так с высокого нара, а не с ишака». Если биться, так биться с достойным врагом. Видать, здесь вся армия генерала Перовского и Жангира, и все султаны со своими туленгутами здесь. Что ж, погреемся! Будет жаркий бой.

— Погреемся!.. На каждого из нас достанется по десятку, — грустно улыбнулся Калдыбай.

— Да, все отряды здесь, — проговорил Сарман.

Он явился к сарбазам, когда вожаки повстанцев собрались на совет в Бекетае, в одиноком деревянном домике старого тигролова Садыка. Сарман привел с собой десять жигитов.

— Я передал ваше послание самому Владимиру Ивановичу. Когда я сказал, что мы не воюем с русскими, идем на

битву не с генералами, а с ханом Жангиром, он ответил: «А разве генерал и хан враги друг другу, сударь? У Жангира такие же генеральские эполеты, как и у Перовского...»

Шустикова не встретил. В Оренбурге хватают каждого, кто появляется из степи. Я заходил к толмачу из конторы генерал-губернатора, и он, собачий сын, предал меня. Я еле унес ноги. Да к тому ж надо было торопиться...

Как раз в тот день, когда я прибыл в Оренбург, — прибавил Сарман, — оттуда вышел отряд с пушками. Мне сказали, что идут бить Исатая. Это вот, наверное, как раз те пушки...

— Ха, мы еще посмотрим, кто кого, — подал голос Балабек. — А день-то какой! Солнце, сухой ветер и мороз. Коням не терпится, хотят размяться.

— Слышали? Суюнкара на Усть-Урте снова побил сотню сборщиков податей Аллакул-хана. Остановил их караван и роздал ханскую добычу своим аулам, — вступил в разговор один из жигитов, пришедших вместе с Сарманом.

— Аллакул дал Кайбале пятьсот своих нукеров и оружия, чтоб султан снова попытался сесть на трон вместо Жангира и продал нашу землю хивинскому хану, — прибавил другой.

Исатай с Махамбетом переглянулись. Еще вчера сардар сказал поэту о послании Кайбалы.

— На мне лежит тяжкая вина, Махамбет. Я однажды не послушал тебя, когда мы сидели в шатре вблизи Жаскуса. Ты был прав, Махамбет, мы тогда могли напасть на Жаскус, опрокинуть с трона Жангира и потом уже решать, как быть. Я виновен не только перед тобой — перед всеми жигитами... Теперь слово за тобой. Решай — идти ли нам к Кайбале. И еще. Пришел гонец от Суюнкары. Батыр пришлет жигитов, если нам нужна помощь...

— Нет! Поздно, — ответил Махамбет и продолжал стихами:

Смерть придет — неизбежен рок!
Каждый встретит долю свою,
Жизнь свою отдаст за народ...

Не неволей, не страхом, не обманом мы поднимали народ. Сарбазы готовы принять самый тяжкий бой. Остальное решим после битвы, если останемся живы, — заключил Махамбет.

— Может, Кайбала отберет у Жангир-хана не только трон, но и красавицу Фатиму, — пошутил кто-то из жигитов.

— Нет, лучше бы ее сосватать за Нояна. Ведь он у нас до сей поры холостяк, — подхватил другой.

— А ты что хохочешь? — огрызнулся Ноян на Балабека. — Ты-то не лучше меня. Даже свою любимую туркменку ни разу не поцеловал. Видел я в Хиве, как ты на одну паранджу заглядывался, а оказалось, что под той паранджой беззубая старуха...

— Все ли готовы? — перебил Нояна Исатай.

Сардар обращался к жигитам, которые помогали женщинам намертво привязывать люльки с детьми к бокам самых быстрых и сильных коней. Было решено — раненых сарбазов и детей вывезти из кольца в первую очередь. Но раненые отказались подчиниться и вернулись в строй.

Исатай наблюдал, как к головному отряду неприятеля прибыл обоз.

— Готовы! Готовы! — один за другим докладывали сотники сарбазов.

— Предупредите врагов! Мы выступаем! — скомандовал Исатай, указывая на лагерь неприятеля.

Несколько жигитов подняли ружья. Раздался залп — предупреждение противнику. Гекке и его офицеры приняли этот вызов как неслыханную дерзость.

Пятьсот сарбазов издевались над трехтысячным отрядом царя и хана.

Об ультиматуме, заранее заготовленном Гекке, не могло быть и речи. Час назад полковник надеялся, что повстанцы сложат оружие и выдадут своих вождей без боя, но теперь он окончательно убедился в правоте слов хана Жангира и султана Чингали — исатаевцы решили биться насмерть, они не отступят и не сдадутся, только самые жестокие меры могут укротить их.

— Готовьтесь к атаке! — Гекке сел на коня.

...С вершины Тас-Тобе прямо на головные сотни полковника, на пушки мчалась конница сарбазов. Низкорослые гривастые скакуны неслись так стремительно, словно не гривы, а короткие черные крылья выросли у них.

Стремительно сокращалось расстояние. Всадники мчались плотной лавиной. Их было сто, не больше. Остальные сарбазы наблюдали с вершины. Сто — против целой армии, против сотен казаков и туленгутов?..

Их гортанный клич, их шлемы, щиты, пики и кривые сабли, сверкавшие на солнце, необычно ярком для этого времени года, — все говорило о какой-то непонятной, неистовой силе духа сарбазов. Гекке был поражен. Ему вспомнилась огромная картина фламандского художника, висевшая в его петербургском особняке, где раненая гончая, презрев страх, бросалась навстречу огромному тигру...

Двести казаков и триста туленгутов стояли, обнажив шашки, готовые по взмаху руки полковника ринуться навстречу сарбазам. Но прежде должна сказать свое слово артиллерия. Восемь пушек и триста стрелков залпом встретят сотню повстанцев, а затем казаки изрубят их.

Гекке увидел Исатая. Тот скакал впереди сотни. Сам шел в руки. Лучшего нельзя было ожидать. Вот они уже близко...

— Взять атамана живым или мертвым! — приказал Гекке офицерам, командовавшим конницей.

— Пли! — В залпе сотен ружей и грохоте пушек потонули голоса сарбазов. Но в какое-то мгновение, перед тем как все заволочло пылью и дымом, Гекке увидел, что жигиты Исатая разомкнули строй и рассыпались, не сдерживая своего полета.

Ни ядра, ни пули, ни картечь не достигли цели. Казаки и туленгуты с гиканьем и кличем «Бей! Бей!» бросились вперед.

Прошла минута, две, три... Дым рассеялся, и тут Гекке увидел самую постыдную для себя за все время службы картину. Сотня сарбазов гнала казаков и туленгутов к Тас-Тобе. Исатаевцы не давали опомниться: петляя, избегая ударов, с радостным криком они сшибали с седла казаков и туленгутов, кололи их коней пиками. А с вершины Тас-Тобе уже летела новая сотня сарбазов. Минута — и она, как нож, вонзилась в растерянные ряды казаков и туленгутов.

Молчала артиллерия, молчали стрелки. Огонь бы нанес больше вреда своим, чем врагу. Офицеры с недоумением смотрели на Гекке. Вся армия Гекке провела ночь в походе и не подготовилась к бою. А сам Гекке был настолько уверен в превосходстве своих сил, что думал: достаточно приблизиться к «шайке», как она дрогнет, побежит или сдастся. Потому он полагал, что главное — окружить бунтарей.

Теперь требовалась немедленная контратака. Офицеры выстроили триста отборных казаков и туленгутов.

Самым досадным для Гекке было то, что еще до начала сражения он послал в Оренбург гонца с вестью о победе и рапортом, где подчеркивал особые заслуги султана Чингали Орманова, который действительно помог ему своими советами, нашел нужных людей и быстро, без долгих остановок, повел всех по следу Исатая.

— Безумство дикарей, господа, — возбужденно говорил молодой ротмистр в бакенбардах, гарцуя на коне в кругу офицеров. — Они ищут смерти. Почему, за что они животов своих не жалеют?..

— Знать, за дело, — не глядя на ротмистра, сказал капитан Шустиков. — А нам-то что в этой битве? Победим, однако ни славы, ни чести...

Но его никто не слушал.

С вершины Тас-Тобе, подобно горному обвалу, скатилась еще одна сотня сарбазов и, подбадривая своих, уже начавших отступать, внесла смятение в ряды свежих сотен туленгутов и казаков и погнала их назад, прямо на засевших в укрытии стрелков.

Наемники и казаки, отступая, вклинились прямо в гущу своих солдат. На плечах карателей жигиты достигли пушек и тут же, на полном скаку повернув коней, умчались на вершину Тас-Тобе. Запоздалая стрельба из орудий и ружей не причинила им вреда.

Левый рукав Исатая был разодран в клочья. Из круппа

саурана сочилась кровь: там, в мякоти, застряла пуля, но рана была пустяшная, даже необходимая для облегчения дыхания животного. Ведь во время байги на дальнее расстояние седоки сами вонзают короткий нож в круп своего коня. Из неглубокой раны выходит кровавая пена, конь дышит легче, главное только, чтоб нож не тронул костей.

Пуля не достала кости саурана, значит, скакун будет еще легче в беге, еще злее, драчливей и почувствует рану только после долгой выстойки, отдыха.

— Видит бог, вы дрались, как львы, мои братья, — сказал старый охотник Садык. Он сидел на могучем бура, держа на поводу крепких бактрианов и дромадеров. К бокам каждой пары были привязаны дубовые шесты острием вперед.

Две сотни сарбазов, еще не вступивших в сражение, приготавливались к отражению контратаки Гекке.

— Теперь прогуляемся мы! — говорили они, сдерживая коней и ожидая сигнала Исатая.

А Исатай вместе с Калдыбаем и Махамбетом молча вглядывался в только что покинутое поле боя, усеянное трупами. По полю взад и вперед носились кони, оставшиеся без седоков. То сбиваясь в кучу, то снова рассыпаясь, бедные животные искали своих хозяев. Их ржание было призывным, испуганным, жалобным.

Противник готовил атаку. Конница султанов заходила в тыл. Гекке решил взять повстанцев в двойное кольцо и нанести последний удар.

Тучи закрыли все небо. Ветер усилился.

— Каждой песне приходит конец, — говорил Калдыбай.

— Прорвемся! Пусть жигиты скачут по своим аулам, уведут их от карателей и ждут нас к весне... — Махамбет напомнил о решении совета сотников в Бекетае.

Холодный ветер носил по воздуху мелкие колючие снежинки.

— Бесславия в бою не прощают ни народ, ни жены. Мы храбро бились. Никто не скажет, что мы побеждены. Простимся до новой весны. Кто прикроет наш уход — выходи вперед! — обратился сардар к повстанцам.

Вышла сотня батыров, среди них — Калдыбай, Ноян, Ерсары, Жантас и Балабек. Здесь же братья Махамбета — Иса и Муса.

Женщин и детей взяли под охрану жигиты, которые должны были прорваться первыми. Юный Жахия, сын Исатая, находился там же. Ему исполнилось всего шестнадцать лет, друзья сардара удерживали его от участия в битвах. Но вот Жахия нагнулся к люльке, поцеловал своего безмятежно спавшего брата, вышел вперед, примкнул к сотне батыров, занял место рядом с Мусой. Оба были юны и красивы. С улыбкой смотрели — один на отца, другой — на брата, поэта. Ни сардар, ни Махамбет не проронили ни слова. Только жены их молча вытирали нахлынувшие слезы.

...По всему фронту на Тас-Тобе двинулись каратели. Исатай пришпорил саурана и поднял его на дыбы.

— Вперед, братья!

Плотный строй конницы Жангир-хана под командованием султана Чингали приближался к подножью высоты, за ним отдельными отрядами, на расстоянии двухсот с лишним сажен двигались казаки. С флангов — туленгуты Баймахамбета и Караул-ходжи.

Сарбазы лавиной бросились вниз, навстречу самым отборным частям карателей. Усилившийся ветер гнал их вперед, а отряды Гекке шли против ветра, и колючий снег хлестал им в лицо.

Офицеры Гекке не заметили, что во главе мчащихся под гору повстанцев очутились верблюды и кони без седоков. Бактрианы и дромадеры стремительно летели вниз по склону, подгоняемые пиками сарбазов. Кони жигитов едва успевали за ними.

Когда туленгутов от сарбазов разделяли двести или триста шагов, разъяренные животные вырвались вперед. Торчащие спереди острые дубовые и осиновые колья защищали их грудь. Туленгуты старались увернуться от страшных ударов, поворачивали коней в сторону, их строй смешался. А сзади на них в это время надели казаки, которым приказали всеми силами удержать ногойлинцев, если вздумают повернуть коней назад.

Верблюды, словно валуны, скатывающиеся с огромной вершины, раздавили первый заслон конницы и протаранили строй казаков. Они сбивали всадников, острые колья вспарывали животы коням. Прорвав гущу карателей, не сбавляя скорости, обезумевшие верблюды перемахнули через бруствер, смяли шатер Гекке и унеслись в степь...

Верблюды проложили дорогу повстанцам. Сотня батыров на ходу приняла бой, пропуская вперед своих товарищей.

Первым сквозь брешь, лежа меж горбов бура, проскочил старый Садык. За ним под защитой жигитов промчались женщины и дети. Исатай с Махамбетом остались в сотне батыров, решивших держаться насмерть, чтобы спасти остальных.

— Именем аллаха, уходите! Или погибнем все! — заорал на них сквозь лязг и скрежет мечей Калдыбай.

Махамбет заметил, что сарбазы, увлеченные боем, дали окружить себя.

— В степь, в степь, братья! — Махамбет дрался рядом с Исатаем.

Батыр словно очнулся:

— Вперед!

Он уже прорвался сквозь толпу врагов, ведя за собой сарбазов, когда раздался пушечный залп. Сауран запнулся и грохнулся о землю. Исатай перелетел через голову коня.

— Прощай, друг! — произнес сардар, отбиваясь от ударов. Его плоская сабля снесла голову одному, другому, ветер рвал его накидку из тонкой верблюжьей шерсти, развевались поседевшие волосы.

— Взять его живым! — раздалась команда из гущи казаков и туленгутов.

— Исатай один среди кафиров! — донесся голос Калдыбая.

Сарбазы бросились на помощь и, оттеснив врага, провалились к своему вождю.

— Уходить всем! — что есть силы крикнул Исатай. Налетевший вихрь передал его последние слова всем жигитам.

Начинался степной буран. Уставшие, голодные, перепуганные кони не слушались седоков, да и сами казаки и туленгуты старались уйти от ударов мечей и пик осатаневших сарбазов...

Никто из жигитов не спешил покинуть поле брани, напротив, каждый старался продержаться подольше, чтоб дать возможность скрыться друзьям. И только приказ Исатая подействовал на них. Они вырывались из гущи карателей по пять, по десять человек и уносились в разные стороны. Преследователи мчались то за одной, то за другой группой и теряли их в белой буранной мгле. Самые отчаянные жигиты прикрывали уход Исатая и Махамбета.

Уже выбираясь из пекла боя, Махамбет заметил, как упал Балабек и десяток сабель скрестились над ним. Не выдержал, повернул коня назад Махамбет и тут услышал голос Жантаса.

— Аксакал, уводите их! Если погибнем — кто отомстит за нас? — кричал Жантас Калдыбаю.

Он обрушивал свой меч на наседавших врагов. Жигиты, бившиеся во главе с Калдыбаем, оттеснили Исатая и Махамбета, не давая им снова вступить в бой. Из мглы появилась новая десятка сарбазов. Среди них Муса. Это были те, кто прорвался сквозь заслон. Они вернулись на помощь.

— Жив ли Исатай?! — Вой ветра, скрежет железа заглушал их голоса. — Где Исатай?..

— Ты всех погубишь! — Улучив момент, Калдыбай схватил за узду коня Исатая и потянул за собой.

Сардар, кажется, понял, что это из-за него не уходили сарбазы... Но солдаты снова перерезали им путь.

— Я здесь, не отставайте! — вскричал Исатай.

Друзья рванулись, чтобы заслонить его от ударов и пуль. Махамбет был рядом. Жантас, Ноян, Ерсары пробились вперед и обрушились на тех, кто перерезал дорогу. Упал раненый Ноян. Жантас, Калдыбай, Ерсары бились около, стараясь пробраться к Нояну. В плотном заслоне туленгутов и казаков застряло еще несколько сарбазов. Вместе с ними остались сын Исатая Жахия и брат Махамбета Иса. Исатай

и Махамбет сумели прорваться где-то правее, там, где стояла сотня капитана Шустикова.

— Подпустить и бить из ружей,— приказал капитан. Но сарбазы быстро исчезли в хаосе снежной бури, воя и грохота. Капитан повел сотню в погоню, прошел версты две и вернулся назад.

Окровавленный, залепленный снегом Ноян все еще не бросал меча. Как лев в агонии, он падал, вставал и вновь бросался на помощь друзьям. Только Жантас, Сарман и еще несколько жигитов оставались на конях. Чья-то сабля полоснула левое плечо Ерсары...

Все пятнадцать сарбазов, оставшихся в кольце, сбились в кучу и дрались отчаянно.

— Подбить лошадей! — приказал Меркулов.

Пятнадцать сарбазов остались в кругу карателей. Со сбитыми щитами, в разорванной одежде, окровавленные, они были готовы уложить любого, кто подступится к ним. Впереди всех стояли истекающий кровью Ерсары, Калдыбай, батыр Жунус из рода байбакты и последний сарбаз из русской сотни Степана, которого жигиты прозвали «голубоглазым барсом».

— Сложить оружие! — кричал султан Чингали, защищая лицо от ветра и снега.

Но никто из жигитов не уронил меча. Ноян шагнул вперед, упал и больше не поднимался.

— Взять у них оружие и связать! — приказал своим телохранителям Баймахамбет.

Наемники медленно двинулись вперед, но сарбазы не думали сдаваться.

— В них вселился джинн... — с ужасом говорили туленгуты. — Живьем их не возьмешь...

— Расстрелять, коли жить не хотят... — приказал Гекке.

Раздался залп...

Буран усилился, еще сильнее выл ветер...

...Ревет за снарядам снаряд —
И степи родные горят.
Два льва — Ерсары с Калдыбаем,—
Раскинувши руки, лежат...

...Старый Садык с пятью сарбазами увел женщин и детей в урочище Торт-Чагыл, в запрятанную в тугаях охотничью землянку. Ему удалось увести и четырех верблюдов, навьюченных оружием и продуктами, несколько запасных коней...

Развязали люльки. Развели огонь. Накормили голодных малышей. Согрели воду и перевязали раненых. А снег все шел, и ветер выл, нагоняя страх и тоску...

Садык помог Макбал омыть и перевязать раны сарбазов. Небольшие раны вначале присыпали золой, чтобы они не кровоточили, а к более опасным прикладывали тонкий обожженный войлок, затем травы и уже потом перевязывали. У одно-

го жигита были в куски разорваны мышцы правой руки, распухло все тело. Пришлось зарезать коня и завернуть раненого в свежую шкуру. Конечно, баранья или козья шкура были бы более удобными и наверняка быстрее бы согнали опухоль, сбили бы жар, но где их найдешь сейчас, здесь?..

Жигит наконец успокоился, заснул.

Не слышно стонов. Все лежат молча. Спят или погрузились в тревожные думы. Иногда слышится сдержанный вздох, и снова тихо.

Уставшая, почерневшая от степного ветра, потерявшая счет времени, Макбал прислонилась к люльке, где спал сын, закрыла глаза и забылась. В землянке воцарилась тишина. Лишь слабо потрескивал светильник да за окном продолжался, но уже слабее, вой ветра...

Когда Садык, расчистив снег у порога, захватив охапку дров, вернулся в землянку, внося с собой облако холодного воздуха, Макбал уже крепко спала.

Старик разложил на полу дрова. Снял шубу и начал подбрасывать поленья в печь. Глядя на пламя, Садык задумался. Вспомнил, как летом сопровождал хана Жангира на охоту на тигра.

...Хан поставил свой шатер на высоком холме в двух-трех верстах от зарослей камыша. Визирь Бекмухамбет, сопровождавший хана, попросил разрешения продолжать поиски. Жангир разрешил. Садык повел Бекмухамбета к месту, где была оставлена приманка. Их сопровождало шестеро дружинников. Подъехали к зарослям тугая.

— Вы останьтесь здесь, а я с тремя жигитами осмотрю приманку, узнаю, не пожаловал ли в гости жолбарс, — сказал Садык. Бекмухамбет молча согласился.

Садык заметил, что визирь был молчалив и задумчив. «Видно, нелегко служить хану, когда брат твой идет против твоего повелителя и против тебя самого», — размышлял старый охотник, осторожно пробираясь сквозь заросли камыша.

Подслеповатый хромой конь, оставленный на небольшой поляне, был растерзан, его туша лежала в луже крови.

Садык шепотом объяснил Бекмухамбету, что нужно быстрее выбираться назад, тигр где-то рядом, он только что прервал свой обед и, быть может, сейчас из камышей наблюдает за ними. Нужно выбрать удобное место для встречи со зверем, затем пустить жигитов в обход, чтобы они выгнали тигра прямо под дуло ружья, великого визиря.

— Тебя называют бесстрашным тигроловом, а ты, как заяц, хочешь увести нас назад, слова от страха не можешь вымолвить! Пошли вперед! — хмуро сказал Бекмухамбет.

— Я впервые слышу такие слова, досточтимый бий! — громко ответил Садык, в упор взглянув на визиря. — Пойдем вдвоем. Жигитов оставьте здесь. Нечего нам всем лезть в когти.

— Быть по-твоему! — Бекмухамбет взял из рук дружинника свою новую двустволку, подаренную ему как великому визирю полковником Гекке, взвел курки и первым шагнул на поляну.

Когда они подошли к туше коня, раздалось грозное рычание. На противоположной стороне поляны показался тигр. Он медленно вышел из чащи, остановился, оскалил зубы и начал бить хвостом о камыши. Садык вскинул свою короткую самодельную двустволку, заряженную жребьем.

Зверь был шагах в пятнадцати — двадцати.

Бекмухамбет движением руки потребовал, чтобы Садык отошел в сторону, а сам опустил на колено, прицелился. Садык подумал, что высокочтимый советник хана слишком равнодушен к жизни, даже, кажется, рад этой встрече.

Тигр медленно двинулся к визирю. Вот он чуть заметно присел, напряжинил тело, готовясь к прыжку. Бекмухамбет нажал сразу оба курка. Тигр зарычал и отскочил влево. Пуля лишь поранила его. Секунда — и он был готов к новому прыжку, но тут Садык заметил, что Бекмухамбет, опустив ружье, остался стоять на месте. Он, казалось, ждал... Чего?.. Его губы произносили молитву. Тигр еще раз рванулся вперед, и почти в тот же миг прозвучал выстрел Садыка. Прыжок оборвался, зверь упал к ногам советника хана и судорожно забился в предсмертной агонии: жеребс¹ попали в самое сердце.

— Зачем ты сделал это?! — воскликнул Бекмухамбет. — Разве человек, проклятый родом своим и вызвавший гнев своих братьев, не может достойно умереть?! — Лицо визиря было бледным, руки дрожали. Садык впервые видел его таким.

Сквозь камыши с радостным криком пробирались жигиты хана.

Бекмухамбет вновь стал неприступным, надменным. Садык был поражен.

— Чего уставился на меня, старый верблюд? Помоги жигитам доставить этого красавца к шатру хана! — приказал визирь и вскочил на коня, которого подвел к нему слуга.

— Досточтимый повелитель мой, этот тигр по праву принадлежит вам, — сказал Бекмухамбет, когда зверь был доставлен к шатру. — А тебе, Садык, великий хан дарит коня и халат за помощь...

Потом уже, прощаясь с Садыком, визирь сказал: «Тот, кто решил умереть бесславно, оставив свой аул и свой дом, должен сперва подумать о семье, о жене и сыне, о братьях. Передай это Махамбету. Я знаю, ты встретишь его. Он безумец, погубивший своих братьев».

...Вспомнив слова визиря, Садык посмотрел на Макбал. Она спала, прислонясь к люльке. То ли женщина почувство-

¹ Рубленные куски свинца, применяющиеся для стрельбы в крупных зверей с близкого расстояния.

вала взгляд старика, то ли ее разбудил сарбаз, тяжело застонавший во сне, Макбал раскрыла глаза и, поправляя платок, спросила:

— Что-то нужно сделать, ата?

— Нет, дочка, нет, нет. Просто я хотел сказать, что бий Бекмухамбет очень беспокоится о тебе и твоём сыне.

— Здоров ли отагасы? Пусть он не беспокоится. Все мы смертны — и мал и стар. Я свою жизнь завязала в один узелок с жизнью Махамбета. Только жаль двух юных соколов. — По обычаю казахов, Макбал не называла по имени братьев мужа. — Живы ли они сейчас?... Когда была наша свадьба, Махамбет говорил, что повезет меня во дворец Жангира и мы будем жить во дворце, — тихо улыбнулась Макбал. Это была ее первая улыбка за последние дни.

Она продолжала:

— И тогда я рассмеялась. Просто так. Спросила его: «А зачем мне твой дворец?» И он тоже рассмеялся. — Макбал умолкла...

— Зачем нам дворцы? — заговорила она снова. — Остаться бы в живых. И еще нам бы плохонькую юрту. Вдали от людей, от их горя и слез, от этих битв. Я хотела бы жить в камышах, среди тигров, но чтобы не видеть больше людской крови. Я уже не могу, как прежде, биться рядом с Махамбетом. Мой сын, маленький сын, тянет меня от отца к себе, к своей люльке... — Она не смогла удержать слез и, скрывая их, прильнула к спящему малышу.

— Все устроится, дочка, — неуверенно произнес старый охотник. Наступила тягостная тишина.

— Буран утих, слава аллаху, скоро придут наши соколы... — кряхтя, проговорил Садык.

— А они живы? Жив ли Махамбет? — вдруг спросила Макбал, подняв голову, и с мольбой посмотрела на Садыка.

Садык растерялся. Он встал, нарочито кряхтя и кашляя, подобрал с пола шубу.

— Все устроится, дочка. У Махамбета удар крепок и слова как стрелы... Все устроится... — повторил он и, боясь новых вопросов, вышел на улицу.

На рассвете следующего дня, запутав следы, вместе с сорочка оставшимися в живых жигитами, добрались до землянки Исатай с Махамбетом.

Усталые, сарбазы заснули мертвым сном.

Садык нашел прошлогодний полусгнивший стог сена и поставил там коней. Высыпал им весь запас овса, найденный в курджунах и вьюках.

Жигиты спали целый день. Буран не утихал. Небо прояснилось лишь через двое суток.

Исатай послал людей разведать окрестности. В пяти верстах от землянки сарбазы увидели огни преследователей.

Быстро покинули землянку. Направились к Жаику, хотя знали, что по берегу расположены двенадцать пограничных

крепостей, которые охраняют каждый брод. Но времени для раздумий не оставалось. Садык выбрал дорогу южнее Баксаевской и чуть северней Жаманкалинской крепостей. Сверяя дорогу по Темир-казыку, шли всю ночь. За беглецами тянулось глубокий след...

Остановились в небольшом лесочке. Несколько жигитов во главе с Садыком приблизились к берегу.

Начался рассвет. Ниже по течению в нескольких верстах увидели дым, ползущий в небо. Там была Жаманкалинская крепость.

Старик быстро нашел брод. Берег был отлогим, но голым, все как на ладони просматривалось издали. Выбора не было. Родная земля стала с пятячок. Торопила погоня, торопило восходящее солнце...

Когда маленький отряд сарбазов вышел из леса и подошел к реке, со стороны крепости показался эскадрон.

Повстанцы вошли в холодные воды Жаика.

Впереди, поддерживая раненых, плыли Махамбет и Исатай. Макбал помогала жене Исатаю, за ними плыл юный Жахия, потерявший друга Мусу. Жигиты на связанных из толстых веток плотах переправляли тяжело раненных друзей.

Садык плыл последним, он подгонял упрямых, норовящих повернуть назад верблюдов.

Наконец конь Исатая ступил на восточный берег. Граница Внутренней орды осталась позади. Садык все еще возился со своими бактрианами и не мог добраться до берега. А эскадрон Баймахамбета уже приблизился к броду и начал стрельбу. Жигиты бросились на помощь старику, но опоздали. Его сразила пуля. Послав проклятье султану, он исчез под волной, между грузными телами верблюдов.

Усадив на коней раненых друзей, сарбазы помчались в глубь степей Младшего жуза. Махамбет медлил. Он еще и еще раз поворачивал своего скакуна назад и вглядывался в противоположный берег. Там, рядом с Баймахамбетом, появился Меркулов...

Махамбет догнал своих, предупредил, чтобы, не останавливаясь, уходили в сторону Арала. А он, Махамбет, пойдет сзади. Надо узнать, перейдут ли границу каратели?

Солнце клонилось к вечеру, когда повстанцы встретили нескольких охотников из ближних аулов Младшего жуза.

Махамбет все еще ехал далеко позади. Он был печален, задумчив. Погоня отстала. Устало шагал его конь. Случайно Махамбет увидел на снегу колчан.

Поэт остановился, подобрал колчан — в нем лежала стрела. Стальной наконечник был остр, как бритва.

— Пусть, как стих, набирает силу, — Махамбет вложил стрелу на место, колчан прикрепил к поясу. Прошелся, разминая отекавшие ноги, горстью снега умыл лицо и, вытирая

руки о курджун, заметил, как устало разгребает снег голодный конь.

Из-под копыт скакуна виднелся кустик осенней травы и зеленый упругий стебелек с невзрачным бутонем. Махамбет оттолкнул коня, взгляделся.

Это был бессмертник — самый долговечный цветок степи. Выдержав зимнюю стужу, бури, осеннее и весеннее половодье, он распускается к лету и долго цветет...

— Подобен орленку, о котором говорил Суюнкара, — улыбнулся Махамбет, вспомнив легенду, рассказанную ему под Хивой батыром адаевцев. Только птенец, еще в скорлупе выдержавший все испытания, достоин стать царем орлиной стаи. Курмангазы и Шернияз мечтали создать песню про такого орла. А юный Муса любил слушать рассказы о царях птиц и зверей...

Задумавшись, поэт не заметил, как жигиты Младшего жуза встретились с сарбазами, как к нему подъехала жена.

— Пошли.

Почерневшая от холода, поседевшая за эти дни Макбал стояла рядом.

— Пошли. Нас приглашают в свой аул найманы. Исатай ждет тебя...

ЭПИЛОГ

В своем рапорте генералу Перовскому от 17 ноября 1837 года Гекке писал о «...превосходстве отборных коней» повстанцев, об их «...умении владеть пикой».

«Это беспримерно, — оправдывался Гекке, объясняя причины невыполнения приказа Перовского о поимке Исатая и Махамбета, — чтобы ордынцы отважились броситься на оружие...»

Из точного и справедливого описания, ваше превосходительство, усмотреть изволите, каким отчаянием руководима шайка Исатая».

Туленгуты султанов и солдаты Гекке после битвы на Тас-Тобе разбились на мелкие отряды, еще долго прочесывали степные дороги. Каратели брали под надзор всех, кто подозревался в участии или сочувствии к восстанию. Сотни аулов были сожжены.

26 ноября, отправляя пленных в Нижне-Уральскую крепость к полковнику Бизенову, Гекке писал:

«...Приказал их заковать в железо, отправить в Уральский острог. Эти люди, как оставшиеся до последней невозможности при Исатае, не заслуживают никакой пощады, нагайки недостаточны для них, если не можно ими бить до конца...»

Офицеров удивляла внутренняя сдержанность, достоинство и непокорность пленных.

Один из близких друзей Исатая, Кабланбай, был ранен и скрывался в отдаленном зимовье. Его схватили. Трижды провели через строй в 500 человек. 1500 ударов шпицрутенами! А он стоял, весь в рубцах, весь в крови, с обезображенным от ударов лицом, но не сгибал колени, не терял духа.

«...Он молодец собой, отважен, — сознавался Гекке, — не запирается, показывая и теперь самый твердый дух».

Гекке боялся Кабланбая даже тогда, когда тот еле держался на ногах. Он отправил его в Уральский острог в сопровождении охраны из 39 казаков!

«По неимению здесь железа и думая, что веревка недостаточна для такого хвата, как Кабланбай, я предпочел его сегодня же отправить в Уральск, для чего нарядил 10 человек, прибывших с бумагами, и еще 28 человек и хорунжего Еремина, с ними и отсылаю», — писал сам Гекке.

Почти до конца января 1838 года продолжалось «усмирение» аулов. По дорогам, по лесам и пескам бродили старики, женщины и дети...

«Бегут из одного страха и сами не ведают куда», — спокойно констатировал Гекке.

Холод и снег, степные метели без конца. словно сам аллах решил смести с лица земли уставшие от битв аулы этой орды. В песках, болотах и на дорогах от холода и голода погибли те, кто скрывался от мести карателей...

А когда наступила весна, люди, доведенные до отчаяния, снова встали под знамя Исатая.

К концу мая 1838 года их было около двух тысяч.

В начале июля 1838 года сарбазы вновь вошли в пределы Внутренней орды. Навстречу двинулся 4-й уральский полк. Из Оренбурга вышел отряд в 150 казаков, батальон стрелков из личного резерва генерала Перовского...

Объединенная армия султанов и хана составляла более трех тысяч человек. Командование над всеми, как и в минувшее лето, было поручено полковнику Гекке.

...Разведка донесла, что повстанцы идут тремя группами. Впереди, в отдалении друг от друга, находились Исатай и Махамбет. У Исатая триста сарбазов, у Махамбета меньше. Остальные, ожидая гонца от Исатая, остались на берегу Жаика.

Армия Гекке укрылась в оврагах и тугаях вокруг обширной равнины, вблизи речки Ак-Булак.

Утром 12 июля 1838 года, по приказу Гекке, Баймахамбет с отрядом туленгутов вышел навстречу Исатаю.

Встретились в открытом поле. Баймахамбет не принял боя, повернул назад. Сарбазы бросились вдогонку. Хитрость Гекке удалась.

Туленгуты завели повстанцев в западню. Кольцо карателей сомкнулось. Первыми заговорили пушки.

Во время погони за туленгутами сарбазы растянулись, разбились на группки. Это облегчило задачу Гекке.

Исатай метался в кольце огня, пытаясь собрать жигитов, найти брешь в рядах карателей. Только через час десятков сарбазов прорвали кольцо. Но сам Исатай остался в гуще боя.

— Я устал от преследований. Для нас нет дороги назад. всюду пламя! Умрем с честью, как умирали найманы и кипчаки в битве с Чингисханом! — Это были его последние слова, услышанные сарбазами.

«Казак Леонтий Левшин ранил коня Исатая. Конь замедлил бег, упал. Исатай бился пешим... Туленгуты Жаппар Илакбаев, Сатпай Байжигитов, Кобеш Сыбулин схватили его сзади, а урядник Богатырев саблей, выпавшей из рук батыра, разрубил ему голову, а один из солдат выстрелил в грудь», — докладывал впоследствии Гекке.

Махамбет примчался к Ак-Булаку, когда по небу разливалась кровавая заря, а над телами сарбазов кружились коршуны. Соскочив с коня, отбросив шлем, разорвав абу и до боли сжимая рукоять меча, с окаменевшим от горя лицом, он шел от трупа к трупу, не находя тела друга...

«...Нельзя оценить случайности, дозволившей нам положить конец возмутительным предприятиям дерзкого мятежника», — радостно рапортовал Гекке в Петербург.

Каратели вновь прошли огнем и мечом, «усмирив аулы».

С сотней храбрецов, обрекших себя на смерть, Махамбет до глубокой осени наносил внезапные удары по войскам султанов Баймахамбета и Караул-ходжи, а затем, расставшись с друзьями, скрылся в аулах Прикаспия.

Мое дело распалось в прах,
Я смотрю на Жаик с тоской,
О, когда же я буду в степях,
Там, за белой его волной?
Не сдался я своим врагам,
Я не отдал им жизнь свою,
Я покинул дом и семью...
Мой Жаик, привет старикам
Донеси по своим волнам!
Я пою и все не могу
Успокоить сердца тоску.
Неужели не придет пора
Махамбету ханский шатер
Пикой острой своей пронзить,
Распороть и настезь открыть?..

Слова поэта как стрелы летели от аула к аулу, готовые вновь воспламенить степь.

...На рассвете 5 марта 1841 года посланец Баймахамбета султан Муртазгали с казачьей сотней пробрался в зимовье поэта, затерянное среди песков Прикаспия.

Махамбет еще спал, когда урядник Голиков, казаки Хохлов и Ведерников вместе с тремя туленгутами ворвались в дом. Поэт сбросил с себя двоих, ранил ножом третьего. Но сила одолела силу. Махамбет был закован в кандалы.

20 июля 1841 года в Оренбурге состоялся военный суд над Махамбетом.

— Мы сражались за истину и справедливость против зла, — заявил поэт на суде. — Мы сражались против хана Жангира. Поэтому мы считаем себя невиновными перед Россией. Мы не приглашали вас ни в орду, ни на битву. Но когда вы били нас, мы отбивались...

Капитан Василий Шустиков подтвердил, что повстанцы ни разу не применяли насилия к солдатам и казакам, кото-

рые попадали к ним в плен, что Исатай и Махамбет освобождали пленных русских солдат сразу же после боя...

Ни султан, ни хан Жангир, ни генерал Перовский не присутствовали на суде и не могли повлиять на ход дела.

Суд затянулся, он привлек внимание не только казахских аулов Букеевской орды, но и оренбургской русской интеллигенции. Казнь поэта могла вызвать новые волнения в орде. Ждали приказа Перовского.

...Поздней ночью в камеру Махамбета с фонарем в руках вошел офицер. Вглядевшись, поэт узнал Василия Шустикова.

— Ну, что скажешь, капитан? Пришел закончить спор, начатый тогда, в ауле Кисык-тёре? Ты был прав. Пики ломаются о пушки. Правы сильные, потому они и правят. Зачем ты пришел?! Прочешь приговор? Не надо. Я готов принять казнь. Не надо ни муллы, ни попа...

— Иди за мной! — резко ответил капитан.

Вышли в коридор. Шустиков потушил фонарь...

Напряженно вслушиваясь в тишину, капитан шагал вдоль высокого дувала. Поэт молча следовал за ним. Кто-то открыл калитку. Вышли, свернули в сторону от дороги и через сад вошли в чей-то двор.

— Там, за сараем, твой конь. Прощай, — сказал Шустиков.

Махамбет не двинулся с места. Он вглядывался в лицо капитана, но не видел его.

— Ты говорил, что солдаты не изменяют присяге. Я не верю тебе, капитан. Я хочу достойной смерти, а не пули в затылок, — твердо сказал Махамбет.

— Он выполняет долг перед собой, сударь, — донеслось вдруг со стороны дома. На площадку, освещенную луной, вышел другой офицер.

— Кто вы? Ваш голос знаком мне, — спросил поэт.

— Мы с вами виделись в Петербурге в дни восстания на Сенатской площади, — ответил незнакомец.

— И здесь, на суде! Вы господин Даль-Луганский, — сказал Махамбет.

— Торопитесь, вас ждут друзья.

— В этот час у меня нет более близких друзей, чем те, кто стоит рядом, — ответил поэт. — И я покидаю их...

— Кто это? — спросил Махамбет, увидев за сараем двух всадников, державших наготове свободного коня.

— Явился, слава аллаху! Это мы, Лаубай и я, Аббас, из сотни Исатая, — ответил жигит. — Скорее, Махамбет, — торопил он.

Поэт схватился за луку седла и вскочил на коня...

В ту же ночь тюремная стража подняла тревогу. Дверь камеры Махамбета была заперта, замок цел. Но решетки на окнах предусмотрительно были выбиты. Поэт бежал.

Генерал Перовский, прибывший в Оренбург на следующий день, разжаловал начальника тюрьмы.

Когда принесли на подпись приговор о расстреле Махамбета, генерал разорвал его.

— В кого прикажете стрелять, господи?! В какого киргиза?! Нет большего сраму, чем этот случай... Киргиз уходит из-под стражи. Позор! — кричал разгневанный генерал.

Чтобы скрыть оплошность своих подчиненных, нужно было сохранить в тайне побег Махамбета. И потому, кстати воспользовавшись случаем показать свое «милосердие», военный суд публично объявил, что «подсудимый Утемисов... препровожден за линию с воспрещением приближаться к оной, если же осмелится нарушить запрещение или перейдет на Внутреннюю сторону, то подвергнется строжайшему наказанию».

Четыре года скитался Махамбет вдали от родного края, в аулах Младшего жуза...

В феврале 1845 года он появился в Букеевской орде. Поэт снова звал народ к восстанию... Генерал Перовский отдал приказ — изловить и казнить непокорного поэта...

11 августа 1845 года внезапно умер хан Жангир. Николай I написал: «Весьма жаль, он был человеком весьма преданным». Генерал Перовский выразил соболезнование ханше Фатиме: «Я плачу вместе с Вами, ханша, благословляя десницу, поразившую нас столь великим испытанием», — и обещал выполнить все предсмертные пожелания покойного. Сам же немедленно устранил всех наследников трона и как генерал-губернатор захватил всю полноту власти в орде в собственные руки.

Боясь новых смут в аулах, генерал послал в степь хорунжего Ихласа Тулеева. Приказ был краток: покончить с Махамбетом. «...Он употребляем нами во всех трудных и требующих особенной ловкости при исполнении поручения случаях», — характеризовал генерал хорунжего Ихласа в своем письме к султану Баймахамбету.

Вместе с Ихласом из аула султана выехали бий бершева рода Жанберген Боздаков, тобыктинец Торежан Турумов, бершцы Муса Нуралин, Жусуп Утеулин — всего двадцать человек. По степи пошел слух, что они направлены к Махамбету для «переговоров».

Махамбет принял их в одинокой юрте в степи.

— Мы не враги тебе, а друзья. Здесь жигиты бершева рода, Махамбет. Хан Жангир давно покинул свет, султаны прощают тебя, — сказал бий Жанберген.

Махамбет пригласил гостей в дом. Вошли четверо — Жанберген, Ихлас, Муса, Торежан. Другие остались во дворе.

Макбал растелила дастархан. Когда началась беседа, маленький Нурсултан вышел из юрты. Заметив, что гости окружили дом и держат оружие наготове, малыш решил предупредить отца. Но его схватили, зажали рот. Почти в то же мгно-

вание Ихлас с ножом бросился на Махамбета. Поэту удалось выбить нож и отбросить Ихласа. Но на нем повисли еще трое. Поэт каблуком прижал хорунжего к земле, чуть не переломив ему хребет, и с криком: «Живьем я не сдамся!» — попытался стряхнуть с себя всех троих. Один упал, но двое вцепились в руки. Кто-то ударил в живот Макбал, пытавшуюся помочь мужу. В юрту с кинжалом в руке ворвался Жусуп Утеулин и нанес удар со спины. Махамбет упал, обливаясь кровью. Ихлас встал и двумя ударами сабли отсек поэту голову...¹

Макбал с остекленевшим взглядом, словно слепая, молча вышла из юрты вслед за убийцами и стала у порога. К ней прижался онемевший от страха и ужаса сын Махамбета.

Вдруг раздался смех, страшный, нечеловеческий. Он был тонок, пронзителен, оглашал всю степь и жутким холодом отдавался в сердце. Перепуганные кони убийц встали на дыбы, не слушаясь поводов, бросились вон...

Жусуп слетел с коня. Смех внезапно умолк. Макбал уставилась на Жусупа, машинально взяла пику, прислоненную к юрте.

Жусуп трясся от страха, он еле встал и с криком побежал к своим. Макбал метнула пику... Раздался выстрел.

Грудь Макбал окрасилась кровью. Кровь текла вниз по белому платью. А Макбал смотрела, как Жусуп корчился перед смертью. Пика острием впилась меж его лопаток. Хорунжий Ихлас, что стрелял в Макбал, пытался вытащить пику из спины Жусупа.

— Проклятье всем, всем... Вы сами, сами убили его, а не кафиры, — шептали губы Макбал. Она ослабла, обливаясь кровью, она хваталась за кусты жусана, чтобы доползти до своей юрты. — Вы сами всегда убивали себя. О, прав, прав мой Махамбет... Не быть вам народом. Вы вечные рабы.

Макбал не добралась до обезглавленного тела мужа, умерла у порога...

Утром 4 ноября 1846 года в шатер Баймахамбета, где сидел Шернияз, в сопровождении трех туленгутов вошел хорунжий Ихлас. Он держал в руках широкий красный поднос, вырубленный из корневища яблони. Сверху поднос был накрыт красным бархатом.

Хорунжий опустился на одно колено перед султаном.

— Каков твой дар? — спросил султан и острием кинжала из дамасской стали откинул красный бархат. На подносе лежала голова Махамбета.

¹ Этот факт подтверждается не только архивными документами, но и раскопками могилы и исследованиями черепа Махамбета, сделанными антропологом Н. Ж. Шаяхметовым.

Долго смотрел Шернияз на застывшее спокойное лицо Махамбета. Потом медленно обвел всех взглядом, схватился за голову и с криком бросился вон из шатра...

После убийства поэта султан Баймахамбет побывал в Петербурге. Царь обласкал его, одарил, возвел в генералы.

Но султан не вернулся домой.

Жигиты Аббаса и Лаубая утопили его в Киялы-Кигаше, там, где Исатай с Махамбетом одержали свою первую победу. Утопили вместе со свитой.

Молва утверждает, что среди мстителей был и Шернияз, который потом ушел к восставшим шектинцам, которых вел Есет — сын легендарного Котыбара. А на помощь Есету через Кокшетау и Жетысу, через Сарыарку и Туркестан, оглашая степь гневными, призывными раскатами своих огненных кюев, пробирался Курмангазы, бежавший с сибирской каторги...

В январе 1857 года объединенные войска султанов и генерал-майора Фотингофа дали бой шектинцам, но не одолели их. Тогда же генерал Перовский, продвигаясь в Ак-Мечеть, вел бои с казахскими отрядами на Сырдарье.

Сотни полковников Кузьмина и Дерышева, майора Михайлова, прорываясь к Аральскому морю, выжигали аулы во Внутренней орде и Младшем жузе...

«...Со времен ветхозаветных войн или монгольских набегов ничего не было гнуснее в свирепости, как набег полковника Кузьмина и майора Дерышева, которым заправлял (еще при Перовском), сидя в своей канцелярии, бывший помощник Липранди — Григорьев. Этот кровавый эпизод еще ждет своего описания», — бил в набат «Колокол» Герцена из далекого Лондона.

Против произвола царских колонизаторов и своих тиранов вспыхнули восстания на Тургае, в Арыси, в Жетысу...

Битва народа за свободу и равенство продолжалась...

Я описал лишь один эпизод битвы, которую вел народ на протяжении многих столетий за свою свободу и равенство.

СОДЕРЖАНИЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ УЧИТЕЛЯ

Глава первая	7
Глава вторая	38
Глава третья	53
Глава четвертая	87
Глава пятая, или Сон в Халебе	117
Глава шестая	135
Возвращение учителя, или Послесловие о том, о чем сказано и не сказано в этой книге, и о том, как создавалась она, о времени, в кото- ром жил Абу Наср Мухаммед аль-Фараби, и о его встрече с потомками через тысячу лет	152

ГОНЕЦ

Пролог	165
Часть первая	175
Часть вторая	201
Часть третья	237
Часть четвертая	280
Эпилог	330

СТРЕЛА МАХАМБЕТА

Часть первая	337
Часть вторая	397
Часть третья	447
Эпилог	505

Ануар Турлубекович Алимжанов

СТЕПНОЕ ЭХО

М., «Советский писатель», 1980, 512 стр.
План выпуска 1980 г., № 309

Художник *А. И. Яралов*. Редактор *Н. И. Голосовская*
Худож. редактор *А. И. Добрицын*. Техн. редактор
Т. С. Казовская.

Корректоры *И. Ф. Сологуб*, *Р. Р. Рагимова*
OCR - Давид Титиевский, август 2017 г., Хайфа
ИБ № 2258

Сдано в набор 28.11.79. Подписано к печати 30.05.80.
А03410. Формат 60×90^{1/16}. Бумага тип. № 1. Банниковская
гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 32. Уч.-изд. л.
33,96. Тираж 150 000 экз. Заказ № 912. Цена 2 р. 50 к.
Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Во-
ровского, 11. Ордена Октябрьской Революции и ордена
Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государствен-
ном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книж-
ной торговли, Москва, М-54, Валуевая, 28